

Молодость Мазепы

Старицький Михайло Петрович

I

Далеко разлился синий, могучий Днепр, убежал он от сел и городов в дикую степь и разлился, разметался на ее широкой груди. Есть где разгуляться ему здесь, на необъятном просторе; к этим вольным берегам еще не подступала суетная, продажная жизнь. Синий Днепр, синее небо, жгучее солнце, степь зеленая, цветущая, безбрежная, как море вольная, как душа казака! Смотришь и не насмотришься! Степь да небо, небо да степь, и тонет взгляд в этой лазурной дали. Только кое-где "маячать", среди зеленого моря, высокие могилы, грустные памятники забытой потомками славы! Стоят они, одинокие и забытые, словно угрюмые старцы среди чуждых им юных людей. Тихо кругом, грустно кругом... Только степной орел подыметсся с могилы и, взмахнувши крылами, опишет широкий круг в воздухе и снова опустится на ее зеленую вершину.

Но что это стонет, что это ревет; что это бьется с грозным рычаньем о скалы? Дикий ли зверь, ветер ли вольный? Нет, нет!.. Это старый казацкий дед и оборонец могучий, грозный "Ненасытецкий порог."

Сколько хватит глаза, разлились широкие воды Днепра. Нет ни бури, ни ветра, но Днепр неспокоен. Река мчится, белые гребни взлетают на кипящих волнах. Куда же стремится с таким неудержимым напором эта масса воды? Туда — откуда уже издали доносится грозный и непрерывный ропот. Смотри! — Ты видишь там, на этой залитой солнцем блестящей водяной глади, мелкие черные точки? Это страшные, острые скалы. Они загораживают путь Днепру, они пересекают во всех местах его ложе, думая удержать Днепр на своем пути. Но кто удержит его? Нет и теперь такой силы! Чем ближе пороги, тем больше ревет и беснуется Днепр. Вот он уже подымает свою покрытую пеной голову, чтоб взглянуть, близок ли ненавистный враг? С каждым мгновеньем растет его ропот; расстояние все меньше и меньше... И вот столкнулись! С диким ревом и воплем налетает он на черную гряду скал, с тяжким грохотом падает вниз в кипящую бездну словно дикий, взвившийся на дыбы конь, снова взлетает зеленой стеной вверх и с развевающейся пеной опрокидывается всей грудью на ближайшие гряды. Еще раз... еще и еще... Все кипит, все стонет кругом. Нет уже больше реки, — бушует море клокочущей пеной. Ревет Днепр, сатанеет Днепр, стонет воздух от страшного рева, скалы дрожат, но не поддаются бешеным порывам. Но вот столкнулись волны, налетели одна на другую и закипело "Пекло"[1]. Столбы воды, клочки пены полетели в воздух. Смерть, смерть тому, кто подумает приблизиться к этому страшному месту! Не кричи, не зови на помощь: твой голос не прорвется сквозь этот страшный грохот и рев. Но кругом и нет никого: только серые, прибрежные скалы гордо любят свою неукротимую стихией, да белые чайки, словно серебряные платочки, реют бесстрашно над ужасной пучиной и исчезают в лазурной выси.

О чем стонет и рыдает Днепр? Отчего бьется он с такой яростной болью о черные, острые скалы, отчего рвет в клочки свою седую чуприну, о чем стонет-кричит он старому "Будыло"[2]? О чем задумались мрачные серые скалы "Кичкаса"[3]? Отчего так угрюма и печальна Старая Хортица? Отчего стоит она такая мрачная и суровая даже в яркий солнечный день? Отчего плачет седой Лиман, припадая к родному Черному морю? Кто это знает, кто разберет их дикий

и вольный язык? Одна только степь понимала его, когда ласкалась к старику вольною грудью, когда ее еще не бороздило железо... Теперь зеленая степь мертва и безмолвна: не разбудит ее удалая песнь запорожца, не оживят ее звуки труб и казацких литавр! Только ветер могучий носится по степи, такой же вольный и непокорный, как прежде... Подлетит он к одной могиле, пошепчется с ней тихо, и, грустно вздохнувши, помчится к другой...

Тихо кругом, грустно кругом.

Но ночью, когда за разорванные тучи спрячется месяц двурогий, оживает угрюмая Хортица и широкая степь. Какие-то седые тени выступают одна за другою, — это ряды вооруженных всадников: их лошади ступают бесшумно, вьются беззвучно знамена. Откуда они вышли? Куда идут? Их лица суровы, печальны, их головы поникли на груди... Бедные тени, несчастные тени, что возмутило ваш вечный покой?

Но вот из-за туч выглянул месяц двурогий, ветер повеял — и исчезло все. Нет! Мертвые спят, могилы безмолвны... Это колеблется над Хортицею серый, холодный туман. День идет за днем, год уходит за годом, все умолкает, всему приходит конец. Только не умолкают донине могучие и грозные пороги.

О чем же стонет и рыдает Днепр? Отчего бьется он с такой яростной болью об острые черные скалы? Отчего рвет в клочки свою седую чуприну? О чем плачет, припадая к Черному морю, старый Лиман?

Слушай, у кого не покрылось холодной ржавчиной сердце, слушай и разумей!

Длинный, летний день был уже на исходе. Бесконечно раскинувшаяся во все стороны степь начинала покрываться кое-где рубиновыми блесками. Ничто не нарушало величия ее необъятного простора: ни дерева, ни куста, ни признака человеческого жилища не видно было кругом, — всюду расстиралось только тихо волнующееся море цветов. Серебристая кашка, яркий золотоцвет, дикая гвоздика, белая ромашка, синие "волошки", розовая "повийка" — все это сливалось в какой-то необычайно яркий, прелестный ковер и даже закрывало собою высокую светлую траву, покрывавшую всю степь. Цветы, цветы и цветы! Всюду цветы дикие, прелестные, разросшиеся во всей своей красоте на воле. При каждом легком дыхании ветерка их слегка тронутые алыми лучами солнца головки приходили в движение, и тогда, казалось, — по всей степи пробегала какая-то веселая, но неуловимая человеческому уху, болтовня. Но степь и не была мертва: тысячи всевозможных пород птиц носились стаями в воздухе и оглашали его своими разнообразными криками. Все было вольно, прелестно и дико! Казалось, еще от самого сотворения мира здесь не ступала нога человека. Однако, если присмотреться внимательно, зоркий взгляд мог бы заметить издали прямо подымающуюся к небу тоненькую струйку дыма.

Струйка эта выходила из неглубокой, но широкой балки, пересекавшей степь с южной стороны. По дну балки пробегала небольшая, но чистая и прозрачная речка, группа густых деревьев находилась недалеко от ее берега. Издали решительно нельзя было понять, откуда подымался этот дымок, но, спустившись в балку, путник с изумлением заметил бы дубняк, покрывавший примкнувшую к балке, вроде мисочки, котловину; между темной зеленью довольно высоких и разложистых дубов прятался и отливал яркой листвой молоденький вишневый садик, окружавший чистый и зажиточный дворик какого-то неведомого хозяина. Несмотря на уединенное положение маленькой усадьбы, она была в достаточной мере укреплена: высокий частокол из крупных, заостренных кверху дубовых бревен, с дубовыми воротами на крепких железных засовах, окружал кольцом это жилье. Все было сделано грубо, нескладно, но крепко и могло представить значительный оплот. Внутри же дворик совсем не

имел такого грозного и воинственного вида. Небольшая хата с новой светлой крышей стояла в глубине двора. Окна ее были подмазаны синей краской, а вдоль "прызьбы" выделялась щеголевато, старательно выведенная ярко-желтая полоса; от хаты тянулась к воротам протоптанная по зеленому двору между дубами и ясенями тропинка; направо и налево виднелись хозяйские постройки, а между ними стояли круглые зеленые стожки только что скошенного сена. Все было так чисто, так хозяйственно в этой притаившейся в степи усадьбе, что в голову невольно приходил вопрос: кто же мог здесь жить, кому мог принадлежать этот прелестный уголок? Конечно, никто иной, как какой-нибудь старый, угрюмый запорожец, вышедший из Сечи на покой. Но веселый вид усадьбы не напоминал собою неприглядного "зымовныка", — всюду виднелось присутствие мягкой женской руки. Впрочем, наблюдателю в этот раз не пришлось бы и задумываться долго над решением подобного вопроса, так как за воротами дворика, на длинной, обтесанной колоде сидели две премиленькие молоденькие девчины и ели сочные, только что начавшие созревать вишни. Одна из них смотрелась еще совсем полуробенком; на вид ей нельзя было дать и семнадцати лет. Она была среднего роста, не худая, но стройная и тонкая, как гибкий тростник. Ровный, блестящий пробор разделил ее русые, слегка волнистые волосы на две половины, их мягкие шелковистые пряди обрамляли изящно очерченное лицо, с нежными женственными чертами, главную прелесть которого составляли тонкие соболиные брови и большие карие, необычайно ласковые глаза. Они смотрели так доверчиво, так ласково, словно хотели обнять весь мир своим теплым, глубоким взглядом. Во всей фигуре девушки было что-то женственное, чистое. Даже когда она смеялась, какой-то легкий, едва уловимый отблеск задумчивой грусти не покидал ее глаз.

Подруга ее составляла полную ей противоположность. Смуглая, румяная, с вечно сверкающими из-за коралловых губ двумя рядами крепких, белых зубов, она воплощала в себе настоящий тип украинской девчины, живой, кокетливой и остроумной. Черная коса ее спускалась на спину, а голова была повязана по левобережному обычаю ярко-красным, узко сложенным платочком. Обе девчины были одеты в вышитые сорочки и крепко охватывающие их стан яркие плахты.

Солнце заходило прямо перед ними и освещенные его лучами отлогости балки казались огненными, горящими. Между девчатами шел оживленный разговор.

— Нет, ты не сердись... а тут такая скука, что хоть с ума сходи... ни песни, ни музыки, ни танца! "Людены" молодой не увидишь... Ей-Богу, — одни калеки, — говорила старшая, охвативши своей рукой плечи младшей и слегка раскачивая небольшими, загорелыми босыми ногами.

— Не знаю, как другим, а мне здесь "гарно", — возражала младшая, выбрасывая косточки изо рта, — что ж, что калеки? А добрые какие! И Немота, и Безухий, и Шарпанына... Я их так люблю! А они меня... Господи! Сколько гостинцев носят — и ягоду всякую, и "рогозу", и перепелиц... а то раз зайку принесли, такого "гарнесенького", и я выкормила... Ах, какой он был славный да забавный, как знал меня, — ел с рук.

— И ты одним зайком "задовольнылась"?

— Как зайком? — подняла с удивлением глаза свои Галина. — А коровы, а телята, а куры, а гуси, а голуби? Разве с ними не весело? Гуси, как увидят, растопырят крыла и "загелготять" радостно, бегут, подлетают, а им наперегонки куры... и так рады, так рады... и я рада им, и мне весело: всякую птицу знаю, какая жадная, какая драчливая... и заступлюсь за смирную... Э, они меня знают и любят.

— Так тебе в курах да гусях утеха?

— Ну! — протянула Галина обиженно, — я ж тебе про людей говорила... А баба, а дид? С ними так хорошо мне, так любо! Баба такие сказки рассказывает, и страшные, и всякие, что целую ночь "жахаешься", и все б слушала... Так это все представляется, будто сама была... так хорошо... А как дид начнет оповедать про рыцарство, про всякие "воювання"... так аж дух захватывает... и станет жалко, жалко! Сама бы лучше умерла, а чтоб их не мучили... А степь наша, — оживилась вдруг Галина, и глаза ее сверкнули детским восторгом, — то зеленая, то сизая, то червоная... волны шелковые стелются, а вдали морево играет: то святой Петро овцы гонит. Эх, легко так да просторно... вот как будто купаешься в ней и не купаешься.

— Годи! Уж ты мне про степь и не говори! — раздражилась даже Орыся, — просто ненавижу... и на что тут смотреть! Куда оком не кинешь — ничего, хоть бы тебе "замаячыв" какой бес! Зелено, зелено, да и только! А зимою то, думаю, — пропала б, бей меня сила Божья, коли б не пропала! Вот у нас дело другое: кругом "гай", дубравы, левады, хутора, а вдали горы... а под ними Днепр течет, синий, синий да широкий... не то, что ваша Саксаганка, — вся в "кушыру", да в "лататти".

— Орысю! Не лай моей степи и моей речки, не "гудь" их, — заговорила огорченным голосом Галина, и личико ее приняло трогательное выражение. — Я так их люблю. Может быть, там и у тебя добре, а по мне, так я лучшего б, как здесь, и не хотела.

— Так бы, значит, и просидела б тут печерицей весь век?

— Бог с тобой, — насупилась Галина, опустив полные слез глаза.

— Не сердись, моя ягодо! — обняла ее горячо Орыся. — Я ведь обидеть тебя не хотела, а так "занудылась" здесь, стосковалась, за своими стосковалась, понимаешь, — так мне и досадно, может оттого и степь твоя надоскучила, — рассмеялась она и начала трясти за плечо Галину. — Ну, скажи по правде, разве тебя не тянет поехать куда, свет Божий увидеть, музыку послушать, с парубками поиграть, "пожартовать"?

— А как же меня может тянуть, коли я никогда того и не видела, — ответила просто Галина.

— Как так? — изумилась в свою очередь Орыся.

— А так: дид редко ездит по ту сторону за Днепр и меня с собой не берет.

— Что ж, он сам закопался, да и тебя от людей прячет?.. От того его, верно, и прозвали Сычом?

— Нет, не от того: дид говорил, что он и ночью мог высмотреть врага добре... А сначала дид был звонарем.

— Значит, ты остаешься одна и не боишься?

— Ото б? На тот "час" к нам приезжает кто-нибудь из казаков с Сичи... А прежде был дядько Богун. Такой добрый, ласковый... Гостинцы мне возил... Только давно, давно уже не был, я еще "пидлитком" была, — вздохнула грустно Галина и задумалась.

— Может быть умер, или убит. Теперь ведь у нас, коли дожил до вечера, так и "дякуй" Бога. К смерти, как к тетке, привыкли.

— Что ты? — всплеснула руками Галина и остановила на подруге испуганные глаза.

— Эх, не страшись, — успокоила ее Орыся. — Дай-ка лучше вишен... Чего ты не ешь? —

встряхнула она хусточку, в которой еще были пригоршни две-три светло-красных ягод.

— Кислые еще.

— А я кислое люблю, — сказала Орыся. — Как зажмуришь

очи, так Киев увидишь. Ну, а ты давно живешь здесь?

— И не помню, когда мы приехали сюда из Чигирина...

— Отчего же вы покинули его и перебрались в дикую степь?

— Видишь ли, когда мой батько и мать умерли, дид не захотел больше в городе жить, продал все, забрал меня, да и уехал от всех в дикую степь.

— А ты помнишь своего батька и мать?

— Нет, — произнесла с легким вздохом Галина и какая-то прозрачная тень печали упала на ее прелестное личико.

Обе подруги замолчали.

— А знаешь, Орысю, — заговорила вдруг оживленно Галина, подымая на подругу свои загоревшиеся внутренним светом глаза, — знаешь, когда никого нет, и я остаюсь одна, мне кажется иногда, что я их вижу, как видела когда-то... Батько такой красивый, статный казак и меня "гойдает" на руках и мать будто обвила его руками за шею и сама смотрит так ласково, ласково и на него, и на меня. Только нет! — вздохнула она снова печально и опустила глаза, — это верно мне снится, дид говорит, что я не могу их помнить.

— Давно умерли?

— Я тогда еще совсем маленькая была.

Девушки замолчали.

— Твой батько был знаменитый казак, — произнесла после короткой паузы Орыся, — я слышала, как про него и бандуристы песни поют. Да и дед твой тоже. Батько мой часто рассказывает про то, как казаки при гетмане Богдане Хмельницком от ляхов отбивались и край свой спасли, и говорит, что твой батько у гетмана Богдана самым любимым полковником был.

— Да, да! — вспыхнула вся Галина и заговорила звонким, оживленным голосом. — Дед мне тоже всегда про те времена говорит, и про батька рассказывает, и думу про него поет. А как запоет "Ой Морозе, Морозенку, преславный козаче, ой по тоби, Морозенку, вся Украина плаче", — так сам и плачет, да сейчас и говорит: "Ох, добре ты, Олексо, (это он так моего батька называет) зробыв, що в свий час умер". А мать моя, знаешь, тоже сейчас после батька умерла. Как привезли его гроб, "червоною кытайкою" покрытый, она как упала на него, — говорит дид, — так всю ночь и пролежала, утром встала — седая вся. Так она не плакала, только повторяла: "Олекса мой умер, как славный казак!" А как схоронили его, так и она через "тыждень" умерла. Не могла жить без него, видишь, дид говорит — "любылысь дуже"...

II

— "Любылысь дуже", — повторила за Галею машинально Орыся и почему-то вздохнула, ее

быстрые глаза приняли вдруг задумчивое и нежное выражение, — а ты, Галина, — произнесла она тихим голосом, привлекая к себе на грудь голову подруги, — ты кохаешь кого-нибудь?

— Еще бы! — произнесла живо Галя, — дида, дядька Богуна, бабу, Немоту, Безуха!

— Ну, это все старые, а из молодых?

— Тебя люблю! — вскрикнула порывисто Галина и обвила руками шею своей подруги. Орыся невольно улыбнулась.

— Ах, ты, смешная какая! Я ж дивчина! Я спрашиваю, из казаков нравится ли тебе кто? Ведь к вам наезжают запорожцы?

— Ох, нет, Орысю! Я их боюсь, — страшные такие.

— Страшные! — перебила ее Орыся и воскликнула с восторгом, — славные лыцари, храбрые "воякы"!

— Да, да, я знаю, что оборонцы наши, — заговорила торопливо Галина, слегка смутившись от Орысиных слов, — я знаю, что они "боронять" нашу веру, что они освобождают невольников, а все-таки их боюсь: они страшные, грозные такие, чуть что, сейчас хватаются за сабли, раз даже "порубалысь" у нас. Когда они приезжают, я сейчас прячусь.

— Эх! — махнула досадливо рукой Орыся, — затвердила свое: "страшные, за сабли хватаются", а ты что хотела, чтоб они за веретена или за иголку хватались? Тоже казачка! — бросила она на Галину сверкающий взгляд. — Тебе, может, какого-нибудь "крамаря" или "ченця" надо было б! Казаку за то и слава, что он смелый, бесстрашный, что он готов один со своей саблей против всех своих врагов выступить. Вот только нехорошо, что не всех стали пускать в казаки! Правда, они на вид и кажутся грубыми, не умеют нежных слов ворковать, зато уж если любят, так всей душой! — окончила как-то слишком горячо покрасневшая Орыся. Галина с изумлением смотрела на нее.

— А ты почем знаешь? — спросила она, устремляя на подругу любопытный взгляд.

Этот простой вопрос привел Орысю в необычайное смущение; она покрылась вдруг до самых ушей и шеи яркой краской и, отвернувшись в сторону, произнесла как-то сконфуженно:

— Да разве я в чернычки, что ли, пошла... видела... знаю...

Обе девушки замолчали.

Галина с удивлением посмотрела на подругу, готовая задать ей еще более любопытный вопрос, но в это время в полуоткрытых воротах появилась старая, сморщенная баба с головой, заверченной в белую намитку.

— А что, сороки мои, цокотухи мои, — обратилась она приветливо к обеим девушкам, — что делаете?

— Да вот я рассказывала Галине, — заговорила Орыся, — о парубках, о дивчатах, о селах, городах, о церквах, об вечерныцах.

— Ох-ох-ох! — вздохнула старуха, подпирая щеку рукой, — ничего этого голубка наша не видела! Живет здесь с нами, и света Божьего не видит. А сколько раз уж говорила я старому:

повези дытыну хоть к отцу Григорию, к бабушке твоему, — пояснила она Орысе, — так где там! И слушать не хочет!

— А почему, бабуся, дид не хочет меня везти? — изумилась Галина.

— Боится.

— Чего?

— А вот, видишь ли, когда мать твоя покойная была жива, много, много перенесла она горя через одного пана! Украл он ее и увез так далеко, что она едва-едва убежала. Так вот дид боится, чтоб и тебя какой-нибудь пан не увез.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась звонко Галина, — да зачем бы он увозил меня? На что я ему?

Это восклицание было сделано так искренне, что баба и Орыся невольно рассмеялись.

— Ах ты, квиточка моя степовая, — произнесла старуха с улыбкой, нежно прижимая головку девчины к своей груди, — ничего-то ты еще не знаешь и не ведаешь!.. А где это наши так "забарылысь", — подняла она через минуту голову, всматриваясь вдаль, — уже и солнце прячется, и вечеря готова, а их все нет!

Все примолкли и стали прислушиваться.

— Идут, идут! — вскрикнула вдруг первая— Галина, — вон и дид песню поет, а вон и наши "ланцюжныкы" повылазили и машут хвостами.

Действительно издали донесся звук старческого голоса, распевавшего какую-то казацкую песню.

Голос приближался все больше и больше, вслед за ним послышалось ржание лошади и мычанье коров. Через несколько минут с западной стороны показались две человеческие фигуры.

— Наши, наши! — закричала радостно Галина, — а ну-ка, Орысю, давай открывать ворота!

Девушки быстро схватились с мест; тяжелые ворота заскрипели и распахнулись.

— Ну, ну, встречайте, а я пойду, да приготовлю вечерю, — улыбнулась девчатам баба и направилась, слегка прихрамывая, в глубину двора.

Шествие приближалось. Впереди всех бежала с громким лаем большая мохнатая собака из породы волкодавов, за нею выступало двое могучих, плечистых мужчин. Одному из них было лет шестьдесят, не меньше; с вершины его выбритой, по запорожскому обычаю, головы спускался солидный, белый, как серебро, "оселедец" и молодцевато закручивался за ухо, такие же густые и длинные седые усы спускались на грудь его и придавали его наружности важный и величавый вид. Несмотря на седину, он выглядел еще вполне здоровым и чрезвычайно крепким человеком. Другой сразу поражал своим ужасным калечеством. У него не было левой руки, правой ноги и обеих ушей; он ковылял на деревяшке, опираясь на костыль.

Увидевши Галину, стоявшую в воротах, бежавшая впереди собака бросилась к ней с громким радостным лаем и стала прыгать и бросаться к девчине на грудь, стараясь лизнуть ее личико

своим огромным красным языком.

— Ну-ну, Кудлай, — отбивалась от его шумных ласк Галина, — ты повалишь меня, ты повалишь меня, мохнатый дурень...

Но Кудлай не унимался: он терся у ее ног, старался повалить девчину, прыгал ей передними лапами на грудь, — словом, старался всеми возможными способами проявить свой восторг. Наконец, порешивши, что чувства его были излиты и оценены в достаточной мере, он оставил девчину, выбежал на середину двора и, забросивши высоко голову, издал громкий, радостный лай, словно желал сообщить всем, что работы окончены, и все работники благополучно возвратились домой. Исполнивши эту обязанность, он подбежал к "ланцюжным" псам и начал с ними весело, по-братски, кататься по зеленому двору.

Освободившись от Кудлая, Галина бросилась к входившему в ворота старику с седым "оселедцем".

— Диду, диду, — закричала она весело, обвивая шею старика руками, — отчего так "забарылыся"?

— Доканчивали полосу, голубочка! — отвечал старик, нежно целуя прижавшуюся к нему русую головку.

— А мы уж думали, не напал ли на вас какой татарин?

— Го-го! — сверкнул глазами старик, выпрямляясь и грозно потрясая косой, — пускай бы только навернулся косоглазый, мы бы ему задали чосу! Так ли, брате? — обратился он к своему спутнику.

— А так, так! — Привели бы его сюда на аркане! — ответил тот, забрасывая косу деда на "стриху" хаты и опускаясь на "прызьбу".

— Ну, и натомился я, дети, — расправил плечи старик, — так намахался косой, как другой раз, бывало, саблей в Сичи не намашешься. Вот только правая рука не так теперь служит; много ли накопил; а плеча не чую. А есть то так хочется, что хоть целого вола подавай!.. Не вредительна пища в благовремени.

— Сейчас, сейчас!

И Галина с Орысей бросились помогать бабе собирать вечерю, а дед Сыч опустил на "прызьбу".

Тем временем в ворота вошли с радостным мычаньем коровы, вола и две лошади, весь остальной табун ночевал в степи. Вслед за ними вошли двое рабочих. Ворота заперли, засунули тяжелые засовы. Поручивши девчатам подавать вечерю, баба вынесла дойницу и принялась доить коров.

В ожидании ужина все притихли, каждый погрузился в свои думы. Во дворе улеглась суета; слышалось только слабое журчанье сцеживаемого в дойницу молока.

Наступила тихая минута. Солнце уже скрылось, мягкие тени закрыли весь двор; в голубом небе сверкнула робко первая звездочка; со степи веяло нежным ароматом... Час вечернего отдыха подкрадывался незаметно к заброшенному уголку. Дед охватил рукою проходившую мимо Галину и, притянув ее к себе, о чем-то глубоко задумался...

Казалось и все кругом во всей природе занемело и притихло в ожидании желанного покоя...

Вдруг среди полной тишины послышался явственно издали частый и поспешный конский топот. Собаки залаяли. Все вздрогнули и переглянулись.

— Чужие, — прошептал дед, поднимаясь тревожно.

При раздавшемся стуке копыт, две девчины бросились друг к другу и, схватившись за руки, насторожились, как две газели, готовые унести при первой опасности.

— Коли что, так в "льох", под колоду, — заметил им дед, направляясь к воротам, — да стойте, — кажись, не татары; собаки не так брешут, не с подвоем.

Собаки действительно рвались на цепях и прыгали в разные стороны со страшным лаем, зачуяв чужих, но выть при этом не выли. На лай прибежал рабочий, в белой сорочке и таких же штанах, стянутых ремнем, на котором висел длинный кинжал, с вилами в левой руке и топором в правой. Рабочий был атлетического сложения, обнаружившего необычайную силу;

не старое еще бронзового цвета лицо его можно было бы назвать даже красивым, если бы его не уродовали страшные шрамы; в лице этом было особенное сосредоточенное выражение, свойственное глухим или немым. Он догнал у ворот деда.

— А ты бы, Немото, захватил на всякий случай и "спыс", — бросил ему Сыч на ходу.

— Ги! ги! го-го! — промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором.

— Ну, ну! — согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул, — а кого Бог несет?

— Пугу! Пугу! — слышалось из-за ворот.

— Казак с Лугу?

— Он самый, любый дяче!

— Хе, да это свои, да еще знакомые видно, — обрадовался Сыч, — войдите с миром! — и он отсунул у ворот засов, а наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков, с высокими копьями у стремян и с мушкетами за плечами; у каждого из них висело кроме того у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре "пистоли". Первый въехавший казак был пожилых лет; в "оселедци" его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебристые нити, а усы были посыпаны снегом; красивое, мужественное лицо хранило еще непоблекшую свежесть; только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствующая о пережитых душевных страданиях, а грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе: один, совершенный юнец с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою, черною, сросшеюся на переносье бровью и с черной же чуприной; черты лица его были резки и дышали дикой отвагой.

Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы; у одного левый глаз был выбит очевидно пулей, так как у переносья виднелся круглый, рубцеватый шрам.

III

Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру; он только хмурился, приставивши козырьком ладонь к глазам, и ворчал:

— От, "слипують" очи, хоть выколи!

— Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?

— воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерши широко руки.

— Господи, Спасе мой! Да неужто! — и дед протер еще раз слезящиеся глаза.

— Гай, гай, голубе! — укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. — Значит, ты все-таки меня не признал, — либо прошлое забыл, — либо похоронил меня рано... Да Богун же, Богун Иван, "сывый" мой орле?

— Богун? — вскрикнул восторженно дед. — Сокол наш? Отрада наша? Вот так "велькдень"! — и, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом, — откуда мне сие? Ныне отпускаеши...

— Не познал таки, а? Старче мой любый! — говорил, улыбаясь, Богун. — Изменился, видно, и здорово? С временем, брат, ничего не поделаешь: не "налыгаеш" его, как вола за рога: летит себе и устали не ведает, да знай лишь посыпает "чупрыны" морозом... Вот и твою голову да усы облило молоком...

— Хе, давно уже, — засмеялся Сыч, — теперь уже не белеть я стал, а желтеть... а скоро зеленеть буду... Да что же мы стоим? До "господы" прошу "честное товариство"! — поклонился он приветливо стоявшим за Богуном казакам.

— А я-то хорош, — засмеялся Богун, — разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей! Вот этот малеванный — полковник Ханенко, козарлюга добрый, как долбанет "спысом", так словно шилом проймет, а вот этот Безокий — наш куренной атаман, садит пулю на пулю... Правда, одна пуля вражья прохватила сдуру и ему око, та дарма, — он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье... А этот юнец — хорунжий Палий, завзятый сичовик, козарлюгой будет, — "молоде, та горяче".

Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал:

— Роди, Боже, побольше такого лыцарства!

Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, заметил:

— Хе, пане господарю, изменило, видно, меня калечество, что не признал старого знакомого, а ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь на хуторе.

— Кто? кто? стой, брате! — заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул, — да, чи не любый ли лях мой, не Остап ли Гуляницкий?

— Он самый и есть, пане добродию. И казак, в свою очередь, обнял деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказах.

— Гей! — кричал он наймыту, — овса, а то и пшеницы насыпь коням, да расседлай их, а на ночь

стреножь и выпусти на леваду: там добрый пырей... Да гукни еще на дивчат, — попрятались верно с переполоху, — скажи им, что не мосцивые паны, не татары, а свои, да еще какие свои — кровные, братья родные! Галине скажи, что дядько любый Богун: обрадуется она страх, — суетился и делал распоряжения дед, забывая, что не все их мог выполнить Немота, — пускай баба готовит вечерю, а дивчата пусть тащут сюда кухли, да наточат в жбан холодного пива; с дороги, да с засухи сначала след прополоскать горло.

— Гм! го-а! — промычал наймыт, жестикулируя усердно.

— Что он, немой? — спросил Ханенко.

— Потоцкого "жарты", — ответил, мотнув головой, дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами.

— Ну, просим же вас, панове, до "господы", — припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком, — а то, может быть, усядемся вон под теми деревьями на прохладе, — вечер чудесный.

— Где хочешь, мой друже, — отозвался Богун, — только не хлопочи очень и не уходи: ты сам нам "налюбый". Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов.

— Ха, ха, ха! Знаем! — засмеялись дружно товарищи.

Через несколько минут был раскинут на лужайке под дубняком ковер, и на нем брошено пять сафьянных подушек, а посередине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслаждением за освежительный напиток.

— Эх, важно! — крикнул Богун, наливая себе второй кухоль.

— Чего лучше, после "спеки", — одобрили другие.

— Пейте во здравие, — потчевал всех радушно хозяин, — натомились верно, дружи? Давно в дороге?

— Да, третий день не слазим с коня, — ответил Богун, — как "рушылы" с Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведется: это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча, а сколько лет самому не доводилось завертывать сюда; едва, едва потрапил.

— Почитай, что со смерти нашего славного, "незабутнього" батька Богдана...

— Что ты, голубь? — изумился Богун. — Да ты поселился здесь года три спустя после смерти Богдана, а сколько лет потом я ездил сюда и сам, и с "товарыством"?

— Так, так, что я? — усмехнулся Сыч, покачав головой. — Не то память стала стара, не то пришибла ее наша "туга", а сколько воды уплыло, сколько слез, ох, ох! — простонал он, а потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому, — а тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щырое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с "товарыством" славным в курень мой; ведь большей радости я и придумать не мог бы... Давно уже я поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником и ко мне, особенно в последнее время, почти не долетают вести, что творится у нас на гетманщине.

— Благую часть избрал еси, друже мой любый, — отозвался Богун, — с Богом лишь под небом

широким беседовать, а про людей забыть... "Цур" им! Добра от них не дождешься, а одно лишь зло сеют кругом.

— Да, — заметил куренной, — не то думал покойный Богдан: не гадал он разорвать надвое свою дорогую "неньку" Украину, а вот "розпанахалы" благодетели, и кости-то его, полагаю, не лежат спокойно в могиле.

— Ха! ха! — засмеялся злорадно Ханенко, в выражении его красивого, несколько панского лица, с синими, бегающими глазами, було что-то неуловимо-неприятное, выступавшее резче при смехе. — Где им спокойно лежать, коли Чарнецкий в прошлом году налетел на Субботов, разрушил церковь, выкопал гетманский прах из могилы и разбросал останки собакам...

— Изверг, аспид! — вскрикнул, поднявши кулак, дед. — И такое святотатство казаки пустили? И не отомстили этому пекельному псу за своего батька?

— Не довелось встретиться, уж я бы! — вспыхнул Палий и покраснел весь.

— Отомстил уже ему Бог! — ответил Безокий. — А уж подлинно, что такого зверя, как Чарнецкий, и не слыхано, и не видано! Бывшие земляки мои кичатся им, считают его за доблестного полководца, за славу свою... а мне даже стыдно за них: не доблесть, а бешеная лютость окрыляла его на поле... ведь пощады от него не было никому, — ни вооруженному, ни безоружному, ни дитяти, ни старцу: все, что было русское, а главное, схизматское, он ненавидел и истреблял. И всю-то эту злобу вдохнули ему ксендзы-иезуиты... Эх, если б не их отравы, какой бы это народ был, поляки, как бы мирно мы жили и какую бы силу сплотили!

— Да, уж наверное более крепкую, чем теперь, — вставил угрюмо Ханенко, — были ведь в одних тисках, а очутились в трех.

— Как в трех? Что-то я и в толк не возьму, — развел руками дед, печально покачав головою.

— Да разве ты ничего про наше теперешнее безголовье не знаешь? — изумился Богун.

— Знаю только, что со смерти Богдана, булаву, по просьбе его, вручили маловозрастному сыну его Юрку, под опекою Ивана Выговского, а потом этот "недоляшок" захватил все в свои руки... Поднялась смута, братская резня и Хмельниченка постригли в монахи.

— Выговский-то не так и виноват, — заступился за бывшего гетмана Гуляницкий, — думал-то он добре, добра желал "щыро" своей отчизне.

— Еще бы не добра! — перебил горячо Ханенко. — Прочитай Гадячские пункты, чего-чего он нам в них не выговаривал? И полные права, и господство греческой веры, и шляхетство, и равенство на сейме, и свои войска, свои русские академии, школы, своя монета, полная независимость, даже сношения с чужими державами... одним словом — своя русская Речь Посполитая.

— Своя, да под ляшским ярмом, — возразил Богун. — А разве с ним можно ходить? Разве можно на панское слово положиться спокойно? Изверились, — и народ на эту утку не пойдет, не заманишь! С ляхом дружи, а камень за пазухой держи!

— Ну, посмотрим, не подавятся ли теперь. И камень не поможет! — прищурил глаза злобно Ханенко.

— Это, как Бог судил, — ответил Богун, — а сердце ляшское, как вот он добре сказал,

отравлено ксендзами и налито к нам ненавистью.

— Не так ляшское, как панское, — поправил куренный, — простые ляхи — такие же несчастные невольники у панов, как и наше "посольство", не даром же при Богдане требовало наше казачество и голода идти в самую Польшу и "вызволять" из неволи ляхов...

— Да, оно так, — согласился Богун, — но у нас, на Украине, народ только знает ляхов-панов, да подпанков, и с этими ненавистниками да напастниками он ни за что не уживется... Это вот и забыл пан Выговский, а потому его договор и вызвал тотчас же кровавую смуту.

— Так, так, вот в это самое время, — заговорил задумчиво, словно про себя, дед, — и мне довелось быть на Украине... и от родной, братской руки потерять вот эту "правыцю"... Меня ведь так "цюкнув" свой же брат, что до кости прохватил, жилы пересек... рана-то зажила, засохла, как на собаке, а владеть рукой уже "годи"... — уже и "лантуха" с зерном одной этой не вскину на плечи... Потому-то товариство и уволило меня на покой, а тут еще горе приключилось, свое уже горе, домашнее... Так я с сироткой и оселся вот в этой пустыне, "ничего не слышаща и не зряща". Вот только разве кто завернет, да про Выговского слово закинет...

— Гай, гай, старый! — укорил Богун. — Да неужто про Выговского? Да он давно уже от гетманства отказался, его уже и на свете "нема"! А про Бруховецкого тебе ничего не рассказывали?

— Что-то слышал про него... на левом берегу, только не вспомню...

— И про Тетерю не знаешь?

— Тетерю? Как не знать Тетери, — оживился дед, — знаю, "гаразд" знаю: он же был первым есаулом у Богдана, даже советником, только не добрым, а потом женился на его дочке, на Елене, что была замужем за братом Выговского, значит, вдову взял... и с добрыми "скарбамы" еще взял... Как Тетери не знать, — зело добре знаю!

— Ну, так вот эта лиса был у нас гетманом.

— Что ты? — уставился глазами на Богуна дед.

— Да он-таки, братцы, голубь мой сивый, — улыбнулся Богун, — стал как "дытына" и ничего не знает про "завируюху", какая поднялась на Украине и до сих пор метет, закидывает сугробами хутора и села, леденит всем сердца. — Слушай же, старче Божий! — начал Богун, налив себе снова "кухоль" холодного пива, а дед поспешил между тем наполнить "кухли" гостям.

— Как отказался от гетманства Выговский, то собралась "Черная рада"[4] и выбрала гетманом Сомка, да стал против него на левой стороне Бруховецкий, объявил себя тоже гетманом и пошел на Сомка... захватил врасплох, сковал, послал в Москву, а там его и казнили, ну а Бруховецкого на гетманстве утвердили.

— Еще бы не утвердить, — прошипел Ханенко, — коли он поклялся Москве все права наши сломать, ударил ей в подданство всеми городами, все продал, и будь я вражий сын, коли в конце концов не продаст и самой Москвы!

— "Запроданец" клятый! Ух, как все его ненавидят и презирают! — не выдержал снова Палий, но сейчас же, сконфузившись, замолчал.

— И есть за что, — продолжал Богун. — Когда объявился на левой стороне Бруховецкий, так полки поставили на правой Тетерю! Ну, сначала и я пристал к нему; думка была, что он, как и покойный Богдан, стоит за нераздельность Украины, за соединение ее в одну "купу". Бросились мы со своими и с польскими войсками за Днепр; не так, впрочем, их оружиею, как моему слову, стали сдаваться все города и местечки... Бруховецкий, видишь, когда ездил на утверждение в Москву, так там и женился на княжне Долгорукой, закупил всех и задурил: начал в Москве предлагать со своей генеральной старшиной такое, чего и в ум не входило царской думе: чтобы вот русских семейств тысяч три, четыре переселить в Московщину, а москвитян столько же тысяч переселить сюда, да чтобы во всех городах поселить воевод царских с ратными людьми... Затем переписи...

— Ах, он христопродавец, Иуда! — заволновался дед, тряся головой и руками. — Да слыханное ли дело, чтобы такое было предательство! Да ведь мы все, с покон веку равны и земля Господом Богом всем нам дана... Да ведь из-за этой самой земли, да из-за вольности, да из-за веры и бились мы век целый с ляхами, а он, изменник, посягнул и на людское добро, и на веру! Выселять, уничтожать задумал родной люд. Да до такого не доходили еще и ляхи...

— С роду веку, — отозвался Ханенко, — если они и делали прежде подлости, так теперь лихо их надоумило: научит нужда корки есть.

— Коли — еще с салом, — заметил куренный.

— Эх, горбатого, панове, разве могила выправит, — вздохнул Богун. — Вернулся это из Москвы Бруховецкий боярином да еще с княгиней, пожалованный поместьями, а его свита, "почт" войсковой, вернулась дворянами и тоже с "маеткамы" — ну, и задрали носы, особенно гетман, так что ни приступу, все ахнули; а как узнали про его ходатайства, так воем завыли и заломали руки, проклинаячи своего гетмана, вот оттого-то все нам и обрадовались, как избавителям. Так ляхи, а особенно этот дьявол Чарнецкий, опять-таки себя показали: стали грабить, жечь, разорять Божьи храмы, над святыней "знущаться". Нет, не заступайся, — остановил он жестом Ханенко, — не стоит! Сразу переменялось к нам сердце народа, стал он примыкать к русским воеводам и отражать ляхов, а особенно взбудоражил народ кошевой наш Сирко: он "щыро" верит, что одна Москва православная может лишь быть нам охраною, что это только наши "перевертни" подбивают ее, а что, во всяком случае, во сто раз больше бед от ляхов и невер, их-то кошевой всей душой ненавидит, ему хоть свет завались, а лишь бы татар бить.

— Да что ж Сирко, — вставил как-то пренебрежительно Ханенко, — казак-то он отважный, "голинный", удалец завзятый, да характером не тверд, все сгоряча, с "запалу", забьет ему кто в голову гвоздь, он и ломит в одну сторону, пока другой этого гвоздя не вышибет.

— Не люблю я, брате, коли ты отзываешься про нашего батька негоже, — заметил Богун, — коли б у нас было побольше таких честных да "щырых" душ, как у Сирко, так может быть не стонала бы так и не корчилась в крови Украина... Я уж и не говорю, что на поле его не сломит никто, не даром и "характерныком" прозвали; он человек не продажный, неподкупной и любит родину, головой за нее ляжет, а если бы даже и ошибся в своих думках, так кто же теперь в таком омуте разыскать сможет правду... Ну, вот нас и погнали с Тетерей назад: ляхи бросили его, а на "сем боку" Днепра началось тоже повстанье против Тетери и его ляхов... Тетеря обвинил нарочито Выговского в этой "завирухе" и схватил... Клялся тот перед ним, что не виновен, требовал трибунального суда, а Тетере — плевать! Даже исповедаться и приобщиться перед смертью ему не дал, а велел застрелить, как собаку... Молча перекрестился дед, и все вздохнули.

— А Чарнецкий тем временем навел на нашу бездольную Украину татарву и бросился усмирять непокорных, — продолжал Богун. — Господи! сколько полилось невинной крови!.. Солнце праведное не могло ее высушить, так она лужами и стояла! А татары рассыпались "загонами" по нашей земле, и запылало кругом, небо "почервонило", покрылось дымною мглой, а воздух наполнился гарью человеческих тел... С одной стороны грабят татары, режут, уводят в полон, а с другой — Чарнецкий сметает с земли села... Все поголовно "катуе", на колья сажает... Эх, да и есть ли на свете другая такая мученица, как наша Украина!

— Да что ж мы, да как же это? — простонал как-то взволнованно дед, утирая глаза.

Все потупились мрачно и не проронили ни слова. В упавшей тишине слышался вдали топот коня, он то усиливался, то затихал.

Дед насторожился.

IV

В это время баба и две девчины. принесли вечерю, — целую макитру гречаных галушек. с таранью и огромную миску вареников, да сулею "оковытой", и отвлекли внимание.

— Ге-ге, — улыбнулся, расправляя усы и засучивая рукава, Сыч, — славную вечерю приготовила нам баба, дух такой пошел, что душу к "оковытой" так и тянет... А вот, — обратился он к Богуну, — и твоя любимица, моя внучка Галинка... Полюбуйся, как выгналась, как лозинка "гнучкая".

— Ай, ай, ай! Моя "красунечка"! — воскликнул радостно Богун, — давно ли козочкой прыгала, на колене у меня "гойдалась", а я припевал ей: "ой, тоси-тоси, — кони в гороси!" А теперь дивчина, настоящая дивчина! Да какой еще полевой цветик! Что же к дядьку своему не подбежишь?

Вся раскрасневшаяся от радости и похвал, с горящими глазками, стояла нерешительно Галина, конфузясь при других броситься, как прежде, к дядьку на шею.

— Что же ты, Галюню? Испугалась, что ли, меня? — промолвил после паузы, вставши, Богун, — Так мы вот как теперь! — и он обнял смущенную девушку и чмокнул громко в обе щеки, а Галинка поцеловала украдкой его в руку.

— Дочка моего лучшего покойного побратыма, — обратился он ко всем, — славного на всю Украину казака Морозенка.

— Морозенка? Олексы? — изумились все.

— Да, моего зятя, — ответил, подавивши глубокий вздох, дед, — на дочке моей на Оксане был женат... А как его убили, и моя единая дочка умерла втоски, так я с Галиной и поселился здесь.

Дед налил всем ковши, и "оковыта" была выпита с обычными приветами и пожеланиями, особенно относительно безотрадной, несчастной родной страны. Словно обрадовавшись вечеру, чтобы хоть чем-нибудь перебить тяжелое настроение, все набросились на нее с жадностью и молча стали утолять голод.

Девчата стояли тут же и прислуживали дорогим и важным гостям. Когда миски и макитры были опорожнены, и казаки, утирая лбы и усы, перешли к прохладительным напиткам, то

разговор опять начал завязываться.

— Взалкал, и утоли глад мне Господь, — перекрестился набожно Сыч, — Ну, теперь примемся, мои дружи, за наливки... да и мед старый у меня отыщется для приятелей, благодаря одному бенедиктину, упокой Господи его душу. А вы, дивчата, приберите все лишнее да принесите сюда хоть два барылка, да и фляжек тех, что мохом обросли и стоят в дальнем "льоху", также притащите сюда штук пять, шесть. Так, так-то, дружи мои, — обратился он ко всем, наливая в кухни темно-малиновую жидкость, — там канчук, а там кнут, — всюду "скрут"! Ох, ох, ох! Помереть-то лучше, чтобы и не слышать такого... Ну, а что ж этот пес, Чарнецкий, все еще неистовствует?

— Неистовствовал, — подчеркнул Богун, — епископа Тукальского и архимандрита Гедеона Хмельницкого сослал было в Мариенбургскую крепость. Тетеря же со своей стороны грабил где мог и что мог, послал Дрозденко и тот ободрал несчастную вдову Тимкову, Домну Роксанду, — сама едва живая ушла. Поднялся везде против таких извергов люд; иные целыми лавами двинулись на левый берег Днепра, а другие стали собираться в "купы" и защищаться, а поляки со своей стороны составили конфедерации, наконец-таки Чарнецкий подох, а Тетеря не мог уже держаться среди общей ненависти и удрал в Польшу.

— Слава тебе, Боже, и долготерпению и милосердию Твоему слава! — перекрестился набожно дед, — хоть отдохнула, наконец, наша "ненька".

— Ох, не так-то и отдохнула, да и придется ли ей когда отпочить? — вздохнул безокий куренной. — Куда ни глянь, гвалт, да крик, да разбой, словно подурели все, головы потеряли. Выбрали не так давно гетманом Петра Дорошенко, и король утвердил его, даже уважил просьбу нового гетмана и выпустил на волю Тукальского и Хмельницкого; а тут появился еще другой гетман Опара, управился Дорошенко с ним — появился Дрозденко, сломил и того, появился Суховий. Такое завелось, что, почитай, каждая просто "купа" хочет завести своего гетмана, а казацкие войска и туда, и сюда. Настоящие-то казаки стали переводиться, то в шляхту "пошылысь", то своими пасеками занялись, а вместо себя стали поставлять в войска наймитов. Только кому скрутится, а нашему "поспольству" так смелется! В таких беспорядках ни сеют, ни жнут, а с голоду пухнут; прежде было хоть эконома закупают, да и придбают себе стожок, другой, а теперь так пустошь все и лежит. Ну, какого бы, кажись, лучшего гетмана, как Петра? "Щырый" и правдивый, отважный, стоит за единую Украину, так нет!

— Так кто ж у нас теперь гетманом, и не разберу, — развел дед руками, — Дорошенко, чи Бруховецкий?

— На Левобережной Украине — Бруховецкий, а у нас Дорошенко, — ответил Богун. — Разорвали, выходит, пополам предковскую русскую землю, и братья на братьев встают... Днепр краснеет от сыновней крови... Бруховецкого и там ненавидят, а он лезет еще сюда, берет Канев... наш-то Дорошенко про одно "дбае", чтоб Украину вместе соединить, хоть и под Московской державой, да вместе, а вот слух прошел, что царь заключил с ляхами Андрусовский мир и от нас откинулся... Если мы останемся разорванные надвое, то гибель всем, да и только!

Тяжелый вздох вырвался из груди у деда, как леденящий порыв зимнего ветра.

Орыся принесла увесистое барылко и поставила посреди "кылыма", а Галина разместила на нем же полдюжины фляжек и остановилась в стороне, готовая каждую минуту к услугам.

Богун долго и нежно смотрел на эту милую, грациозную девушку и переживал в душе какие-то

давние, дорогие ему впечатления.

— Ох, — вздохнул он потом, проведя рукой по челу: — сколько это милое личико пробудило воспоминаний... Красавица мать ее... Богдан "незабутный". Семья его... Субботов... Сколько сил душевных было там, сколько грелось надежд! — Все прошло, все минуло... Дорогие лица спят под землей...

Словно похоронный припев прозвучал его голос и наваял на всех щемящую "тугу" — печаль. Все смолкли и задумались...

Стояла уже тихая, теплая ночь... Внизу подымался с речки туман и наполнял легкой влагой воздух... Вверху в бездонной синеве кротко мерцали звезды... На дальнем горизонте из-за могилы выплывал ярким заревом месяц. Было так тихо, что из дальнего степного озера доносился треск коростеля, перемежающийся с заунывным стоном лягушек.

Вдруг послышался вновь, но уже близко, на той стороне речки, торопливый, приближающийся топот коня и всплески воды, потом на этой уже стороне какой-то короткий храпящий стон, барахтанье и грузное падение тяжелого тела. Все всполошились и поднялись на ноги.

— Что-то неладное, — заговорил после небольшой паузы дед, — пойдете, панове, посмотрим... Гей, Немото, — крикнул он по направлению к землянке, — фонари давай! Отсунь ворота!

Вскоре Сыч с немым наймытом и гостями спустились по небольшой покатости к речке. Долго искать было не нужно; тут же сажень в пяти, на берегу, поросшем низким "осытнягом" и татарским зельем, виднелась лежавшая туша. Бросились к ней и остолбенели от ужаса: то оказался мертвый, холодеющий уже труп коня, на спине которого привязано было сетью веревок полуобнаженное, окровавленное, истерзанное человеческое тело; веревки в иных местах впились в него до кости, в других — стерли всю кожу, на зияющих ранах прикипели и болтались обрывки одежды, и одежды богатой. Дед бросился к трупу, приложил ухо к обрызганной за пекшейся кровью груди и через минуту промолвил:

— Он жив еще... сердце бьется... Помогите развязать поскорее!

Богун бросился перерезать кинжалом веревки, другие стали приподымать коня, навалившегося на ногу несчастной жертвы какого-то зверства; безжизненный, таинственный всадник был привязан на спину головой к крупу, а ногами к шее коня. Вследствие долгой, бешеной скачки и ослабления веревок, тело страдальца съехало вниз со спины, но, по счастливой случайности, издохнувший конь упал на другой бок.

Провозились все-таки порядочно, пока освободили от пут бездыханного седока и положили его на керее. Лицо несчастного меньше всего пострадало: оно было молодо и прекрасно; тонкие черты его, расположенные с гармонической прелестью, невольно влекли к себе каждого, матовая бледность изнеженной кожи оттенялась темно-каштановой волнистой чуприной, подбритой изящно, по тогдашней моде, в кружок; все это — и лицо, и прическа, и клочки "оксамыта", шитого золотом, — свидетельствовало о франтовстве и знатности "юнака".

Дед усердно стал растирать ему грудь и старался влить в стиснутый рот несколько капель горилки; Богун, Палий и Ханенко терли руки и ноги; остальная дворня с фонарем и головнями столпилась вокруг; только две девчины скромно стояли у ворот, сгорая от любопытства, узнать: в чем дело? Кого спасают? Кто он? Какой? Посланная на разведку баба вернулась с неопределенными ответами, заинтересовавшими еще больше девчат.

А старания деда и казаков хотя медленно, но возвращали молодой труп к жизни; сердце в нем начинало явственнее и правильнее биться, дыхание восстановилось, теплота зарождалась в окоченевшем, покрытом страшными язвами теле.

— Будет жив, коли Бог даст, — промолвил, наконец, поднявши голову, дед, — дышать начал и теплеть. А мы вот что, — обмоем ему здесь раны хоть немного, да перенесем в хату.

— Там скорее согреется и отойдет... тогда можно будет уже перевязать их и осмотреть, нет ли где перелома?

Принесли деду сейчас же воды и ветоши, сорвали осторожно прикипевшие к крови лоскутья и стали еще осторожнее промывать раны; при прикосновении к более жестоким язвам тело несчастного вздрагивало, и эти конвульсивные подергивания радовали деда.

— Э, вздрагивает, "выдужает", — шептал одобрительно Сыч, осторожно отмачивая и отдирая присохшие куски "оксамыта", — уж коли чувствует боль, так это к добру... к добру... "Омыеши иссопом и паче снега убелюся"... — приговаривал он, придя в хорошее расположение духа.

— Кто бы он был? — не то спросил, не то с собой рассуждал Богун, присматриваясь к неподвижно лежавшему телу. — Молодой совсем, статный, красивый... очевидно панской крови и эти клочья дорогой одежды, а вон, перстень на руке какой? Ведь его не вберешь и в тысячу злотых... да и по лицу видно, что шляхтич... не наш, конечно, не наш.

— Как не наш? — отозвался Палий, помогавший деду. — А вот, поглядите, крест золотой на шее... не католический.

Все нагнулись, чтоб рассмотреть большой крест, висевший у незнакомца на шее, и были изумлены: крест был несомненно греческий, с греческой даже надписью и свидетельствовал о православном вероисповедании предполагаемого шляхтича.

— Кто ж бы он был? — рассуждал безокий куренной. — Не сичевик, не братчик, я своих всех знаю, а этого ни разу не видал ни в Базавлуке, ни на Хортице... Разве кто из нашего значного казачества, либо сын которого... Только какой же дьявол с ним такую штуку сыграл?

— А какой же, как не ляшский, — заметил Палий, — татарин бы так "знущаться" не стал, а тем паче наш брат над своим братом.

— Пожалуй, что так, — согласился безокий, — королятам-то под руку такой "глум" над схизматом, вот коли б не прибрал черт до пекла Чарнецкого или Яремы, то я б на них и подумал.

— Стойте, панове, — отозвался наконец Ханенко, все время присматривавшийся к юнаку, лежавшему все в бессознательном состоянии, — а осветите-ка больше лицо его... так, вот так... Да он же, он! — воскликнул наконец уверенно пан полковник, — видел раз, и узнал, нет сомнения, что он.

— Кто же, кто? — заинтересовались все.

— Да прозвище забыл, какое-то чудное: не то "мазыло", не то "репа". А года четыре назад... так-так, года четыре, не больше, приезжал он в лагерь наш королевским посланцем, — привозил Тетере гетманские клейноды. Ну, мы не приняли их, конечно, от такого молокососа. Возили же нам прежде эти клейноды почтенные сановники польской короны, а теперь вдруг явился свой брат, почти безусый, ну, и прогнали.

— Не много же ты сообщил, друже, — махнул седыми усами дед.

— Сколько знали, столько и знаем. Помогите-ка теперь, прикройте его другой кереей и отнесите в хату, там на "полу"[5] ему будет отлично и просторно.

Больного понесли в хату; Галина с подружкой опередил» это шествие и успели постелить на "полу" два мягких "коца" закрыть их рядом, а под бока и голову намостить подушек после чего торопливо ушли в темные сени и притаились там, желая хотя украдкой взглянуть на умиравшего. Им удалось это, когда отворилась дверь в хату, и передовой Палий поднял высоко фонарь.

— Ох, какой "молоденький", — всплеснула руками Галина. Краснощекий да чернявый, как жук, — прыснула тихо Орыся, спрятавшись шаловливо за плечо подруги.

— Как краснощекий? Белый, как полотно, бледный, как смерть.

— Да ты про кого?

— Про того, что понесли.

— А я про того, что фонарь держал, — рассмеялась неудержимо поповна.

— Цыть! — испугалась даже Галина, — облают. И как таки не грех — паныч умирает, а ты хохочешь.

Но Орыся еще пуще рассмеялась и, во избежание скандала, удрала из сеней во всю прыть.

Долго возился у постели больного дед; перевязывал ему раны, прикладывал к ним какие-то листья и свои снадобья. Между тем тело юнака теперь уже не только было тепло, но начинало гореть; у больного, видимо, развивалась горячка.

V

Управившись, дед попросил гостей отдохнуть: на душистом сене, под навесом в саду, были разостланы для них ковры и подушки.

— Дивчата мои покараулят его ночью по очереди, и коли что, меня известят, а то я и, сам буду наведываться, — сообщил о своих мероприятиях дед, провожая гостей.

Галина, посланная им, робко вошла первая в светлицу. Больной, забинтованный, одетый в белую сорочку, лежал на подушках неподвижным пластом; он был прикрыт под руки сероватым рядом; в головах у него теплился высоко на полочке "каганец"; мерцающий свет его слабо освещал хату, погружая углы ее во мрак, и падал лишь светлым пятном на лицо умирающего: теперь оно при этом освещении, оттененное разбросанными по подушке прядями темной "чупрыны", казалось еще бледнее, еще прекраснее, особенно рельефно выделялись на нем из-под смело очерченных бровей изящнейшие овалы сомкнутых глаз, опушенные почти черными дугами.

Галина долго стояла у печки, не шевелясь и не отводя глаз от больного; если бы не легкие тени, пробегавшие иногда по этому неподвижному прозрачно-восковому лицу, она бы приняла его за мертвеца... И то, в минуты полного оцепенения больного, у девчины пробегала по спине дрожь, а ноги порывались унести ее из светлицы; но Галину удерживала на месте неведомая сила: в ней чуялись — и жалость, и сострадание, и какое-то родственное влечение сердца, и

страх.

Никогда она не видала еще на этом счастливом хуторе умирающих, и вот это первое страдание поразило глубоко ее чуткую душу. Глаза девушки, полные слез, приковывались к этому безжизненному лицу, молодое сердце ее волновалось впервые новой, жгучей скорбью. Да, ей бесконечно было жаль этой молодой жизни, гибнувшей от зверского насилия убийц, гибнувшей так рано. так мучительно... И Галина неподвижно стояла.

В хате было душно, пахло васильками. В мертвой тишине слышался только шум тяжелого дыхания больного, да легкое потрескивание светильни, да вздохи... Виновницей последних она была сама, но этого не замечала.

— Кто он? Откуда? За что его убили? И как, верно, будут плакать о нем мать и отец? — копошились в ее головке смутно вопросы, но она не подыскивала им ответов, а чувствовала лишь в сердце своем едкую боль, и этой боли не гнала прочь, а еще бередила: вспомнилось Галине и свое сиротство, и безвременно погибшие "ненька" и "батько". Взволнованное, потрясенное сердце ее щемило еще сильнее, из глаз катились крупные слезы... — Я ж сирота, одна на свете. Вот только дид, мне бы и умирать "байдуже", а вот он, молодой да хороший — ему тяжело... да и роду его... По мне бы, коли б не дид, никто и не заплакал, а по нем, — вздохнула она глубоко и, сжав руки, произнесла громко растроганным голосом: — Господи, "зглянься"! Спаси его!..

Вошла Орыся. Галина вздрогнула, оглянулась и знаками удержала ее от болтовни, жажда к которой так и играла в ее задорной улыбке.

— Молчу, молчу, — прошептала та, подходя ближе, — нет, гарный паныч, правда твоя, — заметила она, переходя немного, — только тот живой, чернявый, с пекучими глазами лучший.

— Страшный, "вытришкуватый", глазастый, настоящий цыган, — промолвила беззвучно как бы про себя, Галина, — а этот, такой жалкий, такой любый!

— А я бы, коли б не Остап, лучше того выбрала.

— Как выбрала? Чтоб лечить?

— Ну, вот! — засмеялась тихо Орыся. — "Чтоб лечить", — чтоб любить, да ласкать, а лечить так и этого ни к чему: все, равно умрет...

— Что ты? На Бога! — всхлипнула по-детски Галина. — Чего ты такое лихо пророчишь?

— Умрет, попомнишь мое слово, умрет, — загорячилась Орыся.

Но в эту минуту вошел Сыч, и девчата замолкли. Он осмотрел больного, ощупал его тело и одобрительно кивнул! головой, потом настоятельно потребовал, чтоб Галина ушла отдохнуть, а сам остался при больном с Орысей. Утром казаки собрались в дорогу. Несмотря на просьбу деда и его внуки Галины, Богун никак остаться не мог. Он спешил со своими товарищами по важному делу от Сирка к новому гетману Дорошенку, а Ханенко спешил в Умань. Последний перед отъездом еще раз зашел в светлицу, взглянуть днем на больного, метавшегося в беспробудном сне, и подтвердил, что он не ошибся, что это именно тот самый, которого он видел и добре запомнил.

— Так ты бы, голубе сизый, расспросил других, кто он, — сказал Сыч, — дал бы его родным знать, а то не ровен час... Надея-то у меня есть на Бога, да что-то несчастному память забило

— не зашиб ли ему головы на бегу как-либо конь? Ханенко обещал на обратном пути из Умани все разведать. Богун, обнявшись несколько раз горячо с Сычом, поцеловал в голову его внучку и подарил ей на "бынды" и на манисто пять дукатов; но этот подарок не обрадовал, как прежде бывало, девчины; она поцеловала дядька полковника в руку и стояла тихая да печальная с глазами, полными слез.

Гости уехали, двор опустел. Обитатели этого заброшенного в безбрежной степи жилья принялись снова за свои обычные труды и заботы; только дед с девчатами неотлучно засел в светлице у постели больного.

Последний становился с каждым днем беспокойнее, — метался, стонал и не приходил в сознание. Что ни делал дед — и хрен, смоченный в сыровцу, привязывал к рукам и к шее, и голову обкладывал изрезанным картофелем и сырой глиной, — ничего не помогало, главное, трудно было влить больному в рот хоть немного варева из чудодейственных дедовских трав, а то бы оно уняло, наверное, "огневыцю", разговравшюся сильней и сильней...

Так прошло три дня, и дед уже начинал, видимо, терять надежду; он становился все пасмурнее и мрачнее и неодобрительно качал головой при перевязке бесчисленных ран. Девчата ходили по светлице на цыпочках, молча, с печальными лицами; даже веселая и жизнерадостная Орыся перестала улыбаться.

После мятежно проведенной третьей ночи больной к утру несколько успокоился, или быть может выбился из сил; губы его от страшного жара потрескались и запеклись "смагою", на бледных щеках появились два алых пятна... казалось, он совсем догорал, и дед с усиливающейся тревогой подходил чаще и чаще прислушиваться к его груди, но вдруг неожиданно и внятно больной вымолвил слово "пить".

Все вздрогнули радостно; Галина всплеснула руками и с немой благодарностью подняла глаза в угол, к темному лику Спасителя.

— Зелья, зелья, давайте скорее!.. Что же вы стали? — прикрикнул с улыбкой дед.

Ожившие девчата опрометью бросились к кухлю... Однако радость Галины оказалась преждевременной. После единственного вырвавшегося у больного возгласа он впал снова в прежнее бесчувственное состояние. Прошел день, другой, но зоркий глаз деда не мог найти никакого признака улучшения, напротив, положение больного принимало угрожающий характер. Лежа на спине неподвижно, как пласт, с заброшенной головой, с закрытыми глазами, он не произносил ни слова, ни звука, ни стопа. Если бы не густой зловещий румянец, покрывавший его щеки, да не жгучее, порывистое дыхание, вырывавшееся из полуоткрытых запекшихся губ, — его можно было бы принять за мертвеца. "Огневыця" разгоралась все больше и больше в его истерзанном теле. Несмотря на холодные тряпки, которые Галина постоянно прикладывала к его голове, несмотря на картофель, на глину — голова больного горела, как в огне, лицо его пылало, кожа на теле была так суха и горяча, что казалось, можно было и на расстоянии ощущать исходящий из нее жар.

— Диду, диду, умрет он, или останется жить? — спрашивала у деда Галина, переводя свои полные слез глаза с лица больного на лицо старика.

— Как Господь милосердный захочет, так и будет! Рече бо и быша, повеле и создашася, — отвечал дед, угрюмо посматривая на больного.

— Так будем же "рятьвать" его, диду! — хватала старика за руку Галина, — ведь нельзя же ему умереть!

— Как тут "рyтувать"? Вот если заснет, тогда можно будет надеяться, а если нет...

— Да ведь он же спит все время!

— Спит, — качал головой Сыч, — есть, дытыно, разный сон. Коли сон темный, так это только "навмырyще", а светлый сон, легкий, ну, тогда уж верно, что жив будет.

— Так что же делать, дидусю?

— Молиться. Вот если б акафист, или молебен с водосвятием, да напоить святой водою!

— Так послать бы за татом Орыси, за отцом Григорием!

— Близкий свет! Хотя я и сам про то думаю... раны-то ничего, не чернеют, вот только эта "огневыця" мне не по сердцу, ох, не по сердцу! — вздыхал Сыч и отходил в сторонку, а Галина снова садилась у изголовья больного.

С тех пор, как она увидела его полумёртвого, истерзанного, мысль о его спасении всецело захватила ее. Она не отходила ни на минуту от больного; все ее доброе, чуткое сердце имевшее так мало объектов для любви и привязанности, прониклось чувством бесконечной жалости к несчастному, молодому шляхтичу. С какой материнской, нежной ласкою склонялась она к больному, проводя своей нежной рукой его пылающей голове; как жадно прислушивалась она к малейшему шороху, боясь не расслышать его голоса. Она спускала с него глаз, стараясь уловить его малейшее движение; она наломала в саду лопухов и обмахивала ими беспрерывно лицо больного, думая хоть этим уменьшить изнуряют его жар.

Сыч любовным взглядом следил за нею, когда она бесшумно скользила вокруг больного, во всех ее движениях, во взгляде, во всем ее существе было столько трогательной любви и заботы, что нельзя было не умиляться, глядя на нее. Даже Орыся, помогавшая во всем подруге, не могла надивиться ее уменью ухаживать за больным. А баба, смотря на то, как ловко помогала Сычу Галина перевязывать и промывать раны больного, шептала только тихо, покачивая головой: "Сказано, Божья душа".

К концу второго дня у больного появились какие-то беспокойные движения.

— Диду, смотрите, ему уж лучше, он шевелится, — прошептала радостно Галина, заметив первая эту перемену в состоянии больного. Но Сычу это известие не доставило большого удовольствия: он посмотрел внимательно на больного, дотронулся до его тела рукой и сомнительно покачал головой.

К ночи жар в теле больного еще усилился; он метался по постели, срывая свои перевязки, порывался с такой силой схватиться с места, что Сычу стоило большого труда удержать его. Но к утру силы больного совершенно упали; тело его стало холодно, лицо побледнело, буйные порывы исчезли. Сыч снял перевязки с его ран, промыл их, затем осмотрел тело больного, и лицо его приняло крайне озабоченное выражение.

— Что, что там такое, дидусю? — нагнулась к нему испуганная Галина.

— А вот что, дытыно, — указал он ей на обнаженную рану больного. По внутренней стороне руки шел ряд красных пятен, такие же пятна виднелись и по всему телу.

— А что, это очень погано, диду? — спросила Галина дрогнувшим голосом.

— Погано, дытыно, — ответил серьезно Сыч, — будем надеяться на Бога!

К полдню у больного начался страшный озноб, а через час, через два сменился он нестерпимым жаром, который к ночи перешел в бред. Больной стал снова яростно срывать свои перевязки, грозить кому-то, кричать, и вдруг среди воплей и криков он открывал глаза и начинал шептать какие-то ласковые невнятные слова. Так прошел день, другой, третий; озноб перемежался с жаром, но с каждым днем приступы жара становились все сильнее и сильнее.

Галина с трепетом следила за этим горячечным проявлением жизни, прислушивалась к словам больного, стараясь уловить в них его желания, но в безумных отрывочных фразах и выкриках больного она не могла уловить смысла.

То он нежно шептал кому-то: "Радость моя! Счастье мое... Ты как солнечный, весенний луч здесь, на чужбине... и отогрела и оживила... умереть за тебя..." То снова тихая речь больного обрывалась, и переходила в раздраженный, угрожающий тон: "Я не хлоп! Не быдло! — выкрикивал он — мы такие же вольные люди и носим сабли! Что? Связать меня? Не подходи, на месте положу! Ироды! Кровопийцы!" — выкрикивал он, порываясь подняться с подушек и снова падал в изнеможенье назад.

Вслушается дед в этот бред, покачает головой и промолвит:

— Эх, бедняга! И тебе, верно, довелось от панов попробовать "пергы", как и нам, грешным.

— Какой "пергы", диду?

— А той, доню, горькой, что от меду отбрасывают!

— Диду, да как же они смеют, эти паны, издеваться над всеми, почему, отчего? — заволнуется Галина.

— Как смеют? — улыбается Сыч. — Агнец ты Божий! А так смеют, потому что у них руки длинные, а потому они у них такие длинные выросли, что у других все время связанные были.

Галя взглянет тревожно на деда, а потом на больного и с болью в сердце закусит губу.

Так прошло еще дня три, и с каждым днем положение больного, видимо, ухудшалось.

VI

Было раннее утро; с больным вновь начался озноб; Сыч и Галина ожидали с минуты на минуту приступа жара, Орыся была тут же. За последнее время она сильно соскучилась пребыванием в степи, часто вздыхала, задумывалась и с нетерпением ожидала приезда своего отца, священника из ближайшего левобережного села.

Охваченная вся страстным желанием спасти умирающего, Галина не замечала настроения своей подруги, так и теперь сидела она неподвижно, не спуская глаз с больного; тело его перестало вздрагивать, на бледном лице начинал проступать лихорадочный румянец, из полуоткрытых, запекшихся губ начинало вылетать порывистое дыхание. Вдруг больной вздрогнул с ног до головы и, открывши глаза, обвел всю комнату горящим, безумным взглядом; затем он быстро сорвался с подушек, одним порывистым движеньем сбросил с себя рядно и, севши на своей постели, устремил глаза в дальний угол. Его прекрасное лицо было страшно в эту минуту; глаза с каким-то безумным ужасом вперились в пустое пространство, губы беззвучно зашевелились. Вдруг страшный дикий крик вырвался из его груди, больной

рванулся назад и, вытянув вперед худые руки, словно стараясь защитить себя от какого-то невидимого врага, заговорил хриплым, прерывающимся шепотом:

— А! Ты опять здесь... пришел терзать меня?.. Сколько раз хочешь ты убить меня? Сколько раз, спрашиваю? Говори, говори! Говори же, трус! — закричал он диким голосом. — Чего ж стоишь, чего смотришь?! Чему смеешься, гадина?!

— Диду, — вскрикнула от ужаса Галина, — что с ним?

— Ему представляется, видимо, то лихо, что стряслось над его головой... Это все "огневыця"... уложить бы лучше.

Орыся подошла осторожно к больному, он все еще смотрел неподвижными, широко раскрытыми глазами в угол, пораженный каким-то ужасным видением, и вдруг, словно заметив приближающихся к нему деда и Орысю, порывисто откинулся назад и вскрикнул злобно:

— Засада! А, вас пять, а я один! Ха, ха, ха! — запрокинул он голову и разразился диким хохотом, — ха, ха, ха! "Шляхетный вчынок", пане! Ну, что ж, — я не скрываюсь. Оскорбил, так оскорбил, — продолжал больной с какой-то гордою улыбкой. — Жена! Ха, ха! Ты-то ее как поважал? Ну, вынимай саблю... Я готов сразиться... Я готов сразиться со всеми вами! Я готов! — повторил он настойчиво, нахмутив брови, и вдруг остановился, умолкнул, словно прислушиваясь к чьим-то словам.

— Ой, дидуню, дидуню! — всплеснула руками Галина.

— Тише! Цыц! — махнул на нее рукой дед, — подай скорее натертого хрену и ветошки.

— Что!? — вскрикнул бешено больной, вскакивая с постели и поворачиваясь к ним с безумным пылающим лицом. — Ты не станешь сражаться с хлопом? Ты прикажешь своим слугам разделаться со мной? Так погоди же, с Мазепой разделаться не так легко! Где же сабля? Где сабля? — хватался он в отчаянии за пояс руками, и, не находя ничего, закричал диким голосом, — ты, ты? Низкий трус, посмеешь сделать это? — и ринулся вперед.

Девушки отскочили с криком. Дед подкрался тихо и поднял с полу рядом.

— Связать?! — продолжал в исступлении больной, — меня, меня, Мазепу, чтоб хлопы вязали!? — Нет! Не удастся! Убью! Задавлю вот этими руками! А! Вот готов один... другой... — рычал он, срывая с лавы подушки и судорожно сжимая их в своих руках.

В это время дед накинул его сзади рядом и крепко охватил руками. Прикосновение это привело в бешенство больного.

— Прочь, прочь! — закричал он, вырываясь от деда. — Предатели... схватили сзади... безоружного! Нет! Нет! Еще есть сила! Живым не дамся! — метался он, стараясь вырваться из объятий деда.

— Диду! На Бога! Не мучьте его! — крикнула со слезами Галина.

— Молчи, дытыно, его надо уложить! — ответил Сыч, делая знак Орысе, чтоб та помогла ему уложить больного на постель.

Но исполнить это оказалось очень трудным. С хрипом и визгом хищного зверя больной впился

зубами в плечи Сыча, вцепился ногтями в его тело. Багровое, искаженное отчаяньем лицо иступленного было ужасно.

— Будь ты проклят, трус! Иуда! — хрипел он, задыхаясь. — Вот что ты придумал для меня? А... конь?! — бросился он вдруг с диким криком в сторону и, запутавшись, упал на кровать. Сыч воспользовался этой минутой и набросился с Орысей пеленать его. Почувствовав на себе тяжесть Сыча, больной судорожно забился в подушках. — Пустите! Пустите же, хамы! Люди! Да неужели же Бога нет у вас в сердце? — стонал он раздирающим душу голосом. — Режут веревки! Добейте лучше! Бросьте под копыта! На Бога! — Но Сыч уже не выпускал его.

Не было сил наблюдать эту сцену.

— Диду, диду! — бросилась к Сычу с рыданьем Галина, — оставьте его, не давите!

При звуке ее голоса больной вдруг вздрогнул весь, приподнялся на локтях, впился в лицо Галины каким-то безумным взглядом и лицо его осветилось диким, злорадным выражением. — А и ты здесь, — зашептал он, — плачешь, плачешь теперь? А раньше почему не ушла со мной, как говорил тебе? Пани, шляхетная пани! — продолжал он язвительно, — поиграть хотела с казаком! — И вдруг закричал снова диким голосом, протягивая вперед руки, словно старался оттолкнуть какое-то неизвестное существо: — Прочь! Прочь! Не надо мне твоих продажных слез. Я ненавижу, слышишь, ненавижу тебя, всех вас, всех, всех! — Голова его запрокинулась, он упал на подушки; казалось, силы совершенно оставили его; Сыч воспользовался этой минутой и, спеленав предварительно ноги, начал с Орысей пеленать и руки. Но едва он прикоснулся к ним, как бешеное сопротивление» охватило больного с двойной силой.

— Пустите, пустите! — закричал он, стараясь вырваться из крепких объятий Сыча, — я не позволю привязать себя. Веревки впиваются в тело! Жжет меня! Жжет огнем! Спасите! Спасите! — стонал он, напрягая свои последние силы. — На Бога! Нет никого! Лес... сучья... терновник... Воды! Задыхаюсь!.. Смерть! — рванулся он вдруг с такой силой, что даже оттолкнул Сыча и грохнулся всей тяжестью навзничь. И Орыся, и Галина в ужасе бросились к нему, но Сыч остановил их.

— Тише, дивчата, не тревожьтесь, теперь только укрыть его, будет уже лежать тихо. Ишь ты, бездольный, видно "добре" тебя вымучили паны, — покачал он головой, старательно укутывая больного, который теперь лежал уже неподвижно с запрокинутой головой, с запавшими глазами и словно еще похудевшим лицом.

— Ироды гаспидские, — ворчал дед, поправляя на ранах больного сбившиеся и сорванные перевязки. — Ну, подожди, подожди, даст Бог, может еще выходим, тогда отплатим всем.

В это время у ворот послышался сильный стук и чей-то громкий, молодой голос крикнул вслед за ним:

— Гей, кто там есть? Отворите ворота!

При звуке этого голоса Орыся вдруг покраснела и с подозрительной поспешностью бросилась из хаты.

— Постой ты, "дзыго"! — крикнул ей вдогонку Сыч, но Орыся уже не слышала его, — Верно, панотец приехал. Ишь, как соскучилась за батьком, — улыбнулся он доброй широкой улыбкой и обратился к Галине. — Ну, ты, дытыно, посиди здесь, а я пойду панотца встретить, может он молитву прочтет над ним, и "зглянется" Господь.

Сыч вышел, Галина осталась одна. Она придвинула свой табурет к самому ложу больного и задумалась. Ужасный бред его произвел на нее потрясающее впечатление. Из его отрывочных криков ей было ясно только то, что Мазепа стал жертвой возмутительного панского насилия, и что какая-то пани, вероятно, жена того пана, — решила Галина, — помогала еще во всем этом "гвалти". Картина насилия вставала перед ней, как живая; ей казалось, что она видит страшную борьбу Мазепы, его тщетные усилия освободиться от злодеев, что она чувствует его нечеловеческие муки... И в сердце ее разгоралась ненависть к мучителям-панам и чувство бесконечной жалости к несчастному страдальцу.

— Бедный, бедный, любимый наш! — шептала она со слезами на глазах, наклоняясь к нему и проводя ласково рукой по его голове. — Ты не бойся, мы не отдадим тебя никому, никому. Мы любим тебя, слышишь? Любим, любим, любим! И защитим от всех.

В хате было тихо; слышно было, как билась и жужжала запутавшаяся в паутину муха.

Галина все шептала на ухо больному нежные, ласковые слова, но больной только слабо дышал и не слышал ее слов. Между тем во дворе происходила следующая сцена. Прямо друг против друга сидели в тени вишневого садика Сыч и гость, приехавший в сопровождении трех казаков. Последние, подкрепившись уже всем, что могла достать для дорогих гостей баба, разошлись отдохнуть с дороги. Орыся также куда-то исчезла.

Собеседник Сыча казался гораздо моложе его, хотя волосы и борода его были сильно тронуты сединой, но черные глаза глядели живо, молодо и смело, а во всех движениях его высокой, но коренастой фигуры виднелись сила и здоровье. Одет он был в чоботы, шаровары и в холщовую рясу, скорее похожую на длинный кафтан; только по волосам, заплетенным в тугую косичку, и по кресту на шее можно было догадаться, что это был священник.

— Так-то, панотче, — говорил глубокомысленно Сыч, наполняя медом ковш своего гостя, — недаром говорится: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдутся. Кто бы мог гадать, кто бы мог думать, что мы с вами "спиткаемся" снова и когда? А вот же и свел Господь на храму за Днепром, после двадцати, а то и больше лет.

— Да, да, — отвечал, поглаживая бороду, священник, — во всем Десница Божия. Много воды уплыло. Ты из дьячка запорожцем стал, ге-ге, да ты и всегда был воинствующий... А помнишь, как мы с тобой в Золотарева наш колокол "боронылы"?

— Как не помниты! — вскрикнул шумно Сыч, — ух, распалилось с того дня у меня сердце на этих клятых панов! А потом с нашим батюшкой покойным Богданом...

— Да я и сам, — поправил волосы батюшка, — если б не было тогда пани матки да дробных деток, — ушел бы к нему, ей-ей, ушелбы!

— Ох, ох! И славное ж тогда было время, панотче, — стукнул в восторге Сыч ковшиком по скатерти, — ей-Богу, и душу свою отдал бы, чтоб снова так пожить, как тогда жилось! Вот седьмой уже десяток начинаю, а встань сейчас славный наш гетман Богдан Хмельницкий да крикни, как прежде: "Гей, хлопци-молодци, славни козаки запорожци!" — орлом бы за ним полетел! — Лицо Сыча засияло, глаза вспыхнули. — А как вспомнишь, панотче, наши славные бои, — продолжал он с воодушевлением, — Пилявцы, Жовти Воды, Корсунь, — ей-Богу, от думки одной помолодеешь! А наши лицари, Чарнота, Ганджа. Кривонос, Морозенко! Эх, что там считать! — махнул он рукой, — правда, что и Господу Богу нужны казацкие души, только, как подумаешь, что таким лицарям пришлось умереть, так даже жалко станет, на какого ж беса ты сам остался на свете никому не нужным "шкарбаном"!

— Эх, дяде, мой дяде! — вздохнул батюшка, — теперь нам еще нужнее люди! Вон в оторванной нашей Левобережной Украине что творится? Как лиходействует Бруховецкий? Содом и Гоморра! — священник махнул с отвращением рукой и продолжал: — Слыхал ли ты верно о том, что затевал гетман повсюду?

Сыч только молча кивнул головой.

— Мало ему было всяких мирских мерзостей, так он еще задумал отнять у нас митрополита. Да мы ему дорогу всю палками "загатым", а своего митрополита не отпустим! Наша митрополия первая на всей Руси. Что ж он хочет киевские святыни без митрополита оставить? Нельзя нам у чужих митрополитов в послушании быть. Царьградский патриарх один отец наш, его и слушаем.

Известие это вызвало целую бурю в сердце Сыча. Разговор перешел на современные темы, на низкие происки гетмана Бруховецкого, на ненависть к нему народа, на то, что пора бы "розирваний Украины злучытыся на вики".

Потом Сыч передал о Григорию странное и чудесное появление Мазепы.

— Да с чего бы это они его так замучили, ограбить хотели, что ли?

— Какое! Из слов его я понял, — закачал таинственно головой Сыч, — что как будто это дело из-за пани какой-то вышло, жены, что ли, того пана.

— Вот оно что, — протянул священник, — ну, а как думаешь, выходишь?

— Как Господь милосердный даст... Хотел вас просить, панотче, молитву над ним прочитать.

— Что ж, это можно хоть "зараз", — согласился священник.

VII

Собеседники поднялись и направились к хате. Они застали Галину у изголовья больного. Усталая, измученная своим тревожным состоянием, она задремала, сидя над больным, и только тогда открыла глаза, когда Сыч ласково дотронулся до ее плеча. При виде о Григория Галина смешалась. Сыч подвел ее под благословение к батюшке и затем сказал: "Поищи, дытыно, бабу и Орысю, пусть приготовят все, что нужно, да идут сюда: панотец отслужит над ним акафист с водосвятием, — может, Господь ему сил прибавит".

Галина выбежала из хаты; она обошла двор, пекарню, клуню и нигде не нашла Орысю; но, проходя через садик, она вдруг наткнулась на странную картину: под густой вишней стояла Орыся, только не одна, а обнявшись с высоким, статным, "чернявым" казаком; они о чем-то, видимо, говорили, но при виде Галины вдруг замолчали и сразу же отскочили друг от друга, а Орыся покраснела вся, как маковка. Галина изумилась: чем могла она испугать так Орысю и высокого казака? Подойдя к Орысе, она приветливо поклонилась казаку и попросила Орысю скорее к батюшке. Дорогой она спросила у Орыси небрежно:

— Это брат твой? При этих словах Орыся покраснела еще больше.

— Нет, — произнесла она, опуская глаза, — это казак из нашего села, Остап Глевченко.

— А-а! — протянула Галина, — ты его так любишь? Вся красная и смущенная, Орыся с изумлением взглянула в лицо своей подруги; но Галина, по-видимому, не понимала ее

смущенья.

— Ну, да, я подумала, что ты его любишь, — пояснила она свою мысль, — потому, что ты так обнимала его!

— Галинко, сестрычко моя! — вскрикнула Орыся, бросаясь к ней с восторгом на шею, — не проболтайся только никому о том, что ты видела, что ты знаешь!

— Нет, нет! Только что ж ты боишься? Разве любить грех?

— Дытыночка моя родная! — поцеловала ее еще горячее Орыся, — не грех, нет... А только подожди, все ты узнаешь...

Батюшка отслужил акафист и освятил воду над головой больного; все усердно молились о ниспослании ему сил и здоровья. К вечеру действительно больному сделалось словно немного лучше, припадок "огневыци" был значительно тише, больной не срывался с постели, а только стонал и сбрасывал рядно.

Отец Григорий кроме того освятил и на хуторе воду, исповедал всех и причастил, он всегда, приезжая сюда, брал с собой запасные дары. При отъезде он повторил еще раз Сычу: — Ты смотри, любимый мой дяче, дочку привези к нам в село, не годится, чтобы дивчина дома Божьего до сей поры не видала, да и одичает она у тебя совсем!

— Боюсь я, панотче, ну, да если вы говорите, ваша воля, — согласился Сыч.

Прошел еще день после отъезда редких гостей, припадки больного делались все легче и слабее. У Сыча начинала пробуждаться надежда.

— Вот оно что значит Господня молитва! — повторял он, окидывая всех победоносным взглядом.

Однажды вечером, осматривая тело больного, Сыч позвал вдруг Галя громким и радостным голосом.

— А что там, диду? — подбежала к нему Галя.

— Смотри, смотри-ка, дытыно, — показал он ей обнаженную руку больного, — видишь вот эти пятна, помнишь, какие они красные были, а теперь посмотри!

Пятна действительно из ярко-красных стали бледно-розовыми, а в некоторых местах и совсем исчезли.

— Так-то, так-то оно бывает! — повторял Сыч, подымая и осматривая руку больного, и вдруг крикнул уже совсем весело, — ге, ге, ге! Да этак мы через "тыждень" гопака садить будем! Смотри, Галина, — указал он девчине на большие гнойные нарывы, образовавшиеся у больного под мышками, — вот как оно прорвет все, да как вытянет сюда всю "погань" из его тела, так уж совсем здоров будет.

Предсказание Сыча сбылось. С каждым днем больному становилось все лучше и лучше. "Огневыця" его совсем прошла; он уже несколько раз открывал глаза, но казалось, не мог еще ничего сообразить. Сердце Гали готово было вырваться из груди от радости при каждом его движении, при каждом вздохе, при каждом проявлении пробуждающейся жизни. Наступило уже второе воскресение, после водворения Мазепы на диком хуторе.

Было ясное, летнее утро. Пообедавши рано, и баба, и работники улеглись по случаю праздничного дня спать, кто в клуне, кто в саду. В хате были только Сыч и Галина. Сыч сидел у окна с Евангелием в руках, разбирая с большим трудом по слогам крупные буквы. Галина молчала, прислушиваясь к непонятным для нее звукам. Вдруг в хате раздался чей-то слабый, неизвестный голос: "Где я?"

Сыч отложил книгу. Галина вздрогнула и занемела: этого голоса она еще не слыхала никогда, это был голос выздоравливающего.

— Где я? — повторил снова слабый, тихий голос. Сыч сделал знак Галине, чтоб она не трогалась с места, подошел тихо к больному и произнес, стараясь как можно больше смягчить свой голос:

— На хуторе, у добрых людей.

— Что со мною? — продолжал снова больной.

— Ты был болен, тебе надо лежать тихо, чтоб скорей поправиться.

— Как я попал сюда?

— Узнаешь, друже, потом, а теперь молчи, нельзя тебе говорить. Господь милосердный поправил тебя, вот заснешь, окрепнешь еще, тогда все расскажу.

— Хорошо, — произнес усталым голосом больной, — я засну. — Он закрыл глаза. Сыч хотел уже отойти в сторону, как вдруг веки больного снова поднялись.

— Я засну, старик, — произнес он с трудом, — только ты скажи мне одно, когда я лежал здесь, сидел ли у моего изголовья светлый ангел, или это мне пригрезилось во сне?

— Ха-ха-ха! — засмеялся Сыч. — Где нам, грешным, с ангелами знаться! Это, верно, внучка моя была... Галина! — окликнул он девчину, — поди-ка сюда.

Как ни ждала выздоровления больного Галина, но теперь какая-то непонятная робость охватила ее. Опустивши глаза, несмело подошла она к Сычу и с замиранием сердца подняла глаза на больного.

По лицу Мазепы разлилась слабая краска.

— Ангел, ангел Божий! — вскрикнул он с восторгом, протягивая к ней руки, но здесь силы оставили его, глаза его закрылись, а голова в изнеможении упала на подушки.

Обморок больного испугал было Галину; ей показалось, что с ним начинается снова страшный припадок, но дед успокоил ее.

— Нет, нет, дытышко, — произнес он тихо, укладывая и укрывая больного, — не бойся, теперь уже все на лад пойдет, будет он силами наливать, как молодая почка на деревце.

Действительно (этого дня выздоровление больного начало подвигаться быстро вперед. Однако слабость его была еще так сильна, что он утомлялся от самого короткого разговора, да дед ему и не позволял много говорить.

— Спи, спи только, — повторял он ему, — да ешь добре, а потом уж "набалакаемся". Но больной и не нуждался в этом приглашении: он спал почти целые дни, просыпаясь только для

того, чтобы съесть приготовленную ему пищу. Открывая глаза, он сейчас же искал взглядом Галину и, при виде ее, лицо его прояснилось. Как ребенок, съедал он пищу, которую она подавала ему, и, утомленный этой ничтожной затратой сил, опускался на подушки и закрывал глаза.

— Видишь, дытыно, вот когда он, светлый сон, пришел, — говорил Галине дед, указывая на бледное, но спокойное лицо больного, на устах которого, казалось, бродила во сне какая-то тихая, светлая улыбка.

Мало-помалу взбаламученная жизнь на хуторе приняла свое обычное течение. Убедившись в полной безопасности больного, Сыч начал по-прежнему уходить с рабочими в поле, оставляя больного на попечение бабы и Галины. Так как сидеть подле него неотлучно не представлялось уже теперь надобности, то и Галина мало-помалу возвратилась к своим обычным занятиям: то она кормила своих забытых друзей — кур, уток и белых и серых голубей, сбегавшихся и слетавшихся при ее появлении отовсюду, то поила теплым пойлом свою любимую корову Лыску, остававшуюся теперь с маленьким теленком дома. При появлении Галины во дворе с большой миской в руках, — все устремлялось к ней навстречу. Радостный вой, визг и гоготанье раздавались со всех сторон двора, куры сбегались с громким кудахтаньем, утки торопились, переваливаясь поспешно с одной ножки на другую, голуби, восседавшие на клунях, слетались и окружали ее, усаживались ей на плечи, несмело выхватывали зерна из самой миски, собаки с радостным лаем прыгали вокруг, небольшие, черные, косолапые щенки с пискливым визгом цеплялись ей за ноги, настойчиво требуя, чтобы она взяла их на руки, а из-под навеса раздавался протяжный рев Лыски, напоминавшей Галине о своем существовании. Окруженная этими любящими, ждущими ласки рабами, Галина чувствовала себя королевой. Раздавая всем пищу, она строго наблюдала, чтобы всякий получал свою долю, особенно приходилось ей отбиваться от голубей, окружавших ее целой тучей. — Тише, тише вы, прожоры! — отмахивалась она сверкающим на солнце расшитым рукавом своей сорочки, — всем хватит, никого не забуду!

Но маленькие, серые воришки не слушали ее. А когда, осажденная своими друзьями, Галина оглядывалась на окно хатки и замечала на себе пристальный взгляд больного, она сейчас же оставляла их и подбегала к нему, и спрашивала, не нужно ли ему чего?

— Нет, дивчино, — отвечал он слабым голосом, — мне так хорошо смотреть на тебя!

Впрочем и куры, и голуби, и сама ласковая Лыска не привлекали уже теперь Галину так, как прежде: большую часть времени она любила проводить на "прызьби" у окна больного с тонкой меревкой в руках. Несколько раз больной порывался заговорить с нею, но Галина терялась, конфузилась и под каким-нибудь предлогом выходила сейчас же из хаты.

Прошла неделя. Однажды утром Сыч вошел в хату с высокой кружкой в руках и застал больного бодро сидящим на лавке.

— Ото, сынку, — вскрикнул весело Сыч, — ты, как я вижу, совсем у нас молодец! Вот только пей молочка побольше, да ешь по-запорожски, да это вот зелье, что я принес тебе, употребляй почаще, так мы эту проклятую хворобу через три дня в шею выгоним.

— Спасибо, спасибо, — улыбнулся больной, следя за энергичными движениями чубатого старика, — а вот что хотел я вас попросить, диду: нельзя ли мне "пидголыты" каким способом, вот это, — указал он на свои густо заросшие во время болезни щеки и подбородок.

— Можно, можно! Ишь ты чего заманулося! — вскрикнул шумно Сыч. — Ну, значит уже здоров,

так, пожалуй, скоро и на коня запросишься, ей-Богу!

С этими словами Сыч открыл "скрыню", достал оттуда остро отточенный конец сабли и приступил к операции.

Через полчаса больной лежал уже чисто-начисто выбритый, в белой сорочке, с красной ленточкой у ворота, прикрепленной к рубашке Галиной.

— Фу ты, пожри меня огонь серный! Что значит молодое дело! — вскрикнул Сыч, отступая от больного и невольно любуясь им. — Вот только выбрил, а он тебе сразу и помолодел, и похорошел, словно месяц молодой, что дождем обмылся; а тут, — указал он на свои щеки, — хоть всю шкуру сдери, ничего не выйдет!.. Ну, а теперь изволь-ка выпить этого меду, — пододвинул ему Сыч глиняную кружку. — Много уже ему лет, почитай вдвое больше, чем Галине, я его для дорогих гостей берег, да вот велел теперь внучке, чтоб она тебе каждый день эту кружку наливала, и ты чтоб выпивал всю до дна. Да пей, не бойся! — ободрял он больного, заметивши, что тот выпил всего два глотка, — мед ведь головы не трогает, только ноги, а они теперь у тебя "ледачи", так же служат, как бабе коса!

— Нет, спасибо, — ответил больной, опуская кружку на скамью, — за все спасибо, уж столько вы мне сделали... не знаю, удастся ли и отблагодарить когда.

— Какие там благодарности! — пробурчал Сыч, отворачиваясь в сторону, — нашел о чем говорить!

— Нет, нет, человеке добрый, — возразил горячо больной, — до самой смерти вашу ласку помнить буду. Вы меня от самой лютой смерти спасли, только как, каким образом, до сих пор не разберу и не знаю!

— Да так, очень просто: сидели мы тут, а приехали ко мне Ханенко, да Гуляницкий, да Палий еще был с ними, такой казарлюга ловкий да горячий, словно огонь!.. Да еще Богун.

— Богун? — изумился больной, — полковник гетмана Богдана?

— Ну да, и побратим моего покойного зятя. Так вот сидим мы в саду, только слышим у речки вдруг что-то шлепнулось с размаха в воду, словно большой сом вскинулся...

И Сыч рассказал подробно больному о том, как они нашли его привязанным к лошади без чувств, без дыхания. Как он пролежал долго, почти при смерти, и как, наконец, пришел в первый раз в себя. Больной слушал этот рассказ с хмурым, угрюмым лицом: последний, видимо, пробудил в нем какие-то мучительные воспоминанья.

VIII

— Да где же я теперь? — спросил больной изумленно, когда Сыч замолчал.

— На хуторе, у меня.

— А хутор ваш где, старче Божий?

— Ге-ге! В самой дикой степи.

— В дикой степи? — даже приподнялся на локте больной, — да ведь это значит от Белой Церкви...

— Дня четыре, а то и пять езды, не меньше, если жалеть хоть трохи скотину; только ты, сынку, кажется, об этом не думал, — перебил его, улыбаясь, Сыч. Но больной не заметил его шутки.

— Дня четыре, не меньше, — проговорил он в раздумье, — что ж, это значит, ваш хутор почти у самого Запорожья?

— Почти не почти, а за день до Днепра, а за другой до Хортицы лодкой доехать можно. И туда, как говорят люди, — далеко, и сюда не близко. Видишь ли, хутор мой затерялся в этой степи, как "волошка" в жите. Куда ни кинь, все далеко; если ты начнешь его нарочно искать, никогда не найдешь! Это я сам такое место выбрал, чтоб ни лях, ни москаль, ни татарин меня не трогали и не знали: я сам себе и пан, и гетман!

— Да кто же вы такой сами, диду любый? Скажите мне і хоть, как звать вас, как величать, чтобы знал, за кого молиться Господу милосердному?

— Ну, прозвище мое не от панского колена идет, — Сычом зовут люди, я из казацкого герба "Шыбай-голови". Ха, ха! Ты, может, не слыхал о таком гербе, — есть, есть, ей-Богу, его установил наш батько "зайшлий" Богдан.

— Богдан Хмельницкий? Вы служили при нем?

— В его собственной Чигиринской сотне. Мы с ним, видишь ли, соседи были. Эх, золотое было у него сердце, царствие ему небесное! Жаловал и меня, и дочку мою, покойную Оксану. Когда я из Золотарева на Сечь бежал, — вышла там одна такая закарлючка, — взял он ее, дочку мою, мать вот этой Галины, внучки моей, к себе в дом, как свою родную, и воспитал, да за своего же названного сына, полковника Морозенка, и замуж выдал.

— За полковника Морозенка, за того славного Морозенка, о котором поют песни "по оба пол" Днепра? — вскрикнул в изумлении больной.

— Да, за того самого, он еще, гетман наш "зайшлий", и крестным отцом у Галины был.

— Так, значит, Галина дочь славного Морозенка и тут одна в дикой степи на хуторе... Без всякого "цвеченья"! — заговорил взволнованно больной и вдруг сразу оборвал свою речь. Наступила маленькая пауза.

— Дивишься ты тому, что внучка моя здесь без всякого "цвеченья" на хуторе растет, — заговорил Сыч угрюмо. — Что ж, и сам я об этом думал, только размышляю себе так: Господу Богу лучше всего простотой угодить можно, а не злохитрой, латинской, дьявольской наукой. Наукою ум искусить, а душу погубишь. Как умерли ее "батькы", осталась она у меня маленькой сиротой на руках; взял я, продал все и отправился с нею в "дыки поля": думаю, и ее душу уберегу, и сам уйду от зла, ибо сказано: "блажен муж, иже не иде на совет нечестивых", потому что там в городах, — такое поднялось после смерти батька Богдана, что и не разберешь, ей Богу, кто гетман, кто прав, кто виноват. А я уж стар стал, саблей служить не могу, да и разумом своим не больно "метыкую", ну, подумал: "уйди, лучше, Сыче, от злая и сотворишь благая", Ох, ох, ох! И все поднялось с тех пор, как не стало его, гетмана нашего, славного Богдана Хмельницкого! — Сыч глубоко вздохнул и опустил голову на грудь.

— Да, да, — произнес задумчиво больной, — крепко его рука держала булаву, из такой руки не пришло бы никому и на ум вырывать ее, а как досталась она Юрасю Хмельницкому, ну и пошла скакать, словно детский мяч, не одного и по голове задела. Для гетманской булавы одной отваги мало, надо крепкую руку и светлый разум! Теперь уже не те часы, чтобы только бить, да "на капусту локшыть", надо уметь свой челнок и между скал и порогов провезть; в полуую-то

воду можно и напрямик, а когда вода спадет — зорко смотри, да выбирай хоть извилистый, да верный путь...

— Ну, да и ловко ж ты говоришь, сыну, вот, ей-Богу, словно батько наш покойный Богдан; говорит себе да говорит старшина, слушаешь и ничего не разбираешь, а он тебе одно слово скажет, так ровно перед глазами все тебе намалюет.

— Да. гетман был великий муж. зело искушенный и в науках, и в брани. Как закрою глаза, так вот словно живого его вижу. — И больной действительно закрыл глаза, словно хотел вызвать перед собой какой-то далекий образ.

— А ты разве видел его? — изумился Сыч.

— Да, давно, я еще тогда совсем молодым хлопцем был, даже губа верхняя не чернела; учился я тогда в Киевской Братской академии, а когда гетман после Зборовского мира въезжал в Киев, так нас у ворот Софийских поставили и мы ему виршу торжественную пропели, он еще меня особо отличил, я ему слово на "вступ на трон Киево-Владимирский" прочитал.

— Хе-хе! Значит, пожалуй, и я тебя тогда видел... Ишь ты, какое дело! А мог ли подумать, что вот как приведется встретиться снова. Воистину пути Господни! Ну, а позволь же теперь, не во гнев тебе, казаче, спросить, как же тебя звать, величать?

— Меня зовут Иваном Мазепой, я сын Степана Мазепы, подчасего Черниговского, из села Мазепинец.

— Мазепа! Вот кого привел Бог в своей хате витать! — вскрикнул радостно Сыч. — Ты как-то в бреду произнес... Эге! Так вот про кого говорил Ханенко. Как же, знаю, знаю, и батька твоего знавал, и Мазепинцы знаю! Это недалеко от Белой Церкви, хорошее место. Так, так! Оттуда и батько твой приезжал к гетману, когда мы там табором стояли. Эх, "запальный" был! Все не хотел к Москве прилучаться, с Выговским был за одно... Наш был и телом и душой, от казаков не отступал, нет!

— Мой дед, отец отца моего, вместе с Лабодой, с Наливайком да с Косинским, за волю нашу бился и казнен был ляхами в Варшаве. Наш род от князей Булыч-Курцевичей идет, — произнес с некоторой гордостью Мазепа, — но никто из нас не изменял до сих пор, подобно князьям Вишневецким, ни вере своей, ни воле казацкой.

— Что ты, Господь с тобой! Нашел себя с кем сравнивать? — даже отшатнулся от Мазепы Сыч. — Мазеп всяк знает. И отца твоего, и деда! Сразу ты нам, Казаче, полюбился, а теперь, когда узнал я, что ты хоть родовытый, да наш и душой, и сердцем, так будем мы уже тебя, как око, беречь, — вот что!

— Спасибо, спасибо, — улыбнулся больной на шумный восторг Сыча, — а что "родовытый", это не беда, если бы все наши "родовыты" к нам прилучились, не дошли бы мы, может быть, до такой беды.

— Ну, это кто его знает, — произнес уклончиво Сыч, — вот и наша старшина, говорят, начинает облагать кой-где народ повинностями.

— А гетман на что? Гетман на то и выбирается, чтоб всюду лад давать.

— Так-то оно так, — произнес задумчиво Сыч. — Ну, постой, а: ты ж где теперь служишь? У Бруховецкого или у Дорошенко?

— Ни тут ни там покуда. Видите ли, когда окончил я курс в Братской академии, тогда, — да вы это верно сами знаете, — гетман Богдан отправлял в Варшаву знатнейших юношей, чтобы служили при короле, так было сказано в мировых "пактах", выбрали и меня. Так я окончил у иезуитов философию, а потом послал меня король еще на три года в чужие земли, чтобы я еще и там поучился.

— Ге, ге! Высоко ты занесся разумом! Значит, как говорят люди, и "друкованный", и "письменный".

— Помог Господь.

— Ну и что ж, остался служить при короле?

— Служил, пока верил, что король нам добра желает, что с ляхами еще можно в "добрий злагоди" жить, а как увидел я, что не думают они нам никаких прав давать, что права пишутся только в "пактах", чтоб заманить нас ими, да вернуть назад оторванные земли, а в душе-то они нас за "быдло", за хлопов, за рабов своих по-прежнему почитают; а наипаче, когда увидел я, как во время похода короля на левый берег расправлялись королевские войска, с помощью этого лядского прислужника, этого лядского Тетери, с нашим православным народом, — вскрикнул горячо Мазепа и глаза его засверкали, а на щеках вспыхнул слабый румянец, — о, когда я все это увидел и уразумел, что в них, в этих золоченых гербах, нет ни силы, ни прежней доблести, а только злоба и презрение к нам, что они стараются только обессилить нас, чтобы опять обратить в своих рабов, — я не говорю о простых людях ляхах, о мазурах: они тут ни при чем, — о, тогда я поклялся навсегда оставить их, я поклялся отрубить себе эту правую руку, если она подпишет какой-нибудь договор с ляхами!

— Добре, казаче, добре! — вскрикнул восторженно Сыч. — Правдивое твое слово. С ляхами нам никогда не ужиться! Пускай себе тот "мальованный" Ханенко что хочет говорит, а я свое старое твержу: никто из нас того не забудет, что ляхи "батькив" наших в ярмо запрягали!

— Да, — продолжал возбужденно Мазепа, — только тот может понять их, кто жил с ними вот так, день за днем, как я, перед кем они не скрывали своих мыслей, кто сам по себе испытал их вольности и права!

— Да годи, годи, не вспоминай старого, "цур йому и пек", — попробовал остановить Мазепу Сыч. — Лучше скажи, что же ты думаешь дальше? К кому пойдешь?

— Пока еще не знаю. Вернулся на Украину, чтобы служить ей головой, рукой и сердцем; вижу уже много горя, а куда повернуть, еще не знаю; думаю присмотреться да разузнать все, где будет счастье отчизны, — там буду и я.

— Эх, сынку! Да и любо ж мне слушать тебя, вот словно сам оживаю и молодею! Не напрасно, видно, тебя Господь спас от такой лютой смерти, может, от тебя и спасенье нам всем будет. Ну, только, обожди: ишь, как покраснелся весь, — посмотрел он неодобрительно на вспыхнувшие щеки больного, на его гневно сжатые губы. — Ты теперь успокойся, засни. Да не вспоминай старого, говорю тебе. Вот я сейчас бабу и Галину потороплю, чтобы поскорее борщ готовили, а ты засни тем временем, да и я пойду, пока что, под "клубнею" прилягу, на свежем сене, лучше, чем твой магнат на перине!

Сыч встал, оправил подушки больного и вышел из светлицы, старательно притворив за собою дверь.

В хате стало тихо; сквозь открытые окна смотрело яркое синее небо; видно было, как струился

прозрачный раскаленный воздух; но в светлице не было жарко; степной аромат и тепло солнечных лучей вливались в окна широкими волнами, ласково согревая тело больного; от этого теплого, ароматного воздуха и от долгого разговора голова Мазепы слегка закружилась; он лежал, закрывши глаза, в легком полусонном забытии. Какие-то слабые мысли, словно легчайшие облачка в высоком небе, бродили и расплывались в его сознании. Да — и ни образы и сцены, вызванные в его воображении разговором с Сычом, словно всплывали перед ним в каком-то колеблющемся тумане, но он не вызывал их, и они снова расплывались и исчезали в его причудливых волнах, он чувствовал, что ему надо думать, что в глубине его души шевелится какая-то мрачная, злобная мысль, но ему тяжело было нарушить сладостное чувство выздоровления и покоя, и он гнал эту мысль от себя. — Итак, спасен, вырван из рук смерти, — повторял он как-то лениво слова Сыча. — Старик говорит, не даром тебя Бог спас, может от тебя и всем нам спасенье будет... Что ж, — улыбнулся слабо больной, — если верить в предсказания, Моисея Бог спас в корзинке, а меня на бешеном коне. Это, пожалуй, еще побольше, но все это пустое. Слава, почет, месть, любовь — все меркнет перед этим сознанием возможности; жизни. Ах, жить, жить, — повторил он слабым шепотом и открывши глаза, устремил их в сверкающую небесную синеву.

На дворе было тихо, иногда только раздавался крик петуха или веселое чиликанье ласточки, свившей себе гнездо под окном. Не слышно было ни голоса Сыча, ни голосов рабочих, очевидно, все спали, согретые ласковым теплом летнего дня. Эта тишина производила усыпляющее впечатление и на Мазепу, ему казалось, что он лежит на дне какой-то легкой лодки и мягкие, теплые волны тихо колеблют ее... Мало-помалу веки его опустились, глаза сомкнулись, и легкий сладкий сон охватил все его существо.

Дверь в хату тихо скрипнула, на пороге показались баба и Галина с полными мисками в руках.

— Те... тише, — прошептала баба, оборачиваясь к Галине, — кажется, задремал он; ну, так мы вот поставим "страву" здесь на лаве, пускай выстынет немного, а ты посиди здесь, да посторожи, когда проснется он, тогда и поест.

С этими словами старуха осторожно подошла к лаве, поставила на нее миску, а затем сделала несколько шагов вперед и, подперши щеку рукой, остановилась недалеко от больного.

— Ну и красив же, ей-Богу, сколько живу на свете, не видала таких, — прошептала баба, указывая Галине глазами на лицо больного. — Смотри вот, побрил его дед, так он еще краше стал — просто малеванный, да и только!

Галина посмотрела вслед за ее взглядом на больного и тут только заметила перемену, происшедшую в Мазепе. Действительно, он был теперь изумительно красив. Подбритые кружком темные волосы спадали мягкими волнистыми прядями; высокий лоб, казалось, сверкал своей белизной; строго очерченные черты лица его носили на себе отпечаток ума и благородства, а мягкие нежные губы говорили словно о том, что они умеют так пылко целовать, что от поцелуев их кружатся у бедных женщин головы и зажигаются сердца.

— Разве уже нет другого такого? — перевела Галина вопросительный взгляд на бабу.

Баба даже махнула раздраженно рукой.

— Говорят тебе, малеванный, да и только! Дид кажет, что он важный пан, что у самого короля служил.

— Пан? — прошептала с ужасом Галина. — Нет, не может этого быть!

— Как не может быть? И дид говорит, да и так сразу видно. Да ты что, испугалась, что ли? — продолжала она с улыбкой, смотря на полное ужаса лицо Галины, — Э, не бойся! Теперь уже не те часы: теперь что пан, что казак — все равно. Смотри ж, подожди здесь, пока он проснется, а я пойду, сосну немножко. Ох, ох, ох!.. — зевнула она и перекрестила рот рукой. — Все она — доля людская: один и на гладкой дороге споткнется, а другой и в самой дикой степи спасется! — Старуха зевнула еще раз, еще раз перекрестила рот и вышла из хаты, а Галина опустилась на лавку у окошка.

Слова бабы взбудоражили все ее мысли. Неужели же этот хороший милый казак — пан, тот "пан", которого всегда так проклиняют и дед, и запорожцы? Нет, нет, не может быть: те паны такие злые, такие страшные, а у него такие добрые глаза, такой ласковый голос! Нет, нет! — Галина подперла голову рукой и тихо задумалась.

Между тем веки больного приподнялись, взгляд его скользнул по комнате и остановился на фигуре девушки, приютившейся у окна, лицо его осветилось счастливой улыбкой; несколько минут он молча любовался ею. Обмотавши вокруг головы свои шелковистые, русые косы. Галина затянула в них две длинные ветки бледно-розовых цветов дикого шиповника. Этот нежный веночек удивительно шел к ее прозрачному личику. Во всей ее позе, в наклоне головы, в задумчиво устремленных в даль карих глазах было столько своеобразной грации и женственности, что нельзя было не залюбоваться ею. При виде ее опечаленного, задумчивого личика, Мазепа почувствовал в своей душе прилив какой-то необычайной нежности к этому прелестному ребенку.

— О чем ты задумалась, Галина? — произнес он тихо.

При звуке его голоса Галина вздрогнула и страшно смешалась.

— Я принесла тебе обед, а ты спал, — произнесла она, запинаясь, — вот я и стала ждать, когда ты проснешься.

Она взяла миску в руки и хотела было нести ее к Мазепе, но он остановил ее.

— Нет, оставь еду, успею еще, подойди ко мне так.

— Может, не нравится? Так я что-нибудь другое... сыр, сметану, "яешню", — всполошилась Галина.

— Да нет же, нет, дитя мое, все хорошо. Только подойди сюда ко мне. Галина сделала несколько шагов и опять остановилась.

— Да подойди же ближе, вот сюда, сядь здесь, подле меня, — пододвинул ей Мазепа деревянный табурет.

С трудом преодолевая охватившее ее смущение, Галина опустилась на кончик табурета и, нагнувши голову, опустила глаза.

— Отчего ты не хочешь никогда говорить со мной, разве ты боишься меня? — продолжал Мазепа, любясь слегка зардевшимися щечками прелестной девушки, — разве я такой страшный? Ведь ты же смотрела на меня, когда я был болен, — отчего же ты теперь, сейчас уходишь... не хочешь говорить? Несколько секунд Галина молчала, тяжело переводя дыхание.

— Отчего же, голубка моя? — повторил еще тише Мазепа, не сводя с ее загоревшегося смущением личика своих обаятельных глаз.

— Так... не знаю... — промолвила, наконец, Галина, словно давясь словами.

— Да ведь ты же, как сестра, не отходила от моего изголовья?.. Когда я боролся со смертью, я видел, как твое личико склонялось надо мной!

— Ох, как же было не сидеть, — вздохнула она, как вздыхают после горьких слез дети, когда налетевшая радость внезапно утешит их горе, — ни еды... ни сна... Господи, как боялись... день ли, ночь, — все только об одном... — Ангел ты мой хранитель! — воскликнул тронутый до глубины души Мазепа.

— Ой, ой! Как же так можно? — всплеснула руками Галина, — кто же людей ангелами зовет! — Это грех. Баба говорит, что ангелы с длинными белыми крыльями Господу служат.

— Тебя не грех назвать ангелом: у тебя сердце такое же чистое, и у души твоей есть крылья.

— Ты смеешься и надо мной, и над Богом, — промолвила грустно Галина.

— Не смеюсь, моя ясочка, клянусь тебе! — вскрикнул даже Мазепа, дотронувшись до ее руки.

Галина вздрогнула от неожиданности и с испугом подняла на него свои ясные, выразительные глаза. Этот взгляд смутил почему-то Мазепу; он начал поправлять на себе рядно, стараясь укрыться им поплотней.

— Может быть, холодно? — затревожилась Галина и вскочила с табурета. — Я сейчас закрою окна.

— Нет, не нужно, не нужно. Это я так... тут даже жарко.

— Ох, когда б не захватил ветер.. — остановилась в нерешительности Галина.

— Господи! Какие вы люди! И не видал таких. Совсем чужой, а они так заботятся...

— Разве чужой ты! — воскликнула девушка, открыв впервые глаза, а потом, побледнев, опустила их и прибавила подавленным голосом тихо, — да, баба говорила... значит, и мы чужие... — Она отвернулась и поникла головой.

— Что ты говоришь, дитятко? Ты рассердилась?

— Я ничего-

Голос Галины дрожал; видно было, что какое-то горькое чувство, не понятное для Мазепы, взволновало ее.

— Да что же?.. Понять не могу... Что с тобой, расскажи!

Но Галина, не отвечая на вопрос Мазепы, быстро подошла к "мысныку", взяла "кухоль" и подала его Мазепе.

— Пей, пане, мед... дид говорил, что он поднимет тебя скоро.

— Спасибо, спасибо! Только я не буду пить, если ты не скажешь.

Галина снова присела на кончик табурета; но лицо у нее было теперь печально. Мазепа отпил несколько глотков меда, поставил на пол "кухоль" и остановил задумчивый взор на этом

чудном, взрослом ребенке.

IX

Галина молчала; видно было, что она хотела что-то сказать и не решалась; наконец, она спросила робко, запинаясь на каждом слове.

— Это, значит, правда, что ты пан?

Мазепа невольно улыбнулся.

— А если б и так, что ж тут такого страшного? Отчего это слово так пугает тебя?

— Паны нас не любят... они вороги наши, — произнесла она слегка дрогнувшим голосом.

— Не все, не все, Галина, — попробовал было возразить Мазепа, но Галина продолжала, не слушая его.

— Нет, паны нас ненавидят и панов все ненавидят, все!

— Почему? i

— А разве можно любить волков? Дид Сыч говорит, что и он сам, и гетман Богдан, и мой батько, и дядько Богун, и все казаки шли против панов, чтоб спасти от них бедных людей, потому что они мучили всех, кровь нашу пили! Вот искалечили Нимоту и Безуха, вот и тебя привязали к коню, каторжные, клятые!

У Галины даже проступили на длинных ресницах сверкающие слезинки; она зарделась вся от волнения.

— Нет, нет, Галина, ты не так говоришь, — взял ее за руку Мазепа, — то польские паны враги наши, то католики, а есть, же у нас и свои паны, вот как бы значные казаки, свои, одной с нами веры и "думкы". Они вместе с казаками и с гетманом Богданом воевали против лядских панов и ксендзов, что мучили и грабили наш народ. Мой дед бился рядом с Наливайком, а отец с Богданом Хмельницким и с твоим славным батьком, — за волю, за веру, за наш край!

— Господи! Так значит ты наш, наш? — вскрикнула Галина, подымая свои просиявшие глаза.

— Ваш, ваш, дитя мое, и сердцем и душой, — произнес тронутым голосом Мазепа, сжимая ее руку.

— Ой, "лелечкы"! Значит, ты можешь любить и жаловать нас. Ой, Боженьку мой, как же это любо, как весело...

— Могу, могу и буду, дитя мое! — прервал ее восхищенный Мазепа, — а ты же не будешь теперь бояться меня?

— Нет, теперь нет! — засмеялась Галина.

— Ну, Расскажи-ка мне, как ты живешь здесь одна.

— Я не одна. Здесь живут еще дид мой Сыч, баба, Немота и Безух, — заговорила смелее Галина. — У меня есть еще подружка Орыся, только она не любит долго жить у нас: она говорит, что ей здесь "нудно", скучно, что здесь нет ни вечерниц, ни казаков.

Мазепа улыбнулся.

— А тебе здесь не скучно, голубка?

— О, нет! — воскликнула оживленно Галина. — Здесь так хорошо! Кругом степь широкая, широкая... Ты никогда не видел степи? Когда ты выздоровеешь, я покажу тебе все, и речку. Ты видел нашу речку? Нет? Она такая прозрачная, тихая. Когда смотреть на солнце, так видно все дно, как рыба играет на нем... У меня есть челнок, я буду катать тебя; там плавают по воде широкое "латаття" и цветет... Такие большие белые цветы, такие красивые, серебристые... Русалки плетут себе из них венки... А птицы! Ты любишь птиц? В степи их так много! И дрофы, и "хохотва", и перепелки, и жаворонки, и кобчики, — поднимаются в небо, так и стоят, трепещутся на одном месте. Я поведу тебя в степь. Там есть высокая могила; когда взойдешь на нее, так видно все далеко, далеко кругом. И так тихо, тихо, только ветер шумит... Я люблю слушать его: он "лащиться" и что-то шепчет. А цветы? Сколько там цветов есть! И мак, и золотоцвет, и кашка, и волошки, и березка... Ты любишь их? — обратилась она к Мазепе и вдруг потупилась, застыдившись своей смелости.

— Все, все люблю! — ответил он с увлечением, любясь ее прелестным личиком. — Ну, а зимой, когда занесет ваш хутор снегом, тогда не скучно тебе?

— Нет, — ответила уже тихо Галина, не подымая глаз. — Зимой мы работаем, прядем, а дид мне рассказывает о моем батке, о матери, о войнах, о "лыцарях"... А ты знаешь, как кричат дикие гуси? — оживилась она снова. — Нет? — Они так громко, громко кричат... Я люблю их... Знаешь, когда еще не настанет совсем весна, а так только теплом повеет с моря, все себе ждешь да думаешь, когда же настанет весна?.. И вдруг на рассвете услышишь, как гуси кричат, — вот тогда любо, вот весело станет! Это значит уже наверное весна идет, а после гусей летят журавли... они таким длинным, длинным ключом летят. Ты видел? Да? А за ними уточки, а там уже и деркачи, и кулики, и всякие другие птички. Налетит их много, много, шумят, хлопчут, кричат на речке у нас... Я бы хотела узнать, о чем это они все кричат, откуда они прилетели, что видели так далеко, далеко!..

— Милая дытынка моя, — улыбнулся и Мазепа, — а ты бы никогда не хотела уехать отсюда?

— Нет, — покачала головой Галина, — правда, мне бы хотелось знать, что там такое в тех городах, как там живут, кто там живет? Но... — произнесла она с легкой запинкой, — дид знает только про войну, а баба забыла все...

— А разве к вам никто не приезжает никогда?

— Иногда приезжают запорожцы, только очень редко... Да что ж... и они только про войну говорят.

— Бедная моя сиротка! — произнес ласково Мазепа. — Вот постой, я выздоровлю и расскажу тебе про все, про весь Божий свет, а ты расскажешь мне про себя, покажешь мне и речку, и степь, и все твое хозяйство. Галина молча кивнула головой.

— Я буду твоим братом, а ты моей маленькой дорогой сестричкой. Ты будешь любить меня, Галина?

— Буду, буду, — вскрикнула порывисто Галина, подымая на Мазепу свои засиявшие от счастья глаза.

От всего ее существа веяло в эту минуту такой детской чистотой, такой искренностью, что

Мазепа почувствовал, как в груди его дрогнуло какое-то святое чувство.

— Милое, дорогое дитя мое! — произнес он взволнованным голосом и, чтобы скрыть охватившее его смущенье, он нагнулся к ее головке и спросил тихо: Какими это дивными цветами ты так изукрасилась?

— А это "шпышына" ... Тебе нравится? Так я нарву сейчас... у нас ее много, много в гаю! — Галина вскочила и хотела было бежать в сад, но Мазепа удержал ее за руку.

— Нет, постой, не надо мне других цветов, — прошептал он тихим, усталым голосом, — останься здесь со мною: ты сама наилучший степной цветок, какой я встречал на своем веку!

С этого дня Галина перестала дичиться незнакомого пана-красавца, занесенного мезью в их хутор и вырванного дедом из когтей смерти. Каждый день сближал их все больше и больше, закрепляя дружеские отношения каким-то родственным чувством. Ухаживать за больным, угадывать его малейшие желанья, показывать ему всеми способами свою преданность — сделалось для Галины потребностью жизни. Она не понимала, да и не могла понять, сожаление ли к больному, или какое-нибудь другое чувство побуждает ее к этому, она отдавалась своему сердечному порыву без отчета, без раздумья, как отдается течению тихих вод юный пловец, не испытавший еще ни бурь, ни подводных камней. Однообразная, будничная жизнь на лоне природы, протекавшая прежде незаметно, сделалась вдруг каким-то праздником светозарным, наполнившим ее сердце жизнерадостным трепетом, а душу гармонией чарующих звуков: и эта безбрежная, волнующаяся степь, и это бездонное синее небо, и это ласковое, смотрящее в светлую речку солнышко, и эти ликующие звуки жизни — все теперь для нее получило новую окраску, новый смысл, новое значение... Было у нее прежде много друзей и между пернатым населением хутора, и между четвероногими, и между людьми, но та дружба была спокойна, не похожа на эту, те друзья были безмятежны, а этот... Этот наполнил собой весь ее мир, все ее думы, все ее желанья: она чувствовала его в каждом ударе своего пульса. Прежде, бывало, заснет она безмятежным сном, проснется без тревоги, без заботы, а с ощущением лишь сладости бытия, и бежит встретить утро, умыться студеной водой, поздороваться со своими любимцами, а теперь она засыпает с мыслью о нем, просыпается с заботой о нем, с тревогой о нем. Встанет и бежит в садик нарвать со своих гряд лучших душистых цветов, так как он очень их любит, нарвать и поставить этот букет в "глечык", а баба уже несет ей другой с парным молоком и миску пирогов, либо кулиш на раковой юшке, либо кныши с укропом, — и, нагруженная всем этим, Галина спешит к своему другу, к своему братику... А он тоже ждет — не дожидается своей сестрички, и глаза его играют сказанной лаской, а прекрасное лицо светится счастливой улыбкой. А то после "сниданку" побежит она еще в рощу, нарвать земляники или спелых вишен в своем садике — и все это несет своему больному. Теперь уже он сидит и пробует даже ходить по хате; теперь уже и она не боится болтать с ним и рассказывать ему про все, про все, что взбредет ей на ум, что подскажет ей сердце, рассказывает почти так же откровенно, как и своей подруге Орысе: о своем детстве, о разных происшествиях в хуторке, о деде, о бабе, о прибытии Немоты, и о первом знакомстве с Орысей. Мазепа слушал ее с большим вниманием и с большим участием, чем Орыся, и сам рассказывал ей обо всем, обо всем, что ему довелось видеть: и о дремучих лесах, и о высоких горах, и о недоступных крепостях, и о многолюдных роскошных городах, и о чужих землях, и о всяких чудесах на широком свете; рассказывал и о своем детстве, и о своей матери, любящей его больше жизни, — о ее светлом уме и твердой воле; говорил с чувством и о своем покойном отце, сколько довелось тому пережить на своем веку и напастей, и горя; как он не смог перенести обиды от шляхтича и убил его, и как за эту смерть он был предан "баниции", т. е. лишен всех прав, даже права жизни.

Однажды Галина вошла в светлицу и остановилась от изумления: посреди хаты стоял Мазепа в

роскошном казацком наряде. Дед стоял у окна и любовался своим гостем, заставляя его поворачиваться перед собой во все стороны.

— Добре, добре, гаразд! Вот словно на тебя шито! — приговаривал самодовольно Сыч, — одежду эту не стыдно носить, она с плеч славного полковника Морозенка, батька твоего, — обратился он к вошедшей Галине. — А глянь-ка, полюбуйся, каким славным запорожцем стал наш "спасенник"!

— Ой, Боженку мой! — всплеснула руками в восторге Галина, — какой пышный, какой "мальвованный"!

— Сестричко моя любая, — заметил с улыбкой Мазепа, — ты уже чересчур меня хвалишь, смотри, не перехвали на один бок.

— Нет, нет, — запротестовала Галина, — и баба говорила, и все, что нет такого другого на свете, что только один наш пан Иван. Ведь правда, дидуню?

— Дай Боже, чтобы твоя радость была правдой, — сказал загадочно Сыч и, тихо вздохнув, привлек к себе свою внучку. — Дытынка она, и сердцем, и душой дытына, — ласкал он ее нежно, — уж такая дытына, что грех ее не пожалеть.

— А разве вы меня, дидуню, не жалеете? — ласкалась к нему Галина. — Уж так жалеете, так жалеете, а я, Господи, как вас люблю. Ведь вы у меня и батько, и маты, и все!

— Сироточко моя! — произнес растроганно Сыч и быстро отвернулся к окну.

Мазепа был также и тронут, и взволнован; какая-то новая, налетевшая вдруг мысль сдвинула ему брови и заставила глубоко задуматься. Галина с наивным недоумением остановила на нем свои восторженные глаза, полные чистой, как ясное утро, любви, и весело вскрикнула:

— Теперь, значит, можно, дидуню, вывести его и в садик, и в "гай", и в поле?

— Можно, можно, — ответил Сыч. — Только не сразу, чтобы не обессилел и не утомился с отвычки, а так нужно — "потроху".

— Так мы сегодня возле хаты будем гулять, а завтра дальше, а там еще дальше!

С этих пор Галина стала всюду водить Мазепу и показывать ему свое хозяйство. С каждым днем их прогулки удлинялись, переходя от двора к садику, а от садика к "гаю" и к полю. Любимым местом их стала, между прочим, ближайшая могила, с которой открывался широкий простор. Галина теперь занималась своим хозяйством, потом навещала своего названного брата, приносила ему в садик "сниданок", подсаживалась поболтать с ним, затем убегала и снова возвращалась посидеть возле своего друга с какой-либо работой в руках, и снова убегала, а к вечеру они отправлялись на могилу и сидели там до сумерек, слушая друг друга, делясь своими впечатлениями.

— Я вот и прежде любила это место, а теперь еще больше люблю, — говорила оживленно Галина, — тут так славно, так любо: и речку нашу видно, вон она змейкой бежит по долине к нашему хутору, и какая ясная, ясная... А наш хуторок притаился, как в мисочке, словно гнездышко, и весь укрылся кучерявым дубом да ясенем. А я, как смотрю вдаль, "геть-геть" поза наш хутор, где садится солнце, то мне всегда досадно станет, что у меня нет крыльев...

— А на что тебе крылья? — улыбается Мазепа.

— Как на что? Полетела бы вон туда, где сизая мгла: мне бы так хотелось увидеть конец земли, конец света, — какой он? Ух, страшно, — закроет она ладонью глаза, — верно такое "провалля", что и голова закружится и дух занемет.

— Хотя бы и крылья у тебя были, то ты бы не долетела до конца нашего света.

— Как? Такой большой, так далеко?

— Не то что далеко, а конца ему нет.

— Что ты? — взглянет недоверчиво на Мазепу Галина, полагая, что он шутит, смеется над ней.

— Как же, чтобы не было конца? У всего на свете есть конец; и люди говорят, и в песнях поется "на край света"...

— Милая моя! Слушай меня, я тебе все расскажу, что знаю, про землю, про солнце, про месяц, а ты слушай, да запоминай.

И Мазепа начинал говорить. Галина слушала с напряженным вниманием, не сводя с него глаз, поражаясь его знанием, его умом; то она приходила в восторг от рассказа Мазепы, то ... окончательно отказывалась ему верить, то внимательно всматривалась ему в глаза, думая, что он подсмеивается над ней; впрочем, непривычное умственное напряжение скоро утомляло ее, и она тогда прерывала рассказ Мазепы неожиданным предложением, — или побежать "взапуски", или "повабыть" перепелов, или поискать земляники на опушке леса.

Х

Галина с каждым днем увлекалась все больше и больше рассказами Мазепы, хотя многого в них не понимала и не могла себе даже представить; ее пытливый ум поражался всезнанием своего собеседника и смущался своим невежеством, так что чем дальше шло время, тем больше она начинала сознавать, какая страшная бездна лежит между нею, ничтожною, глупою девчиною, умеющей лишь беззаветно любить, и им, — умным, знатным, богатым. Это смутное сознание начинало прокрадываться в ее душу и отзываться в сердце неведанной прежде болью. Галина стала подозревать, что Ивану скучно с нею, что его наверное тянет к настоящим панам и к пышным пирам; с тревогой она расспрашивала Мазепу о его прежней жизни, о Варшаве, о тех людях, которые окружали его, к которым он привязался, привык. Мазепа, впрочем, рассказывал о себе неохотно, незаметно уклонялся от этого, переходя скорее к общим описаниям великолепия дворцов, роскоши жизни, утонченности нравов и лукавству в отношениях между этими знатными и напыщенными магнатами.

— Эх, дитя мое, — говорил он, болезненно морщась от раздражающих, щемящих воспоминаний, — не завидуй той праздной панской жизни; много в ней блеска и золота, много пьяных утех, но больше грязи и лжи, а еще больше предательства и измен. Если проповедует кто, хотя бы сам бискуп, о долге, о чести, о высоком подвижничестве — не верь: он и тебя, и твою душу, и твой тяжкий грех продаст за дукаты: если тебе клянется кто в неизменной дружбе — не верь: он в ту минуту обдумывает, как бы предать тебя, а если какая пани клянется тебе в вечной и неизменной любви... ха-ха! Она только призывает имя Божье, готовится к новой измене, к новому вероломству.

— К какой измене, к какому вероломству? — не понимала Галина, всматриваясь растерянно в глаза Мазепы и боля душой за перенесенные им, очевидно, огорчения.

— Ах, к чему тебе и знать, и понимать всю грязь этой жизни? Твое широкое сердце, твоя ясная, как вон та зорька, душа содрогнулась бы от одного намека на те "злочинства" и грехи,

которые гнездятся там под золочеными потолками.

— Ой, Боженьку! Но тебе все-таки, верно, за ними скучно... ты привык к ним?

— Нет, моя квиточка, не скучно мне здесь и туда меня больше не тянет... изверился я там во всем... и в друзьях, и в этих напыщенных куклах... Постоять за оскорбленного у них нет смелости, они сразу переходят на сторону сильного, трусы, да еще прикрывают свою трусость презрением, — заговорил взволнованно, раздраженно Мазепа, забывая, что слушательница его не могла понимать неведомых ей событий, не могла даже отнестись сознательно к взрывам засевавшей в его сердце обиды. — Я этого негодяя когда-нибудь встречу! О, если он и тут откажется от гонорового поквитованья, то я с ним расправлюсь! А король, за которого я стоял, от которого ожидал правды, в котором видел надежду для своей родины, — и этот король оказался лишь золоченой "забавкою" в руках своей придворной шляхты! Всю их кривду я "зацурав", бросил и отдался весь моей Украине. Буду искать здесь в родной стране правду и ей служить.

Галина не понимала о чем шла речь: она только догадывалась смутно своей чуткой душой, что ее друг невинно страдал и терпел какие-то несправедливости от магнатов, и льнула к нему трепетным сердцем.

Однажды они сидели под развесистым дубом в саду, а баба выносила из хаты разный хлам для просушки и развешивала его на "тыну"; сначала шла разная казацкая, запорожская, польская и даже турецкая одежда, начиная с простых жупанов и курток и кончая дорогими "адамашковыми и "оксамытными" кунтушами, расшитыми золотом, с серебряными, а то и золотыми "гудзямы" и "гаплыкамы", украшенными бирюзой и смарагдами; за одеждой последовала сбруя и оружие с золотыми насечками, с резьбой, а последним повесила баба на груше какой-то странный музыкальный инструмент.

Мазепа очень заинтересовался им, быстро встал и, снявши его с "тыну", начал с любопытством рассматривать: это был роскошный торбан, но страшно запущенный, весь в пыли, в грязи, с гнездами мышей под декой; к счастью, последняя была цела, а равно и все металлические струны, только другие были переедены мышами и печально болтались вокруг колышков. Мазепа принялся с лихорадочной торопливостью приводить этот инструмент в порядок, — чистил его, мыл, подклеивал; Галина, конечно, помогала ему во всем, сгорая от любопытства, — что же из этого выйдет? Наконец, когда торбан принял свой надлежащий вид, Мазепа принялся за колышки и за струны; металлические были скоро натянуты, а с другими пришлось повозиться, связывать, подтягивать, некоторые совершенно негодные даже заменить нитчатыми струнами, навощенными воском. Натягивая струны в гармонический строй, Мазепа пробовал аккорды; торбан прекрасно звучал и резонировал.

Галина была в неописуемом восторге; каждый звук певучей струны, каждое гармоническое сочетание восхищало ее несказанно: ей еще ни разу на своем веку не доводилось слушать музыки, — Немота лишь услаждал ее слух игрой на сопилке, да Безух гудел на самодельном бубне, а тут зазвучали еще неслыханные ею гармонические сочетания.

— Ах, как хорошо, как славно! — вскрикивала и всплескивала руками Галина, прислушиваясь и присматриваясь к выпуклому, овальному туловищу инструмента, к его длинной, унизированной струнами, шее.

— Ты умеешь играть на нем?

— Умею, умею, моя "ясочко", — улыбался, налаживая торбан, Мазепа.

— А тамошние варшавские паны умеют тоже играть на бандуре?

— Не только паны, но и панны, и пании; они играют на прекрасных лютнях.

— Ах, какие они счастливые, — вздохнула Галина, — а у меня ничего нет, и я ни на чем не умею играть... чем же я могу быть занятой... — Она грустно опустила голову, — тебе здесь, голубе мой, конечно, скучно...

— Да что ты! Брось эти думки моя "зозулька"; мне здесь так хорошо, как не было нигде. А про варшавскую жизнь лучше не напоминай мне никогда... Там лучшие мои чувства оскорблены были обманом... Нет, не напоминай мне этого прошлого. . Я хочу забыть его, стереть из памяти: с тобою мне лучше всего, мое дорогое дитя!

— Со мною? Господи! Когда б же это была правда! — вспыхнула вся Галина.

— С тобою, с тобою, — повторил радостно Мазепа, не отводя от очаровательной девчины восхищенных глаз. — Эх, когда б хоть как-нибудь наладить эти оборвыши! — ударил он энергично по струнам.

— Стой, у деда есть еще в сундуке жмутик вот таких струн, — вспомнила Галина и бросилась к хате, — я принесу их сейчас.

Струны оказались совершенно пригодными, и вскоре торбан был оснащен и настроен. Мазепа ударил по струнам, и зазвенели, зарокотали струны созвучно, полились, скрещиваясь и сочетаясь, дивные звуки мелодии, то заунывной, хватающей за душу, то торжественной, то веселой, отдающейся яркой радостью в сердце.

Галина, пораженная, очарованная, стояла молча в каком-то экстазе, она даже побледнела от нахлынувшего восторга и только шептала полуоткрытыми губами:

— Ой, Боженьку, ой, лелечки!

Когда же Мазепа запел еще звонким голосом под звуки торбана, да запел еще чудную песню об оскорбленном чувстве любви, а потом оборвал с сердцем аккорд и перешел к светлой задушевной мелодии, к поэтической просьбе к соловью, чтоб он не пел рано под окном девчины и не тревожил бы ее ясного детского сна, — Галина пришла в такой восторг, что забыла решительно все окружающее.

— Милый мой, любый! — вскрикнула она и, обвинивши его шею руками, осыпала его горячими поцелуями.

Этот восторженный порыв девушки был так неожидан, что Мазепа совершенно растерялся: бандура выпала из его рук... Поддаваясь невольно обаянию этого искреннего чувства девчины, он сам прижал ее невольно к груди; но тут же страшно смутился, опустил руки и, не имея силы оттолкнуть от себя девчины, решительно не знал, что ему предпринять.

В это время издали послышались шаги, а вслед за ними. показался среди зелени Сыч и таким образом вывел их обоих из затруднительного положения.

— Ишь, кто это разливается у нас соловьем, — заговорил он весело, — думаю, откуда бы это у нас гусли взыграли, и песнопение усладительное разлилось, а это сокол наш так разливается! Добре, ей Богу добре! И торбан говорит у тебя под пальцами, и голосом хватаешь за сердце. Славный голос! Хоть на первый клирос!.. А ну, сынку, нашу казачью, умеешь ли? Баба и

бывшие во дворе Безух и Немота уже подбегали к Мазепе, слышав торбан и песню.

Мазепа ударил по струнам, заставил застонать их, занять в каком-то оборванном вопле и запел чудным, дрожащим от полноты звука голосом думу про поповича: как казаков захватила буря на Черном море, как попович покаялся в грехах перед "товариством" и бросился в разъяренные волны испить своей смертью друзей.

Растроганный Сыч стоял, опершись руками на палку; на наклоненной голове его с длинным "оселедцем" виднелись только нависшие серебристые брови да длинные пряди белых усов, волнуемые слегка ветерком. Сыч стоял неподвижно и слушал вникая в каждую фразу думы, словно священнодействовал, иногда лишь, и то украдкой, поощряя певца.

А Мазепа, оборвав думу, вдруг зазвонил на торбанае игривыми струнами, и закипели огненным дождем звуки, перешедшие светлой мелодией в мерный ускоряющийся темп бешеного танца.

Лица осветились улыбкой, глаза вспыхнули радостью, восторгом, и Галина, не выдержавши, пошла плавно, покачиваясь и поводя плечом, в "дрибушечки", да так грациозно, так заманчиво, что старик Сыч пришел в экстаз и крикнул на Немоту и Безуха:

— Эх вы, "тюхтии", лежебоки, не поддержите такой дивчины, да я сам пойду с нею землю топтать, будь я не Сыч, коли не пойду! — И старик пустился перед своей внучкой вприсядку.

Прошло еще несколько дней, и Мазепа уже почувствовал себя до того окрепшим, что попросил у Сыча коня для поездки.

— И не отбило у тебя охоты от поездки на коне, — засмеялся шутливо Сыч, — я бы уж после такой прогулки отказался навсегда от коней.

— Нет, диду коханий, — возразил на шутку Мазепа, — скорее казак расстанется с жизнью, чем со своим другом — конем; да и тот чем же передо мной был виноват? Он спас меня первый от смерти, — он не разбил меня о деревья, он не изорвал в клочки моего тела, он вынес меня из стаи волков, а потом направил уже его Господь к моим милостивцам.

— Да, помню... Я ведь пошутил, а "огыря" выбери из моего табуна сам, когда пригонят косяк со степи, твой он и будет, потому что казаку, — верно сказал, — без коня, как без рук.

— Спасибо, диду, за батька родного вас считаю, — промолвил признательно Мазепа, — уж такой ласки, какую зазнал я у вас, разве у матери моей родной только и мог найти.

— Да и мы тебя, соколе, как сына, — обнял его Сыч, а Галина ничего не промолвила, но глаза ее сказали много Мазепе, и язык их был выразительнее всякого слова.

Вечером Мазепа выбрал себе молодого необъезженного коня буланой масти с розовыми ноздрями и огненными, налитыми кровью глазами; он накинул на него лишь узду и без седла вскочил на спину ошеломленного коня. Вольный сын вольной степи, не знавший до сих пор ни кнута, ни железа, почуяв на себе седока, взвился на дыбы и ринулся бурей вперед, стараясь бешеными скачками сбросить с себя дерзкого смельчака, посягнувшего на его свободу. Галина вскрикнула в ужасе, все шарахнулись, чтобы перенять, остановить разъяренное животное, но Мазепа направил его в ворота и понесся ураганом по степи.

Дед бросился к Галине, побледневшей, как смерть, от тревоги и перепуга; он стал успокаивать

ее, говорил, что он за Мазепу вполне спокоен: с первых же приемов видно, что он такой лихой наездник, под которым и сам черт хвост опустит. Хоть уверения деда и успокоили Галину, но она все-таки дрожала, как в лихорадке, и дед повел ее, вслед за севшими на коней Немотою и Безухом, за ворота. С пригорка было видно, как неся Мазепа на коне исчезающей точкой и как, описав гигантский круг, уже летел стрелою назад. Видно было впрочем, что направление бега было в его руках, и что сила, увлекавшая всадника, подчинилась уже его воле. Верховые не бросились даже на помощь Мазепе, а стояли смирно и наблюдали за ловкими эволюциями седока.

Сыч был в неопишемом восторге; восторг охватил теперь и Галину. Приставивши руку к глазам, Сыч следил с удовольствием за Мазепой и приговаривал одобрительно, — добрый казак, орел, а не казак! Э, будет с него прок, будет!..

Наконец, конь, видимо, изнемог и пошел рысью, а потом вскоре и шагом. Тогда Мазепа поворотил укрощенное животное домой и подъехал к деду и к девчине, которая теперь трепетала от гордости и бурного счастья. Взмыленный конь храпел и прыскал пеной, но шел уже покорно, качая раздраженно и бессильно головой и порывисто вздымая грудь и бока; Мазепа трепал его ласково рукой по шее.

— Ну, сынку, и на Сичи тебе позавидуют, будь я бабой, коли не так! — вскрикнул восторженно Сыч. — Этакое черта взять сразу в "лабеты", да это разве покойному Кривоносу было с руки!

— Так, так! Первый лыцарь! — закричал Безух, а Немота только замахал усиленно руками.

— Спасибо, диду, и вам, панове, на ласковом слове, — отозвался взволнованный и раскрасневшийся Мазепа; глаза его горели торжеством и удачей, и с новой стороны пленяли Галину: она не удержалась и бросилась было к коню, но последний пугливо отскочил в сторону, хотя и был тотчас же осажен сильной рукой.

— Будет, будет! Вставай уже, Немота возьмет коня! — попросила трогательно Галина.

— Галина тут перепугалась за тебя, страх! Молода еще, ничего не понимает, — заметил Сыч, подмигивая бровью, — разве можно за казака на коне бояться!

— Так то за казака, а то за пана, — усмехнулась радостно девчина и опустила глаза.

— Ха, ха! Моя любая, — все-таки попрекает, — отозвался Мазепа и, соскочив при общем одобрении с коня, передал его Немоте.

Целый вечер только и толков было, что о Мазепе, о его ловкости, о его смелости, да об его игре. Вспоминали всех знаменитых наездников и торбанистов и находили, что Мазепа превосходит их всех.

С этого дня жизнь Мазепы на хуторе наполнилась еще всевозможными разнообразными удовольствиями: то он укрощал диких коней, то стрелял метко из лука, то пробовал дедовские рушницы, то сражался с Сычом на саблях. Задетые за живое успехами Мазепы, и дед, и Немота, и Безухий вступали с ним в состязание, но всякое упражнение кончалось торжеством Мазепы. Впрочем, никто этим не огорчался, каждый ловкий маневр Мазепы вызывал восторг в побежденных; он просто делался кумиром этого маленького хутора.

— Ну, да и лыцарь же ты, друже мой! — вскрикивал шумно Сыч, когда Мазепе удавалось ловким выстрелом убить пролетающую невзначай дрофу, или повалить пулей мчавшуюся по степи серну, или вышибить одним ударом саблю из рук Немоты.

— Ей-Богу же, только покойному гетману Богдану было б и совладать с тобой! О, тот был на все эти штуки мастер!

Жизнь на хуторе катилась тихо, весело, безмятежно, как прозрачные струйки воды по золотому песчаному дну. Однако, несмотря на полное счастье и спокойствие, охватившее здесь Мазепу, в голове его начинала уже не раз шевелиться мысль о том, что пора, наконец, распрощаться со своими дорогими спасителями и вернуться назад к той бурной жизни, которую он так неожиданно покинул, где его ждет еще расправа с ненавистником врагом, где... При одной этой мысли мучительное волнение охватывало Мазепу и он с усилием гнал ее от себя; ему так хотелось пожить еще здесь, в этой прелестной семье, без мысли о будущем, без воспоминанья о прошлом, отдаваясь тихой радости настоящего дня. Галина же не отступала ни на шаг от него.

— Тебе не скучно, тебе не "нудно" здесь, любимый? — спрашивала она с тревогой, когда холод раздумья появлялся на лице Мазепы, и заглядывала своими чудными ласковыми глазами в его глаза.

Один мелодичный звук этого искреннего голоса разгонял все тревожные думы и заботы Мазепы.

— Нет, нет, моя ясочко, мне так хорошо с тобой, — отвечал он, сжимая ее руки.

XI

— Слушай, моя "зирочко", — продолжал тихо Мазепа, — ты видела, как покрывает иногда всю степь тяжелый непрозрачный туман и своей густой пеленой закрывает и голубую даль, и яркое поле цветов, и серебристую речку... и вдруг с высокого неба ударит яркий луч солнца и словно острой стрелой порежет его пелену: туман разорвется, заколеблется, подымет легкими волнами и поплывет к небу белым облачком, а степь снова засияет под ласковыми лучами солнца. Так, дытыночко, и все мои смутные думы от одного твоего взгляда разрываются и уплывают, как холодный туман, и я снова счастлив и весел, и не хотел бы отойти от тебя никуда.

— Как хорошо сказал ты это, — прошептала Галина, подымая на него свои подернутые счастливой слезой глаза. — Боженьку, Боже мой, какой ты разумный, хороший, а я... — вздохнула она и наклонила низко, низко голову.

— А ты имеешь такое чистое и ласковое сердце, какого нет ни у кого.

— Ты насмехаешься?..

— Разрази меня гром небесный, коли смеюсь.

— Так тебе не скучно со мной? — вскрикивала уже с восторгом Галина, сжимая его руки.

— Счастливее, как теперь, я не был никогда в жизни.

— И тебя от нас туда, к вельможным панам, не потянет?

— Никогда, никогда, — отвечал невольно Мазепа, поддаваясь дивному обаянию этих сияющих счастливых минут.

Стоял золотой, безоблачный летний день; после раннего обеда все население хутора, за

исключением Мазепы и Галины, разошлось по прохладным тенистым местам, чтобы подкрепить себя коротким сном для дальнейших работ. Мазепа и Галина сидели в саду. Прохладная тень развесистого дуба защищала их от солнца, прорвавшиеся сквозь густую листву солнечные лучи ложились яркими световыми пятнами на зеленой траве, на золотистой головке Галины. При малейшем движении ветерка они приходили в движение и перебегали мелкой рябью, словно струйки воды на поверхности реки. Кругом было тихо, слышалось только мелодичное щебетание птиц.

Мазепа как-то рассеянно перебирал струны бандуры, слушая с задумчивым лицом нежное воркованье Галины.

— А вот и не слушаешь, тебе уж наскучили мои рассказы! — прервала, наконец, свою речь Галина, поворачивая к Мазепе свое плутовски улыбающееся личико.

— Нет, не поймала, — встрепенулся Мазепа, — я только припоминал песенку, а ты щебечи, щебечи...

— Ну, что это! Вот и пташки, как хорошо поют, а и то мне надоедает их щебетанье. Знаешь что, — сорвалась она вдруг с места, — давай пойдем на речку, сядем в лодке и поплывем далеко, далеко, там есть место, где так много, много белых цветов на широком "лататти", а рыбок сколько!.. Кругом тихо, ясно, да любо!

— Хорошо, хорошо, моя милая рыбка, — согласился Мазепа.

— Ну, так давай мне твои руки... нет, нет, давай, я подниму тебя. Ты ведь теперь такой слабенький, больненький, вот так! — С этими словами Галина схватила Мазепу за обе руки и с усилием потянула их.

— Слабенький, слабенький... А ну, подымай же, силачка, — улыбался Мазепа, не трогаясь с места, и вдруг неожиданно вскочил, едва не опрокинув при этом Галину.

— Ой, напугал как меня, — вскрикнула она, заливаясь серебристым смехом. — Ну же, скорее, скорей "наперегонки" со мной!

С этими словами Галина бросилась бежать; Мазепа погнался за нею, но не догнал. Через десять минут они уже были на берегу реки. Отвязавши лодку, Галина вскочила в нее и села на корму с веслом в руке; Мазепа столкнул лодку в воду и вскочивши в нее, сел на гребки. Одним ударом весел он вынес ее на середину реки. Лодка покачнулась и затем тихо поплыла вниз по течению. Узкая водяная гладь была залита ослепительными блестками солнца, вдали все они сливались и, казалось, — там текла уже не река, а тянулась сверкающ золотом лента. Больно было смотреть на эту сияющую даль. Зеркало реки было так гладко, что высокие неподвижные стрелки очерета, украшенные то светлыми кисточками, то темно-коричневыми бархатными цилиндриками, отражались в нем без зыби, словно спускались в глубину прозрачных вод. Вперед смотреть было больно, назад же за солнцем перед путниками раскрывалась прелестная картина.

— Положи весло, Галина, — произнес Мазепа, — пусть вода сама несет нас.

Галина молча подняла весло и вложила его в лодку. Мазепа последовал ее примеру. Лодка поплыла медленно, тихо колеблясь; иногда одним или двумя ударами весла Мазепа давал ей желанное направление. Они сидели молча, словно притихли, охваченные чувством восторга перед окружающей красотой. Мимо них проплывали зеленые кочки, подымавшиеся из воды, словно кудрявые шапки, целые заросли зеленого "осытняка", сужающие речку в таинственный

коридор, а то вдруг лоно реки неожиданно расширилось, и они выезжали словно на неподвижное озерцо, окруженное кудрявой стеной лозняка. Но вот лодка сделала один поворот, другой, и вдруг перед путниками открылось целое "плесо" воды, устланное вплотную широкими зелеными листьями с крупными белыми цветами, казавшимися под блеском солнечных лучей прелестными серебряными чашечками.

— Стой, стой! — вскрикнула Галина. — Я сделаю себе такой венок, какой надевают русалки.

Лодка, впрочем, сама остановилась, и Галина, перегнувшись через борт, начала срывать белые водяные лилии. Затем она сплела из них прелестный венок и, надевши его на голову, повернулась к Мазепе. Ее прелестное личико в этом белом венке казалось еще изящнее, еще нежнее.

— Ах, какая ты гарная, Галина! — произнес невольно Мазепа, не отрывая от нее восхищенных глаз.

Все лицо Галины покрылось нежным румянцем.

— Правда? — произнесла она живо и, перегнувшись через борт лодки, взглянула в воду. — У, страшно! — вскрикнула она, отбрасываясь назад, — Может, это не я, может это смотрит на меня русалка из воды, я лучше брошу венок, а то еще, пожалуй, они рассердятся на меня за то, что я сорвала их цветы, и ночью подстерегут, утащут на дно и "залоскочут".

— Нет, нет, оставь венок; тебе так хорошо в нем, — остановил ее Мазепа. — Смотри, для твоих русалок осталось здесь еще много цветов.

Затем он ударил веслом, и лодка с трудом, путаясь в зелени, поплыла вновь; вскоре затон белых лилий остался за ними. Обернувшись спиной к Мазепе, Галина следила за убегающими берегами реки; вдруг взгляд ее упал на какой-то ослепительно блестящий на солнце предмет, лежавший неподалеку от берега речки.

— Что это такое блестит там на солнце? — произнесла она с Удивлением, прикрывая от солнца глаза рукой, и через секунду вскрикнула оживленно. — А знаешь, что это такое? — Это кости того коня, который принес тебя. Немота и Безух оттянули его аж вон куда... а он тогда сразу же издох. Мазепа вздрогнул, пристально взглянул на сверкающий на солнце скелет, и лицо его, тихое и спокойное за минуту, вдруг потемнело; в тесно стиснутых губах отразилась затаенная злоба. Галина заметила эту перемену, одним движением вскочила она с кормы и пересела на лавочку против Мазепы.

— Милый мой, любимый, хороший! — заговорила она, нежно беря его за руку, — тебе больно стало? Ты вспомнил про тех "хыжакив", что хотели тебя замучить? Расскажи мне, за что они привязали тебя? Я давно хотела тебя спросить, да боялась... что рассердишься.

— Дорогая моя, я никогда не сержусь на тебя; незачем тревожить твое сердце этим рассказом!

Он замолчал, затем провел рукой по лбу, как бы желая согнать пригнетавшее его ум ужасное воспоминание, и затем продолжал взволнованным, нетвердым голосом:

— О, если бы ты знала это надменное, жестокое и трусливое панство, тогда бы ты не удивилась ничему! Если пан нанесет обиду, и его позовешь за то на рыцарский "герц", то он уходит и прячется, как трус, а если он считает, что другой нанес ему кровную обиду, то и не думает расквитаться с ним сам, один на один, как это делается у шляхетных людей, а собирает банду своих хлопов и поздней ночью, притаившись за углом, нападает на

безоружного... Ха, ха! — рассмеялся Мазепа злобным, жестким смехом, — о, у них шляхетные "звычаи", шляхетные "вчынкы"!

— Так, значит, он тебя... за обиду... за "зневагу"?..]

Мазепа забросил гордо голову и по лицу его пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Что значит обида и что такое "зневага"? Если б у тебя был драгоценный сосуд и ты, разбивши его, выбросила бы осколки на двор, — разве ты посчитала бы это обидой, если бы кто-нибудь подобрал эти осколки и унес их с собой?

— Но ведь они дорогие, зачем брать чужое? !

— Раз выброшены, так значит от них "одцуралысь", — вскрикнул с горечью Мазепа, — душа человеческая, Галина, дороже всего на свете, и ни за какие деньги ее никто не может закупить!

— Но, — произнесла тихо Галина, — я не понимаю, что ты говоришь, — разве можно разбить душу? ;я

— Скорее, чем что-нибудь на свете!

— Но как же ты мог поднять ее?

— О, мог бы, если бы не был таким осмеянным дурнем, если бы... ох!

— Да что ты морочишь, — произнесла обиженно, робко Галина, следя своими опечаленными глазами за расстроенным лицом Мазепы, — ведь душа — дух Божий!

— У одних дух Божий, а у других "тванюка", "змиина отрута".

Мазепа замолчал, замолчала и Галина; на личике ее отразилась мучительная работа мысли.

— Он убил кого-нибудь, не на смерть, а ты хотел вылечить? — произнесла она после короткой паузы, тихо, боязливо.

— Нет, дитя мое, — ответил с глубоким вздохом Мазепа, — я думал сначала так, но ошибся: то был уже давно труп.

— Так значит он был душегуб и за то, что ты узнал об этом, он и привязал тебя к коню?.. Ох, как же это ему даром пройдет, и король не покарает?

— Король? Что король! Пусть глаза мои лопнут, если я ему это прощу! — произнес Мазепа мрачно. — Есть у меня более верный "пораднык" чем король, — моя сабля!

На лодке снова водворилось молчание. Не направляемая ничьим веслом, она тихо покачивалась на волнах, медленно подвигаясь вниз. Галина с тревогой следила за выражением лица Мазепы.

— А пани? Там ведь была еще какая-то пани? — произнесла она тихо, после большой паузы, — отчего она не спасла тебя?

— Пани? — переспросил ее изумленно Мазепа и на щеках его выступил яркий румянец. — Откуда ты знаешь? Кто сказал тебе об этом?

— Ты сам, когда у тебя была "огневыця", говорил об этом; ты кричал на нее, чтоб она уходила, ты боялся ее... Кто была она?

Мазепа опустил глаза и произнес угрюмо:

— Она была его женой.

— Но ты звал ее куда-то с собой? Ты говорил, что она не захотела с тобой уйти. Мазепа поднял голову.

— Да, я звал ее с собой, я хотел спасти ее от этого "ката", но она... А! Что говорить об этом! — вскрикнул он раздраженно и, махнув рукой, опустил голову.

Что-то непонятное, неведомое доселе Галине дрогнуло в ее сердце. В словах Мазепы, в его страстном возгласе она почувствовала какую-то обиду для себя; острая боль впиалась ей в сердце, на глаза навернулись слезы.

Он сердит оттого, что звал ее, а она не захотела уйти, он хотел спасти ее от пана. "А, так это о ее душе говорил он!" — пронеслось молнией в ее голове, и вдруг от этой мысли непонятная грусть охватила ее. "От чего же он хотел спасти ее? Именно ее? Верно, она была красивая, верно, он очень жалел ее?"

Погруженный в свои воспоминания, Мазепа не заметил впечатления, произведенного его словами на Галину.

— Что ж, она была хорошая, гарная? — произнесла Галина дрогнувшим опечаленным голосом, — ты очень любил ее?

— О, не спрашивай, — вскрикнул порывисто Мазепа, — ты ведь не можешь понять, ты не знаешь этих золотых гадин, которые не умеют ни любить, ни чувствовать! Для которых золото — да их "почт вельможнопанський" дороже всего на земле!

На лодке снова воцарилось молчание. Ни Мазепа, ни Галина уже не замечали окружающей их красоты; оба сидели молчаливые, немые, ошеломленные роем окруживших их дум. Между тем никем не управляемая лодка тихо ударила о берег реки и остановилась. Мазепа машинально вышел на берег, за ним вышла и Галина. Они пошли по зеленой степи: кругом не видно было ничего; хутор давно уже скрылся из виду, кругом расстилалось лишь зеленое поле, пестреющее множеством полевых цветов; при дыхании ветерка высокая трава гнулась и снова подымалась, и казалось тогда, что по степи пробегает широкая волна; нежный аромат цветов и полевой клубники наполнил воздух. Но ни Мазепа, ни Галина не замечали ничего.

Мазепа шагал быстро, порывисто, как только шагает сильно взволнованный человек; несколько раз он сбрасывал шапку и, проводя рукой по лбу, подставлял его свежему дыханию ветра, словно хотел облегчить свою голову от жгучих, мучительных дум. Галина шла рядом с ним, погруженная в свои мысли.

"Зачем он хотел спасти ее? Именно ее? — словно повторил какой-то назойливый голос в ее сердце. — Если он жалел ее, то значит любил, если он любил ее, то значит она была гарная, хорошая, разумная. Он сердится, значит, ему жаль ее, значит он не забыл ее до сих пор!" Бедное сердце Галины сжималось мучительной тоской, на глаза выступали слезы. "Глупая, глупая, она думала, что ему хорошо с ней! Но что она значит перед той пышной панией, — все равно, что эта полевая былинка перед роскошным садовым цветком".

Так дошли они молчаливо до высокой могилы, молча взошли на нее и молча опустились на землю на ее зеленой вершине.

Мазепа сбросил шапку и, вздохнувши глубоко, оперся на руки головой. Галина следила за ним встревоженными, опечаленными глазами.

— Зачем же ты хотел спасти ее, если она такая гадина? — произнесла она наконец тихим опечаленным голосом.

Мазепа вздрогнул при звуке ее голоса и заговорил горячо.

— Да, хотел спасти ее, потому что верил ей... О, если бы ты знала, Галина, как умеют они говорить, как умеют туманить мозг горячими словами... небесными улыбками, — глухой бы услышал, немой бы заговорил, камень бы растопился горячими слезами!

— Так это про нее ты все думаешь? Ты за ней скучаешь? Ты хотел бы снова ее увидеть? — голос Галины дрогнул, глаза ее наполнились слезами.

— Нет, нет, дитя мое, мне с тобой лучше всего!

Мазепа взял ее за руки и, поднявши голову, взглянул на Галину.

— Но что с тобой! — вскрикнул он с ужасом и удивлением, останавливая свой взгляд на ее лице. Она была бледна, как полотно, казалась еще бледнее белого венка, покрывавшего головку ее, большие карие глаза ее, подернутые слезами, смотрели на него с тоской, с печалью, с немым укором, казалось, еще мгновение — и эти слезы польются неудержимо из ее глаз.

— Что с тобой? — повторил Мазепа, — Я обидел, огорчил тебя?

— Нет, нет, — заговорила, не слушая его слов, Галина слабым, прерывающимся голосом, — мне так чего-то больно, ты скучаешь, ты тоскуешь за нею. Она такая умная, такая гарная, а...

— Ты лучше их всех, ты не знаешь цены себе, Галина, рыбка моя, голубка моя, дорогая! — вскрикнул горячо Мазепа.

— Ох, не смейся, грех!

— Клянусь Богом святым. Пречистой Матерью, я не смеюсь, я не лгу тебе.

Лицо Галины просияло.

— Так ты не кинешь меня, не убежишь к той? — заговорила она страстным, прерывистым голосом. — Нет, нет! Ты любишь ее больше меня!

— Галина, Галина! — вскрикнул изумленный Мазепа, но Галина не слушала его. Все лицо ее преобразилось; огромные глаза сияли каким-то внутренним светом; в голосе дрожали глубокие, страстные ноты; крупные слезы жемчугом спадали с ресниц и катились по бледным щекам, но Галина не замечала их.

— Нет, нет, — продолжала она все горячее и горячее, — я не отдам тебя ей, не отдам, не отдам! Ох, не оставляй меня одну! Я буду тебя так крепко, крепко любить! Я не дам порошине сесть на тебя, не дам ветру дохнуть на тебя! Ты говорил, что я для тебя солнечный луч, а ты — все солнце, моя жизнь! Ты видишь, как все горит кругом, как блестит речка, как синее небо,

— это все потому, что солнце светит и освещает их! А зайдет солнце — и кругом станет темно, как в могиле, — так и моя жизнь без тебя! Да, да, я этого прежде не знала, а теперь вижу, теперь знаю! Ох, не оставляй меня! Как останусь я одна без тебя?.. я умру... умру!

— Галина... Галиночка... — шептал растерянный, потрясенный, взволнованный до глубины души Мазепа.

Но Галина ничего не слышала и не сознавала; как вешние волны вскрывшейся реки, так лились неудержимым порывом ее нежные, полные горячего чувства слова.

— Боже мой, Боженьку! Каждая птичка, каждая полевая мышка тешится с подругами, каждый цветочек растет рядом с другими цветиками, тучки по небу плывут вместе и играют дружно, только я все одна да одна! Кругом старики... Ни молодого сердца, ни "щырой розмовы"...

Она захлебнулась и, обнявши шею Мазепы руками, припала с рыданьем к его груди...

XII

Был тихий и душный вечер. После томительного зноя раскаленный воздух стоял неподвижно, даже от речки не веяло прохладой.

Солнце еще не закатилось совсем, а зашло лишь за тучу, лежавшую темной каймой на алевшем крае горизонта.

У самого берега речки, на высунувшемся из-под воды камне сидел Сыч с удочкой и зорко следил за движениями поплавка; другая удочка воткнута была в кручу; молодой гость деда, успевший за короткое время завоевать к себе во всех окружающих большие симпатии, сидел тут же, задумавшись и устремив глаза на далекий край покатоности, на которой уже расстиралось море безбрежной степи.

— Ага, попался! — подсек дед удочку, — а ты не хитри, не лукавь!.. Ах, здоровый какой, да жирный, как ксендз, окунец... Ой, чтоб тебя... чуть-чуть не выскочил.. Нет, не уйдешь... Полезай-ка в кош и аминь! — болтал весело Сыч, налаживая червяка и отмахиваясь от мошки, что кружилась над ними легким облачком, — фу ты, каторжная да уедливая, лезет как жидова, да и баста... и в нос, и в глаза... и не отженешь ее... забыл смоляную сетку взять... Эге-ге, пане Иване, — не выдержал, рассмеялся он весело, заметив, что Мазепа порывисто встал с места и замахал энергично руками, — и удочку бросил, хе, хе!.. Тварь-то эта любит нежную кожу да молодую кровь, ой, как любит...

— Да, одолевать стала сразу, — ответил Мазепа, — тут вверху хоть не так душно.

— Ге, в очерете парит... это перед дождем и мошка разыгралась: вон солнце село за стену... а я было на завтра зажинки назначил, придется, верно, пообождать. Ну, что же, дал бы Господь дождик, а то доняла "спека": гречка подгорать стала... и отава... а по дождику пошла бы свежая "паша"...

— Славно у вас тут, диду, — и просторно, и вольно, и тепло, — заговорил как бы про себя Мазепа, — век бы, кажись, не расстался с такими людьми, щирыми да хорошими...

Глаза у него искрились счастьем, но в сердце начинала самовольно гнездиться тревога.

— Спасибо тебе, Иване, на добром слове. Все мы тебя полюбили, как родного... все... и за твой разум, и за твое сердце... так к тебе душу и тянет, голубь мой. Одно только не ладно, плохой

из тебя "рыбалка", никак не усидишь долго на месте, а коли и сидишь, то "гав ловишь" и пропускаешь клев.

— Ничего не поделаешь! — усмехнулся Мазепа, — сидишь над водой... кругом тишь да благодать, небо опрокинулось в речке... кобчики в нем неподвижно трепещут... засмотришься, а думки и давай подкрадываться со всех сторон, не успеешь и разобраться, как они обсядут тебя, что мошка... Ну, поплавок и забудешь.

— Да чего они к тебе, молодому, цепляются? То уж нашего брата думка доест, потому что вся жизнь за плечами, так только думками и живешь в прошлом, — впереди одна могила... а тебе назад и оглядываться незачем.

— Эх, диду мой любимый, назади тоже у меня много осталось и потраченных сил, и пьяных утех, и поломанных надежд... "Цур" им!

— А ты начхай на них, не в Польше ведь твоя доля.

— Да не о ней я жалею, а о молодых годах.

— Еще твое не ушло, — продолжал, вытянувши снова темно-бронзового линя, дед, — еще только наступило утро... а былъ молодцу не укор: родина тебя пригреет, и ты ей послужишь.

— Только и думка про нее, — горячо ответил Мазепа, и глаза его загорелись вдохновенным огнем. — Ей вся моя жизнь, все мои мечты и молитвы. Здесь вот у вас, в этой второй мне семье, что воскресила меня к жизни, я и душою воскрес, и сердцем расцвел, и почуял всю силу любви к родному...

— Золотое у тебя сердце, оттого и почуял, а то было "вскую шаташася".

— Да, пожалуй... Шатанье-то это, да чужая сторона со всякими дурманами и затуманили голову, — а теперь бывшие несчастья отвратили мою душу от продажных магнатов, и даже за последнее их зверство я благодарю Бога. Эта кара привела меня в такую дорогую семью, с которой тяжело и расстаться.

Мазепа действительно чувствовал в эту минуту, что ему оторваться от этой семьи больно.

— Да чего ж тебе, сыну мой любимый, и расставаться, — промолвил растроганным голосом Сыч, — поживи здесь, поправься... нам ведь тоже за тобой... — крякнул он как-то загадочно и замолчал.

— Нет, пора, — вздохнул грустно Мазепа, — и то уж вылежался и "одпасся" на вашей ласке, пора и честь знать... да час и поискать, куда бы примкнуть себя.

— Торопиться-то нечего... Еще и не оправился как след... А мы тем часом осмотримся и выберем, куда тебя пристроить; людей-то теперь везде нужно, а с такими головами, как твоя, и подавно... И Сичь, и Дорошенко тебя с радостью примут, а к собаке Бруховецкому, надеюсь, ты не пойдешь.

В это время подбежала к ним раскрасневшаяся и сияющая радостью Галина и остановилась на пригорке, стройная, легкая, как степная серна.

— А что, диду, наловили рыбы? — заговорила она, запыхавшись и вздрагивая упругой, нежно обозначавшейся под белой сорочкой едва развившейся грудью; сиявшие счастьем глазки

остановила она впрочем не на деду, а на стоявшем справа молодом красавце.

— Наловили, наловили, моя "нагидочко", — отозвался из тростников дед, плескаясь в воде, — вот посмотри, какие окуни да лини, только это все я, а твой "догляженец" ничего не поймал... кроме комаров да мошки.

— Гай, гай! Как же это? — засмеялась Галина, — а я-то больше всего на нашего пана Ивана надеялась...

— А ты на панов не надейся, казачка моя любая. Хе! Что пан, то обман, — засмеялся добродушно Сыч, выбираясь на берег с кошиком, в котором трепеталась серебристая и золотая рыба.

— А правду ли говорит дид? — спросила, зардевшись, у Мазепы Галина.

— А ты, сестричка, за что меня величаешь паном? — ответил на это со счастливой улыбкой Мазепа.

— Разве можно тебя к кому-либо приравнять? По всему пан...

— Хе, хе! — мотнул головой Сыч, — это она правильно.

— Спасибо тебе, горличка, — бросил огненным взглядом на Галину Мазепа, — а все же лучше зови меня просто Иваном.

— Как? Только Иваном?

— А только... Ну, прибавь к Ивану, коли хочешь, любый, либо коханий, либо сердце.

— Хе, хе! Ач, чего захотел, — замотал добродушно головой дед.

Галина взглянула быстро на Ивана и, вспыхнувши полымем, стала в смущеньи кусать свои кораллы.

— А ты не "потурай" этому другу, — промолвил, продвигаясь тяжело вперед, дед. — Ведь хочет бросать нас... надоели, мол, — начал было он, но заметивши, что Галина при этом известии побледнела, как полотно, и растерянно, с детским ужасом остановила глаза на Мазепе, обратил все сейчас же в шутку. — Только мы эти все его панские "вытребеньки" по боку, — понимаешь, не пустим, да и квит, таки просто вот, по-казачьему "звычайю", ворота запрем... и не пустим... так-то, Галиночка моя, утеха моя, беги, да приготовь нам добрую вечерю, чтоб не голодал дорогой гость.

— Я приготовила его любимое... — словно поперхнулась вздохом Галина, ожившая несколько от слов деда, — "лемишчани" пироги... а вот с рыбы "юшку" сейчас приготовит бабуся.

— Нет, знаешь что, — остановил ее весело дед, — тащи-ка сюда казанок, да всяких кореньев... Картофельки, укропу, "цыбулю" и перцу, побольше перцу... так мы сами здесь приготовим по-запорожски. Ей-Богу!.. Да захвати еще оковытой!

— А что ж, это очень весело, — одобрил Мазепа, — только чтобы и сестра помогала.

— Я зараз, зараз, — заторопилась девчина.

— Хе, Галинка, — покачал головой дед, — "без Грыця вода не освятыться". Ну, а "челядныки"

как? — обратился он к внучке, пустившейся было к хутору.

— Да вон вертаются... Им уже все приготовлено, — крикнула на бегу Галина.

Между тем туча медленно поднималась, охватывая половину горизонта, и ускоряла приближение вечера. Вскоре возвратилась с провизией, казанком и прочими припасами Галина, в сопровождении бабы, и заявила, между прочим, что на хутор приехали какие-то казаки.

— Казаки? Кто бы это? — засуетился Сыч, — нужно пойти.

— Да стойте, диду, — остановил его Мазепа, — кажись, они сюда идут.

Все обернулись: действительно к ним подходили два каких-то значных казака.

Впереди шел средних лет казак, статный, стройный, мускулистый; бронзового цвета худое скуластое лицо его нельзя было назвать красивым, но оно, несмотря на строгие, резкие черты, на тонкий с небольшой горбинкой нос, на энергически сжатые, прямые черные брови и на суровое очертание рта, прикрытого роскошными длинными усами, не отталкивало, а привлекало к себе сразу всякого и главным образом своими открытыми, карими, ласковыми глазами, смягчавшими суровость и строгость общего выражения. За ним, почти рядом, следовал выхолненный казак несколько помоложе, составлявший и ростом, и фигурой, и светлой, подстриженной грибок шевелюрой, и более белым лицом совершенную противоположность первому: несмотря на мягкие, несколько расплывшиеся черты его лица, несмотря на смиренно кроткое выражение небольших серых, узко прорезанных глаз, в выражении их и особенно тонких губ таилось что-то неискреннее, вселявшее недоверие.

Прибывшие гости отличались от простых казаков или запорожцев и дорогим оружием, и более изысканной одеждой: они были широко опоясаны турецкими шальями, с накинутыми нараспашку "едвабными" кунтушами.

Приблизившись к шедшему навстречу Сычу, чернявый ласково ему улыбнулся, как старому знакомому.

— Здоров був, Сыче! — протянул он ему приветливо руки. — Не ждал, верно, а!

— Кто это? — оторопел Сыч, раскрыв широко глаза. — Да не может быть, батько наш, кошевой? Пан Иван?

— Да он же, он самый Иван, да еще и Сирко, — обнял гость обрадованного несказанно деда. — Только ты скорей — батько наш сывый. и нам уже подобает сынами твоими быть, так-то.

— Ой, радость какая, орле наш сизый! — целовал своего бывшего товарища Сыч. — Такой чести и не думал дожидаться... возвеселися, душе моя, о Господе! Да какой же ты бравый, завзятый, не даром от одного твоего посвисту дрожат бусурмане. Хе, задал ты им чосу! Татарва, ведь, и детей пугает тобою, — говорил торопливо дед, осматривая со всех сторон славного на всю Украину лыцаря, предводителя Запорожской Сечи, словно не доверяя своему счастью принимать у себя такого почетного гостя.

— Да что ты, батьку любый, меня все оглядаешь, словно невесту на смотринах, — засмеялся наконец Сирко, — вот привитай лучше моего товарища, наказного полковника Черниговского, Самойловича.

— Самойловича? — изумился Сыч. — Слышал, слышал, давно только... Недалеко от Золотарева был в Цыбулеве батюшка Самойлович, приезжал часто к нашему, а потом перевели его на левый берег в Красный Колядник, недалеко от Конотопа.

— Этот батюшка и был моим отцом, — отозвался с нежной улыбкой полковник.

— Господи! Да ведь, коли так, так и пана полковника помню, — обнял он горячо представленного ему кошевым полковника, — маленького, вот такого, — показал он рукой, — Ивашка... Качал не раз на руках, на звоницу носил с покойной моей Оксаной, рядом бывало посажу на руки... Эх, уплыло все!

— Так мне вдвойне радостно, — заявил, прижмурив глаза, Самойлович, — посетить и славного сичовика, и знавшего отца моего и меня в детстве.

— А вот, прошу "пизнаться", панове, — указал Сыч на стоявшего несколько в стороне своего гостя, — чудом спасенный нами Мазепа. Ляхи из мести привязали было к дикому коню, бездыханного принес "огырь" и сам упал вон там трупом. Прошу любить и жаловать.

Мазепа подошел с изысканной вежливостью и заявил, что он с радостным трепетом сердца склоняется перед народным богатырем, перед славою и упованием Украины. :

Сирко его обнял радушно, а за ним и Самойлович заключил Мазепу в свои объятия.

Поднялись расспросы об этом неслыханном зверстве, но Сыч прервал их:

— Просим к дому, чтоб вечеря не остыла, сначала зубам дадим работу, а потом языку: за кухлем сливянки да старого меду свободнее будет и потолковать. Ты, Галино, — обратился он к стоявшей в недоумении внучке, — сама здесь порядкуй, а мы уже пойдем... Затеял было со внучкой, — сообщил он своим гостям, — запорожскую юшку сварить... рыбки наловил доброй... так вот затеяли было в казанке...

— Так зачем же бросать хорошую думку? — запротестова Сирко, смотря ласково на Галину, очевидно досадовавшую на неожиданных гостей, расстроивших удовольствие. — В хате теперь душно, а тут над речкой и просторно, и любо... а "юшци" и мы дадим "раду".

— О? Так тут одпочинем, пока дождь не погонит? Ну, садитесь же, дорогие, или лучше ложитесь... тут на мураве мягко... а я пошлю за сулеями, чтоб прополоскать от пыли горло.

— Да не беспокойся, друже, — мы и присядем, и приляжем, и "люлечки" потянем, а прополаскиваться будем после. Теперь же вот "юшку" приготовим.

— Как так, то и так, — согласился Сыч, — а насчет "юшкы", так Галина у меня похлопочет, хоть и молода еще, — кивнул головой он на девушку, которая в это время собирала под казанок сухой хворост и очерет, — внучка моя единая, дочка покойной Оксаны и Морозенка.

— Морозенка? Славного на всю Украину казака, про которого думы поют? — изумился Сирко.

— Про того самого, зятя моего, — вздохнул Сыч и притих.

— Моторна дивчина, хорошая... а подойди-ка сюда, — обратился Сирко к Галине и, взяв за руку несколько оторопевшую и испугавшуюся красавицу-степнячку, привлек ее к себе и поцеловал в щеку. Девушка вспыхнула алой маковкой и, растерявшись опустила глаза. — Ой, ой, что это мы учинили, дивчину пристыдили, так за такую вину должны дать пеню... Вот челом тебе бьем.

На дукача! — вынул он из "череса" и положил на ладонь ей десять червонцев.

Галина еще пуще вспыхнула, поцеловала второпях руку Сирко и не знала, куда спрятаться; покраснел, между прочим, неизвестно почему и Мазепа. Галина бросила украдкой на него взор и пустилась бегом к усадьбе.

— Да стой ты, "дзыго", — остановил ее дед. — Обрадовалась и растерялась совсем "дытына" от такой щедрости и ласки... сирота — не привыкла... — говорил растроганным голосом дед. — Эй, слухай, притащи-ка нам сюда вепрячье стегно, да сушеных ягнят, — такие вкусные, аж хрустят... И "оковытой" в самый раз... да печериц бы еще поджарить в сметане... Постой, постой, а брынзы еще принеси... вот что на той неделе... Хе, помчалась, как ветер... придется самому.

— Да что ты это задумал, друже мой старый, хороший, — остановил его Сирко, — закормить нас на смерть... да садись же с нами и не балуй нас разными "вытребеньками", коли есть "оковыта", так и с "саламатою" нам сыто.

— Хе, хе! Так, так, пане отамане, — ну что ж, дорогие гости, любые мои, запалуйте люльки... Ну, а тем часом принесут горилку и "юшка" поспеет: перчыку побольше... а рыбка славная... значит и выйдет разрешение вина и елея... — болтал весело дед, подходя то к одному, то к другому гостю, то к закипавшему казанку.

— Да садись, батьку, к нам, — отозвался наконец Сирко, раскуривши люльку и располагаясь полулежа на керее.

Самойлович уселся по-турецки, а Мазепа примостился немного дальше на кочке.

XIII

— Откуда же вас Бог несет? — спросил у Сирко Сыч, усаживаясь возле него в почтительной позе.

— От нашего нового гетмана, от Дорошенко, — ответил, закидывая усы за уши, кошевой, — славный человек, продолжи ему век, Боже... Съехались вот там с паном полковником потолковать о наших несчастных "справах", о "розшарпаний" пополам "неньци" Украине... Слышал ведь про Андрусовский договор?

— Слышал что-то, — ответил смущенный недобрым предчувствием Сыч. — Был месяц назад у меня полковник Богун и говорил, что какая-то "чутка" прошла про Андрусов.

— Не "чутка" уже, а правда, чтоб ее разнесло, как ведьму в болоте, — сверкнул злобно глазами Сирко, — разорвали нашу Украину этим договором —надвое: по ту сторону Днепра взял край московский царь под свою сильную руку, а по эту сторону земли отдал ляхам... теперь что же нам делать? Прежде, всем вместе бороться было под силу, а теперь половиной как поорудуешь?

— За позволением лыцарского панства, — вмешался в разговор Мазепа, — интересы державы приневоливают иногда коронованных лиц действовать и против сердца: конечно для Московии было бы любо взять под свою руку всю Украину и с помощью ее раздавить Крым, а тогда, опершись одной пятой о Черное море, а другой об Азовское, придушить и Польшу, да видно Московское царство боится еще тягаться с Польшей да татарвой, а то и с Турцией; так вот оно и "задовольнилось" пока половиной, купив себе на нее право обещанием "пидпырать" Польшу... Что ж? В этом я вижу мудрую политику: приборкать сначала половину, а потом,

когда другая будет, ослаблена непосильной борьбой, протянуть при "слушному часи" и к той руку.

— Ловко, как будто там был, — заметил Сирко, устремив на Мазепу пронизательный взгляд.

— Воистину так, — подтвердил эти мысли сладким голосом и Самойлович, сложивши молитвенно руки, — пан подचाший разгадал сразу тайную думу Москвы и она уже оправдывается у нас на деле: ненавистный всем Бруховецкий в угоду боярам продает все наши вольности, приверженцев своих награждает дворянством, получая за все это маетности, набивает нашим добром кешени и нет ему удержу, а нам нет "порады".

— Да что ж вы на него, "зрадныка", смотрите, хрен вашему батьку в зубы? — крикнул грозно Сирко. — Где ж это поделась сила казачья? Как стали гречкосеями, так и баба на лысину вам стала плевать.

— Еще небольшая беда завести державе высшее сословие, — заговорил вкрадчиво Мазепа, — лишь бы устроение его не шло прямо во вред и в уничтожение других станом: в сильном царстве всем равным быть невозможно... Равными, да и то не совсем, могут быть люди лишь в небольшой "купи", либо семья, коли она одним делом занимается... И в нашей славной Сичи, на что уже братство и родная семья, да и там есть строгий уряд... В субординации — сила.

— А это он... хе, хе... воистину, — покачал добродушно головой Сыч, — ина слава солнцу, ина слава звездам.

— Я думаю, — продолжал Мазепа, — что вся наша борьба, если она будет зиждиться лишь на вере, да на казачьих вольностях, так она ничего не создаст, не "збудуе" и в конце концов изнеможется и погаснет под той, либо другой "протекциею"... Вы оглянитесь, панове, кругом: соседи все "будують" сильные царства — Московия, Швеция, Немеция... одна только Польша заботится не о своей державе, а о своих шляхетских вольностях, да вот еще мы заботимся лишь о вольностях казачьих... и клянусь вам, что и она, и мы, коли будем о вольностях лишь печалиться, рано ли, поздно ли, а погибнем.

— За самое живое место задел ты своим словом, пане подचाший, — заволновался, поднявшись на локте, Сирко.

— Ой, сынку, умудрил же тебя Господь, — взглянул на Мазепу любовно Сыч. — Не даром десница Его спасла тебя от смерти, — на добро, на корысть нашему краю, — попомни мое старчее слово!

Мазепа вздрогнул; до сих пор ему не приходила в голову такая мысль, а теперь слова старца показались ему пророческими, и какой-то священный ужас оцепенил на мгновение его сердце и ум.

— Подай Боже... подай, а это верно, — кивнул головой Сирко. Светлый разум, что и толковать... Ну, так как же по-твоему, лыцарю любый?

Мазепа вспыхнул от ласкового слова кошевого батька и, несколько оправившись от охватившего его внутреннего трепета, продолжал еще более убедительным тоном.

— Я, по воле нашего короля, был послан для науки в чужие края и насмотрелся всего, и надумался о многом... Всякое царство или королевство укрепляется теперь в своей силе и возвеличивает власть короля, и везде, везде эта власть спускается по "сходах" на низшие и низшие "станы": на самом верху — король, а сейчас же ниже за ним — князи, граби или

бароны; за ними — шляхта, дворяне и войско; за теми — горожане, мещане, а за последними уже поспольство. Выходит, что герцог, король либо кесарь поддерживается всеми и сам всех осеняет... Такая лестница составляет крепость и силу державы; такая лестница устроена и в чинах нашей церкви — митрополит, епископы, протопопы, попы, протодиаконы, дьяконы, дьячки, пономари, звонари... Такая лестница и на небе: архистратиг, херувимы, серафимы, архангелы, ангелы...

— Воистину так, аминь, — произнес восторженно Сыч.

— Искусно, хитро, — улыбнулся, прищутив глаза, Самойлович.

— Постой, друже, не перебивай, — остановил Самойловича жестом Сирко, — дай ему договорить до конца. Признаюсь, что первый раз слышу такие речи, — все от них колесом пошло.

— Так я вот и утверждаю, — продолжал уже авторитетно Мазепа, — что во всем свете такое только "забудування" и есть, — ergo, коли мы хотим быть сильными, то не должны пренебрегать тем, на чем свет стоит; во взаимном подчинении и страхе — есть сила, а в вольной воле всякого есть бессилие... Если мы отдаемся под протекцию кому бы то ни было, то, не взирая ни на договоры, ни на присяги, — ни одна держава не станет терпеть наших вольностей... расчета нет: всякому царству не только охота, но и потреба — не давать нам больше вольностей, чем заведено у него самого, и оно "мае рацию": никто не потерпит status in stato, — в одой хате двух господарей. Блаженной памяти славный наш гетьман Богдан дал тоже маху, оттого-то после него заверюха не утихает и не утихнет, а край веселый превращается в руину.

— Бей тебя сила Божья, коли не правда, — вскрикнул Сирко, привставая порывисто, — только как же ты сделаешь, чтобы и козы были сыты, и сено цело? 1

— А что же, преславный батьку, — улыбнулся Мазепа, — я своим глупым разумом полагаю, что коли мы хотим сохранить свои вольности, то нужно зажечь в своей хате, своим господарством, а чтоб от врагов отбиться, так нужно нам силы набраться, а чтоб силы набраться прочной, да нерушимой, так нужно поступиться вольностями...

— Фу ты, как говорит. и добре, и за хвост не поймаешь, — восторгался Сирко. — Уж это именно, что Господь тебя спас для какого-либо великого дела; вот и Петро со мной "балакав" тоже про это: на чьем, мол, возе едешь, того и песню пой, а коли хочешь свою затянуть, так смастери и свой воз. Вот и ты, как в око...

В горячей беседе Сыч и не заметил, как внучка его принесла всю провизию и, постеливши скатерть тут же на гладкой муравке, устала ее пляшками, сулеями, кубками, мисками, паляницами, огромным окороком, сухими барашками, не заметил и того, что туча уже надвинулась темной синеющей стеной, что передовые крылья ее уже волновались над их головами и проснувшийся ветер подымал вдали пыль. Возбужденный рассказом своего названного сына Ивана, он стоял теперь перед ним, не сводя со своего любимчика загоревшихся глаз, дрожа от волнения; ветер трепал его серебристую чуприну, закидывал усы во все стороны. Галина тоже остановилась в изумлении с миской пирогов, любясь разгоревшимся от возбуждения, сверкающим обаятельной красотой лицом своего Ивана. А Мазепа стоял, опустив глаза вниз, смущенный теплым словом славного на всю Украину запорожского орла, не находя видимо слов для благодарности; только по лицу его пробежали светлые блики...

Сыч не выдержал и бросился первый обнять своего дорогого Ивася:

— Любый мой, голова неоценная!

— И сердце, хочь и панское, деликатное, да щырое, — промолвил, приближаясь к Мазепе, Сирко. — Дай и мне обнять тебя, соколе. — И он заключил не помнившего себя от радости Мазепу в свои широкие, крепкие объятия.

— Коли пан позволит, — промолвил сладким голосом, подходя к Мазепе, и Самойлович, — то я бы тоже хотел мое сердечное вожделение запечатлеть братским лобзанием. Мазепа обнял Самойловича.

— Куда же ты думаешь? — спросил Мазепу Сирко.

— Думаю послужить всей душой моей "неньци" Украине, а куда приткнуться, еще не знаю, — ответил взволнованным голосом Мазепа. — Простите, высокошановные лыцари, что не умею воздать за ласку: сердце полно, слово немеет.

— Хе, хе! Язык прильне, — ухмылялся растроганный дед.

— Знаешь что, пане Иване? — воскликнул Сирко, ударив дружески по плечу Мазепу. — Поезжай-ка завтра же со мной в Сичь; будешь дорогим гостем: присмотришься ко всему, с товариством нашим сдружишься, тебя все полюбят, за это я головой поручусь. А мне будет потолковать с тобой большая утеха...

— Батьку, орле наш, да я такой чести и не стою, — растерялся совсем Мазепа, — так сразу...

— Да, сразу... Завтра же с паном кошевым, — восторгался и дед, забывши, что час назад он собирался не выпускать ни за что Мазепы, — значит, доля...

— Так решено? — протянул руку Сирко. — Оттуда, из Сичи, я тебе дам провожатых до Дорошенко; конечно, ему ты послужишь своей головой, а не Бруховецкому...

— Конечно не ему, а тому, кто стоит за единство нашего края.

— Кабы Бог помог. — промолвил Сирко, — так завтра же? Згода?

— И голова, и сердце в воле моего батька. — приложил к груди руки Мазепа, наклонив почтительно голову.

— Аминь! — заключил торжественно Сыч.

Галина с первых слов приглашения Сирком Мазепы задрожала, как камышина под дыханием налетевшего ветра, и побелела, как полотно. В последнее время она выгнала из головы мысль о возможности разлуки со своим другом, со своим "коханым", с которым она срослась сердцем, слилась душой. Сначала она боялась, что Ивана потянет в Польшу, что здесь ему скучно, но он переубедил ее и успокоил сердечную тревогу... и вдруг этот ужас встал перед ней сразу и жгучим холодом стеснил грудь, а когда она услышала последнее решительное слово, то уже не смогла перемочь мучительной, резнувшей ее по сердцу боли и, уронив миску с пирогами, приготовленными ею для любимого Ивася, она вскрикнула резко, болезненно и ухватилась руками за голову...

Кстати, в это же самое мгновенье сверкнула молния и раздался почти над головами сухой удар

грома. Все и объяснили этой причиной испуг Галины; один только Мазепа понял настоящее значение сердечного крика, и у него самого от этого вырвавшегося вопля захватило дыхание.

— Ге, ге! Какое насунуло, — оглянулся дед, — тащите-ка все и провизию, и пляшки, а главное казанок поскорей в хату, а то зальет, да и мы, панове, хоть и не пряники, не раскиснем, а все-таки дарма мокнуть не приходится... "Швыдше" ж, бабусю, а вы, мои дорогие дружи, за мною... прошу до господы!

За Сычем двинулись все, кроме Мазепы. Баба бросилась торопливо собирать все съедобное в скатерть, захватив в другую руку казанок, чтоб возвратиться еще раз за посудой и флягами. Сделалось сразу темно; наступило какое-то грозное, удушливое затишье.

— Галина, моя единая! — заговорил, подошедши к девчине, робким растроганным голосом Мазепа. — Я тебе причинил муку... прости мне, моя кроткая зирочка, мой ласковый "промень"... Мне ведь самому расстаться с тобой так тяжело, так трудно... Но что же поделаешь? Не могу же я "зацурать" и товарищей, и разорванную пополам Украину... и перед Богом был бы то непокаянный грех... Но слушай: это сердце твое... и оно с тобой никогда не разлучится... Ты, мое дитячко любое, будешь мне утешением в жизни... в Сичи не долго пробуду и сюда непременно заеду... не убивайся... еще надоем... — обнял он ее нежно и тихо поцеловал в бледную, безжизненную щеку; но от этого поцелуя она не вспыхнула заревом.

Галина стояла безучастно, словно не слыхала горячих речей; она дрожала, устремив куда-то в пространство пораженный ужасом взор...

XIV

Было раннее летнее утро. Яркие лучи солнца ослепительной играли на золоченых шпилях и изразцовых черепицах, покрывавших крыши великолепного Чигиринского замка.

По выложенному каменными плитами двору сновали казаки и разодетые в шелк и бархат татары собственной гетманской стражи. На воротах и у всех входов замка стояли часовые. На главном шпиле красовался флаг. Видно было, что славный гетман Петро Дорошенко находился теперь во дворце.

Перед окнами большой светлицы пани гетмановой расстился внизу зеркальной гладью запруженный гатями Тясмин; теперь, под косыми лучами солнца, он казался растопленным золотом и отражался на плафоне светлицы золотистой рябью. В открытые окна врвался ласковый ветерок, насыщенный свежим ароматом цветов, растущих по покатоности; а за этими яркими клумбами лежал уже темно-зелеными тучами, спускаясь до самого берега, тенистый гетманский сад. За Тясмином вдали живописно пестрели шахматными полосами нивы, а за ними синели вдали днепровские горы.

У широкого, венецианского окна светлицы стояли большие пальцы с натянутой в них шелковой материей. Склонившись над пальцами, сидели друг против друга две молодые женщины: жена гетмана Петра Дорошенко, прелестная Фрося, со своей наперстницей Саней.

На гетманше была нежно-розового цвета сподница из тисненного турецкого "адамашка"; стройная ее талия была затянута в светло-зеленый "оксамытный" спенсер, переплетенный золотыми шнурками и украшенный дорогими аграфами, а сверху был накинута роскошный серебристый глазетовый кунтуш. Гетманшу нельзя было назвать красавицей; несколько смятые черты ее личика не выдерживали классической строгости, но зато в этих голубеньких, как цвет незабудки, глазах светилось столько заигрывающего кокетства, в этом тонком, слегка вздернутом носике было столько заманчивого задора, в этих розовых, словно

припухших, губках таилось столько опьяняющей страсти, что нельзя было не назвать ее личико очаровательным; особую прелесть его составляла прозрачная белизна кожи, нежный румянец и пепельный цвет волос, а миниатюрная, словно выточенная фигурка гетманши дополняла обаяние этой прелести. Фрося была молода, но светлая окраска волос и глаз, а главное кокетливо капризное выражение лица, совершенно не соответствующее ее высокому положению, делали ее еще моложе.

Воспитанница гетманши панна Саня составляла ей своей внешностью полный контраст: здоровая, пышная, даже слишком пышная для молодой девушки, она напоминала собой крепкого сложения селянку, способную в один день нагромоздить десяток-другой добрых "копыць"; смуглое лицо ее с густым, здоровым румянцем, с веселым беззаботным выражением карих глаз, с гладко зачесанными на лбу черными волосами, заплетенными в одну косу, с вечно улыбающимися губами, дышало жизнерадостно; панна, казалось, готова была, при малейшем поводе, разразиться неудержимым хохотом, обнажив при этом два ряда белых, крепких зубов. На ней была яркая, "жовтогаряча" сподница и темно-красный бархатный жупан с зелеными ушками сзади у талии, а гладко зачесанная голова была повязана ярко-красной лентой.

Нагнувши голову, панна Саня усердно работала, тогда как гетманша с иглой и золотой ниткой в руке рассеянно, тоскливо смотрела через открытое окно в сизую даль, не тешась уже больше надоевшей картиной.

В комнате царило молчание.

Углубленная в свою работу панна не заметила состояния своей благодетельницы.

— Ох! — прервала, наконец, молчание тоскливым вздохом, молодая гетманша. — Как "нудно" здесь! Как опротивел мне этот скучный замок! :

— Опротивел замок? — переспросила с удивлением Саня переводя свой взгляд с работы на лицо гетманши. — Такой пышный "палац", про который все говорят, что не хуже королевских палат в Варшаве, и уже надоел?!

— Ах, что мне до его расписных стен и потолков! — произнесла капризным тоном гетманша, обводя тоскливым взглядом высокие стены комнаты, украшенные живописью и великолепными турецкими коврами.

Комната была обставлена со всей возможной роскошью. Расписанный потолок изображал небесный свод; всюду под стенами стояли обитые шелком и адямашком табурета; бронзовые свечницы, золоченая посуда украшали стены, яркие ковры покрывали весь пол. Но эта роскошь, казалось, не производила уже никакого впечатления на гетманшу.

— Скучно здесь! А ночью даже страшно. Ты знаешь, что здесь на воротах сын гетмана Богдана, Тимко, повесил свою мачеху...

— Господи! Страх какой! За что же?

— За то, что она изменила его батьку. Говорят, — по ночи она здесь по комнатам ходит... ее видели... видишь: она этот палац устраивала, так, говорят, и теперь "доглядає".

— Ой, лелечки! — вскрикнула Саня и даже закрыла глаза рукой, — так я теперь буду бояться и выйти вечером.

— То-то же! А ты говоришь — пышный палац. Что с его пышности, когда здесь души человеческой не видно! В нашем будынке, здесь же в Чигирине, мне гораздо веселее жилось, когда Петро был еще генеральным есаулом. Вернется, бывало, ко мне из похода, прибежит хоть на денек, на два и не насмотрится на меня, в глаза мне заглядывает, не знает чем угодить! Соберется к нам "вийськове товариство", пойдут всякие разговоры, да "жарты", да смех! А Петро мой лучше всех! Что слово скажет, так словно "квитку прышпылить"!.. Все за его словом, как овцы за "поводырем", а я, бывало, очей с него не свожу! А теперь вот уж и гетманом стал, — чего бы больше желать? А он стал хмурый, да скучный, все один сидит, или советуется с мурзами, да со старшиной.

— Гетман озабочен... ждет каких-то вестей из Варшавы.

— А чем озабочен? Чего ждет? Сам выдумывает себе тревоги! Уже и все бунтари усмирены, и король утвердил его. Тут бы и жить да радоваться, а он... — гетманша досадливо бросила иглу и, надувши губки, произнесла капризно: — Право, мне было гораздо веселее в нашем старосветском будынке, а здесь так тихо да "нудно", просто хоть и не одевайся и не выходи в парадные покои... Один только немой мурза.

— Ха-ха! Хорош немой! — засмеялась Саня. — Он так "джергоче" да белками ворочает, что просто страшно. Только ничего не поймешь.

— А ты бы его полюбить не могла?

— Ой, ненько! — засмеялась еще пуще панна. — Да он бы съел меня и косточки захрустели!

— Ну, съел бы не съел, а коли обнял бы... — прищурилась гетманша и живо прибавила, — а он на тебя все поглядывает.

— Ой, не говори, ясновельможная, такой черный, да бородатый... Небось молоденького да "гарного" пани мне и не предложит?

— Кого же бы это? Тут молодых и не бывает совсем: только татарские мурзы, а то сивоусая старшина или монахи и попы.

— А помнишь, ясновельможная, того молоденького, со светлыми усиками, посла, что проездом от Бруховецкого у нас был?

— Какого? — вспыхнула слегка гетманша.

— Да вот того, что пани гетманова сама хвалила и ждала...

— А, ты, верно, говоришь про Самойловича, — протянула небрежно гетманша, усиливаясь скрыть поднимавшееся беспричинно волнение, — да, он ничего себе... Только ты ошиблась, не я ждала его, а гетман: этот посол должен был привезти какие-то интересные новости от Бруховецкого или Бруховецкому, что-то такое...

Разговор прервался. Панна принялась за работу усерднее, заметив в тоне гетманши какое-то недовольство, а гетманша мечтательно призадумалась.

Вошедшая "покоивка" нарушила воцарившуюся тишину.

— Не соизволит ли ваша ясновельможность осмотреть ковры, которые ткут для вашей гетманской милости? — обратилась она с почтительным поклоном к гетманше, — старшая

коверщица не решается без вашего указания ставить кайму.

— Мне что-то не хочется, — потянулась лениво гетманша. — Поди ты, Саня, выбери что-нибудь, или стой, пусть лучше сюда принесут.

— Тут еще пришли скатерщики и ткачи, хотят сдать работу и получить новую пряжу.

— Зови всех их сюда, — заговорила веселее гетманша, заинтересовавшись сообщением покоевки, — да пусть и работу несут сюда.

Девушка вышла и через несколько минут возвратилась в сопровождении трех женщин и двух мужчин.

Вошедшие остановились у порога, низко поклонились гетманше и пожелали ей доброго здоровья.

— Спасибо, спасибо, — ответила приветливо гетманша и обратилась к пожилой женщине, повязанной намиткой. — А ну-ка, Кылыно, покажи, что ты там хочешь сделать с ковром?

— Да вот, ясновельможная, не знаю, какие обводы ему дать, какие ее мосць больше понравятся? Горпына, Хвеська! Распустите "кылым".

Девушки, державшие ковер, встряхнули его и, поднявши высоко, распустили перед гетманшей.

— Ох, лелечки, — вскрикнула с восторгом Саня, — да какой же он прелестный, да какой яркий!

— Тебе так нравится, — улыбнулась гетманша, — ну, так постой, мы тебе его в приданое дадим, ищи только жениха хорошего, справим "весилля", да повеселимся вволю!

— Эге, эге, — подтвердила старая Килина, — вот скоро минут Петровки, тогда и за "весиллячко". Пора уже, пора! Да и женихов нечего искать, сами придут, — диввчина, как зрелое яблочко.

Старики, пришедшие со скатертями и полотнами, также почтительно подтвердили это мнение.

Саня застыдилась; девчата рассмеялись; все собеседники и сама гетманша оживились. Пошли шутки и смех. Сане подбирали разных женихов. Гетманша уверяла, что мурза просит гетмана, чтобы он окрестил его и дал ему "пид зверхність" казацкий полк с "чорнявою" полковницей в придачу, а мурза гетману первый друг...

Саня отказывалась от мурзы, гетманша настаивала на том, что Саня не смеет отказываться от случая спасти хоть одну поганую душу.

— Да постойте, может найдется панне и лучший жених, — отозвался старый ткач, принесший гетманше на показ тонкие скатерти, — в городе говорят, что въехал сегодня полковник Богун.

— Богун?! — вскрикнула в изумлении гетманша. — Так он жив и здоров, вот уж не думала! Ведь он, говорят, после Переяславской рады совсем куда-то ушел.

— А вот теперь приехал, слышно, хочет у гетмана под булавою служить.

— Славный лыцарь, что говорить, славный на всю Украину, — покачала головой баба, — только он не такой... ни на дивчат, ни на молодиц никогда не посмотрит! Хоть самую первую "кралю"

посади перед ним, а она ему все, равно, что стена.

— Что ж это, над ним заговор какой? — спросили разом и гетманша, и Саня.

— Заговор, заговор; говорят, он любил одну дивчину, а она и скажи ему: "Поклянись ты мне, голубе мой, вот на этом святом кресте, что ты, кроме меня, никому своего сердца не отдашь". Он поклялся, а крест-то у ней не простой был, а с мощей святого угодника. Вот дивчина вскорости после того умерла, а он с тех пор никого и не может полюбить. Так ни одной женщины и не знает.

— Вот кого любопытно посмотреть! — вскрикнула с загоревшимися глазками гетманша, — неужели таки ни одной женщины не может полюбить?

— Не может, ни за что не может, — подтвердила старуха. Разговор перешел на различные случаи колдовства и заговоров. Тема была вечно новая и вечно интересная; каждый находил в своей памяти какой-нибудь изумительный случай могущественного чародейства.

— Да неужели же на него и отворота нет? — спрашивала с любопытством гетманша.

Ткачи уверяли, что нет, но баба Килина утверждала, что на всякий заговор есть свой отворот, только надо знать, как его употребить.

Тем временем гетманша с Саней рассмотрели ковер, выбрали для него кайму и пересмотрели принесенные гетманскими ткачами скатерти и полотна.

— Ну, это хорошо, — отложила гетманша в сторону готовые скатерти, — ты это, Саня, попрячь, а ты, бабо, "почастуй" их, выдай хлеба и всякой пшеницы, да тонкой пряжи на рушники, только смотрите, чтобы с червыми "перетычками" выткали.

— Гаразд, гаразд, ясновельможная пани! — поклонились, отступая, ткачи.

Баба со своими спутниками тоже направилась было к выходу, но, сделав несколько шагов, вдруг остановилась и, повернувшись к гетманше, произнесла живо:

— Ах, ты Матинко Божа, вот уж истинно старая голова, что дырявое решето, — ничего не задержится! Тут прибыли к нам в замок проезжие купцы с "крамом", просили, чтобы доложить твоей гетманской милости, пускать, что ли?

— Купцы с "крамом", а она еще спрашивает, пускать или не пускать! — вскрикнула радостно гетманша. — Ну, конечно, пускать скорей, скорей!

Баба с девчатами вышла, а гетманша заходила в приятном волнении по комнате.

— Купцы с крамом, а она еще спрашивает, пускать или не пускать? Глупая баба! — заговорила она. не то обращаясь к Сане, занятой складываньем принесенных скатертей и полотен, не то к самой себе.

"Тут не то что проезжим купцам, обрадовался бы всякому жиду, а то купцы! Ох, какие у них должно быть прекрасные товары! — думала гетманша. — И как раз ведь в пору приехали. В Чигирине теперь не найдешь ничего, до ярмарки ждать далеко, а ей нужно бы новый кунтуш "справыть", да не мешало бы и шитые золотом черевички и новый кораблик, да, мало ли чего еще неотложно нужно? А может, у них и какие-нибудь чары найдутся. А? Вот если б на полковника Богуна, чтоб причаровать его? Баба говорит, что он ни на одну женщину не

смотрит. Да неужели же ни на одну?

Гетманша подошла к висевшему на стене зеркалу и пытливо взглянула в него. Из глубины гладкого стекла на нее глянуло прелестное личико, обрамленное светлыми завитками волос, выбивавшимися из-под пунцового бархатного кораблика, украшенного драгоценными камнями и золотым шитьем.

— Неужели же ни на одну? — повторила она снова с кокетливой улыбкой и вдруг, подбежав к Сане, схватила ее быстро за руки и, окрутившись на каблуках, воскликнула весело:

— Найдем, найдем чары и на Богуна!

— Ой, Господи! — вскрикнула Саня, подбирая разбросавшиеся по полу рушники. — Ну, что, если бы гетман вошел эту пору в светлицу?

— А что ж? Увидел бы, что я веселюсь. Не всем же сидеть, словно затворникам, в келье! Вот погоди, если вправду прибыл под наши знамена полковник Богун, так гетман задаст нам такой пир, что ну! Вот уж повеселимся, так повеселимся! А там еще придут посланцы из Варшавы, верно именитые магнаты. Хоть эти ляхи вороги наши, а такие пышные лыцари, каких среди нашего казачества и не сыщешь! Вот и пригодятся новые уборы!

В это время дверь отворилась, и появившаяся бабка Килина прервала радостные мечты пани гетмановой.

— Пришли "крамари", — объявила она и, отворивши дверь, впустила двух высоких и смуглых субъектов. Один из них был старше, другой, еще молоденький мальчик, казался прислужником. Лица их были чрезвычайно смуглы, с широкими скулами, какого-то цыгано-армянского типа. Старшему можно было дать лет сорок на вид; у него был большой горбатый нос, тонкие черные усы и юркие глазенки орехового цвета. Одеты они были в какие-то синие куртки с большими серебряными "гудзямы", и опоясаны широкими поясами, поверх которых были надеты длинные синие жупаны. За ними слуги внесли два больших короба, завернутых в холстину, и, поставив их на полу, удалились из комнаты.

— Ясновельможной гетманше до веку здравствовать! — приветствовал развязно гетманшу вошедший, снимая шляпу отвешивая у дверей низкий поклон.

Ха! Да это ты, Горголя? — вскрикнула радостно гетманша.

— Сколько времени ты не был в наших сторонах!

— Много, много. С тех пор, как есаульша успела гетманшей стать.

— Где же ты был все это время?

— Где только нас Бог не носил, — заговорил весело словоохотливый торговец, становясь на колени и раскупоривая, при помощи мальчишка, свой короб. — Были мы и на левом берегу, и за одним морем, и за другим, и в Польше, и в Неметчине, и в Туретчине, и в Песиголовщине.

— Ха, ха! Уже пошел болтать! — смеялась весело гетманша, с нетерпением поглядывая на то, как торговец разворачивал свой короб и снимал один за другим покрывавшие его листы толстой бумаги. — Ну, что же ты слышал там?

— Слышал всюду, что на правом берегу стала гетманша такой красоты, равной которой нет ни

в одном "панстве".

— Выдумывай! — усмехнулась полунедоверчиво гетманша, но лицо ее все-таки покрылось от удовольствия легким румянцем. — Что ж, это, может, тебе песиголовцы[б] одноглазые говорили?

— А что ж, они хоть и одноглазые, да видят получше нас. Видят не только то, что есть, а и то, что будет. Вот они и говорили мне, что ясновельможной гетманше пора бы кораблик на корону сменить. Об этом толкуют и на левом берегу.

— Ну, это ты уж брешешь. У левобочных есть свой гетман, — они ведь его сами выбрали.

— Выбрали-то выбрали, да теперь сами не рады. Выбирает себе и прохожий верную дорогу, когда его темной ночью нечистая сила по лесу водит. Там такое на левом берегу делается, что и слушать страшно! Есть чутка, — понизил голос торговец, — что он вовсе и не крещеный человек, а сам антихрист!

— Ха, ха, ха! — разразилась звонким серебристым хохотом гетманша. — Антихрист, слышишь, Саня, антихрист!

— Не смейся, ясновельможная, — продолжал торговец, раскупоривши, наконец, коробку и раскладывая перед любопытными женщинами великолепные шелковые материи, затканые золотом и серебром. — Тому есть верные приметы: сам святой схимник в Печерской горе указал на них и даже молитву дал людям, чтоб держаться против его колдовства. Одной богобоязненной женщине тоже явилось во сне откровение, она было и стала доказывать, что он не гетман, а сам антихрист, так он объявил ее ведьмой и велел сжечь на костре!

Но гетманша уже не слушала его рассказа: блестящие шелковые ткани совершенно приковали к себе ее глазки.

XV

— Вот это бы ясновельможной пани на кунтуш, — говорил между тем пронырливый торговец, подымая за конец роскошную светло-зеленую материю, затканную серебром, — такой кунтуш и польской королеве было бы в пору надеть.

— Ну, то польской королеве... — заметила нерешительно гетманша, не отрывая от материи восхищенных глаз.

— Королева обеих Украин перед польской королевой не умалится.

— Что ж это ты думаешь, что я могу иметь двух мужей?

— Нет, зачем! — Левого можно по шапке!

— Ха, ха! Хотела бы я, чтобы гетман Бруховецкий услышал твои слова, он бы уж надел тебе за них красные сапоги.

— Да их теперь гетман дарит направо и налево! Вот потому-то я и советую ясновельможной пани взять у меня этот кунтуш. Такое приспевает время, начнут гонцы ездить, да послы от разных держав. Солнце выходит на небо в золотых лучах, а ясновельможная пани в драгоценных уборах! — говорил торговец, то собирая дорогую материю сверкающим каскадом, то свешивая ее со своей руки.

— А что же; он правду говорит, — обратилась к Сане гетманша. — Гетман дожидает из Варшавы каких-то гонцов. Только ты, верно, ей и цены не сложишь, — повернулась она к торговцу.

— Зачем не сложить? Материя дешевле гетманства, а гетман Бруховецкий свое гетманство за деньги продал.

— Так гетманство Бруховецкого купило Московское царство, а у меня нет столько червонцев!

— Найдутся, найдутся! — воскликнул уверенно торговец, откладывая материю в сторону гетманши.

За материей выбраны были расшитые золотом турецкие черевички, за черевичками — новый кораблик, золотые перстни, коронки венецейские, запоны английские, чудодейственные талисманы, привороты и отвороты.

Разговор оживлялся все больше и больше. Горголя пересыпал свою речь самыми странными, небывалыми, а вместе с тем и чрезвычайно интересными рассказами про всех и про все. Женщины слушали его, смеялись, шутили, и вместе с тем куча покупок гетманши все росла и росла с необычайной быстротой. Прелестная гетманша видела это, но не могла уже остановиться: все эти пустяки были так необходимы ей! Да и что могли они стоить? Какую-нибудь сотню, другую червонцев, не может же гетман отказать в них? Внутренность короба уже пустела, когда хитрый Горголя вынул из глубины его богатый, украшенный перламутром ящик и, раскрывши его перед гетманшей, торжественно произнес:

— Ну, эту вещичку я вез для ясновельможной гетманши из самой венецейской земли.

— А ну, что там? — произнесли разом и Саня, и гетманша, засматривая с живостью во внутренность ящичка, и невольный крик восторга вырвался у них.

На красном бархатном дне ящичка лежало великолепное жемчужное ожерелье, перехваченное в нескольких местах золотыми аграфами, усыпанными крупными рубинами.

— Ой матинко, ой лелечки! — всплеснула руками Саня, — еще с роду своего не видела ни на ком такой прелести!

Но гетманша, пораженная красотой ожерелья, не произнесла ни слова. С разгоревшимися щеками и блестящими глазами она молча упивалась его зрелищем.

Хитрый Горголя заметил впечатление, произведенное его драгоценностью.

— Пусть ясновельможная гетманша примерит его, тогда оно станет еще во сто крат краше! — заговорил он вкрадчивым голосом, вынимая из шкатулки ожерелье и подставляя его под солнечный луч.

— Нет, мне не нужно... Спрячь его... — отнекивалась нерешительно гетманша, не отводя от жемчуга восхищенных глаз.

— Как, ясновельможная пани не возьмет его?! — вскрикнул с притворным ужасом Горголя: — Кому ж тогда и носить его? Уж если ясновельможная гетманша не хочет купить, так я лучше порву его, чтоб не досталась кому-нибудь другому такая красота!..

— У меня есть много самоцветов. Когда-нибудь в другой раз, а теперь у гетмана нет лишней

казны... надо платить татарам...

— Татары получают свое с лихвой на левом берегу, — поворачивал перед женщинами Горголя свое великолепное ожерелье.

— Нет, нет... оставь, не надо.

— Но только примерить, что же мешает ясновельможной гетманше примерить его? — настаивал купец.

— Зачем? Я все равно не возьму! — слабо отбивалась от искушения гетманша.

— Только посмотреть... от этого ж ему ничего не будет.

— Ну, если ты уж так хочешь... только напрасно, — согласилась, словно нехотя, гетманша, подставляя торговцу свою изящную шейку.

Горголя застегнул ожерелье и, взглянув на гетманшу, вскрикнул с восторгом, подаваясь назад.

— Королева, королева! Ей-Богу, королева! Да если бы ясновельможная пани вышла в таком уборе на войну, — у всех врагов выпадали бы сабли из рук!

— Уж будто бы? — улыбнулась недоверчиво гетманша и, вставши с табурета, подошла неспешно к зеркалу.

Действительно, ожерелье было прелестно, но на ее изящной прозрачно-белой коже оно казалось еще лучше: ровные матовые нити прелестных жемчужин так красиво обрамляли ее лебединую шейку и спускались на прелестные плечи, а огромные рубины сверкали на них словно огненные капли алой крови. Гетманша невольно залюбовалась на себя в зеркало, а торговец, не останавливаясь, все расточал да расточал свои похвалы. — Да неужели же обворожительная гетманша не пожелает купить такой прелести? Что оно стоит? Суший пустяк! Каких-нибудь пять сотен червонцев. Что значит это для будущей королевы Украинской! Да еще для какой королевы, — равной которой по красоте нет на всей земле! О, она должна быть украшена не хуже других, а таких перлов, я готов поклясться всем светом, нет ни у кого!

Опьяненная похвалами и пророчествами торговца и видом роскошного ожерелья, гетманша стояла неподвижно перед зеркалом; чуждая бедствий и страданий родины и великих забот своего мужа, она не могла оторвать восхищенного взгляда от своего изображения. В ее легкомысленной головке носились, словно мотыльки, обрывки каких-то легких и радостных мыслей. Непобедимый женской красотой Богун... гонцы из Варшавы... прелестный Самойлович... Послы от иноземных держав. Ах, если б они увидели ее в этом ожерельи... только на час... на миг! Она отступала от зеркала и снова приближалась к нему. .

— Но если ясновельможная гетманша не решается взять сама этого "намыста", — продолжал услужливый торговец, — то пусть попросит сюда его ясную мосць пана гетмана; он, наверное, пожелает украсить этим ожерельем ясновельможную пани гетманову.

— Что ж, Саня, и в самом деле, прикажи попросить сюда пана гетмана, — повернулась от зеркала гетманша. — Пусть посмотрит, может, ему "сподобається" здесь что-нибудь.

Между тем, в это время, когда гетманша упивалась льстивой болтовней и роскошными

товарами торговца, на половине гетмана происходила следующая сцена. ;

В большом сумрачном кабинете, принадлежавшем прежде старосте Конецпольскому, а потом переделанном для гетмана Богдана Хмельницкого, сидели друг против друга два собеседника. Судя по одежде одного из них, он принадлежал к знатнейшим мусульманским рыцарям. На нем был роскошный парчовый кафтан, опоясанный широким шалевым поясом, за поясом торчали дорогие, усыпанные бирюзой и смарагдами пистолеты, кривая, золоченая дамасской стали сабля висела у левого бока. Поверх кафтана накинут был красный "едвабный", затканый серебряными нитями халат; голову рыцаря покрывала белоснежная чалма, с таким же пером, прикрепленным спереди крупным бриллиантом. Этот белый головной убор выдавал еще резче оливковую смуглость характерно-красивого молодого лица, обрамленного черной, волнистой бородой; черные же широкие брови лежали двумя ровными, прямыми линиями на прекрасно очерченном лбу, из-под них в узкой, миндалевидной оправе сверкали, меняясь часто в выражении и блеске, быстрые, темные на совершенно синих белках зрачки; в глазах вообще светилась юркость, хитрость и отважный задор. Когда татарин говорил, то обнаруживал два ряда широких, белых зубов, и тогда лицо его принимало хищное выражение.

Собеседник его, славный гетман Петро Дорошенко, был одет сравнительно очень просто; только дорогое оружие, украшавшее его одежду, указывало на его высокий сан. Он был высокого роста, более худощав, чем дороден, и красиво, мужественно сложен. Во всей его наружности было что-то смелое, орлиное, без малейшей примеси хитрости и лукавства. Черты его смуглого лица были резки и типичны, но вместе с тем составляли прекрасную гармонию. Тонкие черные брови его сходились над переносицей смелым взмахом; большие, овальные, темно-карие глаза горели воодушевлением и отвагой, а вместе с тем и теплились такой искренностью, что сразу приковывали доверием к себе всякого; видно было, что под этим высоким открытым лбом должны были зародиться смелые и благородные мысли; тонкий с горбинкой нос придавал лицу гетмана орлиное, властное выражение; щеки и подбородок его были гладко выбриты, а под подбородком оставлена была небольшая черная бородка — "янычарка"; тонкие усы были слегка закручены вверх. Лицо его вообще казалось так же открытым, как и его душа.

Собеседники разговаривали между собою на татарском языке.

— Да будет благословенно имя Аллаха, — говорил мурза, поглаживая медленно свою раздвоенную бороду, — друг души моей, я отъезжаю, но снова повторяю тебе: ставь щит свой у порога Высокой Порты. "Чем дальше от родных, тем меньше ссор", говорит ваша пословица, "чем дальше от господина, тем больше свободы". Брось светлый взгляд свой на наше могущественное ханство, — не железные цепи рабства соединяют нас с высоким престолом, а золотые цепи согласия и дружбы. Между вашей стороной и счастливыми землями светлейшего падишаха лежит светлая гладь безбрежного моря. Ты будешь свободен в своих делах.

— Брат сердца моего, — перебил его гетман, — ты знаешь, что к твоему народу всегда склоняется душа моя; не раз уж мысль эта ласкалась к моему сердцу: ваша удаля, ваша быстрота, ваша отвага — близки нам: казака и татарина сроднила и широкая степь, и вольная воля. Истина говорила твоими устами, когда ты обращал взоры мои на владения могущественного хана, но, друг мой, ты забыл одно: татары и турки славят имя Магомета.

— Не только сыны Магомета живут счастливо под светлой тенью падишаха; перенеси взоры свои к подошвам Карпат, в Мультианское господарство. Разве их веру утесняют слуги падишаха? Полумесяц Магомета не сталкивает с вершин ваших мечетей христианских крестов. Вот теперь ты ищешь союза с Польшей, а говоришь мне о вере, да разве ляхи не угнетали вашу веру, разве их ксендзы не запирали ваши церкви?

— Ты прав, бесстрашный Ислам-Бей, я знаю, я вижу это сам, но ляхи необходимы мне, чтоб завоевать левый берег. Друг мой, если и реку разделишь плотиной, она стремится слиться и уничтожить свою преграду; если отымешь детей у матери, они снова спешат вернуться под свой кров.

Мурза поднял на гетмана свои ореховые глаза.

— Разве татарская стрела уже стала изменчивее польской карabelы?

— Кто говорит! — воскликнул Дорошенко, — казацкая шабля сдружилась на веки с татарской стрелой! Но если я брошусь на левый берег только с татарами, и Польша, и Москва сочтут меня бунтовщиком и вышлют против меня союзные войска.

— Да, если ты будешь один, но если за твоими знаменами будет стоять светлая тень падишаха, клянусь гробницей Магомета, у них остынет охота покидать свои жилища. Я знаю, — продолжал он дальше, — ты хочешь соединить оба берега большой реки и стать самовластным королем, но, яркая звезда востока, если ты будешь торопиться, тебе не удастся никогда этого сделать. Когда деревцо еще молодо и некрепко, его привязывают к твердому стволу, чтобы буря и ветер не сломи его и не вырвали с корнем. Могущественнее Высокой Порты нет ни одного государства на земле, народы, поклоняющиеся тени падишаха, равны песку, покрывающему морское дно. Ее тебе удастся отбить левый берег, Польша никогда не допустит, чтобы Украина возвысилась и стала отдельным королевством. Того же не допустит и Москва. Не Польша ли приглашала нас тайно ударить на вас, когда искала мира с гетманом Богданом? Она станет ласкать татар и зазывать нас на ваши земли. И что же? Татарам нужен корм, без война наш народ обнищает. Хотя сердца наши лежат рядом с твоим, но в бурю и река идет против течения. Если же будешь нам братом, мы всегда найдем пастбища своим коням и на польской и на московской земле.

— Пусть поразит меня первая стрела в битве, если я обращу когда-нибудь клинок своей сабли к границам вашей земли, воскликнул искренним тоном гетман, — ничто не нарушит моей дружбы с вами!

— Клянусь пророком, — ответил татарин, — всегда являться первым на твой зов. Ты спас меня из плена, — сердца наши сплелись навеки, но я хочу чтобы и корни наших народов сплелись так тесно, чтобы никакая буря не могла разорвать их. Теперь пока прощай.

— Ты уходишь?

— Я хочу приказать моим людям готовиться к отъезду.

— Неужели же ты решил уже покинуть нас?

— Завтра, после ранней молитвы, мои кони выступят из Чигирина.

— Конечно все старанья наши были тщетны, чтоб заменить тебе в нашем замке роскошь бахчисарайского дворца, иначе ты не покинул бы нас так скоро.

— Йок пек, — только в садах Магомета я ждал бы лучшей услады; Аллах даст мне случай отплатить тебе и за твое гостеприимство, и за твое великое дело. Но теперь я должен спешить, уже луна меняла три раза свой вид с тех пор, как я прибыл в твой замок; меня ждут в моих улусах. Помни же слово мое.

— Я схоронил его у себя на сердце.

— Как пыль подымается при первом дуновении ветра, так да подымутся все мои полчища при первом слове твоём!

— Как еж подымает свою щетину, так выставим мы все свои "спысы" на твоих врагов, — ответил с чувством гетман.

— Барабар! — оскалил мурза свои белые зубы и ударил палец о палец, затем встал и, приложив руки к сердцу, поклонился гетману и вышел из комнаты.

Гетман хотел было проводить его до отведенных ему покоев, когда противоположная дверь отворилась, и в комнату вошел молодой казак.

— Ясновельможный гетман, — возвестил он, — полковник Богун со своей ассистенцией изволил к нам прибыть.

— Полковник Богун? — вскрикнул Дорошенко и даже отшатнулся. — Ты... ты не ошибся?

— Я видел его своими глазами.

— Что ж он?

— Хочет видеть ясновельможного гетмана.

— Так где же он? Веди скорее! — крикнул гетман и поспешно направился вслед за казаком.

На дворе, залитом ярким солнцем, окружала уже прибывших целая толпа; казаки Чигиринской сотни, татары и всякая челядь — все приветствовали знаменитого и всеми любимого витязя.

Богун еще не вставал с коня, рядом с ним сидел молодой, черноволосый Палий, душ двадцать верховых казаков составляли его ассистенцию. Отовсюду слышались радостные восклицания, расспросы, приветствия.

— Богуне, друже мой! — вскрикнул радостно гетман, появляясь на крыльце и впиваясь глазами в сильно постаревшее, но все еще прекрасное лицо знаменитого витязя.

— Челом ясновельможному гетману! — гриветствовали громко Дорошенко прибывшие казаки, обнажая головы, а Богун, соскочивши ловко с коня, бросил поводья на руки ближайшему казаку и направился навстречу гетману; но не успел он сделать нескольких шагов, как гетман сам заключил его в свои объятия.

Несколько минут старые боевые товарищи молча обнимались.

— Прибыл! Где скрывался? Не чаяли уж и видеть!.. — слышались только отрывистые восклицания гетмана.

Но вот Богун высвободился из объятий Дорошенко и, поклонившись ему, произнес громко:

— Прибыл на службу к тебе, ясновельможный гетмане и батьку, принимаешь ли старых "недобыткив" под булаву свою?

— За счастье, за честь почтем! — вскрикнул воодушевленно гетман, — из всех орлов Украины — ты "найщыришый" ей сын, "найславетнишый" лыцарь!

— Слава! Слава полковнику Богуну! — закричали кругом казаки.

Через полчаса гетман сидел уже с Богуну в своем покое, поручив угощение полковничьей ассистенции дворцовой шляхте. На вечер он приказал созвать всю старшину на "почесный" пир, который он намерен был дать по случаю прибытия славного Богуну и отъезда своего "побратыма" мурзы Ислам-Бея. Теперь же гетман приказал не впускать к себе никого. Они сидели вдвоем с Богуну; перед каждым из них стояла кружка холодного меду, но оба боевые товарища задумчиво молчали, словно подавленные роем нахлынувших на них воспоминаний былого.

Голова Богуну поникла на грудь; сильно поседевшие усы его опускались двумя длинными пасмами; на красивом лице лежал отпечаток глубокой грусти.

Было тихо в комнате; казалось, стены ее вели с людьми немой разговор.

— Да, да! — произнес, наконец, Богун, подавляя глубокий вздох. — Покуда не видал, не теребил ран, все как-то лежало в сердце, словно обломки потопленных "чайок" на дне моря. А теперь все всплыло... Ох!.. Все тут так же, как и было, и в замке, и в Чигирине, только Украина надевала тогда свое венчальное платье, а теперь "розшарпана" на две части, не снимает "жалобы" по детям своим!

Он поднял голову, провел рукой по лбу и обвел всю комнату грустным взглядом.

— Я помню, как украшала для гетмана Богдана этот замок Елена, а теперь все в земле — и гетман, и гетманша, и лучшие наши орлы. Остались только такие "недобытки", как я, что ищут лишь случая, где бы подороже за "неньку" свои головы сложить!

На лице его появилась горькая усмешка и снова исчезла в углах опущенных усов.

— Ехавши к тебе, я пригадывал себе то время, когда мы с батьком Богданом шли от Желтых Вод на Корсунь, на Белую Церковь. Теперь кругом пустыня и разоренье, деревни опустели, города стоят недостроенные.

— Да! — вздохнул глубоко Дорошенко. — Никак не дает доля успокоиться несчастному люду!.. С тех пор, как не стало гетмана нашего Богдана, не стало и счастья нашей бедной земле.

— Тут на правом берегу народ от войны хоть страдает, а там, на левом, что делает Бруховецкий, о том и рассказать мудрено.

— Слышу, отовсюду слышу, — проговорил Дорошенко, — теперь через них и гибнет все... Но, — оборвал он круто свою речь и обратился живее к Богуну, — скажи ж мне теперь, друже, где ты был все это долгое время, где скрывался? Ведь, стой, гай, гай! — покачал он с печальной улыбкой головой, — уже четырнадцать лет прошло с тех пор, как я тебя видел. Только иногда слышал о твоих удачных набегах, да говорили — ты приезжал еще на похороны гетманши...

Глубокий вздох вырвался из груди Богуну, он провел рукой по лбу и заговорил тихо:

— Гой, как далеко пришлось бы "згадувать", чтоб рассказать тебе все! Давние дела помянул ты, друже! Ты знаешь, что я не захотел подписать Переяславских пунктов... Я разломал свою саблю и двинулся... Куда? Я и сам не знал куда, но оставаться больше в Украине я не хотел!

Он махнул рукой, подавил вздох и продолжал дальше:

— Я знал, что Богдан не мог уж тогда учинить иначе, но согласиться с ним я не мог... Он помолчал с минуту и продолжал спокойнее.

— Я ушел... вскоре умер гетман Богдан, за ним гетманша. Обрали гетманом несчастного Юрася...

— Он здесь теперь у меня в замке.

— Слыхал. Несчастный гетманенко! За ним пошли Выговс-кий, Тетеря, Бруховецкий. Ты знаешь, я не любил их никогда.

— Выговский был разумный гетман и "добре дбав".

— Шляхетская лисица! Нет, нет! Я знал, что от их не будет никакого добра отчизне. Наипаче от Тетери и от Ивашки! Но что мог я сделать, когда бы я вздумал повстать против их избрания? На мое имя поднялось бы много казаков, и много городов, но не все. Да и что бы с того вышло? Я и не думал искать для себя гетманства. "Зчынылась" бы только еще одна кровавая распря. Я решил только помогать, чем было можно, моему бедному люду: я "вызволяв" его из неволи, отбивал от загонов. Но когда я узнал, что тебя "обрали" гетманом, когда на Запорожье долетела "чутка" про этот клятый мир, про то, что хотят "розшарпать" навсегда нашу бедную Украйну, — я решил, что теперь настала наша остатняя минута: или жить, или умереть! И я решил выехать вновь на Украйну и прийти под твои знамена, — тебе я верю, Петро!

— Спасибо тебе, друже! — сжал горячо руку Богуна Дорошенко, — когда б ты знал, как твое слово запало мне в сердце... Но нет, постой!

Он встал с места и заходил большими шагами по комнате.

— Я слышу тоже отовсюду об этом мире, но я уверен в том, что из большой тучи выйдет малый гром. Вот уже скоро год, как совещаются послы, а никак своих речей не закончат: теперь ляхов не нагнешь так скоро, как можно было б нагнуть год, два тому назад. Москва упустила минуту.

Он говорил так, как говорят люди, ни за что не желающие верить тому известию, истину которого они сами невольно сознают в глубине своего сердца.

— Но ведь кругом все говорят, что мир уже заключен! — возразил с изумлением Богун.

— Пустое! — продолжал с воодушевлением Дорошенко, не переставая шагать из угла в угол, — мне дали б знать... ведь я союзник... Нет, это Москва распускает только такие слухи, чтоб запугать нас. Но не то страшит меня, нет! Не от мира должны мы ждать гибели, а от самих себя. Когда б ты знал, друже, что таится здесь! Отовсюду рвут, давят Украйну, а дети, дети сами "шарпают" ее на тысячу кусков. Разве им дорого благо "ойчизны", разве они "дбають" о нем? Только о своих млынах, да хуторах, да чересах— пекутся они. Ох, эти "закутай" гетманишки! — вздохнул он. — Здесь они у меня сидят! — Он ударил себя кулаком в грудь и зашагал еще порывистее по комнате. — В каждом углу нашей несчастной отчизны находится такой закутный гетманишка, собирает вокруг себя "свавильни купы", заводит "потайни тракты", приглашает еще татар или ляхов и оглашает себя гетманом. Зачем ему это гетманство? Для того только, чтобы "прывлащаты свои маетки"! За это право он готов, как Бруховецкий, продать Польше и нашу волю, и веру, и все! И ведь с каждым из них надо бороться! Для Польши что! Зачем ей стоять за меня? Чем хуже гетман, тем для нее лучше. Опара! Дрозденко!..[7] Я победил их; но сколько крови родной пролито, сколько сил

потрачено! А на что, на что?

Дорошенко круто повернулся и остановился перед Богуном. Лицо его было взволновано, вокруг губ лежала горькая складка, глаза горели благородным воодушевлением.

— Быть может, ты думаешь, многие так полагают, что я, как и они, домогался этого гетманства для себя? Клянусь тебе, нет! Но я видел, что если дать им в руки руль, отчизна полетит стремглав к гибели. Украина, одна бездольная, расшарпанная Украина звала меня к себе; но если б нашелся теперь достойнейший гетман, — пусть раскроит мне этот череп первая сабля в битве, — вскрикнул он, подымая руку, — если б я не отдал ему свою булаву и не держал бы ему сам стремя у седла!

— Я верю тебе, Петро! — протянул ему руку Богун. — Я знал твое щирое сердце, потому и прибыл к тебе. Когда-то вороги дрожали от одного имени Богун... Поможет нам Бог и теперь с тобою отогнать от родины врагов!

Глаза Богун сверкнули, на озарившемся вдруг огнем молодости лице появилось прежнее выражение беззаветной удали и отваги.

— Поможет, поможет! — вскрикнул с воодушевлением гетман.

— Но скажи мне одно, — продолжал Богун, — отчего ты избрал лядскую протекцию, неужели ты веришь еще их льстивым словам? Ты знаешь, что все кругом ропщут на это. Народ не хочет быть вкупе "з ляхамы", не хотят запорожцы, не хотим и мы!

— Зачем, зачем? Ох! — простонал Дорошенко и, опустившись на стул, провел рукой по голове. Несколько минут он сидел так молча, неподвижно, охватив лоб рукой, затем повернулся к Богуну и заговорил уже спокойнее.

— Слушай меня. Я достиг гетманства с помощью татар, меня они поставили. Но до сих пор не было еще примера, чтобы Украина получала своего гетмана от татар! Когда бы у меня не было столько врагов, быть может, можно было б удержаться. Если ты знаешь, тогда была как раз такая минута, что можно было собрать все силы, ударить на Польшу и отделиться от нее навсегда! Тогда как раз счинилась распря между Яном Казимиром и коронным маршалом Любомирским. Вся Польша разделилась на два лагеря, все войска польские были отозваны из Украины, они бежали в Польшу, всюду был ропот, смущенье... О, если бы у нас была тогда "згода! Один удар, и Украина была бы свободна навсегда, навсегда!

Дорошенко на минуту замолк; видно было, что охватившее его волнение мешало ему говорить. Наконец он поборол его и продолжал с горькой усмешкой.

— Но "попличныки" мои не думали о том. У нас тоже поднялся мятеж. Против меня восстали — Опара, Дрозденко... Они кричали везде, что я незаконный, самозванный гетман, что законным гетманом можно считать только ставленника короля. Народ кругом заволновался. Силы мои разорвались. Я должен был бороться с ними и искать протекции у польского короля.

— Так, но почему же теперь, когда ты стал уже гетманом и избавился от всех супостатов, почему ты теперь не стремишься отделаться от них, а пребываешь с ними в союзе?

— Они мне нужны. Слушай дальше, — продолжал Дорошенко, отталкивая от себя ногой стул и продолжая снова шагать по комнате. — Никто из вас не желал бы верно так сбросить лядскую протекцию, как я, гетман Дорошенко; но она нужна мне. Когда избрали меня гетманом, я поклялся всей старшине добывать Левобережную Украину и соединить разорванную родину,

но я поклялся не только старшине, я поклялся в этом и себе самому. Теперь на левом берегу московских ратных людей совсем мало, народ весь ненавидит Бруховецкого, казачество переходит ко мне, отовсюду шлет ко мне вести и просит избавить от ненавистного ига Ивашки, — Переяслав, а за ним другие города откроют мне ворота. Если б я вздумал двинуться один без Польши, против меня восстали б и Польша, и Москва, меня сочли б бунтовщиком, а Польша имеет право подымать войну: она только хочет вернуть свою дедизну назад.

— Гм... ну так, а дальше ж что?

— Слушай. Король давно уже греет на сердце эту думку. Теперь я послал в Варшаву гонцов, я тороплю его и зову поскорей его сюда. Теперь только ударить разом на Москву, отобрать свою родную Украину, соединить под одной булавой, и тогда, когда все дети соберутся под родную стреху, тогда отложиться и от Польши. Турки, татары зовут меня "прылучытыся" к своему престолу, — но не хочу ничьей протекции: в своей хате своя правда, Иване! Они все почитают нас за скот бессловесный... Но да не будет так! — вскрикнул гетман, подымая к потолку свои темные, загоревшиеся гневом и воодушевлением глаза. — Жизнь свою положу, а "злучу" обе Украины и не даст еще Господь Бог нас в рабство!

— Аминь! — вскрикнул порывисто Богун, подымаясь с места и заключая Дорошенко в свои объятия. — Гетмане, друже мой, ты влил новую отвагу и надежду в мое заржавевшее сердце. Вот тебе моя сабля и моя "правыця", за Украину бери мою голову! С тобою жить и умереть! Дорошенко прижал Богуну к своей груди.

— Спасибо тебе, брате! — произнес он расстроганным голосом. — Господь прислал тебя мне яа подмогу. Ох, если бы ты знал, что творится здесь кругом меня. Я не могу никому довериться, даже своим "попличныкам"! Не "певен" в том, что, подливая вина мне в чашу, они не льют туда и лядской отравы, что, слушая меня, они не греют уже в думках новый донос! Ни в ком не "певен" я! Лыцари наши умерли... Я в хитростях не искусен. Живу единой думкой о бедной Украине, одною ею и дышу, и живу. И если есть только хоть какая-нибудь доля у нашей отчизны, если только Господь не отступился совсем от нее, клянусь тебе, я "сполучу" ее. Или добуду, — или жить не буду!

— Клянусь же и я, — вскрикнул Богун, опуская свою руку на руку Дорошенко, — не отступать от тебя никогда!

В это время у дверей раздался слабый стук. Гетман вздрогнул, провел рукою по лбу, оправил словно душивший его ворот и произнес голосом, еще сдавленным от пережитого волнения:

— Кто там?

— Это я, — отвечал из-за дверей женский голос, — ясновельможная пани гетманова просят твою гетманскую милость к себе.

— К себе? — переспросил изумлено Дорошенко. — А что же там случилось?

— Не знаю, просит по неотложной потребе.

— Ну, хорошо, хорошо, скажи, приду, — и, улыбнувшись, гетман прибавил, словно самому себе: — Неотложная "потреба", а выйдет — пустяк. Ты еще моей гетманши не знаешь, Иване?

— Нет, не видел.

— Дытына, — улыбнулся гетман ласковой-улыбкой, и лицо его приняло чрезвычайно доброе и

нежное выражение, — веселое и доброе дитя. Ты подожди меня здесь, Иване, — прибавил он, — я сейчас узнаю, в чем дело, и вернусь к тебе.

С этими словами гетман вышел из комнаты и направился к покою гетманши.

Когда он открыл двери, то застал следующую картину. На полу, на табуретах, всюду вокруг раскрытых коробов лежала масса материй, лент, "намыст", "черевыкив" и тому подобного. Посреди этой груды блестящих золотом и серебром вещей сидела, откинувшись на спинку высокого, штофного стула, молодая гетманша, перед ней стоял на коленях торговец и держал в руках жемчужное ожерелье, за стулом стояла Саня.

Очевидно торговец рассказывал что-то чрезвычайно смешное, так как обе женщины смеялись, а гетманша при каждом слове его даже отбрасывалась с веселым хохотом на спинку стула.

При виде гетмана она в один миг вскочила со стула и бросилась ему навстречу.

— Ох, Петре, слушай, что он здесь торочит мне! — заговорила она, заливаясь смехом, и схватила гетмана за руку. — Слышишь, он говорит, будто один схимник в лавре открыл народу, что Бруховецкий антихрист; что одна баба указала на теле его бесовские знаки, а одна монашенка спряталась в "очерет" и, когда он лез купаться в воду, так она этот дьявольский знак и увидела, хотела было брызнуть на него святой водой, но у нее в ту же минуту бельмо на глазу вскочило, — так и окривела!

И гетманша продолжала щебетать своим детским голосом все небылицы, которые рассказывал им торговец.

Гетман слушал ее молча. Лицо его совершенно изменилось; суровые складки разгладились; острый взгляд глаз смягчился; какая-то нежная ласка появилась в них. Но он не только упивался голосом любимой женщины: в этом вздоре, что передавала ему она, гетман улавливал одно драгоценное зерно правды, — ненависть всего народа к Бруховецкому, которая и сплела, очевидно, всю эту фантастическую молву.

При появлении гетмана, торговец тотчас встал с колен и, приняв почтительную позу, ожидал только момента, когда гетманша остановится.

Наконец она остановилась, вся покрасневшая от смеха и быстрой болтовни.

— Ясновельможному гетману челом бьет вся Левая Украина, — произнес он, отведывая низкий поклон.

— А ты что, послом от нее прибыл? — улыбнулся гетман.

— Послом не послом, как нам, бедным крамарям, такой "повагы зажить", а так — вестником, ждет, мол, оторванная Левобережная Украина к себе своего гетмана, настоящего гетмана, с дида и прадида, когда он избавит ее от антихриста и прилучит к святому Киеву и своей булаве.

На лице Дорошенко отразилось удовольствие; хитрый торговец сумел ловко польстить гетману. — Дед его был действительно гетманом и это составляло предмет благородной гордости Дорошенко.

— Гм! Гм! — усмехнулся он, — рано мы заговорили про, "прылуки", да и Прылуки-то у них ведь, а не у нас[8]. А если хотят в Киев "на прощу йты", так скажи: пусть "добри чоботы узувають" да

кия в дорогу берут, — расплодилось, видишь ли, много "скаженных" собак!

— Посбыться б их?

— Конечно! За убитого бешеного пса еще и награду дают.

Разговор перешел на покупки.

Хитрый и льстивый Горголя, пересыпая свои слова разными приятными сообщениями, доложил гетману, что прослышавши отовсюду о том, что гетман соединит под своей булавой обе Украины, а потом станет и королем Украины, он достал в венецейской земле для гетманши самый лучший убор и она вот теперь не хочет брать его. Пустое перловое ожерелье, а ясновельможная гетманша не хочет взять его, чтобы щегольнуть перед послами иноземных дворов.

Но лицо ясновельможной гетманши вовсе не выражало' такого сурового отказа, какой приписывал ей Горголя, наоборот, — глаза ее так и не отрывались от жемчужных нитей, повисших на руке Горголи.

XVII

— Покажи ожерелье! — сказал гетман, перебивая речь торговца.

— Вот оно, ясновельможный пане! — поднял поспешно руку последний и заговорил быстро, поворачивая ожерелье перед гетманом со всех сторон. — Перлы урианские, лучших нет ни у кого! А рубины, пусть его ясная мосць посмотрит, сверкают, ей Богу, как капли крови. Ян Казимир хотел откупить его у меня; но я привез для своей королевы, пускай оно никому не достанется, кроме нее.

— Надень намысто, Фрося! — приказал гетман.

Горголя поспешно застегнул фермуар на шее гетманши, и она повернулась к гетману с сияющим лицом.

Она была действительно прелестна в этом ожерелье: глаза ее искрились радостью и надеждой, пухлые губки были полуоткрыты; рубиновый аграф вздрагивал на обольстительной ямочке ее белоснежной шейки.

Какой-то подавленный вздох всколыхнул грудь гетмана.

— Ты хочешь иметь его? — произнес он.

— Н-нет, — ответила гетманша, опуская глаза, — как хочет твоя милость, но на случай прибытия польских послов оно, конечно б, пригодилось... Гетман улыбнулся.

— Во сколько ты ценишь его? — обратился он к Горголе.

— Ян Казимир давал мне за него пятьсот червонцев; но для ясновельможного гетмана я готов отдать его за четыреста пятьдесят! Пусть меня Господь отдаст в лапы к Бруховецкому, если я не заплатил за него четыреста двадцать пять! Двадцать пять червонцев заработку! Какой это заработок для бедного крамаря?

Гетманша молчала, только взгляд ее следил за ожерельем, которое Горголя уже укладывал в перламутровый ящик.

Этот взгляд поймал гетман; с минуту он, казалось, раздумывал, а затем произнес, обращаясь к купцу:

— Дорого, но оставь его. Пусть же оно и взаправду пригодится тебе, Фрося, для приема иноземных послов, — передал он жене дорогой ящичек.

Гетманша вся вспыхнула от восторга; она хотела что-то сказать, но от радости ей словно захватило дыхание, какой-то неопределенный возглас вырвался у нее из груди, она рванулась было к гетману, но присутствие посторонних лиц удержало ее от того, чтобы броситься ему на шею.

В это время в комнату вошел молодой "джура" и объявил, что какой-то гонец прискакал во дворец от польского короля из Варшавы и хочет увидеть сейчас гетмана.

При первых словах казака Дорошенко весь изменился в лице.

Тревога, нетерпенье, страстная жажда доведаться истины отразились на нем.

"Гонец от польского короля!" Этого гонца он поджидал с часу на час, с минуты на минуту. В нем все — или надежда, или смерть!

С трудом сдерживая охватившую его сердце бурю, гетман направился поспешными шагами в приемный покой.

Там уже ждал его гонец. Пыль и грязь покрывали все его платье, — видно было, что он не терял времени на отдых. Какое-то недоброе предчувствие шевельнулось в душе Дорошенко.

— Прости, ясновельможный гетмане, — произнес гонец, отнеся изящный поклон, — что я предстал пред тобою в подобном виде, но спешность гнала моего коня. Наияснейший круль Ян Казимир шлет тебе свой привет и это письмо.

Не отвечая ни слова, гетман поспешно взял бумагу, приложился губами к печати, сорвал пакет и развернул письмо.

Все буквы запрыгали у него перед глазами.

В письме король сообщил гетману, что Андрусовский договор уже заключен, и по этому договору Левобережная Украина осталась под властью царя московского, а потому король? приказывает ему, гетману Дорошенку, как своему союзнику, отозвать все свои войска с Московской границы и прекратить всякие попытки к военным действиям под страхом гнева обоих государей.

Известие о заключении Андрусовского мира поразило как; громом и Дорошенко, и всех казаков.

Вскоре в Чигирин пришли и достоверные сведения о всех пунктах, на которых состоялся договор. Это превзошло все ожидания казачества: договор решительно клонился к тому, чтобы уничтожить всякую самостоятельность Украины.

Вся правая сторона оставалась во власти польского короля. Запорожье подчинялось польской и московской власти, но главное Киев — святой Киев, за который так стояли всегда казаки, о котором говорили: "куда Киев — туда и все наши головы", — этот Киев был тоже уступлен ляхам; московским послам удалось только оттянуть срок сдачи его на два года, после же этого

срока он должен был перейти "вечными часы" во власть польского короля. Мирный договор строго запрещал казакам правой стороны переходить на левую и обратно. За каждую попытку военных действий обещалась суровая кара обоих государей.

Кроме сего в договорных статьях был еще один пункт, крайне неприятный для казаков, а именно: было постановлено сообщить об учинившемся покое между двумя государствами и татарскому хану, приглашая его к союзу, но если он от такового откажется и вздумает помогать казакам и запорожцам, то государства грозили выслать против него союзные войска.

С такого рода предложением было решено отправить послов и к турецкому султану.

В корчмах, на базарах, на перевозах, — всюду толковали о договорных пунктах. На левом берегу ходили тревожные слухи; толковали о том, что московский царь хочет уступить и Левобережную Украину ляхам. Народ волновался.

Какое-то мрачное, героическое настроение охватило все население.

Вся Украина поднялась и насторожилась... Казалось, она ждала только одного слова, чтобы разразиться страшным ударом и с последним усилием стряхнуть железные тиски, охватившие ее.

В Чигиринском замке воцарилось тоже мрачное, героическое настроение. В залах, в коридорах, в замковых шинках всюду сходились казаки, ротмистры надворных команд, православные шляхтичи и даже монахи, находившиеся при замке, и толковали о том, что покориться этим договорным пунктам нет никакой возможности.

За кружкой меда, в харчевне, всюду шел один и тот же разговор.

И все эти толки оканчивались одним вопросом: что-то придумает гетман?

В эту ужасную минуту и друзья, и завистники, все сплотились вокруг него.

А гетман, оглушенный неожиданным ударом, еще не знал сам, на что решиться. Этот договор разрушал все его надежды: не говоря уже о настоящем, он отнимал у него всякую надежду на будущую самостоятельность Украины.

Без помощи Польши ему невозможно было воевать левобережья, но если бы он захотел сам без всякой войны присоединиться со своими казаками к Москве, — он не мог этого сделать, так как, ввиду Андрусовского договора, Москва не имела права принимать к себе правобережных казаков. Кроме того в договоре был еще один пункт, сильно смущавший Дорошенко. Это решение держав привлечь к своему союзу татар, а, может, турок. Если бы это случилось, Украине, как загнанному в западню зверю не оставалось бы уж никакой борьбы.

Дорошенко знал, положим, что татары уже давно гневаются на Польшу за то, что она несколько лет не платит им дани, знал, что Польше нечем теперь ее заплатить, но знал также и то, о чем говорил ему и Ислам-Бей, что татары без войны жить не могут и при малейшем казацком восстании вторгнутся, по первому приглашению Польши, в их пределы.

Гетману представилась следующая дилемма: или пригласить татар на Польшу, или ждать, пока Польша не пригласит их на казаков. Правда, союз с казаками должен был представляться татарам менее заманчивым, чем союз с Польшей и с Москвой, с другой стороны в Польше и в Москве их ожидала значительно лучшая добыча, чем в разоренной Украине, и эта добыча вознаградила бы их с лихвой за неполученную с поляков дань.

Уезжая, мурза Ислам-Бей повторил Дорошенко снова свои советы и обещанье похлопотать за него у татарского хана. Дорошенко сердечно благодарил его, но окончательного ответа не дал.

Несколько раз принимался он обсуждать с Богуном и с митрополитом Иосифом Тукальским, своим ближайшим советником, положение Украины, но прийти к окончательному решению они еще не могли.

Предстоял роковой шаг, и гетман невольно остановился перед ним.

Так прошло две недели.

Гетман ходил мрачный и молчаливый. Лицо его осунулось и потемнело; глаза горели затаенным, внутренним огнем. словно тяжелая туча повисла над Чигиринским замком.

И в замке, и в Чигирине всюду разливалось то зловещее затишье, которое разливается в природе перед ужасной грозой.

Только молодой прелестной гетманши не коснулось ничуть общее настроение.

Стояли унылые серые дни. Мелкий дождик принимался идти несколько раз на день и снова утихал; не было ветра, чтобы разорвать скучную серую пелену, окутавшую все небо. Гетманша сидела в своем покое у окна и рассеянно низала на шелковые нити дорогие кораллы. Саня сидела тут же и прилежно продолжала начатую в пальцах работу; хорошенькое личико гетманши выражало недовольство, скуку и раздраженье. Лицо Сани, слегка побледневшее за это время, было печально.

Саня молчала, но гетманша выражала вслух свое неудовольствие.

— И ты все молчишь, Саня! Ей-Богу можно подумать, что кто зачаровал весь этот замок! Молчат все, как будто их пришибло громом! От скуки, право, можно броситься в колодезь. И зачем только переехали мы в этот замок, видно, здесь никому не может быть счастья! Из груди Сани вырвался подавленный вздох.

— Вот и ты вздыхаешь, и все кругом вздыхают, — вскрикнула гетманша. — Ей-Богу, можно подумать, что покойник стоит где-нибудь в хате. Теперь вся значная польская шляхта выезжает из Чигирина.

— И слава Богу! — ответила тихо Саня.

— И слава Богу! — передразнила ее гетманша, — вот уж, право, не думала я, что из тебя ничего умного не будет. Поляки уходят, а мы с кем остаемся? С теми хвалеными казаками, которые прибыли с вашим преславным Богуном! Да ведь им легче схватить тура за рога, чем сказать приятное слово. И чего нападать на ляхов? До сих пор гетман жил с ими в мире и от того не было нам никакого худа. Когда-то они были врагами, конечно, ну, а теперь уже не то. Зато уж таких лицарей, как они, никогда не встретишь... Ах, уж такие пышные, шляхетные! — Гетманша перевела свой взгляд на Саню и вскрикнула с досадой. — Да что ж это ты все молчишь, да молчишь? Уж не больна ли?

— Нет, — ответила тихо Саня, — а так сумно... такое недоброе все "коится" кругом.

— Ой, Боженьку! Ну, пусть бы об этом печалились уже гетман и казаки, а то и ты ту же песню!

— Кругом все толкуют о том, что ляхи хотят нас "запровадить" в неволю.

— Ну так что ж? Уж не думаешь ли ты отправиться послом к польскому королю? Пожалуй, — усмехнулась она, — я б от того не отказалась, только чтоб дали пышную ассистенцию. Но нет, нет! — продолжала она уже более веселым тоном. Я знаю — ты закохалась.

— Ясновельможная гетманша жартует, — смутилась Саня.

— Нет, нет! Скажи, в кого? Может, в Хмельниченка? Даром, что он монах, а молодой еще и с лица ничего, только все такой тихий, да смутный. Не люблю я таких!

— Бедный гетманенко, он вынес такую муку![9]

— Ну, вынес, вынес! А теперь же вызволили его, так о чем печалиться! Нет, нет! Я знаю, в кого ты закохалась — в Палия! Да, в него, в того молодого чорнявого, который прибыл с Богунном. Что же, он гарный и горячий, только настоящий медведь. Верно и его кто-нибудь зачаровал? — В голосе гетманши послышалась насмешливая нотка. — Или ты, может, закохалась в молодого Кочубея, — продолжала она, — вот в того, что прибыл недавно к гетману на службу?

— Куда мне до таких славных лицарей, я и думать про них не смею, — проговорила печально Саня и еще ниже опустила голову.

— Вот уж славные лицари, так славные! — вскрикнула насмешливо гетманша и продолжала слегка раздраженным тоном. — Нашла чем хвалиться! Настоящие "шмаровозы"! Как скажут какое-нибудь свое казацкое слово, так просто не знаешь, куда глаза "схватить"! А уж ваш хваленый Богун! И старый, и совсем не гарный, да еще и угрюмый какой, сидит себе словно сыч, и слова от него веселого не услышишь! Я надела свое новое перловое намысто, а он хоть бы одно словечко мне сказал, а говорит так грубо, просто совсем не шляхетно!

Гетманша сделала презрительную гримаску и, прищуривши глазки, продолжала медленно:

— Вот Самойлович не им чета. И лицом, и голосом, и словом — всем взял! Настоящий лицарь шляхетный!

На лице гетманши появилась нежная улыбка; она потянулась, как кошечка, и произнесла с томным вздохом:

— Хотя бы приехал, что ли? Ведь он говорил, что будет к нам скоро назад.

Она помолчала и затем прибавила тихо с лукавой улыбкой:

— Говорил, что всякая былинка тянется к солнцу. Разве я похожа на солнце? Потешный какой!
— и гетманша рассмеялась веселым, задорным смехом.

В это время со двора донесся чей-то суровый возглас:

— Коня мне!

Смех гетманши сразу оборвался. Саня подняла голову и, взглянув в окно, произнесла с тревогой:

— Гетман выезжает один со двора.

Гетманша взглянула в окно и произнесла с пренебрежительной улыбкой:

— Уж это он всегда, когда на него "какая-нибудь планета навеет"[10], уезжает в поле, размыкать свою "нудьгу", — и затем она прибавила уже совсем недружелюбно. — Не знаю, что это ему опять в голову запало, корился бы, когда нечего делать, а то еще опять войну затеет. Дождется того, что его отвезут татары в семибашенный замок, или ляхи упрячут туда, откуда едва вырвал Тетеря Хмельниченка!

— Несчастный гетман! Хмурый какой, как темная туча! — проговорила Саня.

— Не дает покою ни себе, ни другим! — произнесла досадливо гетманша и снова принялась за низанье своих намест.

XVIII

Гетману подали горячего вороного коня; он вскочил на него, сдавил его бока "острогамы" и вынесся вихрем из Чигиринского замка в город, а затем в открытое поле.

Подгоняемый ударами "острог" гетмана, кровный конь мчался стрелой; вскоре они оставили далеко за собой стены и башни Чигирина и очутились в широкой, безбрежной степи.

Гетман пустил поводя; конь начал мало-помалу убавлять свой бег и, наконец, пошел широким, спокойным шагом.

Гетман сбросил шапку и обмахнул ею лицо. Быстрая езда слегка успокоила его. Неотвязная, жгучая, неразрешимая мысль снова овладела его головой, но теперь здесь, вдали от всех, он мог рассуждать уже спокойнее.

Итак, что предпринять и предпринимать ли что-нибудь? Решаться надо скорее, скорее, пока союзные державы еще не привлекли на свою сторону татар. Совершится это — тогда уж конец всем надеждам. Но татары? Они ведь не пойдут все по пустому приглашению; ему надо всю орду, а орда двинется только тогда, если ей пообещаешь союз с Высокой Портой. Союз с неверным, с басурманом?

Гетман поднял глаза к небу, словно надеялся отыскать там ответ, но небо было серо, безучастно и угрюмо.

"Ислам-Бей указывает на Мультианское и Валашское господарства, — продолжал он дальше свои размышления. — Одначе жизнь их не зело сладка. Правда, тут допомагает еще жадность и корыстолюбие господарей, а все-таки турецкая рука тяжела! Это ведь не дряблая панская рука, ее одним толчком с плеча не стряхнешь! Татары — друзья, но друзья только для наживы... помощь их тяжка..."

Гетман тяжело вздохнул и опустил голову на грудь. Многие казаки, а особенно кошевой запорожский атаман Сирко, сильно упрекали его за приятельство с татарами. Действительно татары, появляясь для союза с украинскими казаками, производили страшные опустошения в самой Украине, они уводили в плен целые толпы поселян, жгли их деревни, стравляли посева. Благодатный край обращался в руину через этих союзников, жители бросали свои жилища и бежали в степь. Дорошенко знал это, это грызло и терзало его сердце, но он не мог здесь ничем помочь. Если союза с турками еще можно будет избежать, — думал он, — то от союза с татарами отказаться нельзя. Если отвергнуть этот союз, что ждет их тогда? Впереди смерть и унижение родины, гибель Запорожья, гибель всего того, с чем они сжились и для чего жили! Ха, ха! — улыбнулся горько Дорошенко. — Польша и Москва договорились смирать нас — значит, искоренять! И они этого достигнут, если мы вовремя не окажем отпор. Пока Украина была еще не разорвана и не опустошена войнами, — она могла бы бороться с ними, но теперь

нет! Если бы еще силы ее были "сполучени", но разве можно положиться на Бруховецкого? Он не захочет выйти из повиновения этому миру, а если согласится, то только для того, чтобы выдать и его, правобережного гетмана, и всю старшину Москве. Ведь сам он накликал в Украину московских воевод и ратных людей! Он теперь, верно, торжествует, надеясь, что правобережный гетман со своими казаками совсем умалится! Но да не будет так! — вскрикнул он вслух, сверкнул своими черными глазами. — Все, что захочет доля, но только не этот договор!

Кровь приступила к лицу гетмана, мысли его снова понеслись быстрее.

Он мечтал о самостоятельности отчины. Это была самая задушевная его мысль, самая страстная мечта. Вся действительность его клонилась только к достижению этой цели; для нее он готов был поступиться всем на свете: жизнью, гетманством, булавой. Все обещало ему успех, и вдруг этот договор одним ударом разбил все его надежды. Но Дорошенко не думал отступать, — он добьется ее, он соединит обе Украины! И гетман снова начинал перебирать в своем уме все возможные для этого средства и снова возвращался к союзу с татарами.

И в самом деле, что удерживает их от союза с татарами? Одна только вера. Но если Правобережная Украина останется под игом лядским, разве они не станут утеснять веры, не станут мучить православных попов? Они будут хуже турок, хуже татар и всех бусурманов! Татары грабят и уводят в плен народ, но когда Украина соединится и окрепнет, ни один татарин не переступит через ее рубеж. Если бы даже пришлось соединиться с султаном, казаки ограничились бы только платой какой-нибудь дани, а правили б вольно своей речью посполитой; у турецких пашей не было здесь ни "маеткив", ни ж хлопов, а польские магнаты сейчас же захотят вернуть себе; свои "добра", и права.

Гетман поднял глаза.

Тучи уже разорвались; на западе протянулись нежно-зеленые, золотистые и розовые полосы; по всему небесному своду уже проглядывала ясная лазурь; рассеивающиеся тучи клубились по ней легкой прозрачной дымкой; через минуту из-под озаренного светом причудливого края облака вырвались золотым снопом яркие лучи солнца и осветили всю степь. Все кругом заискрилось и ожило.

Гетман невольно залюбовался этой картиной. Глубок тяжелый вздох вырвался из его груди.

— И этот широкий степ, этот веселый край отдать в нее чуждым людям? — прошептал он тихо. Рвущая сердце тоска сжала его грудь.

— Нет, нет! — вскрикнул он, подымая к небу свой взор.

Пусть загину я смертью лютой, но Украина будет свободна "сполучена" опять!

Гетман воротился в замок на взмыленном коне. На крыльце его встретил казак и сообщил ему, что в Чягирин прибили новые беглецы с левого берега, хотят виде

его милость и сообщить ему важные "новыны".

— Гаразд, гаразд! Прибыли вовремя, дети! — ответил себе гетман и приказал попросить к себе Бргуна, владыку и молодого монашествующего гетмана Юрия Хмельницкого.

Когда приглашенные вошли в покой гетмана, они застали его шагающим большими шагами по комнате; лицо его бы воодушевлено, глаза горели решимостью и отвагой; все движения были

быстры, порывисты.

— Друзи мои, настало время действовать! — произнес громко, делая несколько шагов навстречу вошедшим. — призвал вас, чтоб открыть вам свою волю.

— Говори, говори, гетмане! — произнесли разом Богун митрополит Тукальский.

Это был высокий худой человек, с лицом желтого, пергаментного цвета, с седой бородой и черными бровями и глазами. Болезнь и страдания положили на его лицо свой оттенок, но, несмотря на это, в нем виднелась гордость и железная сила воли. Взгляд его черных умных глаз был необычайно пристален, он словно пронизывал человека насквозь.

В Юрии Хмельницком, теперь уже во Христе брате Гедеоне, никто бы не узнал прежнего гетмана. На нем была монашеская одежда, черный клобук покрывал его голову. В его лице не было ни одной черты покойного гетмана Богдана, все черты его лица были мягкие, расплывчатые; голубые печальные глаза Глядели как-то тускло, словно думы его находились всегда не тут, а где-то далеко; весь он казался каким-то хилым, беспомощным и больным.

— Садитесь же, друзи мои, — произнес торжественно Дорошенко, — слушайте меня.

Все уселись. В комнате становилось темно; слуги внесли зажженные канделябры и, поставивши их, удалились.

— Друзи мои, — заговорил Дорошенко, — должны ли мы подчиниться учиненному покою?

— Нет, никогда! — вскрикнули разом Богун, владыка и низложенный монашествующий гетман.

— Должны ли мы дбать про "едність и самостийність" отчизны, или, опустивши руки, отдать ее "на поталу" врагам?

— Покуда крови есть хоть одна капля в жилах, будем бороться за нее. Головы свои сложим, а не склоним шеи в лядском ярме! — вскрикнул Богун.

— Святым крестом заклинаю вас, дети, ищите "самостийности" отчизны, — произнес с одушевлением владыка, — чтобы не погибнуть и вере святой, и нам самим.

Даже лицо Юрия Хмельницкого оживилось при этих словах.

— О гетмане! Верни, верни назад нашу несчастную Украину, чтобы хоть душа моего бедного батька успокоилась на небесах, — вскрикнул он, протягивая к Дорошенку руки, и закрыл ладонями лицо.

— Так слушайте же меня, друзи мой! — И Дорошенко заговорил горячо и сильно.

Если бы это было "за часы" гетмана Богдана, они могли бы померяться силами и сами, но теперь нечего об этом и говорить. Ненавистный Бруховецкий никогда не пристанет к такому союзу. Положим, печалиться о нем нет никакой нужды: все города и все левобережные полки перейдут на их сторону и сами. Но против них, по силе этого договора, выступят и Польша, и Москва. Против таких сил самим казакам не устоять. Им надо искать подмоги, единая подмога — татары.

И гетман стал объяснять своим слушателям необходимость этого союза, все его слабые и сильные стороны. Чем дальше говорил гетман, тем сильнее становилась его речь. Слова его

падали на сердца слушателей, как искры на сухую траву, — и пламя воодушевления охватывало их. Под влиянием его опасность татарского союза казалась такой ничтожной, и величие самобытной Украины таким близким и осуществимым! Только глаза владыки смотрели вперед холодно и пронзительно, его не касалось это одушевление, союз с татарами не представлялся ему таким безопасным, но он знал, что другого выбора нет.

— Постой, друже, — перебил, наконец, гетмана Богун. — Но пойдут ли с нами запорожцы?

— А что ж, разве они станут ждать, пока Польша и Москва и придут усмирять их?

— Так, но союз с бусурманами... Ты знаешь, что Сирко ненавидит их, а куда Сирко, туда и все Запорожье!

— Мы отправим к нему послов, он не явится разорителем отчизны. Чего бояться союза с татарами? Татары не угнетали нашей веры.

— Разве не с татарами покойный гетман Богдан выбил всю Украину из лядского ига? — произнес владыка, устремляя на Богуну свой пронзительный взор. — Когда огонь в разумной, и твердой руке, он не делает зла, а если выпустишь его — рук, тогда жди пожара.

— Святое слово, отче! Но Туреччина...

— Туреччина еще впереди! — вскрикнул Дорошенко. — Теперь нам надо только освободить отчизну, а там посмотрим! нужно ли нам искать еще побратима, или удержимся и сами. Будем же, друзи, готовиться к "остатнему" бою, — отныне мы уже не союзники польского короля.

— Слава, слава тебе, гетмане! Вот это так дело! — вскрикнул Богун, заключая Дорошенко в свои объятия.

— И да будет между нами едино стадо, един пастырь, заключил владыка, осеняя Дорошенко крестом.

Весть о решении гетмана разнеслась на другой день с быстротой молнии по всему замку, а оттуда и по Чигирину. Восторженное настроение охватило всех. Имя Дорошенко повторялось всюду. Открытый разрыв с ляхами и решение до бывать левую Украину привлекли к нему многих.

В замке закипела горячая работа. Готовили универсалы, отправляли послов на Запорожье и к татарам, собирали полки, отсылали гонцов в левобережные города.

Мазепа стоял на носу байдака, несшегося вниз по течению, и ощущал, как в груди у него приятно улеглось спокойствие после ужасной тревоги, испытанной им во время перехода через пороги; теперь старый батько Днепр нес победоносно царственным спокойствием свои глубокие воды, и такое ай радостное, победное чувство овладевало и молодым подчашием, смело смотревшим вперед на зыбкую, прозрачную гладь, загорающую вдали алым заревом от лучей склонявшегося к горизонту солнца. Как эта покрытая золотом мглюю даль не давала глазу проникнуть в свои тайны, залитые блеском и сверканием розовых лучей, так загадочно и ярко светилась в сердце Мазепы надежда на то, что и его жизненный путь озарится радостями и поведет к победе и счастью. Даже томившая его во время пути разлука с Галиной, с этим чистым и прекрасным ребенком, овладевшим его душой, начала ослабевать в своей едкости, заглушаясь другими сильными ощущениями и ожиданием того, что посулит ему в дар

будущее. Кроме того, Мазепа утешал себя еще тем, что на Сечи он пробудет недолго, а затем на обратном пути непременно заедет на хутор. Постоянно меняющиеся картины берегов отрывали от Галины его мысли, и наконец Мазепа совершенно погрузился в созерцание окружающей красоты.

Дикие скалистые берега Днепра уже отбежали назад, а теперь тянулись все волнистые, покрытые высокой травой. Чем дальше, тем шире становилось лоно реки. И эта спокойная широкая лазурная дорога, и эта безлюдная величественная степь, прильнувшая к ней, и этот живительный, полный свежего аромата воздух вливали в сердце чувство необычайной бодрости, воли и отваги... Уже все пороги остались далеко за путешественниками, но все-таки по дороге то там, то сям попадались огромные гранитные скалы, подымающиеся из воды.

— Камень Перун, Богатырь, Ластивка! — перечислил их седой казак "лоцман", сидевший за Мазепой на куче свернутых канатов.

Но вот широкое русло реки начало дробиться выплывавшими навстречу островами; покрытые сплошь яркой изумрудной зеленью, они словно выростали из прозрачных струй воды. Вот лодка вступила в широкий пролив, образовавшийся среди двух длинных островов. Свежей лесной прохладой и ароматом пахло на путешественников; длинные тени рощицы, покрывавшей весь остров, закрывали собою пролив. Мазепа сбросил шапку и глубоко вдохнул в себя чудный лесной воздух.

— "Виноградный" и "Соловьиный"! — возгласил седой лоцман, указывая на острова. — Здесь мы всегда "спыняемся" кашу варить; ну да теперь нечего; скоро уж и Сичь.

Название острова было действительно справедливо: над островами и над проливом кружились массы птиц; соловьиные трели оглашали весь воздух. Кругом было так вольно, так дивно прекрасно! И эта красота, эта необъятная ширина разворачивающейся перед ним картины наполняла сердце Мазепы чувством необычайной любви и близости ко всему окружающему его; он чувствовал, что его сердце связывают с этой землей такие крепкие корни, которые не разорвать никогда, никому и ничему; он чувствовал, что этот синий батько Днепр, и эта вольная степь, и это родное, ласковое небо, опрокинувшееся над ним таким безмерным куполом, дороги ему, как что-то живое, одушевленное, как нежная рука, как улыбка, как голос матери! Что, если оторвать его от них — он зачахнет, завянет, как срубленное молодое деревцо.

Между тем лодка минула остров и снова выплыла на широкую гладь реки.

— Эх! — произнес с глубоким вздохом седой лоцман, словно в ответ на мысли Мазепы, — нет ведь на свете другой Украины, как нет и другого Днепра!

Он замолчал, молчал и Мазепа; радостное, рвущееся чувство теснило его грудь; в сердце закипали молодые, счастливые слезы, и жизнь казалась прекрасной и столько надежд виделось впереди.

А лодка между тем все плыла, да плыла по этой величественной дороге, не встречая никого на своем пути.

Но вот Днепр разлился еще шире и, описав крутой поворот, повернул прямо на юг.

Течение заметно усилилось; подгоняемый дружными ударами весел, байдак понесся еще быстрее. Вдали засерели какие-то каменные громады.

— А это что такое? — обратился с вопросом к лоцману Мазепа.

— Это "Кичкас", — ответил тот. — Видишь, как бурлит и стонет вода, это Днепр сразу сужается, вот увидишь там, подле "Кичкаса", он такой узкий станет, что татары и коней переправляют через него вплавь!

Действительно, течение усилилось; вода кругом бурлила и мчалась вперед, байдак также мчался стрелой, еще один; поворот реки, и вода с шумом ворвалась в узкое ложе, стесненное с двух сторон отвесными каменистыми стенами.

Мазепа едва пришел в себя от такой быстрой перемены.

ХІХ

Несмотря на то, что солнце еще стояло над горизонтом, ущелье было мрачно и темно; направо и налево тянулись сплошь серые, гранитные стены. Это были не скалы, не горы, а сплошные громады седого гранита, пробитые рекой. Они подымались из воды совершенно отвесно; казалось, нигде нельзя было бы причалить к ним лодку и вскарабкаться на них Стесненная в этом каменном коридоре река мчалась с необычайной быстротой.

Глубокие трещины бороздили каменные громады; в некоторых местах они раскололись и свисали какими-то ужасны ми глыбами, готовыми ежеминутно сорваться в реку; то там то сям виднелись пятна седого мха.

Тени от этих высоких громад наполняли собой все пространство; воды реки казались черными и холодными. Только полоса развернувшегося над головой лазурного неба напоминала о том, что за этими холодными каменными глыбами стоял яркий летний день.

Картина была величественна, мрачна и угрюма. Перед этими каменными громадами огромный байдак казался какой-то жалкой скорлупой.

Весь поглощенный этой картиной, Мазепа стоял неподвижно на носу байдака.

Вдруг издали донесся отдаленный гул, словно ропот морского прибоя, только более ровный и постоянный. Мазепа с тревогой устремил вперед глаза и напряг зрение; ничего не было видно, но шум заметно рос и усиливался.

— Новый порог, и, кажется, самый грозный, — промелькнуло у него в голове.

На "чардак"[11] вышел сам кошевой и несколько казаков. За дорогу Мазепа успел еще более сблизиться с Сирко и еще лучше узнал его чуткую, бесхитростную душу.

— Что это за новый порог? — спросил быстро Мазепа, когда Сирко подошел к нему и стал с ним рядом на носу.

— Где там у черта порог? — ответил, не выпуская изо рта люльки, Сирко и поправил осунувшийся пояс.

— Да вон там гудит и бурлит, как "скаженный", — указал рукою Мазепа.

— Хе! Какой же это порог? — улыбнулся Сирко и, вынувши изо рта люльку, плюнул далеко в сторону. — Это Хортица к нам приближается, а на ней гудит Сичь, или лучше сказать "прысичья", потому что самая Сичь по той стороне острова. Только чересчур что-то

разбушевало "прысиччя": отняли ль добычу у татарских "харцыз", либо с "полювання" какого-нибудь возвратилась ватага... Да, что-то уж необычное... — Кошевой почесал себе затылок и, поправивши шапку, прибавил: — А вот побачим, почуем!

Байдак круто повернул направо, и вдруг каменные громады сразу оборвались, словно упали в воду; целые снопы золотых лучей заходящего солнца ворвались в угрюмый каменный коридор; перед путниками распахнулась бесконечная лазурная даль реки, залитая золотом и огнем.

И в этом золотистом тумане подымался прямо из воды, словно затонувший корабль, огромный и темный остров.

Все на байдаке пришло в движение.

— Вот оно, Запорожье, наша Сичь-ненька, — произнес с чувством Сирко, снявши почтительно "шлык".

Козаки обнажили головы, Мазепа тоже поднял машинально высокую шапку и обернулся быстро в ту сторону, куда глядели казаки.

Ему бросилась сразу в глаза пестрая и оживленная картина, захватывающая всякого зрителя своей кипучей жизненной силой.

Берег Хортицы, высокий и отвесный, усеянный крутыми глыбами камней, торчащими по приподнятому тремя выступами искусственному валу, тянулся и загибался вдаль. На берегу у причала, куда широкой дугой загибал уже байдак, копошился и сновал группами разношерстный народ.

Шум и гвалт, защищенный сначала каменной стеной и казавшийся тогда глухим рокотом, теперь сразу ударил по ушам резкостью бушующих звуков: в этой грубой какофонии основной тон держали раздававшиеся во всех углах глухие и звякающие удары, и на этом уже фоне вырезывались перебранки, крики и песни.

Направо и налево от пристани тянулась ломаной линией флотилия чаек; на некоторых копошились обнаженные люди и что-то в них заколачивали; другие чайки были вытащены на берег и конопатились да смолились; вокруг последних стояли клубы черного дыма от разложенных под валами костров. С нескольких чаек в проток Днепра закидывали невод.

У берега и на середине реки барахтались и вспенивали, воду могучими взмахами рук сотни бронзовых тел, брызгая во все стороны, фыркая и издавая какое-то громкое ржанье; другие помогали загонять рыбу в закинутый невод. Выкупавшиеся уже фигуры лежали на откосе берега, предаваясь созерцательной лени. Выше за ними сидела и полулежала группа казаков в роскошных, дорогих, но изорванных и запачканных дегтем жупанах, кунтушах и турецких куртках и громко с увлечением спорила о чем-то и кричала. Впрочем, и среди купающихся, и среди конопатящих чайки, и среди лениво отдыхающих на берегу всюду слышались какие-то гневные крики, проклятья и целые каскады брани. Обычное раздольное житье Запорожья, видимо, было чем-то неожиданно нарушено.

Из-за вала доносился еще больший шум, словно за этими откосами, увенчанными выставившимися жерлами "гармат", шла кипучая битва.

Байдак пристал к причалу; бросили веревки на берег, но несмотря на крики рулевого, никто их не поднял и не привязал к забитым во многих местах "палям".

— Да соскочите, хлопцы, который! — крикнул Сирко, — и закиньте сами, а то ведь этих лежебок никогда не дождешься на перевозе; бей меня сила Божья, коли я их не покараю, лишивши дня на три оковитой.

Из отдохавших невдалеке казаков, с заброшенными под голову руками, поднялась одна фигура атлетического сложения, узнавшая, видимо, кошевого по голосу, и подошла с любопытством к байдаку. Заходившее солнце ударяло прямо в глаза запорожцу, и он, поднявши руки щитком, присматривался к выходившим на "загату" приезжим.

В полной наготе своих форм он был великолепен; стройная мускулистая фигура его, облитая теплыми тонами заката, напоминала дорогую бронзовую статую какого-нибудь гладиатора, перенесенную из пышного римского дворца на этот дикий берег.

— Хе! Пане кошевой, батько наш. Вон оно кто! — заговорил радостно атлет, узнавши Сирко. — А я смотрю и дивлюсь: какой это там "велетень"! Аж это орел наш! Будь же здоров и славен вовеки!

— Здоров будь, Степане! Спасибо за привет, любый обозный! — обнял его Сирко. — Душно, что ли? — окинул он приятеля ласковым взглядом.

— Ге, пане отамане, парит... Смыкнули, правда, грешным с досады делом, окаянной, так она еще больше разобрала! Ну, вот и прохоложиваемся. — Да что это у вас за шум, за гвалт? Ярмарок, что ли, "розташувався" на горе, на прысиччи или "прыгода" какая?

— Прыгода, не прыгода, а вот пришла "звистка" про Андрусовский договор, ну, наши и всполошились: Москва, видишь, замирилась с ляхами, половину Украины отдала ляхве на поталу, а наше Запорожье подклонила под два кнута, под ляшский и московский, да еще сказано в договоре, что коли посмеет брат брата оборонять, так против него выступят и московские, и польские "потуги".

Сирко остолбенел. Слухи об Андрусовском договоре носились уже по Украине два года и волновали умы людей; но так как послы обеих держав уже съезжались раз для подписания договора, но, не сойдясь в условиях, разъезжались, то в сердцах казаков начинала зарождаться надежда, что московский царь все-таки отстоит и оттянет к себе правую Украину.

И когда Сирко рассказывал Сычу про Андрусовский договор, в душе его все-таки теплилась надежда, что "не такой страшный черт, как его малюют", и что царские послы все-таки поднесут клятым ляхам дулю и отберут у них правую Украину. И вдруг это известие, да еще с новой подробностью о подчинении Запорожья двум державам! Сирко был истинным запорожским батьком: Запорожье представлялось для него земным раем, запорожец — живым идеалом и запорожские войны и набеги на мусульман — святым подвигом во имя Христа. Эти каменистые, защищенные порогами острова он считал сердцем Украины.

Вся кровь бросилась в лицо Сирко; если б это не был его приятель обозный, он крикнул бы: "брешешь ты, собачий сын, а вот чтоб ты не плескал таких паскудных речей, — вырву я тебе твой брехливый язык". Но это был обозный Степан, в правдивости которого нельзя было сомневаться, и холодный ужас прокрался в его бесстрашное сердце. А что, если правда? Задал он себе вопрос и тут же с последним напряжением постарался отвергнуть его: нет, это ляхи подсылают смутьянов, чтобы породить смуты и обессилить их.

— Да не может, не может быть! — заговорил он вслух. — Это вас смущают охотники до "шарпаныны". Чтоб московский царь отрекся от своих единоверных братии и отдал бы их под

бунчук пана шляхтича и ксендза-иезуита! Никогда!

— Эх, да и "упертый" же ты, батьку, — улыбнулся обозный, — а знаешь, как говорят старые люди: и хочет душа в рай, да грехи не пускают. Видишь — ляхве теперь какой-то бес помог, и она "вгору" пошла. Царским рослам удалось только выговорить для себя Киев на два года, а потом и он к ляхам на "вечные и потомные" часы отойдет.

— А я вам говорю, что все это брехня! — крикнул грозно Сирко, — мне и Дорошенко говорил, что не будет этого договора.

— Да он же сам, гетман Дорошенко, и послов к нам с письмами да универсалами прислал, — перебил его обозный.

— Что-о? — отступил от него Сирко, словно не понимая его слов.

— Ну да, тебя ждали, сам побачить, — продолжал обозный, — да туг еще приезжал к татарам посол из Москвы, боярин Ладыженский, ну, его хлопцы немного пошарпали и нашли него разные бумаги, с которыми он к татарам ехал, там все и вычитали. Приказывает-де наш пресветлый государь не только не воевать ляхов, царских приятелей уже выходит, а даже усмирять правобережных казаков, бунтарей и рабочий люд.

— Да это брехня, брехня, не к тебе речь, — заговорил взволнованно Сирко. — Да слыханное ли дело, чтобы православный царь отступался от своих детей православных, да еще в пользу католиков-иезуитов, да еще принял бы к себе в союз басурман? Да пусть он слово скажет, так мы с московским ратями перекинемся на правый берег, отобьем его от ляхов и присоединим назад. И Дорошерко, и владыка, и все едноть будут.

— Да так и мы мирковали, а теперь выходит — зась! Да Ладыженский все про другое, все наперекор. Мы ему говрим, не хотим и не станем лядского ярма носить, а он нам: "Не печальтесь ни о чем: ваша служба у великого государя забвенна не будет"! Ну, его и посчитали за "шпыга".[12] Не поверили и как "шпыга"...

— Прикончили?!

— Да что-то такое... "пожартовалы".. не брешы, мол, "непутящих" речей...

— "Погано, Тетяно", — покачал головой Сирко, и брови нахмурились, — ведь он царский посол.

— Да какой же посол, коли говорит такое, что впору лишь басурману! Да вот поезжай сам с Богом, порасспроси: там тебе про все досконально расскажут, да и послы Дорошенко-вы там, прибыли чуть не сегодня.

Ошеломленный известиями, ломавшими совершенно установившиеся у него убеждения, встревоженный происшествием с послом, Сирко поспешно сел на коня и направился торопливо к низкому подземному проходу в валах, укрепленному скованным частоколом.

Мазепа и сопровождавшие кошевого казаки последовали за ним.

За проходом открывалась довольно обширная площадь, тянувшаяся дугой и огражденная с противоположной стороны еще высшим валом с грозным бруствером, уставленным большого калибра гарматами. Под первым и под вторым валом ютились разные землянки, обмазанные

глиной хаты и подвалы для складов; на некоторых хатах торчали на палках пустые бочки и фляги и возле таких толпились и оралы о чем-то шатающиеся фигуры; у других землянок — сверкало в открытых горнах раскаленное железо и над ним мелькали, подымаясь и опускаясь, тяжелые молоты; у третьих — лежали вороха обручей и бондари набивали их на бочки и бочки, у четвертых — слесаря оттачивали сабли и копья на вертящихся камнях, метавших с визгом и треском целые снопы сверкающих искр.

Но вся эта картина будничного труда была закрыта сплошными толпами сновавшего и суетившегося на "майдани" народа.

В разных углах площади стояли обнявшиеся группы, волнуясь, жестикулируя энергично, махая шашками и кулаками. Однако большинство казаков делилось на две группы: одна теснилась подле большого листа какой-то грамоты, прибитой на высоком шесте. Видно было, что кто-то читал ее вслух, но непрерывные взрывы проклятий и брани прерывали его слова. Другая часть толпы окружала двух старых запорожцев, очевидно, послов Дорошенко, среди которых находился и Палий.

Отдельные личности перебегали от одной группы к другой, подзадоривая и возбуждая разгулявшиеся, видимо, страсти.

Всюду кипел гнев, но о чем шел спор, о чем раздавались крики — разобрать было невозможно. Подойдя к толпе, окружавшей прибитую на шесте грамоту, можно было слышать такие выкрики: "Не саблей нас взяли! Так нечего нас и делить! Довольно уж нас соболями кормить! Вывести сейчас ратных людей из Кодака! Перебить их всех, как Ладыжина! Да коли наше не в лад, то мы и назад! Вот что!"

Подле Палия и старых запорожцев росли крики: "За едність, панове, за едність! Разорвали нас на три части. Так не будет по-вашему! Дорошенко гетманом! Такого премудрого воина нет во всей Польше, не то что в Украине! Да и душа у него казацкая: он с деда и прадеда гетманом... Бруховецкого на палю! Кто за зрадника руку тянет, тот сам зрадник. Запроданец он, антихрист!"

В третьей группе уже кричали: "Одностайно, однодушно! Да сейчас же! На Бруховецкого! Раду, раду созвать! Что ж, что батька нема — и с дядьком раду отбудем".

Сирко подвигался медленно вперед, объезжая осторожно лежавших во многих местах неподвижно и отчаянно храпевших запорожцев.

Мазепа изумлялся, как это их не давила бушевавшая, и метавшаяся во все стороны толпа. Давно еще, служа у короля, он приезжал на Запорожье с каким-то посольством. Но тогда Сечь не произвела на него такого впечатления, как теперь быть может, тогда вышло более тихое время, или его самого, воспитанного в вольных правах казачьих, не поражала картин на запорожской воли, но теперь, после придворного изысканного этикета, после эпического спокойствия на хуторе, это бушующее море голов показалось ему каким-то странным разъяренным зверем, грозно кричащим тысячью голосов.

Эти бронзовые, загорелые лица, дышащие дикой удачью и отвагой, эти гигантские, мускулистые тела — все это представляло из себя действительно такую неборимую силу, к которой, казалось, не могло ничто противостоять.

Мазепа видел и пышные разодетые войска французского короля, и строго вымуштрованных германских гигантских солдат, но подобных закаленных воинов — он не встречал нигде и никогда! И однако сила их зависела, видимо, не от одних мускулов и умения владеть оружием,

— здесь было еще что-то невидимое, но бесконечно сильное, придавшее такую героическую отвагу всем этим железным людям.

Вся площадь кипела, — но это не было собрание возмущенных солдат. Нет! Здесь каждый из этих возмутившихся казаков мог через минуту стать кошевым атаманом и по своему умственному уровню он не оказался бы ниже занятого им положения.

Каждый из этих казаков принимал активное участие всей политической жизни своего края, он знал и понимал интересы и считал их своими личными, более дорогими чем интересы родной семьи. Отсюда происходил и тот беззаветный фанатический патриотизм, которым жил и дышал каждый запорожец. Этим объяснялось и то единодушное, горя воодушевление, которое охватило все Запорожье при известии об Андрусовском договоре.

XX

Мазепа с интересом присматривался к тысячной толпе героев и теперь ему становилось понятно, почему перед этими львами, готовыми полечь каждое мгновение за свою отчизну, бежали и татарские полчища, и пышные польские войска.

— Да, потерять это пыльное гнездо — значит потерять всю Украину, — думалось ему. Но между тем в этой толпе было и что-то страшное: видно было, что страсти запорожцев были разогреты до последней степени и при обычной способности толпы поддаваться одному какому-нибудь увлекательному слову — вся эта масса могла броситься очертя голову и наделать непоправимых бед. И при одной этой мысли Мазепе становилось жутко.

— О, если б придать этому Запорожью более стройный порядок, если бы употребить разумно его силы, — чего бы тогда можно было достигнуть! Быть может, не нужно было бы и "побратимив" по всему свету искать! — думал он, внимательно присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходившему вокруг него.

Наконец, некоторые казаки узнали Сирко.

— Батько, батько кошевой тут! Наши головы! — кланялись они низко, расчищая с помощью кулаков ему дорогу.

— Набок! Батьку дорогу! — кричали другие; толкая в плечи прохожих. — Позаливали себе очи и ничего не видят! Эй, пьяницы, набок!

— Сам ты набок! — отбранивались те. — Или я сверну тебе шею набок! Я казак вольный, — иду, куда ноги ступают, ни ты, ни сам я — им не указ!

Но вскоре по всей площади разлетелась весть, что кошевой, батько, славный рыцарь Сирко вернулся. Крики и брань стали стихать; обрадованные запорожцы, любившие беззаветно своего предводителя, побежали ему навстречу и окружили стеной наших путников, подъезжавших уже ко второму проходу.

— Здоров будь, батько! Витаем пана кошевого! Век долгий нашему "велетню"! Слава, слава! — понеслись со всех сторон радостные приветствия и слились в какой-то порывистый гул.

Шапки, шлыки полетели вверх, там и сям раздались пистолетные и мушкетные выстрелы; кто-то бросился даже к "гарматам", но "гармаши" остановили усердных: выстрелами из орудий созывалась великая Сичевая рада, а это могло делаться лишь по приказанию кошевого.

— Здорово, здорово, детки! — снял Сирко шапку и поклонился на все стороны. — Как поживаете? Что нового? Чего вы заволновались, с радости или с горя?

— Да какое, батьку, с радости? — отозвался один сивоусый запорожец с тремя перекрестными шрамами на лице, — скорее с горя.

— С горя, с горя, — подхватили соседи, и это слово пошло перекатываться по майдану.

— Да с какого горя? Горилки не хватило, или рыба перевелась? — попробовал еще подшутить кошевой.

— Что горилка! Не о том, батьку, речь! — возразил строго старик. — Разве это не горе, что Украину разорвали надвое? Разве это не горе, что одну половину отдали на съедение ляхам, а другую трощит Бруховецкий? Разве это не горе, что над Запорожьем поставили чуть ли не четверо панов я трое из них точат зубы, чтоб проглотить нас живьем? За что же мы с казаками и несчастным посольством лили кровь и гибли, за что? За права свои, за вольности, за веру, за братьев, а теперь выходит, что за все это нас бить в три кнута?

— Не бывать тому, не бывать! — раздался грозный возглас тысячной толпы, и эхо повторило этот чудовищный крик.

— Да слушайте, панове, вас одурили, — заговорил взволнованным голосом кошевой, думая хоть немного успокоить толпу, но ему не дали дальше говорить.

— Как одурили? Кто одурил? — закричали кругом. — Вот послушал бы, что говорил посол, пока не заткнули ему рта, да вон и Андрусовский договор, смотри сам!

Сотни рук поднялись в воздух по тому направлению, где белела прибитая высоко на доске грамота. Толпа слегка распахнулась.

— Читай, читай! — подтолкнули казаки одного молодого запорожца.

Но Сирко не нужен был чтец; зоркий взгляд его впился в бумагу и сразу же упал на место, касающееся Запорожской Сечи: "И вниз Днепра, что именуются Запороги, и тамошние казаки, в каких они там оборонах, островах и поселениях своих живут, имеют быть в послушании, под обороною, и под высокою рукою обоих великих государей наших, на общую их службу", — прочел он и последнее сомнение исчезло. Он хотел дочитать до конца всю бумагу, но кругом стоял такой крик, что сделать это было решительно невозможно.

— А что, теперь сам "упевнывся"! — кричали кругом голоса

— Вот какая нам "дяка"! Да и гетман Дорошенко нам в универсале пишет, что теперь, мол, и Москва, и поляки нам вороги!

— Вороги! — подхватила снова с грозным криком вся толпа!

— А все через кого? Через Ивашку Бруховецкого! — раздался в это время чей-то зычный голос. — Через него вся беда сталась! Это он ездил в Москву, он навел к нам господ ратных людей, он "намовыв" царя половину Украины ляхам отдать!

— Он, он! Антихрист! — закричали отовсюду.

Толпа вся ожила: гневная, бушующая, она искала и жаждала мести — и вот ненавистная

жертва была отыскана.

— Так смерть же зраднику! Веди нас зараз на Ивашку, батько! Веди! Веди! — загремела вся площадь, и все голоса смешались в одном ужасном и грозном реве. — Смерть "зраднику"! Смерть!

Сирко окаменел; по этому крику он почувствовал, что толпа возбуждена и наэлектризована до последней крайности, а при таких обстоятельствах настроение ее могло перейти в всеокрушающую бурю.

— Стойте, панове казаки, славные лыцари-запорожцы, — заговорил он громко, высоко подымая над головой шапку. — Про такие дела негоже говорить на прысиччи, есть на то сичевой "майдан". Не будем же ломать наших святых "звычайив", этим мы обидели б нашу Сичьматы и нашего Луга-батька, а будем чинить все по нашему закону и по старине. Дайте же кошевому вашему час, прочитайте с вашим писарем эти универсалы, просмотреть толком Андрусовские "пакты" и выслушать гетманских послов, и потом уже мы, "обмиркувавшысь" с нашим атаманьем, велим ударить в "склык" да в гармату и созвать великую раду. А на чем рада порешит, так тому и быть, тому и я слуга!

— Правда, правда, пане кошевой! — зашумели радостно передовые ряды, удовлетворенные атаманским решением. — Разумное твое слово! За твою голову костями ляжем!

— Век долгий кошевому батьку! Слава! Вот рассудил, как Соломон! Эх, голова! — вспыхивали то там, то сям похвалы и сливались в общий восторженный гул.

Сирко только кланялся на все стороны, а толпа, воодушевленная уже не мезтью, а более высоким патриотическим чувством, несла своего батька почти на плечах. Мазепа с остальными казаками был совершенно оттерт и остался пока на присечьи.

Настроение толпы сразу изменилось. Оставшиеся на присечьи уже с успокоенными лицами стали рассуждать о событиях, толковать о разных способах спасения отчизны, а больше всего хвалить разум своего кошевого и его мудрое слово. Каждый уже чувствовал себя не рабом пагубной для него силы, а полноправным господином и законодателем.

— Что ж, братцы, при нашем батьке тужить нам нечего, — говорил авторитетно седой запорожец с почетными шрамами на лице, — "обмиркуемяся" и все с ним рассудим, кого бить, а за кого стоять. Правду говорит пословица: вперед батька и в пекло не сунься!

Между тем толпа совершенно оттиснула Мазепу и приблизила его к той группе, где стояли Палий и Дорошенковы послы. Мазепа придержал коня и стал прислушиваться: здесь все толковали о единой Украине и о гетмане Дорошенко.

— Так, так, — говорил один почтенный казак с совершенно ястребиным носом, — Дорошенко пусть над всей Украиной гетманует: он казак старый и поле знает.

— Го-го! Боятся его ляхи, — такого премудрого волка не то что в Украине, а и во всей Польше нет!

— Еще бы, он и с деда, и с прадеда гетман!

— Дед его Кафу "внивець обернув"[13]! — сыпались отовсюду одобрительные замечания.

— Так, так, — продолжал старший казак, — за Дорошенко, да за едність нашу и будем стоять,

а если вздумают к нам польские послы навернуться, так мы им покажем вот что! — поднял он кверху кукиш.

— А может, что и получше! — слышались в толпе веселые голоса.

— Не надо нам теперь никого, опричь гетмана Дорошенка. Ни москаля, ни ляха! Сами себе будем пановать! — кричали уже кругом.

— Только и басурмана не надо! Не хотим с ним знаться! Пусть себе Петро про них и не думает! Мы за ним всюду, куда он ни поведет, только с басурманами нам каши не варить! — раздались возгласы с противоположной стороны.

— Да слушайте, панове, чего вы дарма горло дерете? — закричал, надрываясь от натуги, Палий, — ведь гетман только за помощью их зовет, а не в ярмо к ним идет. А чего нам бояться татарской помощи? Не с татарами ль гетман Богдан вызволил нас из лядской неволи?

— А не татаре ль "зрадылы" его под Берестечком и тем "запровадылы" всех нас в погибель! — ответил ему чей-то зычный голос из середины толпы.

— Не они ли грабят нас не хуже ляхов! В полон уводят и жен, и детей наших! С татариним дружи, а аркан наготове держи! — посыпались отовсюду гневные восклицания и, наконец, перешли в общий возглас: — Не хотим басурман! j

Напрасно Палий напрягал весь свой голос, его не было слышно за общим криком. Казалось, еще минута, и готова была бы закипеть жестокая свалка.

Мазепа подумал, что теперь настало время сказать ему свое слово.

— Панове товариство низовое, а дозвольте мне одно слово сказать! — произнес он громко, слегка выступая вперед конем.

Ближайшие ряды отступили перед лошадью, все невольно оглянулись на этого верхового незнакомца, свалившегося им словно с неба на головы.

Мазепа воспользовался этим мгновеньем молчания и продолжал дальше.

— А помните ли вы, панове, старую казацкую поговорку: "Бога памятуй, а и черта не забывай". То-то и спрашиваю вас, когда человек тонет, а кругом не за что ухватиться, только за острую косу, будет ли он размышлять в ту минуту о том, что урежет себе руку, или будет думать только о том, как бы свою душу спасти. Ведь рана-то на руке заживет, а душа погибнет, ее не воротишь.

— Хе, хе! Вот что придумал, — слышалось несколько голосов, — да когда тонешь, ухватишься не то что за косу, а и за шило.

— Так разве же мы теперь не тонем, панове? — продолжал Мазепа. — Разве уж не идет ко дну и наша родина, и наша едность, и наша воля? Татары разоряют и грабят, — правда. Но от грабежа можно оправиться, деньги — дело наживное, говорит нам пословица, а если мы теперь упустим время и не злучим нашу отчизну, то уж не спасем ее никогда!

Мазепа всегда говорил хорошо и увлекательно, но теперь, возбужденный сам этим известием, этой сценой и целой толпой слушателей, с сердцем, полным горечи и тоски за участь родины, он говорил необычайно сильно и красиво. Сидя на лошади, он был весь виден казакам, и его

голос, его слова, его прекрасная наружность и горящие воодушевлением глаза производили сильное впечатление на окружающих.

Неизвестность же его появления возбуждала еще больший интерес к его личности. Все слушали его с большим вниманием.

— Так не будем же спорить, панове, брать ли в союзники басурман или нет! Будем дбать прежде всего про едноть отчизны. Лучше тело свое погубить, да душу спасти — говорит нам святое письмо. А не наши ли души ответят перед Господом Богом, когда мы "занапастьем" свою отчизну под лядским ярмом. Ведь нет у нее ни батька, ни матери, нам поручил Господь за нее и ответ давать!

— Ну и врезал! Вот так сказал! Ей-Богу, правда! — посыпались отовсюду восторженные возгласы. — Да откуда ты взялся, бей тебя нечистая сила? С неба свалился, что ли?

Некоторые же седоусые запорожцы, растроганные словами Мазепы и высокою миссией, которую он приписывал им всем, даже усиленно заморгали глазами.

Толпа окружила Мазепу; Палий тоже подошел к нему и вдруг вскрикнул радостно:

— Да не тебя ли, пане-брате, я видел на хуторе у дида Сыча?

— Я там был и оттуда еду, — ответил Мазепа, всматриваясь пристально в лицо совершенно незнакомого ему казака. — Только пана запорожца я не припомню.

— Еще бы, — засмеялся Палий. — Когда я туда приезжал, так пан был бездыханен, трудно ему было что-либо помнить. А ведь это я пана от коня отвязал и вместе с Богуном внес в хату... И вот, благодаря Бога, вижу живым и здоровым, и нашим, как я и говорил.

— Спасибо за лыцарский "вчынок" незнакомый мой друже, — протянул ему тронутый Мазепа обе руки, и соскочил с коня. — Я Мазепа, из русской шляхты герба князей Курцевичей, и душой казак. А как же мне величать моего молодого спасителя?

— Семеном Палием, — заключил в объятия Мазепу казак и почувствовал в то же мгновение какое-то неприятное чувство, шевельнувшееся холодной змеей в его груди. Это, верно, от того, что он назвал себя шляхтичем. "На польский лад, паном", — подумал Палий и постарался задавить это неприятное впечатление, но оно упорно стояло в его сердце. Между тем, слова Мазепы снова разогрели толпу.

— Правда! Правда, казаче! — закричали кругом. — Верно ты рассудил. Пусть себе там гетман Дорошенко обирает нам какого захочет побратима, а мы тоже дремать не будем! Гайда на Кодак! Повыгоним оттуда всех ратных людей. Да и ты с нами, если ты и саблей умеешь так орудовать, как языком, будешь у нас головой!

— На Кодак! На Кодак! — подхватили кругом десятки и сотни голосов.

XXI

Мазепа с изумлением заметил, что слова его произвели совершенно противоположное действие: вместо того, чтобы успокоить толпу и остановить готовое сорваться возмущение, они разгорячили ее еще больше. Но видимо, ничто не могло уже теперь успокоить толпы. Ее возбужденная донельзя энергия искала себе выхода, какого-нибудь реального дела, которое можно было бы начать сейчас же, не откладывая до завтрашнего дня. Уже забыто было данное

кошевому обещание дожидаться Сичевой рады. Однако Мазепа попробовал еще раз остановить этот порыв.

— Пойдите, пойдите, панове, — обратился он к окружающим, — разрешите мне вас еще одно слово спросить?

Казакам Мазепа уже понравился, а потому никто не перебил его, и все с интересом насторожились.

— Видели ли вы, панове, чтобы разумный человек, когда хочет убить страшного зверя, целился бы ему в хвост?

— Ха, ха, ха! — улыбнулся старый запорожец Шрам, — этого не сделает и малая дытына.

— Так как же вы, панове, — подымаясь против такого "хыжого" зверя, как наша "розшарпаність и неедність", хотите ему целить только в хвост?

— Загадывает что-то занятное! А ну, ну? — подмигнули друг другу слушатели и понадвинулись к Мазепе.

А Мазепа продолжал уже увереннее.

— Вот вы говорите про едність, а сами против нее идете. Когда люди хотят едність меж себя утвердить, так уж все и должны стоять за одно. Вот человек единый, так уж и руки, и ноги его слушают, что им прикажет голова, и все за одно стоят. Слушают ноги головы, — и человек добре идет, а если он охмелеет, вот примером нам тот добродий, — указал Мазепа на шатающегося подвыпившего запорожца, выписывающего ногами "мыслете", — тогда уж он и с места не сдвинется.

Пример Мазепы привел казаков в добродушно-юмористическое настроение. Послышались веселые возгласы.

— Так то и вы сами, панове, — продолжал Мазепа, — за едність идете, а против едности встаете. Коли думать дбать про свою жизнь и свободу, то прежде всего надо всем нам "поеднатися", а чтобы поеднатися, надо и голову одну избрать... У нас голова одна, наш славный гетман Дорошенко, так его же и слушать будем. Хотите ударить на Кодак, а может он задумал "тышком-нышком" да в самую Варшаву нагряться, а вы только заранее всполошите птахов, да и подымете всю стаю.

— Как в око вlepил! — крикнул кто-то запальчиво. — Вот так урезал, молодец! — подхватили другие, и одобрительный гул сразу определил симпатии толпы к новому гостю.

Какой-то средних лет казак, видимо, из старшин, протиснулся к Мазепе и проговорил с чувством:

— Спасибо тебе от имени гетмана Дорошенко и от Украины за твое широе слово: позволь обнять тебя!

И гетманский посол обнял Мазепу, при шумных хвалебных отзывах.

— Я счастлив несказанно, — заговорил снова Мазепа, взволнованный этим неожиданным и льстящим ему приветствием, — но не одним тем, что от посла нашего славного гетмана имею теплое слово и ласку, а больше тем, что мои думки совпали с думками гетмана. Да, панове-

лыцарство, — возвысил он голос, — теперь единой для всех нас молитвой должно быть "благанья" к милосердному Богу о "злучении" воедино всей Украины; все наши думки, все наши силы должны быть "напружени" лишь на это. И кто бы нам ни помог в нашей "справи", хотя бы даже и жид, то и его не должны мы "цуратыся".

— Да что же нам делать теперь? — раздавалось то там, то сям в толпе.

— Что делать? — повернулся к ним Мазепа. — Выпить за нашу "едність", да за здоровье славного гетмана нашего Дорошенко и кошевого Сирко и ждать от них "наказу". Нет лучших рыцарей во всей Украине, так и сдадимся же на их разум. На чем они положат, на том и мы будем стоять.

— Правда, правда! — подхватил весело Палий. — Утро вечера мудренее: на раде кошевой наш батько все нам выскажет, а за едність Украины, да за нашего нового гостя Мазепу следует выпить, да выпить так, чтобы и небу жарко стало!

— Вот это дело! Юнак, так юнак! И на поле первый, и товарищ первый! Да и этот Мазепа, чтоб его черт побрал, голова! — раздались дружные одобрения.

— Уж именно полная, — подтвердил старый запорожец с ястребиным носом, по прозванию Кобец. — Два клало, а третий утаптывал.

— Так гайда ж, братове, за мною, — крикнул Палий, указывая рукой на более обширную мазанку, в которую воткнуты были три веши с надетыми на них сулеею, флягой и бочонком.

Мазепу окружили запорожцы; каждый желал с ним познакомиться и выразить свое сочувствие каким-либо приятным словом. Так Мазепа переходил от одних к другим и медленно подвигался к шинку.

В самом шинке и подле него толпилось много народа. Распивающие мед и горилку сидели и подле выставленных деревянных столов и просто по-турецки, поставивши между скрещенных ног пляшку и чарку.

Большинство, очевидно, слушало какого-то казака или шляхтича в дорогом кунтуше с есаульскими кистями, который стоял посредине с кубком в руке.

Мазепа не мог рассмотреть его лица, так как он стоял спиной к приближающимся запорожцам, он только заметил его крайне небольшой рост и худощавую, миниатюрную фигурку, которая при каждом слове рассказчика как-то вскидывалась и приподнималась, словно этим движением шляхтич хотел увеличить свой незначительный рост.

Мазепу еще издали поразил его голос; в резких и визгливых высоких тонах его слышался скорее хриплый голос женщины и эти звуки перенесли невольно Мазепу в Варшаву и припомнили ему оскорбительный эпизод, непокинутый им вследствие трусости и бегства напастника.

Мазепа даже побледнел от этого воспоминания, такой злобой отозвалось оно в его сердце.

Но Варшава и Запорожская Сечь были такие несовместимые величины, что Мазепа стал гнать от себя это непрошенное воспоминание, хотя голос и манера рассказчика проясняли его ярче и ярче.

— А ну, панове, послушаем, о чем щебечет эта пташка, — обратился он к своим соседям.

Те молча согласились с ним и вся компания остановилась невдалеке от рассказчика.

Увлеченный своим рассказом, маленький шляхтич не заметил их приближения.

— И все это вы, панове-запорожцы, — говорил он, — понапрасну на гетмана валите. Ей-Богу, он так же виновен перед вами, как Христос перед жидами. Его невольню взяли в Москве со всею старшиной и там заставили подписать чего хотели.

— Эге, заставили, — отвечал шляхтичу Шрам, успевший уже занять среди слушателей почетное место, — заставляет, верно, и пастух волка овцу есть. Почему же гетман твой, когда вернулся додому, не повернул все к старым обычаям назад? А он принял на себя, небось, на себя одного власть; старшину в колодки сажает и в Москву отсылает.

— Все это наговоры и клевета, ясновельможное лыцарство, — продолжал шляхтич и голос его зазвучал еще визгливее. — Конечно, приходится и наказывать кого, так ведь без этого не то что государство, а и своя семья не обойдется. Только гетман и наказывает кого из старшин, то не по своей злобе или искательству, а за провинность перед войском и вольностью нашей. Все это наговаривают на него враги нашего спокойствия. Мне то что, — мне, ведь, все равно, какому гетману служить, только за правду стою. Да вы же его сами знаете, вы же его, панове-запорожцы, сами и на гетманство поставили.

— Сами поставили, сами и скинем, — перебил его, нахмутив брови, Шрам, — потому что был он прежде казак, как казак, а теперя зрадником стал! От него все зло у нас!

— Гей, панове, низовое товариство, да вы только хорошенько смотрите, так и увидите, что правда, как чистая олива, поверх воды плывет. Мне то что, я ведь за гетмана не стою, — оглянувшись как-то боязливо шляхтич, — так только себе "миркую", что не отбирает он от вас вольности, а еще большие вам надает. Не для себя ли он заводит бояр да дворян, а для всей старшины и казаков, для запорожских же лыцарей наипаче.

— Ты нам про этого зрадника и не пой, — раздались гневные голоса, — потому что его голова уже на плечах не усидит, да смотри, чтоб и твоя удержалась.

Среди спутников Мазепы послышалось тоже движение, но Мазепа удержал их.

— Что вы, что вы, шановное товариство, — даже отступил слегка шляхтич, — я ведь за него не заступаюся, так только "миркую", на сколько мне мой малый умишко помогает.

— А коли у тебя "порожня" шапка, так и молчи. Дорошенко нам будет гетманом!

— Дорошенко, так Дорошенко! — подхватили кругом, — а Ивашку на "шыбеныцю", "на палю"!

— Что ж, панове, славное лыцарство, — заговорил сладеньким голоском шляхтич, — это верно, Дорошенко славный казак и воин искусный. Только вот одного я в толк не возьму: как это он так об Украине печется, а к ляхам в подданство пошел и с ними приязнь держит, а кто же как не ляхи и задумали, и утвердили этот договор?

— Что правда, то правда, — произнес угрюмо Шрам, — с ляхами нам не жить!

— А опять и то, — продолжал неспешно шляхтич, — какой же он гетман? Ведь его татарский хан казакам дал, а еще такого сраму мы не "заживалы" чтоб Украина своих гетманов от проклятых басурман получала.

На этот раз слова шляхтича произвели некоторое впечатление.

Палий ринулся было к нему, но Мазепа придержал его за рукав и, выступивши вперед, произнес громко, обращаясь к шляхтичу.;

— Говоришь, добродию, что Дорошенко не гетман, потому что его татарский хан дал: а дозволяю-ка спросить тебя, если человеку голодному даст кто добрый кусок хлеба, спрашивает ли он, кто ему его дает? — На мою думку, он принимает его с благодарностью; а вот если кто урежет его батоном, тогда человек спрашивает имя обидчика, чтобы отыскать его и отплатить ему за несмачный гостинец!

— Ха, ха! Верно! Как в око влепил! — раздалось отовсюду, — король или хан, или сам султан дали его нам, а когда он мудрый воин и славный казак, так мы его сами гетманом "обыраемо"! Ему над нами и гетмановать!

При первых словах Мазепы шляхтич как-то резко вскинулся и быстро повернулся к нему.

Теперь Мазепа увидал его. '

Его небольшое личико можно было б назвать даже красивым, если б оно не имело такого дерзкого и злобного выражения. Хотя на губах его и бродила сладенькая улыбочка, но небольшие черные глазенки, казалось, впивались в лицо каждого, словно ядовитые иголки; большие и густые черные усы, старательно подкрученные и подвитые, составляли удивительно комичный контраст с его тонкими ножками и остренькими чертами лица.

При виде Мазепы какое-то неприятное и боязливое чувство пробежало в глазах шляхтича, но Мазепа не дал ему опомниться.

— Ты Тамара? — обратился он к нему резко.

— Тамара, — отвечал вызывающим тоном шляхтич, забрасывая свою голову. '

— А я — Мазепа, — подчеркнул подचाший, выступая гордо с обнаженной саблей вперед, — и говорю, что ты трус и лжец!

— Го-го! — пронеслось в толпе.

Шляхтич побледнел, как полотно; глаза его запрыгали от злобы, но Мазепа продолжал дальше.

— Может, теперь вспомнил меня? Ну, а если нет, так я тебе пригадаю. Панове товариство, — обратился он ко всему собранию, — в бытность свою в Варшаве я задел этого панка как-то ненароком батоном, он обругал меня за это недобрым словом и закричал, что обрубит мне уши, как паршивому псу. Я позвал его на лыцарский поединок, но он в ту же ночь исчез из Варшавы, а потом стал рассказывать всем, что вместо поединка дал мне только щелчок в нос и отпустил, как глупого мальчугана, домой. Вот мои уши — они целы, а каков этот хвастунишка и храбрец — вы сейчас увидите! Ну, вынимай, пане, свою саблю, — крикнул он на Тамару, — теперь тебе некуда уйти, — здесь мы при честном товаристве и посчитаемся!

Глаза Тамары впилась с неизъяснимой злобой в лицо Мазепы, но делать было нечего: если бы он отказался здесь от поединка, то запорожцы забили бы его на смерть, как паршивую собаку.

Дрожащей рукой, но не изменяя дерзкого и вызывающего выражения своего лица, он вытянул

саблю.

Толпа расступилась и образовала вокруг них широкий круг.

Мазепа сбросил на руки окружавших его казаков дорогой кунтуш и, выступив вперед, скрестил узкую и прямую саблю с саблей Тамары.

Послышался лязг стали; блестящие иглы засверкали в воздухе; все затаили дыхание.

Тамара, видимо, оробел, и это мешало ему владеть собой и лишало его руку твердости, а Мазепа сражался, словно играя, словно перед его грудью было не острие сабли, а детский мячик, который он подкидывал то туда, то сюда; улыбка не сходила с его лица, а сабля его носилась, как молния.

Вдруг произошло что-то необычайное.

Сабля Тамары вырвалась из его рук, зацепила самый кончик его носа и описав в воздухе красивый полукруг, врезалась за его спиной в землю.

На мгновение все замерли от изумленья, но вслед за этим раздался дикий, оглушающий хохот пришедшей в восторг толпы...

— Вот и нажил себе врага, — размышлял про себя на другой день вечером Мазепа, шагая по направлению к куреню кошевого, куда его призвал только что посланный от Сирко казак. — Да еще какого врага! Ведь этот "куцый" не простит мне ни за что того срама, который он претерпел из-за меня.

На лице Мазепы заиграла веселая, молодецкая улыбка, ему вспоминался тот неимоверно злобный взгляд, которым впился в него Тамара после его удачного удара.

— Ха-ха! Да уж он этого не забудет, до самой смерти будет мстить... Ну что ж, пускай пробует. Только где же? Здесь не посмеет, а больше нам негде встретиться. И откуда он появился здесь? Верно польский "шпыг" какой-нибудь, прибыл сюда на разведку, разузнать, о чем толкуют на Запорожье. А может, и левобережный. Что-то он словно оправдывал Бруховецкого? Да нет, видно по перью, что варшавская птичка, да ведь я же с ним там и встретился. А сегодня его что-то нигде не было видно, и на раде не был, видно, не по вкусу пришлось вчерашняя пирушка!

Мазепа усмехнулся и перед ним встала, как живая, картина его поединка с Тамарой.

После его удачного удара дикий восторг охватил всю толпу: запорожцы подхватили его на руки и понесли вокруг майдана, затем поднесли к самому большому шинку и приказали выкатить прямо на плац бочку меда и бочку горилки, и тут-то началась гомерическая попойка. Все пили за его здоровье. Шрам и Кобец побратались с ним и поменялись крестами. Тамару запорожцы заставили принимать также участие во всех этих тостах. Боясь расправы казацкой, он не посмел отказаться, но Мазепа каждый раз ловил на себе его взгляд, такой злобный, такой затаенный и ядовитый, что он печально чувствовал, что этот маленький человечек готов будет теперь душу заложить, лишь бы отомстить ему и насмеяться над ним.

Чем окончилась пирушка, Мазепа не мог вспомнить, он знал только, что проснулся уже сегодня поздно от пушечного грохота, которым сзывали в Сечи запорожцев на раду; проснулся

и с удивлением увидел, что лежит в каком-то курене, а рядом с ним на земле, подмостивши под голову седло, лежит старый Шрам и храпит с такой силой, что стены мазанки вздрагивают кругом. Где делся Тамара, никто не знал. Верно, уже улизнул в Варшаву, после "несмачного гостынца", подумал про себя Мазепа, ну и пускай себе, там ему и место, о он, Мазепа, теперь уже туда ни ногой!

С этими словами Мазепа сделал решительный жест рукой и задумался.

Он чувствовал, как его снова захватывал все больше и больше широкая волна жизни. Это окончательное известие об Андрусовском договоре, эта бурная сцена в Сечи, тысячи планов и предположений, бродивших, сталкивавшихся, разбивавшихся и вновь возникавших в этой горячей толпе; будущее, полное превратностей, риска и борьбы, — все это подействовало на него возбуждающим образом и одним прикосновением своим унесло навсегда тихое, элегическое настроение, охватившее его на хуторе. Мазепа чувствовал себя снова сильным, крепким и молодым, — и сердце его искало кипучей деятельности, душа рвалась к великим подвигам...

XXII

Мазепу, привыкшего к пышной, придворной жизни, к скрытой борьбе партий, к тонким политическим интригам, прелесть запорожской вольницы не опьяняла так, как других. Ему вспомнилась торжественная Сичевая рада. Здесь уже не было того крика, шума и перебранок, которые он застал на присечьи: нет, запорожцы стояли все чинно, строго, словно в церкви. Вид старшины, стоявшей на майдане под сенью знамен, хоругвей и крестов, и вид целого моря чубатых запорожских голов, окружавших майдан, был торжествен и величествен, но к сожалению своему Мазепа заметил, что толпа управлялась здесь более стихийными влечениями, чем строгим логическим рассуждением и взвешиванием фактов. Иначе ведь и не могло быть при собрании такой многотысячной толпы. Такой способ решения государственных вопросов не понравился Мазепе: толпа непременно должна была подчиниться чьему-нибудь влиянию и в данном случае все Запорожье, видимо, зависело от воли Сирко.

И Сирко разочаровал Мазепу. Его бесхитростные и прямые казацкие рассуждения казались Мазепе непростительной узостью. Всеми силами своей души он восставал против такого образа суждения и невольно склонялся на сторону Дорошенко.

Широта замыслов Дорошенко привлекала его, он чувствовал, что там ему удастся применить и свои способности, и свои знания, которые он приобрел, присматриваясь ко всему в чужих землях.

— Нет, нет! К Дорошенко, к Дорошенко, — повторял он, шагая по направлению к куреню кошевого.

Между тем кругом уже спустилась ночь. На широком сичевом майдане то там, то сям пылали костры, высоко подымая в безветренном воздухе свое яркое пламя. Вокруг них лежали и сидели группами запорожцы и варили себе в больших казанах саламату, или кулиш. Всюду шли оживленные разговоры, крики, а зачастую и крепкие проклятья. Толковали о наступающих событиях.

И вдруг незаметная тоска прокралась в сердце Мазепы и перенесла его в оставленный им степной хутор.

Всего пять дней прошло с тех пор, как он расстался с Галиной, а ему показалось, что уже целый год разделяет их. Мирные картины счастливой жизни на хуторе казались ему теперь

далеким, весенним сном. Последние события заслоняли своими яркими образами тихий образ Галины, но Мазепа ни на минуту не забывал ее.

Перед ним, как живая, встала картина их прощанья. Раннее утро, влажная, усыпанная росой степь, легонький туман на горизонте и у ворот хутора прислонившаяся к столбу тоненькая фигурка Галины с затуманенными слезой глазами. Он помнит, что сколько раз он ни оглядывался назад, небольшая фигурка девушки все еще стояла у ворот... Уже и хутор совершенно скрылся у них из виду, а ему все еще казалось, что он чувствует на себе ее грустный, любящий, полный разрывающей душу тоски взгляд.

Сердце Мазепы болезненно сжалось. Он вспомнил, как накануне его отъезда, вечером, в садочке, Галина рыдала, целуя его руки и умоляя вернуться назад. И в самом деле, казалось бы, такой пустяк — разлука на какую-нибудь неделю, — но он и сам не знает, что случилось с ним тогда: слезы ли девчины так подействовали на него, — только и его охватила жгучая, беспредельная тоска.

"Как-то она теперь, верно, тоскует и высматривает меня, бедная, бедная моя дивчинка!" — подумал Мазепа и почувствовал, как при этой мысли сердце его охватило такое нежное, теплое чувство, что ему неудержимо захотелось тут же, сейчас, прижать к своей груди эту маленькую головку и отереть ее заплаканные глазки.

— Но ничего, ничего, голубка, не печалься, жди меня, скоро увидимся! — прошептал он тихо. — Вот только попрощаться с Сирко, взять у него письмо к Дорошенко и тогда — гайда в степь. Он сейчас же заедет на хутор и уговорит Сыча переехать со всем своим хозяйством к ним в Мазепинцы, там для всех найдется место. Надо, надо вывезти его дорогую сестричку, там он будет к ней часто навещаться из Чигирина, а в степи теперь оставаться совсем не безопасно. Подымается буря. Дорошенко пригласит татар, а известно, как распоряжаются они со всем тем, что встречается на их пути. Нет, нет! Боже сохрани несчастья какого. Надо поскорее вывезти их всех из степи.

И Мазепа почувствовал, как сердце его тревожно забилося.

— Дорогая моя, квиточка моя чистая! — прошептал он про себя, вызывая в своем воображении милое, бледное личико Галины, — приеду за тобой и возьму тебя.

— А вот и батьков курень! — прервал его размышления голос посланца Сирко, шагавшего впереди него.

Мазепа востроился. Они стояли перед такой же мазаной хатой, как и другие курени, только отличавшейся от них большей опрятностью, и значительными размерами.

Поблагодарив казака за услугу, Мазепа оправил на себе одежду, молодцевато подвинул шапку и, отворивши дверь, переступил через порог.

В хате было светло и Мазепа сразу заметил ее щеголеватое убранство. Белые стены ее покрывали до половины турецкие ткани и ковры; поверх ковров висело всевозможное драгоценное оружие, а на длинных полках красовались отбитые у татар и турок трофеи, серебряная и золотая посуда. Лавку покрывало красное сукно, а на глиняном полу лежали лосьи и медвежьи шкуры.

У стола, на котором горели в тяжелых неуклюжих медных подсвечниках восковые свечи, сидел Сирко.

Теперь это был уже не тот добродушный и веселый богатырь, с которым Мазепа познакомился у дида Сыча, нет, Это был уже кошевой атаман, привыкший управлять тысячной толпой. В данную минуту лицо его было озабочено, между бровей лежала глубокая, характерная складка, и эта складка придавала ему выражение какого-то непреклонного упорства.

Сирко тотчас же ласково приветствовал Мазепу.

— Здоров був, пане-брате, — произнес он веселым голосом, и лицо его приняло прежнее добродушное выражение, — слышал уже про твой молодецкий жарт. Ты, как я вижу, не токмо языком, но и саблей добре владеешь.

— Выучили добрые люди.

— Так, так, гаразд! Правду, значит, говорят добрые люди, что наука в лес не водит. Ну, а теперь садись здесь, хочу я потолковать с тобой, да поручить тебе одно дело...

Мазепа сел на указанное ему подле стола место, а Сирко отодвинул от себя лежавшие перед ним бумаги и, сложив руки на столе, обратился к Мазепе.

— Видишь ли, друже мой, счинилась нам еще новая забота. Прислал гетман сюда к нам своих людей разузнать, кто прикончил стольника Ладыженского. Дело-то, выходит, не малое, ведь он был царский гонец. А где искать виновного? Да и опасливо наказать кого, народ теперь очень разыгрался. Того и гляди, чтоб не загорелся большой огонь.

— Да теперь, батьку атамане, вскорости такое настанет, что если почнешь искать виновного, то придется пол-войска, а может и больше на кол сажать. Что так печалиться о крыше, когда вся хата горит?

— Так, так, — проговорил задумчиво Сирко, — об этом-то я и хотел потолковать с тобой. Ты поедешь к Дорошенко, так и передай ему слова мои. Бумаге-то я не много верю, да и привык писать больше саблей, чем пером. Так вот же слушай меня.

Сирко замолчал, закрутил длинный ус на палец и затем продолжал.

— Бумаги мы теперь перечитали и, слава Богу, разжевали. Вижу, что нас, как детей яблоком, тешат бумажными листами, чтобы мы верно Москве служили, а сама Москва, взяв братское желательство с королем польским, тотчас же с тем и к хану отзывается. Видно уже не об одном ремешке, а о всей нашей шкуре совет промеж наших соседей идет... так вот, скажи от меня Дорошенко, что я всей душой присоединяюсь к его думке, только против союза с басурманами буду до самой смерти стоять. Ты был на раде, слышал, что большая часть войска против басурман стала, конечно, найдется много таких, которые заодно с Дорошенко пойдут, но я никогда за это не буду. Скажи ему, если хочет меня со всем Запорожьем иметь, пусть отступится от своей прелести агарянской.

— Так как же, батьку атамане, где же искать помощи? Ты же ведь и сам верно видишь, что самим нам, разорванным надвое, да еще с Бруховецким на шее, не отбиться от врагов? Кого же на помощь звать? Не ляхов же? Да они теперь и не пойдут.

— Кто говорит ляхов, — насупился Сирко, — я ляхам недруг: ляхи — паны; они утесняли вольность нашу, угнетали народ наш православный, но и татаре нам тоже не друзья, а еще горше враги. Ляхи нашу худобу поедают, а татаре кровь нашу пьют!

Чем дальше говорил Сирко, тем больше воодушевлялось его лицо, а голос звучал все властнее

и грознее.

— Посмотри, уже и так орда опустошила дома наши, детьми и женами нашими наполнили татары свои улусы, а сколько они казацкого народа в неволю продали на галеры и сколько их перебили! Не может быть приязни между басурманами и казаками! На то и Запорожье здесь Господь поставил, чтобы нам защищать народ от проклятых агарян, чтобы мстить им за унижение Христова имени, за поругание святыни! Покуда стоит Запорожье — не будет приязни между татарами и казаками! — вскрикнул грозно Сирко, и темные глаза его сверкнули гневным блеском, а между бровей залегла снова та глубокая складка, дававшая его лицу выражение такого необычайного упорства.

Мазепа взглянул с изумлением на Сирко. Его, присмотревшегося в Европе к смелой и хитрой политике, не пренебрегавшей никакими компромиссами, а руководствовавшейся правилом, — цель оправдывает средства, — такая прямолинейность и даже, как ему показалось, узость Сирко — поразила его. Дело идет о спасении отчизны, а он толкует о том, что с басурманами соединяться грех, что казаков поставил здесь Бог для того, чтобы ограждать христиан от напастников святого креста! — "Да ведь для всякого греха есть и покаяние! — даже усмехнулся он про себя. — Можно и соединиться, и разъединиться, какая в том беда, лишь бы силу приобрести".

И он попробовал еще раз повлиять на Сирко силой своего слова.

Он стал повторять Сирко всю необходимость, в данную минуту, этого союза и законную необходимость пожертвовать даже частью для того, чтобы спасти все целое.

Сирко слушал его молча с угрюмым лицом; слова Мазепы словно не касались его слуха.

— Видишь ли, пане-брате, — произнес он, когда Мазепа замолчал, — говоришь-то ты красно, только пословица разумная говорит нам: "лучше синица в руке, чем журавль в небе". А твоя прибыль с татарской помощью подобна журавлю в небе, зато горе и разоренье, которое они принесут уже зело вымученному войной люду, так верно, как и то, что над нами завтра солнце взойдет. Довольно уже пролилось от проклятых агарян христианской крови, когда блаженной памяти гетман Богдан призвал к себе на помощь орду; довольно уже лил ее и Дорошенко, когда его татары гетманом ставили. А теперь уже годи! Пора, говорю вам, дать несчастному люду успокоение, а то смотрите, чтобы желая спасти отчизну, вы не спасли один только мертвый труп.

— Так что же, по-твоему, батьку, так и пропадать оторванной правой половине в ляшской неволе?

— Упаси Боже от такого греха!

— Так на кого же ты надеешься?

— На Москву.

— Что? — переспросил Мазепа, словно не понимая ответа Сирко.

— На Москву, — повторил настойчиво Сирко. Мазепа даже отшатнулся от Сирко.

— На Москву? — переспросил он, останавливая на нем свой изумленный, недоумевающий взгляд. — Когда она согласилась на этот договор и отказалась навсегда от правой половины?

— Навсегда! — повторил Сирко. — Эх, пане Иване, вот ты и был в чужих землях, а будто того и не знаешь, что только то и верно, что пишется саблей, а не пером! Разве мало dokonчаний писала Москва с Польшей, а потом и снова разгоралась меж ними война. Москва согласилась уступить правый берег только потому, что нельзя было теперь иначе открыться от ляхов, а вот пройдет год, другой, и она возьмет правый берег назад.

— Еще бы не взять! Возьмет, только лучше ли нам от этого будет? — заговорил горячо Мазепа, — на правом берегу нам плохо живется, а посмотри, что делается и здесь на левом. Не утесняют ли бедного люда воеводы и ратные люди, не отягчают ли их невыносимые поборы?

— Стой, стой, — перебил его Сирко, — не торопись судить. Ведь вспомни: сперва ничего этого не было, пока Ивашка Бруховецкий не съездил в Москву и не назвал оттуда воевод и ратных людей. Все это от него вышло. Москва на наше устройство не налегала, лишь бы мы службу царскую верно несли. Все это он, выплодок чертячий, помыслил: когда увидел, что тут уже к нему ни от какого звания людей доверия нету, так поехал в Москву, да чтоб примазаться там, и выдумал все эти злохитрые и пагубные дела.

— Га! — вскрикнул радостно Мазепа и, сверкнувши глазами, впился ими в лицо Сирко, — вот ты сам говоришь — примазаться, значит, он знал, чем угодить ей, знал, что ей по сердцу придется!

Сирко нахмурился; слова Мазепы неприятно поразили его. Он провел рукою по лбу и проговорил угрюмо, не подымая на Мазепу глаз.

— Москва думала, что этого желает не один гетман, а весь наш народ, ведь и старшины ударили ей на том челом. Так или не так, а я говорю вам, не отрывайтесь от подданства нашего христианского монарха, лучшей протекции вам нигде не будет: московский народ родной нам по роду и по вере, московский царь равен и к боярам, и к простому люду. Это не польский сейм, где нас считают за хлопков и за быдло!..

XXIII

— Уж не думаешь ли ты Украину в агарянскую неволю отдать? — спросил Сирко Мазепу, после минутного молчания.

— Эх, пане атамане, пане атамане! — покачал головой Мазепа. — Все-то ты думаешь, что не можем мы иначе, как на пристяжке, ходить! Вспомни, батьку атамане, как мы с тобой у деда Сыча "балакалы" и ты со мной "згоджувався", что только в своей хате и можно по-своему жить.

— Московская хата нам не чужая, а батьковская.

— Кто говорит об этом, — воскликнул с воодушевлением Мазепа, — только ведь когда и сыны повырастают, да поженятся, то в одной хате не уживаются. У Москвы и обычай, и закон другой, батько с сынами в одной хате до самой смерти живут, а у нас и года не удержатся; у них и народ в послушании привык ходить, а наш и своей старшине покоряться не хочет. Да и все так. Так подумай — не станут же они из-за нас весь свой порядок ломать. Да и всякий так поступил бы, вот и мы, хотя бы на Запорожье, всех ведь принимаем, только всех заставляем по нашим обычаям жить. В чужой ведь монастырь со своим уставом не ходят.

Сирко слушал Мазепу и как-то неволью, незаметно для самого себя поддавался силе его убеждения, а Мазепа продолжал дальше, воодушевляясь все больше и больше.

— Ни одно царство не потерпит у себя *status in stato*, в одной хате двух господарей, а потому

нам надо: либо засновать свое особое панство, или навсегда отказаться от Запорожья.

Теперь Мазепа хитро дотронулся до самого больного места кошевого. "Вся кровь залила лицо Сирко.

— Стой! — вскрикнул он таким громовым голосом, словно кто-либо прикоснулся к его обнаженному сердцу раскаленным железом, и, поднявшись с места, он сдвинул руку Мазепы своей железной рукой.

— Скорее сын "откинется" от матери, скорее мать забудет своих детей, скорее речки потекут обратно из моря, чем мы отступимся от Запорожья!

Он выпустил руку Мазепы и заходил большими шагами по светлице.

Мазепа следил за ним умным и пронзительным взглядом. Несколько минут Сирко молчал, а затем проговорил взволнованно и отрывисто:

— Нет, нет! Нам Запорожье дороже всего на свете!.. Но с мучителями нашими бусурманами — не соединюсь никогда!

Последние слова Сирко произнес таким твердым и настойчивым голосом, что трудно было сомневаться в том, что он изменит когда-нибудь этим своим словам.

Мазепа взглянул на Сирко и его во второй раз поразило упорное, непреклонное выражение его лица, — видно было, что в этом вопросе его не в состоянии будет убедить никто и никогда. Он хотел было попробовать еще раз силу своей элоквенции, но в эту минуту дверь отворилась, и в светлицу вошел среднего роста человек, тощего сложения, еще молодой, с продолговатым лицом и слегка косоватыми глазами. Наружность его показалась Мазепе неприятной и некрасивой, но в узких глазах и в высоком лбе вошедшего светилось много ума, а главное хитрости. У пояса его висела походная чернильница, — знак писарского достоинства.

— А вот и пан писарь наш Суховой, — приветствовал вошедшего Сирко. — Ну, что, приготовили все "паперы"?

— Все, все! — отвечал каким-то смягченным голосом писарь.

И Мазепе показалось, что этот мягкий тон и эта усмешка не присущи этому человеку, что этот голос, такой мягкий и вкрадчивый, может звучать и резко, и властно, а мягкая усмешка может меняться в хищную улыбку.

— И к Ивашке написал? — продолжал спрашивать Сирко.

— Готово.

— Что же, все так, как говорил?

— Из песни слова не выкидают, — усмехнулся писарь.

— Ну, ну, гаразд. Прочти же.

Суховой покосился было на Мазепу, но Сирко поспешно прибавил:

— Его не остерегайся: от него я не кроюсь — он наш. Суховой бросил на Мазепу пристальный, но не совсем дружелюбный взгляд, развернул одну из бумаг и начал читать.

Это было письмо к гетману Бруховецкому. В письме запорожцы оправдывались в убиении Ладыженского, происшедшем от своевольных людей, без ведома кошевого начальства. Письмо было написано чрезвычайно резко и грозно. Кошевой упрекал гетмана и обвинял его во всех несчастиях, упавших на родину, он перечислял ему все его преступления и грозил большими бедами, если он, гетман, своевременно не одумается и не успокоит отчизны. "Изволь же, ваша вельможность, в мире и любви с нами жить, не то стерегись, чтоб не загорелся большой огонь!" — закончил писарь.

Сирко слушал чтение письма с грозным лицом.

— Гаразд! — произнес он сурово.

— Не слишком ли рано? — заметил Мазепа.

— Правду говорить всегда время, — ответил резко Сирко.

— Правда, как солнце, всякую дорогу освещает, — добавил писарь.

Что-то неискреннее почудилось в этих словах Мазепе, ему показалось даже, что этому писарю захотелось вызвать грозным письмом гнев Бруховецкого на Сирко, но голос Сирко отвлек его мысли в другую сторону.

— Дай-ка сюда те паперы, что к Дорошенко, — обратился он к Суховаю и, взявши из его рук запечатанные пакеты, передал их Мазепе.

— Вот это отдашь ему постановление Сичевой рады, а в этом листе, — отдал он ему другой пакет, — пишу я ему о тебе. Мазепа поблагодарил кошевого, а Сирко продолжал:

— Ты же готовься: завтра рано поедешь, с тобой отправятся и послы Дорошенковы, и наши казаки.

Мазепа окаменел. Слова Сирко обдали его словно холодной водой.

Так значит он поедет не один, а с послами и казаками? Значит, ему нельзя будет заехать к Галине, а надо спешить; прямо в Чигирин?

Сердце его сжалось мучительной тоской и тревогой. Но делать было нечего. Он понимал, что заявить здесь, в Запорожье, о своем желании заехать сперва к девчине, а потом уже ехать к гетману, значило бы предать себя вечному посмеянию. Да и это заявление не повело бы ни к чему: ввиду тревожного времени Сирко ни за что бы не согласился на такую проволочку, — отказаться же от лестного поручения Сирко было невозможно и безрассудно.

Выбора не было, надо было покориться.

Мазепа подавил невольный вздох и, молча поклонившись кошевому, вышел с тяжелым сердцем на Сичевой майдан.

Тихо покачиваясь в высоком казацком седле, ехал Мазепа, устремив задумчивый взгляд в высокоую холку дорогого коня, подаренного ему на прощанье Сирко.

Рядом с ним гарцевали с одной стороны молодой Палий, а с другой — невысокий седенький и коренастый Куля, посол Дорошенко, "прывитавший" Мазепу в Сечи, и почтенный Шрам; в

некотором отдалении за ними ехали Дорошенковы послы и запорожцы, данные Мазепе Сирко в виде ассистенции.

И лошади, и всадники были разубраны с своеобразной запорожской роскошью.

За плечами у казаков висели красивые мушкеты, у стремян прикреплены были высокие пики, украшенные цветными лентами; за поясами торчали дорогие пистолы, серебряные, медные и золоченые бляхи и цепочки украшали лошадиную сбрую. Высокие шапки казаков были молодецки заломлены набок; красивые жупаны их горели на солнце; кое у кого виднелся и привязанный к седлу бубен, украшенный медными бляхами и гвоздями.

Долгогривые запорожские кони выступали бодро и красиво среди высокой зеленой травы. Всадники сидели в седлах с какой-то молодецкой, удалой небрежностью. Там и сям слышался веселый разговор, острая шутка, звучный хохот, а иногда среди тишины родной степи срывалась и громкая, широка песня, сопровождаемая ударами бубна и серебряных блях. Иногда запорожцы и казаки, соскучившись долгим и однообразным путем, с гиком и криком пускали своих коней наперегонки, меряясь быстротой со степным ветром, и тогда кони их, распластавшись в воздухе, как птицы, неслись по зеленой степи, словно и не прикасаясь своими легкими копытами к зеленой, цветущей траве, а то начиналось соревнование в меткости выстрела, казаки стреляли влет ястребов и могучих степных орлов, а то бросались в погоню за степной косулей, пугливо бросавшейся в сторону при виде скачущих казаков.

Четвертый день уже путники были в дороге, а степи все еще не было конца. Она расстилалась вокруг них, широкая и безбрежная, как море, с разбегающимися во все стороны при дыхании ветра волнами шелковистой травы. Небо было яркое, синее, словно омытое, то там, то сям бродили высоко в синеве легкие, причудливые, серебристые облачка. Жар дня умерялся свежим, ласковым ветром, вольно носившимся по безбрежной степи.

Широкая, вольная степь тешила и веселила и вольного казака, и его верного друга-коня. Только Мазепа не замечал красоты и шири окружающей его картины.

Его думы были далеко отсюда, он не слышал ни песни, ни веселых шуток казаков, на дне его сердца шевелилось какое-то бесформенное и неясное, но томительное чувство тревоги и тоски. Мысль о Галине не покидала его.

Выйдя в тот вечер от Сирко, он решительно не знал, что бы выдумать, что предпринять, чтобы по крайней мере предупредить Галину о том, что он не может приехать за нею так скоро, как обещал.

Хотя за такой короткий срок не может, конечно, случиться с ними ничего опасного, — утешал он себя, — ведь жили же они и без него четырнадцать лет в степи, — а все-таки сердце его охватывала какая-то невыносимая тревога, кроме того, ему было невыносимо жаль оставлять бедную девушку в таком тревожном ожидании и неизвестности.

— Быть может, письмо написать? Послать кого ни будь? — хватался он за первые, возникавшие в его голове предположения, но тут же в голове его возникали и бесспорные возражения.

— "Написать письмо. Но кто же прочтет его? Ведь и сам Сыч, "хоч дрюкованый, та не письменный"[14], а уж Галина, так она ведь и писаного слова не видала в глаза. Положим, можно было б на словах передать. Но кого он пошлет? Здесь у него не было ни одного верного человека. Да и куда посылать посланца? — Степь ведь не Варшава, вон как раскинулась! — поднял Мазепа глаза и обвел ими горизонт. — И нет ей ни конца, ни края".

Но главное, Мазепе не хотелось никому открыть тайного убежища Сыча, а то мало ли еще что может случиться. — "Нет, уж пусть они лучше как жили, так под Божьей ризой и живут!" — заключил свои рассуждения Мазепа, и, убедившись наконец в том, что он не может никаким образом дать весточку Галине, Мазепа решил только поскорее выполнить поручение Сирко и тогда уже спешить к своей девчине.

— Как-то она теперь, квиточка моя, ждет меня, выглядит, на могилу выходит? — думал Мазепа, невольно оглядываясь в ту сторону, где, по его мнению, должен был находиться хутор. Сыча, и воображение переносило его к милой и дорогой девчине-ребенку.

Вот она стоит на могиле и, прислонивши руки к глазам, смотрит пристально в далекую степь, — не мелькнет ли где на горизонте красная казацкая шапка и ствол блестящей рушницы? Ветер тихо играет ее светлыми волосами, птицы реют с веселым чиликанием кругом... Но напрасно девушка всматривается в залитую солнечным блеском даль: на горизонте не видно ни блестящего ствола, ни казацкой шапки... Только! белые облачка бродят высоко над ее головой, но никто, никто не принесет ей известия о ее дорогом казаке!

И Мазепе вспомнились невольно слова Галины: "хмары плавают вместе по небу, птичка летает с птичкой в паре, каждый цветочек растет подле другого цветка, только я все одна да одна!" — И ему стало невыносимо жаль бедную сиротливую, дытынку! Ему захотелось неудержимо вот теперь, сейчас, не откладывая дальше, повернуть своего коня и поскакать туда, к той потонувшей в зелени белой хатке, где тоскует и плачет, и поджидает его дорогая голубка.

Но рука Мазепы неподвижно лежала на луке седла, не натягивая поводов. Каждый шаг коня отделял его от Галины а приближал к той бурной и тревожной жизни, в которую он должен был через два, три дня окунуться с головой... Тревога и сомнение закрадывались в душу Мазепы.

Разговор с Сирко произвел на него большое впечатление: упорный отказ Сирко, вопреки всем соображениям, согласиться на союз с татарами поразил Мазепу.

— Не призывай Дорошенко татар? — повторял он невольно слова Сирко и снова возражал на них с горячностью, словно бы перед ним находился сам запорожский кошевой атаман. — Как же не призывать их? Как выпутаться без них из этого лабиринта запутавшихся кругом таким Гордиевым узлом обстоятельств? Правда, нитка-то не из богининых, а из черных шайтановых рук идет, да что же делать, когда нету другой? Грабеж... разоренье... Ну что ж? — *Ubi mors, ubi vita*. Да и что лучше? — Сразу ли пролить потоки крови, или оставить так Украину в панской неволе.

Но как ни старался Мазепа убедить себя в обоснованности упорного отказа Сирко соединиться с басурманами, а в глубине души он чувствовал невольно, что в этом упорстве есть доля истины. Ему вспоминались запустевшие села, разрушенные замки, которые он проезжал, возвращаясь в Мазепинцы, — все это были красноречивые следы татарского побратимства.

В разговоре с Сирко его поразила главным образом не ненависть Сирко к татарам, не допускавшая никакого компромисса, а другая черта, которой он никаким образом не мог ни оправдать, ни постичь.

— Вот Сирко, можно ли найти где-нибудь лучшего сына и рыцаря отчизны, — продолжал он свои размышления, — а ведь может стать разорителем ее! Желая ей добра, желая "единства", желая соединиться с Дорошенко, он тут же не соглашается с ним и производит раскол. Боится

татарского кровопролития, а не боится той крови, которая прольется из-за этого раскола. Имя Сирко не меньше славно, чем имя Дорошенко, а на Запорожье, пожалуй, и больше; все запорожцы пойдут за своим батьком, и вот вместо того, чтобы всем силам соединиться на одного общего врага, — Запорожье отделится от своего гетмана и выйдет уже не две Украины, а три. Ох горе, горе! — покачал головой Мазепа. — Все покоя "щыро прагнуть", да не в один гуж все тянут. Всяк хочет добра отчизне, да хочет сам и по-своему его найти и никому не хочется подчиниться, кроме своей власной" воли. У семи нянек дитя без глаза бывает, говорит пословица, а у нас, видно, скоро останется и без головы! Мазепа глубоко задумался.

Путешествуя три года по Европе, он всюду присматривался к государственному строю держав и нигде не встречал ничего подобного тому, что делалось теперь на Украине. Всюду, не исключая и самого буйного Запорожья, весь народ подчинялся одному правителю и следовал по указанному им пути, — здесь же, со смертью гетмана Богдана, всякий считал себя вправе вершить судьбы отчизны и не подчиняться никому. Только Польша представляла ему подобный же образ правления. Но до чего довел он уже Польшу, а что еще ожидает ее впереди? Уже и теперь она, когда-то грозная и непобедимая, не может устоять против Москвы. То же будет и с нашей Украиной. Вот Дорошенко и Сирко, — оба готовы отдать свою жизнь за благо отчизны, да и то не могут сойтись на одном, а сколько же имеется таких разорителей, которые ни о чем прочем, а только о своих вольностях помышлять будут?

— Эх, воля, наша воля! — вздохнул он глубоко. — Как бы только она не запровадила нас в неволю!

Но как же примирить всех? Неужели нет никакого иного средства, кроме союза с басурманом? Неужели нельзя через какие-нибудь "разумные медиации", без пролития братской крови, воссоединить Украину?

Мазепа сдвинул на затылок шапку, чтобы подставить свой лоб свежему дыханью ветра, и снова задумался.

Видно было, что мысль его работала усиленно; лицо его то хмурилось, то снова прояснялось; вдруг глаза его вспыхивали, — казалось, перед ним мелькало что-то яркое и неуловимое, казалось, вот он сейчас вскрикнет: нашел, нашел! Но через минуту огонь в глазах его снова потухал и лицо принимало напряженное сосредоточенное выражение.

Говор и смех казаков и запорожцев как-то утихли. Каждый из путников был занят своими думами.

XXIV

Мазепа повернулся в седле и обратился с неожиданным вопросом к Куле:

— А что, пане-брате, ты ведь, думаю, бывал не раз на левом берегу, видал, как там казаки и посольство к Бруховецкому, — со щирым сердцем... или нет?

По лицу Кули пробежала легкая усмешка, левая бровь его; слегка приподнялась, но он отвечал совершенно серьезно:

— С щирым, с щирым, пане-брате, так вот, примером, как собака к палке: лаять-то лает, а укусить еще не решается,« потому что за палкой еще и хозяин с крепкой рукой стоит.

— Да как же не решается! — возразил горячо Палий. — Уже не раз бунтовали против него казаки в разных местах, а наипаче в Переяславле. Столько раз прибежали оттуда посланцы к гетману Дорошенко: бери, мол, нас, гетмане-батьку, голыми руками, не хотим этого

"перевертня" над собой гетманом иметѣ! Да это, ведь, было еще до этого договора, а посмотрим, что теперь будет! Вот как повезем мы во все стороны Дорошенковы универсалы, тут и зашумит народ!

— Вот оно как! — протянул Мазепа, и на лице его заиграла довольная улыбка. — Так, значит, ему не вольно теперь живется?

— Хе, — усмехнулся Куля, — отчего же не вольно? Вольно, как за каменной стеной: вот он и сидит у себя в замке, по, гетманским покоям гуляет, в окошко посматривает

— Да, — прибавил Хмара, — гетман самый настоящий: заперся у себя в замке, как в лукошке, да только ему и дела, что ведьм жжет.

— Ну, что же! А все ж не гуляет, — возразил Куля.

— Иуда-предатель! — вскрикнул запальчиво Палий. — Продал за тридцать сребреников весь край! Вконец ограбил и обнищил весь народ! Вольных казаков обращает в посполство! Заставляет "в послушестве ходить"[15]! Захватил себе все лучшие земли, млыны и хутора!

— Ну, а старшина к нему как? — продолжал расспрашивать Мазепа. — Ведь он же и для нее выторговал вволю и млынов, и сел, и хуторов.

— Гм! — откашлялся Куля, и левая бровь его снова приподнялась над глазом. — Такая уж правда на свете. И старшина на него нарекает. А что он им делает? Об одном только "дбае", как бы побольше воды на свои потоки забрать! Мазепа усмехнулся.

— Ну и мелет?

— Мелет. Много уж чего перемолол; — перемолол и наши доходы, и наши города, и все посполство. Да что же, на добрый жернов что ни брось, все смелет, говорит пословица.

— Что ж, так умен?

— Разумен, как лисица; только хвост еще не отрос, не умеет следов замечать. Да вот "трапылась ще йому прыгода": хотел научиться "межы дощем"[16] ходить, да забыл, что слишком "од-пасся" на наших добрах, — вот и промок, а теперь сидит у себя в замке, да сушится, боится, чтобы запорожцы его не просушили!

— Уж мы доберемся до него! — моргнул значительно бровями Хмара.

— На самом высоком дереве просушим гадину! — вскрикнул гневно Палий.

— А как к нему запорожцы прежде были? Ведь не сразу же он все эти порядки завел! — обратился Мазепа к Шраму.

— Теперь ты сам уже видел, какой ласки все ему "зычуть", а и прежде, хотя и по-братски с ним жили, но не смаковали. Знает он, над кем можно "коверзовать", а кому и поклониться нужно. Запорожцам он никаких "кывд" и "утыскив" не делал, потому что знал, что с ними жарты плохи. Вот он и теперь подсылает своих "шпыгив", чтобы узнать, что о нем думают да говорят.

— Знает, мол, кошка, чье сало съела? — усмехнулся Куля. А Мазепа заметил весело:

— Так не будем же журиться, панове, может и на нашей улице будет праздник.

— А то ж! — ответил Куля, молодежато заламывая шапку и подмигивая левой бровью. — Уже так или не так, а у левобережных дивчат на "вулицы" побываем!

Разговор со своими дорожными товарищами привел Мазепу в особенно приятное расположение духа; лицо его оживилось, глаза заиграли. Завязалась беседа; словоохотливый Куля сыпал остротами и прибаутками. Шрам не отставал от него, только Палий не принимал участия в разговоре: нахмуривши свои черные брови, он все время сосредоточенно молчал; в глубине души его занимал один вопрос: почему он, несмотря на все видимое благородство мыслей Мазепы, не чувствует к нему никакой симпатии? Но все в нем не нравилось ему: и его тонкая улыбка, и изящные движения, и отделанная, обдуманная речь.

— Вот Сирко, Богун, Дорошенко — настоящие лыцари, богатыри запорожские! А этот... пан... — шептал про себя неволью Палий. — Королевский подручный...

Казачи между тем подняли лошадей вскачь, и когда солнце перевалило за полдень, им начали уже попадаться изредка небольшие хутора? ютившиеся по большей части в зеленых балках. Это были выселки самых смелых поселян, решавшихся селиться на границах диких полей, где каждый день они могли ждать татарского набега.

— Ну, слава Богу! Вот уж и в землю Украинскую въехали! произнес Куля, снимая шапку и осеняя себя крестом.

Примеру его последовали и остальные путники.

К вечеру перед казаками показалось довольно большое село. — Ну, здесь и переночевать можно будет, и галушечек горяченьких отведать, — обратился Куля к Мазепе, указывая ему на раскинувшееся в балке село, — было когда-то больше село, да "пошарпалы" немного татаре.

Казачи пришпорили лошадей и через несколько минут въехали в деревню.

Улицы в деревне были почти пусты, если не считать нескольких ребятишек, игравших возле трех — четырех хат, да тощих собак, бродивших возле дворов. Всюду виднелись следы ужасного разрушения и пожара.

То там, то сям вдоль широкой улицы торчали обгорелые черные дымари, окруженные кучами пепла; обгорелые деревья протягивали к ним, словно с какой-то мольбой, свои черневшие, корявые ветви. Другие хаты, уцелевшие каким-чудом от пожара, стояли заброшенные, запустевшие, с выломанными дверями, выбитыми окнами и проломанными крышами. Видно было, что хозяева этих скромных жилищ уже нуждались больше в их защите... Тощие козы и овечки бродили по заросшим травой дворам, забираясь и в пустые, разваленные хаты.

Мазепа грустно смотрел на следы этого разрушения. Только подле некоторых хат, видимо наново обстроенных, копошились маленькие дети и тощие собаки. Мужчин и женщин не было видно на улицах.

На стук конских копыт одна молоденькая бабенка выскочила на улицу и, увидевши вооруженных всадников, схватила поспешно на руки небольшого ребенка, игравшего перед воротами, и с громким криком бросилась в хату.

На ее крик выскочили другие. Перепуганные, бледные лица женщин свидетельствовали о том, что появление вооруженных всадников приносило им уже не раз страшные бедствия.

— Да чего вы, бабы? Гей, бабы, чего "лякаетесь"? Мы ведь свои, посланцы гетмана Дорошенко,

возвращаемся из Сечи! — закричал громко Куля, помахивая шапкой над своей головой.

Голос его и вид казаков отчасти успокоил встревоженных женщин.

— А где же ваши "чоловики"? Ушли куда-нибудь на военный промысел, или вы сами оселили себе здесь бабскую слободу? — продолжал Куля.

— Да там на майдане все, — ответила одна из баб, — панотец читает универсал от гетмана.

— От какого?

— От нашего ж, Дорошенко.

— Ну, спасибо! — поклонился молодежи приветливо Куля.

Казаки тронули лошадей и поскакали по широкой улице на майдан, с которого и доносился шум человеческих голосов.

Сделавши поворот, они выехали прямо на широкую площадь, посреди которой стояла убогая деревянная церковка с покосившейся колокольней. И церковь, и колокольня совершенно посерели от времени, кое-где на их стенах виднелся и зеленовато-желтый мох.

Приделанные к ним новые окна и двери, а также и валявшаяся на земле ограда свидетельствовали о том, что даже и церковь не избежала разрушения.

Теперь возле церкви теснилась порядочная толпа народа, все больше стариков и молодых парубков, среди которых пестрели и женские платки.

На входных дверях церкви был прибит большой лист бумаги, исписанный крупными славянскими буквами. Какой-то седенький человечек в холщевом кафтане и поношенных чоботищах, с маленькой косичкой на затылке, читал с видимым трудом, почти по складам, прибитую бумагу. Постоянные взрывы возгласов толпы, то одобрительных, то гневных, прерывали его чтение.

— Слышишь, слышишь, отложился уже от ляхов! — выкрикивали то здесь, то там, — оторвет нас от Польши! За Дорошенко, за Дорошенко! Он ли нам не батько! Не будет больше ни "осепа", ни "дуты", ни "варового", ни "солодового", ни "мостового", ни "подымного"[17] платить! Вольные мы люди: гетман Богдан выбил нас из лядской неволи, а они опять хотели туда запровадить нас!

— К Дорошенко, все к нему пойдём! — кричали с другой стороны. — Пускай ведет нас на ляхов и на Бруховецкого, — все пойдём за ним!

— И на татар! На татар! — раздавалось с третьей стороны. — Пора освободить от всякой галичи нашу родную землю!

Однако, несмотря на крик и шум, появление казаков и запорожцев было сразу замечено. Все всполошились. Но когда крестьяне узнали, что это были послы от Дорошенко, то окружили их шумной толпой.

Начались расспросы, объяснения. Палий и Куля зазывали хлопцев в войско гетмана, выдавали желающим деньги на лошадей, записывали их имена и призывали их собираться как можно скорее в Чигирине, обещая, что гетман запишет все их семьи в реестр.

На ночь путников пригласил к себе батюшка. После крайне простого, но сытного ужина он провел Мазепу, Палия, Кулю и Шрама на сеновал и, указавши им на свеженастанное сено, покрытое грубыми рядами, пожелал им доброй ночи. Остальные казаки расположились кто где нашел для себя более удобным: под хатой, на клуне, а то и прямо в саду.

Утомленные дневным переездом, товарищи Мазепы заснули сразу крепким сном, но Мазепа долго не мог уснуть. Ужасный вид деревни, наполовину выжженной и опустошенной, сцена с универсалом и разговор с бедным забитым священником — все это вставало в его воображении, путалось, прерывалось и снова возникало, будто из тумана. — Так уже началось, началось... — повторял он себе, чувствуя, как его охватывает та нервная дрожь, какая охватывает воина накануне битвы. — Что-то выйдет из всего-этого? Удастся ли Дорошенко воссоединить обе Украины? Не вмешается ли в это дело Сирко? Нет, ему, Мазепе, удалось во всяком случае уговорить Сирко при прощании, что если он не хочет помогать вместе с татарами Дорошенко, то пусть хоть не вмешивается до поры, до времени в его дела. Очевидно, уже гетман послал за татарской помощью, но как отнесется к ней народ? Вот и в этой толпе раздавались крики: "на татар!" И так всюду... всюду... А может еще он, Мазепа, придумает более "тонкие медиации"? Разве эта голова не подавала Варшаве и самым разумным разумные советы?

Такие вопросы, мысли и сомнения толпились в голове Мазепы... Наконец мысли его начали путаться, обрываться, под утро он заснул тяжелым, тревожным сном.

Ему казалось, что он стоит на берегу Днепра и видит, как оба берега реки покрыты толпами казаков, а среди красноверхих казацких шапок виднеются и татарские чалмы и шапки ратных людей. Все заняты, все хлопочут; он присматриваете и видит, как казаки вместе с татарами и ратными людьми перебрасывают огромные железные цепи с одного берега Днепра на другой. И он, и гетман Дорошенко, и Сирко — все тут. гетман Богдан Хмельницкий стоит на острове, поникнув на грудь седыми усами и, печально покачивая головой, спрашивает их тихо: "Гай, гай, детки любые, что это вы делаете?" — "Сполучаем, батько, Украину", — отвечают они. А в это время гетман Бруховецкий выходит на берег с большим блюдом, а на блюде лежит тяжелый замок и говорит, хихикая каким-то хищным смешком: "Ну ж, сполучили, панове, давайте ж я ее теперь замочком запру". Но в это время вылетает Сирко с запорожцами и начинается свалка. Кровь, кровь всюду... все смешалось...

И вот нет уже ни казаков, ни крови, ни Днепра... Он стоит в степи и видит, как татары тащат его Галину, как она рвется, выбивается от них, зовет его на помощь... А Тамара держит его за плечи и, указывая на Галину, вскрикивает: "А ну-ка, покажи теперь свой хитрый удар!"

Мазепа хочет вырваться и видит с ужасом, что у него отрублены обе руки, он стонет и кричит. И Галина, и татары куда-то исчезают, а перед ним стоит Сирко и показывает хану огромный шиш.

Утром Мазепа проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо, он открыл глаза и увидел, что над ним стоит Палий.

— Ну, пане подчаший, вставай! — произнес он. — Пора нам и в дорогу. Тут ведь не Варшава: у пани-матки, поди, и обед готов.

Что-то неприязненное послышалось Мазепе в словах Палия. И то, что он назвал его "паном подчашим", и упоминание Варшавы произвели на Мазепу неприятное впечатление. Но не давая Палию заметить этого, он быстро вскочил, оправил на себе одежду и спустился с сеновала к колодезю, где сам зачерпнул себе воды "цебром", умылся и утерся собственной "хусткою".

Эта простота нравов ему, привыкшему к роскоши и этикету варшавского двора, не доставила большого удовольствия, но делать было нечего и надо было спешить, так как все остальные казаки были уже готовы к отъезду.

Пообедавши и распрощавшись с хлебосольными хозяевами, казаки двинулись снова в путь.

Было еще раннее утро, влажное и сверкающее. Отдохнувшие и подкормленные кони шли доброй рысцой, и кортеж быстро подвигался вперед. Еще два села проехали наши путники и всюду встречали то же оживление в народе, везде висели универсалы гетмана, везде молодежь собиралась в Чигирин. Но и здесь Мазепа встречал те же красноречивые следы вынесенных народом ужасов войны и татарского побратимства.

Проехавши так безостановочно до полудня, казаки въехали, наконец, в огромный вековечный лес и решили сделать здесь привал.

Лошадей расседлали, стреножили и пустили на пашу; одни из казаков отправились собирать сухой хворост, другие принялись раскладывать костер, Куля и Шрам занялись приготовлением обеда, а Мазепа, забросивши за плечи "рушнычку," отправился пройтись по лесу в надежде встретить какую-нибудь "дычину". Его примеру последовал и Палий; охотники разошлись в разные стороны и вскоре Мазепа остался совершенно один.

Его окружал величественный и дикий столетний лес. Под зелеными куполами высочайших деревьев было и сыро и прохладно, пахло грибами и земляникой; Мазепа шел напрямик; то там, то сям раскрывались перед ним неожиданно дикие обрывы, или прелестные лужайки, или мягко катящиеся по мшистому ложу лесные ручейки. Сначала он внимательно присматривался по сторонам и прислушивался к каждому шороху, боясь пропустить зверя, но мало-помалу мысли его отвлекались от охоты и снова возвратились к занимавшим его вопросам и к оставленной им дорогой Галине.

Машинально шагал он, не замечая уже ничего окружающего.

Несколько раз ему казалось, что он слышит какой-то даленный лай собак и конский топот, но, погруженный в свои думы, он как-то и слышал, и не слышал эти звуки, не обращая на них внимания. Но вот вблизи его раздался уже совершенно явственно громкий треск сухих ветвей, короткий топот и тяжелое дыхание какого-то громадного, грузного животного, пробиравшегося с необычайной быстротой сквозь заросли. Очевидно, кто-то вспугнул его, так как вместе с храпом животного донесся явственно и топот коня, и отдаленный собак.

Мазепа вздрогнул и замер на месте.

"Медведь или кабан?" — Пронеслось у него молнией голове, и не останавливаясь на этой мысли, он быстро оглянулся кругом.

Он стоял на обширной поляне, представлявшей из себя нечто вроде котловины, она составляла продолжение длинной и довольно широкой долины, вероятно ложа какого-то высохшего ручья, тянувшейся среди спускавшегося к ней с двух сторон уступами леса, всю ее покрывал очерет, мелкая заросль, папоротник и какие-то болотные растения.

Мазепа поспешно осмотрел свою дубельтовку, ощупал у пояса кинжал, и, осмотревши в одно мгновение местное, выбрал высокое дерево с довольно низкими ветвями, на которое можно было при случае вскарабкаться, и притаился за стволом.

И было время, так как в ту же минуту на поляну выскочил из зарослей дикий кабан

необычайной величины. На мгновение он остановился, как бы желая узнать, с какой стороны за ним летела погоня, и затем бросился снова в против ложную Мазепе сторону.

В одно мгновение ока Мазепа припал щекой к своей дубельтовке и только что хотел выстрелить, как в то же время неподалеку от него грянул один выстрел, другой, и вслед за ними на поляну вылетела на вороном взмыленном коне высокая и статная девушка в костюме "значной" украинской казачки.

Мазепа остолбенел от изумления. "Кто она? Откуда? Как, каким образом появилась здесь?" — вспыхнула в его голове сотня вопросов, но в ту же минуту перед глазами его произошло что-то настолько ужасное, что совершенно поглотило их.

Пули, посланные девушкой кабану вдогонку, не убили его и даже не ранили серьезно: одна из них попала в ухо, а другая засела в шее, но, не причинивши никакого существенного вреда зверю, они привели его в необычайную ярость. Пошатывая своей окровавленной головой, кабан обернулся назад и, увидевши всадницу, с диким ревом ринулся на нее.

Это произошло так быстро, что девушка не успела повернуть коня, испуганное животное взвилось на дыбы, а кабан бросился под него и с ужасной силой вонзил свои клыки в брюхо коня.

Конь пошатнулся, — еще мгновение, и он раздавил бы под собой прелестную казачку, но происшествие не застало ее врасплох: заметивши приближение кабана, она в одно мгновение соскочила с седла и спряталась за дерево, конь рухнул, но рассвирепевший кабан ринулся прямо на девушку; она, видимо, ожидала это нападение, потому что сейчас же схватилась рукой за пояс, желая, очевидно, выхватить нож или кинжал, и вдруг лицо ее побледнело, как полотно... Не то стон, не то крик вырвался из ее груди, — кинжала не было у пояса.

Все это видел Мазепа. Стрелять было уже невозможно: девушку от кабана отделяли всего несколько шагов. Еще одна минута, и она должна была погибнуть под ужасным ударом его клыков...

XXV

Мазепа отбросил в сторону "рушницу", вырвал из ножен свой острый кинжал, в два прыжка очутился за кабаном и, размахнувшись, всадил ему со всего размаха под левую лопатку длинное и острое лезвие.

Кинжал ушел по самую рукоятку; целый фонтан крови брызнул на Мазепу; послышался предсмертный хрип, и животное тяжело грохнулось на землю, ломая все при своем падении.

Все это произошло так быстро, что Мазепа и сам не мог бы дать себе отчета, как и каким образом проделал он это. Теперь только, когда кабан уже лежал убитый у его ног, он поднял глаза, чтобы взглянуть на отважную наездницу, которой ему удалось спасти жизнь.

Перед ним стояла высокая, стройная девушка с тонким станом и пышной грудью. И в лице, и в осанке ее было что-то царственное и отважное, видно было, что она умела повелевать.

Широкие черные брови, почти сходящиеся над ее переносицей, и тонкий красивый нос с небольшой горбинкой при давали ее лицу выражение железной воли и энергии; темные серые глаза ее, опущенные длинными, стрельчатыми ресницами, смотрели отважно и смело, а в тонко очерченных красивых губах таилось выражение какой-то гордой замкнутости.

Она была удивительно хороша, но не той мягкой и нежно женской красотой, которая так приятна для сердца мужчин, а мужественной красотой древней амазонки. От всего ее существа веяло мужеством, энергией и воодушевлением. Видно было, что эти серые глаза могли загораться таким огнем, который увлекал за собой сотни и тысячи сердец. Лицо ее было бледно, но теперь от пережитого волнения легкий румянец проступал на ее щеках, и оттого она казалась еще прекраснее.

Ее стройную фигуру облекал темно-красный "саетный" жупан, украшенный золотым шитьем, из-под которого виден был край желтой "едвабной" сподницы. На ногах были высок красные сафьянные сапоги с серебряными подковами и так же небольшими шпорами. Голову ее покрывала низенькая красная бархатная шапочка, из-под которой падали на плечи две длинные косы, черные, как вороново крыло.

Мазепа с изумлением смотрел на нее, но и девушка с меньшим изумлением смотрела на него, видимо не понимая каким образом, откуда и как появился перед нею этот неожиданный избавитель?

Так стояли они несколько мгновений один против другого, не отрывая друг от друга изумленного взгляда.

Лай собак и конский топот, раздавшийся уже совсем близко, заставил их очнуться, и в ту же минуту на поляну выскочило несколько огромных полудиких собак, а вслед за ними несколько вооруженных верховых казаков, в то же время на противоположной стороны леса вышел Палий, и так же, как Мазепа, остановился, как вкопанный, перед этой неожиданной картиной, открывшейся его глазам.

При виде кабана собаки бросились было с остервенением на огромную тушу, но девушка остановила их повелительным возгласом, и огромные псы попятились с глухим ворчаньем назад.

Теперь Мазепа услышал ее голос, он вполне соответствовал ее наружности: это был низкий, грудной, бархатный голос.

Между тем казаки спешили и окружили девчину и убитого кабана. Все с изумлением рассматривали огромное животное.

— Он пропорол твоего коня, Марианна? — произнес с тревогой один из них, высокий и статный блондин, подходя к девушке.

— Да, — ответила она громко, — и если бы не этот незнакомый мне "лыцарь", он не оставил бы и меня в живых, так как в этой погоне я потеряла где-то в лесу свой кинжал.

На лице казака отразилось выражение чрезвычайной тревоги, он оглянулся и только теперь заметил с изумлением Мазепу и стоявшего неподалеку Палия.

А девушка продолжала, обращаясь к Мазепе.

— Благодарю тебя, казаче, ты спас мне жизнь, надеюсь, что Господь даст мне когда-нибудь возможность "оддяковать" тебе за это. Как твое имя?

— Иван Мазепа, подचाший Черниговский, — ответил Мазепа.

— Спасибо ж тебе, Иван, — поклонилась ему девчина, — может еще когда-нибудь встретимся в жизни, и я не останусь в долгу у тебя.

— Прими также и мою благодарность, пане-брате, считаю себя твоим должником, — произнес с поклоном и молодой казак.

Мазепа ответил учтиво и поблагодарил казака. Девушке между тем подвели другого коня; одним движением, без посторонней помощи, вскочила она на него и, ловко подобравши поводья, обратилась к Мазепе и произнесла с улыбкой:

— А кабана бери с собою, он по праву твой!

Казачки тоже вскочили на коней.

Не успел Мазепа и ответить на ее слова, как девушка тронула коня и скрылась в зеленой чаще; за нею последовали и все казаки.

С минуту и Мазепа, и Палий стояли безмолвно на опустевшей поляне, прислушиваясь к частому топоту удаляющихся коней.

Наконец Палий повернулся к Мазепе; он был неузнаваем: лицо его разгорелось, черные глаза искрились...

— Вот дивчина, так дивчина! Правдивая казачка, гетманша! — вскрикнул он с восторгом.

— А не знаешь ли ты, кто она и откуда? — спросил Мазепа. — Не знаю... не видел никогда... — ответил Палий, и в это время взгляд его упал на огромного кабана, лежавшего у ног Мазепы, и в сердце его шевельнулась досадная мысль: отчего не ему удалось оказать девчине такую услугу, а Мазепе, подчасшему Черниговскому?..

Шум от конских копыт уже совершенно затих, а приятели все еще стояли на месте, пораженные неожиданной встречей.

— И как это я не спросил ее имени? — повторял себе с досадой Мазепа, не отрывая глаз от той узкой тропинки, уходящей в зеленую чащу, в которой скрылась неизвестная казачка...

Чем ближе подъезжали путники к Чигирину, тем больше оживления замечалось в селах; то там, то сям "рыхтовались" уже "охочи купы" из молодых поселян; встречались по дороге и отдельные всадники, спешащие к Чигирину. Молва об Андрусовском договоре разрасталась всюду до каких-то чудовищных размеров; толковали уже, что Москва решила уступить Польше не только правый берег, но и Киев и весь левый берег Днепра; что поляки намерены занять снова свои маетки, завести везде унию, обратить всех казаков в своих подданцев, а Запорожье уничтожить дотла. И чем больше росли эти тревожные слухи, тем лихорадочнее вооружались и собирались крестьяне и казаки в Чигирин.

"Скорее бы только к гетману, а потом и на хутор к Галине, — думал про себя Мазепа, присматриваясь к этому возбужденному настроению населения, — а то смотри, через неделю, другую закипит здесь такая буря, что только и спокойно будет за каменными стенами замков, а как прибуду татары, так пожалуй и в замке не удержишься. Хорошо еще что хутор Сыча в стороне от Черного и Кучменского шляха[18] лежит, а то бы не минули его косоглазые".

Мысль Мазепы не возвращалась теперь уже неизменно Галине; она словно разбилась на два течения: одно вело зеленому хуторку в лесной балке, а другое — к лесной поляне, на которой он встретился с неизвестной казачкой.

Перед ее мужественной красотой тихий, элегический образ Галины как-то бледнел и стушевывался. Мазепа невольно вызывал в своем воображении черты лица неизвестной казачки и, сравнивая их с вереницей женских лиц, виденных им в своей жизни, не мог не сознаться, что такого одушевленного, прекрасного лица он не встречал никогда. Необычайная же обстановка всей этой встречи, небывалая отвага казачки, ее спутники — все это окружало ее образ каким-то заманчивым ореолом.

— И кто бы она могла быть? — повторял он себе беспрестанно, вспоминая все мельчайшие подробности их встречи, ее голос, движенье, улыбку, слова. — А этот белокурый казак? Уж не нареченный ли ее? — задавал он себе не раз вопрос и с удивлением замечал, что при этой мысли в груди его шевелилось какое-то неприязненное чувство к незнакомому казаку.

Мазепа рассказал своим спутникам об этой странной встрече, в надежде узнать что-нибудь о таинственной казачке, но никто не знал о ней ничего решительно.

Эта таинственность еще больше интриговала Мазепу.

— Неужели же он никогда в жизни не встретится с нею и так потеряет ее навсегда из виду? — думал он про себя и в сотый, и в тысячный раз повторял с досадой: — Как это я не спросил ее имени?! Как не спросил!?

Не доезжая до Чигирина, Палий объявил своим товарищам, что гетман велел ему заехать еще и на левый берег, чтобы "поворухнуть" по корчмам народ да выудить новые вести.

Путники распрощались, пожелали друг другу доброго пути и разъехались в разные стороны.

К вечеру другого дня Мазепа со своими товарищами остановился на ночлег верст за пятнадцать от Чигирина.

От словоохотливого хозяина постоялого двора, где они остановились, путники узнали, что в Чигирине тревога, так как Польша отправила послов в Турцию с предложением мира, и старшина боится, чтобы султан не согласился на него и не запретил татарам помогать казакам, что каждый день поджидают гонцов от хана, а их еще нет до сих пор, что гетман уже велел польскому гарнизону выступить из Белой Церкви, что масса казаков с левого берега спешит под знамена Дорошенко.

Взволнованный всеми этими известиями и предстоящим свиданием с Дорошенко, Мазепа поздно заснул и проснулся раньше всех.

Казачки приоделись, почистили сбрую, лошадей, оружие, закусили на скорую руку и в стройном порядке двинулись по направлению к Чигирину.

Не прошло и часу, как перед ними показались издали освещенные восходящим солнцем башни чигиринского замка, а затем и весь город Чигирин. Заплатив "у въездной брамы" мостовое "мыто"[19], путники въехали в нижний город.

Мазепу сразу поразило небывалое оживление, царствовавшее во всем нижнем городе; всюду по улицам сновали толпы народа, по преимуществу казаков; издали с площади доносился нестройный гул и шум какой-то разноязычной толпы, ржание лошадей, хлопанье бича и визгливые женские выкрики, покрывавшие собою все остальные голоса, — можно было подумать, что в городе стояла большая годовая ярмарка.

— Что это, ярмарка в городе? — обратился Мазепа к Куле.

— Нет, ярмарки у нас в эту пору не бывает, а это, верно, вся "крамарська галыч" прослышала, что войско сюда собирается, так и насунула со всех сторон, — ответил Куля.

Через несколько минут они выехали на огромную площадь, расстилавшуюся у подножия каменной стены, окружавшей вышний город, и глазам их представилась самая пестрая и оживленная картина.

Через всю площадь тянулись длинными рядами наскоро разбитые "ятки" местных и приезжих купцов.

Над "ятками" цеховых братчиков развевались знамена каждого цеха[20], подле балаганов иностранных купцов висели прямо куски дорогих материй, седла, оружие и т. д. Кто не имел крытого помещения, тот разложил свои товары прямо на земле.

Груды оружия, седел, сафьянных сапогов, драгоценные ткани пестрели повсюду. Всевозможные разноязычные возгласы оглашали воздух. Были здесь и местные торговцы, и татары, и длиннородые турки, и немцы, продававшие тонкое фландрское сукно, но большинство торговцев составляли смуглые и черные армяне. В стороне от "яток" татары и цыгане продавали лошадей, и там гул человеческих голосов, прерываемый ржанием, свистом, резкими гортанными выкриками и хлопаньем бича, достигал еще больших размеров.

Осторожно пробираясь среди этой кипящей толпы, казаки достигли наконец ворот верхнего города и въехали в самый "вышний" замок.

На дворе замка царствовало то же оживление, беспрестанно сновали из замка во флигеля гетманские татары, казаки, "сурмачи", знаменщики и замковая челядь.

Приезд запорожцев был сразу замечен. Увидевши Кулю, все окружили его шумной толпой, начались расспросы и взаимные передачи новостей. Когда, наконец, любопытство обеих сторон было отчасти удовлетворено, Куля попросил, чтобы доложили кому следует о прибытии послов из Запорожья, а сам взял на свое попечение Мазепу и отправился с ним к одному из высоких двухэтажных домов, в котором помещались надворные войска гетмана.

Не доезжая до дома, им встретился коренастый молодой человек, в костюме знатного казака, со смуглым лицом восточного типа. При виде Кули лицо его изобразило радостное изумление.

— О, Куля! Откуда ты вылетел, — из мушкета или из лука? — вскрикнул он, подходя к нему. •

— Хоть не из лука, так из Великого Луга, — ответил ему, улыбаясь, Куля.

— Уже слетал?

— А разве пуле долго лететь? Только прицелься хорошо.

— Ну что ж, и "влучыв"?

— Влучил, да не совсем... а вот зато привел с собой добычу, — указал он на Мазепу, — человек важный и дрюкованый, и письменный, а как саблей владеет, да как говорит, черти бы его драли, словно бритвой по мылу скользит, и не поймает: у нас будет при гетмане служить.

— Сердечно рад познакомиться с паном, — откланялся молодой казак, — Василий Кочубей, младший подписок гетманской канцелярии.

Мазепа соскочил с коня и, поклонившись учтиво Кочубею, произнес с тонкой улыбкой:

— Иван Мазепа, герба князей Курцевичей, подचाший Черниговский. Благодарю фортуна, что она столкнула меня сразу с паном и, если мне придется остаться при гетмане, прошу пана быть здесь моим руководителем и ознакомить меня со всеми порядками замка.

— Пан подचाший предлагает мне слишком высокое место, только Афина могла быть руководительницей Одиссея, — отвечал Кочубей, уже слышавший много лестных толков о Мазепе и его роде, — но если пан позволит мне оказать ему какую-нибудь услугу, то найдет во мне всегда самое горячее желание.

— Ну, и горазд! — прервал Куля его витиеватую речь. — Ишь, как рассыпаются один перед другим, словно жених перед невестой. Вот тебе и товарищ, он ведь у нас тоже разумом далеко вынесся и в прелести латинской искушен зело... Ну, да он у нас скучать не будет: здесь, конечно, — не королевский дворец, так зато свой, а пословица говорит: "краще свое латане, ніж чуже хапане". Ха! Ха! Ну, а теперь, — заключил он, — пойдем со мною в мой курень, там приоденешься, да и к гетману!

Через полчаса Мазепа уже входил в сопровождении Кули и запорожских послов в гетманский замок.

XXVI

Замок, как верно выразился Куля, был меньше королевского палаца в Варшаве, но будучи еще прежде обстроен заново Еленой, женой Богдана, и теперь по роскоши и великолепию не уступал магнатским дворцам. Куля ввел Мазепу и запорожцев в большой двухсветный зал, стены которого были обтянуты темно-красным сукном и украшены всевозможными отбитыми у неприятелей бунчуками и знаменами и ключами от взятых городов.

Когда они вошли, в зале уже было довольно много народа; то там, то сям стояли группы тихо разговаривавших между собой людей; по преимуществу это были казацкие старшины, но среди них виднелись и татарские халаты, и длинные рясы православных священников.

Куля отправился прямо в покой гетмана, а Мазепа, остановившись с запорожцами в стороне, принялся наблюдать присутствующих и прислушиваться к тому, о чем шла среди них речь. Говорили вполголоса, так что разобрать все слова было трудно, но из долетавших до него обрывков фраз Мазепа понял, что разговоры шли об успехах восстания против Бруховецкого на левом берегу, о возрастающем в народе стремлении к гетману Дорошенко, о том, что надо просить гетмана, чтобы выдал поскорее старшине "приповедные листы", и о том, что поляки уже послали послов в Турцию.

Мазепа совершенно углубился в свое занятие, как вдруг невдалеке от него раздался чей-то сладкий, знакомый ему голос.

— Кого я вижу! Святой Боже, вот как скоро привела судьба свидеться с паном подчашим!

Мазепа оглянулся и с изумлением заметил подходившего к нему Самойловича. Теперь он был еще тщательнее и щеголеватее наряжен: пальцы его были унижены драгоценными перстнями, круглые "гудзи" на дорогом кунтуше также горели самоцветами. Светлые, шелковистые усы молодого полковника были подкручены, голубые глаза глядели так мягко и ласково, а на губах играла сладкая предупредительная улыбка.

— Пан полковник? — изумился в свою очередь и Мазепа. — Каким образом, откуда?

— А вот приехал опять от гетмана Бруховецкого просить, чтоб остановил его мосць гетман Дорошенко всякие зацепки с правой стороны, так как по Андрусовскому договору нам "обороняться" не велят, да оно, правду сказать, и обороняться-то нечем: раз все полки с берегов Днепра отозваны, а кроме того, пожалуй, за гетмана Бруховецкого казаки, вследствие своей врожденной злости, и биться не захотят. Так вот оно выходит, что если бы гетман Дорошенко теперь на правый берег ударил, могло бы повториться в нашей войске то, что случилось под Желтыми Водами в польском лагере. Ну, и что ж бы от этого доброго вышло: раз гетману Бруховецкому счинилась бы немалая невзгода, да и нарушился бы наш славный Андрусовский договор.

— Ха-ха! Хороший вестник из пана полковника вышел! — улыбнулся Мазепа.

— А чем же плохой? — пожал с улыбкой плечами Самойлович. — А еще предупреждал гетман Бруховецкий, чтобы правобережцы не надеялись на то, что жители на левом берегу в оплошку живут, есть и московские рати, ну, нарвутся на них сам на сам, тогда пусть не гневаются, если войско Дорошенко достанется "крамарям" на "мясни яткы".

— Значит, чтоб сам на сам не нарывались? — подморгнул бровью Мазепа.

— Sapienti sat, — ответил Самойлович и прикрыл ресницами свои голубые глаза.

— А не лучше ли нам, шановный пане Черниговский[21], войти в братское единение, — заговорил с легкой улыбкой Мазепа, — посуди сам: Андрусовский договор заключен между Польшей и Москвой, мы составляем их части, — если мир заключен между целым, ergo должен быть и между его частями, а к тому же нашему единению присоединить и татар, ведь Польша ищет мира с ними, почему же нам не следовать по ее пути.

— Искусно и хитро, — улыбнулся Самойлович. — О, пан подचाший, как я вижу, златоуст великий: слова его — истинная музыка. Вот если бы пана к нам на правый берег. Орфей, говорят, усыплял своим пением зверей, может быть пану подчашему удалось бы усыпить хоть единого в образе человеке...

— Наоборот, не усыпить, а открыть глаза, — поправил Мазепа.

— И закрыть уши? — улыбнулся Самойлович и продолжал сладким голосом: — Надеюсь, одначе, что пан разовеет мне еще подробнее свой план: слушать пана для меня истинное удовольствие.

— Пан полковник слишком милостив ко мне, — поклонился Самойловичу Мазепа.

— Ничуть, — ответил Самойлович, — я завидую гетману Дорошенко, который будет иметь пана своим собеседником: ведь пан остается здесь?

— Хотел, но еще не знаю наверное.

— Во всяком случае я еще буду видеться с паном?

— Непременно.

В это время боковые двери отворились, оттуда вышел Куля и, подойдя к Мазепе, передал ему, что гетман просит его к себе.

— Желаю пану успеха! — поклонился Мазепе Самойлович и, отойдя в сторону, примешался к

группе казаков, стоявших в стороне, а Мазепа направился к двери, из которой вышел Куля.

Отворивши ее, он очутился в покое гетмана. Гетман был один, он стоял, опершись спиной о стол, лицом ко входящему Мазепе. Мазепа невольно остановился на мгновение, пораженный его прекрасной наружностью. Он много слышал и раньше о Дорошенко, его замыслы давно привлекали к нему его душу, но теперь, увидев это мужественное открытое лицо, дышащее благородным гневом и возмущением, Мазепа почувствовал, что и сердце его никогда не оторвется от этого человека.

Судя по гневному, взволнованному выражению лица Дорошенко, Мазепа заключил, что Куля уже передал ему ответ Запорожья.

— Ясновельможному гетману, спасителю отчизны, челом бью, — произнес он, останавливаясь среди комнаты и отвешивая Дорошенко низкий поклон.

— Спасибо, будь и ты здоров, пане казаче, — ответил Дорошенко, устремляя на Мазепу свой горящий взгляд, — ты Иван Мазепа?

— Да.

— Сын Степана Мазепы из Мазепинец?

Мазепа снова наклонил голову.

— Я знал его еще при гетмане Богдане, казак был запальный и честный, умел и саблей владеть, и думкой; я рад, что сын его ни в чем не уступает своему батьку, — слышал я, какую ты заслужил ласку у короля. Мне пишет о тебе Сирко. Куля не находит слов для похвалы тебе, но еще больше всех слов говорит мне за тебя то, что ты оставил королевский двор и вернулся послужить отчизне. Ты хочешь остаться при нас?

— Я хочу помочь отереть слезы отчизне.

— Тогда оставайся у нас. Я рад иметь тебя под своими знаменами, нам надо много рук, а еще больше честных голов и верных сердец.

— Сердце и жизнь мою отдаю в руки спасителя отчизны, — поклонился Мазепа.

— Верю, — произнес Дорошенко и опустил на кресло. — Садись и ты, пане, — указал он Мазепе на место против себя, — и расскажи мне все, что говорил тебе Сирко.

Мазепа передал подробно весь свой разговор с Сирко, рассказал о том, как он уговаривал Сирко, и как тот, несмотря ни на какие увещания, наотрез отказался помогать в чем-нибудь Дорошенко, если тот призовет татар, и, наконец, о том, что ему, Мазепе, все-таки удалось при прощании убедить Сирко по крайней мере в случае призвания татар не вмешиваться в дела Дорошенко.

Гетман слушал его рассказ с хмурым лицом, несколько раз он прерывал Мазепу гневными нетерпеливыми восклицаниями, видно было, что отказ Сирко, а значит и Запорожья, глубоко запал ему в сердце.

— Так вот оно что, — заговорил он отрывисто и взволнованно, вставая с места, и заходил большими шагами по комнате, — все за еднoсть стоят, а не могут даже на один час соединиться. Ха, ха, ха! Уж не безумие ли затеяли мы, думая объединить обе Украины, когда

не можем объединить даже Дорошенко и Сирко!

Когда Дорошенко встал со своего кресла, Мазепа также поднялся учтиво со своего места.

— Этого можно было ожидать, — произнес он. — Кошевой чувствует слепую ненависть к татарам, взваливая на них причину всех бедствий отчизны, а при малом знакомстве с государственными...

Но Дорошенко перебил его.

— Он ненавидит их! А разве я их люблю? Разве я их желаю? заговорил он горячо, и лицо его вспыхнуло. — Ха, ха, ха! Я для того только и желаю их теперь, чтобы отчизна не нуждалась в них потом никогда! Но он не хочет, не хочет понять этого! Сам соглашался со мной здесь, что единое спасение в едноти отчизны, а теперь! Ха, ха, ха! Татары мешают ему! Пусть укажут мне другого союзника, и я отступлю от них. Но кого же призвать на помощь, кого, кого? — вскрикнул он страстным, порывистым голосом и заломил руки.

— Если позволит мне ясновельможный гетман, я укажу ему одного союзника, более верного и менее губительного, чем татары, — произнес тихо Мазепа. Гетман остановился.

— Говори, говори, — произнес он, устремляя на Мазепу вопросительный взгляд. Мазепа сделал один шаг вперед.

— Имя им — хитрость и разум.

На лице Дорошенко отразилось недоумение.

— Если ясновельможный гетман согласен выслушать меня, я выскажу ему те скромные соображения, которые возникли в моей голове по поводу этих событий.

Дорошенко только кивнул головой, а Мазепа продолжал тихим, но твердым голосом:

— Каждая палка имеет два конца, — говорит нам пословица.

— Бесспорно решительное несогласие кошевого Сирко на призвание татар можно объяснить только малым опытом в тонких делах политики, однако и в его словах есть доля истины. Много раз смеялись над изречением отцов иезуитов, однако же в делах политики оно имеет свою цену. Желая освободить народ от тиранства, мы губим на войне сотни и тысячи его сынов, и это средство благословляется даже церковью во имя великой цели. Однако, исходя из этого положения, не следует, чтобы мы весь народ приносили жертвою на алтарь Марса, ибо тогда не для чего было бы подымать и самой войны. Между тем союз с татарами грозит нам таким концом. Для чего нужны нам татары? Для того, чтобы иметь помощь на случай наступления Москвы и Польши. Чего боится Сирко в этом союзе, что всего опаснее в этом союзе? Не протекция, а самый приход татар на наши земли. Для чего нам нужен их приход? — Для того, чтобы завоевать левый берег. Зачем же завоевывать его, когда весь народ и так стремится к Дорошенко? Гетман Бруховецкий противится этому, а если бы он согласился сам на воссоединение обеих Украин, тогда бы нам вовсе не надо было призывать на свои земли татар. Конечно, за такой "вчынок" гетмана и Москва, и Польша выслали бы против нас союзные рати, вот тогда-то бы мы и опрокинулись со всеми татарскими ордами в неприятельские земли.

Речь Мазепы, видимо, понравилась Дорошенко.

— Ты говоришь умно, — произнес он, когда Мазепа окончил, — но забываешь одно, что

толковать Бруховецкому о соединении все равно, что глухому рассказывать сказку: он никогда не согласится на такую згоду, так как сам он может держаться только под защитой Москвы.

— А кто сказал ему, что эта защита вечная? — продолжал Мазепа. — Отовсюду я слышу, что народ ненавидит его, Запорожье уже отложилось от его власти; если учинится бунт против него, его сбросят с гетманства, и тогда ему не поможет Московия, ибо она стоит за того гетмана, которого выбирает само казачество. Да и почему он должен быть ей лучше, чем другой какой гетман? Разве Московии не все равно, какой гетман будет на Украине сидеть? Не обороняла же она Пушкаренко и Сомко против Бруховецкого, не будет оборонять и его против других. Вот если б он сам пошел за всем народом, тогда быть может...

— Нет, — перебил его Дорошенко, — он не захочет, побоится.

— Перед пропастью, ясновельможный гетман, и смиренный конь встает на дыбы!

— О, если б он пошел на это, — заговорил воодушевленно Дорошенко, — я бы ему уступил свою булаву, лишь бы он воссоединил без кровопролития обе Украины!

— Пообещать, конечно, можно и это, — заметил Мазепа.

— Нет, нет! — воскликнул горячо Дорошенко. — Говорю тебе, я уступил бы ее ему навсегда, а сам занял бы свой "власный" дом в Чигирине.

— Однако, против воли казачества Бруховецкий не усидел бы на своем гетманстве.

— Эх, да что говорить о "паляныцях", когда жито еще не посеяно! — вздохнул Дорошенко. — Вот Польша послала в Турцию послов, послали и мы, но чья возьмет?

Дорошенко потер себе лоб и задумался.

— Можно надеяться, что польское посольство будет неуспешно, ибо ни к кому так не подходит изречение об осле, нагруженном золотом[22], как к татарам и туркам. Исполнивши первую часть этого положения, Варшава забыла о второй, — ergo посольство должно быть неуспешно.

— Ты прав... я сам надеюсь на это, — произнес задумчиво Дорошенко, жду со дня на день из Бахчисарая вестей... покуда не получу, нельзя будет ни на что решиться... но... мы будем еще видеться, — он поднял голову и встал с места.

Мазепа поднялся тоже.

— Я слышал, что пан хорошо знаком с военным искусством, а потому я предлагаю ему место ротмистра моей надворной команды.

— Благодарю от сердца, — произнес Мазепа и с достоинством поклонился гетману.

— Есаул Куля покажет тебе все, — продолжал Дорошенко, — а теперь вели послать ко мне Самойловича.

Мазепа откланялся гетману и вышел в зал. У входа его встретили Самойлович и молодой Кочубей.

— Ну, что же, как? — подошли они к Мазепе.

— Ротмистр надворной команды, — ответил Мазепа.

— От души поздравляю пана ротмистра, — потряс его руку Кочубей, — я прошу теперь ко мне на келех старого меда.

— Присоединяюсь к высказанной гратуляции и от души сожалею, что недостаток времени не дает мне возможности принять участие в этом заманчивом дуумвирате, — улыбнулся Мазепе своей сладкой улыбкой Самойлович и, поклонившись обоим, прошел в гетманский покой, а Мазепа вышел с Кочубеем.

— Будь здоров, пане полковнику. Ну что, какие новости? — приветствовал Дорошенко входящего Самойловича.

— Благодарение Господу, дело наше двигается, ясновельможный гетман.

— Ну, садись же сюда поближе, да расскажи все, что и как.

— Спасибо, ясновельможный, — ответил Самойлович, опускаясь на кресло против гетмана. — Я скакал к тебе, трех коней загнал. Вести важные... только... куй железо пока горячо, — Самойлович слегка понизил голос. — Бруховецкий прислал меня к твоей мосци с приказом, чтобы ты в силу пунктов Андрусовских отозвал свои войска с левой стороны, ибо с той причины вчинаются великие шатости на нашем берегу, и люди "аки в растерзании ума обретаются".

— Вот оно что, — улыбнулся Дорошенко. — Что ж, там мною бунтарей?

— Немало. В Переяславском полку побунтовались все казаки, убили своего полковника Данила Ермоласина и пошли на город Переяслав. Кругом самого Переяслава во всех местечках и городах казаки принимают посланцев твоей милости, запираются с ними в замках. Старый полковник Гострый, которого Бруховецкий оставил, орудует всем. Гетман боялся сам выступить против бунтарей, чтобы казаки не взбунтовались и не убили его, посылал за московскими ратными людьми. Переяславцев "обложили", многих посекали, а других забрали в Гадяч и в Киев, чтобы казнить. Одначе полковник Гострый с полковником Гвинтовкой и другими добрыми людьми выпустили их тайным образом. Теперь все наши бунтари засели в Золотоноше, воевода Московский, князь Щербатов, обложил их. Спешите скорее, гетмане, на выручку, теперь самое время ударить на Бруховецкого: московских ратей мало, калмыки, сведавши о мире с Польшей, также ушли от нас; Черниговский полк, Переяславский да Нежинский за тобой сейчас пойдут. Остальные полковники оттого только стоят за Бруховецкого, что мало надеются на твои силы, а если бы ты появился с татарами, сейчас бы все отложились от него: ибо великая ненависть утвердилась к нему во всех чинах народа нашего.

Самойлович произнес всю эту речь сухим, деловым тоном, сладкая улыбочка и мягкое выражение глаз исчезли с его лица, наоборот, какая-то сухость проявилась в нем.

Это был уже не любезный, предупредительный молодой полковник, а человек ума практического и расчетливого, умеющий не пропустить ни малой, ни большой выгоды.

XXVII

— Я жду со дня на день от татар ответа, — послал гонцов, — ответил Дорошенко Самойловичу. — У меня есть верный побратим, мурза Ислам-Бей, он известит меня... Но пусть не теряют надежды наши "обложени": мы вышлем им свои охотные полки. Ты здесь останешься дня два?

— Как прикажешь, ясновельможный.

— Хорошо, я передам через тебя вестку, — и, протянувши руку Самойловичу, гетман произнес с чувством, — благодарю тебя от души за твою бескорыстную верность и раденье к родному делу и к нашей особе. Не знаю, чем мне и отблагодарить тебя! О, если б у нас было побольше таких верных людей!

Что-то неуловимое мелькнуло в глазах Самойловича.

— Я всегда помню к себе ласку и зычливость его мосця, — произнес он мягким голосом, опуская глаза.

Через полчаса Самойлович уже сидел в покоях гетманши. Дорошенко отвел его к своей жене, а сам, после приема всех посетителей, отправился с Богуном и другими старшинами осматривать и устраивать прибывшие новые войска.

С самого раннего утра гетманша уже узнала от Сани о приезде Самойловича. Часа два провела она перед зеркалом, примерила чуть ли не десять кунтушей, измучила вконец Саню и, наконец, отправивши ее присматривать за коверницами, уселась с работой в руках у окна. И старания ее не пропали даром. Даже сам гетман, несмотря на то, что мысли его были заняты совсем другими справками, обратил внимание на то, что гетманша выглядела сегодня лучше, чем когда-нибудь.

И новый кунтуш, и перловое намысто, а главное, необычайное оживление придавали ее лицу какую-то особенную красоту.

Теперь она сидела на низком табурете, сложивши на коленях какое-то гаптованье, а Самойлович стоял немного поодаль, эффектно опершись рукою о спинку кресла, не спуская с гетманши глаз. Между ними шел какой-то оживленный разговор.

На губах гетманши трепетала легкая, обворожительная улыбка; глаза Самойловича то вспыхивали, то снова потухали.

— Что это пан полковник стал так часто ездить сюда? — говорила гетманша, слегка склонивши головку и разглаживая белой ручкой дорогое гаптованье.

— Дела все, ясновельможная пани, Бруховецкий посылает. А разве я уже успел надоесть ее мосци?

— Нет! — слегка вспыхнула Фрося и опустила глаза. — Пан для нас дорогой гость. Только... я подумала, — на губах ее снова задрожала лукавая, предательская улыбка, — разве у гетмана нет других верных послов?

— Послы-то есть, да, может быть, никто не ездит сюда так охотно, как я, — произнес Самойлович, понижая голос, и в нем послышалась какая-то нежная вибрация.

Гетманша чуть-чуть приподняла свои веки, сверкнула из-под длинных ресниц на Самойловича задорным взглядом своих голубых глаз и произнесла с участием:

— Так скучает пан полковник за своей родиной?

— Томлюсь и не забываю ее никогда! — вздохнул Самойлович.

— Но, сколько помню, и родители пана полковника перешли на правый берег, — что же так тянет сюда пана полковника?

— Сердце.

— Сердце? Ха-ха-ха! — рассмеялась звонким серебристым смехом гетманша. — А разве на левом берегу нет таких "знадлых" ворожек, которые могли б залечить раны панского сердца?

— Не всякую рану залечить можно: одни заживают, а от других...

Самойлович замолчал.

— Умируют? — переспросила с лукавой улыбкой гетманша, подымая на Самойловича свои искрящиеся глаза и снова закрыла их пушистыми ресницами. — Но, слава Богу, пан полковник на покойника не похож.

— Живут и с разбитым сердцем.

— Так не может ли пан поведать, какой это жестокий враг так "проиняв" панское сердце?

— Зачем об этом говорить, ясновельможная.

— Даже и по старой приязни?

— Даже и по старой приязни, — повторил глухо Самойлович.

Гетманша замолчала и принялась снова разглаживать на коленях дорогое шитье. С минуту в комнате царило молчанье. Не подымая глаз, Фрося чувствовала на себе жгучий взгляд Самойловича, и это доставляло ей видимое удовольствие; приятное щекотанье слегка волновало ее сердце, словно какая-то легкая бабочка трепетала в нем своими прозрачными крылышками.

— Ну, а как ваша новая гетманша-княгиня? Думаю, так хороша, что вся старшина за нею гинет, — спросила она, наконец подымая головку и бросая на Самойловича лукавый взгляд.

— Не знаю, не замечал, — ответил небрежным тоном Самойлович.

— Как? Неужели же пан совсем не замечает женской красоты?

— Только одну; для других я слеп.

— Слеп? Ха-ха! — рассмеялась тихим смешком гетманша. — О, значит пан полковник уже "добре" постарел. Прежде, сколько помню, глаза пана были зорки, как глаза степного орла.

— Пробовала ли ясновельможная пани посмотреть прямо на солнце и потом перевести свой взгляд на землю, — заговорил каким-то вздрагивающим голосом Самойлович, приближаясь на шаг к гетманше, — не видела ли она тогда всюду, куда бы ни посмотрела, только красные и зеленые пятна. Так и человек, ослепленный "коханьям", видит всюду, кроме своего солнца, одни лишь темные пятна.

Гетманша вспыхнула от удовольствия.

— Ой! Господи, да какое же это солнце наделало столько бед пану полковнику? — спросила она и тут же ощутила в груди какой-то страх, какое-то замиранье.

— Какое? — спросил Самойлович глухим голосом. — Какое?

Гетманша молчала.

— То, что сияет на правом берегу, — прошептал он каким-то жарким шепотом.

Теперь пустое, легкомысленное сердце гетманши забилося усиленно и часто. Ей вспомнились девические годы. Молодой, красивый сотник, сын соседнего батюшки... недомолвленные слова... нежные поцелуи руки в зеленой чаще цветущего сада, песни, звуки казацкой бандуры. И рядом с этим, сияющим молодым счастьем воспоминанием, выплыл образ всегда занятого, всегда погруженного в свои военные "справы" гетмана, и какое-то досадное чувство шевельнулось в груди гетманши.

— Другие вон как помнят, до сих пор не забывают! — пронеслось в ее голове, — а он словно и не видит, и не замечает. Ее красота стоит большей заботы! Да и много ли она выиграла оттого, что вышла замуж за генерального есаула, какая это жизнь!

Гетманша подавила вздох, склонила голову и принялась за свою работу.

В комнате опять воцарилось молчание, со двора доносились голоса гетмана и Богуна. Самойлович не спускал глаз с гетманши.

— Что это работает ясновельможная? — произнес он, чтобы нарушить неловкое молчание; голос его прозвучал как-то сипло.

— Новое знамя для гетмана, — ответила Фрося, не поднимая глаз.

— О, как бы я желал сражаться под ним! — воскликнул Самойлович.

— Отчего же пан покинул наши войска и перешел на левый берег?

— Отчего? — заговорил пламенным шепотом Самойлович, наклоняясь над ней, — оттого, что отсюда гнала меня такая тоска, какой заглушить не могли ни меды, ни битвы, оттого, что сотник — ничто перед генеральным есаулом, оттого, что наши девчата больше смотрят на полковницкие кисти, чем на очи молодых юнаков, оттого, наконец, что если бы я теперь стал гетманом всей Украины, — мне не затушить своего горя, потому что квиточка моя уже сорвана и сорвана грубою и жесткою рукой!

Гетманша вздрогнула и закрыла глаза. Жгучее дыхание Самойловича обдало ее лицо...

Как ни рассчитывал Мазепа выехать через два дня из Чигирина, но это ему не удалось. Обстоятельства сложились так, что прошла неделя, наступила другая, а он все еще оставался в Чигирине. Прежде всего ему надо было принять команду над своей "компанией", познакомиться со всем гетманским штатом, и это заняло довольно много времени; кроме того, едва вступивши в должность, да еще в такое тревожное время, было неловко просить гетмана о немедленном отпуске, тем более, что от татар до сих пор не было никаких известий, и гетман, весь поглощенный тревогой, ожиданием и неизвестностью будущего, словно забыл о Мазепе и о его предложении уладить дело "разумными медиациями" — и не призывал его к себе.

Как ни рвался Мазепа в Мазепинцы, а оттуда в степь, но приходилось примириться с обстоятельствами и отложить отъезд на более неопределенный срок.

За это время он успел ознакомиться с жизнью замка и с его обитателями.

О Богуне он слышал еще раньше; любимый герой казачества всегда возбуждал в нем восторг к себе, однако теперь Мазепа слегка разочаровался в нем: гибкий, пронизательный ум Мазепы, способный расчленить самый запутанный вопрос, способный, подобно подземному подкопу, проникнуть в самые сокровенные тайны души человеческой, — как-то отказывался понимать тот прямой и, как ему казалось, узкий способ мышленья, которым жили и Богун, и Сирко. Кроме того, вечно замкнутый в себе, молчаливый и сосредоточенный Богун как-то не соответствовал тому образу казацкого героя, окруженному ореолом блестящих военных подвигов беззаветной храбрости, удали и презрения к смерти, который создал себе о нем Мазепа на основании народной молвы.

— Нет, нет, — думал он про себя, вспоминая свой разговор с Сирко, — только рубить можно прямо с плеча, а для дум есть многие объездные да обходные дороги; прямо пойдешь, не сворачивая с пути, так, иной раз, и упруешься прямо в стену лбом, а свернешь хоть далеко в сторону, — смотришь и выехал снова на вольный простор.

С Самойловичем Мазепа также за это время познакомился ближе. Несмотря на бесспорный ум, искреннее желание спасти отчизну и прекрасное образование Самойловича, — он не произвел на Мазепу благоприятного впечатления. Насколько к Дорошенко Мазепу тянула какая-то безотчетная симпатия и вера, настолько это же инстинктивное чувство отталкивало его от Самойловича. Сквозь сладкую улыбочку и мягкие предупредительные манеры последнего Мазепе чувствовались какая-то хитрость и мелочная расчетливость... Однако, имея ввиду свою дальнейшую деятельность, он постарался скрыть свое внутреннее нерасположение, тем более, что в беседе с Самойловичем, способным вполне понять и оценить все его планы и предположения, он находил истинное удовольствие. Что же касается самого Самойловича, то он был в совершенном и искреннем восторге от Мазепы, от его образования и ума.

Прелестная гетманша не понравилась Мазепе, на Саню же он не обратил никакого внимания. Больше всего сошелся он с молодым и живым черноглазым Кочубеем, обладавшим каким-то особенным умением ловить на лету все новости; он-то и познакомил Мазепу со всей подноготной замка.

Но, несмотря на тревожное настроение всех окружающих, передавшееся и Мазепе, несмотря на ежеминутное ожидание решительного известия, могущего или разрушить все планы казаков, или вдохнуть им новую силу и энергию, Мазепу не оставляла мысль о Галине и о неизвестной казачке; последняя в силу своей таинственности начинала брать теперь перевес. Пока за Галину Мазепа был совершенно покоен; все здесь было так определено, ясно и чисто, — как тихий лесной ручеек, зато весь образ казачки, вся таинственная обстановка их встречи притягивали к себе его воображение, как притягивает к себе взор мореплавателя таинственное и неведомое морское дно.

Когда он закрывал глаза, он видел ее отважно летящую на вороном коне; когда кругом все молчали, ему казалось, он слышит ее низкий грудной голос... В глубине души он чувствовал, что эта встреча не может пройти так бесследно в его жизни... что он должен встретиться с нею... но где и когда? — Ну хоть бы знать, кто она, где и как живет? — И тут же обрывал себя с досадой гневным восклицанием: — Ишь, бабе-, кое любопытство! Ну и на кой бес нужна мне она и ее имя? Галиночка, дытыно моя, тебя бы мне увидеть поскорей! — шептал он нежно, и воспоминание о Галине освежало и умиротворяло его душу, словно роса сожженные дневным зноем цветы.

Однако образ казачки нет-нет, да и снова выплывал перед ним...

Однажды, гуляя тихим летним вечером по валам замка, Мазепа передал Кочубею весь эпизод с

казачкой, в надежде узнать хоть от него что-нибудь о ней.

— Да, случай знатный и непостижимый, — ответил Кочубей, — а, ей-Богу, ты, пане ротмистре, родился в сорочке: ведь женщины не забывают таких услуг.

— Да кто она такая, не знаешь ли?

— А ты разве не узнал ее имени?

— В том-то и дело, что нет...

— Гай, гай! Ну, да и необачный же ты, пане ротмистре, — усмехнулся Кочубей, — как же так сплеховать?! Знал бы ее имя, можно было бы хоть на часточку подавать!

Но Мазепа не обратил внимания на шутку Кочубея.

— Да нет, ты, должно быть, слышал что-нибудь о ней, — продолжал он, — ведь таких отважных дивчат, чтобы сами выходили на кабана, немного.

— Ха-ха! Нашел по чем угадывать! — рассмеялся Кочубей. — Да разве у нас мало и паний, и панн этой забавой тешится? У нас не то, что в Польше, не в зале выходят панны "до мазура", а просто "на поле" (на охоту), а то и на воинскую справу, наезд одна на другую делают — вот что! А наши казачки тем паче — пороху не боятся, да и кабану, и медведю дорогу не уступят. Вот только наша ясновельможная, — понизил он голос, — не тешится этим: другой зверь у нее на уме.

— Что? Какой? — изумился Мазепа.

Кочубей нагнулся к самому его уху и прошептал, хотя тихо, но внятно:

— Самойлович.

Мазепа даже отшатнулся от Кочубея.

— Что ты говоришь? — прошептал он в свою очередь каким-то сдавленным голосом, — ты... ты знаешь это наверно?.. Она "зраджує" гетмана?

— "Зраджує"! Ну да и скорый же ты! Не "зраджує" еще, а так только заигрывает, как кошка с мышкой...

— Но как же это?.. Ведь гетман всем перед Самойловичем взял: и разумом, и доблестью...

— Ха-ха! Пане ротмистре, — перебил его Кочубей, — видел ли ты когда-нибудь, как бабы соберутся в "крамныци", да начнут "саеты" да "блаватасы", да "оксамыты" торговать; одна какая-нибудь выбирает прочное да добротное, а другая говорит: на что мне его доброта? Лучше каждый год дешевенькое, да новенькое покупать. А гетман, видишь ли, все "зажуреный", да озабочен, а ей что до этого? Надо правду сказать, головка-то у нашей прелестной гетманши совсем порожняя...

— Я так и знал, от первого взгляда уже не лежало к ней мое сердце, — произнес Мазепа. — Несчастный гетман! Но чем же взял перед ним Самойлович, что тянет ее к нему?

— Видишь ли, знакомы они с ним давно. Прежде он, Самойлович, был здесь на правом берегу, ну, и спознался еще с гетманшей, когда она была дивчиной, а он сотником. Говорят люди, что

он к ней и сватов засылал, только не ему ее отдали, а Дорошенко. Переважили ли Дорошенковы полковницкие кисти, или черные очи его сдались тогда ее мосци краше голубых глаз Самойловича, только пошла она за Дорошенко, а Самойловичу поднесла гарбуз[23] и так он с этим гарбузом отправился на тот берег к Бруховецкому. Долго он не приезжал сюда, а вот с полгода, как снова стал показываться и увиваться подле ее мосци.

— И гетман не замечает?

— Божий человек! Он верит всем, а ей, как солнцу Божьему, а уж любит так, что и сказать нельзя. Он и не видит, и не слышит ничего.

Слова Кочубея глубоко потрясли Мазепу, теперь его сердце еще больше потянуло к Дорошенко: весь благородный образ гетмана, с его открытым доверчивым сердцем, с его высоким воодушевлением и страстной любовью к отчизне встал перед ним, как живой, и рядом с ним образ умильного, но разумного и расчетливого Самойловича, способного ловить в мутной воде рыбку, показался ему еще мельче.

— Несчастный гетман! — произнес он со вздохом, — так печется о том, чтобы успокоить отчизну, а для своей души не может заслужить и малого покоя.

— Да, — произнес задумчиво и Кочубей, — "не той пыво пье, хто зарыть"... А уж от этого коханья не жди никогда добра...

XXVIII

— Да, пане, — продолжал Кочубей, обращаясь к Мазепе, — уж если кто закохается, — пиши пропало: и глухим, и слепым, и немым станет! Да вот хоть бы этот славный казак, — указал он Мазепе на выезжавшего в это время с замкового двора Богуна, — посмотри, и славою, и красою, и статью кто с ним и теперь сравнится, а знаешь ли, почему он такой угрюмый да сумрачный?

— Почему?

— Потому что он любил третью жену покойного гетмана Богдана — Ганну, любил, когда она еще и за гетманом небыла, а вот до сих пор не может ее забыть!

Кочубей замолчал, замолчал и Мазепа, следя взором за, удаляющимся Богуном. Теперь образ всегда молчаливого и сосредоточенного Богуна принял в его глазах какую-то поэтическую прелесть. Он невольно старался проникнуть в тайну прошлого этого закаленного героя... Ему вспомнилась Галина... И какое-то тихое и меланхолическое чувство проснулось вдруг в его душе.

Тихие и задумчивые сошли товарищи с высокого вала и разошлись по своим делам.

Дня через два к Мазепе пришел рано утром Кочубей и сообщил ему с веселым видом:

— Ну, пане, теперь фортуна повернула уже к тебе свое колесо, — можешь просить у гетмана отпуск: гонец привез сегодня "лыст" от мурзы Ислам-Бея; верного пока еще ничего нет, но упевняет его мосць в благополучном исходе. Просись теперь скорее, а то потом, когда начнется дело, гетман уже не отпустит никого.

Мазепа не заставил повторять себе этого известия и через несколько часов вошел сам к Кочубею с веселым, довольным лицом и объявил ему торжественно:

— Еду!

После обеденной поры Мазепа распрощался сердечно с Кочубеем и Кулей и в сопровождении казаков из своей компании выехал из Чигирина.

Уже вечерело, когда путешественники прибыли к бывшему Субботову гетмана Богдана. Теперь здесь была только пустыня с бесследными развалинами. Не подымался уже голубенькими струйками дым к безоблачному небу; не слышно было ни песен возвращающихся с поля косарей, ни девичьего смеха, ни громких возгласов пастухов, ни бляенья и мычання стад. В балках и долинах, окружавших Субботов, где ютились прежде хутора и поселки подсусидков Богдана, было теперь тихо, безмолвно и мрачно, как в могиле; все склоны их покрывали сплошные зеленые рощи, среди зелени которых кой-где еще виднелись сохранившиеся трубы хат. Мазепа въехал в бывший поселок Богдана, и тут его поразила еще больше мрачная, глухая пустота. Улицы уже не было: среди двух сплошных стен дико разросшихся садов взвивалась какая-то узкая просека, покрытая кустарником и высокою травой. То там, то сям среди дивной зеленой заросли показывались или безобразно торчащие, словно голени скелета, дымари хат, или обросшие какими-то ползучими растениями, вросшие в землю ворота; самих дворов уже нельзя было распознать, — всюду тянулся один буйно разросшийся молодой вишняк, перепутанный с лободой да полынью...

Вот что-то зашелестело, и на дорогу наперерез путникам выскочила молодая, прелестная лисичка. Посмотревши с изумлением на неожиданных гостей, она круто повернула и юркнула в противоположную сторону. Из-под кустов шарахнулась стая каких-то больших птиц.

— Господи, Боже наш! — произнес тихо за спиной Мазепы один из казаков, — "селитьбы" людские жилищем дикому зверю стали!

— А давно ли так "розплюндрувалы" эти хутора? — обратился к нему Мазепа.

— Гай, гай, пане ротмистре, — отвечал казак, — только за гетмана Богдана люд Божий мирно и жил здесь, а потом, как пошли "шарпаныны" да "завирюхы", да все на этот несчастный Субботов. Сколько раз были здесь татаре, были и Опара, и Дрозденко — все скарбов гетманских искали... Терпел, терпел несчастный люд, да и стал переходить понемногу на левый берег, а все, что осталось, положил на месте зверюка Чарнецкий, за то ему, видно, и Бог собачью смерть послал: ни одного человека, ни малой дытыны в живых не оставил. Говорят, тут целый год ни проехать, ни пройти нельзя было от одного смрада непогребенных тел...

Между тем путники выехали уже из заброшенной деревни и поехали вдоль реки Тясмин, извивавшейся у подножий какой-то возвышенности, покрытой, как шапкой, зеленой кудрявою рощей.

Вот показались издали развалины одного млына, другого... Путники перебрались через остатки плотины, обогнули возвышенность и вдруг перед ними открылся обширный, опустевший двор, на котором одиноко стояли высокие, белые развалины какого-то большого каменного дома; крыши на нем уже не было, только несколько обвалившихся зубцами стен с широко зияющими оконными и дверными отверстиями подымались вверх, словно взывая к божественной справедливости.

Ни ворот, ни башен, ни окружающей усадьбу стены уже не было: деревянные постройки, видимо, все сгорели, а безобразные пепелища их давно уже покрыла густая, зеленая трава и лопухи... Только дальше еще виднелось какое-то более или менее сохранившееся здание, даже с признаками крыши, вероятно, комора.

Казачи молча остановили коней и словно онемели при виде этих величественных и грустных развалин.

— "Вот оно, Субботово, жилище славного гетмана, — думал Мазепа, не отрывая глаз от запустевшего двора. — Сколько раз ходил он здесь по этим светлицам, обдумывая свои думы, сколько пережил здесь радостей. Сколько бурь и тревог. А где сам гетман, где его славные замыслы? Останки его враны разметали, а великие замыслы потоптали друзья! Sic transit gloria mundi!" — покачал он грустно головой.

Долго смотрел так на руины Мазепа, и в сердце его начинала прокрадываться незаметно тяжелая тоска.

Наконец, его заставил очнуться голос одного из казаков.

— А где же, пане ротмистре, останавливаться будем?

— Да вот, хоть бы там, в тех руинах: там и огонь можно будет развести.

— Э, нет, там не годится, — произнес таинственно казак, говорят, что дух гетманов блуждает по руинам. Лучше там, под горой.

Мазепа согласился. Казачи отъехали к указанному месту, расседлали, стреножили коней и принялись за ужин, а Мазепа, забросивши через плечо ружье, отправился осмотреть развалины.

Взойдя на небольшой подъем, он очутился в бывшем дворе гетмана Богдана. Все покрывал теперь густой бурьян, лопух и репейник да низкорослые кусты дикого крыжовника. Нога Мазепы спотыкалась то об обросшее мохом бревно, то о камень, закрытый травой.

Солнце уже село, сквозь зияющие оконные дыры стен чуть просвечивало розовое, бледное небо. Кругом было тихо, так тихо, что даже становилось страшно... Из-за противоположной стороны выплывал полный месяц. Все было здесь мрачно, печально, как на кладбище... Тихое меланхолическое чувство охватило душу Мазепы: и в бледном румянце уже потухавшего заката ему почувствовалось что-то грустное и в самом теплом, неподвижно повисшем воздухе, казалось, веяла какая-то безмолвная печаль.

Задумчиво шел он по двору. Ему казалось, что целый рой вспугнутых его приходом теней окружает его тесной толпой. Как живой, вставал перед ним образ покойного гетмана... его убитого сына... жены, в глаза ему словно заглядывали отовсюду славные, уже почившие герои, когда-то жившие здесь: Чарнота, Ганджа, Морозенко, Кривонос.

Так дошел он до самого дома и по уцелевшим еще каменным ступеням поднялся на высокое крыльцо и вошел в развалины. Пола уже не было нигде, так что с крыльца надо было спрыгнуть вовнутрь. И здесь также, как и по двору, всюду росла высокая трава, чуть ли не жито, с торчащими изредка подсолнухами. Мазепа пошел по бывшим покоям гетмана, кое-где еще разделенным остатками стен.

Вот что-то зашелестело у его ног и мимо него, блеснув на месяце своей металлической спинкой, мелькнула длинная змея. Целая семья зеленых ящериц, вспугнутая его появлением, юркнула под большой камень... Вверху что-то захлопало: Мазепа поднял голову и увидел большого филина, глядевшего на него сверху круглыми, блестящими глазами. Ему сделалось как-то не по себе... Он прошел дом и остановился на противоположной стороне, выходящей когда-то в сад; теперь это был уже не сад, а сплошной лес, заглохший, засоренный

поломанными ветвями, опускавшийся волнистыми уступами вниз. Мазепа остановился и задумался.

Причудливое воображение все вызывало перед ним образы покойной старины, ему казалось, что в глубине этой зеленой чащи уже мелькают какие-то белые тени, вот-вот и эта безмолвная руина оживет сразу, раздастся зычный голос Богдана, зашумят трубы, заржут кони, засияет огнями весь дом.

Но кругом все было тихо, безмолвно и грустно. Вдруг до его слуха донесся явственно чей-то глубокий и тяжелый вздох.

Мазепа вздрогнул с головы до ног, сердце его замерло.

— Нет, нет! Обман слуха, игра воображения! — подумал он про себя и насторожился. Прошла минута, другая, он начал уже успокаиваться, как вдруг вздох повторился и на этот раз уже совершенно явственно и недалеко.

Мазепе сделалось жутко. Ему вспомнились невольно слова казака о тени Богдана, и он почувствовал, как волосы начинают слегка шевелиться на его голове.

Кругом было безмолвно, сквозь дыры окон вливались целым столбом лунные лучи, остальная же часть развалин тонула в таинственном полумраке. Теперь Мазепе слышались отовсюду тысячи странных неуловимых звуков... Сердце его забило с мучительной быстротой..

Однако желание узнать истину превозмогло в нем чувство страха. Мазепа прошептал про себя наскоро молитву, ощупал на себе оружие и начал тихо и неслышно приближаться к тому месту, откуда неслись вздохи.

Он остановился у другого крыльца, выходящего в сторону сада и, взобравшись на оконную нишу, с изумлением заметил не тень, не привидение, а высокого статного казака в дорогой одежде, сидевшего к нему в полоборота. Локти его опирались в колени, а руки охватывали склоненную голову. Вся поза казака была полна глубокого горя и отчаяния.

Мазепа хотел уйти, но ноги его словно приросли к месту. Затаивши дыхание, он замер у стены.

— Кто бы это мог быть? Или это дух бесплотный принял человеческий образ, или это плод моего воображения, или это дьявол хочет ввести меня в какой-нибудь ужасный обман? — думал он, с трудом сдерживая биение взволнованного сердца; но нет, фигура была так жизненна, что трудно было сомневаться в том, что это был живой человек.

Но вот раздался снова тихий, вздох, и затем Мазепа явственно услышал два слова, произнесенные казаком с невыразимой тоской:

— Ох, Ганно... Ганно!..

Голос показался Мазепе знакомым. "Богун!" — мелькнуло у него в голове; в это время казак отнял руки от лица, поднял голову, и Мазепа действительно увидел освещенное лунным сияньем лицо Богуна, но теперь оно не было сумрачно и угрюмо, — выражение глубокой тоски лежало на нем. Мазепе даже показалось, что на глазах Богуна блеснуло что-то сверкающее, влажное.

Ему стало как-то неловко, словно он нарочно открыл и подсмотрел тайну Богуна; чувство глубокого уважения к чужому горю охватило его, и так же тихо и осторожно, как он вошел в

будынок, он постарался и выйти из него.

Полная луна уже обливала своим сиянием и рощу, и развалины, и одичалый двор.

Мазепа шел тихо, охваченный сам какой-то безотчетной грустью. Вдруг ему показалось, что в стене коморы, стоявшей в отдалении, мелькнул красноватый огонек.

— Что это, пригрезилось мне или нет? — протер он себе рукой глаза, но нет, огонек действительно виднелся; при зеленоватом лунном сиянии он казался яркой красной звездочкой. Это явление очень заинтересовало Мазепу; он повернулся и направился к полуразвалившемуся зданию. Подойдя к нему ближе, Мазепа заметил действительно небольшое окошечко, затянутое пузырем, откуда и выходил красноватый свет, а возле — небольшую дверь, за дверью раздавался звук чьих-то тихих голосов.

Мазепа решился войти и, подойдя к двери, тихо постучал в нее. Тотчас же разговор утих, слышался звук шагов, кто-то подошел к двери, и тихий шамкающий голос спросил:

— Это вы, пане полковнику?

— Нет, человек добрый, это я, — отвечал Мазепа, — ротмистр надворной команды гетмана Дорошенко, Иван Мазепа, ищу ночлега.

Какой-то подавленный крик раздался за дверью, что-то с шумом упало на пол, огонь в окошке погас.

Мазепа хотел снова постучать в двери, но в это время за ним раздался громкий голос:

— Кто ты, человек, и зачем пришел сюда?

Мазепа повернулся, перед ним стоял Богун; они стояли теперь так, что луна освещала лицо Мазепы, оставляя Богуну в тени.

— Это я, пане полковнику, Иван Мазепа, — произнес он и, видя недоумение Богуну, прибавил, — разве пан полковник не узнает меня?

Богун действительно, казалось, не узнавал его.

— Ты? — переспросил он. — Но каким же образом ты появился? Что ты делаешь здесь?

Мазепа объяснил ему, что едет домой, остановился с казаками под горой на ночлег, а сам пошел осмотреть руины и, заметивши свет в окошке, подошел сюда.

— А, вот оно что! — произнес Богун. — Ну, если уж тебя привела сюда доля, так заходи и посмотри, как теперь у нас на Украине люд Божий живет, — и, обратившись к кому-то, скрывавшемуся за дверями, он произнес громко: — Открывай, открывай, Кожушок, это свой человек.

XXIX

Прошло минуты две, пока за дверями слышался шум отодвигаемого засова; наконец дверь отворилась и на пороге показался худой, седобородый старик, державший в руках горящую лучину, за ним стояла такая же сгорбленная старуха. На припечке горела лучина, и красный свет ее освещал их и их убогое жилище.

Они были одеты в какое-то жалкие, рваные лохмотья; голова старухи беспрерывно вздрагивала; полубезумное, забитое выражение их лиц и красных слезящихся глаз красноречиво говорило о том ужасе и нищете, в которых жили они. Несмотря на слова Богунa, они дрожали от страха, прижимаясь к стене, и с ужасом посматривали на Мазепу.

— Не бойтесь, не бойтесь, бидолахи, — ободрил их еще раз Богун. — Это свой, не ограбит и не убьет.

Вслед за Богуном в хату вошел и Мазепа: все здесь было так нищенски бедно, так жалко, и самый вид обитателей жилища так напоминал загнанных, истерзанных зверей, что Мазепа почувствовал невольное, как сердце его сжалось беспредельной тоской.

Старик и старуха все еще стояли у стены, боязливо посматривая на Мазепу.

— Ну, садись за стол, — предложил ему Богун.

Мазепа оглянулся и увидел грубый, сбитый из досок стол, на нем деревянную миску с какой-то горячей похлебкой и черные лепешки.

— Вот чем питаются теперь люди, — указал Богун Мазепе на эти черные, как земля, лепешки, — а ведь при Богдане он самый богатый хозяин во всем хуторе был.

— Ох, гетмане, батьку наш! — простонал тихо старик, — за него только и жили мы...

— Все, все пропало, пане полковнику, — зашамкала старуха, — двое сыночков и пять дочек было у нас, тешились ими, растили... Как умер гетман... ну и пошла буря... ляхи... тата-ре... Дрозденко... Опара... Ох, ох, вырезали, "выстыналы" весь народ... дочек моих на наших глазах погнали в полон татаре... а сынов... ой Боженьку... Боженьку! Посадил на "пали" Чарнецкий... а нас... нас... — старуха еще сильнее затрясла головой и тихо заплакала.

В убогой хате водворилось грустное молчание.

— Да, — произнес, наконец, мрачно Богун, — со всех хуторов только этих пара и осталась; жаль, видно, свои руины покидать, да и то, смотри, ютятся, как звери дикие, в тущобах, боятся хлеб посеять, чтобы не приметил татарин, или свой брат бунтарь, и не открыл их убежища... по ночам только из нор своих выходят и на всю округу нет кроме них ни одной человеческой души. Вот как мы выбили из-под лядской неволи бедный народ! — усмехнулся он горько. — Ох! Ох! Если б встал теперь гетман, да глянул, да посмотрел на свой край веселый, свою степь широкую... — Богун замолчал, махнул руками и склонил на них свою буйную, поседевшую голову.

В хате стало снова тихо, слышно было только, как всхлипывала баба тихим дребезжащим голосом.

Наконец Богун поднял голову и заговорил снова, обращаясь к Мазепе.

— Вот ты говорил не раз, что в делах державных нельзя рубить так прямо, как саблей на поле, а надо входить на все обстоятельства; мне же думается, что если б Богдан послушался нас и всех казаков, да ударил бы после Зборовской победы прямо на Польшу, освободил бы Мазуров, да выгнал бы навсегда шляхту из Украины и дал бы волю приписываться в казаки всему посполству — не было б всего того лиха, которое повстало теперь, — взгляд его упал на сгорбленную фигуру старика, потонувшую в тени, и горькая усмешка выступила на лице Богунa; он грустно покачал головой и произнес тихо, — а ведь были богатыри! Можно было из

них таких казаков набрать, что струсонул бы и Царьград, а теперь листья повявшие, оторванные от дерева и забитые ветром! Ох, отспевали мы скоро свою песню, Мазепо! Теперь ваша дорога, вас просветил уже больше Господь... Старайтесь и бдите, может вам удастся довести родину до того тихого берега, до которого не довели ее мы...

— Езус-Мария! Или я "недобачаю", или наяву мне, старому, снится? Да нет же — паныч наш... паныч! — шамкал дрожащим, радостным голосом дряхлый старик, в гайдуцком с гербами наряде, всматриваясь в молодого шляхтича, бодро сидевшего на легком золотистом коне. Согнувши красиво шею, похрапывая расширенными, розовыми ноздрями, аргамак подходил тихо к высокому "ганку" зажиточного, шляхетского "будынка", а всадник с особенным вниманием рассматривал и старый, покосившийся дом, и пекарню, и комору, и стойку, и двор, заросший целым гаем молодых кленов и осокоров, останавливаясь трогательно взором на каждом уголке, на каждом дереве, даже на гнезде аиста, примостившегося на высокой гонтовой крыше; аист был, видимо, тоже изумлен приездом нежданного гостя и, стоя на одной ноге, посылал ему какое-то радостное трескучее приветствие.

За молодым шляхтичем ехало с полсотни охранной команды; но казаки остановились почтительно у ворот, возле "брамы", ожидая дальнейших распоряжений.

— Да бей меня сила Божья, коли не он, не наш сокол ясный, — засуетился старик еще больше, приставляя козырьком руки к глазам, — что ж это я, пес старый, стою?.. Эй, ноги, поворачивайтесь живее... ведь экое счастье к нам привалило. Ей-ей не знаю, куда и бежать, — к старой ли пане-господарке нашей, либо... — болтал он от радости, ковыляя вниз по ступенькам с широкого крыльца. — Ой, Боже! Он же — он! Моя "дытына"... выпестованная, выхоленная! Ясновельможный Иване, паноченьку мой! — как-то всхлипывал белый, как лунь, дед, хватаясь рукой за стремя и отирая другой слезившиеся глаза, прикрытые совсем широкими нависшими седыми бровями; по извилистым, глубоким бороздам его щек сочились слезы; но все лицо лучилось сияющей, радостной улыбкой...

— Пан Вицент, "опикун" мой!.. Любый дядька! — вскрикнул молодой шляхтич, умиленный до глубины души этой встречей и, соскочивши с коня, начал горячо обнимать растерявшегося вконец от такой ласки старого слугу. — Да как же я рад, что тебя вижу на ногах, мой любый! Вот встреча, так встреча, уж радостней и не ждал, — говорил порывисто он, целуя старика в голову, а последний все старался поймать его руку, и только всхлипывал...

— Уже мы не "сподивалысь" и живым видеть нашего ясного пана... такой слух прошел. Господи... А вот у Бога — все готово!.. Да стой же, я хоть погляжу на своего коханого пана... Вырос, вырос и поздоровел!.. Как молодой дубочек, ровненький да крепенький, а с лица хоть воды напейся, — болтал обрадованный старик, поворачивая своего бывшего воспитанника во все стороны, — еще краше стал... Дали-Буг, правда! А нам было этот Ханенко таких страстей наговорил, не доведи Господи!

— Ханенко? Что-то его не помню...

— Ханенко, Ханенко, полковник, — закивал утвердительно. старик головой, — такой показной из себя, "голинный", налякал только ясновельможную пани.

— Мою маму? — переспросил живо приехавший гость.

— Так, пане, ясновельможную паню Мазепину.

— А как же она, моя родненькая, поживает? Здорова ли?

— Хвала Богу, хвала Небесному Пану, лучше теперь вельможной: уже с постели встает; а то было прихватило — и ноги, и руки отнялись, и как-то словно была не при себе... Да что и дивного? Один ведь у нее сынок, как одно солнце на небе, и утеха одна, и слава одна!.. Как она, наша "ненька" радовалась было, что король жаловал сынка ее, ясновельможного пана! Письма мне его мосци читала... Так тешилась!.. А тут вдруг такое... Ну, так вот она все насчет пана Фальбовского заговаривалась, чтобы наездом ехать на него, — да куда ж было про такое и думать... непорушне лежала...

— Бедная мама, сколько она настрадалась, — перебил тронутым, печальным голосом болтавшего слугу наш знакомый Мазепа, проведя рукой по белому лбу и подавив вздох, — да я лежал тоже на смертном одре, и если бы не одна семья... Эх, да что об этом толковать, и вспомнишь, так словно снег за спину посыпется... А что это все у вас опустилось? И "дах" перекосялся, и вон тот угол словно в землю ушел, и сторожевая башня как будто на ров накренилась, да и вал во многих местах пообсыпался?

Они стояли на высоком крыльце, откуда виднелся весь двор, окруженный овальной каменной стеной с бойницами; к внутренней стороне, ее лепились разные пристройки, и жилые помещения для надворной челяди и команды, и холодные, для разных складов, и конюшни, и сараи, и погреба, и даже кузницы. Въезд в каменную ограду защищен был высокой сторожевой башней, крепкой "брамой" и подъемным мостом; на двух противоположных концах каменного овала стояло еще по башне, но меньших размеров.

Вся эта крепостца, окруженная за каменной стеной еще земляным валом и глубоким рвом, помещалась на вершине довольно высокого холма, господствовавшего над всей окрестностью. За старым господским домом, носившим название замка, подымался старый, тенистый сад, а впереди, у подножья холма, тянулось длинной дугой, по высокому берегу речки Каменки, село Мазепинцы; внизу берега расстился уже широким размахом луг, блиставший изумрудной, сочной зеленью, с вьющейся среди "оситнягов" голубой лентой.

— Да кто же бы здесь заботился, — развел руками старик, — настоящего-то хозяина не было, а без хозяина ведь и скотина плачет... Старая пани все на своего ясновельможного сынка, на вашу милость, "сподивалась" — приедет, мол, славный мой сокол и все на свой "густ" обновит, а нам, говорит, старым, и этого хватит на век...

— Да, постарело все.. а многое поднялось, разрослось и вошло в силу... вот эти деревья кустами были, прутиками, за которыми бывало и не спрячешься, — а теперь чуть не лес... Правда, и я тут давно не был.

— Лет семь, а то и больше, — вздохнул дед, — как покойный пан "дидыч" наш померли...

— Много воды утекло... Ну, извести маму, чтобы сразу не потревожить, — да, вот и забыл: гукни, чтоб мою команду разместили, да чтоб и коням, и людям было всего вволю.

— Зараз, вельможный пане, я сам сбегаю, а то кому тут прикажешь? Они уже и отвыкли знать, что то есть панская воля... Я одним духом... Пан пусть отправится в свой покой и отдохнет, там все так стоит, как и было, пальцем никто ничего не тронул, бей меня сила Божья! А я одной ногой здесь, а другой там... без меня никто ничего не сделает, без старого Вицента, без его ока — никто! А ея мосць, стара пани, еще почивать изволит, так я вмиг! — зачастил он, вслед за своей болтливой речью, ногами, спотыкаясь о ступени и сильно жестикулируя.

Мазепа улыбнулся, глядя на этого суетившегося, дряхлого старца, на его добродушное,

знакомое, родное лицо, и почувствовал, как в тайниках его сердца шевельнулось что-то давнее — ясное, как лазурь среди прорвавшихся туч, и кроткое, как свет теплящейся лампы... Мазепа не пошел в комнаты, а стоял все, не отводя глаз от этой зеленеющей шири, принявшей снова в свои мягкие объятия дорогого, заблудившегося по жизненным стезям гостя: он глядел вдаль, где берег, постепенно возвышаясь, вырастал уже в целую гору с обрывами, покрытую синевшим лесом, как шапкой; внизу ее запруженная река разливалась озером, и, словно зеркало, сверкала серебристой гладью. Но Мазепа глядел и ничего этого не видел, погружаясь в воспоминания детства; он только чувствовал, как со дна души его выплывали давно забытые впечатления, как сердце трогательно ныло и как в тумане увлажненных слезою очей вставали воскресающие картины и реяли милые образы исчезнувших уже лиц. словно вот сейчас стоит он хлопчиком на этом самом высоком крыльце, еще, новом, и смотрит через амбразуру сторожевой башни на роскошную даль, и хочется так ему вырваться из этих "мурив", из этой тюрьмы на волю, на широкий луг; но за браму выходить запрещено строго-настрога; все говорят, что сейчас же тут и убьют: этот страх смерти и нападения от неведомого врага царит в семье, заставляет ее запирается в своем замке и вести затворническую жизнь... И чувство одиночества да тоски, знакомое, давнее, прокралось и теперь ему в сердце. Вот он с сестрой своей, бледной девочкой, старшей его несколькими годами, сидит, притаившись, или в полутемной светлице, или летом в саду, либо в закоулке, под высоким муром; они передают друг другу рассказы и догадки, как должно быть за муром хорошо, да просторно, а особенно вон там, где озеро блестит, где за ним "млыны" шумят и вода пенится... Они сговариваются даже убежать, но отца боятся: он такой суровый, да мрачный, большею частью ходит все один, осматривает мур, гарматы, гаковницы и по ночам не спит... И припомнилось ему, как он раз ночью проснулся и увидел своего отца: тот тихо молился перед Распятием, озаренный лампадой, а потом, когда отец повернулся перекрестить его, то лицо его показалось таким бледным, как у месяца, а глаза его были полны слез. Маленькому Ивану тогда стало жаль своего отца, и он хотел было броситься к нему на шею, но туг вошла мама, еще молодая, важная, красивая и, поцеловавши в голову своего мужа, заметила строго: "Не унывай, друже мой, ты убил хриstopродавца Зеленского поделом, как изменника нашей веры и родины, а тебя приговорили к смертной казни, к "баниции", по кривде; так одно из двух: или я поеду хлопотать у короля о снятии приговора, или бросим это гнездо и уйдем хоть за пороги!" И его, молодого хлопчика, так поразил этот разговор, что он целую ночь продрожал под одеялом. Ему все представлялись какие-то страшные пороги, за которые нужно было прятаться от хриstopродавца-разбойника... Конечно, на другой день все было передано сестре под строжайшим секретом и с того дня они, дети, поборов страх, начали с нежностью ласкаться к отцу, а вскоре и мать выехала из Мазепинцев.

XXX

А потом со Степаном они удрали за мур к речке, — продолжал вспоминать Мазепа свое далекое детство, — кажется, вон за теми вербами нашли душегубку и с удочками поплыли вниз по реке к озеру, рыбу ловить, да посмотреть "млыны". Мазепе и теперь стало жутко, когда он вспомнил, с каким страхом и безумным восторгом сидел он в лодке, как она скользила, колеблясь, по узким извилинам речки, как очерет и осока шептались, кивая на них укоризненно своими метелками, как ласточки вились над ними, а то "кыгикалы" чайки, почти касаясь лодки крылом, словно желали выдать врагам беглецов; но Степа смело и ловко правил челном, и тростник с "гайками" убегал далеко назад... А он, паныч, все робко осматривался, сердце у него трепетало тревожно, но глазенки ловили новые красоты развертывавшихся картин и загорались новым восторгом, заглушавшим чувство страха... И вдруг перед ними открылось озеро — широкое, широкое,.. сразу показалось даже, что и берегов ему нет, только посредине зеленел остров... К нему-то Степа и погнался душегубку, чтобы поскорее скрыться от чьего-либо любопытного глаза и, спрятавшись в лозняке, половить рыбу. Когда он выскочил на

берег, то радости его не было границ; он прыгал от опьяняющего удовольствия по кустарникам, по камням, наслаждаясь удачею задуманного бегства и азартом риска... Он, помнится, даже не обращал внимания, как Степа выхватывал ловко удочкой линей и карасей, а перебежал лишь с одного места на другое, да любовался ширью воды, и вдруг, о ужас!

— Он увидел, что не привязанный челнок оторвался и плыл от острова, приближаясь уже к противоположному берегу. Степа хотел было броситься вплавь за ним или угодить в омут, но Ивась удержал его от этого безрассудства: тогда только им представился весь ужас их положения... Паныч, впрочем, поклялся взять вину на себя и не выдать товарища, — они вместе уже учились грамоте у дьячка... Целый день, помнится, провели они на острове в томительном ожидании; только к вечеру их разыскала погоня и доставила к разгневанному отцу еле живых...

— Да, этого не забуду до смерти, — прошептал Мазепа и словно почувствовал вновь, как оцепенел тогда он от страшного холода, когда глянул на бледное, вздрагивавшее нервно лицо своего отца.

— Это ты, шельма, подбиваешь паныча не слушаться батька? — сказал отец спокойным, ледяным голосом и, обратившись к слугам, прибавил повелительно, — розог!

Степан повалился в ноги, бормоча какие-то оправдания, а паныч дрожащим голосом осмелился попросить:

— Прости ему, тато, он не виноват... это я подбил...

— А! Ты? — бросил отец в сторону сына свирепый взгляд, — ну, так полюбуйся, как его будут пороть, и "карайся".

— Тато! — вскрикнул со слезами Ивась, — за что же он через меня должен страдать? Мало того, что дьяк его, вместо меня, ставит на горох на колени, так теперь еще через меня станут бить?.. Уж коли бить, так меня первого...

Отец улыбнулся как будто от удовольствия, но произнес тем не менее холодно:

— Да, ты прав, ты зачинщик. Но он тоже виноват, так как осмелился нарушить мой строгий приказ, — а потому всыпать обоим: хлопца растяните на земле, а для паныча принесите коврик.

И экзекуция совершилась бы непременно, если бы не прибежала сестра, и если бы не заступился за паныча и хлопца старый Вицент, — да, он и тогда был уже старым, — и вымолил им прощение.

— Ах, как это было давно и как врезалось в душу, — проговорил тихо Мазепа, проведя рукой по влажным глазам, — и отчего это все так дорого? Тогда ведь казался этот большой замок тюрьмой... Да, но в этой тюрьме текла светлая юность, — и ее-то, бесповоротную, жаль! А потом? Потом и в этой тюрьме стало светлее...

И ему припомнилось, как возвратилась мать с радостным известием, как отец бросился обнимать ее, как стал целовать. их, детей, и дурачиться даже с ними. Сейчас же опущен был в "брами" мост и вся семья в колымаге отправилась в мазепинскую церковь молиться, а потом священник и причт были приглашены в замок, и там уже пировали все — и паны, и попы, и команда, и слуги целый день и целую ночь. В колокола звонили, из гармат палили.

С того дня жизнь их совсем изменилась: стали выезжать к соседям в пышные замки, стали соседи и разные магнаты их навещать; проснулись большие светлицы от шума, вздрогнули стены от громких виватов, раздалась в зале даже песня под звуки торбана, гуслей; но для него, паныча, недолго тянулись эти праздничные, веселые дни. Вскоре отец его отвез в Киев и определил в братскую бурсу.

В бурсе ему показалось сначала дико и нелюдино, несмотря на стоявший немолчно там гам, несмотря на крики и драку, заканчивавшуюся обыкновенно суровой расправой отца ректора. Тут-то он и почувствовал впервые настоящую тоску по родном гнездышке, по семье, и хотя потом свыкся с товарищами и даже стал общим любимцем, но это не ослабило его тоски по Мазепинцам: не было ему большей радости в мире, как увидеть старого Вицента у братской "брамы"; последний сам или с вельможной пани приезжал раз в год и привозил разные дары отцу ректору и отцу эконому за догляд паныча и за отпуск его на каникулы... И они садились все вместе в обширную буду, а если с мамой — в рыдван; Ивась обнимал в восторге своего дядьку и расспрашивал обо всем, что делалось без него дома, о сестре, о Степе, о кучере и о собаках... Вицент ему докладывал и сообщал среди мелочей и о важных вещах: о том, например, что король подарил отцу еще новое село Будище, а потом Трилисы; но эти села мало занимали ратора: ему отраднее было узнать, что хлопцы нашли много выводков, что в лесу расплодились волки, что Найда оценилась... Да, Мазепинцы ему казались раем и лучшего блаженства, как тогда на каникулах, не переживал уже он никогда в жизни... Правда, были потом испытаны им и опьяняющие восторги, и жгучие наслаждения, но в них всегда сказывались отравы и едкая горечь, а в тех детских радостях было все так светло, так безмятежно?

Мать нежно ласкала своего любимчика Ивася, отец гордился его успехами; все соседи завидовали и сулили ему большие успехи при дворе; находились и такие, что советовали отцу, для прочности карьеры сына, отдать его в иезуитскую коллегию и приобщить к латинству.

Такие советы, впрочем, возмущали страшно отца; он, будучи вспыльчив, обрывал сразу советчика: "Проше пана, такого мне не говорить нигды": Мазепы не были "перевертнями", зрадниками, и не будут!.. В коллегию в Варшаву я сына отдам, повезу его и за границу учиться, пусть он будет учение и умнее их всех; но пусть всю эту науку принесет он на корысть своей родине, своему народу".

А мать, бывало, при этом позовет Ивася к себе, побелеет, как полотно, и проговорит строгим голосом, указывая на образ: "Вот перед этой святой иконой, сыну, клянусь, что, как я тебя ни люблю, а если ты изменишь своему народу и родной вере, то задушу тебя вот этими руками, задушу насмерть, не побоюсь и греха".

И эти слова отца и матери врезаются ему глубоко в душу и звучат громко в коллегии иезуитской, среди польской и латинской речи, и за границей среди всяких чудес и диковин.

А потом он при пышном дворе, обласкан королем, но душно ему, молодому и полному сил, среди улиц Варшавы, среди раззолоченных королевских покоев, среди разряженной и кичливой шляхты. Все на него смотрят свысока, с презрением даже, подчеркивая на каждом шагу, что он выскочка из холопов, схизмат, и что такому вовек не сравниться со шляхтой; это оскорбляет и бесит королевского секретаря, и он, в свою очередь, начинает ненавидеть и презирать эту глупую "пыху" глупого панства: ему еще дороже кажутся родные хлопы и честные казаки, ему чудятся чаще звуки своих песен и ярче выступают картины родимой стороны...

И вот, несмотря на покровительство короля, несмотря на лестные для королевского секретаря

поручения, он ясно видит, что карьеры для русского шляхтича среди польской — нет и не будет; и эта безнадежность, безвыходность положения гнетет с каждым днем больше и больше его душу...

— Да, это тяжкое было время, — вздохнул Мазепа, — хорошо, что оно прошло безвозвратно... ежедневные уколы самолюбия, сети интриг, тысячи сплетен, клевет — и нужно было напрягать постоянно ум, оглядываться ежеминутно, быть готовым в каждое мгновение отпарировать заносимый сзади удар... И для чего тратилась та энергия? Для удержания бессильных и бесполезных симпатий короля, власть которого падала ежедневно... О, как он рвался на Украину! Там, на родине, бурлила и кипела ключом жизнь, там, в этой кипени, одаренные, сильные люди могли сразу всплыть наверх, а здесь они должны лишь пресмыкаться бесцельно, злобствовать на кичливую шляхту, которой казаки уже сбили рога... А эта история с Пасеком... — О, негодай! — вскрикнул Мазепа. — Ты отказался посчитаться за оскорбление в честном бою, ты отказался скрестить саблю со мной, как с неравным, ну, так я найду тебя и сравню со псом!..

— Все уже, ясновельможный пане, устроил! — выкрикнул в это мгновение запыхавшийся Вицент и заставил вздрогнуть Мазепу: последний до того погрузился в свои воспоминания, что не слышал даже тяжелых шагов его. — Все уже устроил, — повторил старый слуга, — а теперь пойдем и до ясновельможной пани...

Мазепа вошел вслед за Вицентом в обширные полутемные сени, а оттуда в светлую уже переднюю; его так и обдало сразу знакомым запахом, в котором слышались и смирина, и можжевельник, и яблоки, с преобладающим тоном затхлости да гнили. На гостя, впрочем, этот тяжелый воздух произвел видимо, приятное впечатление, и он, сбросив на руки Вицент та керю, спросил почему-то у него:

— А у мамы все та ж прислуга?

— Ключница Палагея жива: сгорбилась больше, но еще "дыбае", а покоевку Фррсю выдали замуж в Будвици, а другую, Горпынку, отдали в Фроловский монастырь с Кулыной учиться "гафту", а теперь возле вельможной пании ухаживает черничка...

Мазепа вошел в светлицу. Это была довольно обширная комната с четырьмя окнами, выходивших в сад и заслоненных ветвями деревьев; теперь сквозь густую листву пробивались лучи солнца и наполняли светлицу приятным зеленым светом. Обстановка в ней была та же, что и прежде: посреди комнаты стоял дубовый стол на вычурных ножках, изображавших драконов, покрытый цветным "обрусом"; вокруг стола размещались в строгом порядке стулья с высокими прямыми дубовыми спинками, украшенные резными гербами. У стен стояли низкие диваны, напоминавшие скорее широкие "ослоны", прикрытые тафтяными матрасиками; один угол светлицы уставлен был иконами с висячей перед ними большой лампадой, другой — занимал шкаф со стеклянными дверцами, наполненный дорогой металлической посудой. Такой же дубовый шкаф помещался и в противоположном углу, а в четвертом — возвышалась громоздкая изразцовая печь. На глухой, против окон, стене висел роскошный ковер, на котором прикреплены были накрест два бунчука, в знак того, что покойный владелец этого замка был бунчуковым товарищем; две боковые стены украшены были портретами дородных шляхтичей и пань, в "кораблыках" и "намитках", изображавших представителей рода Мазеп — Колединских. Пол был вымощен дубовыми досками, натиранными оливой, вследствие чего они пропитались особого рода политурой, блестящей как зеркало и отражавшей даже предметы. Чистота в светлице была безукоризненная, сверкающая...

Вицент прошел на цыпочках в другой покой, а Мазепа остановился у стола; послушался ему

еще легкий скрип следующей двери и потом все смолкло...

Охватившая тишина погрузила его снова в какое-то элегическое настроение, словно отлетели от него в это мгновение все тревоги волнующейся там, где-то далеко, жизни и заменились сладким дыханием покоя и сна; даже мысли его ни на чем не фиксировались, а поплыли лениво — от Фроловского монастыря к аллеям тенистого сада, от аллей к темной светлице с таким именно запахом, а потом вдруг перенеслись молнией в степь, в небольшую хату, полутемную, пахнущую любистком и мятою... Тишина и блаженное, полусознательное состояние, бесшумные тени... наклоненная головка дивного ангела с чарующим, как мечта, взором, — и Мазепа почувствовал легкий укор, сжавший его сердце до боли...

Вдруг в третьей комнате послышался легкий крик, суетливый говор, и через минуту появился в дверях Вицент и, распахнув их, произнес торжественно:

— Пожалуйте!

Мазепа вошел в совершенно светлую комнату, названную "среднею"; сквозные окна ее выходили с одной стороны на открытую поляну сада, а с другой — во двор; широко врывались в них справа солнечные лучи и ложились сверкающими пятнами на полу... У стен ее был прилажен сплошной широкий диван, вдоль него симметрично стояли маленькие, низенькие столики, вроде табуреток. Мазепа прошел эту "средню" торопливо на цыпочках и вошел в следующую комнату, из которой доносился радостный шепот молитвы.

Со света здесь показалось ему совершенно темно, и он остановился на минуту у дверей, чтобы присмотреться, где стояла дубовая, широкая, с высокими спинками кровать его матери.

— Сюда, ко мне, "дытына" моя родная! — понесся ему навстречу довольно громкий, взволнованный голос.

— Мамо, "ненько" моя! — вскрикнул порывисто Мазепа и, бросившись на колени перед кроватью, стал осыпать поцелуями руки матери.

— Ко мне, сюда... дай твою умную и буйную голову, вот так, поцелуемся, дорогой мой, любимый, — ласкала она его и обнимала, — уж такая радость, такая!.. Владычице, прибежище всех скорбящих! Ты укрыла покровом Своим моего единого сына и я отдам на служение Тебе свое сердце!.. Сестра Ликерия, — обратилась она к стоявшей у кровати монахине, — отдерни хоть немного "фиранку", дай мне разглядеть моего сокола, да и оставь нас...

XXXI

Монахиня исполнила приказание ее мосци и вышла бесшумно из спальни. Свет ворвался в окно через синий "серпанок", натянутый на раму, и лег каким-то голубоватым оттенком везде. При таком освещении лицо матери показалось Мазепе особенно бледным, безжизненным и страшно против прежнего исхудавшим, но не постаревшим: глаза ее и теперь сверкали огнем и энергией, а в голосе, тоне и жестах сказывалась и сила характера, и какое-то покоряющее величие.

— Нет, не изменился, такой же хороший, такой же "красунчик" мой ненаглядный, Ивашко мой любимый, — заговорила растроганным голосом больная, рассматривая пристально своего давно невиданного сына. — Только вот меж бровей появились морщины, да глаза стали задумчивыми, утратили прежнюю веселость... Ох, натерпелось уже видно мое порожденье напасти, испробовало годя... — И она поцеловала снова в голову сына.

— Эх, не бережешь ты себя, а дратуешь все из-за "примхы" свою долю. Вот видишь ли, твое несчастье, этот "непоквитованный" еще "гвалт", — свалило меня... видно, дряхлеть уже стала... а потому до сих пор и не в силах отомстить врагу... это страшная мука, она-то меня и держит в постели...

— Мамо, голубочка, как я вас люблю! — заговорил взволнованный, растроганный Мазепа, прижимая к губам костлявые руки матери. — Вы мне и разум, и сердце, и гонор! Простите, что из-за меня так долго страдали... Но, клянусь, — я защитником был оскорбленной... а не... не... оскорбителем... Я честно, по-шляхетски предложил скрестить сабли... Но он, негодяй устроил засаду... и меня...

— Довольно, мне не нужны подробности... Ты поступил по-шляхетски, а он по-разбойничьи, рассчитывая, что русский род не найдет ни суда, ни расправы...

— О, нет! Он от меня не скроется нигде! Я посчитаюсь с ним, я затравлю его псами...

— Так, так, дитя мое! В тебе моя кровь!.. И твое слово уже мне прибавило силы... — У больной появился действительно на щеках слабый румянец. — А знаешь что? Ведь этот изверг, этот кат здесь, недалеко...

— Не может быть?

— Да, он вскоре после своего "пекельного вчынка" переехал в Ружин, миль пять отсюда, не больше, и преблагополучно там пребывает... О, эта мысль, что враг так близко, что он смеется над родом Мазеп, не дает мне покоя, жжет огнем меня всю... А проклятая болезнь приковывает меня к постели и не пускает посчитаться с обидчиком моего сына, моей фамилии... О, эта мысль истерзала меня...

Мазепа вскочил, как раненый лев.

— Так враг мой здесь? — прошипел он, побагровев и сжав кулаки. — Ну, посмотрим, как-то теперь отвертишься ты, дьявол, от "поквитования"...

— Только ты еще не вздумай с ним в гонор играть! — заметила строго пани Мазепина. — С разбойником нужно поступать по-разбойничьи. Устрой "наезд"... и баста! Они думают, что только польской шляхте дозволительны "наезды", а русская шляхта бесправна... Нет, годи! И мы потрошить вас, королят, станем! С тобой приехало хоть сколько-нибудь казаков?

— С полсотни.

— "Досконале"! Вицент и у меня наберет столько же... хотя народ и отвык немного от сабли, да с твоими молодцами пойдет рука об руку, а с сотней ты камня на камне не оставишь и его, пса, вытащишь, да и потешимся уж мы над врагом!

— Вы правы, мамо... каждое слово ваше — истина! Да, "наезд, наезд" и расправа, — возбуждался больше и больше Мазепа, потирая руки и шагая из угла в угол по спальне. — О, фортуна ко мне благосклонна, и мы воспользуемся ее лаской.

— Завтра же. Нужно напасть врасплох. Он считает, конечно, тебя мертвым, а меня ничтожной безопасной вдовой... и никаких мер, вероятно, не принял... А ты налети молнией и разразись над ним громом!

— Завтра? — остановился несколько пораженный Мазепа.

— Да, завтра: раньше нельзя будет собрать команды и коней; но Вицент и Лобода мне все это за ночь уладят.

— Ну, что ж, хоть и завтра.

— Да, сегодня и твои отдохнут, подживятся, я уже распорядилась, а утром рано с Божьей помощью... Ну, вот я теперь и покойна, и силы прибавилось, даже присяду, поправь только мне подушки.

Мазепа бросился к кровати и, усадив больную, подложил ей под спину несколько подушек.

— Хорошо, спасибо! — кивнула любовно головой вельможная пани. — Так-то я скоро и вставать начну, а если привезешь и поставишь перед мои очи этого шельму, Фальбовского, то и сейчас схвачусь надавать ему пощечин. Ну, значит с ним дело покончено, позор, лежащий на роде Мазеп, будет смыт... А теперь, когда я успокоилась, возьми ты кресло и сядь против меня, вот здесь, да поведай мне, где ты теперь, при каком деле, и что думаешь вообще предпринять?

Мазепа придвинул стоявшее в углу кресло к кровати и сел молча, будучи бессильным побороть сразу охватившее его волнение и взять себя в руки.

— Где ты теперь? — спросила снова, после небольшого молчания, пани Мазепина.

— У гетмана Дорошенко.

— Дорошенко? Слыхала, слыхала: он из славного казачьего роду... только теперь этих гетманов расплодилось, словно жаб после дождя, — то там прослышишь, то там, — и один на другого идут, — тот татар за собой тащит, а тот ляхов... Смута одна, да безладье! Эх, не поведет это к добру нашу бедную неньку-вдовицу! — Как умер батько Богдан, так и пошло все "шкереберть"! Вот большую половину нас отдали на растерзанье ляхам... Разорвали нас надвое!..

— А вот, мамо, Дорошенко Петр и задумал "злучыть" обе половины Украины в одно целое.

— Да помогут ему силы небесные! Это первое благо, которого должен добиваться всякий честный сын своей отчизны. Да, и мы можем так же крикнуть, как крикнула одна мать на суде Соломона, — отдайте кому хотите дитя мое, только не рубите его пополам.

— Словно угадали вы, мамо, думки гетмана.

— Так служи ж ему, сыне мой, верой и правдой.

— Да, мамо, гетману теперь нужны верные слуги... Предстоит трудное дело... Он ищет союза...

— Только не с ляхами? — вскрикнула пани подчашая.

— Успокойтесь, мамо, он на поляков именно и собирает теперь силы и подыскивает союзника. Андрусовский договор, которым нас, связанных, отдали им в руки, и побуждает его порвать эти путы.

— Благодарю Тебя, Царица Небесная! — перекрестилась мать.

— Помни, мой сын, что твой род Мазепин был всегда "по-божным" и ревнителем нашей родной Грецкой веры, так не изменяй же своей вере ни в каких "прыгодах"... В ней вся сила и мощь. Вот и сестра твоя единая не восхотела суеты мира сего, а возлюбила тихое убежище молитв и

воздыханий, сподобилась уже ангельского сана и молится за нас, грешных, во Фроловском.

— Сестра моя уже в черницах! — воскликнул потрясенный этим известием Мазепа. — Бедная, любая! Она всегда была такая тихая, да печальная и не нашла, видимо, радостей. Ах! Я так любил ее...

— И люби, а жалеть нечего, когда сердце ее понадобилось Богу, а радости душевные она в монастыре обрела, там только и есть надежное нам пристанище, — пани вздохнула и, взглянув набожно на образ Пресвятой Богородицы, висевший у ее изголовья, погрузилась в какое-то раздумье. Мазепа тоже замолчал, подавленный грустным настроением.

— Во всем Бог! — промолвила как-то торжественно после долгого молчания пани. — Вот и мне он послал радость, а вместе с ней и силы. Я вот задумала встать сегодня и хоть перейти до "креселка", а от креселка к столу и с тобою, любым, сидя вот за тем столом, потрапезовать. Меня, очевидно, "грызота" и держала в постели, невозможность отомстить врагу терзала мое сердце, а теперь, когда я увидела тебя живым и здоровым, когда хоть узнала, что ты стал на хорошей дороге и что завтра же ты приведешь мне связанным этого Фальбовского, то сердце мое успокоилось, а душа взыграла, и я сразу почувствовала силы... Кликни, голубе, ко мне мою черничку, пусть она меня опорядит.

Пани действительно обедала уже со своим сыном за столом в соседнем покое, куда она дошла при помощи сына и чернички. Прислуживал за столом сам Вицент, он никому не уступил этой чести и принес еще для радостного дня особенного старого меду, еще прадедовского, тайны хранения которого никому не доверял. Больная отведала тоже "столетнего старца" и словно воскресла: глаза ее заискрились огнем, бледные щеки вспыхнули, в речах закипели энергия и сила. Начала она расспрашивать сына о всех подробностях его жизни со времени последней разлуки. Мазепа охотно передавал ей пережитые им впечатления, хотя не все, а про своих спасителей в заброшенном хуторе, среди диких степей, распространялся он с особым усердием. Он не пожалел ни красок, ни теплоты для описания доблестей, радушия, гостеприимства, милосердия и отцовской любви старого Сыча, а особенно ангельской доброты, дивного сердца, природного ума и чарующей красоты его внучки, несравненной Галины. Мазепа рассчитывал, что рассказ его о необыкновенном казачьем заслуженном семействе, — последнее обстоятельство он старательно подчеркнул, — умилил до слез мать, она пожелает увидеть, обнять поскорей благодетелей, спасших ее сына, но в расчете он обманулся. Мать, действительно, была растрогана его рассказом, но спасение от смерти отнесла к милосердию Божию, которое избрало простых людей исполнителями Его воли, так что Галина и Сыч были только слепыми орудиями святых предначертаний; но во всяком случае, по ее мнению, и они заслуживали большой награды.

— У нас при Трилисах есть отдаленный поселок, большой хутор со всеми удобствами, — заключила пани Мазепина, — так я его и "фундую" навеки этой семье.

— Да, — тихо промолвил, замявшись, Мазепа, — пока... конечно... им там, в дикой степи... одним с калеками лишь... очень опасно, татары и всякий лихой человек.

Несмотря на пуховые перины и мягкие подушки, Мазепа, взволнованный впечатлениями дня, не мог уснуть почти всю ночь. И этот "наезд", сопровождаемый опасностями, которых он хоть и не боялся, но не ожидал, и состояние здоровья боготворимой им матери, и ее гордое, неподатливое отношение к этой дорогой его сердцу семье, и проснувшаяся с новой остротой тоска по Галине, — все это не давало успокоения его нервам и отгоняло от очей сон.

На рассвете разбудил его в первой дреме Вицент. Все было готово к отъезду; сто всадников,

хорошо вооруженных, с двумя хоругвями, уже гарцевали на породистых лошадях. Мазепа пошел к матери; она уже сидела, одетая, в кресле.

— Ну, с Богом, мой сыне, мой сокол, — приветствовала она его радостно, — сподобила меня Пречистая дожидаться этой минуты. Сестра Ликерия, — обратилась она к сидевшей в углу черничке, — сними-ка ладанку, что висит на ризе угодника Николая.

Черничка исполнила безмолвно волю своей патронессы.

— Пусть мощи святого угодника, зашитые в этой ладанке, хранят тебя от всяких бед и напастей, — сказала она торжественно и, осенив снятыми реликвиями наклоненную голову сына, надела их ему на шею.

— А теперь спешу, чтоб не опередила тебя "чутка". Ну, с Богом, со Христом! — перекрестила она его еще раз.

Мазепа с чувством поцеловал благословившую его руку и бодро вышел из покоя, промолвивши:

— Будьте покойны, мамо, — сын ваш исполнит свой долг.

Весь этот день пани Мазепина провела бодро и в особенном возбуждении, поднимавшем ее жизненные силы. Поддерживаемая черничкой, она хотя тихо, но переходила и в другой покой, и в светлицу, призывала к себе несколько раз Вицента и расспрашивала, хорошо ли он спорядил команду. Старый слуга передавал обо всем с восторгом, хвалил свою распорядительность и хвастал, что он сам собственноручно спорядил две небольшие пушки и отправил их на всякий случай с отрядом.

Так прошел день. Ночь провела пани в молитве. Но на следующий день, несмотря на свой железный характер, начала волноваться, и чем дальше шло время, тем больше ее одолевала тревога. Она велела пяти всадникам разъехаться по дороге мили на три вперед, в полумильном расстоянии один от другого, и передавать один через другого известия, летя сломя голову. Теперь она ежеминутно гоняла и Вицента, и черничку к сторожевой башне спросить "вартового", не видно ли верхового гонца. Наконец, в сумерки уже только ей дали знать, что отряд с вельможным паном ротмистром благополучно возвращается назад. Не было границ восторгу матери, но вместе с тем и нетерпению ее не было границ; она распорядилась осветить парадно весь замок, велела перенести в переднюю свое кресло и, дотащившись с трудом до него, уселась и начала ждать с необычайно жгучим волнением своего сына. Наконец завизжал подъемный мост, заскрипела брама, послышался топот коней, а через минуту и торопливые шаги ее сына.

— Где Фальбовский? — остановила она его хриплым голосом, — вели сейчас, же привести его ко мне.

— Фальбовского нет, — ответил с отчаянным жестом Мазепа.

— Как нет? Где же этот злодей?

— Прослышали уже все мосцивые, что Дорошенко на них поднимается, и удрали заблаговременно.

— Трус! — вскрикнула с презрением мать, — но что же ты сделал?

— Сжег весь двор, а поселянам отдал на поживу токи его, скирды, амбары и все добро.

— Это ты хорошо сделал... но враг... враг смеется на воле, — стиснула она кулаки.

— Клянусь клинком этой сабли, — обнажил ее побледневший от внутренней боли Мазепа, — что найду его где бы то ни было, и смою его кровью позор!

— Аминь! — произнесла сурово взволнованная благородным негодованием мать и, протянув сыну руку, поцеловала его в наклоненную голову.

После этого эпизода, взволновавшего было тихую гладь Мазепинского стоячего "плеса", жизнь в замке вошла снова в свою колею. Пани Мазепина дня через два начала быстро поправляться: ее крепкая натура, не получая больше разрушительных раздражений, вошла в свою силу и подняла на ноги владительницу замка. Мазепа тоже успокоился, занявшись усердно обновлением и вооружением укреплений.

Виделся он с матерью хотя и часто, но беседы их были коротки, так как присмотр и указания в работах отрывали его постоянно. Впрочем, и в этих кратковременных беседах с матерью высказывалось ярко величие ее духа, исполненного и суровой строгости в политических и религиозных вопросах, и глубокой привязанности к своей родине, и нежной, но вместе с тем и гордой любви к сыну; она возлагала на него великие обязанности и окрыляла надеждами его отвагу. Мазепа всегда любил и уважал свою мать, но теперь она возбуждала в нем какое-то благоговейное чувство, и каждое слово ее падало ему на сердце огненной каплей, оставлявшей в нем неизгладимый след.

XXXII

Прошла неделя. Каждый вечер утомленный Мазепа бросался на постель, и крепкий "непрытомный" сон оцепенял сразу все его боли и раздраженья, улегшиеся где-то далеко в тайниках сердца, но когда главные интересовавшие его работы были прикончены, а остальные уже не представляли такого интереса, или просто прискучили, то Мазепа стал больше ходить в сад и задумываться. В отдохнувшую от бурных тревог голову стали врываться беспокойные мысли, унося его то в Чигирин, то в безлюдную степь к затерявшемуся в ней хуторку. Наконец, они все закружились там, возле этого хуторка и светлой хатки, потонувшей в зелени вишняка. Сердце Мазепы заныло, и он почувствовал прилив такой безысходной тоски, с которой бороться нет сил человеку, она завладела им совершенно; днем точила его воспоминаниями, воскресавшими и стоявшими перед ним неотступно, а ночью ласкала и терзала его сновидениями; то он видел Галину, дивную, в светлых одеждах, несущуюся к нему с ангельской улыбкой и сверкающим счастьем в очах, то мерещилась она ему вся истерзанная от горя, то снилась уносимая татаринном из дыма-пламени, простиравшая к нему с воплем руки.

Мазепа, наконец, не выдержал и объявил матери, что он должен завтра же отправиться в степь и отыскать своих спасителей, потому что они там находятся в постоянной опасности. — Не спасителей, а добрых и преданных людей, — поправила, его строго мать, — а против поездки я ничего не имею: чувство благодарности есть удел высших натур. Я буду сама рада поблагодарить их и водворить в подаренном мною хуторе.

Мазепа прикусил губу от досады, что мать смотрит на его лучших друзей с такой холодной гордостью, но он полагался на время, на обаятельное впечатление, которое непременно произведет Галина, и теперь был в опьяняющем восторге, что мать не оказала ему никакого препятствия в задуманном предприятии. С лихорадочной поспешностью бросился он делать распоряжения о выезде. Он собирался завтра же, чуть свет, со своими казаками в степи, даже пригласил одного искрестившего их вдоль и поперек старика Лободу в свой отряд для указания пути, — но неожиданное событие расстроило все его планы: в тот же вечер

прискакал из Чигирина в Мазепинцы гонец и привез Мазепе строгий приказ от гетмана — немедленно вернуться к нему.

Приезд гонца совершенно ошеломил Мазепу. Он только что хотел уже отправиться в степь за Галиной, и снова судьба ставила ему неожиданное препятствие. Он начинал уже подозревать во всем этом что-то фатальное; эти необычные сцепления обстоятельств пробуждали в нем суеверное чувство. Однако, несмотря ни на что, было невозможно послушаться гетманского приказа, а поэтому, не теряя ни минуты времени, Мазепа, скрепя сердце, начал собираться в отъезд.

Известие о немедленном отъезде сына сильно потрясло и мать Мазепы, но гордая пани не показала никому своего страдания, она не просила сына остаться ни на одну лишнюю минуту, а только потребовала, чтоб Мазепа взял с собою душ десять ассистенции из своего замкового товариства.

— Не годится тебе, сыну, быть без "власной" компании, — объявила она. — Пусть видят все, что не из какой-либо худобы поступил Мазепа к гетману Дорошенко на службу.

— Но, мамо, — попробовал возразить Мазепа, — как же вы останетесь? Я буду бояться за вас: наступает тревожное время.

На красивом, мужественном лице пани подчасей выступила гордая усмешка.

— Сыну мой, — произнесла она с достоинством, — отец твой, уезжая в поход, не боялся оставлять меня одну с малым сыном в замке. Замок наш крепкий, людей довольно, — он выдержит всякую осаду, да и я, сыну, еще не постарела, хвороба было меня немного примяла, а теперь я хоть в сечу: глаза мои зорки и рука не ослабла, а всем хитростям "татарского шанца" обучил меня еще твой дед, а мой отец.

Мазепе ничего не оставалось возразить на эти слова, да и кроме того он знал, что никакие возражения не будут приняты его властолюбивой матерью.

Начались поспешные сборы. Все делала сама пани: она отобрала из замковой команды десять самых верных и отважных казаков, а к ним еще додала и деда Лободу, выбрала из табуна лучших кровных лошадей и для казаков, и для самого Мазепы, отобрала еще для сына самое лучшее оружие и самые дорогие одежды.

— Пусть видят, сыну, — говорила она Мазепе, прижимая с гордостью его голову к своей груди, — что ты с деда и с прадеда шляхтич и казак.

К утру все сборы были готовы. После раннего "сниданка" пани велела седлать лошадей и готовиться к выезду. Мазепа подошел к ней за благословением.

— Помни, сыну, всегда завет своего батька, — произнесла она, складывая руки на его голове. — Не прислуживайся никому, а служи лишь отчизне, карай всякого за измену ей. Мазепа прижался к ее руке, а пани продолжала дальше:

— Не отступай никогда от своего русского письма, своего родного языка, честных и "поштывых" обычаев наших, а главное всего — своей веры. Ты один у меня, — произнесла гордая женщина, горячо прижимая к себе сына, — но хочу тебя лучше мертвым увидеть, чем уронившим нашу предковскую славу!

Через полчаса обоз Мазепы уже выезжал со двора.

Мазепа еще раз попрощался с матерью, еще раз пообещал ей присылать о себе известия и, поклонившись всем слугам, вскочил на коня и поскакал по спущенному подъемному мосту. Едва только конь его ступил на землю, как снова заскрипели железные цепи, мостовничие подняли мост и суровый замок принял снова свой неприступный вид.

Выехав из замка, Мазепа повернул сразу налево на дорогу, извивавшуюся по склону горы вниз и ведущую через густой лес, который покрывал всю низину, окружавшую с той стороны замок. Присоединившись к обозу, он оглянулся назад, чтобы еще раз взглянуть на свое родное гнездо.

Замок сурово господствовал над всей окрестностью. С этой стороны высокий холм, на котором стоял он, мог уже назваться горой, урезанной к речке отвесным обрывом, узенькая речонка обнимала словно кольцом эту зеленую глыбу земли с каменным муром, с открытыми жерлами пушек, глядящих из узких амбразур, с высокой, уже посеревшей от времени. сторожевой башней и двумя меньшими "вежами".

На башне теперь стояла его мать, опершись рукой на длинное горло "гакивынцы", и следила своим зорким взором за удаляющейся фигурой сына. Мазепа сбросил шапку и махнул ею несколько раз. Приветствие его было замечено, так как из окна башни высунулась рука и также махнула белым платком.

Несколько раз оглядывался Мазепа и все еще видел свою мать.

Было еще раннее утро, когда на пятый день своего путешествия Мазепа прибыл наконец в Чигирин.

Первое, что поразило его в замке — это множество татар, а также турецких янычар, сновавших по замковому двору: одеты они были в дорогие одежды; догадаться было легко, что они составляли свиту каких-то знатных особ. К гетману было еще рано являться, а поэтому, устроив своих людей, Мазепа первым делом отправился к Кочубею.

Молодой подписок гетманский сидел еще в своей светлице и старательно занимался бритьем своего полного подбородка, но при виде Мазепы он быстро вскочил с места и веселым возгласом: "А, пане ротмистре, слыхом слышать, видом видать! — заключил Мазепу в свои объятия. — Ну что, нашел свою казачку-наездницу?"

— А, ну ее! — усмехнулся Мазепа, отирая с лица следы мыла, оставшиеся от дружественных поцелуев Кочубея. — Расскажи-ка мне лучше, что это у вас здесь новенького, откуда з гости в белых намитках?[24]

— А вот садись, садись, пане-брате, — все расскажем, засуетился Кочубей, предлагая гостю место.

Через несколько минут собеседники сидели друг перед другом за двумя келехами подогретого пива; на тарелке подле каждого из них лежали еще тоненькие ломтики черного хлеба, поджаренного в масле.

— Вот видишь ли, без тебя тут у нас переделалось немало дел, — говорил Кочубей, отхлебывая маленькими глотками теплое пиво. — Хотя ляхи и заключили мир в Стамбуле, да "пиймалы облызня"[25] в Бахчисарае.

— Я так и знал.

— Еще бы, сухая ложка, говорит и наша пословица, рот дерет, а они вздумали татарву "обицянками" кормить! Другая новость не хуже этой: Москва велела Бруховецкому, пока что, вместе с запорожцами татар воевать: думала верно, что налякает этих голомозых и те запросят миру, а оно вышло не так: голомозые решили лучше побрататься с нами, да ударить разом на общих врагов. Гетман присягнул перед ханом, что не будет служить ни Польше, ни Москве, а вместе с ордою воевать станет и ляхов, и москалей. За это и хан обещал нам прислать тридцать тысяч орды, со своими братьями — султаном Нурредином, Мамет-Гиреем и Саломет-Гиреем.

— Вот оно что! — протянул Мазепа, — значит татары на союз уже согласились.

— И магарыч запили.

— А что же думает теперь гетман?

— А этого не знаю, — говорят, думает разделить войско на две части. Да он посылал за тобой?

— Посылал.

— Ну, значит, ты ему на что-нибудь особое надобен.

— Гм... гм!.. — Мазепа подкрутил свой ус и произнес, смотря в сторону: — Что же еще нового?

— А вот приезжал опять Самойлович... Говорю тебе, Мазепа, дело между ним и гетманшей уже будто не на жарт идет.

И Кочубей передал Мазепе, как приезжал Самойлович, как он снова сидел по целым дням у гетманши, как сама гетманша стала вдруг весела и довольна, а "выхованка" ее Саня загрустила, словно в воду опущенная: она-де хоть и простая девушка, но с добрым сердцем и гетману предана.

Еще много новостей передавал Кочубей Мазепе, последний слушал его рассеянно: теперь его занимал вопрос гораздо большей важности. Зачем призвал его так экстренно Дорошенко? Примет ли он его предложение или нет, и может ли выйти что-нибудь из задуманного им, Мазепю, дела?

Попрощавшись с Кочубеем, он отправился в самый замок. В приемном покое он увидел важного турецкого агу и одного из татарских мурз, свиты которых, очевидно, и встретились ему во дворе. Гетман встретил Мазепу чрезвычайно радостно.

— Ну, любый мой ротмистре, — произнес он приветливо, указывая Мазепе на место против себя, — теперь настало тебе время оказать великую услугу отчизне и показать нам свой светлый разум и "эдукацию".

Мазепа поклонился на ласковые слова гетмана, а гетман продолжал дальше:

— Татары вступили с нами в союз, и теперь, пока они не прибыли сюда, есть еще время попытаться затянуть в этот союз и Бруховецкого. Я хочу послать тебя к нему, если тебе удастся убедить его, — ты будешь мне дороже родного сына.

— Ясновельможный гетман, — ответил Мазепа, — верь, что если б ты и не давал мне этого лестного обещания, я попытался бы употребить все, что только было б в моих силах, для этого. Но теперь, клянусь тебе, если у Бруховецкого есть хоть немного смысла, он согласится на

нашу пропозицію.

— Да поможет тебе Бог! Ты передай, что я готов ему уступить свою булаву, лишь бы Украина соединилась под одной рукой. Не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, — заговорил он с волнением, — не для каких-либо прихотей, но для общего добра матки моей, бедной Украины, для всего войска запорожского и всего народа нашего, — хочу я этого соединения. Я не ищу войны и крови: мира хочу отчизне и для нее готов пожертвовать всем.

Долго еще беседовал Дорошенко с Мазепой, и этот разговор, казалось, сблизил Мазепу еще больше с гетманом. Кроме переговоров с Бруховецким, Дорошенко поручил Мазепе непременно повидаться с одним из опальных полковников Бруховецкого Романом Гострым, который собственно и заправлял тайно всем восстанием на левом берегу; ему нужно было передать листы, универсалы, оружие и деньги. Кроме того, гетман просил Мазепу останавливаться по возможности в больших городах и привлекать к себе горожан. Внешней причиной для посольства к Бруховецкому решено было выставить просьбу Дорошенко, чтобы он отозвал от берега полки и не чинил бы никакой зацепки правобережным людям.

— Помни только одно, — сказал на прощание Мазепе Дорошенко, — Бруховецкому не верь ни в чем; он тебя одарит с головы до ног, а потом увидишь, не только что дары свои, не и душу твою у тебя отберет.

— Есть у меня с собой всегда верный товарищ, — ответил Мазепа с улыбкой, ударяя по эфесу сабли.

— Этого мало; скажи, есть ли у тебя верные люди, готові каждую минуту полечь за тебя?

— Я привез с собой десять душ с дидом своей "власной" компании.

— Гаразд. Так помни же одно, Мазепа, тебе мы поручили дело величайшей важности. Орда прибудет к нам после Покрова, я буду ждать от тебя известий, не начиная военных действий, а поэтому и буду терять дорогое время: не "гайся" же нигде и спеша скорее сообщить мне о решении Бруховецкого. Если же с тобой что случится — все мы в воле Божьей — постарайся дать мне как-нибудь знать про твою пригоду, и я полечу с орлятами на выручку...

Мазепа обещал все исполнить, как хотел гетман. Дорошенко предложил ему взять еще с собою для большей безопасности несколько душ из чигиринской надворной компании, но Мазепа с поспешностью отклонил это предложение: в этот раз он решил уже непременно заехать на хутор к Галине, а потому с замковыми людьми это было бы для него неудобно.

— Ну, так с Богом! — сказал Дорошенко, обнимая его на прощанье. — Помни же, Мазепа, что удастся твое посольство, — и отчизна избавится от великого кровопролития, а нет...

— Жизни своей не пожалею для этого, — произнес твердо и решительно Мазепа.

— Верю! — ответил ему Дорошенко и горячо пожал его руку.

Сборы Мазепы были недолги; получивши все необходимое из гетманской канцелярии, он в тот же день выехал из Чигирина. Решение заехать в этот раз на хутор к Галине теперь окончательно окрепло в нем, а потому, вместо того, чтобы ехать прямо к берегам Днепра, он решил сделать раньше большой крюк и заехать в дикие поля; проводника ему не надо было брать с собою, так как старый Лобода знал поля, по его выражению, как свою собственную ладонь, а потому, отъехавши на порядочное расстояние от Чигирина, путники повернули прямо на юг. Крепкие сильные лошади уносили быстро наших путников от Чигирина в степи.

Кроме желания увидеть поскорее Галину и устроить им всем безопасное пребывание в Трилисах, в глубине души Мазепы ютилось еще одно тайное желание: заехать в тот лес, в котором он встретился с незнакомой казачкой, и разузнать, не ведет ли из него куда-нибудь дорога? Лес лежал как раз по дороге, так что проминуть его нельзя было, да и Мазепа хорошо запомнил и его вид, и его название, так что на четвертый день после выезда из Чигирина путники уже были на его опушке, на месте прежней стоянки. Хотя время было еще раннее для стоянки, но Мазепа велел остановиться на отдых, и пока люди занялись приготовлением пищи, он, едва сдерживая свое нетерпение, направился сам в лес.

Однако поиски его были совершенно напрасны: чем дальше шел он, тем больше сбивался с пути: все полянки, все заросли и обрывы были так похожи между собой, что, казалось, не было решительно никакой возможности найти ту лощину, в которой он встретился со своей незнакомкой; лес же был так велик, что надо было очевидно употребить не менее трех, четырех дней, чтобы осмотреть его хорошенько. Проходивши так бесплодно до поздней ночи, Мазепа решил, наконец, возвращаться назад. Досада на потерянное даром время разрасталась в нем все больше и больше, а к этой досаде примешивалось еще более острое чувство угрызения совести и недовольства собой.

Зачем он остановился в этом лесу? Зачем он ищет дорогу, по какой ускакала казачка, зачем он ищет ее? Едет к своей бедной, дорогой голубке, спасшей ему жизнь, ожидающей его, изнывающей от тревоги, тоски, и тратит время в поисках какой-то незнакомой и ненужной ему девчины, тогда как каждый день промедления может угрожать жизни его Галине!

— О, неблагодарное, бездушное животное! — повторял себе с гневом Мазепа, шагая с какой-то злобной поспешностью назад.

Однако, возвратиться было не так легко, как углубиться в чащу леса. В лесу стало совершенно темно, луна еще не всходила, или стояла так низко, что не могла освещать глубины его; с трудом выбирая себе дорогу, рискуя ежеминутно упасть в какое-нибудь "провалля", Мазепа должен был поневоле замедлить свои шаги. Чем дальше шел он, тем труднее становилось ему подвигаться вперед. Несколько раз он снова возвращался назад, несколько раз ему казалось, что он все колесит вокруг небольшого пространства; беспокойство уже начинало охватывать его. Ночь становилась темной, мрак внизу, среди высоких, сплевшихся вершинами деревьев, казался уже непроглядным: можно было каждую минуту не только угодить в какую-либо яму, но просто расшибить себе о ствол дерева лоб, или выколоть о сухую ветку глаза. Мазепа остановился. Он выстрелил раз и потом через некоторое время — другой; эхо повторило далекими перекатами его выстрелы, но не принесло ему никакого ответа: очевидно, он зашел так далеко в чащобу, что звуки его выстрелов не долетали до места стоянки.

Что же было предпринять дальше? Ждать ли до света, или двигаться наобум? Но куда двигаться? Ведь каждый шаг мог отдалять его еще больше от места стоянки. Мазепа решил взобраться на высокое дерево и попробовать оттуда осмотреть окрестность; он влез на ближайшую сосну. Невысоко над горизонтом среди разорванных туч стоял зеленоватый серп луны; тусклый свет ее слабо освещал окрестность. Кругом до самого горизонта тянулась темная волнистая поверхность, только в левой стороне серела какая-то узенькая полоска. Мазепа стал всматриваться и ему показалось, будто вдали блеснул огонек...

Опушка и стоянка! решил он и стал слезать вниз, боясь потерять направление; когда он опустился ниже шапки леса, то ему почудился какой-то вой или стон пугача. Он торопливо стал переступать ногами с ветки на ветку, но когда опустился до голого ствола, откуда уже

можно было спрыгнуть на землю, то его поразило, что в недалеком расстоянии от сосны светилось полукругом множество зеленовато-огненных точек.

— Волки! И ружье мое под деревом! — пронеслось молнией в его голове и заставило вздрогнуть всем телом. Он чуть не сорвался с сучка вниз, но удержался и порывисто стал подниматься вверх, на более прочные ветви... К несчастью он второпях зацепился полкой жупана о выдавшийся сук, напоролся на него и не мог никак ни оторвать полы, ни отломать сучка: ветка, за которую он держался руками, была непрочна и гнулась при более сильном нажиме... Ничего больше не оставалось, как приладиться как-нибудь в этой неудобной позе полураспятого... Волки, заметя ускользавшую от них добычу, пришли в бешеное волнение: они уселись тесным кружком вокруг дерева и начали выть, бросаясь иногда в бессильной злобе друг на друга... Наконец, ярость стаи была возбуждена до того, что волки стали бросаться на дерево и грызть в остервенении его ствол...

Мазепе было трудно держаться; он чувствовал, что члены его деревенели от напряженной позы, а руки уставали сдерживать на отвесе всю тяжесть. Он пробовал несколько раз изменить свое положение, но ветвь начинала трещать, а разъяренная стая приходила от этого в неистовство... Мазепе казалось, что уже близки те минуты, когда он сорвется вниз и заставит падением своим отскочить в сторону этих хищников... но через миг они набросятся все на него со злобным рычанием и начнут терзать его тело... И ведь долго будешь чувствовать, как острые зубы впиваются в тело и отрывают от него кусок за куском... особенно должно быть будет чувствителен первый кусок... Мороз побежал по спине Мазепы... Погибнуть и такой глупой, пошлой смертью! — путались в его голове мятежные мысли. — И где теперь мои мечты послужить отчизне? Где слово, данное гетману, исполнить его поручение? Где клятва, данная матери? Бессмысленная судьба тяготеет над ним и бросает его от одной смертельной опасности к другой... Он какая-то безобразная игрушка в руках судьбы! И вспомнилось ему живо, как он в такую же темную ночь летел привязанный на коне; испуганное животное мчало его вихрем; ветер свистел в ушах, в голове отдавались глухими ударами толчки от бешеного бега коня, веревки врезывались в тело... И вот лес черный, дремучий... мелькают гигантские стволы, налетают, чтобы разбить его голову, хлещут ветвями... Он молит Бога, чтобы скорее кончились его страдания, но конь инстинктивно скользит между деревьями и охраняет его муки... и вдруг сотни светящихся точек погнались, вот они сзади, направо, налево, несутся роем удлиненных теней... Но конь напрягает силы, вылетает на опушку и, лавируя между пересекающими ему путь волками, успеваает броситься в какую-то довольно широкую реку и уплыть от преследователей...

С каждой минутой истощались силы Мазепы... руки его разжимались, ноги скользили по ветви, еще минута, и он сорвется... "конец, так конец", — мелькнула последняя мысль... и он выпустил из рук ветку... Ни тело при этом не сорвалось вниз, а только обвисло и село на сук: оказалось, что не только пола, а и "велеты" его кунтуша были прорваны острием торчавшей выше ветви и удерживали его на весу. Инстинктивно охватил тогда Мазепа руками дерево и уселся верхом на сучке, так ему было гораздо удобнее и покойнее...

Впрочем, это было только небольшой отсрочкой; волки преспокойно разлеглись вокруг дерева, видно было, что палачи решили терпеливо ждать своей жертвы... Ночь проходила; лес начинал сереть и синеть, но стая не разбежалась. Вот и верхушки соседних деревьев зажглись, но и это, видимо, не встревожило голодных гостей...

Мазепа изнемогал, бессонная, ужасная ночь, физические страдания и душевные пытки истерзали его, голова у него начинала кружиться, в ушах стоял звон, и он посматривал с ужасом, куда он должен будет упасть, как вдруг заметил, что волки начали вскакивать, тревожно настораживая уши. По лесу раздались вдали едва слышные крики... Еще мгновение,

и стая шарахнула со всех ног и исчезла в дальних чащобах. В это же самое мгновение Мазепа уже не смог больше держаться на дереве: рукава его давно уже оборвались и не поддерживали, так что он в последнее время держался лишь силою мускулов, но они ослабели вконец, и он сорвался; на минуту замедлила его паденье пола, но она не выдержала всей тяжести и оборвалась.

Мазепа упал и, благодаря последнему обстоятельству, не расшибся, но все-таки от чрезмерного напряжения он потерял сознание и долго пролежал так, не слыша приближающихся голосов... Они бы так и удалились, не найдя его, если бы, случайно не набрел один казак на Мазепу. На его крики сбегались товарищи и привели в чувство своего ротмистра. Выпивши несколько глотков "оковитой", он пришел в себя, вспомнил ужасы пережитой им ночи, но никому из них не признался, а объяснил свое болезненное состояние крайним изнурением, свалившим его с ног.

Он сел на коня и, шатаясь в седле, едва доехал до стоянки; в дальний путь Мазепа не тронулся, решив отдохнуть.

Усталый, измученный, раздосадованный и на себя, и на все на свете, растянулся он на разостланной для него бурке и сейчас же заснул мертвым сном.

Только поздно вечером проснулся Мазепа, а на рассвете, совершенно уже оправившись, двинулся в путь.

Было прелестное осеннее утро, мягкое и теплое, но нежаркое; небо задергивал тонкий и прозрачный, как дымка, белесоватый туман; в воздухе было тихо, неподвижно; пахло прелым листом. В несколько минут все сборы были окончены, и путники, не заезжая уже никуда, отправились прямо "на кресы", в дикие поля.

Чем дальше подвигался вперед Мазепа, тем больше разгоралось в нем желание увидеть поскорее Галину. Все заботы и мысли о будущем, отчизне, — все отошло теперь назад, оставив место милой дорогой девушке, так долго забываемой им для них. Мазепа торопил своих спутников, но двигаться еще скорее не было никакой возможности.

Так как хутор Сыча лежал в стороне от всех шляхов и было невозможно отыскать его на степи, то Мазепа решил отыскать прежде всего устье Саксагани, а потом и направиться прямо вверх по ее течению. Однако, хотя старый Лобода и знал дикие поля, — но на эти поиски пришлось употребить немало времени. Поколесивши вдоволь по степи, казаки нашли, наконец, устье Саксагани. Теперь уже всякие сомнения и тревоги покинули Мазепу: надежда на близкое свидание наполняла его сердце неизъяснимым блаженством. Хотя он и не знал, как далеко от устья Саксагани отстоит хутор Сыча, но, судя по тому, что речонка начинала все больше суживаться, он заключил, что хутор должен был быть уже недалеко. Завидя какую-либо могилу или островок белых лилий на речке, он стремительно скакал вперед и видел снова все ту же бесконечную степь. Так прошел один день, другой, наконец на третий день утром рано, отъехавши верст десять от последней своей стоянки, Мазепа выехал на невысокую могилу и к величайшей своей радости заметил вдали на горизонте густую группу уже пожелтевших деревьев, среди листвы которых просвечивало что-то белое.

Невольный крик восторга вырвался из груди его; спустившись с могилы, Мазепа пришпорил своего коня и понесся вскачь к видневшемуся вдали "гайку".

Конь несся птицей, и вскоре перед Мазепой вырисовалась уже совершенно ясно открытая с этой стороны котловина и разукрашенная всеми красками осени густая роща. Вот среди желтых,

зеленых и багровых листьев мелькнуло что-то белое, еще раз и еще... и перед глазами Мазепы выступила уже совершенно ясно беленькая хата, высокий частокол, ворота, клуня...

Не было сомненья — это был хутор Сыча.

Мазепе показалось, что сердце его разорвется от бурного прилива радости.

— Галина, Галина! — закричал он, сбрасывая шапку и махая ею над головой, словно девушка могла услышать на таком расстоянии его голос. Еще, еще несколько минут, и вот он въехал под тень рощи, вот пронесся мимо вишневого садика, окружавшего хуторок, вот мимо него промелькнул высокий частокол, и, наконец, усталый запенившийся конь его остановился у ворот.

Ворота были заперты.

Какое-то неприятное предчувствие шевельнулось при виде этого в душе Мазепы.

— Да что это в голову лезет! Дид с рабочими, очевидно, на поле, а баба с Галиной заперлись, — успокоил он тут же себя верным соображением и, не вставая с коня, закричал громко:

— Гей, Галина, Галина! Открывай ворота! Принимай гостей!

Прокричавши эти слова, Мазепа замер в счастливом ожидании... Лицо его улыбалось, на глаза набегало что-то влажное... вот-вот раздастся звонкий голосок Галины, легкий звук, ее шагов, распахнутся ворота, и... но кругом все было безмолвно.

Мазепа прождал еще мгновенье... Ни звука! Страшная мыс шевельнулась в его душе.

— Галина, Галина! Гей, кто там?.. Отворите же ворота! — закричал он еще громче и снова замер в ожидании ответа. За воротами все было мертво и безмолвно. Холодный ужас охватил сразу Мазепу. — Татары! — промелькнуло у него в голове; но кругом все было в таком образцовом порядке. Ни следа пожара, или разоренья, или какого-нибудь насилия не видно было кругом.

— Что ж это значит? Умерли они все? — Не останавливаясь дольше на этой мысли, Мазепа соскочил с коня и, подбежав к воротам, начал стучать в них со всей силы.

Ответа не было.

И вдруг словно молния ударила перед Мазепой: ему вспомнились все те рассказы об ужасных поветриях, от которых вымирали целые семьи; какой-то необыкновенный холод пробежал по всему его телу и в то же мгновенье все как-то об рвалось в его душе... Как безумный, принялся он стучать в ворота, выкрикивая то имя Галины, то бабы, то Сыча.

Сколько времени прошло в его криках, он не мог дать отчета.

Вдруг за воротами послышался явственно какой-то шум; Мазепа замер от тревоги, радости, надежды и боязни ужасной вести. Да, это были шаги, но шаги мужские.

— Что? Живы? Здоровы? Это я, Мазепа! — закричал невидимому человеческому существу, приближавшемуся к воротам, но ответа опять не последовало.

Снова смертельный ужас охватил Мазепу; но вот ворота распахнулись и перед ним показался Немота. Завидев Мазепу, он с радостным мычаньем бросился к нему навстречу, Мазепа не

обратил внимания на его приветствие.

— Галина? Умерла? Умерла? — закричал он каким-то безумным голосом, хватая Немоту за руки.

— Мм... мм! — замычал глухонемой, замотавши отчаянно из стороны в сторону головой.

Значит, больна... лежит без присмотра... без призора, — говорил Мазепа и, — не расспрашивая дальше Немоту, он бросился вихрем в хату.

Кругом все было тихо, безлюдно. Заглянувши в пекарню, Мазепа бросился в ту светлицу, где лежал он сам — здесь та же ужасная, леденящая пустота. Не понимая, что он делает, Мазепа бросился, как безумный, в сад, затем в клуню, за ворота и снова во двор — никого не было кругом!

Немота все время старался поспешать за ним, но не мог никак догнать его. Наконец, Мазепа вернулся снова в хату и измученный повалился на лаву.

Все здесь было так, как и тогда, даже засушенный венок на иконах, даже свежие рушники на окнах. Но, Боже, какая ужасная перемена произошла с тех пор! Тогда кругом все сияло весною и счастьем, а теперь в окна смотрит хмурая осень, тогда эту скромную хату оживлял звонкий, серебристый голосок Галины, наполняя сердце Мазепы неизъяснимым блаженством, а теперь как мертво, как страшно все кругом!.. А Галина, Галина!.. Где она? Что случилось с нею? Куда делись они все? Умерли, погибли? Татары увезли? Ляхи? Что же случилось с ними?! Как безумный, сорвался Мазепа снова с места, но почувствовал в это время на плече своем чью-то руку. Перед ним стоял тот же немой.

— Умерла, умерла? — закричал снова Мазепа, впиваясь пальцами в руку немого.

— Мм... мм... — замычал Немота и замотал отрицательно головой.

— Жива!? — вскричал радостно Мазепа. Немой закивал утвердительно головой.

— Но где же она? Где все остальные?

Немой замахал рукой куда-то в сторону.

— Уехали? Да? Но куда? — схватил его снова за руку Мазепа. Немой пожал плечами и снова замахал и рукой, и головой. Мазепа схватился за голову; что было делать? Как узнать истину? Из знаков этого несчастного он мог уяснить себе только то, что они уехали куда-то далеко.

— Зачем уехали? Как уехали? — засыпал он снова вопросами немого.

Немой прижал руки к лицу и сделал вид, что он горько плачет.

Сердце замерло у Мазепы.

— Плакала? — вскрикнул он. — Галина, да? Она какала, не хотела ехать? Боже! Значит, увозили насильно, против воли... Стой! — Они сами поехали?

Немой закачал отрицательно головой. Мазепа почувствовал, что все мешается в его голове.

— Значит, увезли, да?

Немой закивал утвердительно.

— Но кто же? Кто? Скажи! Татары? — Нет? Запорожцы? Нет? Ляхи? Москали? Нет, нет! Так кто же? Знак, знак, хоть знаком!.. — закричал он, сжимая до боли руки немного и впиваясь глазами в его обезображенное лицо.

Немой быстро замахал руками, то прикладывая их к голове, то к подбородку, то опуская, то вытягивая, то подымая их.

— О, Господи! — простонал Мазепа, опускаясь в изнеможении на лаву: движения и знаки немного были совершенно непонятны для него.

XXXIV

Быстро надвигались неприглядные осенние сумерки. Какая-то мгла окутывала и большое село, раскинувшееся в широкой балке, и все окрестности серой пеленой; пахло дымок и горелой соломой.

В большой просторной хате, стоявшей на краю села у грязной дороги, потоптанной конскими ногами и широкими колесами возов, ярко светились окна красноватым, расплывавшимся сквозь туман огоньком. Этот заманчивый, приветливый огонек словно манил под кровлю высокой хаты каждого путника; усталого, продрогшего, измученного ездой по этой разбитой грязной дороге, обещая ему теплый очаг, кружку доброго меда и приятную компанию. За последнее ручались нагруженные мешками возы с понурыми волами, стоявшие подле корчмы и кони, привязанные у высокого столба, вбитого при входе.

Действительно, в корчме собралось немало народа. Большую светлицу с затоптанным глиняным полом и потертыми стенами слабо освещал стоявший на прилавке "каганец". У грубых деревянных столов, расставленных в светлице, сидело душ десять поселян; одеты они были в грубые свиты, но кое-где среди них виднелись и поношенные казацкие жупаны. Большая часть поселян были уже "дядьки", пожилые люди, но тут же, немного в стороне, сидели и два молодых казака: один из них был красивый, молодой, чернявый парубок с быстрым взглядом и оживленным лицом; другой — с круглым добродушным лицом и небольшими вечно смеющимися карими глазами.

Был в корчме еще один посетитель, но его или не замечали собеседники, или он был настолько ничтожной личностью, что на него никто не хотел обращать внимания, — последний сидел один, неподвижно в углу подле прилавка, почти совсем закрытый высокой "фасою" с таранью и бочонком пива. Одет он был в длинную керею с нахлобученным на самые глаза капюшоном, так что лица его нельзя было рассмотреть, только из-под темного капюшона мелькал иногда пылливый внимательный взгляд его темных глаз. Судя по внешнему облику, его можно было принять за какого-нибудь купца средней руки. Одежда его была вся в грязи; высокие сапоги покрыты были также комьями грязи, видно было, что путник ехал откуда-то издалека. Хотя собеседники совершенно не замечали его присутствия, но путник относился не так равнодушно к ним и к их беседе: перед ним стояла давно забытая кружка меда, а сам он внимательно прислушивался и присматривался ко всему, происходившему в шинке.

Слабый свет каганца тускло освещал довольно обширное помещение, наполняя углы его дрожащими тенями. Перед каждым из гостей стояли оловянные стаканы, глиняные кружки и другая винная посуда; синий дымок от коротеньких "люльок", которые "смокталы" поселяне, стлался под потолком. В хате было душно, пахло горилкой, дегтем и тютюном; однако эта атмосфера ничуть не стесняла собеседников, так как между ними шел весьма общий разговор.

— Так-то так, панове, пора нам "обрядытыся" да обдуматься, неладное что-то затевается

кругом, — говорил степенно один из поселян с длинными пестрыми разношерстными усами и коротенькой "люлькой" в зубах, — выходит, что уже невтерпеж, слышишь, не "чутка", а правда, что Москва отдала Киев ляхам на вечные часы.

— Кто говорил тебе? Откуда услышал, Гараську? — перебили его вопросами соседи.

— "Кто говорил тебе? Откуда услышал, Гараську?" — передразнил их флегматичный оратор, не выпуская "люлечки" из зубов. — Уж я не баба, из "очипка" новины не вытяну, коли говорю, так, значит, знаю... А не только, говорю вам, отдадут, а ляхи повернут сейчас все церкви и св. Киево-Печерскую лавру на свои костелы, а святых "ченцив" и всю братию, чуешь ты, выгонят "паличчам" из всех келий!

— Ох ты, Господи праведный, да как же это так, панове? Да неужели же мы это допустим? — заволновался сосед первого поселанина, невысокий худощавый дядько с светлыми усами, бледно-голубыми глазами и каким-то чахоточным румянцем впалых щек. — Нельзя нам без Киева быть. Нельзя отдать на поталу печерские святыни!

— Стой, дядьку! Не турбуйсь! Без Киева не будешь! — закричал насмешливо молодой чернявый казак, сидевший со своим товарищем за отдельным столом. — Гомонят кругом люди, что не только Киев, а и весь правый берег и всех нас здесь на левом берегу хочет Москва ляхам отдать, — стало быть с Киевом.

— Правда, правда, — поддержал другой сосед Гараськи, широкоплечий смуглый мужик, — проезжали здесь гости с правого берега, так молвили, что у них всюду, во весь голос люди говорят, что постановили ляхи истребить весь наш народ! Вот оно что!

— А мы-то, как бараны, что ли, будем ждать, пока нас в резницу не погонят! — стукнул с силой об стол оловянной кружкой один из слушателей, черноволосый мужик средних лет, с угрюмым взглядом и синим, густо заросшим подбородком, — как же это, не "пытаючы" нас ляхам отдавать? Гетман Богдан, когда задумал под Москву отдаться, всех нас на Переяславскую раду скликал!

Гарасько сплюнул на сторону и произнес скептически:

— Нашел что вспомнить, Волче! То ж было за Хмеля, а теперь, видишь, без нашей "порады" обошлись.

— Да не будет же так! Ведь мы не скот какой бессловесный и переяславские пакты тоже добре помним! — продолжал горячиться один из собеседников, по прозвищу Волк.

— Ох, ох, ох! — простонал седой дед, — что нам теперь эти пакты помогут "не поможе", говорят, "баби кадыло, колы бабу сказыло".

— Уж коли это так, так что ж тут поделаешь? Умирать всем, да й годи! — раздалась со всех сторон возгласы и вздохи.

— Да стойте, стойте, панове, может, это еще все и брехня, не к вам речь! — заговорил светлоусый сосед Гараськи, стараясь напрячь сильнее свой слабый голос. — Ну, как-таки выдумать такое, чтоб "выстынать" весь христианский народ? Это, ей-Богу, понапрасну... Чтоб Москва на такое пошла... Николы зроду! Под Москвой вон слободчанам как добре живется, как у Христа за пазухой!

— Эт! Ну тебя к Богу! — перебил его с досадой Гарасько и даже вынул "люльку" изо рта. —

Ужели ты такой и до осени доходишь, а когда же твоя голова разумом наливаться начнет?

Вовна хотел было что-то возразить, но приступ сильного кашля захватил его дыхание, он ухватился рукой за грудь и перегнулся над полом, а Гарасько продолжал дальше:

— Значит, правда, когда кругом все полки бунтуют! Слышал думаю, что сделали переяславцы? Да и нежинцы с гетманом "не вельмы смакують", да и промеж киевлян "гиль" завелась.

— Везде, везде! Слышно, что-то недоброе творится, — подхватили кругом голоса.

— Говорят, что гетман хотел с войском выйти, да побоялся, чтобы казаки его не убили! — вскрикнул Волк.

— И "заробылы б соби у Бога шану, и у людей дяку!" сверкнул глазами черноволосый казак. — Какой он нам гетман? Не гетман он, а здырщик и кровопийца! Обдирать только весь народ умеет, а как до дела дойдет, так "заховається" в своем замке, как гриб в траве.

— Ох, что правда, то правда! — заговорил с трудом Вовна, отирая слезы, выступившие от напряжения на глаза. — Мучитель, это он сам все творит, а на Москву только сворачивает...

— Все через него, все, — продолжал с озлоблением Волк. — От гетманской науки и все наши беды, несчастья пошли: сперва он Москве всеми нашими городами да селами ударил, а потом назвал сюда воевод да ратных людей, чтоб легче было нас обдирать, а потом насоветовал еще Москве всех нас в неволю отдать...

— Верно, верно, — поддержал его черноволосый казак, — и гетман Дорошенко говорит, что все это по наушенью Бруховецкого случилось. Я сам его универсал читал.

— Ох ты, Господи? Да что ж с нами будет? Послать на Сичь, что ли? — раздались среди слушателей встревоженные восклицания.

— Хо-хо! Нашли на кого надеяться! — возразил Гарасько, — да ведь теперь по этому самому договору и над Сичью нашей два хозяина стоят...

Все смущенно замолчали.

— Так что ж нам делать? Ведь смерть страшна, панове! — произнес кто-то робко в толпе.

— А то делать, — произнес Гарасько, понижая голос и наклоняясь к своим слушателям, — что делают и кони, когда их уже через меру затянут мундштуком.

— А что ж, Гарасько правду говорит, панове, — заговорил первым Волк, — что ж нам так сложа руки поджидать, пока заберут у нас все, а самих нас с детьми и женами погонят в неволю к ляхам?

— Да стыдно нам тогда будет и зверю дикому, и птице малой глянуть в очи, — вскрикнул горячо молодой казак, — зверь дикий не дается "живцем" в неволю, птица малая защищает от напастников свое гнездо, или мы хуже "крука", хуже лиса, хуже малого горобца?!

Но несмотря на его горячий возглас, большинство крестьян угрюмо молчало, уставившись глазами в землю.

— Ох-ох-ох! — простонал наконец Вовна, придерживая рукой свиту на груди, — ничего б доброго из этого не вышло, братове, только б еще хуже "пошарпалы" нас. Сколько уже

натерпелись мы через все эти бунты?

— Береженого, говорит пословица, и Бог бережет, — поддержал его старик.

— Где нам от их отбиться! — прибавил еще кто-то из толпы.

— Так что же так пропадать, что ли? "Втик не втик, а побигты можна", — вскрикнул Волк, — ведь больше копы лыха не будет, а может, Бог поможет, и избавимся от напастников?

— Куда нам! Их сила, а мы что? — произнес угрюмо смуглый, широкоплечий сосед Гараськи.

— Да ведь не сами же? А разом... гуртом, — возразил Гарасько, — вы только прислушайтесь, что кругом делается! Кругом шевелится люд, собираются в "купы", запасаются боевым припасом.

— А если так, все один на одного оглядаться будем, так ничего и не дождемся, кроме лядского батога! — вскрикнул Волк.

— Не так батьки наши думали, когда подымались еще за гетмана Богдана, не осматривались они, кто первый встанет и кто второй, — заговорил горячо молодой казак, подымаясь с места, — потому и силу имели, потому и били врагов! А вы, срам смотреть на вас! Никто и не поверит, что вы казацкие дети. С вас враг третью шкуру спускает, а вы еще не решаетесь и отбиться от него! Чего ж и роптать на Бруховецкого? Дурень он, что ли? Отчего ему не драться с вас шкуры, когда вы сами подставляете еще ему и спины? И чего ж вы боитесь, что потеряете? Ведь что бы там ни случилось, а последнего шматка хлеба не отберут у вас, бо попухнете с голоду, и им же не с кого будет свои поборы собирать... ха-ха! Вот на что перевелись те рыцари-козарлюги, которые с Богданом гнали из-под Корсуня, из-под Збоража, из-под Пилявец ляхов!

— Хочь молодой, а говорит разумно! Ей-Богу, панове, правда! Что ж: голый дождя не боится! — раздалась то там, тосям более громкие восклицания.

— Эх, хлопче, — заметил дед, покачивая головой, — оно правда, и шкуры своей жалко, и воли, и той крови, что пролили на кровавом поле наши братья, да только тогда ведь с нами был славный наш гетман Богдан Хмель, а теперь мы все равно, что "отара" без "чабана".

— Есть пастух и не хуже гетмана Богдана!

— Кто?

— Петро Дорошенко!

— Ну, не много-то он помог переяславцам.

— Потому что выхватились рано, а теперь, слышите, говорят кругом, что гетман Дорошенко сам со своим, войском к нам сюда прибудет, а с ним идет и орды сто тысяч!

— Ох, ох, ох! В том-то и горе, — застонал снова Вовна, — как прибудет он сюда с татарами, тогда-то уже и настанет жива смерть. Мало ли сел наших и хуторов от этих "побратымыв" пропало!

— Да ведь не с нами воевать будут, а за нас, чтобы отбить нас от Бруховецкого, — возразил Гарасько.

— Да отдать в лядскую неволю?

— Либо в басурманскую? — прибавил дед.

— А хоть бы и в сатанинскую, так хуже того, что теперь мы терпим, не будет! — вскрикнул гневно Волк, ударяя с силой своим стаканом по столу. — Слепли вы, оглохли, что ли? Да ведь еще и за ляхов-панов не терпели мы таких "утыскив", да "драч", да поборов, какие настали теперь!

— Эй, не гневи Бога, Волче! — произнес строго старик. — А уния, а ксендзы! Разве мы теперь их видим? Забыл ты, видно, то горе, которое терпели мы, а я вот помню, вот как перед глазами стоит.

— Разве теперь отдают наши церкви жидам, разве платим арендарям за хрестины, за службу Божию, за святой похорон? — заговорил, задыхаясь за каждой фразой, Вовна, — разве теперь знущаются над нашей православной верой?..

— Ну, что правда — то правда, — поддержали его некоторые соседи.

— Ну, вера верой, а шкура шкурой... — буркнул сердито Волк, наливая свой стакан.

— Оно конечно, душа первое дело, — заметил Гарасько, — но надо же чем-нибудь и грешное тело "пидгодувать", чтоб подержать его на свете Божьем.

— Да ведь и гетман Дорошенко не думает отдавать нас в лядскую неволю, он давно отступился от ляхов!

— Так "злучився" с басурманом! Думаете, под басурманом легче будет? Ох, ох, ох! — закашлялся Вовна, придерживая рукою грудь. — Не отступайтесь: Москва православная, своя. Вон смотрите... сколько с той стороны несчастного люду сюда к нам бежит... а вы... ох, ох! — он махнул рукой и снова закашлялся тяжелым удушливым кашлем.

— Д-да, бегут, — произнес многозначительно Гараська, — потому что не пробовали нашего пива, а как попробуют, так скоро назад повернут!

— Уж это верно! — вскрикнул Волк. — Да что тут толковать: прежде по крайней мере одного пана имели на шее, а теперь и гетман, и старшина, и воеводы со своими ратными людьми!

Разговор о невыносимых налогах, наложенных Бруховецким, сразу оживил все собрание.

XXXV

— Да, панове, — заговорил Тарасько, вынимая свою "люльку" и выколачивая ее о каблук, — мы у Бруховецкого не подданцы какие, а вольные люди, а теперь, выходит, что и татарскому "бранцю" легче жить, чем нам на своей власной земле. За дым плати, за хату плати, за волов плати, — заговорил он, загибая за каждым словом палец, — за лошадей плати, за ярмарку плати, за всякий промысел плати, — за бобровые гоны, за звериные стойла, за бортные угожья, за пасеки, за рудни, за млыны...

— Что за млыны! За всякое млыновое колесо плати! Качку какую застрелишь — плати! Десятую рыбу отдавай! — перебили его шумные восклицания. — Не смей и вина себе выкурить и пива наварить! — раздалось кругом гневные клики.

Все поселяне заволновались: то там, то сям начали раздаваться угрозы и крепкие слова; выпитое вино разогревало головы и развязывало язык. Это разгоравшееся возмущение, казалось, доставляло тайное удовольствие скрытому за бочкой незнакомцу. Он вынул из-за пояса коротенькую разукрашенную серебром люльку и, закуривши ее, начал еще внимательнее прислушиваться.

— А вы кричите — уния! И без унии, — говорю вам, — можно люд Божий так утеснить, что и на свет смотреть не захочется! — кричал Волк сиплым, охрипшим голосом.

— Что правда, то правда! — произнес жалобно Вовна, — а как наскочут еще татаре, да выберут тебе все село, да вытопчут чисто все поле, тогда уж и крутись, как муха в кипятке.

— Вот как бы сложились мы в "купы", да поднялись все, как за гетмана Богдана, тогда бы и избавились Бруховецкого.

— Верно, верно, пора, панове, — хуже не будет, — то там, то сям раздались одобрительные возгласы.

— Еще бы! Отцы наши кровь свою проливали, чтоб избавить нас от подымного, да варевого, да солодового! — надрывался Волк, — а они хотят запровадить нас в еще горшее ярмо. Рушаймо, панове, на Гадяч. Дорошенко поспеет за нами!

От криков, возгласов и шумных движений собравшихся пламя в каганце заколебалось и наполнило всю небольшую светлицу, полную синего дыма и тяжелых винных испарений, какими-то колеблющимися тенями. При этом тусклом свете видно было только, как подымались то там, то сям грозные сжатые кулаки, или всклокоченные головы, как падали на пол опрокинутые стаканы, фляжки, кувшины.

— Да как же так, стой! Куда ж мы сами? Нас переловят... Кто говорил про Дорошенко? Да может еще брехня! Куда нам самим, если б еще Дорошенко тут был! — раздалось кругом, в ответ на возглас Волка.

— Стойте, панове! Слушайте меня! — ударил Гарасько рукой по столу. Его громкий возглас заставил всех оглянуться, шум и крики умолкли.

— Слушайте меня, — продолжал Гарасько, — что Дорошенко прибудет сюда, то верно, подал нам вестку такой человек, который нас словом не зрадит, опять и покуда Дорошенко к нам прибудет, без головы не останемся, — он же нами будет и предводительствовать.

— Кто? Кто такой? — понасунулись к нему все.

— Полковник Гострый.

— Полковник Гострый? — вскрикнули в один голос слушатели.

— А что, думаю, все его знаете?

— Кто ж его не знает! Еще бы! Молодец! Голова!

— Еще какой молодец. Даром, что старый, а поищи еще такого молодого, — не сыщешь нигде! — продолжал с воодушевлением Гарасько. — Позавчера на облаве поднял он медведя. Прицелился — паф, — только пановка "сполохнула" — он кинулся подсыпать пороху, так куда там, — зверь прямо на него идет; уже было и лапу над ним занес, — так он присел, да одним

ударом, слышите, как хватит его ножом в брюхо, так и распорол до самой шеи. Космач и гепнул ему на спину. Мы было все похолодели от страху, а он ничего, только отер нож свой о траву, засунул его за пояс, да и говорит: "Эт, к бису такое полювання, пропал чисто кунтуш", — а его кровью да "тельбухамы" так и обдало.

Громкие, одобрительные возгласы приветствовали этот рассказ.

— А уж что голова, так и самого беса проведет! Хочет, видите ли, Бруховецкий уловить его, а просто силою взять боится. Уж он его и выманивал, и полки ему давал, — никак не проведет старого. Стал искать, как бы подкупить кого-нибудь из слуг полковничьих, чтобы узнать, как пробраться к нему, — все ему не удавалось, а напоследок нашелся таки такой Иуда, Иван Рагоза. Что же бы вы думали? — Не укрылся он от полковничьего ока, раскусил он его, — уж каким там хитрым образом — не знаю, а только дознался полковник доподлинно, что он "шпыг" Бруховецкого.

— Ну, ну? — заторопили его слушатели.

— Выколочил он ему глаза, отрубил язык, — произнес медленно Гарасько, наслаждаясь впечатлением своих слов, — и отослал к Бруховецкому: расспрашивай, мол, теперь, что хочешь, да знай, что меня не так-то легко поймать.

— Хо-хо! Ну и голова, ловкач! Характерник! — раздалось кругом.

— Так он вот самый и присылал к нам в Волчий Байрак своего наивернейшего сотника Михаила Горового, чтобы мы собирались, озброились, пришлет он нам и кошты, и зброю, да готовились бы вместе с ним гнать Бруховецкого, да принимать Дорошенко...

— Да надо еще разузнать гаразд, что за птица и сам Дорошенко? Мы его и на масть не видали, какой он? Пели много и про Бруховецкого, а какая цаца вышла. Семь раз примерь, а раз отрежь, говорит пословица, — слышались кое-где несмелые замечания.

В это время дверь в корчму отворилась, и в светлицу вошел пожилой человек в потертом казацком жупане с двумя тяжелыми сулеями в руках.

— Вот достал вам наливочки, панове товариство, так могу заверить вас, — нет такой и у самого полковника, — произнес он, но услышавши последние фразы разговора и увидевши крайнее возбуждение всех собравшихся, он быстро поставил в стороне сулеи и подошел к тому столу, где сидел Гарасько, вокруг которого группировались теперь присутствующие.

— Что это вы так распустили языки, панове? — произнес он испуганным пониженным голосом.

— Разве не видите, что чужой человек сидит?

— Кто? Где? — прошептали растерянно поселяне, поворачиваясь по направлению взгляда шинкаря, и увидели незнакомца, потягивавшего в углу свою "люлечку". Все онемели.

— Кто он такой? Откуда? — произнес наконец Гарасько.

— А кто его знает, проезжий какой-то.

— Давно здесь?

— Да с самого "початку".

Все молча переглянулись.

— Он слышал все, панове, — произнес тихо Гарасько.

Наступило сразу молчание. В шумной корчме в одну минуту стало так тихо, что можно было услышать дыхание соседа.

— Что ж теперь делать, панове? — обратился Гарасько к окружавшим его поселянам.

Все молчали.

— Если мы выпустим его, он выдаст нас с головой Бруховецкому! — произнес еще тише Гарасько.

— И не только нас, а и полковника, и всю справу, — прибавил Остап.

Гарасько наклонился еще ближе к окружавшим его встревоженным, растерянными поселянам и заговорил уже совсем тихо, так тихо, что даже дальние соседи не могли его услышать. До незнакомца долетели только последние слова: "Здесь или в дороге".

Все это замешательство продолжалось не более двух минут, однако оно не укрылось от внимательного взгляда незнакомца, но несмотря на то, что он явственно услышал последние слова Гараськи, — они не произвели на него никакого впечатления; он выбил пепел из своей "люльки", набил ее новым тютюном и снова окутался клубами синего дыма. Между тем и поселяне, казалось, успокоились после слов Гараськи. Все разошлись по своим местам, шинкарь, взявши в руки принесенные сулии, начал обходить гостей, подливая каждому чарку нового напитка. Послышались веселые, шутки, пожелания и всякие остроты.

— А что это ты, пане добродию, ховаешься там, как злодий, за бочкой и не идешь до громады?
— обратился Гарасько смешливо к незнакомцу, сидевшему в углу.

— За бочкой я не ховаюсь, а сижу, как и все вы, панове, — отвечал незнакомец, — а до громады не шел, потому что никто не просил меня; теперь же дякую за приглашение и с радостью присоединяюсь к вам.

С этими словами он встал и подошел к тому столу, которым сидел Гарасько.

Крестьяне подвинулись, и незнакомец занял место между Гараськой и Вовной.

— Ну, садись, пане-брате, не знаю вот только как величать тебя, — обратился к нему Гарасько, ставя перед ним пустой стакан и наливая в него наливку.

— Иваном Зозулей, — ответил незнакомец.

— Зозулей... Не слыхал что-то.

— Я не здешний.

— Дальний?

— Д-да, не близкий. А кто ж ты будешь?

— Крамарь.

— Гм... ну все одно, выпьем по чарке, пане крамарю, а может ты не захочешь с нашим братом пить? — повернул в его сторону Гарасько свои желтоватые белки.

— Отчего же так? Только давайте!

— Ну-ну, гаразд! — Гарасько налил и свою чарку и поднявши ее, произнес: — "Дай же Боже, щоб все було гоже, а що не гоже, того не дай. Боже!"

Незнакомец последовал его примеру, но в то время, когда он поднял свою чарку, на руке его сверкнул при тусклом освещении "каганця" огромный драгоценный перстень.

— Гм... гм! — крикнул Волк и, подтолкнувши локтем соседа, произнес тихо: — Замечай!

Гарасько продолжал потчевать незнакомца то медом, то горилкой, и среди крестьян завязались снова в разных группах оживленные разговоры.

— А что, Остапе, ну, как твоя "справа"? Будешь ли засылать сватов к Орысе? — долетели до незнакомца слова, обращенные к молодому черноволосому казаку его соседом.

При этом имени незнакомец сразу обернулся в ту сторону, откуда раздалась эта фраза; рука его, державшая стакан, слегка вздрогнула и расплескала наливку, он опустил стакан на стол, провел в раздумьи тонкой белой рукой по лбу и, повернувшись в пол-оборота, вперил свои глаза в собеседников; последние, занятые своим разговором, совершенно не заметили впечатления, произведенного их словами на незнакомца.

— Кой черт! — отвечал сердито Остап, — батько ее и слышать о том не хочет. И правду сказать, все-таки поповна, а я теперь что? Посполитый, та й годи!

— А что ж, ты ездил к полковнику?

— Был. Мой батько, говорю, локтем не мерял, а хлеб казацкий добывал, трудов своих не жалеючи, и разом с гетманом Богданом отчизну "вызволяв"! А он мне, — это, говорит, все одинаково, хоть бы он у гетмана Богдана наипервейшим полковником был, а коли в реестры не внесен, так и ты должен в послушенстве ходить! А на какого ж бесового дидька, спрашиваю, не внесли его в реестры? Ведь все мы ровно трудились, так всем ровно и казаками быть.

— Нашел, что "згадувать", — отозвался из-за стойки шинкарь, — может гетман Богдан и всех хотел в реестры записать, да, сам знаешь, — не допустили.

— А дозвольте спросить вас, честное товариство, — произнес в это время незнакомец, отсовывая от себя кружку. — За что это вы, слышу я, на старшину свою так нарекаете? Ведь она, кажись, высвободила вас из лядской неволи?

Все с изумлением оглянулись на него.

— А чтоб уже ее "дидько" так из пекла "вызвольв", как она нас "вызвольла" из неволи! — вскрикнул гневно Волк, подымаясь с лавы. — Сами мы себя высвободили, а она хочет запровадить нас в еще горшую неволю!

— В какую неволю? — изумился незнакомец, — ведь нет же теперь на Украине у вас ни ляхов, ни унии, ни жидов. Та чего же вам еще нужно?

— Да ты сам, Зозуля, из каких это лесов сюда прилетел? — обратился к нему Гарасько.

— С правого берега.

— Ну, так и видно, что ничего ты не знаешь, а есть у нас здесь "цяци" и получше унии, ляхов да жидов.

— Что же такое?

— А вот сперва сам гетман со своей старшиной.

— Хо-хо! — усмехнулся незнакомец, возвышая голос, — против воли гетмана ничего не поделаешь!

— А что такое гетман? Мы сами его выбрали, так сами и сместим! А коли на то пошло, так пора ему и "тельбухы" выпустить! — крикнул запальчиво Волк.

— Хе-хе! Храбрые какие, ей-Богу, словно куры перед "дощем": разве у Бруховецкого нет своей верной старшины, да воевод, да ратных людей?

— А если не сила, так заберем своих жен и детей да уйдем все на Запорожье! — крикнул горячо Остап. Сочувственные возгласы подхватили его слова.

— Догонят, догонят, панове! — отвечал уже с нескрываемой насмешкой незнакомец.

Эти слова окончательно взорвали всех поселян.

— Да кто ты сам будешь? — перебил его Волк, подскакивая к нему со сжатыми кулаками. — Уж не из тех ли самых "суциг", что с Бруховецким мудруют?

— А хоть бы и так, — отвечал заносчиво незнакомец, подымаясь с места. — Что тогда?

— А то, что настала пора бить таких гадин, — вскрикнул бешено Волк, занося над ним свой почтенный кулак.

— Верно! Бить их всех! — закричали кругом, и в одну минуту незнакомца окружила возбужденная, рассвирепевшая толпа.

— А коли бить, так бить! — вскрикнул в свою очередь незнакомец, вскакивая в одно мгновение на лаву и выхвативши саблю из ножен. От его быстрого движения кобеняк свалился у него с плеч.

Толпа невольно отступила.

Перед ней стоял молодой статный казак в дорогом, расшитом золотом жупане, с драгоценным оружием за поясом. Все онемели от изумления.

— Чего ж стали, коли бить, так бить, не смотреть ни на кого! — продолжал горячо казак. — Панове, я Иван Мазепа, ротмистр гетмана Дорошенко, меня прислал он к вам, хотите быть вольными, как были батьки ваши, не платить ни стаций, ни рат, ни оренд, а зажить панями в своей "власний" хате, — так не теряйте часу, "прылучайтесь" к нему, запишутесь в его реестры, — вот вам универсал его, гетман идет сюда освободить вас и всю отчизну от Бруховецкого и от всех ее врагов!

С этими словами казак развернул перед поселянами толстый свиток бумаги.

— Слава, слава гетману Дорошенко! Все за него! — закричали в восторге поселяне, окружая Мазепу взволнованной, бодрой толпой.

XXXVI

Медленно подвигался отряд Мазепы по узкой дороге, извивавшейся среди прижавших ее с двух сторон обрывистых утесов. Кругом расстился дикий сосновый бор. Огромные мохнатые ели и сосны, казалось, уходили под самое небо своими синеватыми вершинами; то там, то сям из-под обвалившейся земли виднелись над дорогой гигантские корни сосен, словно вцепившиеся в песчаную почву красноватыми, корявыми пальцами; в некоторых местах почти вывороченные из земли деревья держались каким-то чудом над самым обрывом, грозя ежеминутно рухнуть всей своей громадой в узкий проход, занимаемый дорогой.

Близился вечер; между красных стволов деревьев уже сгущался седой сумрак; холодный осенний ветер забирался под плащи путников; вершины столетних сосен медленно покачивались с каким-то зловещим шепотом; по тусклому, серому небу медленно ползли грузные темные облака; все было мрачно, дико и угрюмо.

Мрачный вид окружающей природы и угрюмого неба производил какое-то угнетающее впечатление. Отряд подвигался медленно и молчаливо; время от времени то там, то сям раздавалось какое-нибудь отрывистое слово, и снова кругом воцарялось молчание, прерываемое только шепотом сумрачного бора.

Впереди отряда, крепко закутавшись в свою длинную керею, ехал Мазепа. Со вчерашнего вечера одна неотвязная мысль не давала ему покоя; ему все вспоминались слова, сказанные молодым казаком: "А что, скоро ли будешь засылать сватов к Орысе?" Что могло заключаться для него, Мазепы, в этих словах? А между тем они заставили его вздрогнуть и вызвали в нем какие-то туманные, неразрешимые воспоминания. От чего могло это зависеть? Что из прошлого могло в нем вызвать слово Орыся? Знал ли он какую-нибудь Орысю? Мазепа принимался перебирать в своем уме имена всех знакомых ему женщин, и, словно на смех, ни одна из них не носила имени Орыси. Однако же было в этом слове что-то такое, что заставило его насторожиться и прислушаться к разговору казаков. Он прекрасно помнит этот момент: когда он услышал это слово, то сразу ощутил какой-то легкий толчок в сердце и в ту же минуту перед ним вырисовался угол какой-то серой незнакомой хаты, глиняный пол, рядом, какой-то длинный, вытянутый на нем предмет и две женские фигуры в стороне. Дальше он не мог ничего припомнить. Было ли это наяву, или ему снился сон, Мазепа не мог дать се отчета, но, повторяя снова это слово "Орыся", он видел неизменно все ту же картину.

Мазепа провел рукою по лбу; он снова ощутил в мозгу ту мучительную боль, какую ощущает человек, желающий вспомнить во что бы то ни стало что-то решительно ускользающее из его сознания. Чем дольше он вдумывался в это странное обстоятельство, тем большая досада начинала разбирать его. И почему он не остался до утра в шинке и не расспросил об этом подробнее у казака? Может быть, это дало б ему хоть какую-нибудь нить к отысканию Галины? Галины! — злобно усмехнулся Мазепа, и даже досада разобрала его на самого себя. — Какое отношение это может иметь к Галине? Ей Богу, можно подумать, что я потерял последний разум! — проворчал он про себя, а между тем почувствовал неволью какое-то невидимое тайное звено, соединяющее это имя и обрывок воспоминания с образом Галины. Но если бы он даже и остался, что мог спросить он у казака: какая Орыся? — ну, белявая, чернявая, рудая, — больше он не мог ему ничего ответить. Да и оставаться дольше было невозможно: гетман просил делать дело поскорее, а он еще потерял столько времени в степи, — добрых недели две. Нет, нет! Нельзя так играть с судьбою отчизны! — воскликнул с досадой Мазепа. Однако, несмотря на все его усилия, мысль его снова возвращалась к этому казаку, к неизвестной

Орысе, к Галине. Уж это неспроста, — решил наконец Мазепа, — здесь кроется что-то невидимое для меня, но нельзя его упускать из виду так беспечно; надо будет на обратном пути заехать в деревню и порасспросить хорошенько казака.

Это решение слегка успокоило Мазепу и мысль его снова возвратилась к опустевшей дидовой балке.

Первое время, когда из знаков и гримас немного ему удалось уяснить себе, что Галину и Сыча и всех остальных домочадцев увез кто-то и увез насильно, так как Галина плакала при этом, его охватило такое отчаяние, что он хотел тотчас же отправить гонца к гетману Дорошенко с известием о том, что он не может выполнить взятого на себя порученья, — но тут же он устыдился своей слабости. Ему поручили дело, от которого зависит судьба всей отчизны, жизнь десятков тысяч людей, а он из-за личного счастья готов забыть все, осрамить навсегда свое имя, стать вечным посмешищем у казаков. На помощь Мазепе пришли сейчас же его холодный разум и привычка управлять собою и заставили его отказаться от этого безумного намерения. Куда ему нужно было так торопиться? Куда броситься? Кого спрашивать? Где мог он искать Галину? Ни татары, ни ляхи, ни москали, судя по знакам немного, не были виновны в этом похищении, так кто же мог это сделать, кто мог открыть их уединенное жилище? Кроме всего этого, Мазепу поражала здесь еще одна странность: зачем похитителю понадобились в таком случае и Сыч, и баба, и Безрукий? А если это они по своей доброй воле решили покинуть старое жилище и перебраться в более людные местности, то зачем оставили они Немоту и все хозяйство? Но сколько ни ломал себе голову Мазепа над этим непонятым исчезновением Галины, он не мог придумать ничего сколько-нибудь правдоподобного: все нити здесь были оторваны и ни одной из них нельзя было восстановить. Одно только обстоятельство слегка утешало его, — это то, что и Сыч, и Безрукий были вместе с Галиной, они же не допустят какого-нибудь страшного злодеяния над бедным ребенком, — думал он, — а тем временем он, Мазепа, исполнит поскорее свое поручение и, отпросившись у гетмана; бросится снова в степь, а если не найдет там опять никаких следов — что тогда? Какая-то ярость начинала охватывать Мазепу перед этой абсолютной неизвестностью. Решительно судьба задалась целью преследовать его! Вот как это серое небо обложили кругом свинцовые тучи, так и его окружили каким-то неразрывным кольцом непреодолимые неудачи. И ни одного луча надежды впереди... И все так неожиданно! Вот хоть бы и это дело, которое он сам задумал, на которое возлагал такие большие надежды, — теперь становится ему на дороге и будет стоять, быть может, жизни Галине... О! Проклятье! — прошептал он яростно, стискивая зубы, — хоть бы уже скорее освободиться, а то потом, когда подыметесь буря, где уже там будет отыскать хоть кого-нибудь! А тут еще словно все сговорилось против него — и мать, и люди, и обстоятельства, и сама погода! Да вот еще заезжай к этому Гострому! Хотя бы знать, скоро ли его жилище?

Мазепа поднял голову.

— Ну и дичь! настоящее шутово кубло! — прошептал он невольно, озираясь кругом.

Действительно, чем дальше ехали путники, тем мрачней и угрюмей становилась местность. Дорога все подымалась в гору. В некоторых местах обвалившиеся сухие ели перебрасывались с одной стороны обрыва на другую, словно висячие мосты, в других они совсем склонялись над дорогой своими мохнатыми ветвями. Голые, песчанистые обрывы сдавливали дорогу еще теснее в своих объятиях. Узкая полоса неба, видневшаяся над головами путников, нагоняла на душу своим угрюмым сумрачным видом еще большую тоску. Ноги лошадей грузли в песке, так что подвигаться вперед можно было только шагом. Становилось темно; вывороченные корни и стволы елей начинали принимать фантастические очертания. "

— Ну, уж и место, — покачал Мазепа головой, — как раз бы здесь ведьмам свадьбу играть. Фу ты, нечистая сила! — сплюнул он на сторону, — сама на язык лезет.

В это время размышления его прервал протяжный стон филина, раздавшийся сзади за его спиной, будто из середины его обоза. Мазепа насторожился. Прошло несколько минут, крик повторился снова, и вдруг на него откуда-то издалека из глубины бора, ответил такой же протяжный заунывный крик.

— Го, го, — подумал про себя Мазепа, — это что-то не гаразд! Кричала не ночная птица, а наш проводник, я узнал его голос; но с кем это он перекликается? Уж не обманывает ли? Как раз еще заведет к кому-нибудь из подножков Бруховецкого, или к каким харцызьякам в зубы, мало ли их бродит теперь по таким пущам! — Эй, кто там! — вскрикнул он вслух, поворачиваясь в седле.

Старый Лобода подскакал к нему.

— Слушай, Лобода, — обратился к нему Мазепа, — расспроси ты этого поводыря: куда он нас ведет и скоро ли буде жилище Гострого? С утра путаемся в этой чащобе и не найдем следа... Скажи ему от меня, что если до ночи не доведет он нас, так пусть не нарекает на долю, что пропадет его пояс, а виселиц здесь найдется довольно. ^

Лобода поскакал назад и через несколько минут вернулся с ответом, что проводник "упевняе" его мосць, что он идет по верной дороге, и через час обещает доставить их к самому дворищу полковника.

— Ну, гаразд, — ответил слегка успокоенным голосом Мазепа, — да трогайте вы лошадей, что ли!

— Трудно скорее двигаться: опасно оставить обоз, — ответил Лобода, — проводник говорит, что скоро окончится песок.

Мазепа ничего не ответил, а только проворчал сквозь зубы:

— Ишь ты, как темнеет кругом, того и гляди, что напорешься на какой-нибудь сучок или "влучиш" в яму.

Однако делать было нечего, надо было продолжать путь шагом.

Дорога между тем, сначала подымавшаяся в гору, пошла ровно. Песок совсем исчез, почва стала твердая; среди елей и сосен начали попадаться дубы, грабы, осина. Отряд двинулся рысцой. Вскоре сосновый бор совершенно заменился густым и диким чернолесьем. Дорога начала незаметно понижаться. Подступавший с двух сторон лес сдавливал ее все больше, наконец она сузилась до того, что стала не шире лесной тропинки. Беспокойство начало снова прокрадываться в сердце Мазепы. Спуск становился все круче, лошадь его осторожно ступала вперед, поматывая нетерпеливо шеей и настораживая уши. Вдруг за спиной его раздался снова протяжный крик ночной птицы, и через несколько минут издали с правой стороны донесся такой же заунывный стон.

— Опять перекликается чертов пугач! — проворчал Мазепа

— Ух, не по душе мне это! — Он хотел было крикнуть Лободу, но в это время лошадь его шарахнулась в сторону с такой силой, что Мазепа едва удержался за ее шею, чтобы не вылететь из седла.

— Засада! — вскрикнул он, придерживая испуганное животное. — Гей! Проводника сюда!

В одну минуту Лобода и другие казаки отряда подскакали к Мазепе вместе с проводником.

— Куда ты завел нас, сатана! — закричал на него Мазепа, вырывая из-за пояса пистолет. — Смотри, дорога перекопана, повалены колоды! С каким лесным дидьком перекликаешься ты? Говори все по правде, или я застрелю тебя сейчас же, как пса!

Угроза Мазепы, казалось, нимало не смутила проводника.

— Если пан ротмистр застрелит меня сейчас же, как собаку, то никогда не выберется назад из этой пуши, — произнес он спокойно, — а если поедет за мною и дальше, то всегда будет иметь время застрелить меня; для того же, чтобы пан ротмистр не думал, что я хочу спастись бегством, то прошу привязать мою лошадь к своему поводу и пустить меня вперед.

Слова проводника были так логичны, что Мазепа не нашелся ничего возразить на них.

— С кем ты перекликаешься? — спросил он сурово.

— С вартовыми полковника.

— Почему же они не покажутся?

— Потому, что никто не должен знать того места, где они прячутся.

— Ишь, дьявольские выкладки, — проворчал Мазепа сквозь зубы, — кажется, в пекло можно пробраться скорее, чем к этому старому "дидьку" в дупло. Ну, — обратился он к проводнику, — ступай вперед. Да только смотри, я держу пистоль наготове: малейшее твое движение в сторону, и я без промаху всажу добрую галушку в твой затылок.

— Гаразд, — ответил проводник.

Повод его лошади прикрепили к лошади Мазепы, Мазепа осмотрел заряды в пистолете, и отряд снова двинулся вперед. Теперь двигаться стало еще труднее, чем прежде. Дорога быстро понижалась; потянуло сыростью, чувствовалось где-то близкое присутствие болота; ноги лошадей начинали скользить по влажной, грязноватой почве; густой черный лес превратился в какую-то сплошную, непролазную чащу; непрерывно то там, то сям на дороге встречались сваленные кучей колоды, или прокопанные канавы, или просто "провалля", тогда проводник сворачивал в сторону и выходил на какую-то неприметную тропинку, скрытую в чаще, и путники начинали снова колесить по лесу. Крики пугача раздавались все чаще и чаще, и каждый раз этот протяжный стон вызывал в сердце Мазеп какое-то неприятное, подозрительное чувство. Наконец, после тысячи остановок, криков, возгласов, проклятий, отряд выбрался из лесу и остановился на его опушке.

Было уже совершенно темно, так что Мазепа с трудом мог рассмотреть местность, в которой они остановились. Это была огромная круглая котловина, отлогие стороны которой были покрыты со всех сторон сплошным черным лесом; у подножия леса разостлалось полукругом какое-то топкое непролазное болото с мутно блиставшими кое-где светлыми пятнами, — речкой ли, скрывающейся в очеретах, или просто выступившей из-под почвы водой. За этим болотом подымалась снова темнеющая громада земли, покрытая таким же лесом, на вершине которой Мазепа увидел неясные очертания чего-то громадного и неуклюжего.

— Вот оно и есть то место, где живет пан полковник, — произнес проводник, вытягивая руку

по направлению горы.

— А как только мы туда переберемся? — спросил у него Мазепа, озираясь по сторонам. — Ни моста, ни плотины не видно кругом.

— Хе, хе! — усмехнулся проводник. — Ступайте за мною, я проведу.

Отряд двинулся снова по опушке леса, вдоль растянувшегося болота. Проехавши так с полверсты, проводник остановился вдруг у старой дуплистой вербы и, круто повернувшись, приказал своим спутникам следовать за ним.

— Да что ты — прямо в болото? — остановился в недоумении Мазепа. — Потопить нас хочешь, что ли?

— Я в руках пана ротмистра, — ответил невозмутимо проводник. — Прошу следовать за мною, другой переправы нет.

Скрепя сердце, Мазепа должен был подчиниться его приказанию. Лошади начали спускаться и остановились у самого болота.

— Теперь гуськом, один за другим в ряд! — скомандовал проводник, вступая в болото. Раздалось громкое чавканье копыт, грузнувших в густой тинистой грязи.

Оказалось, что в этом месте под тонким слоем грязи, покрывавшей ноги лошадей до щиколотки и выше, была намощена совершенно незаметная для глаза узкая плотина; иногда грязь подымалась до колена лошади; но двигаться можно было, хотя и с большим трудом.

Сверни только на поларшина направо или налево, — обратился к Мазепе проводник, — так и пойдешь с конем к самому болотяному дидьку на вечерю.

Через четверть часа такой утомительной езды путники, наконец, выбрались на сухой берег и стали снова взбираться на гору. Здесь уж дорога пошла ровно, и перед ними зачернела издали какая-то неуклюжая черная громада.

Подъехавши ближе, Мазепа с удивлением рассмотрел замок полковника; он был так мрачен и угрюм, что действительно напоминал страшное разбойничье гнездо.

XXXVII

Всю усадьбу окружал глубокий ров, а за ним — вал, на котором подымался еще высокий, сажени в полторы, острый частокол; состоял он весь не из бревен, а из цельных необтесанных колод, тесно сбитых и скованных между собой. Острые вершины его были еще снабжены сверху заостренными пиками, так что перелезть через него не было никакой возможности. Над коваными железом воротами с подъемным мостом подымалась высокая рубленая сторожевая башня с выглядывающими во все стороны длинными жерлами гаковниц. Частокол был так высок, что из-за него не видно было никаких внутренних построек. Гигантские столетние ели, обступившие замок, казалось, сторожили это мрачное гнездо.

Спустившаяся уже в лесу тьма окутывала и самую усадьбу, и высокие силуэты тихо шумящих елей.

— Ну и жилище, — подумал про себя Мазепа, останавливаясь перед замком, — настоящий разбойничий притон! Однако, труби, Лобода, — обратился он к стоявшему с ним рядом слуге.

Лобода вынул из-за пояса небольшую, красиво завитую серебряную трубу и, приложив ее к губам, протрубил три раза. Звук трубы как-то странно прозвучал в ночной тишине и всполошил спавшее в лесу эхо. Однако на этот обычный знак, сообщавший обитателям замка о госте, желающем найти под его кровом радушный приют, — из замка не последовало никакого ответа.

Прождавши несколько минут, Мазепа приказал Лободе повторить свой прием; но ответом из замка было и на него все то же угрюмое молчание.

— А, сто чертей им и их роду, — выругался с досадой Мазепа, — не будем же мы здесь перед их воротами ночевать. Труби так, чтобы им прочистило уши, когда не хотят отвечать сразу.

Лобода не заставил себя повторять этого приказания, и видно требование его было достаточно настойчиво, так как через несколько минут в прорубленном отверстии башни, изображавшем окно, показалась чья-то голова.

— А замолчишь ли ты, сатана безрогий, чтобы тебе на тот свете черти так в уши трубили! — закричал чей-то сиплый голос. — Какого "дидька" ты шатаешься ночью по лесу, да не даешь покою добрым людям? Приветствие было не из любезных и взорвало Лободу.

— Добрые люди, добродию, — закричал он в ответ, — отвечают сразу, а вот такие харцызяки безухие, как твоя милость отвечают тогда, когда их попотчуют батогом!

— Го-го! Какой скорый! А ну, выходи сюда, посмотрю добрый ли ремень выйдет из твоей шкуры? — отвечал сиплый голос.

— Отворяй же, отворяй ворота, посмотрю и я, все ли у тебзубы во рту, — закричал Лобода.

— Как же! Переночуешь и в лесу, розбышака; нет у нас мест для всяких бродяг, — продолжал негостеприимный сторож. Лобода вспылел.

— Не для розбышаки, татарская морда, — крикнул он зычным голосом, — а для славного Ивана Мазепы, присланного: твоему полковнику гетманом Дорошенко!

— Ну, ну, много вашего ночного товариства прикрываете теперь гетманским именем, — отвечал насмешливо сторож. — Иди себе к нечистому, пока не попотчевал тебя железно кашей!

Положение отряда становилось критическим, перебранка начинала принимать все более враждебный характер; видимо обитатели замка не верили назначению Мазепы и решительно не желали впустить к себе отряд. Долго пришлось Мазепе поспорить с недоверчивым и угрюмым сторожем, пока он согласился объявить полковнику о прибытии посла. Наконец голова скрылась из окна.

Прошло с четверть часа, в окне никто не появлялся. За стенами замка царила все та же тишина, прерываемая только глухим завыванием всполошенных псов.

Мазепа начинал уже терять последнее терпение, когда окне показалась снова голова, и тот же сиплый голос прокричал:

— Отряд пусть отъедет подальше и останется в лесу, а посол может въехать в замок.

Это распоряжение пробудило в Мазепе снова смутное подозрение, — уж не соорил ли ему

тут засады проводник. Странные приемы владельцев замка невольно наводили на эту мысль. Однако выбора не было: надо было или принимав предложение владельцев, или возвращаться назад. Он ощупал на себе оружие и тонкую кольчугу, покрывавшую под жупаном его грудь, и, обратившись к Лободе, произнес быстро и отрывисто:

Теперь отъезжайте, но не удаляйтесь никуда от замка; если до полночи вас не впустят, и я не дам вам никакой вести, — старайтесь проникнуть в замок.

Лобода обещал исполнить точно его приказание. Отряд и обоз Мазепы отъехали вглубь леса. Когда они удалились на значительное расстояние, ржавые цепи заскрипели, опустился подъемный мост; Мазепа проехал под темным проходом башни и въехал наконец на обширное подворье полковника.

Воротарь пошел вперед, и Мазепа последовал за ним.

Было уже так темно, что он не мог рассмотреть хорошенько расположение этого угрюмого замка, — он заметил только направо и налево темные силуэты каких-то обширных построек, прямо же перед ним чернел большой будынок, в одном из окон которого мелькал красноватый огонек. Доехавши до половины двора, Мазепа, из уважения к званию и возрасту хозяина, соскочил с коня и, взяв его за повод, пошел пешком. Теперь, подойдя ближе, он мог уже рассмотреть и самое жилище полковника. Это была какая-то длинная, неуклюжая и массивная постройка, сбитая из необтесанных бревен с таким же тяжелым крыльцом посредине и высокой гонтовой крышей. Дойдя до крыльца, Мазепа отдал своего коня воротарю и, взойдя на ступеньки крыльца, отворил тяжелые двери и вошел в сени. Все стены этой обширной комнаты были увешаны ружьями, саблями, конской сбруей, волчьими, лисьими и медвежьими шкурами; на деревянных козлах лежали дорогие, расшитые серебром седла. В сенях Мазепу встретил старый казак с каганцом в руке.

— Пан полковник просит твою милость не гневаться на него, — произнес он, кланяясь Мазепе, — за то, что не может он встретить пана, по старому обычаю, на пороге своего дома. Тяжкий недуг приковал его к месту, а потому прошу пана последовать за мной.

Слова казака изумили Мазепу. Как, тот самый полковник Гострый, о силе и ловкости которого рассказывали такие чудеса в шинке, который еще позавчера пропорол одним ударом ножа брюхо медведю, теперь так слаб, что не может подняться с места? Ге-ге! Да к полковнику ли Гострому завел его проводник? — подумал с сомнением Мазепа, шагая вслед за казаком. Они прошли еще какую-то полутемную комнату, тоже нечто вроде прихожей, в которой также пахло ремнями и звериными шкурами, и вошли в покой самого полковника.

Комната была освещена двумя желтыми восковыми свечами, стоявшими в медном зеленом подсвечнике, так что Мазепа сразу же осмотрел ее. Стены ее были также деревянные, липовые, но только чисто выструганные, словно отполированные, так что свет свечей переливался на них. Потолок был также небеленый, но чисто отполированный, с красивым резным сволоком. Правый угол комнаты занимали иконы, убранные красивыми рушниками с зажженной перед ними лампадкой. Под стенами тянулись липовые лавы со спинками, покрытые красным сукном; на стенах висели ковры и дорогие восточные ткани, а поверх них были навешаны тонкие кольчуги, шлемы и разное дорогое оружие. Под иконами стоял длинный стол, покрытый ковром, и у него на высоком, самодельном кресле с высокой, деревянной спинкой сидел очевидно сам полковник.

Это был худощавый старик с пышными седыми усами и нависшими на глаза седыми же бровями; его желтый высокий лоб и худощавые обвисшие щеки казались еще желтее от

чистого серебристого цвета усов и бровей. Голова полковника была гладко выбрита по запорожскому обычаю и только на самой маковке головы завивался длинный серебристый "оселедец". Выражение лица полковника не отличалось от всего вида его усадьбы: глядел он строго и угрюмо, едва вскидывая глазами из-под своих нависших бровей. Весь вид его не соответствовал тому изображению закаленного героя, которое создал в своем воображении Мазепа на основании слышанных им в шинке разговоров. Полковник сидел в кресле как-то осунувшись, наклоненная голова его входила в плечи; ноги покрывала до самых колен пушистая медвежья шкура. Подле кресла его стояла толстая палка с дорогим набалдашником.

Мазепа сделал несколько шагов и, остановившись, отвесил полковнику красивый поклон и произнес:

— Ясновельможный гетман Петр Дорошенко велел мне узнать, как здоровье твоей милости?

— Благодарю его ясновельможную мощь, — отвечал полковник, наклоняя голову, — но к старости и дуб столетний хиреет, так вот и меня прикрутила тяжкая болезнь, не мог я тебя выйти встретить на пороге моего дома. Ох, ноги, ноги... — схватился он рукой за колени, — ломит, ноет... Быть на завтра дождю или снегу... уж это у меня вернейший "прогностык"... Однако, что ж это я тебя своими "слабостями" занимаю... Садись, пане добродию, будь дорогим гостем.

Мазепа поблагодарил за приглашение и сел на лавке против полковника.

— Прости, ясный пане, что я потревожил тебя своим прибытием в такое позднее время, — заговорил он, — но ясновельможный гетман поручил мне передать твоей милости деньг универсалы и военные припасы и просил узнать у тебя, к идет здесь воистину наша "справа" на левом берегу, много прилучилось к нам левобережных, можно ли положиться на Нежинский, Киевский и Прилуцкий полк. Гетман просил тебя верить мне, как самой его мощи, и в "доказ" слов моих велел показать тебе этот перстень. — С этими словами Мазепа снял с указательного пальца массивный золотой перстень с большим изумрудом, на котором был вырезан гетманский герб, и со словами: — Знаком ли он тебе? — передал его полковнику.

Полковник бросил на Мазепу быстрый, но вместе с тем и пытливый взгляд, осмотрел внимательно перстень и, возвращая его назад, ответил:

— Знаком, а как же, знаком... — Затем он слегка выпрямился, опустил руку на стол и, поднявши голову, обратился к Мазепе более добрым голосом:

— Гаразд, гаразд. Все, все расскажем. А ты сообщи мне вперед, что у вас делается нового. Куда двинул гетман орду?

При этих словах полковника Мазепа почувствовал на себе снова его быстрый и острый взгляд, мелькавший, словно тонкая игла, из-под его нависших бровей.

Вопрос его изумил Мазепу. Странно, неужели же он, такой верный "спивбрат" гетмана, и не знает, что гетман еще только поджидает татар: Правда, передовые отряды отдельных мурз уже прибывали в Чигирин, и среди народа носились слухи о том, что к Дорошенку явилась уже вся крымская орда, но Гострый должен же был знать истину.

— Разве пан полковник не знает, — спросил он с изумлением, — что гетман только после Покрова ожидает прибытия орды?

— Гм... гм... — произнес как-то неопределенно полковник, накручивая на пальце свой длинный

ус, — значит, переяславцы обманули меня, а я было уже понадеялся...

Снова слова полковника поразили еще больше Мазепу, как это могли переяславцы передавать ему такие вести, когда он сам, Мазепа, видел их у Дорошенко, и тогда еще гетман сомневался в том, согласится ли даже хан прислать свою орду.

— Пане полковнику, — ответил Мазепа, — смотри хорошенько, переяславцы ль то были у тебя? Не могли они передать тебе такой вести, так как я сам был в ту пору у гетмана, а тогда еще и неведомо было, пришет ли хан свою орду. Полковник совсем повернулся к Мазепе.

— Ты думаешь? — произнес он живо, устремляя прямо на Мазепу свои пронзительные глаза. — А что же, может и вправду статься! Много ведь теперь всякой "наволочи" "прыкыдається" теплыми приятелями Дорошенко, чтобы уловить каких малоумных, да открыть все Бруховецкому. О, у него много верных подлипал! Хоть бы Самойлович, Гвинтовка и другие.

Опять в словах полковника Мазепу поразило его полное незнакомство со всеми обстоятельствами задуманного Дорошенко переворота. Самойлович — угодник Бруховецкого? Конечно, для отвода глаз он и должен был вести себя так на левом берегу, но полковник Гострый должен же знать истинные рации и намеренья Самойловича. Теперь уже Мазепа бросил в свою очередь подозрительный взгляд на полковника. "Ге-ге! — подумал он про себя. — Да уж ты-то сам кто такой будешь? Не попался ли я в ловушку? Ну, постой же, попытаю я и тебя! Надо быть поосторожнее и не выболтать чего-нибудь лишнего". И стараясь не подать ни малейшего намека на то, что он подозревает полковника, Мазепа отвечал небрежным тоном.

— Да, много теперь зрадников и иуд расплодилось кругом. Прежде говорила пословица: надо пуд соли вместе съесть чтоб узнать человека, а теперь, думаю, и того было бы мало. Вот скажи мне, добродию, кому из людей доручил ты свою справу по селам, разослал ли везде вестунов, чтоб к тебе собирались?

Лицо полковника не изменилось, только в глазах его словно промелькнула улыбка.

— По селам? — изумился он. — А ты откуда знаешь, что я там поставил своих вартовых?

— Не знаю, а спрашиваю, чтоб сообщить и моему гетману, подготовлен ли народ?

— Гм! гм... А ты из Чигирина прямо, или заезжал куда?

— Из Чигирина. — улыбнулся чуть заметно Мазепа.

— Так, так... Люди, говорю тебе, у меня верные, верные, своя рука.

— У, хитрый лис! — подумал про себя Мазепа, — тебя, видно, сразу не прощупаешь.

— Верные-то верные, — произнес он вслух, — одначе вспомни, пане полковнику, как тебя твой же слуга Иван Рагоза чуть-чуть не предал Бруховецкому. Да стой, что же ты сдела с ним?

Полковник вздрогнул:

— А что же с такими шельмами делать? Наказал его примерно, да и баста, — отвечал он, овладев сразу собою. — Все это от хворости моей происходит: не могу сам выехать никуда, приходится доручать все чужим людям. Ох-ох-ох! — застонал он и ухватился руками за правую ногу. Притворство полковника взорвало Мазепу.

— Ну, постой же, уж я выведу тебя, хитрец, на чистую воду: или ты или не ты? — решил он и, обратившись к полковнику, произнес с любезной улыбкой, дотрагиваясь до пышной медвежьей шкуры, покрывавшей ноги полковника:

— Да, ноги для казака первое дело. Какие уж там войсковые "справы", когда не может человек и с места подняться. А дозвожь-ка спросить твою милость, не с того ли косматого супостата эта шкура, которому ты позавчера на "вловах" так молодецки брюхо распорол?

По лицу полковника мелькнуло молнией изумление, сменившееся нескрываемой улыбкой.

— Ге-ге! Да ты уже и это выследил! — воскликнул он весело, подымая голову.

Мазепа заметил теперь с изумлением, что и осанка полковника, и выражение лица его совершенно изменились. И под нависших бровей глаза глядели теперь бодро и весел под усами играла веселая, насмешливая улыбка.

Ну, пане добродию, — ударил он Мазепу по колену. — Годи нам с тобою, как малым детям, на гойдалке качаться; вижу, что не абы кого прислал ко мне Дорошенко. Пробач же теперь мне, что до сих пор не верил я тебе, хоть ты и показал мне гетманский перстень: мало ли чего не могло случиться, мог и украсть его кто-нибудь у гетмана, или у тебя, а теперь ведь расплодилось такая тьма неверных собак, что и своих стен начинаешь опасаться. Ко мне уже не раз добирался сам дьявол Бруховецкий и приспешников своих подсылал, только я ведь как еж, меня ведь голыми руками да голым разумом не возьмешь!

— А я уж подумал, не завел ли меня проводник к какому союзнику Бруховецкого? Не хотел уже и верить тебе, — усмехнулся Мазепа.

— И добре делаешь, что не сразу всякому веришь, а наипаче тут у нас на левом берегу... Одначе, пойдём же теперь христианским делом повечеряем, чем Бог послал, да за вечерей и побеседуем про всякое дело. Пожалуй, будь дорогим гостем, — произнес он, подымаясь бодро с места и указывая рукой дорогу Мазепе.

— А нога? Может, пана полковника "пидвесты" нужно? — улыбнулся Мазепа.

— Ха-ха! — рассмеялся здоровым низким голосом полковник и отбросил в сторону и палку, и медвежью полость. — Эта хвороба еще "сумырная" — от первой чарки замолчит.

Полковник распахнул противоположные двери, и они вошли в большую, ярко освещенную комнату.

Посреди комнаты стоял большой стол, покрытый скатертью с массой фляжек, кувшинов, блюд, мисок и полумисок, посреди которых возвышались большие серебряные шандалы с зажженными в них восковыми свечами. Направо от стола в большом очаге пылали и потрескивали толстые полена дров. Подле очага, растянувшись на полу, лежали два огромных волкодава.

Глухое рычанье раздалось навстречу Мазепе, но полковник прикрикнул на собак, и они замолчали, сердито нащетилив свою шерсть.

— А вот, пане добродию, и моя молодая хозяйка, — произнес он, — прошу любить да жаловать.

Мазепа оглянулся, приготовляясь сказать обычное приветствие, и вдруг — слова замерли у него на устах... Он сделал невольно шаг вперед и остановился, как вкопанный.

Перед ним стояла таинственная казачка, с которой он встретился прежде в лесу.

XXXVIII

Девушка стояла перед Мазепой, тоже окаменевшая от изумления, широко раскрыв глаза. Несколько секунд они стояли так молча друг перед другом, не произнося ни одного слова.

Изумленный полковник тщетно переводил свой взор с одного на другую, стараясь открыть причину такого непонятного изумления, наконец, терпение его истощилось.

— Да что это такое, Марианна! — воскликнул он. — Видалав ты его где-нибудь, что ли?

— Отец, — ответила девушка, оправившись от изумления, это тот рыцарь, который спас мне жизнь.

— Спас тебе жизнь? Как? Что? Когда? — вскрикнул изумленный полковник, отступая теперь в свою очередь от недоумения назад.

— В лесу... когда кабан подсек ноги моему вороному. Лицо полковника просияло.

— Так это ты? — заговорил он радостно, делая шаг навстречу Мазепе. — Господи Боже мой! Вот-то радость! Ну, иди ж, иди сюда, дай я тебя расцелую да подякую, ведь большей услуги мне никто не мог учинить: вот эта упрямая дивчина у меня одна. Ха-ха! А я-то еще тебя и в хату не хотел пускать! Вот старый дурень, ей-Богу! — с этими словами полковник крепко обнял Мазепу и запечатлел на его щеках три звонких поцелуя и, отстранившись от Мазепы, но все еще держа его за руку, произнес с лукавой улыбкой: — А ты отчего мне сразу не сказал? Ей-Богу, чуть-чуть не довел до греха!

— Да как же мне было сказать? — улыбнулся Мазепа. — Ведь я не знал, что прекрасная панна — дочь пана полковника и живет в этом диком лесу.

— Не зови меня панной, казаче, — ответила гордо девушка, мы с батьком польского шляхетства себе не просили, — зови меня Марианной!

— Вот какая она у меня "запекла", — подморгнул Мазепа Гострый, — дворян новых не терпит горше жидов.

— Если ты позволила называть тебя так, Марианна, то поверь мне, это будет гораздо приятнее, чем называть тебя ясноосвецоной княгиней, — поклонился девушке Мазепа, — но имени твоего я не забыл, я только проклинал себя тысячу раз за то, что не спросил тебя, чья ты дочь и где проживаешь.

— Зачем же тебе понадобилось это?

— Прости меня на прямом казацком слове: хотел еще раз увидеть тебя, потому что такой отважной и смелой девушки я не видел нигде и никогда.

На щеках Марианны выступил легкий румянец.

— Не соромь меня, казаче, — ответила она, — в тот раз проклятая рушница осрамила меня, но если ты останешься у нас и завтра, я покажу тебе, что умею попадать в цель.

— Что там говорить о рушницах? Рушница всегда и всякому изменить может, — перебил Марианну отец, — сабля да нож — самые верные казацкие дружи! А что уж храбра моя донька

— так это ты, казаче, правду сказал, да... на медведя выходит, ей-ей! Одначе, что же это мы стоим, да и гостя на ногах держим? Проси ж садиться, угощай, чем Бог послал, Марианна! Ты не взыщи, пане ротмистре, за нашу справу: нет у нас здесь ни городов, ни садков, живем себе, как пугачи в лесу.

Он сел за стол, посадив по правую руку от себя Мазепу, а Марианна поместилась против них.

Хотя полковник и просил у Мазепы извинения за скромный ужин, но слова его были далеки от истины: весь стол был заставлен огромными мисами со всевозможными кушаньями, первенствующую роль среди которых играли трофеи собственной охоты. Здесь были копченые медвежьи окорока, дикие козы, кабаньи филе, соленые дикие утки и гуси и другие отборные кушанья. Между блюдами подымались высокие серебряные кувшины и фляжки.

— Ну, что будешь пить? Мед или венгржину? — обратился к Мазепе Гострый.

— Хоть и меду, мне все равно.

— Мед, так и мед, мед добрый, старый. Ну, наливай же келехи, Марианна, — обратился он к дочери и затем продолжал с улыбкой, — да, славный, из собственных бортей и неоплаченных. Хо, хо! Я ведь стаций не плачу: не приезжает никто за сборами, а самому везти будто не рука! Ну, — подал он Мазепе налитый уже Марианной кубок, — выпьем же за то, что Господь привел тебя под нашу убогую кровлю! Да наливай же и себе, Марианна, выпьем все разом. Вот так! — и поднявши высоко свой кубок, он произнес громко: — Даруй же тебе, Боже, славы и здоровья, а нам дай, Боже, поквитоваться когда-нибудь твою рыцарскую услугу. — С этими словами он чокнулся своим кубком с Мазепой, а затем и с Марианной.

Мазепа наклонил голову в знак благодарности на приветливые слова полковника и отвечал, чокаясь также своим кубком с полковником и с Марианной:

— Напрасно благодаришь меня, пане полковнику, — в этом "вчынку" виновницей была одна слепая доля, которая привела меня на ту пору в лес, но если ты это считаешь заслугой, то доля уже "стократ" вознаградила меня тем, что снова привела к вам.

— Хо-хо! — улыбнулся полковник, расправляя богатырские усы, — вижу, щедрый ты на слова, пане ротмистре, так совсем захвалишь нас с донькой: мы и вправду подумаем, что мы какие-нибудь важные птицы, а не опальные казаки. Одначе расскажи же мне, каким образом сталось все это, как пошел ты на ту пору в лес?

— Я ехал от кошевого запорожского Сирко посланцем к Дорошенко...

— От Сирко к Дорошенко? — перебила его с изумлением Марианна.

— Да, от Сирко к Дорошенко. Но что же тебя удивляет в этом, Марианна? — переспросил девушку Мазепа.

— Так значит, ты наш, а не польский пан? — слегка запнулась девушка.

— Ваш, Марианна, и сердцем и душой, — отвечал с чувством Мазепа. — Я происхожу из старожитной украинской шляхты, отец мой, и дед, и прадед никогда не отступали от своей отчизны и православной веры, я же вправду служил сперва при польском короле, я думал, что можно еще с помощью ляхов успокоить как-нибудь отчизну, но теперь я изверился в них, я решил оставить навсегда Варшаву и остался навсегда при Дорошенко, хочу послужить, чем могу, заплаканной отчизне.

— И слава Богу, — заключил полковник, — какого там добра от ляхов ожидать, а такая голова, как твоя, сослужит нам немалую службу. Из груди девушки вырвался какой-то облегченный вздох.

— А мне говорили... я думала, — поправилась она, — что ты польский пан, но теперь, когда я знаю, что ты наш, казаче, вдвойне рада видеть тебя здесь.

Мазепа только что хотел спросить Марианну, кто это говорил ей, что он польский пан, но в это время к нему обратился полковник.

— Однако к делу, панове громадо, — заговорил он, "одбатовуючы" себе огромный кусок окорока и отправляя в рот за каждым своим словом гигантские куски. — Ты говоришь, что гетман Дорошенко спрашивает нас, как стоит здесь наша справа? Мазепа наклонил голову.

— Ширится повсюду и среди посполства, и среди старшины. Работаем мы с донькой, да нежинский полковник Гвинтовка, старый честный казак, да переяславский Думитрашко, да Солонина, да Лизогуб, да Горленко, Самойлович, он хоть и хитрый лис, любит на двух лавах садиться, а голова у него не порожняя...

Затем полковник перешел к перечислению преданных Дорошенко сел, местечек и городов; он исчислил Мазепе точны силы Бруховецкого и количество находящихся по всей Украине ратных людей и определил ему тот путь, по которому лучше всего было бы двигаться Дорошенко.

Марианна принимала деятельное участие в этом разговоре, но Мазепа рассеянно слушал его. Он не мог оторвать ее их восхищенных глаз от сидевшей против него девушки.

В своем домашнем наряде, освещенная ярким пламенем огня, она казалась ему еще прекраснее.

Марианна говорила с воодушевлением; на щеках ее вспыхнул яркий румянец, серые глаза казались теперь черными блестящими драгоценными камнями. Но несмотря на ее воодушевление, Мазепе чувствовалось что-то тайное, грустное в этой прямой линии ее сросшихся черных бровей... Ему казалось, что он читает в ее строгих чертах предсказание какой-то печальной доли...

Увлеченный со своей стороны своим рассказом, полковник не замечал рассеянности Мазепы. Наконец он передал ему все нужные известия и тогда только заметил, что тарелка Мазепы оставалась совершенно пустой.

— Гай, гай! — вскрикнул он. — Куда и "кепськи" мы с тобой хозяева, Марианна: пословица говорит, что "соловья баснями не кормят", а мы с тобою так заговорили нашего гостя, что он, пожалуй, и совсем от голода пропадет.

— Что правда, то правда, — согласилась с улыбкой Марианна. — Ешь же на здоровье, казаче, не жди от меня "прынуку", не умею я так "трахтовать", как вельможные пани или значные городянки — прости за простой обычай: бери сам, что понравится, на доброе здоровье.

С этими словами она начала подвигать к Мазепе одно за другим все стоявшие на столе блюда.

Мазепа следил за всеми ее движениями, и каждое ее движение, такое простое и непринужденное, каждая ее улыбка, каждое ее смелое, прямое слово нравилось ему все больше и больше.

— Одначе пора же и челядь твою во двор впустить, — заметил полковник.

Тут только вспомнил Мазепа о том распоряжении, которое отдал при въезде в замок Лободе, и с улыбкой рассказал полковнику и Марианне как он приказал своим слугам, в случае, если их не впустят до полночи в замок и от него не будет никакого "гасла", стараться брать приступом замок.

Распоряжение его понравилось чрезвычайно и полковнику, и Марианне.

— По-казацки, по-казацки, сыну! — одобрил его с улыбкой полковник. — Что ж, когда хозяева не просят — надо самим идти. Одначе, чтоб они нам не наделали "бешкету", пойдди, дочка, распорядись там, а то ведь с такими "завзятцями" — непустишь по воле... хо-хо! такпустишь поневоле. Да чтоб там нагодувалы да напоилы... Ну да, впрочем, ты у меня все знаешь.

Марианна встала из-за стола и вышла своей легкой, но твердой походкой из комнаты.

— А ты, казаче, не "гаючы часу", подкрепись, чем Бог послал, — обратился полковник к Мазепе.

Мазепа не заставил повторять себе еще приглашения и принялся за ужин. Теперь, наконец, его голод дал себя знать, полковник, впрочем, не отставал от него, и стоявшие на столе блюда исчезали с поразительной быстротой.

Когда, наконец, ужин был кончен, Марианна вошла в комнату и объявила, что весь поезд Мазепы уже впущен в замок; затем с помощью старого слуги, встретившего Мазепу еще в сенях, она убрала все со стола, оставив только келехи и жбаны, и снова заняла свое место.

— Ну, теперь, казаче, — произнес полковник, отбрасываясь на спинку высокого деревянного стула и закуривая люльку, — расскажи ж и нам все, что у вас в Чигирине деется, и зачем ты собственно пожаловал на левый берег, — только ко мне, или имеешь еще какое-нибудь дело впереди?

Мазепа начал рассказывать им о всех политических новостях, происшедших за это время в Чигирине. Марианна слушала его с большим вниманием, перебивая иногда его речь или гневным восклицанием, или метким словом, или неожиданным вопросом, — все это свидетельствовало Мазепе, что девушка не на словах только, а и в самом деле была душою восстания.

Познакомивши своих слушателей со всеми чигиринскими делами, Мазепа перешел к изложению своего плана.

— Видишь ли, пане полковнику, — начал он, — еду я главным образом к Бруховецкому.

— К Бруховецкому? — перебила его Марианна. — Да разве, нему можно ехать?! Ведь, если он узнает, что ты прислан нему от Дорошенко, он не выпустит тебя назад.

— Сама ты, Марианна, не боишься выходить на медведя, а удивляешься тому, что я решаюсь ехать в берлогу Бруховецкого, когда дело идет о целости нашей отчизны, — ответил Мазепа. — Но я еще надеюсь, что он отпустит меня с богатыми дарами: я еду к нему вестником мира.

— Как так? — изумились разом полковник и Марианна.

— А вот как. Вы, панове, перечислили мне все верные Дорошенко полки и города, но это ведь

еще не все, — суть-то у Бруховецкого: и свои верные дружины, а кроме всего и московские рати. Когда Дорошенко высадится сюда на левый берег, а с ним вместе и орда (пан полковник и ты, Марианна, знаете ведь, что без нее нам невозможно выступить), тогда подымится новое кровопролитие, и снова застонет несчастная отчизна, матка наша. Я проезжал теперь вашими селами и городами, вижу и здесь пострадал немало несчастный люд от татар.

— Д-да, эти "побратымы" берут немало за свои услуги, произнес угрюмо полковник.

— В том-то и суть, — продолжал Мазепа, — а если теперь вместе с Дорошенко "вкынулась" бы на левый берег орда, тогда бы пошло великое опустошение и крови христианской разливание, а тем самым и "зменшеня" моци нашей.

— Что ж делать, — вздохнул полковник. — Где пьют, та бьют. Не может без того война быть.

— Лучше нам сразу кровь пролить за свою свободу, чем точить ее капля по капле под чужим ярмом! — произнесла горячо, сверкнув глазами, Марианна.

— Верно, — согласился Мазепа. — Но если можно и ярмо скинуть, и не пролить родной крови!

— Что ты говоришь? — вскрикнули в один голос и полковник, и Марианна.

— А вот что, — отвечал Мазепа. — Для чего надо приходить сюда с войсками Дорошенко? — Для того, чтобы покорить под свою булаву все полки и города, считающие еще над собою гетманом Бруховецкого. А если Бруховецкий соединится с Дорошенко, какая нужда тогда будет воевать Левую Украину?

— Он не согласится на это ни за что и вовеки, — произнес твердо полковник. — Бруховецкий труслив, как тхор, и чувствует, что влада его висит на тонком волоске. Для того-то он и ездил в Москву, чтобы укрепиться на гетманстве, он только и держится московскою ратью, и чтоб он решился отделиться от Москвы и гетмановать вместе с Дорошенко — никогда!

— А если Дорошенко сам уступает ему свою булаву, лишь бы соединилась отчизна?

— Как? — вскрикнула горячо Марианна, подымаясь с места.

— Бруховецкий будет гетмановать над всею Украиной? Злодей, наступивший на наши вольности, продавший, как Иуда, отчизну, будет и дальше угнетать народ и вести всех к гибели?! Да не будет этого! Если вы и все за эту думку, — я сама убью его, как паршивого пса, и рука моя не "схыбне"!

Освещенная огнем, стройная и величественная, с гордо закинутой головой, горящим взглядом и грозно сжатыми бровями, Марианна была изумительно хороша в эту минуту, и Мазепа невольно загляделся на нее. Казалось, и сам полковник залюбовался своей воинственной дочкой, словно застывшей в этом порыве.

XXXIX

— Успокойся, Марианна, — заговорил Мазепа, — я потому только не противлюсь воле Дорошенко, что знаю то, что сам народ не захочет иметь над собою гетманом Ивашку.

— Так зачем же ложь? Зачем обман? — продолжала горячо Марианна. — Я не "вызнаю" лжи ни в каких "справах", казаче! Бруховецкий недостоин быть гетманом, и он должен погибнуть смертью, достойной злодея. Предатель, изменник! Смотри, что он сделал своим

"зрадницьким" гетманованьем с Переяславскими пактами! — вскрикнула гневно девушка и с этими словами подошла к длинной полке, тянувшейся по стене комнаты и, снявши стоявший там среди золоченой посуды дорогой ларец, быстро подошла к столу и поставила его на стол.

— Вот они, Переяславские пакты, на которых прилучил нас гетман Богдан, — продолжала она, открывая ларец, и вынимая пожелтевшую от времени толстую пергаментную бумагу, — я знаю их на память, но смотри, читай сам.

С этими словами она развернула пожелтевший лист и указывая пальцем на исписанные старинным письмом строки, прочла громким и внятным голосом:

— Пункт первый: "Вначале подтверждаются все права и вольности наши войсковые, как из веков бывало в войске запорожском, что своими судами суживались и вольности свой имели в добрах и судах. Чтобы ни воевода, ни боярин, не стольник в суды войсковые не вступались, но от старейшин своих, чтобы товариство сужены были". Дальше слушай! — продолжала она. — Пункт четвертый: "В городах урядники из наших людей чтобы были обираны на то достойные, которые должны будут подданными исправляти или уряжати и приход належачий вправду в казну отдавати".

Все движения и голос Марианны были полны страстного порывистого одушевления, которое невольно передавалось и Мазепе.

Слушая эти пакты, святыню, хранившуюся в каждой казацкой семье, Мазепа начинал ощущать и в своей душе страстную ненависть к Бруховецкому.

А Марианна продолжала читать дальше с тем же страстным воодушевлением пункт за пунктом.

— Пункт тринадцатый. "Права, наданные из веков от княжат и королей как духовным и мирским людям, чтоб ни в чем не нарушены были". Пункт шестнадцатый. "А для того имеют посланники наши договариваться, что наехав бы воевода права бы ломати имел и установы какие чинил, и то бы быти имело с великой досадою, понеже праву иному не могут вскоре колыхнуть и тяготы такие не могут носити, а из тутошних людей когда будут старшие, тогда против прав и уставов тутошних будут направлятися!"

— Ты сам знаешь, — заговорила Марианна, опуская бумагу на стол, — что на Переяславской раде были утверждены все эти пункты, а что он сделал с ними, изменник! Зачем он обложил весь народ несносными стациями и поборами? Зачем он своей владей выбирает и ставит старшину? За эти пакты батьки наши кровью своей землю обагрили, — ударила она рукой по бумаге, — а он ради прихоти своей и корысти потоптал их все! Нет, говорю тебе, ваша думка напрасна. Никто не пойдет за ним, никто не поверит тому делу, в котором он станет головой!

— Все так, — отвечал Мазепа, — но вы своими силами не одолеете Бруховецкого, а если прибудем сюда мы, заднепря не, тогда будет не избрание гетмана, а бунт, ибо ты забыла Марианна, что по Андрусовскому договору мы, правобережные казаки, не имем права приходить на левый берег и вступаться в ваши дела, "ибо отданы есьмо в подданство ляхам!"

— Тот договор для нас не указ! Зачем обманывать Москву? Зачем отходить "зрадницьким" чином? Мы сбросим Бруховецкого и объявим ей, что, будучи народом свободным, свободно и отходим!

Страстное одушевление Марианны передавалось и Мазепе.

— Ты говоришь так хорошо, Марианна, — заговорил он взволнованным голосом, — что, слушая тебя, готов и сам броситься за тобою, очертя голову, вперед, но в делах политики не надо отстранять от себя свидетельства спокойного разума. Мы прилучились свободно, но теперь уж свободно не отступишь. После сладкого кто захочет горького, кто захочет доброй волей отдать половину своих добр? Москва нас считает своими и со своей рации она права. Вспомни, сколько войн вела она из-за нас, из-за нас же она нарушила свой вечный покой с ляхами, и ты думаешь, что после этого она нас так и отпустит. О, нет!

— Отдала же она половину Украины ляху!

— Не своей волей, а после войны и "звытягы"!

— Что ж, и мы водим умереть с оружием в руках! Мы прилучились на этих "умовах" — наш договор нарушен, так, значит, и мы от слова своего свободны! Ты скажешь — Бруховецкий во всем этом виноват, так! Но Москва не должна была верить ему: гетман у нас не природный властелин и не смеет изменять законов народа. Украина — не вотчина его! Обо всяком деле он должен был "радытыся" со старшиною, а что он сделал? Какую народ наш имеет теперь свободу? Поистине никакой, одну лишь злобную химеру!

Марианна говорила с тем страстным увлечением, с каким могут говорить только искренне убежденные женщины.

Со своею мужественной осанкой и взглядом, горящим воодушевлением, она походила на вдруг ожившую статую богини войны. Каждое ее слово, казалось, горело; ее речь порывистая, как стремление реки вблизи водопада, казалось, уносили всякого слушателя вперед и вперед, заставляя его забыть все окружающие опасности и ринуться, очертя голову, в кипящую бездну, но природное свойство ума Мазепы, — всегда управлять собою, — удерживало его от опасности поддаться увлечению ее речи и забыть все "своечасни" обстоятельства.

— Да, ты права, Марианна, — заговорил он, овладевая своим волнением. — Но нам надо меряться не с тем, что истинно, а с тем, что панует на свете Когда бы в твой табун прибились дикие, вольные кони, не правда ли, ты постаралась бы удержать их у себя? Ты велела бы их зануздать и приучить к спокойной езде. Так, говорю тебе, было всегда на свете, так будет и с нами. Вспомни, и к Польше прилучались мы "яко равные к равным, а вольные к вольным", а что вышло потом? Бруховецкого, говорю, нам еще позволят скинуть, но отделиться никогда!

— Когда не пустят миром — мы подыдем оружие, отбились же мы от ляхов!

— Да, от одних, но от двух союзников не отоъемся мы ні когда, Марианна. А что выйдет из того, если мы, презирая обман, перейдем сюда открыто с Дорошенко и начнем приводить к присяге Левобережную Украину? — Мы нарушим Андрусовский договор и против Варшавы, и против Москвы. Таким родом при силе того ж договора против нас выступят московские и лядские рати и свои ж Бруховецкого полки. Устоять против них и с татарской помощью будет невозможно. И что же выйдет из нашего правдивого дела? Только горшие муки и стенанья отчизны.

Слова Мазепы были расчетливы и убедительны.

— Он прав, доню, — произнес полковник.

Марианна молчала.

А Мазепа продолжал дальше.

— Ты говоришь, Марианна, не надо обмана: но не обманом ли Юдифь отсекала голову Олоферну, а ведь ее почитают славнейшей женой и спасительницей народа; но не обманом ли Далила обессилила Самсона, а ведь она спасла тем свой народ? Не обманом ли греки вошли в деревянном коне в Троию, а ведь Одиссея почитают за мудрейшего сына отчизны. Но вспомним и свои "часы"; — не обманом ли завел Галаган в рвы и байраки под Корсунем ляхов и тем укрепил победу, или не обманом ли устроил под Филиппами отец Иван лядских региментарей? Нет, говорю тебе, Марианна, то не обман, когда за него человек несет свою жизнь и готов принять всякие муки. "Будьте мудры, как змии", говорится нам, а мудрость свидетельствует, что правдой мы здесь ничего не возьмем. Нельзя же саблей против рушницы сражаться. Вот потому-то и надо употребить нам хитрость. Когда Бруховецкий согласится на это "сднания", тогда Украина тихо и незримо, без шума и кровопролития соединится снова, а соединившись, она не захочет терпеть над собою Бруховецкого-тирана и тогда изберет вольными голосами своим гетманом Дорошенко. И когда об этом узнают наши соседи, тогда уже Дорошенко на челе воссоединенной Украины, с татарскими ордами крыле, будет грозно стоять на своих рубежах.

— Ты прав, Мазепа, и дай Бог тебе успеха в твоём деле! — произнес с волнением полковник, подымаясь с места.

— Ты прав, казаче! — произнесла и Марианна, протягивая ему руку.

Долго еще вели между собой горячую беседу Мазепа, полковник и Марианна. Была уже поздняя ночь, когда Мазепа, взволнованный и утомленный, попрощался, наконец, со своими собеседниками и направился в приготовленный для него покой.

Несмотря на усталость, он долго еще не мог уснуть. Все события этого дня произошли так неожиданно. Таинственная казачка отыскалась и отыскалась тогда, когда он потерял всякую надежду найти ее. И какой дивной девушкой оказалась она! Какая горячая любовь к отчизне, какой разум, какая невиданная в женщине отвага!

Лежа с закрытыми глазами, Мазепа вспоминал все ее речи до слова, и вся она со своим прекрасным, мужественным лицом, с горящим взглядом и пламенными словами стояла перед ним, как живая. Но не наружность девушки, а красота ее души привлекали к себе Мазепу.

И вместе с образом Марианны воображение Мазепы как-то невольно, помимо его желания, вызывало и образ Галины, но рядом с величественным образом Марианны образ Галины как-то бледнел и стусевывался, только большие, печальные глаза ее словно еще грустнее смотрели на Мазепу, а голос ее словно звучал у него над ухом: "Милый мой, добрый мой, нет у меня никого, никого на свете. Я люблю тебя больше всего".

Долго пролежал так Мазепа с закрытыми глазами, прислушиваясь к вою ветра и мрачному шепоту сосен, наконец, веки его отяжелели, мысли начали путаться, и он заснул глубоким, но тревожным сном.

Проснулся он утром от резкого звука охотничьего рожка, раздававшегося во дворе. Открыв глаза и увидев себя в совершенно незнакомой обстановке, Мазепа сразу не мог сообразить, каким образом попал он в эту светлицу и, только взглянув на гладко полированные стены светлицы, украшенные оружием и разными трофеями охоты, он вспомнил, что находится в замке полковника Гострого, отца Марианны. Эта мысль привела его сразу в хорошее расположение духа. Он быстро вскочил с постели и подошел к окну, чтобы при дневном свете рассмотреть суровое замчище. Но здесь глазам его представилось весьма оригинальное зрелище.

Посреди двора, спиной к нему, стояла высокая девушка, в которой он сразу узнал Марианну, и громко трубила в охотничий рог. На звук этого рожка со всех сторон замка сбегались огромные, полудикие собаки, которым она бросала большие куски мяса.

При этой картине Мазепе вспомнилась неволью Галина, кормившая перед его окном своих уток и голубей. Как не сходны были между собой эти два образа! Но если бы его кто-нибудь спросил в эту минуту: которому он отдает предпочтение, он не мог бы ответить на этот вопрос.

Мазепа быстро оделся и вышел на дворце.

Серые облака, вчера висевшие почти над самой землей, сегодня подобрались высоко; день был хотя и пасмурный, но сухой; в воздухе чувствовался приятный осенний холодок.

Мазепа подошел к Марианне и произнес, кланяясь:

— День добрый, Марианна.

— Будь здоров, казаче! — ответила ему с приветливой улыбкой девушка, не переставая бросать из миски то тому, то другому псу большие куски мяса; голодные животные набрасывались на них, едва не сшибая ее с ног.

— "Годуеш"? — усмехнулся Мазепа, смотря на эту рычащую стаю, не спускавшую жадных глаз с руки Марианны.

— Да, раз в день, чтоб были голодны... они у нас верные защитники; вот тот, Черт, — указала она на громадного черного пса с одной лишь белой лапой, — волка с налета берет.

— Д-да, могу поверить; они вчера едва не порвали моего коня, — улыбнулся Мазепа.

— Но теперь они не тронут тебя, — возразила Марианна, смотри!

С этими словами она присвистнула на собак; большинство их оставило кости и окружило Марианну.

— Наш, наш! — произнесла Марианна, указывая собакам на Мазепу.

Казалось, собаки поняли ее слово, так как отвечали ей громким, радостным лаем и бросились обнюхивать Мазепу и лизать его руки, а некоторые из них даже смело становились ему лапами на плечи, стараясь достать языком до лица нового Друга.

Мазепа тщетно отбивался от этих шумных ласк.

Наконец Марианна прикрикнула на собак, выбрасывая им из миски остатки мяса, и вся стая в одно мгновение укрыла их сплошной рычащей и шевелящейся массой.

— Теперь они будут знать тебя, — продолжала Марианна, — они узнают тебя всюду по нюху: они умны, как люди, а стоило бы мне сказать им — "ворог!" и они в одну минуту растерзали бы тебя!

Мазепа покосился на рычащую над остатками дикую свору и подумал, что девушка не преувеличивает их силы.

Мимо них прошло несколько хорошо вооруженных казаков. Мазепа с удивлением оглянулся и

заметил, что замок был гораздо просторнее, чем показался ему вчера. Под высоким валом, увенчанным неприступной стеной, тянулся ряд длинных построек, напомнивших ему запорожские курени, в которые входили и выходили вооруженные люди.

— Одначе, у вас здесь все-таки людно, — произнес он с удивлением, — а мне показалось вчера, что замок совершенна пуст.

— Ты не ошибся, вчера здесь, кроме нас да трех слуг, никого и не было, наша кампания[26] была на стороне, а сегодня все вернулись назад. Но не хочешь ли ты осмотреть наше замчище?

Мазепа с удовольствием согласился на предложение Марианны, и они пошли вдоль двора.

Дом полковника стоял посреди двора, за ним тянулось еще почти такое же пространство. Замок представлял из себя небольшую, но хорошо укрепленную крепость; высокий вал с дубовым частоколом окружал правильным кругом весь двор;

посреди каждой стороны подымалась тяжелая, черная, сбита из дубовых бревен башня с зияющими, прорубленными амбразурами, из которых торчали во все стороны длинные жерла пушек; все содержалось здесь в строгом порядке: Марианна показала Мазепе конюшни с великолепными лошадьми, пороховые погреба, оружейные склады, и даже потайной ход из замка, на случай неожиданного нападения многочисленного неприятеля.

За домом у самого вала было устроено нечто вроде высокой площадки, с которой можно было обозревать окрестность.

Мазепа поднялся на нее вслед за Марианной по крутой лестнице, и возглас невольного изумления вырвался из его груди.

Кругом у его ног расстилалась дикая, но величественная картина.

Замок стоял на высокой горе; по склонам ее сбегал вниз черной щетиной почти обнаженный уже лес; у подножия горы расстилалось широкое, топкое болото, среди яркой зелени которого извивалась серебристой змейкой река; эта топь окружала всю гору сплошным кольцом. К болоту спускались со всех сторон крутые склоны и обрывы гор, покрытые таким же черным обнаженным лесом, и только на горизонте тянулась кругом всей этой мрачной котловины ровная зубчатая полоса соснового бора.

Несколько минут Мазепа не мог оторвать глаз от этой мрачной, величественной картины; наконец, он перевел свой взгляд на Марианну.

Она стояла к нему в пол-оборота и, опершись рукой о перила площадки, очевидно также любовалась раскрывшеюся перед ними картиной; глаза ее смотрели вдаль на синеватые зубцы соснового бора, окружавшего горизонт, холодный ветер свевал со лба тонкие пряди прямых черных волос, губы ее были плотно сомкнуты, на лице лежало гордое и властное выражение.

Погруженная в свои мысли, Марианна словно забыла о присутствии Мазепы.

XL

— Какое отменное место для замка! — произнес Мазепа. — Натура как бы нарочито устроила такое неприступное место.

— Это правда, оно и само по себе было хорошо, но мы еще много исправили его и сами, замок теперь действительно неприступен, да и дорогу к нему не всякий отыщет, — ответила Марианна, повернувшись к Мазепе, — но нам и нельзя жить иначе, — пояснила она, — отец стареет, а ворог ведь не спит.

— А если отца не станет?

— Что ж, все в воле Божьей.

— Неужели же ты думаешь оставаться здесь одна?

— Я не одна, у нас есть своя "компания", казаки все преданы мне.

Мазепе захотелось познакомиться еще ближе с этой странной девушкой.

— Скажи мне, Марианна, если это только не тайна, обратился он к ней, — давно вы живете так?

— Нам не в чем крыться, — ответила девушка, — живем мы здесь с тех пор, как Бруховецкого избрали на гетманство. Отец мой поставлен был полковником еще самим гетманом Богданом. Он был с Богуном, Кривоносом и другими против "еднання", но Переяславские пакты и слово самого гетмана успокоили его. Когда же после смерти гетмана Богдана на гетманство стали вступать всякие предатели и "зрадныкы", отец мой громко вопил против них; также противился он, не скрываясь, и избранию Бруховецкого, но хитростью и коварством Бруховецкому удалось достичь своего; тогда он первым делом отставил отца от войска и велел отдать свой полковничий пернач, но отец ответил ему: "От того войска, в котором ты стал головою, я сам ухожу, но пернач, врученный мне самим гетманом Богданом, не отдам его конюху". Бруховецкий хотел тут же схватить батька, но побоялся казаков, так как все казаки любили батька. И вот с тех пор и живем мы в нашем замчище. Сколько раз уже пробовал Бруховецкий поймать батька, да боится наступить на нас с войсками открыто, а тайно, "зрадныцькым" своим обычаем, — не может взять.

— Но скажи же мне, Марианна, вот отец твой говорил, что Бруховецкий ищет и тебя: как же ты не боишься удаляться так далеко, как вот в тот раз, от замка?

— Потребы вызывают меня.

— Все это так, но если в замке ему трудно добыть вас, то в лесу или в поле это не составит большого труда.

— Мы остались здесь, на левом берегу, не для того, чтоб только уберечь свою жизнь в этом неприступном замке, — ответила гордо девушка, — а для того, чтобы спасти жизнь отчизны.

— Одначе, — возразил Мазепа, — если искушать так фортуна, то отчизна может остаться без верных детей.

— А если каждый из нас станет думать об этом, то она останется навеки со связанными руками. Вспомни, казаче, ты сам мне говорил подобные слова вчера, когда я уговаривала тебя не ехать к Бруховецкому, — улыбнулась девушка.

— Так, Марианна, но ведь для этого есть казаки, закаленные в битвах, а девушка...

— Разве мать должна быть сынам дороже, чем дочерям? — перебила его Марианна, устремляя

на него вспыхнувший взгляд. — Когда душегуб наступает на горло матери, тогда и дочери вместе с сынами бросаются на защиту ее. Украинки всем доказали это и в Буше, и в Трилисах[27].

— Ты права, Марианна, — согласился Мазепа, — но вот ты говоришь о матери, а твоя мать...

— У меня ее нет! Она погибла с другим жиноцтвом в Трилисах, но если бы она и была жива, она бы не остановила меня никогда, как не остановила б и я ни своих сынов, ни своих дочерей!

Каждое слово девушки увлекало Мазепу все больше и больше. Он видел много мужественных и отважных женщин, его собственная мать своим мужеством превосходила многих, но подобной Марианне он не встречал никогда. И невольно, не замечая того, поддавался он обаянию всего ее страстного и гордого существа.

А Марианна продолжала между тем:

— Да, не остановила б и своего единого сына, если бы жизнь его нужна была для блага отчины. Вот вчера, пока я еще не знала, зачем ты хочешь ехать к Бруховецкому, я сказала тебе — не езд, а теперь говорю — поезжай! Говорю — поезжай, хотя и знаю, что там ты можешь погибнуть. Только об одном я хотела просить тебя: обещаю мне, что на обратном пути ты заедешь к нам.

Мазепа смешался; ему вспомнилось обещанье, данное Дорошенко, затем Галина, но Марианна не дала ему ответить.

— Я знаю, что ты будешь торопиться в Чигирин, но если сам не сможешь, тогда пришли гонца, чтоб дал нам знать, что ты вернулся благополучно... потому что... если с тобой случится в Гадяче "прыгода"...

— Если случится "прыгода"? — переспросил Мазепа.

— Я подумаю о твоём спасении.

— Ты? — вскрикнул Мазепа. — Ты, Марианна, когда знаешь, что Бруховецкий сам ищет тебя?

— Что ж, — ответила спокойно девушка, — я буду не одна.

— Прошу тебя... — попробовал было возразить Мазепа.

Но Марианна остановила его.

— Оставь! Не говори! — произнесла она строго, — ты спас мне жизнь, но дело еще не в том, а в том, что ты должен жить. Да, должен, — повторила она настойчиво, — потому что после гетмана Дорошенко никто, кроме тебя, не достоин быть гетманом на Украине.

— Что ты говоришь, Марианна! — вскрикнул Мазепа, вспыхнувши невольно от неожиданных слов девушки.

— То говорю, что думаю, — отвечала твердо Марианна. — Я видела многих рыцарей, есть у нас такие, которые, быть может, и превосходят тебя и в отваге, и в воинском искусстве, но другой такой головы, как у тебя, — я не встречала ни у кого. Тогда еще в лесу ты показался мне не таким, как все остальные, но я думала тогда, что ты польский пан, теперь же, когда я знаю, что ты наш, — ты стал дорог мне.

Мазепа смешался: никогда еще в жизни он не слышал таких слов. Он — гетман... он дорог ей... Он решительно не знал, как отнестись к этим словам, — как к шутке? Но нет, девушка говорила совершенно серьезно... оспаривать, благодарить за лестное мнение? Но нет, он чувствовал, что все это было бы уместно в каком-нибудь варшавском салоне, но здесь это было бы и глупо, и смешно; он стоял взволнованный, смущенный. "Прежде я думала, что ты польский пан, теперь же, когда я знаю, что ты наш, ты стал мне дорог", — повторил он про себя слова Марианны, и вдруг в его сердце закипела обида: кто же это смел говорить Марианне, что он польский пан, кто это выдумал нарочито, чтоб отвлечь от него внимание девушки? "

— Марианна! — произнес он вслух. — Отчего ты могла подумать, что я польский пан? Вчера ты нечаянно обмолвилась и сказала, что тебе сказали это? Скажи, кто был тот напастник мой?

Брови Марианны нахмурились.

— Зачем тебе знать это? — произнесла она сурово, — я сама так подумала, — и, круто оборвав свою речь, она прибавила, одначе, пойдём, сниданок уже на столе.

Мазепа последовал за нею.

Они молча дошли до дому и, пройдя через большую светлицу, прошли в трапезный покой. Полковник был уже там, но не один, вместе с полковником сидел еще высокий, белокурый казак в дорогой одежде, в котором Мазепа сейчас же узнал красивого спутника Марианны; казак, видимо, тоже узнал его сразу. Он поднялся с приветливой улыбкой навстречу гостю, но в пристальном взгляде, брошенном им на него, а потом на Марианну, Мазепа уловил что-то неприязненное, подозрительное.

— Га, уже поднялся, — приветствовал Мазепу полковник, — где ж это ты водила его, доню?

— Показывала ему наше замчище.

— Ну, гаразд. А вот тебе, Мазепа, и атаман моей надворной кампании — Андрий Нечуй-Витер; видишь ли, Нечуй-Витром его потому на Запорожьи прозвали, что быстрее его никто справиться не может, вот и сегодня вернулся рано, а за ночь успел много добрых новостей собрать.

— Мы уже имели счастливый случай видеться с паном атаманом, — произнес Мазепа, с вежливой улыбкой кланяясь казаку.

— Да, когда пан ротмистр нанес такой знаменитый удар кабану и тем спас нашу Марианну, — отвечал Андрей.

Слово "нашу" обратило на себя внимание Мазепы. "Почему он назвал Марианну "нашей"?", — мелькнула у него в голове досадная мысль, но остановиться над нею он не имел времени, так как его прервало громкое восклицание полковника.

— Так садитесь же, панове товариство, да вот послушайте, что с собою атаман наш привез!

Все уселись за стол. День был постный, а потому и все кушанья на столе состояли из постных блюд, но это не мешало им быть чрезвычайно вкусными.

Во время "сниданка" полковник передал Мазепе все новости, привезенные Нечуй-Витром, а именно, что к Дорошенко присоединилось еще несколько сел и местечек, — он перечислил их

Мазепе, — что поговаривают о передаче Дорошенко и Киевского полка, и что калмыки, которые состояли на службе у Бруховецкого, узнавши о мире с Польшей, ушли к себе.

Между собеседниками завязался горячий разговор. Андрей, которого полковник познакомил уже с целью поездки Мазепы, одобрял его план, но сомневался в том, что Бруховецкий присоединится к нему. Марианна горячо возражала ему. Во время разговора Мазепа поймал на себе несколько раз пытливый взгляд Нечуй-Витра, следивший то за ним, то за Марианной.

— Ну, а когда же ты думаешь в путь? — обратился к Мазепе полковник.

— Думал сегодня; вот отдам только вам деньги, да порох, да универсалы.

— Э, нет, ты останься хоть до завтра, я послал гонцов по сторонам, сегодня съедутся некоторые важнейшие из наших "мальконтентов", добре было бы, чтоб они тебя увидели и от тебя самого услышали бы Дорошенковы слова.

— Так-то оно так, да ведь и торопиться надо: орда прибудет к Покрову, — замялся Мазепа.

— Нагонишь время в дороге, да и коням твоим надо отдохнуть, я смотрел их — совсем пристали, слишком скоро гонишь. Много ли от Чигирина сюда, а можно подумать, что изъездил всю степь.

При этом невольном намеке полковника Мазепа почувствовал некоторое смущение, краска невольно выступила ему на лицо, но из этого неловкого положения его вывела Марианна.

— Прошу тебя, казаче, останься на сегодня, — прибавила она.

— Ваша воля, — ответил Мазепа, наклоняя голову.

Так как времени оставалось еще много, то Марианна предложила всем заняться пробой коней, или стрельбой из "сагайдакив". Мазепа с удовольствием согласился на это предложение. Андрей молча поднялся с места.

— Ты ж, Андрей, с нами? — повернулась к нему девушка.

— Надо поехать, осмотреть подъезды, — ответил уклончиво казак.

Брови Марианны нахмурились.

— Успеешь, — произнесла она отрывисто, и в голосе ее послышалась повелительная нотка, — теперь пойдем с нами.

— Как хочешь.

Казак взял шапку и молча присоединился к Марианне и, Мазепе.

Что-то тайное, недосказанное почудилось Мазепе в словах казака и в тоне ответа Марианны. Отчего он не хотел идти? Почему на него рассердилась Марианна? Если она рассердилась, значит, предлог его был вымышлен — то следовательно он не желал быть вместе с ним, Мазепой. Но почему же? Чувствует ли он к нему какую-нибудь неприязнь, или не доверяет ему? — подумал про себя Мазепа, выходя вслед за Марианной и Андреем на замковый двор.

Андрей принес великолепные турецкие сагайдаки и стрелы и все занялись стрельбой в цель, один из замковых казаков подбрасывал вверх яблоко, а состязующиеся должны были,

попадать в него.

Мазепа стрелял как-то рассеянно, да и кроме того в искусстве метать стрелы он не был так силен, как в умении владеть саблей, так что Марианна и Андрей далеко опередили его.

Особенно отличалась меткостью выстрела Марианна.

На вопрос Мазепы, каким образом научилась она так великолепно стрелять, Марианна ответила Мазепе, указывая на Андрея:

— Батько и он научили меня.

Вскоре между молодыми людьми завязался опять живой разговор. Андрей оживился и оказался весьма остроумным и интересным собеседником. Мазепа узнал, что он окончил Киевскую академию, казаковал на Запорожье, затем был сотником в Переяславском полку, но когда полковника Гострого сбросил с полковничества Бруховецкий, тогда и он удалился сюда.

— Видишь ли, он вырос у нас, батько его принял за родного сына, — пояснила Марианна.

Красивое, открытое лицо молодого казака, его добрые голубые глаза и простая, прямая речь произвели на Мазепу чрезвычайно приятное впечатление, так что ему показалось вскоре, что кажущееся недоброжелательное отношение к нему казака было только плодом его фантазии.

Время прошло незаметно.

К полдню прибыли созванные Гострым "мальконтенты". Хотя они все были одеты, как крестьяне, но опытный взгляд Мазепы тотчас же различил значных казаков и даже двух-трех священников. Мазепа раздал всем универсалы, вручил полковнику порох и червонцы, повторил всем слова об успехах переговоров Дорошенко с Турцией и Крымом и сообщил, что не позже половины октября гетман прибудет сюда, на левый берег, с тридцатитысячной ордой. О своем плане он умолчал пока.

Сообщение его вызвало живейший восторг среди слушателей. Мазепе пришлось еще раз убедиться в возрастающей повсюду любви к Дорошенко и ненависти к Бруховецкому.

После обеда приезжие с большими предосторожностями разъехались небольшими группами в разные стороны. Андрей отправился провести кой-кого с казаками до верной дороги. Полковник пошел отдохнуть, а Мазепа с Марианной остались одни в трапезном покое.

XLI

Наступили сумерки, но огня не зажигали; комнату освещал отблеск от пылавших в очаге дров. Марианна и Мазепа присели к огню.

— Но скажи мне, Мазепа, — обратилась к нему Марианна, — а если Бруховецкий не согласится на твою пропозицию, что тогда?

Мазепа принялся объяснять ей все планы Дорошенко.

— Если Бруховецкий откажется, тогда Дорошенко думает под защитой турецкого протектората добывать Левобережную Украину войной, но он, Мазепа, собственно, против такого плана. Конечно, турки сильные и дальние соседи, но под владычеством их не будет никогда мира; следует вспомнить только то, что сам закон их велит искоренять всех христиан.

Если нельзя будет уже обойтись без всякой протекции, то надо искать еще какого-нибудь более дальнего протектора и, главное, интересы которого не сталкивались бы с нашими; татары ведь подданцы турок, а нам, например, надо прежде всего отбросить татар от берегов Черного моря и занять все приморские города. Украина стеснена отовсюду сильными государствами, ей надо укрепиться, а для того, чтоб укрепиться, надо занять весь морской берег. Та сторона только и сильна, и богата, которая стоит близко к морю, для нее открыты все Дороги. Вот, например, ангелейцы, земля их гораздо меньше нашей, а как они укрепились, как обогатились, — куда против них Польше и Москве. — Мазепа увлекался все больше и больше.

Да, отбросить татар... Украинцы все способны к морскому делу, запорожцы сами природные и отважные моряки; Украина богата землями, лесами, реками; казацкие войска прославились своей отвагой по всему свету. Какое великое будущее могло бы ожидать отчизну! Прилучить к себе Молдавию, Валахию, заселить до самого Дона широкие степи, оградить себя крепостями, оттеснить турок, а дальше, дальше... Чего! только нельзя было бы достичь впереди!

И все это так возможно, так близко! Ведь вот освободились же, например, единой своей силой от гишпанцев голландцы и засновали свое "власне панство", а ведь у них не было таких казацких полков, какие есть у нас! Только бы укрепиться Украине, только бы водворить внутри себя строгий и крепкий порядок, а тогда уже никто из соседей не согнул бы ее.

Мазепа говорил с жаром, увлекаясь сам картиной грандиозного будущего. Марианна слушала его с увлечением; она с интересом расспрашивала его о том, как живут, как управляются другие народы, расспрашивала его и о его жизни, но о себе говорила мало и неохотно. Мазепа только и узнал, что во время избиения всех женщин в Трилисах она, будучи еще совсем малым ребенком, тоже находилась там и спаслась каким-то чудом, так как мать запрятала ее в погреб, и с тех пор отец, боясь оставить ее, брал с собою во все походы.

За время их разговора Андрей входил несколько раз в светлицу — то он искал забытую шапку, то обращался с каким-нибудь вопросом к Марианне. Увлеченный своей беседой, Мазепа не обращал на него внимания.

До позднего вечера проговорили они так с Марианной.

Прощаясь с ним после вечера, Марианна сказала ему:

— Вернись, я буду ждать тебя.

Мазепа уснул, еще более очарованный загадочной девушкой.

Проснулся он рано утром и сейчас же велел собираться к отъезду. За ранним сніданком полковник повторил ему снова предостережения насчет Бруховецкого, посоветовал остановиться у Варавки, верного им лавника, и сообщил, что его проведут до опушки Марианна и Андрей и укажут дорогу.

Мазепа поблагодарил всех за гостеприимство и, попрощавшись, вышел в сопровождении хозяев на замковый двор.

Весь отряд его уже был готов к отъезду. Отдохнувшие люди и лошади глядели бодро. Мазепа еще раз поклонился полковнику и вскочил на подведенного ему коня. Марианна и Андрей отправились провожать их до опушки бора.

Несколько раз Мазепа начинал разговор, но он как-то обрывался.

Марианна отвечала сухо и отрывисто, то она уносилась вперед на своем турецком скакуне, то заставляла его перепрыгивать через рвы и обрывы, то снова возвращалась назад. Мазепа любовался ее смелой ездой и стройной статной фигурой. Андрей был тоже как-то сосредоточен и неразговорчив.

Так, в молчании, доехали они до опушки леса: здесь Марианна и Андрей распрощались с Мазепой.

— Береги себя! — произнесла отрывисто Марианна и, круто повернув коня, скрылась в лесу. Андрей последовал за нею.

Задумчивый, озадаченный всеми этими быстро набежавшими событиями, продолжал Мазепа свой путь. Уже и зубчатая стена леса, окружавшего замок полковника, скрылась за горизонтом, когда его вывел из задумчивости голос подъехавшего Лободы.

— Что случилось? — обернулся к нему Мазепа.

— Да вот забыл было совсем, при выезде какой-то казак сунул мне в руку эту "цыдулку" и сказал, чтоб я ее твоей милости в дороге отдал.

Мазепа взял из его рук свернутый листочек бумаги и с изумлением развернул его.

На записке стояло всего несколько слов:

"Прошу пана на гонор казацкий не возвращаться сюда".

Подписи не было.

Приехавши в Гадяч, Мазепа без особого труда разыскал лавника Варавку. Когда добрый седой старичок прочел письмо Гострого и узнал, что Мазепа едет от Дорошенко, то радости его не было границ. Варавка был одним из богатейших горожан города Гадяча, а потому Мазепа и весь его отряд нашли у него все необходимое. Старик решительно не знал, чем бы оказать свое наибольшее внимание Мазепе. После первых хлопот о размещении отряда, жена Варавки, польщенная прибытием столь важных гостей, занялась с помощью челяди приготовлением достойного обеда, а Мазепа с Варавкой поместились в ожидании его в богатом покое пана лавника. Узнавши, что Мазепа состоит ротмистром у Дорошенко и только для предосторожности переоделся купцом, а своих казаков одел мещанами, Варавка весьма одобрил эту меру и сообщил Мазепе, что он должен немедленно прописаться у воеводы гадячского, так как вследствие последнего Андрусовского договора, собственно для того, чтобы удержать приезд заднепрянов, постановили здесь гетман и воеводы, что с правого берега на левый дозволяется приезжать только купцам, а приехавши в какой город, они должны сейчас же прописываться у городского воеводы.

— Вот и гаразд, что полковник усоветовал тебя ко мне пожаловать, — пояснил он, — ты можешь, пане ротмистре, сказать воеводе, что привез товар ко мне, а у меня под ратушей "крамныця" и в складе как раз еще тюки товаров лежат: золотая камка, сукна фальявдышевые, златоглав, альтамбас. Вот он, воевода, ни с которой стороны к тебе и не привяжется.

Мазепа поблагодарил от души радушного старика и сообщил ему, что ему собственно надо бы во что бы то ни стало увидеться с Бруховецким, а потому не может ли он сообщить ему, как это лучше сделать.

Это сообщение Мазепы привело старика в большое смущение.

— Ох, ох, что-то выйдет из того! — заговорил он, покачивая головой. — Недоброе ты выбрал время, недоброе... :

— Почему? — изумился Мазепа.

— А вот почему: гетман наш, как уже ведомо всему свету, зело зол, корыстен, да лукав; приход к нему всегда был тяжек, а теперь и того хуже стал. Видишь ли, послал было гетман в Москву полковника одного с жалобой, думал, что тут его сейчас и в Сибирь зашлют, а на тот час было в Москве два патриарха вселенских, вот он, полковник, и ударился к ним с просьбою, они и заступились за него и пришла теперь гетману грамота из Москвы, что полковника того наградили, а на і гетмана наложили еще клятву святители за несправедный донос. Ну, так вот он, гетман наш, как узнал об этом, — пришел в неслыханную фурию, с кем и говорит, так с великою яростью, а уж сколько от него людей невинных пострадало... и...и! — старик только махнул рукою и добавил: — Видишь ли, думал он, что в Москве теперь все по его слову будет делаться, а дело выходит так, что не кажи, мол, гоп, пока не перескочишь! Опять, и с воеводами он не в мире живет. Ох, ох!j Верно говорит пословица: "Паны дерутся, а у мужиков чубы болят".

Но к полному недоумению Варавки, сообщение его не только не смутило Мазепу, но наоборот, привело его в наилучше настроение духа.

После приготовленного на славу обеда, которому гости отдали должную честь, Мазепа отправился, по совету Варавки, к воеводе и записался у него. Никаких препятствий по этому поводу не случилось, и Мазепа, довольный тем, что все, по-видимому, предвещало ему отличный исход дела, вышел в отличном настроении от воеводы, и так как времени до вечера оставалось еще довольно много, то он отправился пошататься по городу, в надежде выудить еще какую-нибудь интересную новость относительно гетмана и его предприятий.

Мазепа вышел из верхнего города, собственно замка гадячского, в котором находился и дом воеводы, и спустился в нижний город. Внизу, подальше от гетмана и его стражи, языки, очевидно, ворочаются свободней, решил он, да и самому лучше прежде времени не показываться на глаза.

Нижний город Гадяч располагался у подножия возвышенности, на которой находился замок, заключая его в своих пределах. После неприглядных осенних дней выглянуло, наконец, солнышко; облака на западе разорвались, растянулись по небу длинными белыми пасмами, сквозь которые проглянула всюду ясная лазурь.

Ветер утих, в воздухе почувствовалась сухая теплота; солнце заходило тихо и плавно, обещая на завтра погожий день.

День был субботний, а потому на улицах виднелось довольно много народа.

У ворот своих домов сидели на лавочках, греясь на солнце, почтенные горожанки в чистых белых "намитках" и передавали друг другу дневные новости. По улицам, по направлению к церкви, проходили степенные горожане в темных длиннополых одеждах, в сопровождении своих супругов и молоденьких, быстроглазых дочерей. То там, то сям проходил казак, молодецки подмаргивая закрытым намитками горожанкам, или проносился на коне пышно разодетый телохранитель гетмана. Крамари торопливо закрывали свои крамницы; издали слышался колокольный звон.

Пройдя так по узеньким улицам города, Мазепа зашел в один из городских шинков. Народу в нем оказалось немного; говорили все вполголоса, постоянно оглядываясь по сторонам, о

гетмане же и о совершающихся кругом событиях никто не упоминал ни словом. Видимо, все здесь держались настороже, опасаясь шпионов гетмана, которые сообщали ему решительно обо всем, что совершалось в городе.

Убедившись в том, что здесь ему не придется ничего услышать, Мазепа выпил свою кружку пива, заплатил за нее и поспешил выйти.

Так зашел он в другой шинок и в третий, и всюду его постигала та же неудача. Однако он решил еще раз попытать счастья и зашел в один из лучших шинков города, находившихся под городской ратушей, но здесь его ожидало еще худшее разочарование.

В шинке, кроме хозяина, был всего только один посетитель, степенный пожилой горожанин, ведший беседу с хозяином. Горожанин доказывал хозяину, что чаровница гораздо страшнее колдунов и что вообще нечистая сила охотнее входит в сношения с женщинами; хозяин охотно соглашался с ним. Но и этот разговор скоро прекратился; горожанин допил свое пиво, распрощался с хозяином и вышел из шинка.

Раздосадованный Мазепа собирался уже тоже последовать его примеру, когда входные двери распахнулись от чьего-то сильного толчка и в шинок вошли два казака в богатых кунтушах и жупанах. Судя по их сердитым лицам и резким движениям, Мазепа заключил, что они взбешены чем-то до последней степени; в душе его шевельнулась надежда услышать от них что-нибудь, а потому он отодвинул поспешно от себя наполовину опорожненную кружку и, склонившись головой на руки, постарался изобразить сильно опьяневшего человека.

Прибывшие потребовали венгржины, за которой хозяину пришлось выйти из хаты.

Осмотревшись подозрительно кругом и увидевши только одного пьяного человека, первый обратился вполголоса ко второму:

— И ты "певен" в том?

— Еще бы! — отвечал тот. — Вот только что говорил с ними, вчера вернулись из Москвы.

— Ну?

— Не ну, а но, да не цоб, а цабэ![28]

— Как так?

— А так. С ляхами, чуешь, "панькалысь", "трактовалы" их, как наилучших гостей, а гетману передали строгий наказ, чтобы жил с воеводами в мире, а на допросы их: правда ли, мол, что и Левобережную Украину отдадут ляхам, — отвечали им так, что гетману-де и всей старшине казацкой смотреть войско и его снаряды, а о войне и мире не хлопотать, в наших же договорах с ляхами написано то, что ладно, а на худо никто не пойдет. А для того, чтоб наши люди никакого страха от ляхов не имели, пришлем мы еще вам десять тысяч стрельцов и ратных людей и они учнут рядити народом и жаловать его.

— Ну, что ж теперь он? — произнес первый, понижая голос.

— Рует землю! Да о нем что! "Катюзи по заслуги!" Вот нам надобно поразмыслить, как свои души уберечь.

— Да как же? Что тут придумаешь?

— Есть способ, — понизил голос второй собеседник и, нагнувшись к первому, произнес совершенно тихо, — переменить "покрышку".

В это время слышались шаги хозяина; собеседники умолкли.

Но Мазепе больше ничего и не нужно было; подождавши, пока они распили молча свою пляшку венгржины и вышли из шинка, он также встал и, довольный донельзя приобретенными им сведениями, отправился по направлению к дому Варавки.

Было уже позднее время; давно уже прозвонили на гашенье огня[29], а потому все двери и ворота горожан были уже заперты крепкими запорами, но эта пустыньность не смущала Мазепу.

— Итак, я приехал в самую счастливую минуту, — рассуждал Мазепа, шагая по темным узким улицам, — гетман раздосадован, обижен и напуган. Ха, ха! Подуло сибирным ветерком! Все это на руку! Отлично, отлично! Пожалуй, он поверит, что Москва хочет отдать правый берег ляхам! Что ж, и то гаразд! Ай да гетман-боярин, думал, что зажил вон до какой суды да славы, а выходит, что брехней-то свет пройдешь, да назад не воротишься!

С такими веселыми мыслями Мазепа вернулся в дом Варавки и тотчас же заснул крепким и глубоким сном.

XLII

Утром, едва только Мазепа проснулся, к нему вошел Варавка и сообщил ему результаты своих вчерашних хлопот.

Он уже был в гетманском дворе, виделся там с одним своим родичем, который служит "сердюком" у гетмана, помазал, где нужно было, — не помажешь ведь, так и не поедешь, — и устроил так, что Мазепе можно будет увидеться сегодня с гетманом, только после обеда, так как с утра гетман отправляется к обедне. У ворот гетманских Мазепу будет поджидать тот же родич и проведет его к гетману. До этого же времени Варавка просил Мазепу не показываться на улицах, чтобы еще, храни Господь, не вышло чего.

— Только удастся ли тебе "уланкать" что-нибудь у гетмана, — заключил он, — все время, говорят, в наизлейшем гуморе пребывает.

Но Мазепа только улыбнулся на последнее замечание старика, поблагодарил его за хлопоты и согласился на его предусмотрительный совет.

Еще задолго до назначенного времени Мазепа занялся своим туалетом. Надевши под атласный жупан тонкую металлическую кольчугу, он набросил сверх него еще дорогой, парчовый кунтуш, опоясался широким турецким поясом, прицепил золоченую саблю, заткнул за пояс великолепные пистолеты и дорогой турецкий кинжал.

Осмотревши себя и решивши, что вид его довольно внушителен, Мазепа приказал казакам седлать своего лучшего коня.

Все это делал он в каком-то нервном волнении. Мысль о предстоящем свидании с Бруховецким ни на минуту не оставляла его, но и боязнь за свою жизнь беспокоила его. — Как встретит его гетман? Удастся ли ему убедить его или природная трусость Бруховецкого удержит его от рискованного шага? Вот какие вопросы волновали его.

Когда Варавка вошел в светлицу, то не узнал в преобразившемся красавце-казаке того молодого крамаря, каким к нему приехал Мазепа.

Наконец, все было готово.

Мазепа приказал на всякий случай своим казакам быть готовыми всякую минуту к отъезду и, вскочивши на коня, отправился в Вышний город.

У замковых ворот его остановила стража, но узнавши, что он едет к гетману, пропустила его. Хотя гетманский дом и находился внутри замка, но был также огражден высокой каменной стеной с башнями и подъемными воротами. Здесь у ворот стояла гетманская стража, разодетая в богатые одежды. Мазепе приказали сойти с коня и, оставивши его за воротами, идти пешком во двор гетмана. Родич Варавки, молодой сердюк, уже поджидал его здесь и провел его через двор в гетманские покои. И двор, и великолепный будынок гетмана, все это промелькнуло как-то незаметно перед глазами Мазепы, охваченного только одной мыслью о предстоящем свидании, одно только обстоятельство обратило на себя его внимание — это множество "вартовых", охраняющих каждый вход и выход в стене и в доме.

Пожелавши Мазепе успеха в его прошении, молодой сердюк вышел из светлицы.

Мазепа остался один; слышно было, как за дверями комнаты говорили двое часовых, но Мазепа не слышал ничего... Так прошло с четверть часа.

Но вот дверь поспешно отворилась; из-за нее показался молодой сердюк и, шепнувши Мазепе: "Гетман!" — поспешно скрылся за дверь. "1

Мазепа услышал приближающиеся издали тяжелые шаги.

При звуках этих шагов волнение его исчезло сразу. Он ощутил в своей груди то чувство, которое испытывает боец, остановившийся перед началом боя против своего противника. Волнение, мысли о будущем, сомнение в своих силах — все исчезло. Внимание и зрение напряжены до последней степени, перед глазами только острие шпаги противника, — мир не существует.

Но вот двери распахнулись, и в комнату вошел Бруховецкий.

Одним быстрым взглядом Мазепа окинул и фигуру, и лицо гетмана. Это был человек лет тридцати с лишком, среднего роста. Лицо его, видимо, было прежде красиво, но теперь излишняя тучность делала все черты его расплывшимися. Голова гетмана была подбрита, черные волосы подстрижены кружком, белые, словно мучные, щеки его были также тщательно выбриты, а небольшие черные усы тонко закручены на польский манер. Видно было, что при нужде это грубое, надменное лицо могло принимать самое почтительное, скромное и любезное выражение.

Тяжелую, тучную фигуру гетмана облекал парчовый кунтуш, затканый крупными красными цветами, и желтый атласный жупан. Пуговицы его жупана сверкали жемчугом и самоцветами. Пальцы гетмана горели драгоценными перстнями. Во всех движениях его видны были презрительная грубость и спесь низкого человека, вознесенного так неожиданно судьбой.

Увидя Мазепу, гетман слегка опешил: наружность Мазепы, его спокойный уверенный вид и дорогое убранство произвели на него некоторое впечатление. Он ожидал встретить какого-нибудь робкого просителя относительно мельницы, рощи, или какого-нибудь угодя — и вдруг какой-то знатный неизвестный ему казак, а может, и шляхтич?

Сообразно с этими мыслями изменилось сразу и выражение лица гетмана: грубое презрение исчезло с него и заменилось надутой важностью и сознанием своего достоинства.

— Ясновельможному гетману и боярину челом до земли! — произнес Мазепа, отвешивая низкий поклон.

— Кто будешь, откуда прибыл? — отвечал Бруховецкий важным, но вместе с тем и милостивым тоном, останавливаясь перед ним.

— Иван Мазепа, подचाший Черниговский, ротмистр Чигиринский, прибыл к твоей гетманской милости от гетмана Дорошенко.

С этими словами Мазепа подал Бруховецкому свою верительную грамоту.

На лице Бруховецкого отразилось живейшее изумление.

— От Дорошенко? — произнес он с недоумением, и в глазах его вспыхнул злобный огонек. — Ох! Откуда ж это мне, грешному рабу Божьему, такая милость? — вздохнул он насмешливо. — Одначе рад послушать, говори же, пане ротмистр, с чем присылается ко мне его милость ясновельможный гетман татарский?

Последние слова Бруховецкий произнес с худо скрытою злобой и, опустившись на высокое кресло, обернул к Мазепе лицо, загоревшееся злорадным любопытством.

— Ясновельможный гетман правобережный, сведавши от его милости короля нашего Яна-Казимира об Андрусовском покое, учиненном между Польшею и Москвой, — заговорил почтительно Мазепа, — и, получивши от короля милостивого пана нашего наказ не делать никаких зацепов левобережцам, прислал меня к твоей милости просить о том, чтобы ты, гетмане, отозвал от берегов Днепра свои полки, и чтобы жить нам с тобою по-братерски, мирно и любовно.

По лицу Бруховецкого пробежала ядовитая улыбка.

— Видно, весело живется пану гетману нашему, что он прислал и ко мне доброго человека, — ответил он насмешливо, устремляя на Мазепу выразительный взгляд, как бы говоривший: не затем ты, голубь мой, приехал. — Воистину не уявися, что будет! Дорошенко ко мне присылает, чтобы я отозвал свои полки. А не он ли наступал и поныне наступает на наши города? Не он ли подвинул к бунту переяславцев, не он ли присылает сюда своих людей и преклоняет через оных к смятению сердца народные, поднимает всякие смуты и шатости? А с татарами теперь разве он не на погибель нашу ссылается! Но, вижу, пути Господни неисповедимы! Благословен же Господь, внушивший ему мысль о мире!

Бруховецкий снова насмешливо вздохнул и устремил на Мазепу из-под полуопущенных век хитрый и пытливый взгляд.

Мазепа выдержал его и отвечал спокойно.

— Все это наветы, ясновельможный гетмане, и наговоры, если и бегут люди с нашей стороны, то без воли на то гетмановой и ни от чего другого, как от худого житья, от татарских "наскокив", а смуты все, если они и есть, то ни от кого другого, как от запорожцев идут. Что же до того, что гетман татарами ссылается, то это твоей милости верно передавали, — одначе делает то гетман не для погибели вашей, но для покою всей отчизны. Сам, милостивый пане гетмане, посуди: ведь по Андрусовскому договору постановлено и татар к миру

пригласить, ergo — гетман и старается о том, о чем комиссары обоих народов постановили.

— Зело хитро, — усмехнулся злобно Бруховецкий, — одначе мысля, что от Дорошенкова покоя только большее беспокойство всюду наступит. .

— Ошибаешься, ясновельможный, пан гетман наш и все товариство "щыро прыймутъ" покой, затем и прислали к меня тебе, чтобы пребывать нам отныне в вечной дружбе и приятстве. А если в чем и виноват по-человечески пан гетман перед твоей милостью, то просит отпустить ему: несть бо человек, аще жив будет и не согрешит. Перед смертью не токмо братья, а и враги отпускают друг другу вины, а разве не смерть наша теперь наступила? Разодрали Украину на две половины: нас ляхам отдали, вас воеводам, и всю милую отчизну смерть обрekli!

И Мазепа начал рисовать перед Бруховецким самыми мрачными красками будущее Украины, неизбежную смерть ее, следовавшую из этого договора. Говоря это, он внимательно всматривался в лицо Бруховецкого, стараясь прочесть на нем, какое впечатление производит на него эта речь.

Но при первых же словах Мазепы лицо Бруховецкого приняло неподвижность восковой маски; он сидел все в той же позе, слегка прикрыв опущенными веками глаза, и только мелькавший из-под них по временам хитрый взгляд, казалось, говорил: "А ну-ка, послушаем, к чему это ты клонишь!

— У, хитрая щука! — подумал про себя Мазепа и закончил свою речь вслух:

— Так вот, ясновельможный пане, чтобы хоть перед смертью забыть нам всякие свары и чвары и в мире ко Господу Богу отойти.

— Ох, Бог видит, как жаль мне и правой стороны моей Украины, — произнес Бруховецкий, покачивая с какой-то примиренной грустью головой, — едино через смуты и шатости уступила ее Москва ляхам. Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих, говорится в Писании, но да воздаст каждому по делам его: ему же честь, честь и ему же страх, страх: сиречь на худых гнев, а на добрых милость.

— Не надейся, ясновельможный гетман, на милость: если уже на худых гнев, то и добрым будет не лучше, — возразил с легкой улыбкой Мазепа. — Горе готовится и тебе, гетмане, и всей милой отчизне: только червяк, перерубленный пополам, жив остается, а всякое другое творение, не токмо целый народ, с мира сего отходит.

— Не будем роптать, братия! — произнес со вздохом Бруховецкий, подымая молитвенно глаза, — сказано — рабы своим господиям повинуйтесь. Будем же благодарить Господа за то, что хоть первая половина цела останется!

С этими словами он сложил руки на груди, склонил слегка на бок голову и изобразил на своем лице самое смиренное и словно покорное во всем воле Божией выражение.

— Хитришь все, — подумал про себя Мазепа, бросая быстрый, как молния, взгляд на сытое лицо гетмана, которому он придал теперь такое смиренное выражение, — но постой, меня ты не перехитришь! Вот теперь припечем тебя немножко, авось твое смирение поубавится.

— Да веришь ли ты, гетмане, что Левобережная Украина цела останется? Конечно, Господь возлюбил смирение и послушание, — произнес он повышенным тоном и затем прибавил тихо и мягко, — одначе вспомним о царстве Иудейском. Какая судьба постигла его, когда оно

разделилось? На долго ли оно пережило царство Израильское? А уже и наш святой Иерусалим на пути Навуходоносоровом стоит. Всякое царство разделившееся на ся запустеет и всякий град или дом разделившийся на ся не станет, — говорит нам Писание. Да и не надейся на то, гетмане, что Москва вас в своей деснице удержит. Не знаю, что у вас слышно, а нас извещали и король, и магнатство о том, что и всю Левобережную Украину уступит Москва ляхам за Смоленск с городами. Уже видно, у них что-то недоброе на уме, когда сговорились вместе нас искоренять!’

Теперь Мазепа попал в цель. Как раз два дня тому назад, как он уже узнал из подслушанного им в шинке разговора, Бруховецкий получил тревожные сведения от своих посланцев, и теперь этот Дорошенко посол повторяет то же. Правду говорит или нарочно смущает его? Да нет, откуда же ему узнать о том, что проведали послы в Москве. Нет, если и у них ляхи то же говорят, значит что-то да есть. Не обманывает ли его и вправду Москва? Лживый, коварный, никогда не говоривший никому правды, а потому всегда готовый подозревать других, Бруховецкий ощутил вдруг какое-то смутное беспокойство.

А если обманывает, что тогда? Ведь это его единственная опора! Однако надо и с этим посланцем держать ухо востро: может, он подослан кем нарочито, чтобы испытать его верность?

Он бросил на Мазепу недоверчивый подозрительный взгляд и произнес вслух.

— Не верь, пане ротмистре, людям льстивым, смущающим наши души. Это шатуны разные нарочито хулу распускают, чтобы уловить маловерных.

— А скажи, гетмане, милостивый пане наш, какая же польза ляхам распускать у нас такую хулу, чтобы только породить в народе вопль и смятение? Ведь должны же они знать, что сведавши об этом, захотят украинцы помыслить о своем спасении, а не пойдут так прямо, как волы, на убой?

Мазепа слегка подчеркнул последние слова и бросил на гетмана выразительный, а вместе с тем и вопрошающий взгляд. Бруховецкий играл кистями своего пояса, опутивши глаза.

— Ничего! — подумал про себя Мазепа, — как ты уж там ни прикрывайся, а я тебя проберу!

— Так вот, ясновельможный гетмане, думаю, что в словах их есть и правда, — продолжал он мягким и вкрадчивым голосом, — и в самом деле, размыслим: что мы такое Москве? Одна только польза и была ей с того, что доходы будут великие на казну идти, — а теперь вот народ кругом волнуется, мятежи затевает, не хочет стаций платить, того и гляди, большой огонь возгорится; опять и запорожцы еще гнев хана и турецкого султана на нее накличат! Какая же ей польза нас при себе держать? Сам, ясновельможный гетмане, посуди: не лучше ли ей променять Украину на Смоленск, на отчину свою? Да ведь это уже и не в первый раз чинится. Вспомни, не хотела ли Москва еще при гетмане Богдане Украину назад ляхам уступить, не заставила ли она его на помощь польскому королю выступить, и не смертельную ли обиду учинила она тем гетману? Да вот и лядские послы хвалились у нас, что отменно их в Москве принимали, говорили, смеючись, что льстят они снова Москву своим королевским престолом.

Каждое слово Мазепы, метко направленное, производило большое впечатление на трусливое сердце Бруховецкого, но он еще не сдавался.

— Будь, что будет! Ничто без воли Божьей не творится! — произнес он, придавая своему голосу самое доброе, самое покорное выражение. — Будем ожидать в смирении участи своей...

И подняв голову, он взглянул куда-то далеко поверх головы Мазепы и произнес тихим голосом:

— "Кая польза человеку, аще и мир обрящет, душу же свою отщепит!"

— Ох, ох! — вздохнул и Мазепа, поддельваясь к тону Бруховецкого, — и душу свою не удастся нам спасти. Кому много дано, с того много и спросится. За народ придется пастырям ответ перед Богом давать. А какие у нас теперь гетманы и старшины пастыри? По истине они уподобляются тем пастухам, которые держат корову за рога в то время, когда другие ее доят.

Слова Мазепы затронули самую живую струнку души Бруховецкого; его алчную, жадную душу давно тревожила та оплошность, которую сделал он, пригласив на Украину воевод и счетчиков, и таким образом упустивши из своих рук большую часть своих доходов. Правда, надеялся он, что Москва вознаградит его за то сторицею, но на деле выходит другой расчет, и вот теперь слова Мазепы пробудили с новой силой его алчность и злобу.

XLIII

Мазепа продолжал смело дальше.

— Вот, гетман, ты "нарикаеш" на Дорошенко, будто он подсылает сюда своих людей, но верь нам, гетмане, что с вашей стороны бегут к нам по всяк час заднепряне и призывают к себе Дорошенко.

Удар Мазепы был верен. Бруховецкий знал уже сам, что весь народ склоняется к Дорошенко: он ненавидел его и боялся выступить против него. Каждое новое известие об успехах Дорошенко вызывало в нем бешеную ярость, а вместе с тем и ужас за свою судьбу.

А Мазепа продолжал дальше, наслаждаясь волнением, уже пробившимся на лице Бруховецкого.

— Да вот я ехал к твоей мосци, — кругом все ропщут и нарикают на тебя, будто это ты, ясновельможный гетмане, призвал сюда и воевод, и ратных людей.

Слова Мазепы были отчаянно смелы. В глазах Бруховецкого вспыхнула на мгновение какая-то бешеная ярость, но тут же погасла.

— Знаю, знаю, — отвечал он тем же смиренным голосом, — "возсташа на ня все сродники мои!" Но Господь знает, что не от меня все то пошло.

— Знаем и мы, пане гетмане, что тебя и всю старшину силой заставили в Москве подписать эти статьи, а теперь они, когда увидели, что плохо, так и валят на тебя всю вину.

Хитрые слова Мазепы подавали Бруховецкому остроумно и незаметно прекрасный предлог для оправдания себя. Бруховецкий только махнул сочувственно головой, как будто хотел сказать: "Ох, правда, горькая правда!" А Мазепа продолжал уверенно дальше, чувствуя, что ему уже удастся овладеть понемногу хитрой, но трусливой душой гетмана.

— Так, ясновельможный, может думаешь ты, что Москва оценит твои заслуги? Ой-Ой! Правду говорит простая пословица: "По правди робы, по правди тоби й очи вылизуть в лоби". Сам посуди, не все равно Москве, какой на Украине гетман? Она обещала утверждать всякого, кого изберет рада вольными голосами. Против слов своих она не пойдет, значит и будет за всякого стоять. Народ кругом сильно волнуется. А если, чего упаси Боже, бунт? — Мазепа понизил голос и произнес, впиваясь глазами в лицо гетмана: — Вспомни, что было с Золотаренко и

Сомко[30].

При этих словах Мазепы Бруховецкий невольно вздрогнул, на лице его отразилось худо скрытое беспокойство; он бросил на Мазепу быстрый подозрительный взгляд, как бы желая выведать, знает ли он истину.]

Мазепа смотрел на него прямо, чуть-чуть насмешливо.

Смирненное выражение исчезло с лица Бруховецкого, глаза, трусливо забегали по сторонам.

"Что это, бунт? Заговор!.. Приверженцы Сомко и Золотаренко еще живы!.. Может, все полки уже передались Дорошенко и прислали сюда этого посланца, чтобы только посмеяться над ним! Что же будет с ним? Москва от него отступает, кругом бунты, волнения! Казачество передается Дорошенко! Татары за него!"

Все эти вопросы промелькнули молнией в голове Бруховецкого. Но что же делать?! С минуту он молчал, как бы обдумывая, на что решиться, и затем заговорил с любезной улыбкой:

— Вижу я, пане ротмистре, что ты разумный человек, а потому не хочу скрывать от тебя горести души моей. Ты думаешь, вам одним мила отчизна? Ох, тяжело и мне видеть вопли и стенанья народа! Но что же я могу сделать для них? Поистине не знаю.

Едва уловимая улыбка промелькнула на губах Мазепы.

— Возврати все к прежним обычаям и вольностям нашим.

— И рада б душа в рай, да грехи не пускают.

— Когда нет своей достаточной силы, то можно поискать и сторонней, братерской...

— Ох, братья-то врагами стали.

— Упаси, Боже, от такого греха! Все мы — заднепровские казаки и гетман Дорошенко о том только и помышляем, как бы воссоединить матку отчизну нашу.

— Ох, ласковый пане мой, хотелось бы мне верить тебе, да только дивно мне одно, откуда у гетмана Дорошенко такая ласка и зычливость ко мне проявилась? Врагу твоему не даждь веры...

— Если его ясная моцць еще сомневается в моих словах, то вот письмо от гетмана Дорошенко, — произнес Мазепа, вынимая пакет и подавая его Бруховецкому.

Лицо Бруховецкого осветилось, какая-то хищная радость отразилась на нем. Он сорвал поспешно печать и развернул письмо.

В письме своем Дорошенко призывал его пламенными словами к делу освобождения отчизны, он указывал Бруховецкому на все те злоупотребления, которые тот допустил в своем гетманстве, и умолял Бруховецкого соединиться с ним. "Когда нет в христианстве правды, то можно попытаться оной у единоверцев, — кончал он свое письмо, — а я готов все уступить на пользу народа, даже и самую жизнь мою, но оставить его в тяжелой неволе и думать мне несносно".

Бруховецкий прочел письмо раз и другой и, медленно сложивши его, опустил в карман.

Теперь глаза его смотрели уже не молитвенно, а нагло и дерзко: видно было, что он не считал уже нужным скрываться перед Мазепой.

— Хе-хе! — произнес он с легким смешком, слегка потирая руки, — кто об этом не скорбит, добро бы и соединиться нам, только какая от этого польза будет отчизне? Трудно, пане ротмистре, двум одним делом править!

— Гетман Дорошенко уступает твоей мосци булаву, чтобы ты был единым гетманом над всей Украиной.

Глаза Бруховецкого как-то алчно вспыхнули.

— Рад слышать такие слова, только смущает душу такое доброхотство ко мне гетманово. Ох, никто бо плоть свою возненавидит, но питает и греет ю!..

Мазепа посмотрел на сытое и наглое лицо гетмана, и гадливое чувство шевельнулось у него в душе.

— У, гадина, — подумал он про себя, — так ты, кроме своей корысти, и уразуметь ничего не можешь! Лишь бы станции с отягченного народа не на Москву, а на твою персону!

— Ясновельможный гетмане, — заговорил он вслух с легкой улыбкой, — вижу, провести тебя трудно. Дорошенко подвигает к сему подвигу крайняя нужда. Попался гетман в лабеты, как застреленный волк: за его дружбу с татарами ляхи больше не хотят видеть его гетманом; пробовал он к Москве удариться, — Москва его не принимает: остались у него только татары, но если Польша и Москва с татарами покой учинят, тогда и татары от него отступят и выдадут с головой ляхам. Правда, за Дорошенко стоит все казачество, и ваше и наше, и вся старшина, но, что же с ними одними против всех поделаешь? Вот он и предлагает тебе такой уговор: если ты согласишься на нашу пропозицию, Дорошенко отдаст тебе свою булаву, присоединит к тебе все казачество, но требует от тебя, чтобы ты за это пообещал ему на вечные часы Чигирин и полковничество Чигиринское.

Казалось, объяснение Мазепы вполне удовлетворило Бруховецкого.

— Хе, хе, хе! Вон оно, куда пошло! Ну, это и мы разумеем, дело, так дело! — заговорил он веселым и развязным тоном и вдруг, спохватившись, прибавил озабоченно, меняя сразу выражение лица. — Только как же, добродию мой, "злучытыся" нам? Я ведь от Москвы, Боже меня упаси, никогда не отступлю.

Под усами Мазепы промелькнула тонкая улыбка.

— А зачем же тебе, ясновельможный гетмане, от Москвы отступать? Стоит только, милостивый пане, тебе согласиться, а все само сделается: мы за твою мосць работать будем, в договорных пактах не сказано, чтобы мы обирали себе гетмана только из правобережных казаков, а посему Дорошенко откажется от гетманства, а мы, все заднепряне, выберем тогда вольными голосами твою мосць. От того, что твоя милость станешь гетманом и над правым берегом, Москве никакой обиды не будет, а для того, чтобы ляхи не взбунтовались, можно поискать дружбы и с неверными, так, про всяк случай, — знаешь, когда человек с доброй палкой идет, тогда и собаки его затронуть боятся. Опять же и от дружбы с татарами никакой Москве "перешкоды" не будет. Андрусовский договор того же хочет.

— Зело хитро, зело хитро, — посмеивался, потирая руки, Бруховецкий, а Мазепа продолжал развивать перед ним свой план о будущем самостоятельной Украины, а если уже не удастся

вполне "самостийной", то хоть под турецким протекторатом. Он говорил сильно, красноречиво, рисуя перед гетманом заманчивые картины.

Бруховецкий слушал его молча, жадно...

— Добро, — произнес он, наконец, подымаясь с места, — я над Дорошенковыми словами поразмыслю, только чур, — поднял он обе руки с таким жестом, как будто хотел отстранить от себя всякое искушение, — чтобы нам от Москвы ни на шаг... я от Москвы не отступлю!

— А как же, как же! — вскрикнул шумно Мазепа, — и мы Москве наинижайшие слуги.

Он отвесил низкий поклон, разведя в обе стороны руками, словно хотел показать этим жестом, что готов на все для нее...

— Вот и гаразд, — заключил довольный Бруховецкий и крикнул громко:

— Гей, пане есауле! — затем прибавил, обращаясь к Мазепе, — теперь, пане, я поручу тебя ласке моего есаула.

Боковая дверь светлицы отворилась, Мазепа оглянулся, и недосказанное слово так и замерло у него на языке.

Перед ним стоял Тамара.

XLIV

В замке гадячском в доме воеводы Евсея Иваныча Огарева ярко светились окна. В просторной светлице, отличавшейся сразу своим убранством от покоев местных жителей, сидели друг против друга за столом, покрытым чистой камчатной скатертью, два собеседника: сам боярин Огарев и только что прибывший из Москвы стольник Василий Михайлович Тяпкин.

На столе стояли два канделябра с зажженными в них восковыми свечами; свет их ярко освещал лица обоих собеседников.

Боярин Евсей Иваныч был человек почтенного возраста, дородного сложения и важной наружности; широкая, холеная борода его спускалась почти до пояса; густые слегка завивавшиеся по краям волосы разделял ровный пробор; все движенья его были степенны и медлительны, говорил он не спеша, раздумчиво. Тяпкину было на вид лет тридцать не больше, роста он был среднего, худощавого сложения, однако румяные щеки его свидетельствовали о прекрасном здоровье; продолговатое лицо его обрамляла светло-русая курчавая бородка клинышком, светло-серые глаза глядели быстро и сметливо; движения его были скоры и юрки.

На боярине была длинная боярская одежда, украшенная золотым шитьем, из-под расходящихся пол которой виднелась красная шелковая сорочка, низко подпоясанная цветным шелковым шнурком; стольник же был одет более по-дорожному: на нем был недлинный кафтан тонкого голубого сукна, опоясанный шелковым кушаком, и высокие желтые сафьянные сапоги с загнутыми на татарский образец концами.

Боярин медленно и важно поглаживал свою широкую красивую бороду, стольник же беспрерывно тербил и подкручивал свою небольшую бородку.

Перед каждым из собеседников стояла высокая, золоченая стопа, но занятые своею беседой, они, казалось, совершенно забыли о них.

— Так таковы-то дела у нас, боярин Евсей Иванович, — говорил Тяпкин, опираясь подбородком на руку и слегка подкручивая свою курчавую бородку.

— Зело худы, зело худы, — отвечал Огарев. — Во всей Малой России подымается великий мятеж. Люди-то все здесь худоумные и непостоянные, один какой-нибудь плевосеятель возмутит многими тысячами, и нам тогда трудно будет уберечь свои животы, затем, что неприятель под боком, да и запорожцы стоят неприятеля: все бунтовщики и лазутчики великие, и из всех местов такого шаткого места нигде нет: работать, и землю пахать и собою жить ленивы, а желательно как бы добрых людей разорить, да всякому старшинство доступить. А на Запорожье ныне боле заднепряны, Дорошенковых людей, от них-то злой умысел на смуту и вырастает. Запорожцы-то, слышь, живут с полтавцами советно, словно муж с женой, вот от этих самых их советов и пошло переяславское дело. Возгорается, говорю тебе, Василий Михайлович, большой огонь. Кругом шатость великая.

— Тек-с, тек-с, — отвечал задумчиво Тяпкин, покручивая бородку. — А не ведаешь ли, боярин, отчего такая шатость кругом пошла. Не из-за Киева ли? Приезжали к нам на Москву посланцы от гетмана Ивана Мартыновича, сказывали, что кругом народ опасается, чтобы мы Малую Россию не отдали ляхам, так вот мы и сдумали на Москве, чтобы разные шатуны и воры не смущали здесь сердца народные, отправить особого посланца, дабы прочитал те статьи, на которых тот покой с ляхами учинен на большом их собрании, радую именуемом.

— Добро бы и то учинить, — отвечал боярин, медленно поглаживая бороду. — "Изволил бы государь обвеселить их милостивою грамотою, что Киев, мол, и вся правобережная Малая Россия остаются под нашею рукою вечно, чтобы они не слушали простодушных плутов, кои, ревнуя изменникам, возмущают всех воровскими вымыслами, — да только не в том вся суть, государь ты мой Василий Михайлович.

— Так о чем же, боярин, волнуется народ?

— О том, что воеводы наши в городах сели, да о том, что царские ратные люди в Малую Россию жить пришли, да что денежные и хлебные сборы в казну собирают. На лице стольника отразилось явное изумление.

— А чего ж им на воевод да на ратных людей злобствовать? Прибыли они не для раздоров, а для дела советного, чтобы помогать гетману народом судить и рядить. А и того, что на корм ратным людям денежные и хлебные сборы идут, им нечего себе в тяготу ставить: царские люди на их же оборону в городах живут.

Огарев усмехнулся.

— Толкуй ты им таковы слова! Оборонить-то они себя и без наших людей горазды, а о том, чтобы воеводы гетману судить и рядить помогали, — так и слушать им несносно. Зело горд и строптив народ и страха никакого не имеет. У своего, слышь гетмана в послушании не хотят быть. Он, говорят, принял на себя одного власть самовольно, старшин в колодки сажает и к Москве отсылает, без войскового приговору дела решает! Мы, говорят, его поставили, мы его и сбросим.

— Дело! — произнес Тяпкин, встряхивая русыми волосами, — такого еще и не слыхивал! Что гетман кому за вину наказание чинит, так это добро. За это на гетмана хулы наносить? Не за что!

— По-нашему-то так, Василий Михайлович, а по-ихнему выходит, что наступают, мол, на их вольности и права. Из-за этих самых вольностей не хотят они и воевод, и ратных людей

терпеть. В Переяславских пактах постановлено, толкуют, чтобы никаких воевод у нас, кроме Киева, не было и никаких бы им поборов с народа не иметь. Оттого-то и идет кругом великое сумнительство, оттого и переяславский огонь загорелся, и стольник Ладыжинский смерть принял.

— Худо, худо! — произнес задумчиво Тяпкин, закусывая конец бородки. — Одначе и убирать нам из их городов воевод да ратных людей никак нельзя. Сам, боярин, поразмысли, какая из этого польза выйдет, если оставить их при своих вольностях да правах? Одна только шатость, да соблазн. Да и какие такие вольности и права? Пред Богом да царем все равны: что боярин, что холоп, что князь! Хочет казнить, хочет милует — воля его. Едино стадо — един пастырь.

— Так-то оно так, Василий Михайлович, — возразил Огарев. слегка придерживая свою бороду рукою и покачивая с сомнением головой, — да как бы сразу не затянуть узла. Говорю тебе, народ здесь все равно, что конь необъезженный, ты его запрягать, а он и в оглобли не идет.

— Что ж, боярин, нам оставлять их при древних правах никак невозможно. Толкуют они вам, что едино своим хотением в одно тело сложились, так ведь и мы их едино по их челобитью под свою руку приняли, а коли уж соединились они, так надо и то им в уме держать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Толкуют и про Переяславские пакты! Ну, и были они допрежь, никто им не препятствовал, а коли видим мы, что от них только один соблазн идет, так они нам и не желательны. У нас закон для всех равен должен быть. И так уж бают наши мужички: "У Черкасов, мол, золотое житье!!" Того и гляди, еще и на Москве смуту поднимут!

Тяпкин тряхнул русыми волосами и прибавил уверенным тоном:

— А я, боярин, разумею, что такие голоса казаки оттого проявляют, что видят в городах при воеводах большое малолюдствие.

Боярин повел бровью, расправил ладонь лопатой, провел ею не спеша по бороде, распустил ее конец пышным веером и, опустивши руку на стол, произнес с уверенностью:

— Нет, Василий Михайлович, не то ты говоришь. Что город, то норов. Ты вот сюда хоть и в сколько тысяч рать пришли, так они оттого страшны не станут. Им-то и смерть не страшна: привыкли в Литве своевольничать! Что ни на есть дикий народ. Не токмо мужики, а и бабы, словно за веретена, за сабли хватаются. Народ, что дуб — его не согнешь.

— Эх, боярин, Евсей Иваныч, — возразил с усмешкой Тяпкин, — да ведь и из дуба дуги гнут, лишь бы помаленьку, да с оглядкой, так и добро всем будет. Коли уж учнут очень против воевод бунтовать, можно будет кои города им назад возвратить, а совсем выводить воевод да ратных людей нам невозможно. Надо, чтобы народ понемногу обыкал в одной упряжке ходить. Поселить бы наших людишек сюда, а ихних бы малость к нам перевести, тогда, боярин, и хлеб врозь не ползет, когда тесто хорошо перемешано.

Боярин внимательно слушал Тяпкина, подперши подбородок рукой. А Тяпкин продолжал развивать свою мысль дальше.

— Вот уже милостью Божиею и желанием самого гетмана постановлено, чтобы без воли нашей им с чужими землями не ссылатся, — и добро вышло, и меньше мятежей, и шатостей. А то вспомни, боярин, не восхотел ли еще гетман Богдан, как только Переяславский договор утвердился, помимо нашего ведома со Свейским королем да с Ракоцием оборотный союз учинить? А Выговский Ивашка?.. А вот теперь побурлили, побурлили малость, да и утихли. И добро вышло, и мятежей меньше стало.

— И то дело, что говорить, — заговорил боярин, отнимая, руку от подбородка. — твоими бы устами, Василий Михайлович, и мед пить, да допрежь всего, — опустил он руку на стол, — приказал бы государь побольше ратных людей прислать, а то ведь, знаешь, скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается, сидим мы здесь в городах, как грибы в лукошках, ни живы, ни мертвы, того и гляди, что без голов сделают, либо в Крым с женами и с детьми зададут. Прислал бы государь рать какую великую, — будто на поганина, что ли, а не то — беда! Мятеж, говорю тебе, кругом начинается: и сами сгинем, и людей государевых погубим.

— Да что же гетман-то Иван Мартынович?

— Сам еле жив сидит, тоже, чаю, бил челом о ратных людях. Зело злобствуют на него всех чинов люди. Недобрый он человек: корыстен да жаден, великие поборы со всех берет, а что уж терпят от него...

— Да нам-то он верен ли? — перебил Огарева Тяпкин, — тебе, боярин, здесь верней видно. Смотри, не от него ли все те смуты пошли.

Огарев покачал головой и, подумавши, отвечал:

— Кто его разберет... Одначе, сколько разумею, нам-то он верен пребывает. А что смуты не от него пошли, так это совсем верно: многие не хотят его гетманом иметь.

— Не хотят его гетманом иметь... — произнес задумчиво Тяпкин. — Одначе, нам он верен и не строптив... гм... такой бы нам и надобен... — Он помолчал и затем прибавил, быстро подымая голову: — А кого же они хотят?

— Да к Дорошенко все тянут; от его-то людей и злой умысел на смуту вырастает, и вся шатость идет: ссылается, слышь, с татаринном да общается с ним наши города воевать.

— Гм, гм... — протянул задумчиво Тяпкин, потупляя глаза и покручивая бородку. Он замолчал, видимо обдумывая какой-то вопрос, затем потрянул русыми волосами и произнес, живо обращаясь к боярину. — А не добро бы нам было, боярин, не дожидаячи того, пока он, Дорошенко, все города и все полки на свою сторону совратит, самого бы его под высокую государеву руку привести?

— Упаси Бог, — даже отшатнулся от стола боярин. — такой нам не надобен: он злодей и недоброхот! Он-то и возмущает всех добрых людей, обнадеживает их, что всех, мол, воевод с ратными людьми из Малой России повыгонят, не хочет ни у кого в послушании быть, с басурманином сноится, думает сам собою прожить, затем к нему весь народ и бежит.

— Гм... — отвечал Тяпкин, поведя бровью, — а коли он такое на уме имеет, да коли все полки, и города, и запороги тянут, так нам лучше с ним в войну не вступать, а обвеселить бы его милостивою грамотою, да поискать бы пути, как бы его на свою сторону перетянуть...

— Думаешь ли ты, что он норов-то свой изменит?

— Ну, уж изменит, аль нет, лишь бы нам только притянуть его, а там уже бабушка надвое ворожила.

Огарев хотел возразить что-то стольнику, но в это время у дверей дома раздался громкий стук.

Собеседники переглянулись.

— К тебе, что ль, боярин? — спросил Тяпкин.

— Кажись, ко мне, — отвечал Огарев, прислушиваясь.

— Откуда бы? Время позднее!

— Да не откуда, как от гетмана, либо от нашего полуполковника. Не было бы какой беды.

Оба всполошились.

Стук повторился снова настойчивее и громче; затем послышался звук открываемых засовов, какой-то разговор и через минуту в комнату вошел слуга и сообщил, что какой-то посланец от гетмана хочет видеть немедленно боярина.

— Веди, веди, — отвечал поспешно Огарев, устремляя встревоженный взгляд на входную дверь; по лицу его видно было, что он был сильно озадачен этим поздним визитом. Но вот дверь отворилась, и в комнату вошел Тамара. Перекрестясь на образа, он поклонился обоим собеседникам и произнес льстивым голосом:

— Боярину и воеводе Евсей Иванычу и тебе, благородный господин, великий боярин и гетман желает в добром здравье пребывать.

— Благодарим на том боярина и гетмана и желаем ему о Господе радоваться, — отвечал Огарев, вставая и кланяясь на слова Тамары. — А с чем изволит присылаться ко мне гетман и боярин?

— Беда, боярин.

— Что? Бунт? — произнесли разом и Тяпкин, и Огарев.

— Еще сохранил Бог, но похоже на то: вели, боярин, крепить осады во всех городах, быть беде великой.

— Да что же такое? Садись, сделай милость, сказывай скорее, — обратился Огарев к Тамаре, пододвигая ему табурет.

Все уселись.

Тамара рассказал о том, как к Бруховецкому прибыл Мазепа, как он уговаривал его от имени Дорошенко отступить от Москвы, уверяя, что Дорошенко присоединит к нему за это всю Правобережную Украину и отдаст ему за это свою булаву; как советовал ему не отказываться от ханской помощи.

Боярин и стольник слушали Тамару с озабоченными встревоженными лицами.

— Но гетман Иван Мартынович, — закончил Тамара, — памятуя Бога и благо отчизны, не захотел слушать их льстивых слов и прислал меня поведать все то тебе, боярин, чтобы ты немедля схватил посланца и, расспросивши его, отправил в Москву.

Рассказ Тамары произвел, видимо, сильное впечатление и на воеводу, и на стольника. Тяпкин бросил на боярина выразительный взгляд, как бы говоривший: а ты, боярин, еще сомневался в нем. Но и боярин, видимо, изменил теперь свое мнение о Бруховецком.

— Гетману и боярину за верную ему службу будет государева милость неизреченная, —

произнес он с волнением, подымаясь с места, — но скажи мне, отчего же гетман сам не велел тотчас же схватить посланца? Пожалуй, уйдет.

Тамара тоже поднялся; за ним встал и стольник.

— Не мог он того сделать, того ради, что кругом теперь смуты идут, — отвечал Тамара, — сам знаешь, каков ныне народ; если бы его гетман тут же схватил, сейчас же кругом крик поднялся, что гетман самовольно старшин хватает да в Москву засылает; а тебе, боярин, это ловчей сделать, ты воевода, у тебя должен записаться всяк заднепрянин. А записывался ли он?

— Мазепа, говоришь? Нет, такого не было, записался вчера какой-то Никита Корчак, купец с правого берега.

— А каков был из себя?

Огарев описал наружность мнимого купца.

— Вот это он самый и есть! — вскрикнул радостно Тамара. — Теперь-то тебе, боярин, и самое впору его поймать, да расспросить, какой такой товар привозил он на правый берег?

— Ужель ты думаешь, что вор до сих пор в Гадяче сидит? — спросил боярин. — А как нам искать его не в городе, коли нам дороги ваши неведомы?

— О том не журишь, боярин, — отвечал поспешно Тамар едва скрывая свою радость, — мы сами его отыщем, есть и след у нас, ты только дай нам своих людей, да вашу одежду, чтобы делалось все это будто твоим изволением, а уж я его к тебе живьем приведу, пусть тогда расскажет на Москве, каковы дела с Дорошенко учиняет.

— Сколько людей тебе дать?

— С полсотни будет довольно.

— Ну, так ступай ты, пан есаул, сейчас к гетману, может он еще что прикажет, а стрельцов я сейчас велю созвать. Да передай еще гетману, что служба его забвенна не будет, и о тебе на Москве вспомнят.

Тамара поклонился, поблагодарил воеводу за милость и поспешно вышел из комнаты.

Когда дверь за ним затворилась, боярин и стольник значительно переглянулись.

— Ну что, видишь теперь, каковы таковы дела у нас? — произнес Огарев.

— А таковы, — отвечал ему решительно Тяпкин, — что надо ковать железо, пока горячо.

XLV

Возвратясь от Бруховецкого, Мазепа велел своим казакам готовиться к немедленному отъезду. Правда, Тамара не сообщил гетману ничего о разговорах Мазепы на Запорожье, был с ним отменно любезен и даже ни словом не упомянул о прошлом столкновении, как бы его совсем и не было, но одна уже встреча с ним не предвещала Мазепе ничего хорошего. Низкая душонка Тамары, конечно, не могла бы никогда забыть того посрамления, которое он потерпел от Мазепы в Сечи, а теперь для него представлялся такой прекрасный случай отомстить за все сторицей. И чтобы он упустил его, чтобы он не воспользовался им? О, нет! Бесспорно, он

расскажет Бруховецкому, о чем ратовал Мазепа в Сечи, он постарается вооружить его. Он пробудит в нем сомнение к словам Мазепы. Бруховецкий труслив и недоверчив. И почему бы ему, Бруховецкому, не купить себе в таком случае милость и доверие Москвы его, Мазепиной, головою? Правда, если казаки и Дорошенко узнают о том, что он схватил Мазепу и выдал их, это вызовет только большую ненависть к нему, а Дорошенко все-таки бросится с войсками на правый берег. Да, но это доставит им возможность заранее подготовиться к обороне; они вызовут войска из Москвы, уведомят Польшу и, кроме того, разве не может Бруховецкий устроить так, что он, Мазепа, погибнет и не по его вине, и Дорошенко никогда не узнает об его измене? Разве мало разных несчастий может случиться с человеком в пути. Разбои... грабежи... своевольные "купы"... О, Тамара ему во всем поможет. Он со своим гетманом на это мастера. Не даром же говорят про них, что мягко стелят, да жестко спят. Проклятие! Тысяча проклятий! Если бы не эта встреча с Тамарой, все дело окончилось бы с таким блестящим успехом: ему, видимо, удалось убедить Бруховецкого, трус пошел уже на удочку. Он, Мазепа, скакал бы уже по направлению к Переяславу с ответом Бруховецкого на груди, а теперь все погибло! И почему не прикончил он тогда на Сечи сразу эту гадину? Ведь мог же он сделать это и пощадил его. Пощадил для того, чтобы теперь через него погибло все! — Все дело, воздвигнутое с таким трудом, могшее спасти отчизну, жизнь его дорогой Галины, его собственная жизнь! При этих мыслях Мазепа чувствовал, как в груди его закипала бессильная ярость. О, какие ужасные последствия могут возникнуть из всего этого, если его задержат и схватят. Хоть бы вырваться поскорее из города: там, на свободе, быта может, ему удастся еще уйти от их преследования. Эти соображения заставляли Мазепу еще больше торопить свой отряд.]

Варавка сильно изумился таким лихорадочно-быстрым сборам Мазепы, но когда он рассказал о встрече с Тамарой и о причинах, заставляющих его опасаться его мести, добрый старик пришел в неопишувемый ужас.

— Торопись, торопись, пане ротмистре, — заговорил он с волнением, помогая Мазепе переодеваться, — да говори по совести, не нужно ли тебе еще чего... возьми "червонных", червонцы всегда помогут. Да выбери еще запасных коней с моей "стайни", бери все, все, что нужно; овса пусть наберут казаки... Ох, если уже Тамара на тебя зло имеет, то надо бежать, бежать скорее!.. Этот аспид не лучше самого гетмана!

Много стоило труда Мазепе, чтобы отказаться от денег, которые старик настойчиво просил принять, но три прекрасных запасных коня, нагруженные овсом и всякими съестным припасами, Варавка все-таки заставил его взять. Когда ж Мазепа заикнулся о плате, то старик пришел в неподдельное негодование.

— Годи, годи, сынку, — произнес он дрогнувшим голосом, сурово отстраняя его руку, — всяк служит отчизне чем может, — кто головой, кто саблей, а я, бедный, темный крамарь послужу ей хоть грошами.

Мазепа ничего не возразил на эти слова, а только крепко обнял и горячо поцеловал растроганного старика.

Через четверть часа, напутствуемый самыми лучшими пожеланиями и советами старика, он выехал во главе своего отряда со двора Варавки.

В воротах городских никто не задерживал молодого купца, и он выехал благополучно из города.

Когда стены, ворота и башни городские остались за его спиной, Мазепа почувствовал, точно с

души его скатила какая-то непомерная тяжесть; ему показалось, что он уже вырвался из заточения, из оков, из тюрьмы!

Перед глазами его развернулась широкая даль густо зеленеющих озимями полей, среди которых извивалась белеющей полосой широкая дорога. Душный, тесный город остался далеко за ними. Мазепа вздохнул полной грудью свежий, бодрящий воздух, и с этим вздохом к нему, казалось, вернулась опять вся его уверенность.

Неужели же на этом бесконечном просторе ему не удастся уйти от преследования Бруховецкого? Неужели ему, Мазепе, не удастся провести и гнусного тирана, и его наперстника Тамару! Ха, ха! Еще померяемся силами! Не будь он Иван Мазепа, если ему не удастся сделать это!

Такие мысли привели Мазепу в бодрое настроение духа.

Он приказал своему отряду ехать доброй рысью, но не слишком скоро, чтобы не возбуждать подозрения, вдоль по Переяславской дороге. По дороге им встретилось несколько обозов, тянувшихся к Гадячу; несколько крестьянских возов, уже возвращавшихся порожняком из города, обогнало их, но никто не обратил на них особого внимания.

Проехавши так до вечера прямо по Переяславской дороге, Мазепа приказал свернуть с нее и повернул круто на север. Он решил углубиться теперь вглубь страны, рассчитывая, что преследователи бросятся по его следам, по Переяславской дороге, и станут искать его в приднепровских местах. Когда отряд удалился уже достаточно от большой дороги, Мазепа велел пустить лошадей вскачь и путники понеслись со всей быстротой. Ночная тьма благоприятствовала их бешеной скачке; никто не произносил ни слова, только свежий ночной ветер шумел возле их ушей.

Проскакавши так часа три, они въехали, наконец, в большой лес и, своротивши с дороги, углубились в его чащу.

Здесь решили сделать короткий привал. Лошадям слегка распустили подпруги, подвязали им мешки с овсом, а сами, не зажигая огня, повечеряли чем было. Мазепа назначил смену часовых, остальным же велел немедленно расположиться на отдых.

Едва только звезды начали гаснуть на востоке, отряд уже снова продолжал свой путь. Проехавши так верст с десять, Мазепа снова переменял направление и решил двигаться теперь на восток, по направлению к московским рубежам.

Наконец развернулось во всей красе и ясное, погожее утро, а путники все еще не замечали за собою никаких следов погони.

Это привело Мазепу в более спокойное настроение духа. К нему вернулись снова его обычная рассудительность и умение владеть собою. Мысли его потекли спокойнее. Он начал вспоминать все свои вчерашние соображения и опасения, и теперь они представились ему совершенно в другом свете.

Конечно, Тамара низок, подл и желает погубить его во чтобы то ни стало, но что может рассказать он Бруховецкому? Что Мазепа призывал всех к Дорошенко? Естественно, он должен был это делать, ведь он служит у него. Дорошенко был прежде против Бруховецкого, а теперь сам идет к нему навстречу, значит, и Мазепа разделяет его желание. Нет, нет, резоны, представленные им Бруховецкому, были достаточно убедительны, и Бруховецкий поверил им, а главное: поверил или не поверил, но жадно ухватился за них, так как в данное время для

него не было иного выхода. Тамара низок и подл, как и сам гетман, но ведь он и не глуп. Он должен же понимать, что судьба его связана неразрывно с судьбой Бруховецкого, что в случае гибели гетмана ничто не спасет и его от казацкой мести. И что они выиграют, если предадут его, Мазепу, Москве? Ведь Москва и так доверяет им. А как бы они ни скрыли гибели Мазепы, ведь Дорошенко все равно узнает о ней, и если он заподозрит их в измене, то переменит свое намерение, а ведь намерение его так заманчиво для них, тем более, что оно ничуть не отымает у Тамары возможности отомстить Мазепе, наоборот, при усилении власти Бруховецкого оно подает ему еще большую надежду.

Лошади шли мерной, крупной рысью. Кругом было тихо; редко какой поселянин встречался путникам на дороге; холодный утренний воздух вливал невольно в душу бодрость и энергию, и все это понемногу успокоило Мазепу.

Да полно, еще гонятся ли за ним? Может, он бежит только сам от своей тени! Может, все эти опасения погони есть только плод его расстроенного воображения? Конечно, так!.. Не даром же молчал Тамара, а ведь они могли его схватить тут же в замке. Уже одно то, что и в воротах городских его не задержала стража, поддавало ему большую надежду, но кроме того и до сих пор не видно нигде никаких признаков погони. Если бы они только, не желая делать шума в городе и выпустили бы его из городских ворот, то ведь могли же они схватить его сейчас же вечером, по дороге, времени было довольно много; но желая поймать его, они ни в каком случае не допустили бы его углубиться так далеко в глубину страны, — решил Мазепа.

Эта мысль окончательно успокоила его и мало-помалу привела в отличное настроение духа.

Так проехали без всяких приключений и второй день. Теперь Мазепа уже вполне убедился в том, что — или за ним вовсе и не было погони, или ему удалось окончательно обмануть ее. Заехавши в одну из деревень, он с удивлением узнал, что они находятся уже верст на сто от Путивля, недалеко от Московского рубежа.

Это окончательно уверило его в своей безопасности и он решил теперь остановиться для более продолжительного ночлега, чтобы дать отдохнуть и людям, и лошадям.

Казачьи сворнули с дороги и поехали к видневшемуся вдали лесу. Вскоре они нашли уединенную и защищенную со всех сторон лесную прогалину и расположились на ней.

Уже все, кроме часового, давно спали крепким сном измученных непрерывной скачкой людей, а Мазепа все еще лежал с подложенными под голову руками, не смыкая усталых глаз. Ночь была темная, холодная и звездная. Над головой его раскинулось голубое небо, словно усыпанное бриллиантовой пылью, среди которой горели крупные звезды; одни из них трепетали и сверкали, посылая из темной, недостижимой глубины свои сверкающие лучи, другие сияли ровным мертвым голубым светом. Кругом было так тихо, что слышно было, как медленно падала сухая ветка в лесу; в воздухе чувствовался осенний холод; видно было, как подымался с земли белесоватый туман. Мазепа глядел на небо, но мысли его были далеки от звезд. Перед ним стоял теперь один вопрос: куда поворачивать? Спешить ли прямо к Дорошенко, или завернуть по дороге к Марианне, или заехать в Волчий Байрак, попытаться узнать что-нибудь о несчастной Галине.

Положим, он обещал Марианне заехать по дороге к ней, но теперь поздно, невозможно этого сделать. Опять у него пропало три дня; чтобы вернуться теперь назад в Чигирин, надо будет потратить не менее недели, а что значит неделя при таких делах! Да и наконец, эта непонятная записка. Кто написал ее? Конечно, не полковник и не сама Марианна. Без сомнения, это молодой атаман Нечуй-Витер. Но что могло побудить его к такому поступку?

Ведь он, Мазепа, не оказал ему никакой неприязни. Однако нельзя сказать, чтоб молодой казак выказал ему большое расположение. При этой мысли Мазепе вспомнились невольно все недомолвки казака, все те пытливые взгляды, которые он бросал и на него, и на Марианну, странное поведение самой Марианны в последнее утро, и ему стало ясно, что Андрей любит Марианну. Любит... Нет, этого мало: если бы он только любил ее, он не написал бы такой записки... Значит, он имеет на то какое-то право... Так кто же он такой Марианне? Может, нареченный? А отчего бы и нет? — Ведь она сама сказала ему, что он принят у них "за сына".

При этой мысли Мазепа почувствовал вдруг какую-то неприязнь к казаку. Перед ним встала Марианна, как живая, с ее пылкой речью, огненными глазами и гордой, непреклонной душой.

И злобное, ревнивое чувство зашевелилось в его груди. "Неужели же она любит его? Неужели она должна будет достаться ему, Нечуй-Витру?" — подумал он и почувствовал, как в груди его заклокотали и гнев, и оскорбленная гордость, и еще какое-то новое чувство, но тут же краска невольного стыда выступила на его лице. Страшная злоба на самого себя охватила Мазепу. Какое ему дело до Марианны и до ее нареченного? Если оно так, то тем и лучше. Он рад за Марианну: такая девушка стоит счастья, а Андрей, видимо, любит ее без души. Зачем дразнить его? Зачем мешать чужому счастью?! Он пошлет только слугу, а сам будет спешить к Дорошенко, а, главное, к своей дорогой, забытой голубке.

Мысль о Галине успокоила гнев и непонятное раздражение, охватившее Мазепу, и наполнила горечью его сердце.

Несмотря ни на какие доводы рассудка, он чувствовал себя виноватым перед Галиной; совесть не давала ему покоя, воображение рисовало самые ужасные картины, а мысль снова возвращалась к тому же вопросу, куда и каким образом мог скрыться с Галиной Сыч? Уж не Тамара ли похитил ее? — подумал Мазепа и почувствовал, как при этой мысли вся кровь отлила у него от сердца. — Но нет, нет! Каким образом мог бы он открыть их убежище, а если бы даже и открыл, то по чем мог бы он узнать, что она дорога ему, Мазепе?

Рассудок Мазепы отверг сразу это предположение, но сердце заняло мучительно и тревожно. Это предположение всколыхнуло в нем с новой силой уже слегка улегшиеся, под влиянием безотложных тревог, опасения за судьбу несчастной девушки, а вместе с ними перенесло Мазепу снова к тому разговору в шинке, который произвел на него такое сильно впечатление. И вдруг словно удар молнии прорезал его сознание, он чуть не вскрикнул от радости и даже приподнялся н месте. Да не Галина ли говорила ему о какой-то своей подруге Орысе? Да, да! Конечно, так. Она говорила ему это. Значит, эта подруга и есть невеста Остапа, а следовательно она может сообщить ему что-нибудь о Галине.

Догадка эта была, конечно, довольно эфемерна: мало ли Орысь на свете? И почему именно эта должна быть подругой Галины? Но сердце Мазепы твердило настойчиво: "Да, это она, она, она!" ;

Слабый луч надежды блеснул перед ним, и он решил во что бы то ни стало заехать в Волчий Байрак и повидаться с молодым казаком.

Такое решение не было даже, нарушением данного Дорошенко слова. Хотя вследствие этого решения Мазепе приходилось бы сделать большой круг, но, ввиду опасности положения, такой объезд не был лишним. У Переяслава и, у других приднепровских городов его могли бы поджидать "шпыгы" Бруховецкого, а там он может переправиться через Днепр лодкой и благополучно возвратиться назад.

Только успокоившись на этой мысли, Мазепа заметил, что осенний холод начинает не на шутку пробираться его, а край неба давно уже бледнеет. Он закутался покрепче в свою керею и, улегшись поудобнее на сырой холодной земле, заснул крепким и глубоким сном.

XLVI

Утром казаки разложили костер и сварили себе добрую кашу; веселые и довольные тем, что им удалось избежать преследования Бруховецкого, они направились в путь.

Мазепа решил все-таки не выезжать пока что на большой шлях, а, придерживаясь проселочных дорог, держать все прямо на юг. Так проехали они до полдня; он хотел уже отдать приказ остановиться на отдых, когда к нему подскакал встревоженный Лобода и объявил, что вдали подвигается за ними какой-то отряд.

— Казаки? — спросил поспешно Мазепа, чувствуя, как при этих словах что-то екнуло у него в груди.

— Нет, милостивый пане, на наших не похожи, скорее москали.

Мазепа встревоженно оглянулся: действительно вдали виднелся небольшой отряд; судя по шашкам и бердышам всадников, он признал сразу, что это были московские стрельцы, они подвигались не спеша, вольной рысью. У Мазепы слегка отлегло от души.

— Садись, мосци пане, на свежего коня и скачи вперед, а мы отряд задержим... их больше нас, но ничего — мы продержимся, а ты тем временем успеешь скрыться вон в том лесу, — заговорил с волнением Лобода, не отрывая глаз от приближающегося отряда.

— Нет, нет, мой любимый Лобода, — отвечал ему Мазепа, ласково опуская руку на плечо старика.

— Я знаю, что ты готов бы сложить за меня и голову, но этого делать не надо; в погоню за нами гетман не послал бы московских стрельцов, они не знают ни наших дорог, ни нашей "мовы" и никогда бы не сумели поймать нас. Это, верно, какой-нибудь новый отряд, который поспешает к воеводам; нам надо двигаться спокойно и не спеша, чтобы не возбудить их подозрения. Но Лобода не мог согласиться с Мазепой.

— На Бога, пане! — повторял он, хватая Мазепу за руки, умоляя его сесть на коня и ускакать вперед, повторяя Мазепе, что береженого и Бог бережет, что он дал клятву пани Мазепиной щадить себя, — Мазепа не слушал его совета.

— Да ведь если я сяду и поскачу, дядьку мой любимый, — возразил он, — то ведь они заподозрят меня, сам посуди, и бросятся за мною в погоню, а теперь, смотри, они вовсе и не думают ловить нас.

Действительно, отряд не походил на преследователей, он подвигался спокойно с тою же быстротой.

Наконец, Мазепе удалось убедить Лободу в их видимой безопасности, но на всякий случай он приказал своим казакам сплотиться, осмотреть хорошенько оружие и подвигаться, не прибавляя шагу, вперед.

Однако, хотя Мазепа и уверял Лободу в полной безопасности, но чем ближе слышался топот коней стрельцов, тем тревожнее замирало его сердце. Несколько раз ему казалось — что топот приближающихся лошадей раздается все чаще, он приписывал это своему возбужденному состоянию.

Наконец, первые ряды стрельцов поравнялись с ними; это были, действительно, здоровые русобородые стрельцы, смотревшие на Мазепу вполне равнодушно. Пожелав всем добро здоровья, они спокойно проехали вперед.

У Мазепы слегка отлегло от сердца. За первым рядом проехал другой, потом третий. Мазепа совершенно успокоился, он даже начал подсмеиваться в душе над своей безосновательной тревогой, когда из середины отряда отделился один из стрельцов, по-видимому, начальник и подскакал к нему.

Мазепа придержал коня; всадники остановились; за ними остановились и их отряды.

— А скажи-ка нам, господин добрый, эта, что ль, дорога на Гадяч ведет? — обратился к Мазепе стрелец.

— Эта, эта, — отвечал Мазепа.

— Далеко ли еще будет?

— Да верст двести.

— А какое тут ближнее селение, чтобы отдохнуть нам?

Не желая показать своего незнания, Мазепа подумал, какое бы назвать селение наугад, но в это время за его спиной раздался какой-то странный шум и спор. Он быстро оглянулся и с ужасом увидел, что отряд его окружают со всех сторон стрельцы.

Передние ряды их, обогнувшие Мазепиных казаков, теперь повернулись к ним фронтом, вытянулись полукруглой линией и смотрели далеко не так дружелюбно. Задние тоже столпились вокруг его маленького отряда плотной стеной. Количество стрельцов превосходило их не меньше, как в пять-шесть раз.

Сердце Мазепы сжалось от недоброго предчувствия. "Шесть на одного... Мы в центре"... — пронеслось у него молнией в голове.

— Сотник, прикажи твоим людям пропустить мой отряд, произнес он насколько возможно спокойным голосом, подавая Лободе незаметный знак.

Но лицо сотника уже преобразилось: из здорового и добродушного оно сделалось злобным и наглым.

— Ха-ха! — отвечал он с грубым смехом. — А зачем расступаться? Мы хотим проводить тебя с честью в Москву. В одно мгновение все стало ясно Мазепе.

— Засада! "До зброи!" — вскрикнул он, вырывая из-под кафтана саблю и нанося ею сотнику оглушительный удар по голове. Сотник зашатался в седле. Но крик Мазепы был сигналом не только для его казаков. Казалось, стрельцы только и ожидали этого возгласа, так как в ответ на него грянуло дружно:

— Руби хохлов! — и стрельцы ринулись со всех сторон на стесненный в середине казацкий отряд.

Завязалась короткая, но отчаянная схватка. Мазепа рубился с каким-то остервенением, стараясь прорваться сквозь ряды стиснувших их со всех сторон стрельцов. Если бы ему

удалось это, он мог бы еще надеяться на спасение, но стрельцы окружали их такой плотной стеной и настолько превосходили своей численностью, что прорваться сквозь их ряды не было никакой возможности. Стесненные со всех сторон, казаки давили друг друга, наносили невольно один другому удары, а стрельцы теснили их все больше и больше.

Бой продолжался не более нескольких минут. Вскоре из всего отряда остались только Мазепа и Лобода. Несмотря на отчаянное сопротивление Мазепы, четыре дюжих стрельца навалились на него из-за спины и, уцепившись сзади за его руки, обезоружили. Мазепа рванулся изо всех сил, но на руках и на ногах его повисли такие десятипудовые гири, что он не смог даже пошевелиться.

— Кто смеет чинить такой "гвалт" и насилие? — заговорил он задыхающимся от бешенства голосом, — вы должны объяснить мне, чьим именем чинится этот разбой. Я хочу видеть вашего начальника.

— А вот сейчас увидишь, изменник! — отвечал ему с наглым смехом стрелец. — Вот только руки тебе свяжем. Ребята, вяжи их! — крикнул он, обращаясь к своим помощникам.

Мазепе скрутили веревками руки; та же участь постигла и Лободу, и всех еще недобитых казаков.

В это время к ним подскакал какой-то всадник в таком же стрелецком наряде.

— А вот он и начальник наш! — крикнул Мазепе стрелец. — Теперь жалуйся, спрашивай!

Мазепа оглянулся и увидел выглядывавшее из-под шишака сияющее злобным торжеством лицо Тамары.

Все помутилось у него в голове, в горле что-то глухо заклокотало.

— Предатель! — вскрикнул он диким хриплым голосом, рванувшись изо всех сил к Тамаре, но две пары железных рук удержали его на месте.

— Ха, ха, ха! — отвечал ему Тамара с наглым, злорадным смехом. — Теперь уже в Москве рассмотрят, кто из нас предатель, а кто верный слуга! Заткнуть рот изменнику и этому старому псу, — скомандовал он, указывая на Лободу, — а остальных прикончить, чтобы ни один не оставался в живых!

Мазепу повалили на землю. Два дюжих стрельца сели ему на грудь, третий разжал с силою его зубы и заткнул ему в рот туго свороченную тряпку, а сверху обвязал рот платком, оставивши только нос свободным для дыхания.

Мазепа почувствовал, что он задыхается. Глаза его закатились, из груди вырвался тяжелый замирающий хрип.

— Отойдет, собака! — произнес со злорадной улыбкой Тамара, следивший за всей этой операцией с каким-то хищным наслаждением. — Бросьте их в ту телегу и старика туда же, да хорошенько накройте кожами, чтобы ни звука, ни стона!..

Через несколько минут все было снова тихо на пустынной дороге. Отряд стрельцов с высоко нагруженным кожами фургоном мирно продолжал свой путь...

Только куча окровавленных тел, брошенных на дороге, красноречиво говорила проезжему о

короткой драме, происшедшей здесь.

Солнце уже давно катилось к закату. Освещенные его косыми лучами пожелтевшие деревья замкового сада горели золотом и темной бронзой; на западе разливался густой алый отблеск, словно чахоточный румянец больной женщины. Близился тихий осенний вечер.

На замковой стене, опершись руками об один из ее зубцов, стояла Саня. Глаза ее задумчиво глядели вдаль на раскинувшийся у подножья горы замковой нижний город Чигирин с его небольшими домиками, окна которых горели теперь золотом, на сновавшие по узким улочкам толпы казаков, на легкую мглу, подымавшуюся над городом, пронизанную алыми лучами, на широкую даль полей, раскинувшихся за Чигирином, зеленеющих бархатными озимыми всходами, подернутую тою же розовой мглой.

Сане было грустно, и взгляд ее глядел задумчиво и грустно. Гетманша говорила правду: с некоторых пор веселый смех девушки умолк, взгляд ее стал задумчив, а сама она сделалась молчаливой и печальной.

Давно она уже лишилась отца и матери, давно жила "прыймачкою" в доме своего родича гетмана Дорошенко, но прежде все эти обстоятельства не мешали ее здоровому, беспричинному, молодому веселью. Теперь же все, казалось, подчеркивало ей ее сиротливое одиночество. И в самом деле, разве она не одна? У всякой девчины, самой простой, самой бедной, есть и мать, и отец, есть своя родня, своя хата, свой куток. А она что? "Прыймачка" в чужой "господи". Конечно, дядько ее любит, жалеет... да сам-то дядько... ох! Теперь ему не до нее. Девушка глубоко вздохнула и задумалась... Некого ей любить, не за кем "запопадливо упадать"... Отдадут ее замуж. А за кого? За кого сами захотят, ее не спросят. Да и зачем? Прыймачка должна благодарить за всякую ласку. Взгляд девушки скользнул по замковой стене и остановился на скрученном, засохшем листочке, который тихо катился вперед, подгоняемый ветерком. Губы ее сложились в печальную улыбку. Слово вон тот листочек сухой, оторванный от "гилки", летит, куда его ветер гонит, — подумала она, проводя невольно параллель между собою и сухим листком.

Сане стало совсем грустно.

Может быть, были еще какие-нибудь причины, усиливавшие ее тоску, но если они и были, то самолюбивая девушка прятала их так глубоко в душе, что и сама вряд ли знала о них.

Солнце склонялось все ниже, и чем ниже склонялось солнце, чем больше близился вечер, тем жальче становилось Сане самой себя. Не замечая сама того, что делает, она начала напевать потихоньку печальную песенку, в которой говорилось о грустной доле одинокой сиротливой девушки. Ее звонкий молодой голос мягко выводил все грустные переливы песни.

Пение увлекло певицу: глаза ее стали влажны, голос зазвучал сильнее, как вдруг за спиной ее раздался чей-то веселый молодой голос:

— А отчего это панна такую сумную песню завела?

Саня вздрогнула, голос ее оборвался, она быстро оглянулась и увидела подходящего к ней Кочубея. Лицо девушки залила густая краска.

— Вечер добрый, ясная панно! — произнес Кочубей, сбрасывая шапку и подходя к девушке.

— Доброго здоровья, пане подписку, — ответила поспешно Саня, и от того ли, что она ответила слишком поспешно, или от каких-либо других причин, только лицо ее покрылось снова багровым румянцем. — Я вышла "одпочыть", — прибавила она, опуская в смущении глаза.

— Гм! — откашлянулся Кочубей. — А я это иду себе по двору, слышу голосочек чей-то, дай, думаю, посмотрю, какая это кукушечка так жалобно кукует, выхожу — смотрю, а то не кукушечка, а ясная панна. А только отчего это панна такую жалобную песню завела? Молодой панне надо соловейчиком, либо жайворонком разливаться.

"И у жайворонка, и у соловейка свое гнездышко есть, оттого им и весело поется, — подумала про себя Саня, — а я..." — она подавила вздох и ответила вслух Кочубею:

— Так, пане, пела, что на ум пришло.

— Гм... Что на ум пришло, а на ум пришло "сумне", значит, панна сумует, а если паненка сумует, значит какой-то ловкий "злодий" украл ее спокой. Но кто ж бы был тот злодий, может, полковник Самойлович? Его что-то давно не видно. Может, панна по нем тоскует?

Лицо Сани снова вспыхнуло, но теперь уже не смущением, а гневом.

— Ненавижу его! — вскрикнула она. — У, лисица! Солодким голосом "мовыть", а когти прячет! Так бы и перервала таких людей надвое!

Кочубей улыбнулся, гневный возглас девчины понравился ему; он бросил искоса взгляд на девушку, на ее характерное лицо, черные брови, пышные плечи и вся ее наружное полная молодости и здоровья, произвела на него приятие впечатление, и рука его невольно потянулась к усу.

— Как же бы это панна своими белыми рученьками перервала пана полковника надвое?

— Го-го! — отвечала с веселой улыбкой Саня, — мои руки даром что белые, а крепкие, я и копу сена нагребу — устану!

— А отчего это такая немилость на полковника? Ведь панне, сдается, полковник прежде по сердцу был?

— И пряник золоченый, когда смотреть на него сверху, так хорошим кажется, а как раскусишь его до середины, так и выйдет, что он горький, как полынь. Не терплю я таких "облеслывых" да "нешчырых"!

Левая бровь Кочубея слегка приподнялась, он подкрутил молодцевато свой черный ус и произнес с лукавою улыбкою:

— А каких же панна любит?

— Тихих, да добрых, да правдивых.

— Гм, — подмигнул он, — таких, чтобы оседлать легко было!

Саня в свою очередь усмехнулась; смущение ее уже совершенно исчезло, и к ней вернулась ее обычная веселость.

— А что ж, — отвечала она бойко, — лучше коню под седле ходить, чем тяжелый воз за собой тащить.

— А если бы конь выдался строптивый и сбросил панну?

— Не сбросил бы!.. Укротила бы!

— Шпорами? О, род Евин на то придатен зело.

— Зачем же шпорами, — улыбнулась задорно девушка, — можно и шпорами, можно и ласковым словом. Доброго хозяина, говорят, скотина слушает.

— Так панна будет своего "малжонка" за скотину мать?

— А что ж такое и скотина? Скотина в хозяйстве первая вещь: добрый хозяин сам не доест, не допьет, а скотинку нагодует.

Бойкий разговор девушки нравился все больше и больше Кочубею, ему сделалось вдруг как-то чрезвычайно приятно говорить и шутить с этой приветливой и веселой девушкой; он давно замечал ее в замке, но не подозревал до сих пор, что у нее такой простой и веселый нрав. Но только что он хотел задать ей еще какой-то шутливый вопрос, когда снизу донесся громкий крик одной из служанок:

— Панно! Панно! Пожалуйте скорей сюды!

Саня встрепенулась.

— Прощай, пане подписку! — обратилась она к Кочубею.

— Куда ж так спешит, ясная панна? — произнес он с сожалением.

— А вот зовут, верно, к пани гетмановой, надо спешить. Прощай, казаче!

— Прощай, ясная панно! Только на Бога, не запрягай же хоть в плуг своего "малжонка"! — крикнул уже вдогонку девушке Кочубей.

Саня остановилась.

— Как будет послушный, так будет сидеть на печи и жевать калачи, а нет, так пойдет и на греблю! — отвечала она с веселой улыбкой и быстро спустилась со стены. Кочубей последовал не спеша за нею.

— А что, ведь такая могла бы и запрячь, ей-Богу, — подумал он про себя, вспоминая слова Сани и медленно шагая со ступеньки на ступеньку, — этакая ни мыши, ни жабы не побоится, да и ручка у нее, даром, что маленькая, а и вправду крепкая!

Ему вспомнился весь образ девушки, пышущей молодостью, здоровьем и силой, и ему почему-то сделалось снова чрезвычайно весело и приятно.

— А что, черт побери, ведь приятно бы было иметь подле себя такого воина в "кораблыку". Да ей, верно, и хорошо было б в нем, в пунсовом, оксамитном? А? Брови-то у нее как нарисованные, очи бархатные, щечки румяные, сама крепкая, сбитая... о, такая "погонит, непременно погонит, — решил он, но эта мысль не доставила ему никакой неприятности, а наоборот вызвала даже довольную улыбку. Кочубей заложил молодцевато шапку, подкрутил свои черные усы, подморгнул глазом и вдруг запел вполголоса: "Гуляв казак, гуляв молод, та й не схаменувся, як уразыла серденько гарная Маруся!"...

— Что это я, вздумал никак песни петь? — изумился он сам, останавливаясь на полукуплете, но задорный мотив песенки привел его в самое отличное расположение духа.

— Гм, — повел он бровью, — о ком говорила она, что любит тихих да правдивых? Мазепа тоже говорил, что останавливает, мол, на ком-то глаза. На ком бы то? — прищурился он лукаво, и какие-то легкие и приятные мысли забродили в его голове...

Между тем, незаметно для себя, он спустился на замковый двор. После широкого простора, открывавшегося с замковой стены, ему показалось здесь как-то темно и тесно, он прошел раза два бесцельно по двору и ему сделалось скучно...

— Хоть бы вышла, что ли, опять? — подумал он, поглядывая на окна гетманши, и вдруг с досадою оборвал себя. — И что это за чертовщина в голову лезет? Сказано — спокуса!

Он сплюнул сердито на сторону, нахлобучил на глаза шапку и решительно направился к своему холостяцкому помещению.

XLVII

Гетманша гуляла по саду, простирившемуся за замком. Она срывала рассеянно то ту, то другую травку или еще уцелевший цветок и так же рассеянно бросала их в сторону. Деревья все стояли кругом золотистые и багровые, но красота их не обращала на себя внимания гетманши, на лице ее лежала мечтательное выражение, мысли ее были далеко.

Вот уже вторая неделя, как Самойлович уехал из Чигирина, а без него такая тоска здесь. Как ленок, как весел, как хорош, а как говорит... Ох! — гетманша подавила сладкий вздох. Ей вспомнился последний разговор с Самойловичем, когда он сказал ей, что любит ее одну, одну на целом свете, и когда, нагнувшись к ее лицу, коснулся своими горячими устами ее щеки. Ох, одно прикосновение его шелковистых усов ожгло ее, как огнем! И при одном воспоминанье об этом поцелуе лицо гетманши вспыхнуло, из глубины ее груди поднялась какая-то сладкая волна и, поднявшись до самого горла рассыпалась мелкой зыбью по плечам, по рукам, по всему ее телу; она почувствовала вдруг какую-то непреодолимую, нежную слабость и опустилась в изнеможении на близ стоящую лавку. Да, то же самое чувство охватило ее и тогда когда он шепнул ей, склонившись над нею, голосом, задыхающимся от волнения, эти слова. О, Петр никогда не говорил так с нею! Слова его холодны, как лед, а от слов Самойловича лицо загорается, как от лучей летнего солнца! И могла она противиться ему? И кто бы оттолкнул его, послушавши его волшебные речи? По лицу гетманши мелькнула мечтательная улыбка, казалось, она снова переживала все те сладкие недомолвки, вздохи и пылки речи, которыми опьянил ее маленькую головку Самойлович. Но вот из груди ее снова вырвался вздох, на этот раз не сладкий, а досадливый; действительность вернула ее к себе. Гетманша снова начала сравнивать между собою гетмана и Самойловича, — занятие которому она предавалась особенно часто в последнее время и которое оканчивалось всегда весьма неблагоприятно для гетмана, но этот раз она была как-то особенно раздражена против него.

И зачем только вышла она за него замуж? — Для чтобы вести такую скучную монастырскую жизнь. Никакого веселья, вот только и утеха, когда приедет он, Самойлович! Словно оживет весь этот замок, а то только и слышишь кругом: тревога... война... орда... ляхи. Ох, здесь можно задохнуться, как в подземном склепе! И чтоб она лишила себя этой единственной отрады, чтоб она увяла здесь без всякой радости, как вон та бедная квиточка? Нет, нет! Пусть пеняет на себя тот, кто не умеет сберечь свой "скарб". Разве гетман думает о ней, разве старается скрасить ее жизнь? Он только и занят своими полками, так почему же она должна думать о нем, почему должна отталкивать того, кто любит ее не так, как он, а так, что всю

жизнь свою готов сложить для нее...

Гетманша закрыла глаза и предалась сладким мечтам.

И кто бы мог думать, что из того веселого маленького бурсака выйдет такой разумный да славный полковник? Да любит ли он ее так, как говорит? Может, "жартуе"? Гетманша кокетливо улыбнулась, открыла глаза и снова повторила тот же вопрос: любит или жартует? Кажется, не похоже на то, чтобы жартовал! — улыбнулась она уверенной улыбкой. — Обещал приехать скоро снова... что ж не едет? Хотя бы знать отчего, почему? Вот уж вторая неделя на исходе, а ей без него все так немило, все так скучно здесь!

Гетманша задумалась.

В это время слышались шаги, на дорожке показалась Саня и, подойдя к гетманше, сообщила, что прибыл Горголя, привез какие-то драгоценные сережки и просит узнать, не пожелает ли ее мосць купить их.

Гетманша оживилась.

— Купить не куплю, а посмотреть можно; веди его в мою светлицу.

Гетманша прошла вперед, а Саня последовала за нею.

— Что ж это ты совсем без товаров? — изумилась гетманша, когда Горголя вошел в ее светлицу только с маленьким ящичком в руках.

— Ясновельможная пани гетманова, — отвечал Горголя, подходя к ней с низкими поклонами, — товары мои в нижнем городе остались, прикажешь — принесу и сейчас, а то спешил к тебе с этими сережками. Купил их на правом берегу у полковника одного, Самойловича, ему как-то случайно достались, так он мне их и продал, а я вот и поспешил привезти их твоей ясной мосци, захочешь — возьмешь, а нет так я их и назад отвезу, потому что кроме твоей мосци никто их не сможет купить.

При первом упоминании Горголею имени Самойловича гетманша вздрогнула и насторожилась, что-то странное слышалось ей в словах торговца.

— Ну, дай сережки! — произнесла она, поспешно протягивая Руку.

Горголя подал ящичек и почтительно отступил назад. Гетманша открыла крышку, на дне ящичка лежала пара великолепных изумрудных серег, а под ними из-под шелка, покрывавшего ящичек, белело что-то, словно сложенная бумажка.

Как ни старалась гетманша сдержать свое волнение, но щеки ее ярко вспыхнули. Не решаясь взять в руки серьги, не решаясь вытянуть бумажку, она сидела в нерешительности над открытым ящичком.

По лицу хитрого торговца мелькнула лукавая улыбка.

— Может, ясновельможная пани дозволит мне сходить пока за моими товарами? — произнес он вкрадчиво.

— Да, иди, иди! — отвечала она поспешно, обрадовавшие возможности удалить его, — только приходи завтра рано, сейчас уже поздно, скоро вечер.

Горголя поклонился, пожелал гетманше всякого благополучия и поспешил выйти.

Лишь только дверь за ним затворилась, как гетманша дрожащими от волнения пальцами вытащила белевшую из-под обшивки бумажку и развернула ее. Это было действительно письмо, на нем не было написано, кому оно предназначается, не было подписано и кто писал его, но она догадалась сразу по одному лишь неудержимому биению своего сердца, от кого идут и кому предназначаются эти слова.

"Квите мий рожаний, сонечко мое ясне!" — начинало так письмо. Оно было переполнено самыми нежными словами, самыми страстными излияниями любви. Автор его сетовал на злую долю, которая не дает ему любоваться своим "сонечком", спрашивал, может ли он иметь надежду на взаимность, говорил, что если нет для него надежды, то он отправится куда-нибудь на край света размыкать свою тоску. Письмо заканчивалось таким нежным выражением: "Счаслывишый мий лыст, що в твоих рученьках билых буде, ниж мое сердце, що николы твою мосць не забуде".

В конце письма стояла приписка: "Посланому моему верь, ако и мне самому, или одпиши или одмовь через него".

Когда гетманша читала письмо, кровь до того стучала у нее в ушах, что она с трудом могла разобрать содержание его. Сердце ее билось так сильно, что дыхание захватило в груди, щеки пылали так горячо, что она должна была приложить к ним руки, чтоб охладить их жгучий жар. Она подождала несколько минут и снова принялась за чтение письма; и опять же горячая волна окатила ее с ног до головы.

Увлеченная чтением этого страстного послания, она забылась до такой степени, что даже не слышала, как у дверей ее светлицы раздались чьи-то шаги. Очнувшись она только тогда, когда кто-то уже тронул рукою за двери, и едва успела суну торопливо за спенсер смятое письмецо, как в комнату вошел гетман.

Гетманша вспыхнула вся до корней волос и быстро отдернула руку от корсажа.

"Узнал? Увидел? Может, Горголя передал ему", — пронеслось у нее быстро в голове, и она замерла от ужаса на месте. Но гетман не заметил ее смущения, к счастью гетманши сумерки уже наполнили комнату.

— Что ты делаешь здесь одна в потемках, Фрося? Скучаешь голубка моя? — спросил он нежным тихим голосом, подходя к гетманше.

Она молчала; она не могла еще прийти в себя от ужаса, охватившего ее при виде гетмана.

— Знаю, знаю, скучаешь, голубка, — продолжал он, подойдя к ней и садясь рядом. Он обнял ее шею рукой и притянул к себе на плечо ее белокурую головку. — Отчего же ты молчишь все, Фрося? Не рада мне? А может больна, сохрани Бог, или сердисься на меня? Гетман пристально взглянул ей в лицо. Гетманша потупилась.

— Как не рада? Рада. Только я теперь так мало вижу тебя... вот мне и скучно стало, — отвечала она детски жалобным голосом, — ты все с казаками, со старшинами, а я все одна, да одна...

— Правда, Фрося... да нельзя иначе... — Дорошенко сделал досадливый жест и прибавил: — Хоть бы Самойлович приехал, что ли, он так умеет забавить тебя.

Гетманша вздрогнула и порывисто отстранилась от гетмана. "Что это, смеется он, или хочет испытать ее?" — пронеслось у нее в голове.

— Почему это ты говоришь о Самойловиче? Кто сказал тебе, что он умеет забавить меня? — произнесла она с оттенком обиды в голосе, устремляя на гетмана пытливый взгляд.

— Ха-ха! А ты уже и рассердилась, голубка, — ответил простодушно гетман. — Да просто потому, что молодой он, веселый, "балакучый", умеет рассказать разные "новыны", умеет посмешить, умеет и запеть, и струнами позвенеть.

У гетманши отлегло от сердца: лицо гетмана было так ясно и открыто, как лицо ребенка.

Гетманша успокоилась.

— Ветрогон и только, — отвечала она, поджавши презрительно губки и, обнявши шею гетмана руками, прибавила нежно: — Никого мне, Петре, кроме тебя, не надо, никого, никого!

Слова гетманши тронули гетмана, этот бесстрашный казак, смотревший холодно самой смерти в глаза, теперь пришел в необычайное волнение от одного ласкового слова этой маленькой женщины.

— Верю, верю, голубка моя! — произнес он с глубоким волнением, горячо прижимая ее к себе, — но подожди, потерпи, квите мой, еще немного и тогда, когда все успокоится, тогда мы заживем снова с тобою тихо и любо, как и прежде жили. Он горячо поцеловал гетманшу.

— А "доки сонце зийде, роса очи выисть!" — отвечала гетманша с легким вздохом, отстраняясь тихонько от гетмана и поправляя сбившийся слегка на сторону от его горячего поцелуя кораблик.

— Что делать, Фрося! — вздохнул глубоко гетман и, вставши, зашагал в волнении по светлице. — Теперь буря, дытыно моя, а в бурю все оставляют свои "хатни sprawy" и бросаются к веслам, к парусам, а наипаче "стернычый", который стоит у руля: ему вверили гребцы и свою жизнь, и свой корабль, он должен провести его между диких "хвыль" и подводны скал в тихую пристань. Теперь нам дует попутный ветер... С если Мазепе удастся устроить то дело, которое мы с ним задумали, тогда, — он отбросил с высокого лба волосы и произнес с воодушевлением, — дух захватывает, когда подумаешь о том, что может тогда быть! Даже трудно представить!.. Ох! — он вздохнул всей грудью, как бы желая облегчить волнение, давившее его, и продолжал горячо: — Ты доля знать все, Фрося! Я обещал Бруховецкому отдать свою гетманскую булаву, лишь бы он согласился соединиться с нами и слить воедино расшарпанную отчизну.

На хорошеньком личике гетманши отразилось при этих словах Дорошенко крайнее изумление.

— Как? — переспросила она. — Ты это не "жартуєш"?

— Говорю правду, как перед Богом.

— И если он на то пойдет, ты ему и вправду отдашь свою булаву?

— Язык мой не знает лжи, Фрося.

По лицу гетманши мелькнула чуть заметная, не то насмешливая, не то презрительная улыбка.

— Какой же тебе выйдет со всего того "пожыток"[31] ? Так добивался булавы, столько крови пролил за нее, а тепе опять отдаешь ее назад, как прискучившую "цяцьку". Слова гетманши, видимо, оскорбили Дорошенко.

— Не говори так, Фрося, — заговорил он горячо, — да, добивался булавы, я пролил за нее братскую кровь, но не для того, чтобы едино захватить в свои руки "зверхність" и "владу", а для того, чтобы иметь возможность направить отчизну к покою и славе!

Он начал объяснять ей с увлечением весь свой будущий план. Да, он уступит свою булаву Бруховецкому, потому что иначе тот не согласится соединиться с ним. Конечно, Бруховецкий жаден, труслив, низок, не такого гетмана надо было б Украине, но всегда больше мира и ладу в той хате, где один хозяин, чем в той, где два, хоть и самых лучших. Да и Бруховецкий будет беречься теперь.

Гетман говорил с горячим, искренним увлечением; гетманша слушала его молча, только по лицу ее бродила легкая презрительная усмешка, не заметная гетману. Слова гетмана ничуть не трогали ее.

— Что только говорит, послушать, словно малое дитя или хлопец безусый, — думала она про себя, следя взглядом за темной фигурой гетмана. — Отдаст булаву! Вот так гетман! Ха, ха! Другой бы подумал, как бы в Бруховецкого ее вырвать, а он!.. Вот уже и седой волос в бороде пробивается, а он все еще разумом за хмарами летает, а перед глазами ничего не видит!

В душе гетманши шевельнулось какое-то презренье к гетману, она взглянула на его высокую, костистую фигуру, на смуглое, худое лицо, на его темную простую одежду, и перед ее глазами вырос, как живой, Самойлович, пышный, блестящий, красивый, со своими шелковистыми усами, с пламенным, страстным голосом, шепчущим ей на ухо жгучие слова. "Вот кому бы быть гетманом, — подумала она невольно. — О, тот умел бы захватить все в свою крепкую руку, сумел бы и у Бруховецкого вырвать булаву. Король, король!.. А этот, — гетманша бросила пренебрежительный взгляд на мужественную фигуру гетмана, на его воодушевленное лицо, и оно показалось ей сухим, жестким и некрасивым, — монах какой-то! Ворон!" — подумала она про себя и сжала презрительно губки.

А гетман все говорил... но гетманша не слушала его, голос его как-то сладко убаюкивал ее, мысль ее перенеслась к Самойловичу, к его страстной любви, к его нежному письму. "О, если б на месте этого скучного гетмана был он, дорогой, любимый... да, любимый..." — шептала она про себя, прижимая к груди маленькое письмецо. Наступившие в комнатах сумерки как-то невольно навевали на нее нежные мечты, а мечты ее уносились далеко, далеко.

Гетман между тем продолжал говорить с возрастающим одушевлением, не замечая того, что гетманша вовсе не слушала его.

— А если это не удастся мне, — окончил он, — тогда я двинусь со всеми войсками на правый берег, я сложу свою голову, я сгину в неволе, а соединю отчизну и освобожу ее от ляхов навсегда!

Он замолчал; слышно было только по глубокому и частому дыханию, как сильно волновала его эта мысль.

Фрося словно очнулась от какого-то сладкого забытья: восклицание гетмана пробудило ее и вернуло к действительности, но возвращение это не доставило ей удовольствия. "Правду говорит Самойлович, что он ничуть не ценит меня", — подумала она, услышавши последние слова гетмана, и в душе ее пробудилось к нему уже явно неприязненное чувство.

— Послушать тебя, пане гетмане, так и увидишь, как ты любишь и жалеешь меня, — заговорила она, и ее всегда детский голосок зазвучал достаточно неприязненно, — когда так мало думаешь обо мне. Какая же будет тогда моя жизнь? Хочешь ты, чтобы меня убили, или ограбили так, как вдову Тимоши Хмельницкого, или продали в крымскую неволю?

— Дорогая моя! — произнес с глубоким волнением Дорошенко и, подойдя к ней, сел с нею рядом и обвил своей могучей рукой ее тонкий и нежный стан. — Не думай того, что я не люблю тебя! Я не умею широкими словами про свое "коханя мовыты", но Бог видит, что у меня есть только два дорогие на всем свете существа — matka отчизна и ты, дытыно моя. Она — моя кровавая рана в сердце, ты — моя радость, мой солнечный "проминь", своим словом ты "вразыла" мое сердце, но знай: тебя я люблю больше своей жизни, но для блага отчизны пожертвую всем: жизнью, душой — даже тобой! Скажи сама, был ли бы я гетманом, был ли бы я казаком, если бы не отдал ей все? Вспомни сама, наши матери и сестры сами полагали свою жизнь за отчизну, неужели бы же ты захотела чтобы я, гетман Украины, был ниже их?

Гетманша молчала; в сущности ей было решительно все равно, что сделает гетман; в душе ее только закипала глухая, но упорная неприязнь к этому человеку; каждое его слово подтверждало справедливость заключения Самойловича, что он не ценит ее, но эта мысль не огорчала гетманшу, а только усиливала ее холодную неприязнь.

Но гетман принял это молчание за безмолвное согласие.

XLVIII

Дорошенко горячо прижал к себе жену и словно замер этом порыве. Так прошло несколько минут.

— Ох, Фрося, Фрося, если б ты знала, сколько бессонны ночей провел я, думая о доле отчизны! — вырвался у гетмана вдруг неожиданный возглас.

Он заговорил с той страстной горячностью, с которой говорят замкнутые в себе люди, когда чувства и мысли, хранящиеся в глубине их сердца, наконец, переполнят его и выступят из берегов. Слова его лились неудержимым потоком. Он говорил ей о всех тех муках, которые пережил, глядя на страдания отчизны, он говорил о том, как он поклялся вывести ее из поруганья и униженья, он рисовал перед гетманшей светлыми, полными веры и надежды словами будущее отчизны, но сидевшая подле него женщина, которую он так горячо прижимал к себе, оставалась холодна и враждебна. Наконец и гетман почувствовал эту холодность, но он приписал ее тому, что гетманша все еще сомневается в его любви к ней.

О, нет!.. Она, его дорогая Фрося, не должна думать, что, любя отчизну, он мало любит ее. Как солнце и месяц, так освещают они обе и день, и ночь его жизни! Он только и счастлив ею. О, если б он не был уверен в том, что она любит его, если б он не мог прижать к себе ее дорогую доверчивую головку, было ли бы в нем тогда столько сил для этой борьбы?

Дорошенко вздохнул и произнес задумчиво:

— Кто знает, если бы гетман Богдан не был так несчастлив, быть может, он не проиграл бы Берестецкой битвы, и родина не служила бы теперь в наймах у ляхов.

При этих словах гетманша встрепенулась и насторожилась.

— Ты говоришь, несчастлив? Что же случилось с ним? — спросила она, подымая головку.

— Он узнал перед Берестецкой битвой о том, что Тимош повесил его жену.

— Повесил?.. Ох, Боже!.. За что?

— За "зраду". Она изменила гетману. Да вот здесь, на этих самых воротах, и повесил, их видно в окно.

Гетманша взглянула по указанному гетманом направлению и с отвращением отвела свои глаза от видневшихся из окон ворот. Невольная дрожь пробежала по всем ее членам.

— Бр... — прошептала она. — Повесил, зверюка!

— Чего ж ты "зажурылась", моя зирочка? — повернул ее к себе ласково гетман. — Жалеешь ее? Не жалей! Таких гадюк жалеть не надо: им мало мук и в пекле, и на земле! — Глаза гетмана гневно сверкнули. — Да если бы она могла только воскреснуть, я бы сам повесил ее снова здесь, на позорище всем — вскрикнул он.

При этом возгласе гетманша сильно вздрогнула и побледнела.

— Петре... на Бога! Что с тобою? Ты пугаешь меня? — схватила она его за руку.

— Испугал! — гетман улыбнулся и провел по лбу рукой. — Ох ты, дытыно моя неразумная, чего ж тебе пугаться? Ну, посмотри же на меня, усмехнись! — повернул он к себе ласково ее личико. — Ведь я знаю твое серденько любое, ведь я знаю, что ты никогда не изменишь мне. Ты моя дорогая, ты моя верная, — заговорил он нежным шепотом, тихо привлекая ее к себе...

На другой день Саня проснулась рано утром и сразу же ей сделалось почему-то чрезвычайно весело. Она быстро вскочила с постели, выглянула в окно, увидела, что небо безоблачное, воздух чист, солнце ясно, улыбнулась скакавшим под окном воробьям и принялась торопливо одеваться. В это утро она отдала больше времени своему туалету, и время было потрачено не даром, так что даже гетманша спросила ее:

— Отчего это ты сегодня такая гарная, Саня, словно засватанная?

От этого вопроса Саня вспыхнула вся, как пунцовый мак, и прилежно наклонилась к работе.

В этот день все как-то особенно спорилось и удавалось ей; веселые песенки так и навертывались на язык, а день все-таки тянулся долго!

Наконец, когда солнце начало снова клониться к западу, гетманша приказала ей позвать Горголю, который уже с утра дожидался, а самой пойти присмотреть за работницами в саду. Саня с большой охотой бросилась выполнять поручение. Перед выходом она не забыла заглянуть в зеркало, отряхнуть на себе новый жупан и оправить наместо. В глубине ее души таилась надежда увидеться с Кочубеем.

Сбежавши со ступеней крыльца, она затянула громкую веселую песню и, отославши Горголю к гетманше, направилась в сад. Голос Сани звучал как-то особенно громко и задорно; злые люди, конечно, могли бы подумать, что это делалось не без умысла, но, по всей вероятности, помогали этому тихий, прозрачный воздух и ясный вечер. Зайдя одним работницам, к другим, Саня повернула на одну из дорожек и вдруг увидела невдалеке от себя Кочубея, стоящего под высоким деревом. Хотя она и ожидала, и желала увидеть его, но эта встреча все-таки и

удивила, и страшно обрадовала ее.

— Добрый вечер, пане подписку, — приветствовала она его веселой улыбкой.

— Доброго здоровья, панно! — поклонился ей Кочубей.

— А что пан подписок делает здесь? — произнесла она лукаво.

Кочубей смутился.

— Гм... — замялся он, — груш хотел потрусить.

Саня бросила быстрый взгляд на дерево и вдруг разразилась звонким, заразительным хохотом.

— Что такое случилось? Что так смешит панну? — произнес он, краснея и растерянно поводя во все стороны глазами.

— Груши! — воскликнула, задыхаясь от хохота, девушка. Груши! ха... ха... ха... На осокоре груши!

Кочубей оглянулся, действительно он стоял под высоким осокорем. Он окончательно смутился, а смех Сани раздавался все громче и громче.

— Гм... — произнес он, наконец, запинаясь за каждым словом, — что за чертовщина, а я думал...

— Ха-ха-ха! — перебила его со звонким смехом девушка. — Хороший хозяин будет из пана подписка: не умеет разобрать, где осокорь, а где груша. Вот груша!

С этими словами она подбежала к ближнему дереву и, охвативши одну из его веток своими крепкими руками, сильно потрясла ее. Послышался частый шум падающих груш; Саня быстро набрала их полный передник и, подойдя к Кочубею, произнесла с веселой улыбкой, подавая ему одну из лучших:

— Кушай, пане, на здоровье.

Кочубею ничего не оставалось, как взять ее из рук девушки, при этом он заметил, что руки у нее белые и пухлые, и на румяной щеке хорошенькая черная родинка.

А Саня продолжала между тем с лукавой улыбкой:

— Подставь же, пане, полу, возьми и остальные, чтоб не скучно было одному.

— Разве панна собирается покинуть меня?

— Мне надо идти по хозяйству.

— Куда ж так скоро?

— Как скоро, вон уже и солнце скоро спрячется. Надо готовиться к вечеру. Прощай, пане!

— Прощай, ясная панна! — поклонился Кочубей.

Саня сделал уже несколько шагов, когда за ней раздался голос Кочубея.

— Постой, панна, — окликнул он ее.

— А что? — Саня остановилась и повернулась к нему в поворот.

— Выйдешь завтра на замковую стену?

— Будет время, так может и выйду, — ответила девушка и поспешно скрылась в зелени деревьев. С минуты Кочубей стоял молча на месте.

— А ведь из нее вышла бы хозяйка хоть куда, — подумал он, глядя вслед девушке. — Черт побери, ведь приятно было бы съесть свежую палянычку, спеченную такими белыми и пухлыми руками? — задал он себе вопрос. Ответ был удовлетворительный, так как по лицу Кочубея разлилась довольная улыбка, но тут же его взгляд упал на наполненную грушами полу жупана. — Да что это я, справди, в дурни "пошывся", что ли? — вскрикнул он сердито и, вытряхнув из полы груши, решительно пошел из сада.

Но, несмотря на недовольство Кочубея, судьба как на зло устраивала так, что каждый вечер он встречался неизменно с бойкой выхованкой гетмана.

Между тем прошла еще неделя, а от Мазепы все еще не было никаких известий, прошла другая, но и за это время никто не узнал о нем решительно ничего.

Гетман начинал уже тревожиться — каждый день поджидал он от него гонца; но день проходил за днем, а ни гонца, ни самого Мазепы, ни даже какого-нибудь известия о нем не было до сих пор.

Между тем, близился уже срок прибытия орды, а вместе с ним близился и конец мирной жизни в Чигирине.

Однажды, попрощавшись уже с Кочубеем, Саня отошла на несколько шагов, затем остановилась и произнесла несмело, оборачиваясь к нему в пол-оборота:

— Пане подписку?

— Что, ясная панно?

— А война будет?

— Будет.

— Скоро?

— А вот как только прибудет орда.

— И все пойдут на войну?

— Все.

— И ты, пане?

— И я... А что? Саня покраснела и опустила голову.

— Ничего... так, — ответила она смущенно и торопливо прибавила, — прощай, пане, мне пора.

На этот раз, после ухода девушки Кочубей не рассердился на себя, а только крикнул многозначительно, молодежато подкрутил свой ус и, сдвинувши на затылок шапку, задумчиво пошел из гетманского сада.

Так прошла еще неделя, и наконец Дорошенко должен был убедиться в том, что Мазепа погиб. Кроме тревоги за участь, своего ротмистра, эта неизвестность могла иметь еще и ужасные, роковые последствия. Со дня на день должна была прибыть орда, войска гетмана были уже совсем готовы к выступлению, с прибытием орды он должен будет броситься немедленно на правый берег, — а если ответ от Бруховецкого был удовлетворителен, если он подавал хоть какую-нибудь надежду, если Мазепа, погиб где-нибудь по дороге, — какую ужасную ошибку сделает он, бросившись с войсками на правый берег! Он сорвет все дело, обещавшее такие богатые плоды, он прольет братскую кровь, и кто знает, доведут ли эти потоки родной крови до желаемого конца? А между тем, когда прибудет орда, уже нельзя будет ждать ни одного мгновенья.

Богун, который был также посвящен в затеянное Дорошенко и Мазепой дело, беспокоился не меньше гетмана о судьбе Мазепы и о последствиях, могущих возникнуть из этого неопределенного положения. Молодой шляхтич, спасенный от такой ужасной смерти Сычом, привлек к себе сразу симпатию его одинокого сердца; после же встречи с ним в Субботове симпатия эта укрепилась еще больше в сердце Богуна.

— Жаль, Петре, казака, жаль! — заговорил он, когда Дорошенко поверил ему свои опасения. — Голова разумная, сердце горячее, мог бы быть дорогим сыном няньке, а если он уже не едет и "звисткы" никакой не шлет, так значит случилось несчастье. Надо спасать его.

— Да как? Ведь если он не едет, так значит, Бруховецкий, схватил его, а если это так, то ведь ни десятком, ни сотней казаков его не добудешь, а "вкыдатыся" нам заранее со всем своим войском до прибытия орды тоже нельзя.

— Гм... оно так, — произнес Богун задумчиво, накручивая на палец свой длинный ус, — одначе могло ведь с ним и в дороге что-либо случиться... так вот что, — поднял он голову, — пусти ты меня, Петре, может я со своими орлятами разыщу, его.

— Когда бы было другое время, кто бы задумывался о том, Иване, а теперь разве не знаешь, что на весах лежит?

Дорошенко замолчал, молчал и Богун, понимая всю важность момента.

— А вот что, Иване, — произнес Дорошенко, — пойдём-ка, "порадымся" еще с владыкой.

Они застали митрополита Тукальского за рассматриванием какой-то рукописи.

Он выслушал внимательно Дорошенко и лицо его омрачилось.

— Так, — заговорил он, поглаживая свою седую бороду, — уже больше месяца прошло с тех пор, как ротмистр в отлучке, видимо, что его схватил со всеми людьми Бруховецкий... Могли бы случиться с ними, конечно, и какие другие "прыгоды", чего в пути не бывает, но тогда бы спасся хоть кто-нибудь из его казаков, да и сам Мазепа человек осторожный: на опасность не нарвется, а татар ему опасаться нечего. Да если бы Бруховецкий и отпустил его с миром, то не получая от нас до сих пор известий, он сам бы прислал к нам, да ведь и полковник Самойлович известил бы нас о случившемся. Значит, бесспорно, его схватил Бруховецкий, а поелику он схватил его, то видимо не верит нам и не хочет соединиться. А если оно так, то нам нельзя ни в каком случае "вкыдатыся" до прибытия орды с войсками на правый берег, дабы не разбудить

бдительности его "до часу".

И Дорошенко, и Богун молчали, не имея что возразить.

— Так что же, так и пропадать казаку, владыка? — спросил после продолжительной паузы Богун. Владыко вздохнул.

— Един за мнози... Будем надеяться на Божье милосердие. Милость Его спасает и во рву со львами, и в печи огненной оставляет в живых... Все замолчали.

XLIX

Между тем Марианна поджидала в своем замке Мазепу, Андрей ревниво следил за нею, но девушка была все время замкнута, молчалива и избегала с ним всякого разговора.

Так прошло четыре дня, минул пятый и шестой, а Мазепы все еще не было. На восьмой день беспокойство начало уже закрадываться в сердце девушки. Она принималась высчитывать по несколько раз, когда мог уже вернуться Мазепа. И хотя, конечно, его мог задержать для ответа и сам Бруховецкий и всякие другие непредвиденные обстоятельства, но сердце подсказывало ей, что это замедление не предвещает ничего хорошего.

Уж не схватил ли его Бруховецкий? Приходила ей не раз в голову страшная мысль, но убежденная словами Мазепы в беспорном успехе его поездки к Бруховецкому, она тут же отбрасывала ее. Так что же могло тогда с ним случиться? Какое-нибудь нападение ночной шайки, грабеж, убийство? О, разве мало теперь рыскает по большим дорогам этих "сваильных куп".

Как ни старалась Марианна сдерживать свое беспокойство и доказывать себе, что в таком предприятии нельзя никогда определить точно срок возвращения, но каждый раз ей вспоминались слова Мазепы, что он должен спешить, как только можно скорее к Дорошенко, — и тревога овладевала ею все больше и больше.

Минул и девятый день, наступил десятый, — Мазепы все не было. Уже и полковник повторял несколько раз, покачивая многозначительно головой:

— Гм.. что-то не видно нашего ротмистра.

Один только Андрей оставался все время в самом прекрасном расположении духа, и каждый раз на такое замечание полковника отвечал одной и той же успокоительной фразой:

— Да видно проехал прямо к Дорошенко, и то сказать, надо ведь было уже спешить.

Отсутствие Мазепы он объяснил себе той запиской, которую он передал ему, и это последнее обстоятельство примирило его с Мазепой; в душе он чувствовал даже некоторое угрызение совести за то, что мог заподозрить его в желании увлечь Марианну. Теперь же все будет хорошо, — думал он, — Мазепа, очевидно, уже скачет по дороге к Чигирину; Марианна скоро забудет его. Что ни говори, — а рыцарь он славный! Но даст Бог, и он, Андрей, отблагодарит его когда-нибудь за этот честный "кавалерский вчынок".

Наступил уже одиннадцатый день после отъезда Мазепы.

Марианна, полковник и Андрей сидели за вечерей. В комнате царило мрачное и угрюмое молчание. Говорили мало. Тревога охватила уже не только Марианну, но и старого полковника.

Только Андрей, возвратившийся из недолгой отлучки, был в особенно хорошем расположении духа.

От встретившихся знакомых гадячан ему удалось узнать, что в Гадяче за это время не случилось ничего особенного, и слуги гетманские никого не схватили. Это окончательно убедило его в том, что Мазепа проехал себе спокойно в Чигирин, и привело в такое отменное настроение.

Необычайное оживление Андрея обратило наконец на себя внимание Марианны; ей вспомнилось вдруг неприязненное холодное отношение Андрея к Мазепе, его ревнивая подозрительность, его необычно веселое настроение, непонятная отлучка, — и в голове ее зародилась подозрительная мысль.

Ужин окончился в суровом молчании; полковник пожелал всем доброй ночи и вышел. В светлице остались только Марианна и Андрей.

Иззябший, продрогший, он пересел к очагу и молча начал греть свои руки. Марианна так же молча следила за ним.

На дворе выл дикий, осенний ветер; в окна глядела черная, непроглядная ночь.

— Андрей, — произнесла Марианна, подходя к казаку. — Не знаешь ли ты, что случилось с Мазепой?

Андрей поднял голову.

— Я? — произнес он с изумлением. — Да если я знал, разве я не сказал тебе до сих пор об этом?

— Ты должен знать, — повторила Марианна настойчивым и холодным тоном, устремляя на Андрея пристальный взгляд.

Вся кровь ударила в лицо Андрея, ему показалось, что Марианна узнала о его смелом поступке, он хотел уже чистосердечно сознаться ей во всем, но тут взгляд его встретился со взглядом девушки; она смотрела на него холодно и выразительно и в этом стальном ледящем взгляде Андрей прочел вдруг ее недосказанную мысль.

— Марианна! — вскрикнул он, подымаясь с места. — Ты, ты.. могла это подумать... про меня? Да если бы я был лесным разбойником, а не честным казаком, и тогда бы я не отважился на такое дело!

Искренний, возмущенный возглас казака проник в сердце Марианны; ей сделалось стыдно, что она обидела его так незаслуженно.

— Прости меня, Андрей, — произнесла она мягким тоном, опуская свою руку на его руку, — я обидела тебя... тревога-сомненье... Прости за глупое, нерассудливое слово...

— Марианна! — произнес с глубоким волнением казак, сжимая ее руку в своей, голос его осекся. — Но отчего ты так тревожишься, — произнес он через минуту, овладевая своим волнением, — быть может, он спешил, не имел часу и проехал прямо в Чигирин.

— Да, так могло быть, но он дал слово в таком случае прислать кого-нибудь из своих людей, а гонца нет.

Слова Марианны напомнили Андрею, что Мазепа действительно давал такое обещание, это заставило его призадуматься. "Гм... в таком случае дело действительно не ладно, уж не погиб ли казак? — подумал он и тут же почувствовал угрызение совести, — вот человек может уже и с жизнью попрощаться, а он-то что думал на него.

— Я поеду завтра в Гадяч искать его, — произнесла Марианна.

Андрей встrepенулся.

— Ты, Марианна? В Гадяч? Да разве ты не знаешь, что если гетман Бруховецкий...

— Знаю, — перебила его Марианна.

— Послать кого-нибудь... узнать... разведать...

— Посылать теперь уже поздно, каждый день может стоить жизни, — возразила девушка.

В комнате водворилось молчание.

— Марианна, — произнес слегка дрогнувшим голосом Андрей, — скажи мне, почему тебя так тревожит судьба его?

— Он спас мне жизнь... он нужен для отчины.

— И больше ничто, ничто, Марианна?

Девушка молчала. Андрей взял ее за руку.

— Марианна, — произнес он с волнением, — ведь ты знаешь... потерять тебя...

Марианна молча высвободила свою руку.

— Я должна спасти его... если бы это даже стоило мне жизни, — произнесла она тихо, но твердо.

В комнате водворилось молчание.

Несколько минут Андрей пристально глядел на девушку, не произнося ни слова.

Слышно было, как скрипели за окном гигантские сосны.

— Да, Марианна, ты права, — заговорил он наконец, — мы должны спасти его во что бы то ни стало, — он спас нам тебя, и что бы там ни случилось после, а мой гонор казачий велит мне спасти его. Если ты решилась уже уехать, Марианна, я еду с тобой и не отступлю от тебя ни на шаг!

Когда полковник узнал о решении Марианны, он сначала воспротивился ему. Да он сам думал послать отряд и попробовать вырвать Мазепу из когтей Бруховецкого, наконец он поедет сам в Гадяч, но она, Марианна, не должна туда ехать. Но когда старик выслушал все доводы и резоны Марианны, он должен был согласиться с нею, взявши с нее предварительно слово в том, что она не станет без толку рисковать собой.

На другой день полковник отобрал из своей компании двадцать самых сильных и отважных казаков, и Марианна с Андреем выехали из замка во главе своего маленького отряда.

Вечерело. На большой переяславской дороге подвигались не спеша к Гадячу два паломника. Один из них был уже почтенных лет монах, другой еще молодой послушник с бледным, красивым и строгим лицом. Видно, он был еще очень молод, так как на лице его не видно было никаких признаков растительности. Длинные черные одежды монахов были подтыканы и подтянуты ременными поясами, из-под них выглядывали огромные, порыжевшие и запыленные чоботищи. Одежды обоих путников были в пыли и в грязи, за плечами их висели котомки, а в руках были толстые, суковатые палки. По всему видно было, что они шли издалека. Иноки шагали. сосредоточенно и молчаливо.

Чем больше приближались они к Гадячу, тем чаще обгоняли их всадники, обозы и телеги, спешившие к городу. Наконец путники поравнялись с городскими стенами и вошли в "городскую браму".

Увидевши почтенных путешественников, "воротар", стоявший тут же у ворот и благодушно болтавший о том, о сем с проезжими и проходящими горожанами, почтительно подошел под благословение к старшему монаху. Монах благословил его.

— Откуда Бог несет, панотче, — полюбопытствовал "воротар".

— Ох, издалека, чадо, — отвечал нараспев монах, — от синего моря, от белого камня, от самой святой Афонской горы.

Услышавши о пребывании монаха в таком священном месте, "воротар" почтительно и сочувственно закивал головой.

— Пешие!

— Пешие, чадо! Потрудились для Господа. А ты скажи нам, кто здесь, в граде сем, обретается из людей значнейших и "добреосилых", чтобы дал нам на недолгий час и пищу, и кров, дабы отпочила малость брeнная плоть.

"Воротар" назвал несколько фамилий, между ними и Варавку.

— Так, так, вот к Варавке лучше всего и идите, — подтвердил он, — то человек богобоязный и странноприимный,

— Добро творит, чадо! Яко речено бысть: воздается тому сторицею, — отвечал монах, — но како пройти к нему, не ведаю. Не вем бо стогон града сего.

"Воротар" указал и разъяснил им дорогу, и монахи пошли, не спеша, по узким гадячским улицам. Наконец они остановились у дома Варавки.

Почтенный старичок сидел у своих ворот, но, увидав подошедших иноков, он почтительно встал с места и подошел к монаху под благословение.

— Благословение дому сему! — забормотал нараспев монах какие-то неизвестные слова и, кончивши. их, обратился гнусавым голосом к Варавке. — Глаголаша о тебе, чадо, сограждане твоя, иже добр, милостив и странноприимен еси, отверзи же десницу щедрую и от нас, бедных иноков, в чине ангельском пребывающих, не пекущихся о мирском. Глаждем и жаждем, ибо плоть немощна.

Уразумевши из мудрой речи монаха, что они голодны и просят приюта, радушный старик бросился с восторгом исполнять их желание. Он ввел иноков в дом и только что было хотел пойти сообщить своей супруге о неожиданных гостях, как старший монах удержал его за рукав.

— Стой, Варавка! — произнес он совершенно другим, здоровым и молодым голосом. — Не торопись!

Варавка остолбенел от изумления. А монах между тем подошел к дверям, задвинул их на засов и продолжал тихо, но внятно:

— Мы от полковника Гострого; никто, слышишь, не должен знать о том, кто мы такие... Это дочь полковника!

Лицо Варавки просияло.

— Господи! — всплеснул он руками. — Честь-то какая мне, убогому.. Так это ты, Марианна"? — и растроганный старик поклонился молодому иноку чуть ли не до земли.

Марианна поблагодарила его за такую радушную встречу, а монах продолжал:

— Да, это она. Но ты знаешь, что думает о нас Бруховецкий, а потому помни, что никто, ни даже жена твоя, не должны знать, кто мы...

— Умру, а не выдам! — прошептал старик.

— Добро, мы верим тебе, друже. Теперь же садись и слушай зачем мы пришли к тебе...

И Андрей рассказал Варавке о том, что Мазепа дал слов вернуться на обратном пути к полковнику, или прислать своего гонца, и вот никого нет до сих пор, а потому они прибыли сюда с Марианной. У него ли останавливался в Гадяче Мазепа? Не случилось ли с ним чего и благополучно ли выехал он из города?

Услыша эти вести, Варавка сильно опечалился.

— Ох, Боженьку, Господи! — закивал он грустно головой. — Так и чуяла душа моя, что лихо не минется!

И он рассказал в свою очередь Андрею и Марианне все, что знал о пребывании Мазепы в Гадяче, о ласковом приеме который сделал ему Бруховецкий, о встрече с Тамарой, так озадачившей Мазепу, так как от Тамары он, Мазепа, ожидал непременной мести.

— Ох, а если уж Тамара на кого зло имеет, он его и на дне моря найдет!.. Уж эта гадюка ужалит хорошо!

Марианна слушала Варавку с напряженным вниманием.

— О, если бы только один Тамара бросился за Мазепой, то это было бы еще полбеды! — произнесла она, когда старик умолкнул. — Что ж, он мог бы собрать душ десять розбышак, с ними Мазепа справился бы. А вот не участвовал ли в этом деле и сам гетман?

— Да, да, — поддержал и Андрей, — трудно предположить, чтоб собака отважился сам на такое дело, без гетманской на то згоды.

Но на эти слова Андрея и Марианны Варавка замахал отрицательно рукой.

— Что до гетмана, то нет, нет! — возразил он. — Я сам за ним "назыраю", ни он, ни воевода не выезжали никуда, войска никуда не выступали, да и в городе тихо, не слышно ничего, а уж если бы они схватили его, так было бы чутно...

Но Марианна и Андрей все-таки сомневались: трудно была допустить, чтоб сам Тамара мог устроить такую роковую западню Мазепе, да и что бы мог он сделать? Убить?.. Но удовлетвориться одной смертью врага для такой низкой душонки было бы мало. Он захотел бы, конечно, унижить свою жертву, помучить ее, поиздеваться над ней, а главное, без согласия Бруховецкого он никогда бы не решился убить столь важного для гетмана посла.

Варавка тоже задумался, в словах Марианны и Андрея была доля правды.

— Так вот что, панове, — произнес он, — я пойду завтра в замок, там есть у меня родич, в гетманских сердюках служит, хлопец добрый и верный, если что-нибудь только было, так он сумеет пронюхать.

На этом решении разговор собеседников прервался, так как у дверей комнаты раздались чьи-то шаги.

За вечерей вокруг почтенных иноков собралась вся челядь Варавки, послушать, как рассказывает спасенный человек о святых местах.

Жена Варавки, ничего не подозревавшая, находилась тут же и со слезами на глазах слушала повествования блаженного человека.

Андрей врал сколько мог о неслыханных чудесах, явлениях, мучениках, подвижниках, пересыпая свою речь безбожно исковерканными изречениями. Пребывание в братстве теперь помогло ему. Добрая старушка, жена Варавки, не раз даже горько всплакнула, слушая его рассказы.

Марианна же все больше молчала. Впрочем, на нее мало обращали внимания, так как Андрей сразу объявил всем, указывая на нее:

— Он у нас хворый, так больше молчит: истинно не от мира сего...

На другое утро Варавка вышел рано из дому и возвратился только поздно вечером. Войдя в комнату к инокам, он осторожно притворил за собой дверь и объявил им с печальным видом:

— Ну, выпросили, вынюхали все, и все так, как я вам и говорил: ни гетман, ни воевода не выезжали из Гадяча и войск не высылали, и никакого теперь узника в замковых подвалах нет.

Все молчали. Куда броситься, где начать свои поиски — было теперь совершенно неизвестно.

L

Всю ночь не смыкала Марианна очей. Вести, принесенные Варавкой, не только не успокоили ее, но подняли в ней еще большую бурю тревоги; если сюда не привезли ни одного колодника, то это еще хуже: здесь можно было бы найти заступников, а там в лесах да пустырях расправы коротки, — верно распорядились по-своему, а то и вовсе прикончили. Мало ли творится в это бесправное время у нас всяких насилий, разбоев!

— Что с ним случилось несчастье, — это несомненно: ни сам он, ни кто из людей его не завернул к нам, а он обещал, и ему нельзя не верить, нельзя: он не такой!.. — повторяла она, придумывая всякие случайности.

Едва рассвело, Марианна была уже в небольшом дворике, огражденном высоким забором, и нервно ходила из угла в угол, словно тигрица в клетке, выглядывая с возрастающей досадой хоть кого-либо из своих, с кем могла бы поделиться своим душевным волнением, своими думами. Вскоре двери сеней отворились, и на "ганок" вышел заспанный хозяин дома Варавка; старичок зевнул всласть, перекрестил рот, снова зевнул и потянулся...

— Знаете ли, любый господарю! — обратилась к нему подошедшая быстро Марианна. — То, что ни Мазепы и никого из его команды не привозили в Гадяч, тревожит меня еще больше, если бы арестованного привезли сюда; гетман вынужден был бы дать знать о сем и гетману Дорошенко, и дело повести открыто; а коли не привезли сюда, то значит решили тайно с ним расправиться, чтобы и концы в воду.

— Ох, ох! Кто его знает, — недоумевал, разводя руками, господарь, — оно с одной стороны подумаешь, что такую персону, как посол гетманский, и зацепить было бы негаразд, а с другой стороны подумаешь и то, что гетман наш все может... Вот этот шельма Тамара... в чести да в любви у него...

— Ну, видишь ли, пане лавнику, а Тамара же Мазепе, пан сам говорил, заклятый враг... Враг трусливый да подлый на все может решиться.

— О может, тот может!

— Так ужели при этом быть равнодушными? Да у меня каждая жилка кричит и не дает мне ни на минуту покою, — горячилась Марианна, — что в том, что в Гадяче никто не арестован и не привезен, а за Гадячем? Так сидеть, сложа руки, что ли, и ждать? Нет! Я этого не могу; я должна удостовериться, должна!.. Слушай, пане лавнику, — схватилась она за пришедшую ей вдруг мысль, — мне нужно необходимо увидеть в глаза самого Тамару... Я сумею выпытать, догадаться. Проведи нас, пане господарю, сейчас же в замок! — закончила она повелительно.

— Как, вельможная пани, сейчас? — растерялся старик. — Да сейчас нельзя: никого так рано не пропустят; там "варта" везде, и перед замком, и у "брамы", и на замчище. Без воли его мосци трудно увидеть... на то там и генеральные есаулы. А с другой стороны, когда этот дьявол доведается, что дочка его врага тут в замке, в его лапах, то чтоб не учинил он какого "гвалту".

— Я не так глупа, пане лавнику, — сжала свои черные брови Марианна, — чтобы так просто своей персоной и пошла, не положивши ему на очи "полуды"! Я пойду, как и сюда явилась, послушником при страннике из святых мест; пойдём мы за подаянием, понесем святые камешки, песок, воду, корешки.

— Так, так, так, — обрадовался этой выдумке Варавка, — это гаразд, гаразд; это всех "зацикавуть"... и гетмана: он дарма, что злодей, а страннику будет рад, чтобы отмаливать с ним свои грехи. Эх, и головка ж у тебя золотая! А я, старый дурень, думал, думал и на думку мне ничего не пришло... А оно выходит, вот какая ловкая штука!

Часа через три у замковой брамы стояли два паломника, один монах средних лет, с поседевшей слегка бородой, а другой — совсем молоденький еще хлопчик, стройный, с несколько бледным лицом и темно-серыми, казавшимися черными, как уголь, глазами; странники просили Христа-ради пропуска во двор для собирания у ясновельможного панства

милостыни. Между стражей сидел Варавка и угощал всех добрым медком.

Само собой разумеется, что божьи люди были впущены во двор, и сейчас же их окружила толпа челяди, жадная услышать про св. Иерусалим, про Афонскую гору и про древо, на котором Иуда повесился... Старший странник рассказывал много чудесного, неслыханного, а молодой послушник больше молчал да бросал по сторонам пытливые взгляды из-под черных бровей.

К толпе челяди начали подходить хорунжие, сотники и есаулы надворных команд, сердюков и другие казацкие старшины, находившиеся на тот час во дворе; челядь расступалась перед ними и уступала первые места. Молодой послушник оглядывал зорко каждого из них пытливым взглядом, но подходившие были, очевидно, не те, кого он искал. Вдруг старший странник, рассказывая про змия-антихриста, прикованного двенадцатью цепями в пещере под горой Сионской, толкнул незаметно молодого послушника локтем; последний встрепенулся и начал осматриваться с тревожным любопытством... В середину круга пробирався бесцеремонно среди кучки значных казаков какой-то молодой есаул с красивым, но надменным наглым лицом.

— Пан есаул... пан Тамара! — узнав его, расступались все.

— Он? — шепнул тихо среди поднявшейся суеты послушник.

— Он! — кивнул незаметно головой странник и громче прежнего начал продолжать свой рассказ о разных диковинках на свете и о неслыханных чудесах.

— Что они тут брешут? Откуда они? — спросил небрежно Тамара, бросивши подозрительный взгляд на пришедших.

— Странники Божий... из Иерусалима... — ответил кто-то робко в толпе.

— Из Иерусалима? Ха! — Они, может быть, так его видели, как я папу!.. Гетман не любит, чтобы всякая дрянь шаталась по его замчищу... Кто их впустил?

В толпе произошло некоторое замешательство, но никто ничего не ответил.

— Вот я проберу этого "воротаря" и "вартовых", — поднял еще выше тон Тамара, — да и вам, панове, — бросил он презрительный взгляд на атаманов и значных, — достанется от гетманской милости за таковую "недбалість" и нерадение; ведь же всем известно, что никто и в самый Гадяч не смеет въехать без явки к воеводе, а тут вдруг на самом гетманском дворе появляются какие-то шельмы, и я ничего не знаю.

— Эти странники именем Христовым пришли ради подаяния, — оправдывался какой-то хорунжий, заведовавший, очевидно, стражей перед брамой, — прежде оделяли здесь странников.

— Прежде, — вскрикнул нагло Тамара, — прежде, а не теперь, не при мне! Теперь именем Христовым придет сюда и всякий "шпыг", и предатель, и бунтовщик. Эти шельмы и послами прикидываются, да плохо кончают! — заключил язвительно Тамара. Странники все время только низко кланялись, с выражением кротости и мольбы на умиленно испуганных лицах; но послушник и кланяясь не спускал глаз с Тамары; он заметил, что у Тамары левая кисть руки перевязана черным платком и придал этому значение, а при последней фразе его глаза молодого послушника словно больше потемнели на побледневшем лице.

— Вот повести их в челядню, да раздеть чисто и осмотреть, — тогда наверное дознаемся,

какие это странники и что в их котомках. — произнес резко Тамара, словно отдавая приказ.

В толпе произошло недовольное движение, сменившееся гробовым, угрюмым молчанием. Старший странник выпрямился и закусил губу; в глазах его сверкнул зловещий огонь; младший послушник как-то съежился, словно хищный зверь перед смертоносным скачком, и судорожно запахнул подрясник, оставив правую руку под ним. Длилась минута напряженного ожидания; Тамара сам как-то смешался и отступил робко на шаг.

— Ясновельможный пане, — заговорил, наконец, старший странник, овладев собою, — что мы из самого. Ерусалима идем, от Вифлеемской пещеры и гроба Господня, тому доказательством будут вот эти "святощи", вынесенные нами из богоспасаемых мест... Мы сами наши котомки развяжем и покажем все ясновельможному панству.

— Вот заковать бы вас в кандалы с вашими святощами, да посадить в леги, чтобы без дозволу не шлялись, тогда бы узнали, почем ковш "лыха", — все еще запугивал странников гетманский есаул, но уже в более мягкой форме, — вот только что мое сердце отходчиво, да не хочется и рук марать.

— Да пошлет Господь ясновельможному пану, — промолвил смиренным и покорным голосом странник, — за его доброе ласковое сердце почет и всякую славу и все то, что панская, душа пожелает; обидеть божьих людей всякому вольно, —беззащитные ведь мы, как дети, — только за обиду нашу воздаст и святое небо, и земля грешная, а пострадать нам во благо, — на то мы и свою жизнь отдаем.

Слова странника произвели сильное впечатление на слушателей, по толпе пробежал сочувственный говор и затих в общем вздохе. Послушник бросил на странника благодарный взор.

Странник же между тем развернул котомку свою и начал добывать из нее разные скляночки и свертки.

— Вот песок святой с горы Голгофы, где Христа жида распинали. Если носить щепотку этого песку под пятою, то никакая "хвороба" через нее не проступит, никакой наговор через нее не пробьется.

— А почем он? Нельзя ли нам хоть по щепотке? — протянулось несколько рук к сверточку и со стороны атаманья, и даже со стороны челяди.

— Да и мне бы, — добавил веско и Тамара.

Странник начал делить песок между публикой, получая и золотые, и гривны, и пятаки.

— А вот, — продолжал он, — кремешки из Вифлеемской пещеры, помогают всякой жене при родах, столочь их только и выпить в чарке горилки.

Теперь уже женщины потянулись за этим чудодейным снадобьем и при помощи мужей и братьев добыли себе по камешку.

— А вот колючки с терновника, — объяснял дальше странник, — что на главе Христовой был. Если хоть крохотку этой спичечки зашить кому-нибудь в одежду, то будет тот такие муки терпеть, каких и сатана не придумает. А вот кусочек от древа Иудина, кто проглотит его, тот неминуемо удавится.

Тамара невольно почувствовал какую-то внутреннюю дрожь при этих словах и заявил сейчас страннику:

— Этих вещей, которые идут на пагубу человеку, ты, старче Божий, не смей раздавать, мало ли кому во вред их может направить злоба людская.

— Справедливо слово твое, ясновельможный пане, — ответил странник, — я и сам их берегу только для показу крещеному миру. А у меня больше припасено "святощив" на добро всякому. Вот Богородицины кораллы от лихорадки "пропасныци", вот ливанский орешек от глаза, а вот гвоздь с креста Господня от всякого поранения. *

Молодой послушник впился в глаза Тамаре и следил за выражением лица его при всякой фразе странника, от его внимания не скрылся страх Тамары при объяснении странником значения шипов терновых и древа Иудина, а также и блеснувшая в глазах есаула радость при последней фразе.

— А вот живящая и целующая вода из слез Богородицы, — поднял пузырек странник, — всякая рана от нее заживает.

— Вот, пане есауле, как раз для твоей раны снадобье, — отозвался стоявший ближе к Тамаре хорунжий.

— Пустое! — бросил небрежно Тамара, вспыхнув почему-то от смущения.

— А, пан есаул ранен? Когда, где? — заинтересовались и другие офицеры, обступая Тамару.

— Да, царапнул кудлай на охоте, — неохотно ответил Тамара.

— Когда ж вельможный пан охотился? Где? Мы и не знали! — недоумевали товарищи.

— Да... на днях... сам тайком поехал, дали знать, что берлогу обошли.

— Вот за это и кара, что от товариства скрыл, — упрекнул хорунжий.

Молодой послушник вслушивался в этот разговор, снедаемый ужасными подозрениями; он не выдержал и толкнул локтем странника.

— Испробуй, ясновельможный пане, испробуй, на Бога, — стал и странник просить, кланяясь низко, — вот хоть "трошечки" дай помазать, и к вечеру, увидишь, заживет, словно корова языком слижет.

Тамара упрямылся и не хотел развязывать повязки, но соблазн был велик, да и товарищи настаивали. Он подошел к страннику и, отсунув назад черный платок, обнажил край раны. Послушник впился глазами в нее и сразу заметил, что рана не рваная, а рубленая, очевидно — от сабли или ятагана, а не от когтей зверя; но Тамара, заметя много любопытных глаз, тотчас отдернул руку, не допустив и прикоснуться к ней "цилующою" водой.

— Нет, не нужно, — сказал он решительно. — А что этот послушник у тебя немой, что ли? И слова одного не промолвил, а только глазищи на меня пялит.

— Просим прощения! Видите ли, милостивый пан, — произнес таинственно, а вместе и заискивающим тоном странник, — он такой блажененький... не от мира сего: все молчит, да Богу молится... А Господь изыскал его ласкою, дал ему дар пророчества; только он редко когда

его проявляет... А вот, коли он уставится на кого глазами, то уж не даром: значит, Господь ему надыхает видение: уж если он присматривается к кому, то значит, долю того человека видит... и не темная, прости Господи, сила ее указывает, а перст Божий.

Тамара бросил пытливый взгляд на послушника и, загоревшись желанием узнать свое будущее, произнес озабоченно:

— Во всяком случае, люди Божьи, мне вас нужно кой о чем допросить, а потому прошу следовать за мною. Не бойтесь, впрочем, — ничего худого вам не будет, — добавил он ласково для успокоения толпы и странников.

Старший из них завязал снова разложенные реликвии в свою котомку, вскинул ее за спину и, согнувшись покорно, пошел вместе с послушником вслед за Тамарой.

Сначала они вступили в обширные, светлые сени гетманского замка: стены этой комнаты были украшены щитами и перекрещенными копьями, а мебель в ней была точеная, деревянная, раскрашенная и раззолоченная на московский манер; у входных дверей стояли две небольших пушки. Пройдя парадные сени, Тамара завернул в какой-то полутемный, длинный покой, оканчивающийся низкой дверью.

Странники вошли вслед за есаулом в эту дверь и очутились в небольшой горенке, обставленной сплошным низеньким диваном с разбросанными по нему подушками; один угол ее был увешан иконами, перед которыми теплились три лампы. Из небольшого окна пробивался дневной свет и, смешиваясь с красноватыми отблесками лампад, ложился причудливыми тенями на дальних углах.

Тамара опустился тяжело на диван спиной к свету, а странники остановились у двери и стали усердно креститься на иконы.

— Ты мне дай и терновых шипов, и Иудина древа, и "цилющои" воды: я тебе заплачу, — перевел тяжело Тамара дыхание; порывшись в кошельке, он достал увесистую серебряную монету и протянул ее страннику.

— Ах, ясновельможный пане, не достоин я, грешный, таких щедрот, — возразил тронутым голосом странник, — да и как же такие страшные "святощи" давать в руки людям. Ведь ясный пан сам говорил...

— Да, говорил, — прервал его раздраженным голосом Тамара, — оттого-то я и прошу их, чтобы они не попались в руки какого-либо лиходея... Наконец, я приказую, чтобы эти опасные вещи были вручены мне на хранение.

— Панская воля, — ответил смиренно странник и передал два мешочка да небольшой пузырек в руки есаула.

— Возьми же талер, да вот еще один, — подал есаул страннику две монеты, — а вот теперь пусть малец расскажет что-либо про мою долю, что ждет меня впереди и чего я должен стеречься?

— Скажи, отроче, — обратился и странник к послушнику, — если Господь тебя вразумил.

Послушник начал читать тихо молитвы и часто креститься, глядя безумными глазами не на Тамару, а словно через него куда-то в безвестную даль. Тамаре стало жутко от этого взгляда, от этих беззвучных слов, слетавших с побелевших губ послушника, и он приподнялся с места,

объятый суеверным страхом.

— Вижу, зрю прошлое твое, — начал тихо и невнятно послушник, — королевские чертоги, велелепие, чревоугодие, дьявольское плясание, пекельная роскошь, зависть змия, вожделения козлиц, ехидство жабы... Ой, суета сует и Каинский грех: брат на брата возста, друг на друга, ища ближнего своего погубити... Снова тьма; ничего не вижу... Ай, что это?

Не чертоги, а хижины, дикое беснование какого-то воинства, не паны уже, а чернь, бряцание бандур, сатанинское песнопение и сквернословие... О, снова зрю тебя и еще кто-то молодой, разъяренный... Какая-то отплата...

— Довольно! — остановил дрогнувшим голосом послушника Тамара, — он весь был бледен и дрожал; на его подбритом лбу крупной росой выступил пот. — Ты лучше скажи, что меня ожидает в будущем?

— Слава, торжество из торжеств! — воскликнул вдохновенно послушник. — Я вижу на тебе гетманскую мантию...

— Ай! — воскликнул порывисто Тамара, словно задохнувшись от недостатка воздуха, и схватился руками за грудь.

— Только стой, стой! — поднял руку послушник и провел ею по глазам, словно желая протереть их для ясновидения. — У тебя есть недруг... ты его считаешь помстителем... Так, так: вот он, рядом с тобою... молодой, пышный... но врази мои паче ближних стаща, а очеса мои слепотою крышася. Он, сей враг мнимый, — продолжал медленно послушник, вонзая свои очи в раскрытые широко от изумления глаза Тамары, — тебе потребен, ой зело потребен; он — ступени твои, по которым взбираться ты будешь к верховине счастья... Там, на верху горы, где зрю тебя в блеске — его уже нет... Ты сам аки солнце сияешь... но в пути тебе он потребен: и пока жив он, ты грядешь к славе, а если умрет — твой путь обрывается...

— Но если он жив? — воскликнул радостно Тамара.

— То дорога твоя светла и доля ясна, как звезда лучезарная! — промолвил патетически послушник, вспыхнувший ярко от прилива восторга.

— О, спасибо, спасибо, мой юный пророче, — шептал в упоеньи Тамара, — возьми вот дукат, помолись за мою грешную душу. Идите, отдохните, Божие странники; вас напоят и накормят, — я позабочусь, — провожал он приветливо своих гостей; он был опьянен этим пророчеством до потери самообладания и хотел наедине отдаться порывам охватившего его счастья.

Когда странники остались одни, то послушник сжал крепко старшему руку и промолвил взволнованным голосом:

— Он жив, он жив!.. Ты заметил? О, теперь я убеждена, что это подлые "вчинки" Тамары... а может быть, и этот злодей Ивашка тут тоже замешан... Изверги! Не успели только прикончить — еще жив! А твоей услуги, Андрей, я никогда, никогда не забуду!

— О, моя Марианна! — прошептал смущенно Андрей. — Что это? Пустяк! Ты жизнь у меня требуй, и я ее брошу к твоим ногам, и то почитаю за счастье!

— Знаю, мой любый! — промолвила еще тише Марианна и крепко сжала своему товарищу руку...

Возвратившись от гетмана и порадовавшись удачному окончанию трудного предприятия, Марианна, Андрей и Варавка приступили к обсуждению дальнейших мероприятий.

— Ловко, ловко пока одурили, — не унимался Варавка, — а вот что с ним дальше? Доведаться бы нужно, поверил ли он всему?

— Как не поверил? — воскликнула Марианна. — Чуть языка своего не проглотил от восторга, чуть не захлебнулся от радости, а может быть теперь и взбесился!

— Да как же ему было и не очуметь, когда гетманскую булаву пани полковникова посулила! Он и без того, може, все мечтал о ней, — вставил Андрей.

— Так, так, теперь всякий проходимец, всякий "пройдисвит" протягивает к этой булаве руку и готов бресть за нею хоть и по колени в крови... Ох, ох, ох, чем-то оно кончится?

— Если возьмемся все дружно соединить воедино разорванную Украину, да водворим в ней правду и поставим над ней твердую руку, то и Господь нам поможет, тогда все "пройдисвиты", все напастники исчезнут, как дым... Вот потому-то теперь и нужно помочь всеми силами Дорошенко и вырвать из рук лиходея лучшего гетманского помощника Мазепу...

— Еще бы, конечно! — подхватил Андрей.

— Только как же это сделать? — развел руками Варавка, — я бы, конечно, ничего не пожалел, чтобы его "вызволить"...

— А вот что, панове, — заговорила деловым тоном Марианна, — что Тамара всему поверил, так это верно, иначе бы он нас из замка не выпустил, а если поверил, так теперь у него будет первой заботой уберечь от несчастья и гибели врага своего Мазепу, потому что этот враг, по моим предсказаниям, необходим ему для его же благополучия, для гетманской булавы... Так вот теперь нам необходимейше проследить, что Тамара предпримет? Если останется спокойно в замке и никуда оттуда не бросится и гонцов не пошлет, то, значит, что Мазепа сидит в покойном месте, что жизнь его в безопасности и что он целиком в его руках. А коли Тамара бросится сам куда-либо, или начнет гонцов рассылать, то стало быть Мазепа не в его руках, и жизнь его не обеспечена.

— Верно, верно, как по писанному, — изумился тонкой сообразительности Марианны старик.

— Так вот что, друзи мои, — продолжала она, — коли Тамара будет спокойно сидеть, так и мы останемся в Гадяче, только "шпыгив", — дозорцев, приставим к нему, да разведачей пошлем по окрестностям, а коли заворушится он, то и нам нужно вмиг, — за ним ли, или за его посланцами, — а броситься вслед; это будет единственный способ узнать, куда они упрятали несчастного.

— Истинно, истинно, наша советчица! — благоговел перед каждым ее словом хозяин.

— А если справедливы мои думки, то поспешите, шановный господарю, в замок и разведайте все, поставьте дозорцев, чтоб, коли что, так зараз бы вас известили. А пока справитесь, мы и переоденемся: он снова в запорожца, а я либо в молодицу, либо в "джуру" его...

— Лечу, лечу, моя "ясочко"! — заторопился и бегом почти вышел со своего двора сановитый пан лавник.

Не успели еще наши странники переодеться и сойтись для обсуждения дальнейших мероприятий, как вбежал запыхавшийся господарь и сообщил важную новость. Сначала он от задышки ничего толкового и сказать не мог, а только повторял: "важные вести, удивительные вести", а потом уже, отпивши воды и придя в себя, пояснил, что Тамара немедленно, по их уходе, отправился спешно из замка, кажись к воеводе, — это он после узнает наверно, — а оттуда бегом возвратился в замок и велел седлать себе коня.

— Так и нам прикажите, пане господарю, седлать немедленно коней, — заволновалась Марианна, — терять нельзя ни минутки, — не то все утеем... Значит, Мазепа в опасности.

— Мы выследим его, — промолвил уверенно Андрей.

— Да, выследим и спасем, — подхватила энергично Марианна. — Только вот что, дорогой пане лавнику, мы с паном Андреем отправимся в погоню сейчас, а в лесу "зараз" под горою, направо от "брамы", в буераках находится наш отряд, человек двадцать, что провожал нас сюда, так прошу ласки у славетного пана, найти этот отряд и двинуться вместе за нами, на помощь. Вот кольцо мое, — покажет пан атаману для уверенности, что то моя воля.

— Все, все исполню и не замешкаюсь, панна полковникова, — кивал успокоительно головою старик, — как бы не мчался, а я со следа не собоюсь: все дороги знаю — и высмотрю, и выищу... Да он, этот дьявол Тамара, другим "шляхом" и не бросится, как Ромненским, либо свернет на дубовую корчму, тем "шляхом" и Мазепа выехал... Ну, там уже увидим, не уйдет, а коней я велю седлать зараз, отдохнули они, отпаслись...

— Ради Бога, только скорее! — заторопила Марианна; она была страшно возбуждена и поспешно засовывала кинжал и пистолеты за пояс.

Не прошло и получаса, как два всадника, удалой запорожец и красивый "юнак", на кровных, дорогих конях выехали из городской "брамы" и, проскакавши с четверть мили, остановились на пригорке, с которого дорога раздвоилась. С высоты пригорка было видно ту и другую дороги на далекое расстояние, но по ним ни одна точка не двигалась, не было видно нигде ни пешего, ни конного, ни подводы; обе дороги были в тот момент, как на зло, пустынные.

Андрей и Марианна остановили лошадей и стали всматриваться в окрестность, но ни на полях, ни в сизой дали не было видно никого.

— Что же это? — вскрикнула раздраженно Марианна. — Неужели мы упустили Тамару и потеряли совсем его след?

— Поскакал, видно, сломя голову, — отозвался с досадой Андрей, — но стой, панно, не тревожься, не уйдет шельма! Варавка говорил, что другого ему "шляху" нет, как Ромненский, — ну, вот этот пошире и должен быть именно он. Припустим коней и, как бы он ни спешил, а от наших "румакив" не уйдет!

Гикнули путники и помчались. Правду сказал Андрей, что от таких коней не уйти, только ветер свистел им в лицо, да широкими дугами убегали по сторонам лески, и гайки, и байраки; но ни хуторка, ни жилья им не попадалось... Наконец, проскакавши с полмили, нагнали они на дороге воз, запряженный парой волов; на нем кто-то лежал. Марианна подскакала первая к возу.

— Гей, человек добрый, не встречал ли ты какого-либо всадника, в одежде шляхетской? Не обогнал ли он тебя? Какая это дорога?

Ответа не последовало.

Андрей повторил тот же вопрос и начал расталкивать ножнами сабли лежавшего на возу человека; но последний спал мертвым сном, и на все усилия казака разбудить его, попытаться, по той ли дороге они едут, лишь мычал "го-го", махая рукой по направлению вперед.

— Брось его, пане хорунжий, только час тратить, — крикнула недовольно Марианна.

— И то, — согласился тот. — Шлях-то Ромненский выходит этот самый! — ударил он острогами коня и понесся вперед; молодой путник не отставал.

Проскакали еще с милю; взмылили коней, а никого не встретили и не нагнали. Досада у Марианны разрасталась до бешенства и она, не зная, кого винить в такой неудаче, проклинала себя и все на свете, призывала на голову Тамары все силы ада. Между тем коням нужно было дать передохнуть, и они пустили их шагом; Марианна, терзаемая всеми душевными муками, молчала и угрюмо смотрела в, золотистую даль, казавшуюся еще более светлой от темно-синей полоски, поднимавшейся длинной бахромой на краю горизонта. Вдруг, неожиданно, при спуске в долину, мелькнул перед Марианной курень при дороге, у которого сидел какой-то дед; оказалось, что это был баштан и дед досматривал оставшиеся на поле тыквы.

— Диду, диду! — крикнула Марианна, подскакав к самому куреню.

— А что тебе, хлопче? — проговорил дед, приставляя руку к глазам.

— Не видали ли кого, чтоб по "шляху" проезжал?

— А мне какое дело до шляху? Мне вот "гарбузы" досмотреть, чтоб лихой какой человек не стащил, и то с меня будет, а то б я на шлях глаза пялил... Го-го!

— А скажите, шановный диду, — обратился к нему и Андрей, — этот шлях на Ромны идет?

— Как кажешь, казаче? — переспросил дед.

— На Ромны ли, — спрашиваю, — этот "шлях"?

— Какие там Ромны? Это на Лубны!.. Хе, куда хватил!.. На Ромны другой "шлях" пошел почитай в другую сторону...

— Проклятье! — вскрикнула в отчаянии Марианна. — Мы в противоположную сторону бросились!.. Все пропало!

— Отчаиваться еще нечего, — попробовал успокоить ее Андрей, — мы возвратимся и вместе с Варавкой...

— Что ты, смеешься надо мною, что ли, пане хорунжий? — перебила его гневно Марианна; она была возмущена до глубины души этим фатальным случаем, вырвавшим из рук ее все следы к несчастному Мазепе, все нити к его спасению; бледная, с потемневшими глазами, она дрожала от порыва страшного огорчения. — Ведь пока мы вернемся и снова пустимся в путь, так и день минет... А Тамары и след простынет! Смущенный Андрей молчал, понимая неуместность своего утешения.

— Диду шановный! — обратилась Марианна порывисто к "баштанныку", — скажите мне, не можем ли мы отсюда выбраться на Ромненский "шлях" "навпростець", чтобы не возвращаться

нам назад? Далеко ли отсюда до него?

— Далеко ли, хлопче, спрашиваешь? — задумался дед. — Да как тебе сказать, — и далеко, и не далеко: заблудишься в лесу, так очень далеко, а не заблудишься, так рукой подать... Вон видишь, вдаль лес начинается и тянется поперек аж до Кудрища... дак там, коли въедешь в лес, так "гонив"[32] за двое пойдет в левую руку тропа... пойдет она по байракам, чащобам... и если не собьешься, то через полмили, а может "трохы" больше, придешь по той тропе как раз к "Обидраний" корчме, которая стоит уже на Ромненском шляху. — Видишь ли, "небораче", Ромненский шлях делает большой крюк и в этом месте подходит к тому лесу, а от корчмы уже поворачивает прямо на "пивнич", на Московщину.

— Едем! — скомандовала Марианна и пришпорила своего коня, не поблагодарив даже второпях деда.

Через полчаса они уже были в лесу и пробирались по какой-то тропинке вглубь леса, в глубокую чащобу; Андрей ехал впереди и зорко следил, чтобы не сбиться с пути; но здесь ни одной минуты нельзя было быть уверенным в том, что найдешь — не то, что корчму, а даже и выход из леса; чем дальше углублялись они, тем на большее число лазов делилась тропа, или вдруг совсем пропадала, к тому же в лесу становилось все темней и темней, — надвигалась незаметно туча и заволакивала солнце. Андрей молча ехал, полагаясь во всем на слепую судьбу; Марианна тоже не проронила ни слова и мрачно следовала за провожатым. Раз она только не поехала за Андреем, а упорно повернула едва заметной тропинкой, не ответив даже на его оклик: казалось, что ее возбуждение начинало сменяться приступами отчаяния... Ехали они уже без пути часа два и вдруг неожиданно лес стал редеть, показались через некоторое время между сплошной массой деревьев светлые стрелочки и наконец послышался лай собаки.

— Жилье! Корчма! — вскрикнула вне себя от радости Марианна и вынеслась галопом на опушку леса. За ближайшими деревьями ютилась действительно разлезшаяся корчма.

В одно мгновение Марианна соскочила с коня и постучала в дверь. Выбежал старый еврей и начал умильно кланяться и приглашать дорогих гостей до "господы".

— Как зовут эту корчму? — остановила его Марианна.

— "Обидраной", мой пышный панюню, — залебезил жид, — но это только так дразнят, а у меня все для панской милости...

— Это Ромненский шлях?

— Ромненский, Ромненский...

— Слушай, жиде... — даже вспыхнула вся от трепетной надежды Марианна, — с нами случилось маленькое несчастье... заблудились как-то в лесу и потеряли третьего своего товарища... Не видел ли ты его? Вот тебе дукат, — протянула она оторопевшему жиду блестящую монету, — только помоги его разыскать...

— А какой он из себя, милостивый "грабье"? — кланялся еврей и, поймав полу жупана, почтительно облобызал ее.

— Молодой, статный, с накрученными вверх усиками ...

— Он, он самый; был недавно у меня... выпил доброго меду два "кухля" и коню дал отдых... добрый конь... гнедой... стоит немало дукатов.

Марианна не могла сдержать своей радости:

— Господь "зглянувся"! — воскликнула она и подала другой дукат еврею. — Покажи нам дорогу, чтоб нагнать этого пана, я тебе заплачу еще больше, а то нам достанется, что отстали.

— Ясный грабье... я бедный жидок и без того не забуду панской милости, — пробовал он поймать для поцелуя шляхетскую руку, — а "шлях" тут один... вот прямо и никуда не нужно сворачивать... я знаю, — тот пышный пан поехал до Дубовой корчмы, — мили две отсюда. Пусть панство почтит мою корчму, отдохнет немного, потому что вон и дождь собирается... а тот пан, верно, будет ночевать в той корчме...

— Нет, спасибо! — вскочила Марианна на коня. — Дождь еще задержит нас.

— Да и кони наши поотдохнули, — вставил слово Андрей. — Лесом почти все время шагом шли.

Марианна улыбнулась ему приветливо и озарила улыбкой его убитое печалью лицо... Крупной рысью тронулись наши путники, но Марианна не могла сдержать охватившего ее нетерпения и пустила коня вскачь.

Дорога пролегла сначала перелесками и небольшими "гайкамы", а дальше открылось совершенно ровное поле, окаймленное только с севера синевой леса. Едва выскочила Марианна на последний пригорок, покрытый густой зарослью орешника, как заметила в недалеком расстоянии какого-то всадника;

он ехал спокойной рысцой, равномерно качаясь на своем гнедом иноходце. Марианна занемела от радости, остановила коня и жестом подозвала к себе Андрея.

— Он? — спросила она его шепотом, боясь, чтобы не расслышал Тамара, хотя тот был почти на версту впереди.

— Он! — подтвердил Андрей. — Он самый!

— Значит, Господь за нас! А я все-таки хочу удостовериться: дорога за леском круто поворачивает налево; я этими кустами проберусь наперерез и высмотрю... только за мной, пан, не езд! — остановила она жестом хорунжего.

Хорунжий придержал коня, спустился вниз и поехал шагом по опушке "гайка". Вскоре к нему выехала из-за кустов Марианна.

— Теперь уже скажу прямо, что он, — вскрикнула она, — и рука левая перевязанная, и усики торчат... Только нам нужно немного поотстать: дорога здесь, как скатерть, а на опушке того леса виднеется и корчма... Не уйдет теперь, а коли попробует, то догоню и пулей!

Тамара спокойно приближался к корчме, не подозревая, что за ним зорко смотрят четыре глаза, от которых ему ни уйти. Только перед самой корчмой он пустил крупной рысью коня, желая, вероятно, уйти от набегавшего дождя. А черная туча с темно-багровой волнующейся каймой уже висела над ними и разрывалась по временам ослепительными зигзагами, только грому еще не было слышно...

ЛII

Путники наши попридержали коней, пока Тамара не вошел в корчму, а потом легкой рысью, под конец даже шагом, приблизились к корчме и соскочили с коней шагов за сто, чтобы стуком

копыт не обратить на себя внимание. Марианна пошла прямо к корчме, а Андрей, привязав под навесом коней, обошел еще корчму кругом и удостоверился, что из нее один только выход. Хотя было еще с час до захода солнца, но от надвинувшейся тучи было темно, как в поздние сумерки. В сенях Марианна столкнулась с каким-то дедом в нахлобученной шапке и кожухе; она уступила ему дорогу и вошла осторожно в довольно просторную комнату корчмы с обычной стойкой и двумя бочками в углу, с широкими лавами у стен. От общей светлицы была отгорожена дубовой перегородкой отдельная комнатка, соединяющаяся с последней низкой дверью.

Марианна вошла в светлицу и, заметив, что там никого не было, осмотрелась с изумлением и села в темном углу возле входной двери. Вскоре вошел туда и Андрей. Марианна приложила палец к губам и выразительно сверкнула глазами на маленькую, плотно притворенную дверь. В корчме становилось совершенно темно; только косые, заклеенные пузырями и тряпочками окна, начинали все чаще и чаще вспыхивать белым огнем. Прошло несколько времени. В корчме было тихо, не слышалось ни говора, ни шелеста; наступившее перед грозой затишье позволяло прислушиваться чутко к царившей в светлице тишине.

Марианна подозвала к себе жестом Андрея и прошептала чуть слышно:

— Меня пугает что там, за перегородкой, так тихо: ведь он нигде быть не может, как только там... или заснул? Взгляни-ка, пане!

Андрей подошел к двери и дернул ее; но дверь не отворилась, она была затворена изнутри на крючок.

— Гей, кто там? — окликнул и постучал в дверь хорунжий.

— Выходи-ка, господарь или господарка, да "вточы" нам меду или оковитой, да и коням овса отсыпь! Никто не откликнулся на стук.

Марианна вскочила и, заперев входную дверь, подошла быстро к Андрею.

— Несомненно, там что-то есть, — промолвила она тихо, но внушительно, — дверь на крючке оттуда: нужно доведаться.

— Оглохли, что ли? — крикнул уже зычно Андрей. — Отвори... или дверь высажу!

Что-то пошевелилось и притихло.

Марианна насторожилась и взвела в пистолете курок. Андрей нажал плечом; дверь затрещала, крючок с визгом отлетел в сторону, створки распахнулись, и казак влетел в "кимнатку.

Сначала он в ней никого не увидел и крикнул Марианне:

— Пусто! Ни духа!

— Что-о? — вскрикнула, словно ужаленная змеей, Марианна и с ужасом вскочила за перегородку.

Начали шарить и нашли под кучей лохмотья какую-то старуху, но кроме нее никого не было.

— Куда девался молодой шляхтич? — спросила грозно Марианна, приставив пистолет к груди старухи.

Последняя вздрогнула и прошептала что-то, показывая рукой на рот и уши.

— Глухонемая! — отступила в отчаянии Марианна, опуская пистолет.

— Прикидывается! — заметил подозрительно Андрей^ — А вот мы попробуем горячих угольев подсыпать ей за пазуху, — тогда посмотрим, заговорит ли?

Старуха сверкнула перепуганными глазами и задрожала.

— А если она действительно глухонемая, — продолжал Андрей, заметив взгляд старухи, — так после опыта прикончим ее тут, хлопче, да и концы в воду! Ну, а теперь принеси-ка поскорей сюда горяченьких угольев, там в печке что-то варится у этой ведьмы.

Марианна сделала движение, но старуха не выдержала больше своей роли и повалилась в ноги.

— Простите, мосцивые паны, простите, ясновельможные, — завопила она, — приказали мне молчать, под страхом смерти приказали, — что ж мне старой, беззащитной...

Так говори сейчас, куда ты упрятала молодого шляхтича, — топнул ногой Андрей, — только говори правду, не брешу, иначе закатуем тебя!

— Клянусь, что ни пощады, ни милосердия не будет! — глухо и зловеще подчеркнула Марианна;

— Ох, не прятала я его, "не ховала", — завывала баба, — ушел он, "утик".

— Как? Куда? Я не отходила от дверей! — вскрикнула Марианна.

— Ей-Богу, "утик", чтоб меня гром убил, коли брешу, — шамкала и била себя в грудь бледная, с распущенными седыми волосами старуха, — вот и платье его, а он надел кожух. .

— Так этот дед в кожухе был он, Тамара? — перебила бабу, задыхаясь от волнения, Марианна.

— Он, он самый!

Марианна, как подстреленная птица, опустила руки; пистолет выскользнул и упал на землю; Андрей окаменел... Вдруг сверкнула ослепительная молния и страшный, сухой удар грома потряс корчму и оглушил всех...

Оцепенение, впрочем, длилось недолго.

Андрей прервал его первый:

— Эту ведьму, во всяком случае, нужно допытать хорошенько; словам ее веры давать нельзя... она, шельма, умеет прикидываться и способна на всякие чертовские штуки! Слушай, — пристукнул он грозно ногой валявшейся у ног старухе. — Если ты мне не откроешь места, где прячется этот шляхтич, если не укажешь тропы, где искать его, то я тебя познакомлю с такими муками, с таким "катуваньем", каких вряд ли и в пекле найдешь! Встань, — толкнул он ее под бок сапогом, — и отвечай на все мои вопросы, да только говори правду! Пана "джуро"! — обратился он к Марианне. — Принеси-ка на всякий случай блестящих угольков, да оставь свой кинжал. Джуро исполнил просьбу своего товарища.

Сверканье молний между тем усиливалось и раскаты грома с резкими, ошеломляющими

ударами учащались. Баба завывала и распростерлась на полу.

— Не вой! — крикнул Андрей. — А говори, куда ездит этот ряженный шляхтич?

— Не знаю... ой, не знаю! Чтоб мои дети и внуки...

— Цыть! У тебя — карги и детей "чортма"! А вот уж это ты знать должна, — часто ли он к тебе ездит?

— Прежде редко... Был... давно., а потом чаще стал... недели две тому назад...

— Как раз в то время, когда выехал Мазепа из Гадяча, — вставила нервно Марианна.

— Ну, а отсюда отправлялся надолго?

— На другой день возвращался к вечеру, либо на третий день рано.

— Ага! Стало быть, он ездил почти двое суток... одни туда, одни назад... значит, миль за пять отсюда.

— Если там не сидит долго, — поправил джура.

— Верно. Значит, миль от трех до пяти. Но ты, ведьма, скажи, куда он именно ездит? Не знаешь? Ведь ты с ним, подлая, в стачке?.. Ну, где он?

— Не знаю, ой, не знаю... Пропади я пропадом.

— И пропадешь, — подтвердил хладнокровно Андрей. — А ну-ка, джура, — пригласил он Марианну. — Сыпь ей этого червонного золота за пазуху.

Марианна поднесла к лицу старухи раскаленные угольки в миске.

— Ой, "рятуйте"! — завопила та и повалилась в ноги, корчась и судорожно ударяя себя в грудь кулаками. — На Бога не знаю, на всех святых не знаю! Видела только, что он в ту сторону ездит, на "пивничь!"

— Пожалуй, что и не знает, — шепнула Марианна.

— А что же он все на одном коне ездит, или переменяет, или пешком отсюда ходит? — пытался все у старухи Андрей, подчеркивая каждую фразу и трясая ее за подбородок рукой.

— Меняет коня! — выкрикивала по слогам баба.

— А вот мы это проверим сейчас... Вот "лихтар" стоит; зажги его! — указал он Марианне на стоявший на столе фонарь.

В комнате было совершенно темно, мигали только окна зловещим огнем, словно у мертвеца открывались глаза, да дождь с возрастающим шумом и звяком бил в пузыри и уцелевшие стекла.

Марианна зажгла с трудом фонарь, выдув сначала из углей и пакли огонь, и вышла с ним в сени; а Андрей запер старуху в комнате и отправился вслед за Марианной.

Защелкнув на засов выходную дверь, они под проливным дождем перебежали двор и

остановились под навесом. Кони их стояли, привязанные к яслям, а за ними в углу действительно находился и гнедой "румак" Тамары, только без седла. Андрей осмотрел все закоулки под навесом — седла не было. Очевидно, что Тамара не взял бы, идя пешком, с собой седла, а оседлал им, конечно, другого коня. Марианна нашла и следы, где стоял и другой конь, и даже куда он вышел, — в противоположную сторону от входа в навес, по направлению к лесу. Бросились наши путники с фонарем по этим следам и заметили, что они за навесом были оттиснуты глубже; по всей вероятности здесь Тамара вскочил уже на коня и усилил своей тяжестью оттиск. Следы довели Андрея и Марианну почти до опушки леса, обозначив ясно направление пути; но ливень смывал их и заливал целыми озерами. Дальнейшие поиски были невозможны; как они ни защищали фонарь, а дождь и порывы ветра его погасили и они, промоченные вконец, должны были возвратиться в корчму. Много труда стоило раздуть снова фонарь, но когда осветил он эту ободранную корчму и "кимнати", то, к величайшему изумлению наших путников, ведьмы-старухи уже не было ни в корчме, ни в "кимнате", ни в сенях: она как-то сумела отбросить крючок, запиравший двери снаружи, и выйти в сени. Но здесь наружная и единственная дверь до прихода их была запертой; разве в темноте эта ведьма как-либо проскользнула. Осмотрели тщательно сени и заметили, что за высоким "дымарем" был ход на чердак.

Андрей первый взлез по нем и хотел было остановить Марианну, но та была уже возле него. j

— Здесь-то я и нужна, — сказала она тихо, — ведь может быть и засада? •

С фонарем в одной руке и с пистолетом в другой медленно поднималась она вперед, освещая Андрею путь; таким образом, со всеми предосторожностями осмотрели они шаг зшагом чердак. Ничего на нем особенного не было, кроме домашней рухляди, веников, лука и небольшой кучки картофеля; только в одном углу, под каким-то хламом, нашли они спрятанный татарский халат, а под ним дорогой ятаган и "машугу" (род кистеня большого размера).

— Ото! Вот еще что припасено у старой карги! — вскрикнул Андрей, рассматривая оружие. — Любопытно знать, Тамарки ли это вещи, или ее самой?

— Любопытнее всего знать, куда девалась эта чертовка, — возразила с досадой Марианна, — не провалилась же она в пекло?

Снова обшарили весь чердак и нашли-таки в одном месте небольшое слуховое окно, вроде прорванной дыры в соломенной крыше. Андрей просунул голову в это отверстие, осветил фонарем крышу и увидел, что к низкой стрехе была приставлена со двора лесенка.

— Вот куда она, каторжная, ушла, — через "стриху"! — догадался он и начал посылать по адресу ушедшей всевозможные ругательства и проклятия.

— Замолчи, — остановила его Марианна, — этим дела не поправишь... а вот опять прозевали и бабу! Везде-то мы, Андрей, с тобой зеваем да "гав ловым"; плохие, видно, разведчики мы, или этим извергам помогают все пекельные силы!

Раздраженная неудачами, убитая отчаяньем, опечаленная безвыходным положением, возвратилась Марианна в корчму и, словно угрюмая ночь, села молча в дальнем углу. Андрей не посмел отозваться к ней ни одним словом, сознавая, что он ничего не мог и придумать, что могло бы хотя сколько-нибудь прояснить мрачное настроение ее духа; он только усердно начал подбрасывать в печку хворост, стараясь развести большой огонь, чтобы хоть немного высушить промокшую одежду и согреть окоченелые члены...

Гроза давно прошла, только изредка сверкали ослабленным блеском зарницы; но дождь не переставал: из бурного, порывистого ливня он перешел в мелкий частый и зарядил на всю ночь. В корчме было угрюмо и тихо; шумел только в окна однообразно, тоскливо дождь да потрескивали в печке тростник и валежник, вспыхивая по временам более ярко и выхватывая из темноты мрачное лицо Марианны, с устремленным неподвижно в дальний угол глазами. Андрею, наконец, надоело возиться с растопкой печи; он отошел от нее, сел на лаву, облокотился локтями на стол и свесил на приподнятые руки свою буйную голову. Какой-то неясный туман бродил в ней, но в сердце он чувствовал тупую, щемящую боль. Длились тяжелые минуты гробового, прерываемого лишь подавленными вздохами, молчания.

Вдруг вдали послышался словно топот. Андрей и Марианна вздрогнули, насторожились. Удручающее настроение сменилось пробудившимся возбуждением и отчасти тревогой. Топот усиливался; очевидно было, что несколько всадников, а то и отряд приближались быстро к корчме.

— Не стражники ли Тамары? — произнес, словно сам к себе, Андрей; поднявши голову и прислушиваясь к возрастающему шуму: — Полсотни будет... и с той стороны, от Гадяча.

— Слава Богу! — воскликнула Марианна. — Мы от них доведемся, куда отправился Тамара, или через них выследим.

— Но как они, эти Тамаровские псы, нас самих встретят? Не распорядиться ли заблаговременно?

— Вздор! — оборвала резко Марианна. — Не прятаться ли посоветуешь?

— Не за себя я... — вздрогнувшим голосом отозвался Андрей.

В это мгновение с шумом отворилась входная дверь, и на пороге ее показался мокрый Варавка.

Подавленные фатальным стечением обстоятельств, наши путники и забыли совсем про своего друга, которому поручили сами поспешить с оставшимся за Гадячем отрядом за ними, по направлению Ромненской дороги.

— Варавка! Дорогой наш пан лавник! — воскликнули Андрей и Марианна, схватываясь с места и протягивая ему радостно руки.

После торопливой передачи Варавке всех неудач и какого-то фатального преследования судьбы, приступили они к обсуждению дальнейших мероприятий. В темную, осеннюю, дождливую ночь нечего было и думать куда-либо двинуться: и лошади, и люди были до нельзя изнурены, темень стояла страшная, частый дождь увеличивал еще слепоту ночи.

— Ничего, друзья мои, не поделаешь; ночь придется провести в этой корчме, а к рассвету и дождь, вероятно, уймется, и видно будет тропу... Да ведь и он, бестия, где-нибудь поблизу ночует в пещере, либо землянке, не поедет же он в такой ливень, хотя бы и на черте!

— Да, да, — обрадовалась Марианна, — мне это не приходило в голову: я уж думала, что он за ночь сделает миль шесть и что мне не удастся его догнать, хоть бы и наскочили на его след.

— Не унывай, панна полковникова, — подбадривал старик, — вот, как только начнет светать, так и двинемся, и не уйти ему, моя ясочка, как не уйти волку от стаи добрых собак.

— Я в этом уверен, как в завтрашнем дне, — заговорил наконец и Андрей, оживший от

перемены настроения духа Марианны, а последняя действительно ободрилась как-то сразу; в глазах ее загорелись прежняя энергия и надежда; на лице вспыхнул живой румянец.

— Так до утра! — согласилась она и видимо успокоилась. — Только как же мы утром двинемся? Нужно все это обдумать теперь же.

— А вот как, — подал мнение Андрей. — Конечно, все отправимся этим лесом, придерживаясь "пивничной" стороны; ведьма, в виду пытки, сказала тогда правду и следы коня подтвердили ее слова. Нас здесь двадцать четыре человека; так разделимся мы на четыре ватаги, по шести человек: ватага от ватаги на двое "гонив", а каждая ватага тоже рассыпется по одиночке, лишь бы не терять друг друга из глаз. Тогда мы захватим пространство вширь почти на милю и двинемся облавою вперед, и я даю голову на отсечение, что зверь не уйдет!

— Чудесно, чудесно придумал, пане лыцарю, — закивал головой довольный Варавка, — так и сделаем; а начальников, предводителей на каждый отряд найдется: вот нас три... да еще бунчуковый товарищ...

— А атаман Безродько? Забыли? — отозвался Андрей. Обидеть этого славного воина грех... а я бы лучше в есаулы панне полковниковой...

— Панна полковникова не нуждается в помощниках и услужниках, — улыбнулась Марианна, — но в знак того, что я прощаю тебе, пане, все промахи, я согласна... Только вот что, — заговорила она серьезно, — меня смущает одно обстоятельство: что, если здешняя ведьма, ускользнувшая из рук по нашей оплошности, бросилась в убежище Тамары и сообщила о розысках за ним, о погоне?.. Ведь он тогда бросится в другую, противоположную сторону, и все наши замыслы пропадут, а мы опять останемся в дурнях!

— Да, да... вот это действительно, — развел руками Варавка. — Этого никогда быть не может, — воскликнул уверенно Андрей. — Тамара не такой, чтобы свои планы и свои тайники доверять глупой бабе, и, клянусь Богом, что она сидит в каком-либо погребе или в яме, думая только о своем спасении, а не об интересах Тамары.

— А что думаете, и это верно! — согласился с Андреем Варавка.

— Положимся во всем на Бога, да и конец, — заключила Марианна. — А теперь позаботимся о наших товарищах, да и сами хоть минутку соснем.

До рассвета поднялась вся команда. Сделали последние распоряжения и, разделившись на четыре группы, ободренные и веселые, все тронулись по принятым направлениям и скоро скрылись в лесу.

LIII

Дождь уже не шел; небо прояснилось от разорванных прядями туч, обещающая тихий и светлый день, но воздух полон был резкой сырости, и густые ветви деревьев постоянно обдавали путников холодным дождем. В лесу же было пока совершенно темно и нужно было пробираться без пути шагом, рискуя каждое мгновение или напороться на какой-либо сук, или угодить в какую-либо "колдобыну" или в овражек. Лужи в иных местах были так глубоки, что приходилось бресть в них коням по брюхо. Но через час, через два совершенно рассвело, и верхушки деревьев зарделись ярким румянцем. Лес весь осветился золотистым блеском и ожил; но, несмотря на это, трудно было прибавить шагу коням, так как лесная чаща становилась все гуще, а прямого направления пути совершенно нельзя было держаться.

Уже время клонилося к вечеру, когда наши путники выбрались из этого бесконечного леса, выбрались и очутились в совершенно пустынной местности, на которой во всю ширь горизонта не было видно не только никакого жилья, но и ни одного человека — ни пешего, ни конного... Куда девались соседние команды, Андрей и Марианна не могли понять, но их не было и следа. Они послали направо и налево вдоль леса разъезды, но и разъезды не принесли им ничего: степь была ровна и гладка, как скатерть, но на этой пожелтевшей скатерти, покрытой во многих местах блестящими пятнами озерец и луж, не было видно ни одного движущегося человеческого существа. Прождавши еще несколько времени, Марианна решилась, наконец, двинуться вперед наугад.

Разъехавшись на известное расстояние, но не теряя из виду друг друга, путники припустили крупной рысью коней, чтобы успеть пробежать степью мили полторы, две и успеть отыскать к ночи какое-нибудь жилье.

Эта безлюдная степь, это исчезновение соседних команд навели опять на душу Марианны тяжелые думы: очевидно было, что они снова сбились с пути и выехали в другую сторону леса. Тоска и приступы отчаяния сжимали ей сердце, а неизвестность раздражала до бешенства. Марианна горячила своего коня, пускала его вскачь, взлетала на небольшие пригорки, чтобы окинуть взором окрестность, но глаз ее, кроме неизменной глади да ближайших спутников, не находил ничего нового.

Заходило уже солнце кровавым шаром, окрашивая ярким багрянцем часть горизонта, а никакого жилья еще не встречала Марианна; степь, впрочем, стала немного волнистей, и в некоторых местах показались растущие в одиночку деревья. Хотя конь Марианны и шел еще бодро, игриво, но он покрыт был уже клочками густой пены и тяжело дышал; легкой рысью спускался он по широкой отлогости балки, где неясно виднелась при наступающих сумерках какая-то заросль. Марианна безучастно глядела вперед, обводя усталыми глазами силуэты деревьев, как вдруг она заметила, что среди них легкой синей струйкой подымался дымок, — она вздрогнула, ударила шпорами коня и, выстрелив из пистолета для сигнала товарищам, помчалась вихрем к этому спасительному дымку. На ее выстрел раздались издали еще два-три ответных выстрела. На этот раз ей опять посчастливилось. Среди небольшой группы деревьев стояла хата, а на пороге ее замерла перепуганная выстрелами молодая еще женщина.

— Не заезжал ли сюда, молодница, — огорошила ее сразу вопросом Марианна, не слезая с коня, — молодой всадник, с маленькими закрученными усиками в крытом кожухе?

— Заезжал, пане, — ответила молодница дрожащим от перепуга голосом.

— Боже мой! Где же он? Давно был? Куда поехал?

— Да был не так что и давно, под полудень, а поехал он туда прямо на "гайок", что мерещится вдали пятнышком... Так.. так... молодой, в белом кожухе, а одежда на нем шляхетская, дорогая...

— Спасибо тебе! — вскрикнула охваченная восторгом Марианна и бросила несколько золотых к ногам растерявшейся вконец хозяйки.

Послышался топот; это съезжалась на зов своей атаманши команда.

— Напала на след, едем сейчас в погоню! — обратилась к показавшемуся Андрею смеющаяся от радости Марианна.

— Где, куда? — остолбенел тот.

— За мной! — скомандовала, вместо ответа, Марианна, прищпорив своего коня, и пустилась вскачь по указанному молодежи направлению. За нею понеслись вслед и ее спутники.

Медно-красный, слегка приплюснутый месяц подымался над горизонтом и с каждым мгновением освещал больше и больше окрестность. Марианна ехала по ясно отпечатавшимся на влажной почве следам, которые впрочем чем дальше, тем становились слабее, так как полоса дождя видимо здесь близко кончалась, но "гайок" был уже недалеко, а след вел на него: только перед самым ним след вдруг совершенно исчез, или стал незаметен; но искать его было некогда.

Путники переехали небольшой "гайок" и понеслись дальше. Потянулись какие-то овраги и глубокие балки, покрытые мелким кустарником. В каждую такую балку заезжали наши путники и, проскакав ее вдоль и поперек, продолжали путь дальше.

Месяц стоял уже высоко и серебристым светом обливал всю окрестность; но нежные переливы его тусклого света все-таки не могли смягчить какого-то дикого характера царившей кругом глуши.

Дорога, или лучше сказать, единственно возможный проезд среди излучин оврагов, рытвин и перелесков, становилась чем дальше, тем более неудобной. Переехали путники еще какую-то речонку вброд, поднялись на крутой берег и за ним потянулась вновь пустынная неприятная равнина.

Разъехавшись снова на известное расстояние, шесть путников двинулись по этой равнине с удвоенной внимательностью, но совершенно уже без пути, наугад. Марианна и до переезда через реку почти не говорила, а теперь она умышленно отъехала подальше от Андрея, боясь, чтобы тот не нарушил молчания. Расположение ее духа становилось мрачнее и мрачнее: неожиданная, счастливая находка места стоянки Тамары подняла было сразу в ней всю энергию и зажгла уверенность и надежду, что враг будет настигнут немедленно; но с исчезновением следов его коня, с потерей за лесом всякой путеводной нити, надежда ее рассеялась и погасла среди диких, безлюдных пространств, а вместо нее закралось в душу отчаяние. Ничего, почти не делая и не соображая, панна полковникова ехала машинально, без цели, куда-то в туманную, безмолвную даль, давившую ее своим мертвым однообразием. Усталый конь ее не чувствовал ни шпор, ни удил, то бежал ленивой рысцей, то шел даже шагом. Луна стояла почти в зените. Время было за полночь.

Углубляясь в самое себя, Марианна не заметила, как конь ее пошел словно бы под гору и зачастил рысью; но когда он неожиданно остановился и как-то особенно захрапел, обнюхивая с тревогой воздух, она вдруг очнулась, натянула удила и осмотрелась. Местность представляла чуть заметную котловину, с какой-то зарослью, вырисовывавшейся темными пятнами в глубине; справа и слева двигались к ней две тени; в них Марианна угадала своих спутников и ободрилась, а ободрилась главным образом тем, что не сбилась с пути и удержала взятое направление. Она ударила "острогамы" коня, и благородное животное двинулось вперед, но не покорно, а с какой-то мятежной горячностью, то бросаясь в сторону, то подымаясь на дыбы.

При приближении к зарослям Марианне почудились какие-то странные звуки: они походили не то на храп, не то на какое-то ворчанье. Она насторожила свой слух, но конь не стоял, не давал ей прислушаться, а метался и пятился назад, приседая на задние ноги. Больших усилий стоило ей сдвинуть его с места, да и то конь рванулся только тогда, когда и другие всадники к нему подскакали. С пистолетом в руке, с кинжалом в зубах вылетела первой Марианна на небольшую прогалину, казавшуюся белым пятном среди темных кустов. При ее появлении

несколько теней шарахнулось испуганно в ближайшие кусты; но большинство их осталось неподвижными пятнами на всем протяжении этой площадки. Марианна всмотрелась в эти пятна и ужас оледенил ее члены: перед ней в беспорядке лежали полуизглоданные, полуразложившиеся тела убитых...

Подъехали ближайшие спутники и начали осматривать эти трупы. Оказалось, по сохранившейся одежде и оружию, что меньшая часть их были казаки, а большая — московские стрельцы; очевидно было, что московский отряд, по всей вероятности многочисленнейший, напал на небольшую кучку казаков и истребил ее в неравной битве до единого.

— Это бывший отряд Мазепы, — произнесла глухо Марианна, оглядывая с гневом эту страшную картину.

— Да, — согласился Андрей, — я вот по этому несчастному, — указал он на один обезглавленный труп, — узнаю, что это была команда Мазепы. — Еще в замчище пана полковника поразил меня его странный наряд — желтые штаны и зеленый жупан с синим поясом... вот они, видите?.. Покойник был не простой казак, а приближенный Мазепы...

— Нет сомнения, что это отряд Мазепы, — продолжала после некоторой паузы убежденно Марианна, — и нет сомнения, что Тамара действовал через воеводу и от него получил отряд для поимки Мазепы. Вот почему он и в Гадяче сейчас же, после нашего ухода, бросился не к гетману, а к воеводе... Но Мазепа жив, его пощадили в этой резне... Смотрите, ни на одном трупе нет такой блестящей, роскошной одежды, какую носил посол Дорошенко, да и спешный выезд Тамары убеждает меня тоже, что он жив; но вместе с тем он доказывает и то, что Мазепу и не думали доставлять в Гадяч, а порешили сразу отправить в Москву. Тамара и бросился, вероятно, задержать его высылку, так как мое предсказание сулило ему всякие блага лишь при одном условии, чтобы и Мазепа был с ним.

— Все твои думки совершенно верны, — подтвердил мнение Марианны Андрей, — только вот что: коли Тамаре нужно было поторопиться "перейняты" Мазепу, то ему следовало удариться сразу на Московский шлях, а не делать крюка.

— Об этом я и думала, — сказала Марианна, — но вероятно какое-то обстоятельство задержало высылку Дорошенковского посла: либо он ранен был и так сильно, что хворого везти не решались, либо сам воевода хотел с него снять здесь на месте допрос... Во всяком случае я убеждена, что Мазепа находится до сих пор в том же самом заточении, в какое он попал после этого разгрома... и заточение это должно быть, по-моему, где-то недалеко от этого кладбища; вот потому и Тамара сюда отправился.

— Так-то так, панна полковникова, — заметил печально Андрей, — но где искать его? Ведь он может быть и там, и там, — кругом... В какую же сторону броситься?

Все призадумались. Броситься наугад, — значило не только отдаться случайности, но потерять совершенно и этот центр, и остальных сотоварищей.

— Вот что пока пришло мне в голову, — заговорила снова Марианна, — ведь наверное от большого отряда конного остались какие-нибудь следы, куда он удалился; по этому направлению я и двинусь; а вам всем советую остаться здесь и подождать других наших команд, даже послать четырех наших казаков на розыски их, а когда соберетесь все вместе, тогда и двинетесь отсюда же на четыре стороны поискать какого-либо хутора, либо укрепленного наскоро городища.

Все согласились с мнением Марианны; один только Андрей стал просить, чтобы она одна не

ездила, и получил разрешение сопровождать ее.

По обеим сторонам за прогалиной тянулся кустарник, достигавший вышиною почти человеческого роста, а потому при лунном освещении решительно не было возможности рассмотреть чьих-либо следов.

Андрей с Марианной объехали кругом по опушке весь этот оазис, но и на окружности его не было ими замечено ничего. Удаляться при таких обстоятельствах вглубь было бы полным безрассудством, а потому Марианна, хотя и с крайним нетерпением и досадой, но должна была подчиниться советам Андрея. Они возвратились снова к оставленному кладбищу и нашли своих товарищей безмятежно спящими подле трупов. Расседлав и спутав своего коня, Марианна тоже прилегла, положивши голову на седло, чтобы хоть размять свои кости и дать некоторый отдых усталому телу.

При утреннем солнечном свете вся команда принялась разыскивать следы неприятельской конницы и сразу нашла их. Масса оттисков от копыт приближалась с севера к этому месту, здесь же оттиски переходили уже в глубокие, выбитые ямки и взрытые сплошные пространства, а потом с этого пункта направлялись уже другие, более покойные и слабые оттиски на восток, пролегая через кустарники, и виднелись еще за ними, хотя и слабо.

Теперь уже Марианна могла отправиться спокойно по приблизительно видимому направлению. Времени она не теряла и двинулась вперед с Андреем, придерживаясь едва заметных следов. Вскоре, впрочем, они совершенно исчезли, и путники снова должны были отдаться на волю случая. Было уже около полудня, а они еще ровно ничего не находили. Кругом лежала выжженная солнцем однообразная ровная степь, без всяких примет. Глаз утопал и терялся в этом пустынном, как мертвое море, просторе.

— Я думаю, нам бы лучше возвратиться назад, — попробовал, наконец, прервать упорное молчание Марианны Андрей, — здесь ничего нет, и мы удалимся только от стоянки и потом не найдем ее.

Марианна молчала, она ехала давно уже шагом, наклонивши бессильно голову и опустивши поводья.

Андрей повторил свой вопрос и не получил ответа. Он тоже отпустил поводья коню, осунулся поудобнее в седле и, незаметно для себя, погрузился в легкую дремоту. Долго ли шел его конь и куда, — он не сознавал, покачиваясь равномерно в седле, и был разбужен лишь окриком: к нему навстречу! несся казак из их команды и кричал: "Нашли, нашли!"

Андрей восторженно и полетел к нему тоже навстречу.

— Что нашли, кого нашли?

— Нашли хату в байраке, окруженную частоколом; наши спрятались и сторожат, послали за вами.

Оглянувшись тогда Андрей поискать глазами Марианну и увидел, что она была по крайней мере на милю впереди. Пока нагнали ее и поворотили коней назад, — прошло немало времени.

Солнце уже было на закате и садилось за подымавшуюся тучу. Обрадованная, ободренная новой надеждой, Марианна понеслась вихрем вперед. Путники едва успевали поспевать за ней; но все-таки, несмотря на эту бешеную скачку и быстроногих коней, они только в глухую ночь, проколесивши вдоволь по оврагам, напали на тропу и нашли своих товарищей в

затерявшейся среди дикой окрестности балке...

LIV

Времени терять было нельзя, да и нетерпение Марианны доходило уже до экстаза. Посланы были тотчас "пластуны", они сделали со всеми предосторожностями и хитростями разведку, которая показала, что никакой стражи наружной у частокола нет, и что даже ворота как будто не заперты на болты и засовы. Подошли тогда все к ним смелее и прислушались. За частоколом, внутри двора, царило глубокое безмолвие, даже видимо не было там обычных сторожей у поселян — псов, иначе бы они давно отозвались... Это обстоятельство озадачило всех и особенно поразило Марианну, терпевшую в своих лихорадочных поисках фатально неудачу за неудачей; словно судьба издевалась над нею, то дразня неожиданно вспыхивающей надеждой, то сменяя ее мрачным отчаянием.

Команда тогда дружной навалилась на ворота, и под давлением ее они заскрипели и распахнулись.

В дворике было совсем тихо и мертво-спокойно: при входе их ни одно живое существо не пошевелилось, кроме двух крыс, шмыгнувших испуганно под "повитку"; но зато везде были следы насилия и беспорядка, многие хозяйские вещи валялись, а иные были разломаны на куски: или хозяева отсюда торопливо бежали, или здесь произошел кровавый грабеж.

Марианна вскочила в пустые сени и затем в хату; там тоже поразила ее сразу картина разорения, и пахло в лицо затхлой сыростью, как от нежилой "пусты".

— Кто тут? Есть ли кто живой? — крикнула она в отчаянии, не ожидая, конечно, на свой вопрос ответа.

Но, к изумлению ее, кто-то забарахтался на печи и слабым, старческим голосом ответил:

— Есть еще... подыхаю.

Марианна подскочила к "запичку". Из-за кучи тряпья она увидела при тусклом лунном освещении приподнятую косматую голову какого-то старика.

— Вы, диду, один здесь в этой "пусты"? Что "сталось?" Кто вас ограбил?

— Хе, добрые люди, — заговорил глухо старик, — слуги нашего гетмана, либо скорей московские гости... Теперь таких гостинцев жди от тех и других вдосталь... Завелась по всей нашей Украине такая поведенция... вот только негаразд, что меня не добились... — почти задохнулся он от такой длинной речи.

— Гей, сюда! — крикнула, отсунув оконце, Марианна. — Тут лежит умирающий.

В одно мгновение Андрей был в хате, а остальные казаки остались "вартовыми" на дворнице.

— Воды скорей дай из бакляги, — приказала Марианна, поддерживая старика за голову, — и добудь огня!

Несколько глотков влаги освежили деда и облегчили его страдания. Ни ран, ни переломов у больного не было; изнемогал он от старческой немощи, усиленной до смертельного истощения голодом. По словам деда, — он не ел уже ни крохи дней пять и не имел сил слезать с печи за кухлем воды...

— Я и до этой "прыгоды" ходил плохо с клюкой, — шамкал он с передышкой, — а как придавил меня голод, так я и залег на печи... спокойно уже ждал смерти, когда вельможный паныч нашел меня.

— Да неужели вы, диду, при вашей слабости, один тут жили, в этой пустыне? — допрашивала Марианна.

— Эх, любые мои, — пустыня-то не страшна, пустыня, может, теперь безопаснее, чем местечко... С диким зверем можно еще ужиться... а жил я не один... была у меня дочка и внучка... хорошая, трудящая... смотрели за мной, холили, — и дед вдруг заплакал, без гримас, без усилий, как плачут иногда дети, — словно слезы сами, помимо его воли, побежали из глаз по рытвинам его щек.

У Марианны сжалось до боли сердце; перед таким бессильным горем она забыла гнетущую ее тоску. Андрей зажег стоявший в печурке "каганец" и подошел тоже с участием к заброшенному, несчастному деду.

— Где же они? Умерли? — спросила дрогнувшим голосом Марианна.

— Не знаю, панку, не знаю... либо убиты, либо завезены.

— Да кто же? Когда? Какая сталась "прыгода"? — обратился и Андрей к деду.

— А вот, ясный лыцарю, — с остановками и передышками начал дед, — жили мы тут тихо, спокойно и лихого человека не видали... как вдруг это в первый раз... недели две, три тому назад.

— Недели три, говорите? — вспыхнула Марианна и превратилась вся в слух.

— Так, так будет... коли горе мне памяти не отбило, — продолжал старик. — Слышим мы ночью "гвалт" и стук, и конский топот... "перелякалысь"... мои меня не пускают к воротам... там грозят, слышу, разгромить все... Прислушиваюсь — не наша "мова", другая, не понимаю... "отворяй! — кричат, — олух!" А я не разумею... Так кто-то и по-нашему гаркнул: "одчынйя ворота"! Ну, как же его христианского слова не послушаться — я и "одчыныв".

— Боже мой, сердце у меня замирает — проговорила от волнения Марианна, — все это похоже... московское войско и один наш — это, конечно, предатель Тамара... Диду, — обратилась она к старику, подавая ему фляжку со старым венгерским, которую она с собой постоянно брала в дорогу, — выпейте хоть несколько глотков, в вас силы прибавится, а потом и съедите чего-нибудь... Ну, а когда это войско ввалилось, не слыхали ли вы из их разговоров про какую-либо сечу?

— "Гомонилы" они дуже и лаялись, и перевязывали раны, да я ихней-то "мовы" добре не знаю, понять не мог, а вот молодой и пышный шляхтич, дак тот по-нашему лихословил все одному связанному пану.

— А был ли связан еще молодой шляхтич? — перебила деда возбужденная донельзя Марианна.

— Было связанных два — один молодой, пышный, а другой старик, слуга видно...

— Они, они! Слышишь, Андрей, Господь опять нас привел на путь... а я еще роптала, а Господь "обачнише" нас, слепых, — повторяла, обращаясь ни к кому, вне себя от радости Марианна. — Да, да, диду, это они лаялись, разбойники, что досталось и им добре... Это они вырезали отряд

казаков... Но куда же они дели связанного шляхтича?

— Повезли куда-то... подночевали и до света повезли... а молодой атаман так все грозил связанному, что теперь-то он поквитует за все старое, — и сам натешится над ним, и пошлет еще на расправу в Москву...

— Верно, верно, диду, как с книги читаешь, — и тогда-то исчезла вместе с этими "розбышакамы" и ваша дочка, и внучка?

— Нет, ох, нет, мой юначе, — покачал тоскливо головой дед, — тогда-то мои родненькие перележали в "льоху" и их никто не тронул, но дней пять тому назад опять в глухую полночь стала ломиться эта ватага... видимо везли назад пленных казаков... я был хвор и лежал тут, а дочка и внучка выскочили на "гвалт", ну, они сразу выломали ворота и ворвались с руганью, с прокленами... хотели все "спалить"... да не знаю, отчего не подпалили и меня бы успокоили... Вот только все пограбили, даже с хат все вытаскали, меня только почему-то не нашли, а с той поры ни дочки, ни внучки не вижу... Убили, верно, либо на муку взяли... Уж, коли бы живы были, давно бы навестили дида...

— Господь, может, их, сирот, помилует, — вставил тронутый дедовым горем Андрей. — Трупов-то ни на дороге, ни кругом нет... у них, наверно...

Дед печально кивал головой и прикладывал высохшие до костей руки к запавшей груди.

— Диду, — спросила тревожно Марианна, — а не проронили ль они слова, куда "намиряльсь" ехать? Мы бы проследили, да может быть и вашу дочку с внучкой, нашли.

— Ох, не дождать мне того счастья, — встрепенулся конвульсивно старик, — а говорили, как же, говорили свободно и два каких-то пана по-нашему... Что им нужно этих послов Дорошенковых припрятать горазд... да в Москву... а теперь пока засадить их в "льохы" Рашковские: и льохы, мол, надежные, и "окопыще" кругом доброе: не выскочат и не перелезут.

— А где же это, где? Можете ли указать нам путь, дорогой диду?

— Да как же не могу, могу. Местечко Коломах всем известно, а то с милю за ним, на горке.

— Так вы, диду, может, с нами поедете?

— Куды мне, "хырному"? Я вам расскажу "доладно" дорогу: от моего хутора поедете балкою, что на заход солнца, до самой дубровы, она на всем степу одна... "маячыть" — не ошибешься... а за дубровую по той стороне тянется "шляшок" на Рашковку... Вот вы и поедете этим "шляшком" в "ливоруч" до корчмы, а там снова влево рукою подать Рашковское городище... Корчмарь, коли что, тоже покажет, а то и на око видны "окопыща"...

— Спасибо, спасибо, диду, — волновалась Марианна, — не знаю, чем и "дякувать" вас... Мы здесь всяких припасов и воды оставим... а из Рашкова "зараз же" пришлю вам гонца и про ваших известие: коли поправитесь, то к нам перевезут вас, диду.

— Спасенная душа у тебя, пышный юначе, пошли тебе Господь... — захлебнулся даже от подступивших слез старик и, откашлявшись, продолжал: — Только ночью не советую выезжать, а то заплутааетесь: подождите света, отдохните...

Как ни жгло нетерпенье Марианну, но она вынуждена была подчиниться благоразумному совету деда и осталась. Подкрепившись пищей и давши ее с осторожностью старику, наши

путники на рассвете двинулись бодро в надежный уже путь, который они нашли, наконец, после долгих неудач и скитаний. Марианна теперь ехала совершенно спокойно и уверенно; одно только обстоятельство тревожило ее смутно, не опоздала ли она со своей помощью? Не увезли ли пленных из Рашкова? А потому все ее желания слились в одно пламенное — застать Мазепу в "льоху", а о том, как его спасти оттуда, она и не думала.

Без особенных приключений наши путники добрались в тот же день вечером к длинной корчме, что стояла уединенно, между группой высоких осокорей. Выбежал к ним навстречу, растопырив руки от радости и от прилива радушья, жид, и — о, диво! — Марианна узнала его сразу: это был тот самый жид, что сообщил им прежде о Тамаре и о "Дубовий" корчме, куда тот направился.

— Что же это? Мы опять приехали в "Обидрану" корчму? — вскрикнула она от изумления.

— Ай, это ясный грабя! — засуетился, закашлялся еще больше жид. — И пышное панство! Ой, какое для меня счастье! Только, ясноосвецоный грабя, это не "Обидрана корчма", а это тоже моя аренда, только зовется "Пидрашквивською" корчмой... Там-то корчма на Роменском "шляху", а эта на Рашковском, за "Дубовою" корчмой, только не в лесу, а в поле...

— А, так вот почему мы не нашли нашего приятеля, — обратилась Марианна к Андрею, — он, значит, обманул нас: бросился в лес, а оттуда в противную сторону.

— Как лис старый, — засмеялся Андрей, — спутал следы, а мы и прорвались через лес и пошли колесить...

— Но постой, — остановила его Марианна, — а молодича на хуторе в степи видела же Тамару и следы были от копыт...

— А может, то другой кто был в кожухе?..

— Милости прошу, вельможное панство, сделайте ласку, — просил между тем, умильно grimасничая и потряхивая пейсами, жид. — До "господы" прошу... все, что панство желает, все, что панству угодно...

— Ты вот что скажи мне, — отвела его несколько в сторону Марианна, — только по правде, за правду я заплачу тебе щедро... ты же меня знаешь?

— Ой, знаю, верю... Цц... Цц..! — зачмокал губами "шынкар".

— Ну, так вот что: не знаешь ли ты досконально дороги к Рашковским "льохам"?

— До городка? Как не знать — знаю: вот недалечке тут... оттуда у меня завсегда и пьют, и ночуют...

— О? Вот и отлично... Теперь там, верно, никого нет, так ты нам все и показать можешь... Говорят, — важные окопы и "льохы" и вплоть до самого Рашкова.

— Ох, ох, грабе... льохы там, так "хай его маму морду", а окопища... Только, ваша яснотельможность, теперь там не пусто, теперечки в льохах какие-то важные пленники и в городке "дозор" московской стражи, у меня каждая смена бывает, добре пьют, нечего жаловаться, добре, только вот, как они говорят, денег не любят платить, а все в долг, — "на борг", как и важная шляхта...

— Так пленные, говоришь, тут еще? — переспросила Марианна, едва скрывая охватившую ее радость.

— Тутечки, тут... их недавно привезли.

— Господи! Прибежище наше! В деснице Твоей лишь спасенье, — промелькнула в мыслях Марианны горячая молитва и погрузила ее душу в радостное умиление.

Все замолчали. Андрей обдумывал, как воспользоваться новыми обстоятельствами. Жид ждал распоряжений.

— Слушай, жиде, — прервала наконец молчание Марианна, — нет ли у тебя отдельной комнаты и доброго чего пополоскать горло, так мы бы выпили и не "на борг", а на чистые дукатики...

— Как не быть отдельного покоя для такого ясного панства! — вздохнул от восторга "шынкар".
— Есть, есть и все, что только угодно для панских потреб... Милости прошу! — и он повел своих ясных и дорогих гостей в темные огромные сени ("заезд"), где слышно было ржание коней, где стояли посредине повозки и буды, где навалена была кроме —того и всякая дрянь: колодки, дрова, седла и упряжь.

Ощупью, натываясь то на то, то на другое, пробирались Андрей и Марианна за жидом и наконец вошли вслед за ним в какую-то конуру. Жид потом побежал за вином и за "свитлом", а Марианна шепнула Андрею, чтобы он привел сюда и товарища хорунжего, Чортовия, дошлого и опытного казака во всякой "справи".

Оставшись одни, наши путники начали обсуждать меры, какие нужно было предпринять для спасения заключенных. Прежде всего нужно было узнать, как велика в городке стража, и есть ли возможность проникнуть в это городище, или придется его добывать силой? Но их было всего-навсего шесть человек, а Варавка и прочие команды исчезли; если они съедутся где-либо, то во всяком случае сюда не поедут. Положение казалось отчаянное; но этой мысли никто не хотел допустить, после стольких передраг и испытаний было бы страшным ударом потерпеть неудачу у порога заключения несчастных. Был призван сюда для разъяснения многих вопросов жид. По его показаниям, стражи в городке было не больше пятнадцати человек, потому что ежедневно у него бывает человек семь, восемь, т. е. полсмены, а столько же, вероятно, остается в городке; ну, если прибавить еще двух, которые, как начальство, остаются там, то всех больше семнадцати, восемнадцати быть не может. Против такой силы, да еще в укрепленном месте, число освободителей было уже чересчур ничтожно; а жид еще, как нарочно, расписывал страшные рвы, высокие насыпи с грозным частоколом, железные двери у каменных подземных темниц.

Все приуныли и мрачно задумались; Марианна бледная, со сверкающими глазами, сидела во время всех этих расспросов отдельно в темном углу и не принимала никакого участия в беседе. Вдруг она, во время наступившего молчания, быстрым движением подошла к жида.

— Слушай, жиде, — заговорила она взволнованным голосом, — я заплачу тебе так, как ты и не ожидаешь, если ты мне поможешь пробраться в тот лех и спасти моего друга, который невинно захвачен... или по крайней мере хоть увидеться с ним.

— Ой, трудно, ясновельможный грабюню, — замотал головою жид, и пейсы затрепали его по щекам, — трудно, вей мир, как трудно... Я для пана и перерваться готов... потому что грабя меня б не обидел... Разве вот подкупить их? Они любят пить и все такое... а деньги все на свете, все! — поднял он торжественно вверх два пальца, — с деньгами можно весь свет

вывернуть наизнанку, дали-Буг!.. Так отчего же не попробовать? Можно, грабуню, можно! Хороший гешефт, добрый гешефт!

— А ты говоришь, что они, — эта стража, добре любят пить?

— Ой, мамеле, как любят! Если им поставить бочонок, так будут пить до дна.

— Ух, добре! — потер руки с особенным удовольствием Чортовий, — можно "смыкнуть" и уложить их покотом...

LV

— Панове, вот у меня какая думка заворушилась в башке, коли одобрите, да Бог поможет, то авось и удастся наше дело, — проговорил, после некоторого раздумья, Чортовий.

— А что же ты, пан-товарищ, придумал? — спросила с оживленным интересом Марианна.

— А вот что, панно полковникова. Я пойду сейчас с жидом в корчму, как проезжий, или лучше, как бежавший от преследования Дорошенко казак. Конечно, такому и Бог велел примазаться к чужим казакам, поискать в них покровительства, побрататься. А брататься без оковитой нельзя, — это тоже всякой христианской душе известно. Ну я их и начну накачивать, да с таким расчетом, чтобы они еле добрались до своего гнезда...

— Если накачивать, так ты уж так накачай их, чтоб замертво остались в корчме, — добавил повеселевший Андрей.

— Ой, ой, как еще можно! — поднял обе руки в знак полного утверждения жид, — как свиньи лежать будут.

— Нет, это мне не расчет! — возразил Чортовий. — Если они останутся здесь, то за ними пришлют кого-либо... Заберут этих, а остальных больше не пустят. А мне нужно, чтоб все перепились, чтоб трезвых осталось два, три человека на нас шесть!

— Эх, славный ты казак! — воскликнула с чувством Марианна.

— Я еще, панно полковникова, вот что хочу сделать, — продолжал развивать свой план Чортовий, — одного-то я напою "до мертвяка", а остальных до такой меры, чтоб доползли еще до городка... Вот я с этого, что здесь останется, и сниму одежду, переряжусь в нее, да с пьяными и отправлюсь в крепостцу; притворюсь так пьяным, упаду где-нибудь и захраплю, а за мною, полагаю, и мои собутыльники расползутся под окопами и лягут трупами до позднего утра. А вот когда за этой сменой явится сюда в корчму другая, то нужно, чтобы взялся кто и другую смену свалить с ног "оковытою", тогда бы вышло расчудесное дело!

— Слично, слично! — одобрил с восторгом этот план жид, быстро ходя по комнате и подбрасывая от удовольствия заложенными за спину руками свой "лапсердак": он уже считал в уме, сколько потребуется для выполнения этого плана "оковытой" и меду, и какие перепадут в его карман барыши.

— Да я берусь перепоить их, — откликнулся на вызов Андрей.

— Нет, пане хорунжий, — возразил Чортовий, — не подобает тебе пить, ведь невозможно же напоить до "мертвяка" других и не нахлестаться самому?.. А ты нам, пане, нужен будешь трезвым, да еще как будешь нужен! На эту потребу, сдастся нам, и Лунь годится: он коли

поусердствует, то всех перепьет; всех "мертвяками" уложит... Тогда-то ты, пане Андрию, с панной полковниковой и "рушайте" в городок смело, захватив остальных и Луня, — значит пятерых, да я буду шестой, — и ворота отворю вам... А сколько же найдется за окопами трезвых? — Наиболее три-четыре души... Так разве тогда мы с ними не справимся?

— Справимся, еще как! — подхватил Андрей.

— Ой, вей! — потер руки корчмарь.

Марианна, затаив дыхание, слушала Чортовия, и когда он замолчал, при одобрениях жида и Андрея, она торжественно произнесла:

— Да благословит тебя Господь за твою "пораду", исполни же ее, а мы за тобою всюду пойдем, и верь, что никогда не забудем твоих услуг, — ни я, ни отец мой! — и она искренне пожала казаку руку.

Андрей обнял горячо Чортовия и вышел с ним быстро из конурки; он спешил удостовериться, где разместилась его команда, чтобы сделать ей нужные распоряжения, а Чортовий направился прямо в корчму; жид же, с развевающимися полами "лапсердака", словно вампир, бесшумно полетел вперед среди темноты ночи на свою наживу, забывая в эту минуту, что выгодный гешефт может окончиться для него и печально.

Оставшись одна, Марианна почувствовала какое-то изнеможение: действительно, постоянное напряжение за последние дни ее нервов переутомило, наконец, и этот сильный организм.

Хотя и волновали Марианну в настоящую минуту нахлынувшие разные чувства, — и радость, что нашли, наконец, после стольких неудач, несчастного пленника, и тревога перед предстоящей последней попыткой освободить его из когтей Тамары, но все эти волнения потеряли остроту и не жгли сердца едкой болью, а только заставляли его тихо трепетать, замирая. Марианна прилегла на неуклюжий топчан, стоявший в углу комнаты, и начала думать о том, какую она даст блаженную минуту Мазепе, когда крикнет ему, что он свободен! Да, но эта минута, пожалуй, и для нее будет не менее счастливою. — Почему же? — поставила она себе вопрос и над ним сладко задумалась. — Да потому, — успокоилась она на одном решении, — что он наверное сослужит для родины великую службу. Конечно, эта уверенность и подкупила целиком ее сердце, а пережитые, ради нового друга, тревоги и муки сроднили ее с несчастным страдальцем. Потом фантазия начала рисовать ей картины ее встречи с растроганным отцом и с благодарным гетманом... далее и эти картины стали тускнеть и обрываться, мысли спутались и Марианна уснула крепким, молодым сном.

Долго ли она спала, или нет, она не сознавала, а разбудил ее только громкий оклик Андрея:

— Пора, панно, вставать! Все уладилось!

Марианна вскочила и не сразу поняла, где она и в чем дело; только через несколько мгновений придя в себя, она встрепенулась радостно и почувствовала, что сон совершенно освежил ее силы. Бодрая и возбужденная предстоящим исходом последних усилий, она поспешно вышла вслед за Андреем и нашла свою команду за корчмой. Темный силуэт жида двигался в стороне тревожно, то приседая, то припадая даже к земле, чтобы увериться, не слышно ли подозрительного шума.

— Я, ясный грабя, все для вашей милости делаю, — заговорил он вкрадчивым шепотом, когда приблизились к нему Марианна с Андреем, — уж такого делаю, такого, какого ни один жидок не наосмелится, и даже дурмана подмешал в "оковыту" для большей "певности" Я знаю, что

панская милость меня не обидит. А все-таки, я доведу вашу команду до ворот городища — покажу вам их, а сам назад... потому что... ой, вей!.. Да и на что я там панствую? Там уже и без меня будет "справа", а у меня "балабуста" — жена и дети...

— Ну, ну, ступай! Укажи лишь дорогу, а там хоть и к "балабусте"! — сказал раздражительно Андрей, и все двинулись вслед за жидком в сырой, непроницаемый мрак темной осенней ночи. Жид, впрочем, на всякий случай, шел под конвоем двух казаков с обнаженными саблями.

Хотя эта уединенная крепостца находилась и в близком расстоянии от корчмы, но путникам нашим показалась дорога к ней бесконечной: путалась она из стороны в сторону, тянулась то вверх, то вниз по страшным неровностям и прерывалась рытвинами. По резкому, холодному ветерку Андрей догадывался, что близок уже рассвет, а они все колесят по степи: у него зашевелилось в груди подозрение относительно жида. Не высказывая его Марианне, он подошел к нему и, приставив к виску его пистолет, спросил сдавленным голосом:

— Где же этот городок, шельма? Если не будет его сейчас, так башка твоя разлетится в черепья!

— Ой, панюню! — отшатнулся жид. — Ой, не "жартуй", бо черт может всего "накоить"... а городок вот перед вашим носом.

— Где, где? — спросил один из конвойных, перепивший всю смену, — Лунь; у него теперь уже не было в голове и капли хмелю. — Ой, черт бы тебе в зубы, — вскрикнул он через минуту, — "трохы-трохы" не угодил в ров!

Все двинулись вперед осторожно. Действительно, перед ними тянулся дугой широкий ров, за которым среди темной мглы выделялся едва заметно черный силуэт окопов. Все притаились и прислушались. За окопами царила мертвая тишина. Лунь приставил кулак к губам и завыл по-волчьи; недалеко от них, немного вправо, послышался в отклик такой же вой, за которым вдали отозвался еще один.

— Чортовий отозвался, — прошептал Лунь.

— И собака, — добавил другой казак.

— Ворота должны быть направо, — соображал Андрей. — Осторожнее, за мною, да берегитесь рва!

— А жида все-таки не пускай! — распорядился он шепотом. :

— И коли только что, так чтоб и с места не двинулся!

На это приказание послышался было вопль, но он моментально был подавлен.

Вскоре направо показался не то перекидной мост, не то просто "гребля", а за нею в глубине и ворота; они были полуотворены и впереди них стояла какая-то тень, призывавшая к себе всех энергическими жестами: то был Чортовий.

Он сообщил шепотом Андрею, что пришедшая с ним партия спит непробудно, да и перевязана еще им, что у "льоха" стоит один "вартовый", и что комендант с двумя товарищами спит в дальней землянке.

Тихо прокрались наши путники во двор городка и начали держать короткий совет, как

поступить с "вартовым": убить ли его, или связать и заткнуть паклею глотку?

— Если возможно освободить узников без кровопролития, то наилучше, — сказала Марианна, — тут ведь стража хотя и, ненавистника нашего Бруховецкого, но из нашего же брата — казаков; но если эта стража набросится на нас, то не щадить ее: смерть за смерть! Хоть нас перебьют, хоть их "вытием", а не пожалеем себя для спасенья узников, жизнь которых нужна для Украины!

— Костями ляжем, панно полковникова, а своих не выдадим! — ответили дружно все.

— Только вот что, ясновельможная пани, — заметил Чортовий, — нельзя без оглядки всех и вырезать: а ну, пан Мазепа окажется в другом "льоху"... Говорят, что в этих "льохах" неисходимых проходов и закоулков тьма... то где тогда достанем мы языка?

— Так, это верно, — согласился Андрей, — командира нужно приберечь, и я из жил его вымотаю признание.

Все двинулись воровски вслед за Чортовием, успевшим уже высмотреть, где "льох" и где "вартовый".

Марианна осталась с двумя казаками в засаде, а Андрей с Чортовием и Лунем поползли ко входу подземной темницы. Марианна превратилась вся в слух и дрожала от охватившего ее волнения; кругом было беззвучно, только близко от нее что-то равномерно стучало, словно билась в клетке пойманная птица; но панна не могла уже сообразить, что это трепетало ее собственное сердце.

Наконец вдруг послышался ей торопливый шорох, кто-то тихо вскрикнул и грузно упал на землю; но звук тотчас же был заглушен и превратился в глухой задавленный стон.

— Приприте, братцы, колком двери в землянке, — раздался голос Андрея, — ты, Лунь, посторожи, на всякий случай, там у дверей, а мы здесь распорядимся и сами.

Марианна со своими казаками выскочила смело из засады и присоединилась к Андрею. Бросились ко входу в "льох", но на дубовых, окованных дверях висело два замка почтенных размеров.

— Что же делать? — раздумывал вслух Андрей, повертывая в руках десятифунтовые привески, — этакой цацки и обухом не расшибешь, а ключи, очевидно, хранятся у коменданта...

— Добыть, во что бы то ни стало, — скомандовала Марианна.

— Пойдите, братцы, — отозвался Чортовий, — я вот еще захватил на всякую "прыгоду" эту штуку, так попробуем, — и он вытянул из-под полы тяжелый "подосок", могший заменить с успехом добрый лом.

Заложили этот своеобразный лом за болты; все поднажали дружно на другой конец рычага: болты подались, согнулись и начали выходить из своих гнезд; наконец, с треском и звяком они упали, и дверь, заскрипев, подалась внутрь, раскрыв черный свой зев, из которого пахнуло сырым, затхлым холодом.

— Не бойтесь! Мы ваши друзья! — крикнула нетерпеливо Марианна в открывшуюся дыру.

Раздался гулко ее голос, прогремел, как бы в пустой бочке, и замер, но через несколько

мгновений из глубины донесся далекий, стонущий отзвук.

— Марианна! Осторожней! — остановил ее порывистое движение Андрей. — Без "свитла" можно свернуть себе голову. Гей, добудьте, братцы, огня! — обратился он к товарищам.

Посыпались искры в одном и другом месте, и вскоре запылал импровизированный факел, освещаая красноватым, мигающим светом мрачное, длинное устье подвала.

По крутым земляным ступеням спустились освободители в глубину, прошли еще довольно длинный коридор и наткнулись снова на дверь с висячим замком; отбить последний было уже легко и через минуту все очутились в низком и душном подвале.

Андрей поднял высоко горящую головню, в углу задвигались три тени, а два человека стояли уже посреди подвала: оба были пожилых лет, бледно-зеленые, с впалыми щеками.

— Кто вы такие? — спросил Андрей.

— Посланцы гетмана Дорошенко, — ответил более высокий.

— Я — Куля, а то мои товарищи.

— А где же Мазепа? — перебила его страстно Марианна.

— Мазепа? — переспросил болезненным голосом Куля. — За ним-то нас и послали.

— Так его здесь нет? — вскричала Марианна не своим голосом.

— Нема и звания! — раздался в ответ чей-то голос.

Марианна пошатнулась, схватилась рукой за мокрую, холодную стену и тихо опустилась на землю...

LVI

Стоял пасмурней осенний день. Во всех дворах села Волчий Байрак, тонувшего в разукрашенных осенью желтых и багровых левадах, кипела оживленная работа. Во дворе отца Григория, настоятеля маленькой деревянной церковки, слышны были также громкие удары цепов и веселые "перегукування" молодежи, копавших на огороде картофель, звонко раздававшиеся в поредевшем воздухе.

Местоположение дворища о.Григория не имело в себе ничего красивого; усадьба его находилась в самой глубине балки, по отлогим склонам которой разбросалось село; видно было, что хозяева, ставившие здесь свою хату, не заботились о красоте местоположения усадьбы, о широком горизонте, а руководствовались более хозяйственными соображениями, — близостью воды и сенокоса, а также и тем, что к речке земля для огорода лучше и капуста родит хорошо. И действительно овощи у о. Григория всегда удавались "напрочуд", а капуста, тугая и сладкая, составляла предмет зависти всех соседних хозяек. Впрочем, причиной этому была, верно, не только одна близость речки, извивавшейся по сенокосу, который прилегал к самому огороду о.Григория, а и старания его хлопотливой дочери, чернобровой и веселой Орыси.

Во всем дворище о.Григория видно было присутствие радетельной хозяйской руки. Отличалось оно от обыкновенной крестьянской усадьбы только большей зажиточностью: Усадьба

прилегал к самой церковной ограде, в которой проделана была даже маленькая калитка для большего удобства "панотця". Посреди обширного, зеленого дворика стоял колодезь с высоким "журавлем" и с выдолбленной колодой, пристроенной для водопоя коров, лошадей и волов. Прямо против ворот в глубине двора находился сам "будынок" о.Григория, представлявший из себя ту же крестьянскую хату, только больших размеров, разделенную сенями на две половины: на пекарню и на "кимнату". Стены хаты были чисто выбелены, большие окна с "виконницами" окаймляли зеленые полосы с раскрашенными на них зелеными цветами, а "прызьба" была вымазана ярко-желтой глиной. Высокая крыша домика, крытая золотой соломой, с гребнем наверху, спускалась по углам красивыми уступами и выглядела нарядно.

По правую руку от ворот тянулись во двор разные хозяйственные постройки: также чисто вымазанные и покрытые новой соломой "стайня", "возовня", "комора", "сажи" и другие; налево расположился ток, отделенный от двора плетнем, на току виднелись стоявшие рядами скирды, стожки и высокая "клубня". С трех сторон домик обступал густой фруктовый садик, теперь уже желтый и багровый, с повисшими на деревьях гирляндами густо разросшегося хмеля.

В данный момент в дворике о.Григория не видно было ни души, только штук десять уток хлопотало у разлитой вокруг колодца лужи, да свинья, окруженная огромным потомством, с громким хрюканьем бродила по двору; и хозяева, и работники — все были заняты делом.

В саду у самой пекарни, подле плетня, на котором растянута были длинные полосы сохнувших полотен, терли на "терныцах" коноплю две молодые девушки; одеты они были наряднее обыкновенных крестьянок, а потому их можно было бы принять обеих за дочерей о.Григория, если бы не совершенное несходство их лиц. Одна из них была смуглая брюнетка с длинной черной косой и сверкающими при каждой улыбке ровными белыми зубами. У другой было нежное и бледное личико, обрамленное светло-русскими пушистыми волосами. Брюнетка работала живо, быстро и сильно, ее небольшая, но крепкая рука с силой ударяла доской по толстому пучку конопли, которую она быстро протягивала левой рукой; при каждом таком ударе из конопли сыпался целый дождь кострицы. Другая же девушка работала, хотя и старательно, но как-то тихо, бессильно; по всему было видно, что мысли ее были далеко от этой работы; большие, темные глаза ее глядели невыразимо грустно.

Брюнетка остановилась на мгновенье, расправила спину, подсунула выбившуюся из-под красной повязки прядь волос и, взглянув на свою подругу, произнесла с улыбкой:

— Ну и работаешь ты "по кволуму", Галина, ей-Богу, словно два дня не ела!

Девушка, к которой относились эти слова, вздрогнула; казалось, обращение подруги оторвало ее от далеких мыслей.

— Я сейчас, сейчас, Орысю, — произнесла она звонким, но печальным голосом и торопливо потянула свою "горстку" конопли, далеко не такую мягкую и выбитую, как конопля подруги.

Орыся бросила внимательный взгляд на свою подругу, покачала с сомнением головой и принялась с прежним жаром за работу.

Несколько минут обе девушки молчали, слышен был только усиленный стук обеих "терныц". Наконец, Орыся заговорила снова.

— Все-то ты журишься, Галина! Эт, ей-Богу, ну и "вдача" у тебя! Тут иногда так на сердце накупит, что, кажется, разодрал бы весь свет пополам, а плюнешь на все, сцепишь зубы, да и молчишь!

С этими словами она порывисто выдернула свою "горстку" конопли и принялась ее выбивать с такой силой о ножки "терницы", как будто в самом деле хотела разорвать, если не весь свет, то хоть этот пучок конопли пополам. Казалось, энергическое движение слегка успокоило какую-то досаду, кипевшую в ее сердце. Она уже спокойнее положила на терницу свою "горстку" конопли и начала снова выбивать ее доской.

Галина молчала.

Орыся опять вытряхнула свою коноплю, опять положила ее и обратилась уже спокойным голосом к Галине, не подымая головы.

— Все о нем думаешь?

— О нем, — тихо ответила девушка. — Почему он не вернулся, Орыся? Сказал, что вернется сейчас и заберет нас с собой. Я ждала так, ждала... Господи! На могилу каждый день ходила, все смотрела в ту сторону на пивдень, куда он уехал с кошевым... Уж мы и жито сжали, его все еще не было, уже и ячмень покосили, и просо... И свезли весь хлеб на ток, и гречку скосили, а его все не было и не было. — Голос Галины слабо задрожал. — Я все ждала, все ждала, все еще надеялась, а он не приехал. Орыся, голубочка, скажи, отчего? Отчего? Орыся с минуту помолчала, а затем ответила уклончиво:

— Гм... А разве он так уже нужен тебе? Ну, мало ли что может быть? Поехал, загулялся... а может, по какой войсковой потребе куда-нибудь надолго уехал. Да разве уже без него и жить нельзя? Разве уже лучших казаков нет?

— Зачем мне казаки, Орысю?

— Зачем? Вот спрашивает! А он же зачем?

— Затем, что я его люблю.

— Ну, и другого кого полюбишь.

— Нет, нет, Орысю! Никого мне, кроме него, не надо! Я не люблю ваших казаков, я их боюсь!

— А его же не боялась?

— И его сначала боялась, а потом нет. Он не такой, как все, Орысю! Он такой ласковый, любый, добрый. Он меня сестрою своей звал... Ох, Орысю... умру я без него.

— Еще что выдумай! Когда за каждым из них умирать, так и жить не стоит.

— Не за каждым, Орыся, а только за ним... такая мне "нудьга" без него, такой сум...

Девушка замолчала и печально поникла головой.

— Так, значит, таки "покохала"? — произнесла серьезно Орыся.

— Не знаю, голубко, а только знаю, что умру я без него. Теперь вот, я как глухая и как слепая стала... Знаешь, Орысю, и смотрю я — и ничего не вижу, и слушаю — и не слышу ничего... И будто я уже не я, словно тут в середине порвалось что-то., и будто все, что кругом меня, так далеко-далеко, и слышу я, и вижу его, как сквозь воду, а в сердце так тяжело, так сумно... Все згадуется его "мова", его голос...

Девушка замолчала и затем продолжала снова, устремляя на Орысю свои бесконечно печальные глаза.

— Ох, Орысю, зачем же Бог занес его на наш хутор? Баба говорила, что то счастье мое привело его, а оно вышло не счастье, а горе, "непереможе" горе.

Слова Галины тронули до глубины души сочувственное сердце подруги. Орыся устремила на Галину пристальный взгляд и глубоко вздохнула. Теперь она была мало похожа на прежнего, хотя и мечтательного, но веселого и жизнерадостного, как дикая козочка, ребенка. За это время она и похудела, и побледнела, горе и печаль сделали ее сразу взрослою, но от этого ее бледное личико сделалось еще прелестнее. Большие, темные глаза ее глядели бесконечно печально. Она больше не плакала, она тихо и незаметно вянула, как маленький полевой цветочек, забытый на скошенном поле.

У всякого при взгляде на это бледное, молодое существо сжималось от жалости сердце, и Орыся почувствовала необычайный прилив нежности к бедной подруге.

— Ох, ох! — вздохнула она, — да ведь он не ровня тебе, Галичка, ведь он вельможный пан... шляхтич!

— Так что же с того, что шляхтич? Он наш православный, он с казаками за одно, Орысю! Да вот и дид, и кошевой Сирко говорили: как бы побольше таких!

— Так-то оно так, Галичка, — продолжала раздумчиво Орыся, — может, он вправду славный рыцарь, да ведь все-таки он не ровня тебе.

— Не ровня, — повторила печально Галина, — что ж, я сама знаю, что я бедная, глупая дивчина, а он такой разумный, такой "зналый", такой пышный... Да ведь я сама ему о том говорила, а он сказал, что любит меня, что жалеет меня, как никого на свете... А ведь он не стал бы обманывать меня.

— Гм... так значит таки говорил, что любит, а про сватов ничего он тебе не говорил? — произнесла значительно Орыся.

— Нет, а что?

— А то, что если казак дивчину вправду любит, так сейчас про сватов говорит и засылает их.

Галина ничего не ответила. Несколько минут обе девушки молчали. Наконец Галина произнесла робко:

— Орысю, а вот же ты говоришь, что Остап любит тебя, почему же он не засылает сватов?

— Эт, нашла что вспомнить! — вскрикнула досадливо Орыся, — знаешь, говорят люди, и рада б душа в рай, да грехи не пускают, он бы и сейчас сватов прислал, да батько...

— Что?

— Не хочет отдавать меня за него, да и баста.

— Почему?

— А вот тоже потому, что он мне не ровня! За посполитого, мол, ни за что не отдам дочку. А какой он посполитый!? Не был он посполитым. Его батько вместе с гетманом Богданом ойчизну

боронил, казацким хлебом жил, на войне и голову сложил, а его сына теперь не хотят в реестры занести. А все потому, что теперь такие собаки старшинами поставлены, что кто им "на ралець" добрый гостинец принесет, того и в реестры заносят, а кто не хочет козацкой спины для поклонов гнуть, того в посольство возвращают! Эх! — вскрикнула она, вырывая сильным движением из "терныци" горстку конопли, — кажется, взяла бы рогац, да и пошла бы бить сама таких харциз!

С этими словами Орыся принялась выколачивать с новым остервенением свою коноплю; пух и кострица полетели целым столбом из-под рук раздраженной девушки.

Галина также вытянула и свою коноплю и начала ее выбивать по примеру подруги. Несколько минут никто из них не произносил ни слова.

На току раздавался мерный стук цепов, слышно было, как гелъготали где-то гуси и утки, издали доносилась звонкая перебранка двух молодых.

Наконец Орыся свернула свою коноплю, взвесила ее на руке, произнесла с хозяйским видом: "Славная "плоскинь!" и положила ее к другим таким же жмутам, лежавшим на прызьбе; затем она взяла новый снопик из прислоненных к стене конопель и принялась снова за работу.

— Так значит, Орысю, если не ровня, так уже и любить не может? — спросила наконец Галина.

— Как кто, — ответила, не отрываясь от работы, Орыся, — по-моему — казак ли, попенко или дьяченко, а хоть бы и посполитый, лишь бы по сердцу пришелся, а так — в кунтуше ли он ходит или в свите — мне все равно. Уж если батько упрется, — продолжала она, энергично стучая доской, — так я и уйду, ей-Богу! Не пойду я ни за попенка, ни за дьяченка, а и в "дивках" свековать не хочу! Все это люди себе на горе поведумали, а по-моему, перед Богом — все равны, что купец, что посполитый, что вельможный пан! Вот паны на это иначе смотрят: если пан гербовый, шляхетный, так он на других людей все равно как будто на нечисть какую смотрит. Паны, видишь, совсем особые люди.

— Нет, нет, Орысю! — возразила горячо Галина. — Не говори так, он не такой, он не похож на других панов, он говорил, что будет всю жизнь за наш край и за благочестивую нашу веру стоять, он говорил, что и батько, и дид его с казаками против ляхов шли, что и сам он хочет казаком стать, затем его кошевой Сирко и на Сичь повез.

И Галина с загоревшимися от восторга глазами принялась описывать с жаром Орысе все достоинства Мазепы. Орыся молча слушала подругу, слова Галины были так искренне горячи, что они поколебали, наконец, холодное недоверие Орыси ко всем гербованным панам.

LVII

Орыся подошла к Галине и, обнявши ее, произнесла задушевно:

— Кто его знает, голубка, а может, он и в самом деле такой, как ты говоришь, тогда не журишь даром, вернется, приедет.

— А если... если его и на свете Божьем нет? — произнесла с трудом Галина тихим и нерешительным тоном, показывавшим, что высказать определенно эту мысль было ей чрезвычайно тяжело.

— Эт, что еще выдумала! Что же с ним могло случиться? Не с голыми же руками он поехал. А кругом теперь тихо, ни татар, ни другого ворога не слышать.

— Так хоть бы весточку прислал.

— Через кого? Разве он с собой туда "пахолкив" да слуг брал? Если он на Сичи остался, так, может, с казаками отправился по какой-нибудь потребе, а ты убиваешься дарма! Ты постой, вот вернется Остап, уехал он куда-то, да долго что-то не возвращается, так мы с ним посоветуемся и узнаем, не затеяли ли какого-нибудь похода запорожцы, он ведь знается с ними! А ты "тым часом" не журись, на Бога надейся... Ишь, как "змарнила", голубка, — продолжала она ласково, усаживая возле себя на прызьбу Галину, — Бог не без милости, может, и нам, бедным девчатам, какую радость пошлет. А вон дьяк идет, — произнесла она вдруг радостно, поворачивая голову в сторону ворот, — и, кажется, к батьку, может, и он какую-нибудь "новыну" несет.

Галина также повернула голову и стала смотреть по указанному Орысей направлению.

Действительно, на перелазе, помещавшемся у батюшкиных ворот, появилась какая-то гигантская фигура в огромных чоботищах и длинной свитке, подпоясанной поясом. Небольшая косичка, заплетенная у него на затылке, комично торчала из-под нахлобученной на глаза шапки. Фигура постояла с минуту на перелазе, прислушалась к доносившимся с тока ударам цепов, одним взмахом ноги перешагнула через плетень и очутилась сразу во дворе.

Пройдя беспрепятственно мимо сторожевых псов, лениво лежавших возле конюшни и завилывших при виде его хвостами, дьяк прошел налево и, перебравшись и здесь упрощенным образом через перелаз, очутился на току.

На расчищенном кругу, покрытом зерном, стояли друг против друга о.Григорий и Сыч в простых холщовых шароварах, подпоясанных ременными "очкурамы", и мерно ударяли цепами по лежавшим перед ними снопам. Дьяк подошел к ним и, сбросивши шапку, прорек густым басом:

— Помогай, Боже!

— Спасибо, — ответили разом и Сыч, и о.Григорий, прекращая молотьбу.

— А что, как ты, пане дяче, обмолотился уже? — обратился к пришедшему Сыч, расправляя спину и опираясь на цеп.

— Да с житом, да с ячменем уже покончили, вот гречка еще в стожке стоит, а оно бы... не мешало спешить, да прятать все!

— А что? — произнесли разом и Сыч, и батюшка.

— А то, что дело уже скоро начнется!

— Какое дело?

— Такое, наше, — ответил дьяк, таинственно подмигивая.

— Да ты о чем это? — переспросил его с нетерпением батюшка.

Дьяк подозрительно оглянулся кругом и, увидев, что на току не было никого, кроме батюшки и Сыча, громко откашлялся, прикрыв рот рукою, и затем рассказал слышанную им от поселян новость о приезде гонца от Дорошенко, о том, что он сообщил им, что Дорошенко прибудет в скором времени на левый берег с неисчислимой казацкой силой и с татарской ордой, сбросит

Бруховецкого, соединит Украину и даст волю всем, кто захочет записываться в казаки. А потому, мол, приказывает он им поскорее готовиться, вооружаться и собираться в "купы", чтобы присоединиться к нему.

Рассказ дьяка привел Сыча в неописанный восторг. Он несколько раз перебивал его вопросами и шумными восклицаниями, но священник слушал с некоторым недоверием.

— Ох, ох, пане дьяче! — произнес он со вздохом, — кто-то там намолол в корчме "сим куп гречанои вовны", а ты уже и "на верую" звонишь! Осторожнее, осторожнее, а то как разгласите заранее по всей околице...

— Да что ж, отче, "до Дмытра дивка хытра"[33], говорят люди, — возразил дьяк, захлопав в смущении ресницами.

— До Дмытра! А ты дождись еще Дмытра, а то знаешь, как говорят тоже разумные люди: поперед, мол, батька в пекло не сунься.

— Да мы за батьком, отче, ей-Богу за батьком, и не в пекло, а в рай, — вскрикнул шумно повеселевший дьяк, — от, ей-ей, недоверчивы вы, пане отче, да разве это в первый раз такая вестка к нам с правого берега идет?

— Так что ж, что не в первый? А вспомни, что было с переяславцами?!

— Ну, подхватились заранее, а теперь уже не то, посол нам воистину возвестил, что к Покрову придут к гетману татарские потуги, и он двинется сейчас с ними сюда на правый берег и купно с нами пойдет на стены гадяцкие, дабы вызволить нас из пленения вавилонского и низвергнуть Иуду, Ирода и Навуходоносора в образе Бруховецкого суща!

— Аминь! — возгласил с удовольствием Сыч. — Эх, когда бы мне прежняя сила! Пошел бы я с вами хоть вот с этим цепом на того аспида! Ох, погулял бы! — С этими словами он размахнулся молодецки цепом, но тут же ухватился за плечо и добавил с печальной улыбкой: — Да видно, "не поможе баби и кадыло, колы бабу сказыло"!

Только батюшка не разделил увлечения своих собеседников.

— Послать бы кого из своих на правый берег, чтобы разузнать доподлинно, — заметил он сдержанно.

Но дьяк перебил его с приливом нового азарта.

— Да зачем посылать? Верно, уже так верно, панотче, как то, что я вот здесь перед вами стою. И от Гострого тоже вестка, присылал казака, передавал, как только, мол, дам вам "гасло", так вы сейчас и подымайтесь, потому что Дорошенко прибудет к нам.

— Ох-ох, — вздохнул недоверчиво батюшка, — разве не могли и Гострого обмануть?

— Хе! Кто там Гострого обманет! — вскрикнул шумно дьяк.

— Пане дьяче, великая сила аггела и всего воинства его, — заметил строго священник, — а кто, как не "он", помогает во всем Бруховецкому? Может, и тот посол, что в корчму к вам заезжал, был какой-нибудь "шпыг" Бруховецкого.

— Какой там "шпыг"? Дорошенковский он казак, верно! Он и перстень гетманский показывал, и

обо всем он знает, да и роду нашего, давнего, шляхетного. И прозвище такое знакомое. Как оно?.. Не то словно на коня или на вишню смахивает, — дьяк потер себе с досады лоб, стараясь припомнить прозвище посла, и вдруг вскрикнул радостно. — Да, да! Так оно и есть. Мазепой себя назвал!

При этом имени Сыч невольно выронил из рук цеп, на который он опирался.

— Мазепой! — вскрикнул он, бросаясь к дьяку. — Ты не ошибся, дьяче, Мазепой?

— Мазепой, Мазепой, Иваном Мазепой, — отвечал с уверенностью дьяк.

— И лицом из себя был хорош?

— Да, говорят, зело благообразен!

— Молодой?

— Молодой, как раз в поре казак, ротмистром его вельможности гетмана Дорошенко себя назвал.

— Светлые такие усы и "облыччя" панское?

— Это уже доподлинно не знаю, сам не удостоился зрети, а ты расспроси у наших, — пояснил дьяк, — они видели.

— Он... он... — произнес растерянно Сыч, опускаясь на близлежавшую колоду.

Но дьяк не заметил впечатления, произведенного его словами на Сыча, и продолжал, обращаясь к священнику.

— Так что же, панотче, как оно будет? Просит вас "громзда" на совет, собрались все на майдане, ожидают.

— Приду, приду, сейчас приду, — отвечал озабоченно священник, отставляя в сторону цеп.

— Ну, так я поспешу на майдан. Оставайтесь с Богом, — возгласил дьяк и, занесши ногу над перелазом, отправился тем же путем назад.

О.Григорий оправил на себе одежду, снял с соседнего стожка узкий полотняный кафтан, натянул его, подпоясался кушаком и тут только повернулся к Сычу, который сидел с совершенно убитым видом на колоде, подперши голову руками.

— А что это с тобою случилось, Сыче? Чего "зажурывся"? — произнес он с изумлением.

— Ох, отче, да ведь это он, тот самый Мазепа и есть, которого к нам дикий конь на хутор занес.

— Вот оно что, — протянул батюшка и опустился рядом с Сычом на колоду, а затем прибавил живо: — Ну, так чего жё ты "зажурывся"? Хвалить Бога надо, а он надулся, как настоящий Сыч... Видишь же: и жив казак, и здоров, назад едучи завернет непременно, а мы его известим, что здесь и ты, и Галина у нас проживаете, так мы еще тут и "Исайя, ликуй! запоем.

Но на слова о.Григория Сыч только махнул отрицательно рукой и отвечал со вздохом:

— Эх, отче, отче, не туда "карлючка закандзюбылась"! Вот видите, и жив он, и здоров, а ни он к нам не заехал, ни весточки какой-нибудь не переслал. Уж если бы он что на думке имел, так обозвался бы! Шутка сказать, от Петровок как уехал, так до сего дня ничего о нем не слышали мы, как камень на дно морское упал. Что говорить! Добрый он человек и такой разумный, что слушаешь его, так словно книгу о премудрости сына Сирахова читаешь. И рыцарь из него знаменитый, правду сказать, — видел я много орлов-велетнев, а такого искусного не видал! Сразу видно было, что далеко пойдет. Да ведь как-то он, вельможный, "при боку королевском"[34] был, ох, а сердце дивоче на ранги не смотрит! Он-то к Галочке моей ласковый, да жалостливый был, и ко мне, и ко всем нам, — не могу его злым словом помянуть, — и она-то... вот теперь без него и сохнет, как былиночка в поле. Сыч помолчал с минуту, а затем продолжал снова:

— Обещал, видишь, он при отъезде, назад к нам во что бы ни стало заехать. Может, жалко ему дивчину стало, так утешить хотел, а может, и вправду такое в мыслях имел, а отъехал, да и забыл... О хуторе ли нашем ему теперь думать! — вздохнул он глубоко. — Ну, а вот она, Галина моя, как услышала это слово, так и поклала себе в голову, что он непременно вернется и либо у нас жить останется, либо заберет нас с собой. Вот первые дни ничего она, такая веселенькая была, все ждала, все ему разные "стравы" готовила, и потом уже и задумываться начала, на могилу ходить стала, все сидит там до вечера, да смотрит на "пивдень", не едет ли он, не мелькнет ли где на солнце казацкий спис. А чем дальше, тем больше она "журытыся" стала. И не плакала она при нас, — не видели, а только таяла, так таяла, как маленькая свечечка восковая. Тихая такая стала да печальная. Ни песни, ни шутки от нее не услышишь: все сидит себе молча, тихонько, а как услышит шелест какой-нибудь, — вся встрепенется, как вспугнутая птичка, да и летит к воротам.

Сыч опять вздохнул и печально закивал головой.

— Господи, чего мы с бабой уже ни делали! — продолжал он, — думали, уж не сглазил ли ее кто из запорожцев, много ведь есть меж ними "характерныкив", и все они дивчину хвалили. Так мы уже ее и отшептывали, и водой святой поили, и через след переводили — ничего не помогало! "Гынула" на наших глазах наша дытына, как малая рыбка на желтом песку.

Сыч умолк и затем продолжал уже живее, после небольшой паузы:

— И чего бы ей, отче, так за ним убиваться? Ну, хороший казак, славный, что говорить, да разве он один? Ведь этого товару, ей-ей, хоть греблю гати! Нашлись бы и среди нашего брата... Вот и надумался я тогда, вспомня ваше слово, панотче, перевезти ее сюда, в города; может, думал, увидит она свет Божий, повеселеет да с Орысею "разважытыся", да может, кто из казаков ей по сердцу придется, да не помогло и это, и здесь ничто ее туги не разгонит! Испортил кто-то бедную дытыну мою!..

— Да, не иначе... — произнес задумчиво и батюшка, — молебен бы еще раз с водосвятием отслужить, что ли...

Сыч ничего не ответил.

Несколько минут оба старых друга сидели молча, наклонив седые головы, не будучи в силах понять страдания молодого девичьего сердца. Быть может давно, давно, лет сорок тому назад, чувство это не было бы так чуждо им, но теперь, оглядываясь назад, к дням своей далеко уплывшей молодости, они не могли уже вспомнить того чувства, которое не раз заставляло биться скорее сердца молодых бурсаков...

Наконец Сыч заговорил снова, как бы продолжая нить своих непрерывавшихся размышлений.

— А сказать тоже, почему бы и ему не полюбиться? Я и сам, старый дурень, про "хусткы", да про "рушныкы", да про всякое такое подумывать было начал. И личенько ж у нее хорошее, как у ангела небесного, и сердце золотое, и "вдачи" уж такой тихой, да покорной, как голубка малая, да и роду ж не "абы якого", — полковника Морозенка дочка! Да что она теперь, бедная, против вельможных панн, значит! Ох, ох, прелесть мирская кого не совратит!

— Истинно... суета сует... — добавил тихо батюшка.

И обе седые головы снова наклонились.

И старенький священник, и одичавший дьяк глубоко задумались. Правда, оба они знали о жизни при вельможных дворах, но почему-то она и представлялась им чем-то страшным, пагубным, вроде темного омота, в котором уже грешной душе нет спасения, или геены огненной, наполненной гадами и скорпионами, изображенной местным художником в маленьком притворе деревянной церкви.

Долго так сидели они.

Наконец священник обратился к Сычу с вопросом:

— Что ж ты теперь думаешь учинить, дьяче мой любый?

— А вот что, отче, думаю уезжать на хутор свой.

И на недоумевающий жест о. Григория он поторопился объяснить:

— Видите ли, отче, едуци назад, Мазепа наверное заедет сюда, а если и не заедет, то все равно дознается Галина о том, что он был здесь, захочет увидеться с ним, и сами посудите, лучше ли от того будет? А так, я думаю малым своим разумом, если он, в самом деле, что доброе в мыслях имеет, — чего не бывает на свете Божьем, — так дорогу к нашему хутору всегда отыщет, а если не думает он о горличке моей, так лучше ей с ним и не видеться. Да и утомился я от мирского житья, соскучился за своей пустыней возлюбленной; да и ей там может Господь скорее исцеление пошлет. Так буду собираться? — произнес он вопросительно. — Благослови, отче! О. Григорий поднялся с колоды и, глянувши в сторону своей ветхой церковки, произнес с легким вздохом:

— Что ж, коли так думаешь, лучше будет, — неволить тебя не стану. Бог да благословит! '

LVIII

А Мазепа все время сидел в какой-то землянке, прикованный к столбу, с тяжелыми колодками на ногах: через сени, еще в худшем помещении, лежал на грязном полу скованный! по рукам и по ногам верный слуга его, старый Лобода. В тесной берлоге Мазепы было два крохотных окна, переплетенных накрест железными шинами; правда, эти оконца мало давали света, торча где-то за "сволоком" вверху, и прикрывались еще кустами бурьяна, росшего в изобилии вокруг землянки и на ее земляной крыше, но все-таки в светлый день можно было различить при мутном их свете в этой тюрьме и согнувшийся "сволоком", и выпятившиеся стропила, и облупленные, покосившиеся стены, и новую, дубовую дверь с крепкими железными болтами, а иногда даже можно видеть на стенке и сеточку светлых, золотых пятнышек. В конуре же Лободы не было никакого окна, и он лежал в абсолютной темноте, видя только изредка через скважины своей двери две тонкие светящиеся линии, и то тогда, когда отворялась сенная

наружная дверь. Землянка эта находилась в страшной, непроходимой чащобе, в том же лесу, что окружал Дубовую корчму, только в совершенно противоположной стороне от той, куда отправилась на поиски команда Марианны. Впрочем, если бы часть отряда ее и попала даже на тропу к этой землянке, то все-таки до нее не добрался бы никто: только пеший, знающий хорошо все проходы и лазы в окружающих чащобах, мог до ее пробраться, и то с трудом; к тому же еще землянка ютилась на дне довольно глубокого оврага, заросшего высоким и частым орешником; последний совершенно скрывал ее от наблюдателя, хотя бы тот и очутился на краю оврага.

Четыре стрельца, вооруженные алебардами и пищальями, стерегли эту берлогу денно и ночью; двое из них отдыхали по очереди у дверей узников, а двое ходили вокруг землянки дозором.

Уже почти месяц сидел Мазепа в этой могиле. Много страданий физических и нравственных пережил он и начал мало-помалу деревенеть. Сначала эти колодки и цепи давили и резали его тело, причиняя нестерпимые боли, а от неудобного, неподвижного положения ломило ему все кости, теперь же и руки, и ноги у него отекали, а спина словно окаменела совсем; да и к неудобству положения своего он или привык, или приспособился, — притупилось у него самочувствие: теперь бы пожалуй всякая перемена положения и самое движение причинили ему еще больше страданий.

С момента, когда он, после разбойничьего нападения, попался в руки своего злейшего врага, Мазепа считал уже себя погибшим; к этой мысли утверждало его и то обстоятельство, что нападение было совершено московскими войсками, значит, по приказанию воеводы, а коли на то был еще уполномочен Тамара, то при низости своего характера, он, конечно, воспользуется своей властью и отомстит ему за свой позор на Сечи... "Отчего только он не велел обезглавить меня сразу, как моих несчастных товарищей?" — задавал Мазепа себе вопрос, когда везли его, скованного цепями, в эту берлогу, и решил убежденно, что пощадили временно его жизнь лишь для пыток.

И вот он, прикованный к столбу, ждет этих пыток... Жизнь оборвана и так глупо, так подло! Не в кипучем бою, не в пороховом дыму, не с восторгом победным в груди, а с нестерпимой обидой, под батожем "катив", при смехе врага...

Где же его мечты, где дорогие задачи, к которым рвался он с неудержимой энергией, со светлой надеждой устроить лучшее будущее для своей отчизны? Рассеялись, разлетелись все эти мечты от руки мизерного "дурня"! Какая насмешка, какое издевательство над ним судьбы! То скрутит его, то обласкает, поманит счастьем и для того лишь, чтобы еще более унижить, чтобы больней раздавить!

Мысли его беспорядочно кружатся, обрываются, проносятся перед ним образы дорогих лиц, встретившихся ему в короткие дни его новой, воскресшей было жизни... В беспросветном сумраке ночи то выплывал перед ним, то таял нежный облик кроткого, прекрасного лица с задумчивым, глубоким, любящим взглядом... Это самое личико, помнит он, мерещилось тоже в предсмертном бреду, и тогда казалось ему, что ангел хранитель стоит у его изголовья... А потом, потом этот ангел воплотился в дивную "дивчину" — "дытыну" степей, полюбившую его всеми силами своей чистой души... Сердце Мазепы сжималось от беспредельной тоски: — Где она теперь, что с ней случилось? — допытывался он мучительно у немой ночи. — И не дознался, и не доведалься. Увлек его неудержимый поток и бросил в пропасть... — "Ох, надорвется ее сердце от муки, когда долетит до нее весть о его мучительной смерти: не забыть ей этого горя, — не такая у ней душа! А может быть, и нет ее больше на свете? Да, это было бы лучше и для нее, и для меня! Я бы..."

Звяк болта прервал нить его мыслей.

— А, конец! Вот они... сейчас начнутся терзания! — шептал Мазепа побледневшими устами, поручая свою душу милосердию Бога...

Но входил в его темницу лишь сторож-стрелец, ставил молчаливо перед ним кувшин с водой да краюху хлеба и уходил безмолвно назад; скрипела дверь, звенел тупо болт, удалялись шаги и воцарялись снова вокруг него мрак и тишина.

Мазепа тогда спокойно вздыхал, и воображение снова переносило его далеко. Вот Мазепинцы, низкие с зеленоватым отсветом покои, величавые в своем строгом, старинном убранстве, и его мать, такая же строгая и величавая, хотя с нежно любящим сердцем; она требует от него отмщения врагу, она бы и сама пошла смыть кровью позор ее славного рода, но болезнь приковала ее к постели, а он, сын ее, гордость ее, как же отомстил? Попался позорно в руки другого врага и окончит жизнь, как пес, под палками и плетью!.. Что будет с бедной матерью, когда она узнает о его бесславной кончине? Обнажит она свою серебристую голову, проклянет весь свет и бросится мстить встречному и поперечному недругу за смерть своего единого сына! В порыве бессильной злобы Мазепа делал движение и железо впивалось в его тело; несчастный узник пробовал переменить позу, усесться как-нибудь поудобнее, чтобы смочь забыться во сне, но колодки и цепи не позволяли ему этого, да и не могло слететь к нему даже мимолетное забытье этих нечеловеческих мук...

И вспомнилась ему снова последняя его встреча с дочкой полковника, стройной, прекрасной, с огненными очами... Марианна поразила его своей отвагой, своим умом, своей удалью... Орлица! — вырвалось у него неожиданно восклицание и замерло глухо в этом склепе... И снова носятся перед ним образы недавнего прошлого и сменяются, словно в калейдоскопе, темные — светлыми, "люби" — ненавистными, а время ползет покойно, слепой гадиной и приближает роковую минуту...

Но вот прошел день, другой, третий, неделя, а палачи не являются. Что бы это значило, какая причина? — допытывался мучительно Мазепа; он начинает предполагать, что Тамара воровским образом, своевольно его схватил, и что теперь ему невозможно довершить свое адское дело... Может быть он, злодей, уже схвачен и Бруховецкий. уже спешит освободить его и оправдаться поскорей перед Дорошенко? Но дни проходили за днями, а освободителей ни от Дорошенко, ни от Бруховецкого не было, правда, не было и палачей, и несчастный узник остановился на той мысли, что Тамара, сознавая преступность своего разбоя, скрыл его, а также и местопребывание Мазепы и что последнему придется сгнить заживо погребенным в этой землянке-могиле.

Так прошел почти месяц и Мазепа, утратив всякую надежду на спасение, с каждым днем изнывал все больше и больше в безысходной тоске, одного лишь желая — скорейшего конца своим мучениям.

И вдруг нежданно-негаданно отворяется в тюрьме его тяжелая дверь и является перед ним ненавистный враг его, Тамара, является не с искаженным от злобы лицом, а с улыбкой ласки и потупленным взором смущения. По его словам, произошло, будто бы, необъяснимое недоразумение, подвергшее насилию и заточению почетного посла Дорошенко, но что дело это вскоре выяснится и невинно пострадавшему будет дана полная свобода. Тамара рассыпался в извинениях перед Мазепой, все взвалил на самоуправство воевод и обещал ходатайствовать за него у гетмана; пока же он велел снять с ног узника колодки и вообще позаботился об улучшении его положения. Мазепа попросил Тамару облегчить участь невинно пострадавшего старика Лободы, и Тамара с любезностью дал "гонорове" слово выполнить его

просьбу и уехал, ободрив своего пленника полной надеждой, что срок его заточения продлится не более двух, трех дней, и что за претерпенные им страдания будет сделано возможное удовлетворение... Тамара, в потоке своих любезностей, коснулся слегка даже прошлого, выразив сердечное желание, чтобы оно было забыто, так как будущее, вероятно, даст ему, Тамаре, возможность загладить былые ошибки, свойственные незрелой, запальчивой молодости.

На все эти монологи Мазепа большей частью тупо молчал, хотя весть о предстоящей свободе и зажигала огнем потухший его взор, но тем не менее накипевшая боль от обиды не унималась. Тамара, наконец, уехал, и Мазепа стал с нетерпением ждать его возвращения.

Сидит Мазепа неподвижно и ждет. Под влиянием сладких речей Тамары снова вернулась к нему улетевшая было бесследно надежда, согрела хладеющую кровь и окрылила фантазию; снова в его груди забилось бодрее и жизнерадостнее сердце, снова в его склоненной голове зашевелились робко мечты...

Но не прошел еще второй день после отъезда Тамары, как с шумом внезапно отворилась дверь в темнице Мазепы и на пороге ее показался он же — Тамара... Но он был неузнаваем: лицо его пылало гневом, глаза метали молнии...

— А, так это все был гнусный обман? Меня одурачить взялись! — зарычал он сразу, набрасываясь на Мазепу и обдавая его брызгами пены. — Тамара оплачивает дорого за насмешку! О, если попадутся мне в руки эти "шпыгы", подсылаемые нам изменником Дорошенко, то я натешусь над ними: медленно терпугами сорву с их костей и жилы, и мясо, а кости размозжу! Но пока их захвачу, над тобою это испробую... Они хотели меня провести, ряжеными являлись, святыми прикидывались, чтоб тебя выкрасть, но не удастся им это: я тебя сейчас же поволоку к Московской границе, истерзаю, на ключья разорву и "падло" твое выброшу московским собакам... Признавайся, кто они, твои приспешники? Откуда и от кого присланы?

Известие, что имелись друзья, которые хлопочут о спасении Мазепы, тронуло его сильно, но кто они были и откуда явились, он не мог догадаться, а потому совершенно искренне ответил Тамаре, что ничего не знает и что к нему, после ночного разбоя и его плена, никаких ни о чем вестей не доходило.

— Лжешь, собака! — взбесился" еще больше Тамара. — Они напали почти на твой след... значит, ты уведомил их... не иначе! "Вартови" мои верны, неподкупны, но они могли уснуть, их могли дурманом напоить, а ты успел передать... Не возражай! Я сейчас из Дубовой корчмы и там вчера ночевал какой-то отряд, отправившийся на розыски, но им моих чащоб не найти!.. Ха, ха, ха! — засмеялся он ядовито. — Я свои жертвы прятать умею и нелегко их вырвать из моих рук! Все эти дурни переехали лес и рассеялись по безлюдной степи... Теперь они и сами себя не отыщут, а уж тебя — так во веки веков! — шипел Тамара, и слова его вонзались холодными иглами в сердце, несчастного узника и леденили кровь в его жилах.

— Слушай, Тамара, — заговорил наконец и Мазепа. — Толковать о благородстве и чести я не стану: эти чувства тебе не знакомы, но страх за свою шкуру и осторожность к себе всякому ведомы, даже зверю. Сообрази, что ты не падишах, не султан, а подвластный... и я не щепка, какую может всякий растоптать безнаказанно. Я теперь в твоих руках и ты меня властен, конечно, истерзать и убить, но я посол Дорошенко, и за мою смерть спросит он у твоего гетмана. А разве ясновельможный, коли его прикрутить, да чтоб оправдаться самому, не выдаст тебя головою? О, поверь, что и не задумается, если бы в душе и одобрял даже твой "гвалт" надо мною, а если еще ты "свавольно"...

— Молчать, "тварюко"! — прервал его иступленным криком Тамара. — Ты еще мне смеешь делать угрозы? Вот же тебе! — и, размахнувшись, он ударил по лицу беззащитного, скованными руками, Мазепу.

Раздался хлесткий звук от пощечины и вместе с ним страшный, потрясающий рев от нестерпимой обиды. Тамара инстинктивно отскочил в угол, боясь, что в порыве ярости расвирепевший зверь порвет цепи и кинется на своего обидчика. Мазепа и рванулся было из цепей, но железо лишь завизжало и впилося звеньями в его тело, он сделал еще две, три нечеловеческих потуги и в порыве бессильного бешенства, желая прекратить свои муки, ударился со всего размаху о дубовый столб головою. Удар был настолько силен, что Мазепа потерял сознание и повис на цепях "безвладно", как труп.

— Гей! Сюда! — закричал дико Тамара, всполошившись, что жертва может уйти из его рук безнаказанно. — Вытащить его на ветер да облить водой, чтоб очнулся... А потом свяжите понадежней и несите вслед за мной, в конце этой балки ждут нас кони.

Часа через два четыре стрельца с ношей, прикрытой кереей, на устроенных из веток носилках, пробирались по непроходимым чащобам к полянке, за которой ожидали их пятеро спутанных коней со сторожившей бабой.

Привязали они к коню окровавленного, с заткнутым паклей ртом Мазепу и двинулись гуськом по узкой, едва проходимой тропе в глубь леса, примыкавшего к Московскому "шляху".

— Слушай, бабо! — крикнул, отъезжая, Тамара старой карге, успевшей улизнуть из рук Андрея. — Если какой дьявол навернется в твою корчму, так отведи ему очи, а за наградой я не постою: ты меня знаешь!

— Знаю, знаю, — прошамкала ведьма. — И ворон не занесет к тебе их костей!

На другой день к вечеру Тамара со своим пленником добрался до опушки леса и здесь сделал привал. Мазепу он велел снять с коня, вынуть паклю изо рта и влить в него несколько "горилки", чтоб поддержать силы обреченному на ужасную смерть.

— Теперь безопасно, — говорил небрежно Тамара, спокойно вечеряя и попивая "оковыту", — пусть ревет, как корова, никто не услышит и не придет на помощь к этому псу. А мы вот подвечеряем, дадим отдохнуть коням и к свету будем на границе Московщины... Там спокойно и с роздыхом натешимся его муками... А я уж для приятеля попридумаю их, всякие способы поиспробую...

Когда взошел месяц и выглянул из-за деревьев полуущербленным диском, палачи привязали снова Мазепу к коню и двинулись на полных рысях, ведя под уздцы бесившегося коня с необычным для него всадником. Уединенная дорога пролегла среди перелесков по волнистой, но удобной для езды местности.

— Какая ужасная судьба! — думал Мазепа, качаясь порывисто из стороны в сторону на крупе лошади. — Раз уже истерзал меня конь, но нашлись благодетели и спасли от неминуемой смерти и для чего же? Для того, чтобы во второй раз я испытал эти муки, чтобы снова распяли меня враги на коне, да еще закончили эту шутку нечеловеческой пыткой!

Мазепа испытывал невероятные страдания; каждое движение лошади заставляло врезываться в его тело глубже и глубже веревки, которыми был он опутан; каждый скачок коня подбрасывал несчастного и сбивал его туловище на бок, но Мазепа, закусив губы, молчал и ни одним стоном не утешил Тамару.

Начинало рассветать; просыпалось холодное, туманное, осеннее утро.

— Вот и порубежный лес, — обрадовался Тамара. — Поспешим к нему, подкрепимся и приступим к забаве...

Припустили коней. Туман сгустился внизу и побелел, заволакивая пеленой очертания несшегося навстречу им леса. Вот и опушка!.. Но что это? Раздаются откуда-то крики: "Бей их! Вяжи "катив"!" — и толпа вооруженных всадников ринулась бурей на оторопевший кортеж Тамары...

LIX

Известие об отъезде Галина приняла совершенно спокойно, казалось, она даже обрадовалась ему. В самом деле ничто, по-видимому, не могло облегчить ее горя. Сыч наивно надеялся, что новые места, села, города, никогда не виденные девушкой, рассеют ее постоянную тоску, что общество веселых девчат, казаков и всевозможные деревенские удовольствия развлекут ее и заставят забыть свое молодое горе. Но в своих предположениях он жестоко ошибся. Молодое горе пустило слишком глубокие корни в сердце Галины! Прежде эта поездка доставила бы ей, конечно, несказанное удовольствие, но теперь она приносила ей только горшие муки. Ей было гораздо лучше на хуторе. Здесь она все-таки должна была скрывать свое горе, должна была говорить с людьми, а это ей было чрезвычайно тяжело и потому, что сердце ее не переставало ныть и тосковать ни на одно мгновение, и потому, что она, вообще дичась и боясь людей, должна была вместе с Орысей принимать участие во всевозможных удовольствиях.

Кроме того, в глубине души Галины все еще шевелилась робкая, слабая надежда, что рано ли, поздно ль, а Мазепа заедет в их хуторок.

Давно уже манил ее к себе тихий простор родной степи, а потому решение Сыча она даже приняла с удовольствием.

Конечно, ей было жаль расставаться с доброй и нежной подругой. Хотя Орыся мало чем могла облегчить ее горе, но все же это было единственное молодое существо, с которым Галина делилась своими мыслями, которое могло понять ее печаль, ее тоску.

Узнав о предполагавшемся скором отъезде подруги, Орыся сильно опечалилась и по обыкновению рассердилась. Ей было жаль Галину и жаль было расставаться с нею. Она принялась с новой горячностью утешать и успокаивать подругу и убеждать ее остаться на более продолжительное время. Но ни ласки, ни утешения Орыси не успокаивали Галину. Да и чем могли они успокоить ее? Из всех ее утешений только одно подало слабую надежду Галине, а именно то, что Остап действительно мог бы разузнать у запорожцев, не случилось ли чего-нибудь ужасного с Мазепой. Но как на грех и Остапа не было видно нигде, он до сих пор еще не возвращался из своей таинственной поездки, так что и в бодрое, веселое сердце Орыси начинало уже закрадываться беспокойство. Предположение же Орыси, что Мазепа отправился с казаками в какой-нибудь дальний поход, а потому и не смог заехать к ним, — казалось Галине мало вероятным.

— О, если б это было так, — думала она, — он известил бы ее, он прискакал бы проститься с нею. Нет, нет! Не могло этого быть! Одно из двух: или он убит, взят в плен, или... или забыл ее, — При этом последнем предположении в голове Галины всегда возникало какое-то смутное воспоминание о той вельможной пани, которая представлялась Мазепе в бреду, о которой он не захотел рассказать ей, а говорил только какие-то непонятные, отрывистые слова. О, как тогда сжалось мучительно-тоскливо ее сердце! Ведь он сердился тогда на ту вельможную

пани, за то, что она не захотела поехать с ним... Он говорил, что ненавидит ее... Нет, нет! Если бы ненавидел, то не сердился бы... — нашепывал Галине какой-то внутренний голос. — А что, если она теперь согласилась, и они уехали куда-нибудь далеко вместе? Тогда он рад и счастлив теперь, поет ей чудные песни, рассказывает про заморские страны, ласкает, голубит ее... Ох, и не вспоминает о бедной Галине, не вспоминает! Забыл, забыл!..

И при этой мысли такая гнетущая тоска охватывала Галину, такая невыносимая боль сжимала ее бедное сердце, что ей казалось, — оно не выдержит этой муки и разорвется у ней в груди. Но молодому сердцу во что бы то ни стало хотелось верить. И вот тихая, светлая надежда начинала снова пробираться в больное сердце и робко нашепывать свои утешения и горячие оправдания.

"И в самом деле, — начинала думать Галина, — зачем же он обманывал меня? Нет, нет, он не способен на это, он не мог бы так безжалостно обмануть ее! Ведь он обещал приехать, ведь он говорил, что любит ее, что жалеет, а то, что он говорил, не может быть ложью. Нет и нет!" — И снова в сердце девушки вспыхивала уверенность в любви Мазепы. Но радостное состояние ее продолжалось недолго: эта уверенность в Мазепе повергла Галину снова в еще горшее отчаяние: в таком случае, если Мазепа не обманул ее, если он любит ее, значит что-то ужасное, о чем страшно и подумать, помешало ему не только приехать к ним, но и весточку переслать.

И сердце Галины охватывала опять та же тупая, невыносимая боль. И ничто, никакие уверения и утешения не могли вывести Галину из этого заколдованного круга. Правду говорила она о себе Орысе, что с тех пор, как Мазепа уехал, она чувствует, что сделалась словно глухой и слепой. Действительно, она жила только одной мыслью о Мазепе. Нежное, любящее сердце девчины прильнуло к нему всей силой своего молодого чувства. Он стал для нее всем: другом, братом, отцом и дорогим "коханцем". Вся нежность, всю поэзию, всю силу любви своего горячего, чистого сердца Галина вложила в это чувство и теперь уже никто на свете не мог бы заставить ее вырвать его из ее груди.

Итак, хуторяне начали готовиться к отъезду. Сборы эти, однако, должны были занять немало времени. Надо было закупить всего необходимого на целую долгую зиму: соли, дегтю, пороху, смолы, селитры и других необходимых в хозяйстве вещей. Покупки эти можно было сделать только на ярмарке, потому хуторянам и надо было дожидаться ближайшей Покровской ярмарки, которая отбывалась в соседнем местечке. Тем временем Сыч начал понемногу складываться, готовить возы в дальнюю дорогу, подкармливать лошадей.

Так прошло несколько дней. Настал наконец праздник Покров. Сыч с батюшкой еще с вечера отправились на ближайшую ярмарку. Воспользовавшись праздником, Орыся побывала и на вечерницах, в надежде узнать что-нибудь об Остапе, но никто не мог ей точно сказать, куда отправился он.

Минул и Покров.

Скучно протянулся для обеих девушек неприглядный осенний день, наконец, и он угас; на дворе стемнело, и тьма окутала всю деревню. Окрики работников, гелготанье гусей и уток, бляенье овец, мычанье коров, все эти разнородные звуки, оглашающие днем деревню и придающие ей столько оживления, умолкли; улицы ее опустели, и все погрузилось кругом во мрак и тишину. Только окна хаток осветились в этой тьме яркими, красными огоньками, — то хозяйки готовили вечерю.

В большой пекарне о. Григория было светло, чисто и уютно. Комнату освещало весьма

оригинальное приспособление, заменяющее современные канделябры; состояло оно из глиняной неуклюжей "бабки", напоминающей собою форму высокого подсвечника, в верхней части которого было проделано множество дырочек, расположенных венцом, и в каждую такую дырочку вставлена была длинная лучина. Яркий огонь пылающих лучин освещал всю хату и придавал ей уютный и приятный вид. Кругом все было чисто убрано; все дневные работы были уже окончены; свиньи, коровы, гуси, утки и другие двуногие и четвероногие обитатели двора давно уже получили свою вечернюю порцию и теперь спокойно отдыхали в сажах, хлевах и оборах. Вечеря для хозяев тоже давно была сварена, видная еще молодница, помогавшая Орысе в хозяйстве, засунула горшки в печь, заставила их заслонкой, чисто замела все крошки соломы под "прыпичок" и, присевши на край лавы, начала чистить себе на утро картофель. Все было уже готово, ждали только запоздавших ярмарочан. Подложивши под себя кожух, баба сладко дремала на печи, Орыся и Галина сидели за "прядкамы"; обе девушки, занятые своими мыслями, молча работали, молодница тоже задумалась над своей работой, в хате было тихо; слышались только однообразное жужжание веретен да слабое потрескивание горящих лучин.

Где-то далеко собирались уже казацкие полки, шумели татарские орды, спорили о доле Украины полковники и гетманы, но здесь все было тихо, спокойно; волны бушующего народного моря еще не доходили сюда. Быть может через день, через два всей этой деревне суждено было превратиться в груды дымящегося пепла, в добычу диких татар, но покуда все еще было тихо, и всякий мирно занимался своим трудом, не думая о том, что принесет ему завтрашний день.

Но вот на печи раздалось громкое позевывание, затем что-то зашевелилось и вслед за этим раздался голос бабы:

— А что, Кылына, тут ты? Что это, послули все, что ли?

Молодица, к которой относились эти слова, вздрогнула и затем ответила:

— Тут, бабо, тут.

— А девчата?

— И девчата тут; прядут.

— Ох, Господи, "тыша"-то какая. Я уж думала, послули все. — Баба громко зевнула и затем прибавила. — А что, наших ярмарчан "не чутно" еще?

— Нет, не слышно что-то.

На печи послышался громкий зевок.

— Что это как они долго заярмарковались? А тут сон такой налегает. Ох, ох, ох! Прости, Господи, наши прегрешения.

И опять на печи послышалось громкое позевывание, затем какое-то кряхтение и вслед за этим по хате снова разнесся тихий храп.

Молодица встала, вынула догоревшие лучины, вставила новые и села на свое прежнее место. И снова в хате водворилась ничем не прерываемая тишина.

Но вот двери распахнулись и в пекарню вбежала, постукивая "чоботамы", молодая наймычка;

она подбежала к Орысе, нагнулась к ее уху и шепнула ей несколько слов.

От этих слов Орыся вся вспыхнула до ушей, вскочила с места, набросила на себя "байбарак", шелковую "хустку" и выбежала вслед за наймычкой.

— Где? — спросила она в сенях.

— В саду, возле плетня, — отвечала наймычка.

Орыся распахнула двери и выскочила в сад. На дворе стояла уже холодная, лунная ночь. Чоботки Орыси глухо застучали по твердой, промерзшей земле. Повернувши влево, она пустилась было бежать напрямик к плетню, как вдруг ее ухватили за талию чьи-то крепкие руки и вслед за этим на губах девушки отпечатлелся звонкий поцелуй.

— Ой! — вскрикнула Орыся, впрочем, не очень громко, с улыбкой поворачиваясь к Остапу, который крепко держал ее из-за спины. — Напугал как!

— Тебя и напугаешь! Такая! — отвечал Остап, прижимая ее к себе и еще крепче целуя ее в губы.

Несколько минут в саду слышался только звук горячих поцелуев.

Наконец Орыся сделала такое движение, будто бы она хотела вырваться из объятий казака, и произнесла, стараясь придать своему голосу недовольный тон.

— Да ну тебя к Богу! Платок чуть с головы не сорвал. Где был все время?

— А что, крепко соскучилась?

— Как же! — поджала губы Орыся. — А только Филипповка близко.

— Так что же?

— Замуж отдают, люди случаются.

— Какие такие люди? — произнес с тревогой в голосе Остап.

— Хорошие, богатые и значные.

— Так ты?.. — Остап не договорил и, повернувши к себе Орысю, взглянул ей пристально в глаза.

Орыся выдержала его взгляд и отвечала небрежным тоном:

— А что ж мне, в "чернычки", что ли, "пошытыся" из-за тебя?

Но игривая, непослушная улыбка выдала ее.

— Эй брешешь же ты, дивко, брешешь! — вскрикнул Остап, восторженно прижимая ее к груди, и продолжал страстным шепотом: — Да я б тебя и из-под венца вырвал, да я бы всякому, кто бы только "наважывся", и руки бы и ноги переломал!

— Ха-ха-ха! — рассмеялась звонко Орыся, — так-то ты кохаешь?

— А вот увидишь!

— Ну, тогда было бы поздно смотреть! А вот что я тебе скажу, Остапе, уезжаешь ты, кто тебя знает куда, так если бы на моем месте была другая дивчина, то может быть застал бы ее уже и в очипке, только я сказала твердо батьку: ни за кого другого, как за Остапа, не пойду, — если не за него, так и ни за кого, а будете меня "сылувать" — убегу, вот и все!

— Любая ты моя! Казачка моя! — произнес с чувством казак, на этот раз прижимая уже так сильно к себе девушку, что платок действительно скатился с ее головы, но строгая Орыся ничего не возразила по этому поводу. — А вот если бы знала, зачем я ездил, так и не сердилась бы на меня, — продолжал он. — Не придется тебе теперь убегать. Отдаст тебя батько за меня!

— Ой, нет, Остапе! Ни за что!

— А я тебе говорю, что отдаст, — сотничихой будешь.

— Как так?

— А так, что уже записался в их реестр.

— Боже мой! — всплеснула радостно руками Орыся, — ты не дуришь меня?

— Разумный я был бы тебя дурить! Говорю тебе, уже поступил в надворную команду к гетману Дорошенко.

— К Дорошенко? Да как же это случилось?

— А вот как, голубка! — с этими словами Остап обнял девушку и рассказал, как в корчму к ним приезжал посол гетмана Дорошенко, как он зазывал всех поскорее готовится к восстанию, потому что гетман Дорошенко прибудет скоро с несметными войсками на левую сторону; как посол предложил всем, кто хочет, записываться в реестры гетманских казаков, и его, Остапа, пригласил в надворную команду Дорошенко, которой он сам был ротмистром. Затем Остап объяснил Орысе, что он отсутствовал так долго потому, что по поручению посла развозил зазывные гетманские листы в соседние деревни.

Рассказ Остапа привел в восторг Орысю; однако вскоре радость ее была нарушена воспоминанием о том, что ведь Остап должен будет уехать немедленно с послем на правый берег.

— Так это ты уезжать от нас собираешься? — произнесла она, смотря в сторону.

— Собираюсь, и не один, — отвечал с улыбкой Остап.

— С кем же это?

— С молодой жинкой! — произнес тихо казак, привлекая к себе Орысю.

Орыся вся вспыхнула.

— Да как же это, так "швыдко"? — произнесла она смущенно, опуская глаза.

— А чего и же ждать? Вот вернется посол, так мы сейчас с ним к батьку и "ударымося". Гарбуза не поднесешь?[35]

Ответом на этот вопрос был звонкий поцелуй.

LX

Долго еще стояла под деревом счастливая молодая пара, наконец Орыся опомнилась.

— Ой, Господи! Так, может, батько уже вернулся с ярмарки, хватится меня! — вскрикнула она испуганно.

— Ну, теперь уже не страшно, — ответил Остап, целуя ее.

— Эй! Не кажи, знаешь, "гоп", пока не перескочишь! Да пусти же! Пусти, вот пристал, словно муха к меду! — смеялась она звонко, стараясь освободиться из объятий Остапа и, наконец, оттолкнувши его, произнесла полусердито, подымая с полу платок:

— Ишь, платок весь чоботами потоптал.

— Ничего! Кораблик куплю!

— Подождешь еще! — Орыся встряхнула платок и, покрывши им голову, хотела было уже попрощаться с Остапом, как вдруг вспомнила о Галине.

— Стой, Остапе, а ты не слыхал там среди казаков, не выступали ли "остатними часамы" запорожцы в какой-нибудь поход?

— Нет, теперь там тихо. А тебе это зачем? Может, тоскуешь по ком?

— Да нет, тут дело, — отвечала серьезно Орыся и рассказала ему, как Галина тоскует за тем паном, которого к ним таким чудом занес дикий конь, как этот самый пан уехал на Запорожье, обещал к ней вернуться и вот до сих пор не вернулся.

— Да он, что же, посватался к ней, что ли? — спросил Остап.

— Да кто его разберет! Разве долго обмануть эту "Божу дытыну"? Говорит, что он ей слово казацкое дал вернуться, что обещал любить всю жизнь. А потом говорит опять, что сестрой он ее своей называл, что братом обещался быть. А по-моему, уж если кто сестрой называет, да братом обещается быть, так не жди от его добра!

— А это же почему?

— Потому, что такое "коханья" все равно, что в страстную пятницу соленый огурец.

— Ах ты, дивчино моя! А тебе ж какого надо? — вскрикнул весело казак.

— Да уж не кислото, а сладкого да горячего! — отвечала задорно Орыся.

— Такого? — подморгнул ей Остап и, прижавши к себе девушку, впился горячим поцелуем в ее пунцовые губы.

— Да ну тебя, ну, "шаленый", зубы все выдавишь! — пробовала вырваться из его объятий Орыся, но Остап не слышал ее слов.

Возвратилась Орыся в хату с горящими щеками. Сбросивши с себя "байбарак" и "хустку", она под села к Галине и начала передавать ей быстрым шепотом весь свой разговор с Остапом,

происшедший в саду. О том же, что на Запорожье не было в продолжение этого времени никаких походов, она не сказала Галине, не желая ее заранее огорчать, но зато сказала ей, что Остап обещал разузнать обо всем и передать ей верные сведения.

— А ты, Орысю, спроси его, не слыхал ли он, может, несчастье какое... смерть... татары?.. — произнесла Галина, запинаясь.

— А как же звать того пана, забыла я?

— Иваном Мазепой.

— Ну, ладно. Вот через дня два вернется Остап, он теперь опять с зазывными листами в другую сторону поехал, так расспрошу. Да может и тот посол Дорошенко что-нибудь знает о нем. Ты не печалься, не журишь, все гаразд будет!

И счастливая, сияющая Орыся обняла Галину и звонко поцеловала ее.

Поздно вечером возвратились, наконец, ярмарочные и привезли с собою массу новостей. На ярмарке передавали слухи о том, что уже видели передовые татарские отряды, переправлявшиеся через Днепр, что в каждом селе здесь на левом берегу работают посланцы Дорошенко и составляют тайные отряды; что во всех полках казаки готовы передаться Дорошенко, как только он перейдет на левый берег.

Новости эти нарушили мирное течение деревенской жизни и заставили каждого почувствовать за спиной какой-то неприятный холодок. Хотя Дорошенко являлся как избавитель от ненавистного ига Бруховецкого, но крымские союзники его не внушали никому большого доверия, а потому каждому поселянину надо было позаботиться заранее о своей безопасности.

Под влиянием всех этих толков, Сыч хотел было сейчас же уезжать домой, но о. Григорий удержал его.

— Ты постой, Сыче, не торопись так зря, — остановил он его, — надо узнать раньше, переправилась ли уже вся орда, а то как раз можешь им в руки попасться.

На это резонное замечание Сыч ничего не мог возразить и решил действительно подождать более определенных сведений.

С каждым днем в деревню приходили новые тревожные слухи, а между тем посол Дорошенко не возвращался, да и от Гострого все еще не было обещанного "гасла". Поселяне стояли в нерешительности: они опасались открыто вооружиться и стать в оборонительное положение, боясь мести Бруховецкого, а вместе с тем опасались и оставаться в таком беззащитном положении ввиду ожидаемого нашествия татар.

Радостное настроение Орыси сменилось тревогой...

Так прошло три дня.

Между тем возвратился и Остап и к удивлению своему узнал от Орыси, что Дорошенков посол до сих пор еще не приехал в Волчий Байрак. Это привело его в большое смущение.

— Да уж не обманул ли он тебя? — заметила несмело Орыся.

— Не похоже, видишь же, что кругом все то же самое толкуют.

— Ну, что ж, про Дорошенко может и правду сказал, а вот насчет того, чтобы сюда заезжать, да брать тебя с собою...

— Да нет... Не может быть! — перебил ее Остап. — Видно было сразу, что верный человек, да и переправляться ему здесь надо. Вот не случилось ли чего? По нашим временам всего ожидать можно. Надо бы расспросить у Гострого.

— Да надо поехать немедля, а то смотри, будешь ожидать посла, а тем временем укомплектуют все полки, и мы опять-таки ни с чем останемся. Да ты знаешь ли, как звать посла?

— А то ж, он сам нам сказал: Иваном Мазепой.

— Мазепой! — вскрикнула Орыся. — Господи! Да ведь это же тот самый пан, за которым Галина гинет, которого к ним на хутор дикий конь принес!

— Вот оно что, — протянул Остап, — ну, значит, правду люди говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся.

— Ох, она бедная, сердечная моя, — продолжала грустно Орыся, — значит, правду мое сердце чуяло, что не думает он о ней. Сказано — "пан"! Он уж и думать о ней забыл, а она-то, несчастная, убивается как.

— Да почему же так сразу и знаешь, что если пан, так и любить не может? — перебил ее Остап.

— Почему не может? Может. Только от их любви добра не бывает.

— А я тебе говорю, что этот на обманщика, на "облесныка" не похож.

— Ну может и так, чего не бывает, — произнесла недоверчиво Орыся, — только я ей пока ничего не буду говорить. А ты, Остапе, вот что: седлай коня, бери с собой товарищей, да спеши, сколько можно скорее, к Гострому. Расспроси там хорошенько о Мазепе, постарайся увидеть его, скажи ему про Галину, что, мол, гинет, "пропадае" за ним. Если у него человеческое сердце, так пусть спешит сюда поскорее приехать, а не то уедут, мол, на хутор; а если не захочет он и взглянуть на нее, так ничего я ей не скажу, пусть лучше думает, что его и на свете нет!

Как решили, так и сделали. На другой день рано утром, взяв с собой несколько приятелей, Остап отправился на разведки к Гострому. День был серый, пасмурный; казаки молча скакали; Остап выбирал самые глухие дороги, опасаясь какой-нибудь неожиданной встречи, так как ходили слухи, что небольшие шайки татар уже рыскали по окрестностям. При помощи верного проводника поздним вечером они достигли, наконец, угрюмой усадьбы полковника и были впущены в замок. Остапу, бывшему уже раз здесь, сразу бросилось в глаза необычайное оживление, царствовавшее теперь в этом неприветном дворе. Окна самого "будынка" пылали яркими огнями, также светились и окна боковых зданий, в которых расположены были помещения для надворной команды. По двору сновала масса казаков, слышалась панибратская брань, громкие восклицания, смех и крепкие приветствия; у стен стояли расседланные лошади и мирно жевали подвязанный в мешках им к мордам овес; видно было, что замок переполнен множеством гостей. Это до чрезвычайности удивило Остапа, так как он знал, что полковник Гострый с трудом допускал кого-нибудь в свой нелюдимый замок.

— Уж не Дорошенко ли здесь? — пришла ему в голову мысль, и он обратился сейчас же с этим

вопросом к провожавшему их во двор казаку.

— Какое! — махнул тот рукой. — Уже и Дорошенко! Полковница наша Марианна вернулась! Да вот ступайте туда, там все вам расскажут! Наслушаетесь чудес!

И с этими словами он отворил перед казаками обшитую железом дубовую дверь, ведущую в одно из помещений для команды, а сам поспешно отправился дальше.

После непроглядной тьмы Остапа просто ослепил яркий свет, наполнявший хату; с минуту он стоял в нерешительности у порога, не зная, куда присесть. Хата была полна народа. За длинным столом, уставленным кувшинами с медом и пивом да огромными мисками, с наваленными в них грудями всевозможных мяс, — баранины, дичины и свинины, — сидело множество казаков; остальные, которые не помещались на лавках, стояли кругом стола, слушая рассказ почтенного седого казака, на котором очевидно и сосредоточивалось всеобщее внимание. Хату освещали лучины и смоляные факелы, наполняя ее мерцающим светом и копотью. Это многочисленное собрание народа, в которое он попал так неожиданно, заставило сначала Остапа смутиться, но, заметивши, что на него никто не обращает внимания, он присоединился и сам к казакам.

— Послушай, пане-брате, — обратился он вполголоса к своему соседу. — Дозволь спросить, кто будет этот почтенный старик, что вот рассказывает?

— А ты же кто будешь? — спросил в свою очередь тот, с изумлением оглядываясь на незнакомого казака.

Остап объяснил, кто он такой, откуда и зачем приехал к полковнику.

— Те-те-те! Вот это так и вышло, как в пословице говорится — "на ловца, мол, и зверь бежит"! 'Этот вот старик и есть слуга того самого Мазепы, которого вы поджидаете у себя...

— А где же он был все время?

— Ге, где был? Был там, где козам роги правят. А вот ты послушай, как его наша полковница "вызволяла", — поистине сокол, а не панна!

Заинтересованный до необычайности словами казака, Остап придвинулся еще ближе к столу и начал слушать рассказ Лободы. А Лобода сообщал казакам о том, как их схватил по дороге Тамара, как велел убить всех до одного казаков, оставив в живых только его да Мазепу, как они с паном Мазепой едва не задохнулись под кожами, пока их довели до тюрьмы, как их допрашивали, как гнали, привязав к коням, до самой Московской границы, как грозил Тамара запытать их на смерть в порубежной корчме и как у порога ее из опушки появилась неожиданно Марианна, налетела бурей и отбила.

— Хе, черт побери, а пока мы нашли вас, сколько лиха набрались! Сколько изъездили степи, сколько дорог исколесили! — закричал шумно Чортовий; он тоже сидел здесь с раскрасневшимся, вспотевшим лицом и на опыте доказывал, что он может смело выпить пол-жбана.

— А ну, как? Расскажи, расскажи! — раздались кругом громкие и шумные восклицания.

— Ге, расскажи! Добро вам теперь слушать за "келехом" доброго меда, а кабы в передряги наши попал и черт куцый, так испугался бы, да и утек, поджавши хвост! А мы не отступили, чего уж с нами не случилось, в какие переделки не попадали, а все-таки выдрпали из когтей

сатаны Мазепу и привезли благополучно назад!

Это заявление Чортовия еще более заинтриговало казаков.

— Да ну-бо, говори, чего ломаешься, как "дивка на сватанни"!

— Говори же, "швыдше"! — раздавались отовсюду громкие восклицания.

Но Чортовий и не думал молчать; он только хотел подзадорить слушателей.

— А что, "закортило" никак! — подморгнул он широкой черной бровью и добавил, торжествуя, — ну, так слушайте ж, вражьи дети, да чур не перебивать!

Затем он обвел всех присутствующих победоносным взором, расправил свои богатырские усы и начал рассказ. Все понадвинулись к столу и так стиснули Остапа, что он очутился неожиданно подле самого Лободы.

— А дозвожь тебя спросить, пан, не во гнев будь твоей милости прозвища твоего не знаю, ты не из команды ли ротмистра Мазепы будешь?

Лобода смерил молодого казака горделивым взглядом и отвечал важным тоном:

— Ты угадал, хлопче, я состою атаманом надворной команды его милости пана Ивана Мазепы, шляхтича герба князей Курцевичей, подчасшего черниговского и ротмистра "почесной" команды ясновельможного гетмана Дорошенко.

— Ну вот и гаразд, пане атамане, что я увиделся с тобою, не можешь ли ты пересказать пану ротмистру, что мне надо неотложно повидаться с ним?

И Остап передал Лободе цель своего приезда к Гострому, а также и обещание Мазепы принять его под свою команду, умолчавши, впрочем, о Галине.

— Гм... вот оно что, хлопче, — отвечал Лобода, — ну это ты хорошо сделал, что поспешил, потому что мы завтра уже в дорогу собираемся. Только сегодня тебе с паном ротмистром увидеться нельзя, потому что там у них с полковником на радостях пир горой идет, а завтра напомни мне, я, пожалуй, скажу.

Но здесь разговор Остапа с Лободой оборвался, так как в эту минуту Чортовий начал, наконец, свой рассказ и все, не исключая и важного Мазепиного атамана, превратились в одно внимание.

Чортовий говорил хорошо, со своеобразным красноречием, пересыпая свою речь отборно крепкими словами. Фантазия его широко распустила свои крылья; истина с вымыслом смешивалась в этом рассказе в таких причудливых формах, что и сам Чортовий даже явственно намекнул своим слушателям о встрече с тем, которого добрые люди при хате не "згадуют". Товарищи Чортовия, принимавшие такое же, как и он, участие во всех этих приключениях, опьяненные винными парами, принимали теперь каждое его слово за истину и действительно им начинало казаться, что все эти баснословные подвиги были совершены ими. За каждым удачным словом, или счастливо окончившимся эпизодом, кубки гостей наполнялись и громкие заздравные крики оглашали всю хату, а Остап так и прикипел к месту, не спуская глаз со знаменитого рассказчика, который чем дальше, тем все больше увлекался своей фантазией, и с каждым осушенным кубком фантазия эта принимала все более мрачный и ужасный характер.

Не раз у слушателей замирало сердце, когда же Чортовий рассказал, как они отбили в Рашкове "льох" и, вместо Мазепы, нашли там действительно Дорошенковых послов, но только совершенно других, — Кулю с товарищами, — то присутствующие совершенно затаили дыхание.

Чортовий замолчал и, наслаждаясь минутой удивительного эффекта, обводил всех слушателей интригующим взглядом.

— Да как же это случилось? Ведь вы след-то нашли! Каким же образом не туда попали? — раздались кругом нетерпеливые голоса.

— Гм... Каким образом не туда попали? Вот в этом-то и штука! — отвечал загадочно Чортовий, расправляя двумя пальцами свой длинный ус. — А вот оно как случилось, — он осушил кубок, крикнул, оперся локтями о стол и заговорил снова. — Помните вы, как я вам говорил, что, по словам молодницы, бросились мы за кожухом в лес, да и набрали на кладбище, на груды костей...

— Помним, помним, — отвечали торопливо соседи.

— Ну, вот и бросились мы от него врассыпную искать следов лиходея Тамары, доскакали до опушки, а дальше, смотрим, следы-то теряются; остановились — не знаем, что делать? А тут, как на грех, подсунул "куцый" атаману Безродьку какую-то хату, окруженную частоколом; он "зараз" к нам: кричит, рассказывает, машет руками... Ну, мы сразу и шляхтича в кожухе с закрученными усами, и следы его из головы выбросили, так и бросились все к хате, — тут, мол, Мазепа и запрятан...

— Ну, ну! — раздались кругом нетерпеливые голоса.

— Ну и что ж? Дид ведь такое похожее начал говорить, что все мы поверили. Вот только одна не сообразили, отчего бы это они стали опять Мазепу назад везти? Да как же было не поверить, ведь дид нам наверняка сказал, что сам слышал, как кричали стражники, что этих Дорошенковых послов надо в Рашковские "льохи" запрятать, а потом в Москву заслать. То же самое и жид нам в корчме сказал, что в Рашкове Дорошенковы послы, об этом мы и не думали. Мы ведь знали, что только Мазепа от Дорошенко прибыл. Отбиваем, наконец, лех, а там, вместо сокола, старая сова сидит! — Чортовий разразился громким хохотом и указал на Кулю, который со своими мохнатыми седыми бровями действительно напоминал отчасти старую сову.

— Хе-хе, — усмехнулся добродушно Куля, — правду ты сказал: сова, говорят люди, мудрая птица, вот она вам и помогла из беды выкарабкаться. А что бы вы делали без этой совы?

— Да как же ты туда попал? Откуда? Каким родом? — заговорили все кругом, останавливая теперь любопытные взоры на старом запорожце.

— Как попал, — усмехнулся Куля. — Меня следовало бы назвать не Кулей, а "пулей". Гетман Дорошенко прицелился в Бруховецкого, вот я ему и попал в самую "пащу".

— Го-го! Да и добре же завяз ты там! — разразился густым хохотом Чортовий, — когда бы не мы, так проглотил бы тебя бес!

— Ну, еще бабка на двое ворожила, — возразил Куля, — может бы и подавился.

— Ого, такой он! Он не то, что пулю, он и целую бомбу проглотит! — заметил чей-то голос, но его перебили громкие восклицания.

— Стой! Не мешай! Молчи! Ты, Куля, говори, как попал в "пастку"? Откуда явился? Зачем прибыл сюда?

— А вот зачем, детки, — заговорил степенно Куля. — Ждали мы, ждали в Чигирине нашего пана ротмистра, — не приезжает и вести не присылает: видим, значит дело плохо... Попался, несчастный! А тут уже пришла весть, что татаре наступают. Что же делать? Посылать на ту сторону войско, чтобы "рятьувать" Мазепу — невозможно; сейчас Бруховецкий стал бы полки собирать, а нам надо было так думать-гадать, чтобы врасплох его захватить, потому что татаре уже приближались. Ну, что ж, думали мы, гадали, разумом и так, и сяк раскидали и порешили все, что никак нельзя "вырятьувать" Мазепу, придется ему погибать за всех. На том и порешили, на Бога положились. Ну, а гетман наш не мог того вынести! Такое уж у него сердце: кого полюбит, — все равно ему полковник ли знатный какой, или простой казак, рад за него и душу положить. А Мазепу полюбил он совсем как родного сына. Так вот он думал, думал и решил, что нельзя же так пропадать казацкой душе, что если нельзя послать целого войска, то можно послать тайным образом хоть малый отряд, авось Господь милосердный и допоможет вызволить как-нибудь христианскую душу. Вот и послал нас с товарищами. Приехали мы ничего, благополучно, и в Гадяч уже пробрались; все высмотрели, вынюхали и узнали, что никого здесь нет. Да видно мы за ними присматривали, а они, Бруховецкого слуги, с нас тоже очей не спускали, потому что едва успели мы от Гадяча "гон" пять отъехать, как нас схватили, связали и завезли в эти самые Рашковские "льохы". Они, видите ли, думали, что этим самым окончательно погубят Мазепу, а от этого ему спасенье пришло.

— Как? Что? — перебили рассказчика нетерпеливые голоса.

— А так, — продолжал Куля, — когда сидели мы в том самом "льоху", то прилетел к нам Тамара. Кого велел на дыбу брать, кого колесовать, кого огоньком пригреть, — досталось и моей грешной спине, да что там пустяки вспоминать! А только кричал он при мне коменданту нашему, может думал, что я без памяти лежу, а может думал и то, что нечего от колодника и "ховатыся", но слова его я хорошенько запомнил, приказывал дьявол, чтобы заковали нас по рукам и по ногам, да везли бы скорее ночью на Московский рубеж, в корчму, коло Лысого бору, что там он, Тамара, будет поджидать нас с такими же Дорошенковыми "птахамами", да расспросивши хорошенько на свободе, отправит или сам отвезет нас с доброй ассистенцией в Москву.

— Так, так! — подхватил Чортовий, — когда бы не он, так уж может быть до сих пор с нашего пана Мазепы жилы тянули или "червони чоботы" снимали. Дело в том, что мы и наказывали оставить кого-нибудь из ратных людей для допроса, да хлопцы наши как принялись их "локшыть", так ни одного и не оставили, может они ничего и не знали, одно слово, если бы не Куля, то и не узнали бы мы ничего. Правду сказать, когда увидели мы его вместо Мазепы, так не очень обрадовались; пани полковникова так просто от "видчаю" чуть ума не лишилась. Ну, а как стали мы его расспрашивать, да узнали, что он от Дорошенко за Мазепу прислан, да как сказал он нам, что слышал от Тамары, так нас такая радость всех охватила, что, ей-Богу, чуть плясать не пустились в том самом леху. Одначе времени терять было нельзя, стали мы "радытыся" о том, что же дальше делать? Где был Мазепа запрятан, теперь уже трудно нам было угадать, потому что если бы мы и вернулись к той самой молодежи, которая нам следы Тамары указала, так теперь тех следов уже и отыскать было б нельзя, потому что дождь снова зарядил на целую ночь! Одно, значит, было нам известно, что Тамара думал везти Мазепу на Московский рубеж, в Гуляй-городок. Ну, вот и стали раздумывать, повезет он его или не повезет? Конечно, после Марианнинных слов, которая ему такую пышную долю

"напророкувала", если он Мазепу при себе оставит, надо было думать, что он бросит думку в Москву его везти; да он за этим, видно, и из Гадяча так скоро "порвався", — вот вспомнили мы это, — и опять зажурылись. Ну, как его теперь искать? Где? Все следы потеряны! И опять "видчай" нас хватил. Сидим, молчим, совсем не знаем, что делать? Вспомнил тут атаман наш, что ведь они с Марианной старую ведьму в Дубовой корчме не нашли, "выдралась" она через окно и скрылась в лесу; значит, попрячется там день, другой, да и назад в корчму вернется, а Тамара ведь, не зная, что мы за ним гонялись, опять к той же самой Дубовой корчме вернется, иначе ему нельзя было в Гадяч приехать: он в той корчме и коня своего, и одежду свою оставлял; ну, так если он назад вернется, так старуха ему непременно все расскажет, а когда узнает он, что одурили его монахи, да узнает, что за Мазепой по следам его бросился целый отряд, так сейчас полетит назад, чтобы вывезти своего "бранця" на Московскую границу, потому что зол он на него, как дьявол, а вместе с тем и труслив, как тхор! Все это рассказал нам наш атаман, как по книге прочитал, а Марианна наша как выслушала его, так от радости и на шею ему бросилась. "Брате мой! Друже мой, — говорит, — по век твоей услуги не забуду". Ну, и мы все ожили, зашумели кругом от радости. Что мы, в самом деле, "чорту куцому" на игрушку, что ли, дались! Ну, да не даром же люди говорят, как "куцый" не крути, а добрый казак всегда его за хвост схватит! Так и вышло. Уж он нам какого туману напускал, и следы путал, и чертову бабу сквозь малое оконце в лес вынес, и Тамару в старого дида "перекинув", а из каждой его штуки нам только польза выходила.

— Ну-ну, дальше! Чего стал, Чортовий! Говори уже, чтоб тебе! — раздалось отовсюду.

— Ишь какие скорые! — осклабился довольный донельзя Чортовий. — Погоняют, не запрягши, а попались бы в такие переделки, так может теперь и языком бы не могли повернуть. Ну, слушайте ж, вражьи дети, чтоб вам горилки до смерти не нюхать, да только не перебивайте! Так вот, как вспомнили мы все это, так и решили, чтоб уже большее не сбиваться, послать кого-нибудь к Дубовой корчме, чтобы разузнать потихоньку, вернулась ли назад старая ведьма или нет? И послали Носача: нос, видите ли, у него "довгый", так от него как ни прячься, а все он вынюхает! На счастье наше и Дубовая корчма оказалась недалеко, — верст на пятьдесят от Рашкова, а это мы все, сердечные, по степи четыре дня колесили. Ну, полетел Носач, на утро и вернулся. И старуха, говорит, в корчме, и целая еще сотня, говорит, москалей там сидит; это, конечно, уже Тамара поставил, чтоб нас поймать. — Ну, закричали мы, черта лысого дурни поймают, да скорей на коней! Этих тоже, — указал он на Кулю и товарищей, — с собой прихватили, да и давай, Бог, ноги к Московскому рубежу. Недаром же зовут нашего атамана Нечуй-Витром: так летели, что только ветер возле ушей свистел.

— Ну и догнали? — вскрикнуло невольню несколько голосов.

— Ге! — мотнул удаю головой Чортовий. — И они летели, да только мы имели хороших проводников, напрямик неслись. Засели на опушке леса, ждем, притаились, как мертвые; только они подъехали к нам так сажен на сто, как мы выскочили из леса, да так их черной тучей и накрыли.

— Отбили? — вскрикнул, задыхаясь, Остап, а за ним и еще несколько казаков.

— Отбили! Всех на месте уложили, — вскрикнул сурово Чортовий, ударяя широкой ладонью по столу, — уже мы им за Мазепину команду здорово отплатили! Да и бить их не трудно, все равно, что медведя, — покуда он мечом своим махнет, так я его и вдоль, и поперек саблей перекрещу. Всех, говорю вам, "покотом" уложили, вот только сам этот Тамара, чертячий "выплодок", ушел'

— Ушел? — заволновались кругом казаки. — Да как же вы его, собачьи сыны, не схватили!

— Его и схватишь, когда он с чертями "накладает", — буркнул угрюмо Чортовий и затем крикнул громко. — Ну, да тогда ему дьявол помог, а теперь мы уже с атаманом на саблях поклялись, что голов своих "збудемоя", а уж достанем его!

— Добудем! Добудем! — закричали все кругом и бросились "чоломкаться" к Куле, к Чортовию и ко всем казакам, отбившим таким удалым образом Мазепу...

Когда первые крики восторга умолкли, Чортовий начал рассказывать своим слушателям, как они пробирались уже назад от Московского рубежа; после него заговорил Куля, потом Лобода, потом еще кто-то, а под конец в голове Остапа все перепуталось: Чортовий, Куля, Лобода, слуги Бруховецкого, Тамара, черти, оборотни, неисходимые лехи, неприступные замки. Он еще помнил только, что какой-то седой казак плакал уже на его плече, жалуясь на то, что никак ему не удастся до сих пор добыть сотого татарина, а он обещание такое дал печерским святым за упокой батьковой души; но и это воспоминание вскоре исчезло, и все окончательно спуталось в его голове.

Проснулся на другое утро Остап с тяжелой, как камень, головой и, приподнявши ее с трудом, с изумлением заметил, что он лежит под лавой, а кругом по всей хате, под столами, на столах, на лавах и просто на глиняном полу лежат во всевозможных позах мертвецки неподвижные тела; только громкий храп, потрясавший стены хаты, свидетельствовал о том, что тела эти еще не расстались с жизнью. Пробравшись с трудом среди этих трупов, Остап вышел на двор, подошел к колодцу, окатил себе голову ведром холодной воды и только тогда пришел к полному сознанию. Он умылся, оправил свою одежду и отправился искать старого Лободу.

После непродолжительных поисков, он нашел его опять в компании слушателей и напомнил ему о вчерашней просьбе.

Но видимо и у Лободы здорово отшибло память после вчерашней пирушки, так что Остапу пришлось снова долго и пространно толковать старику: кто он, откуда приехал и зачем хочет видеть Мазепу, пока наконец Лобода вспомнил все.

— Га, га! Хлопец из Волчьего Байрака, ну, ну, вспомнил все. Так ты иди за мной, подожди немного, а я доложу его мосци.

С этими словами оба вышли из хаты. Лобода отправился в будынок к Гострому, а Остап остался ждать у крыльца.

Через несколько минут Лобода показался на пороге и объявил Остапу, чтобы он следовал за ним.

Пройдя через обширные сени и парадную комнату, Остап вошел вслед за Лободой в трапезную полковника. На столе еще стояли остатки неубранного сниданка, но в комнате не было никого, кроме Мазепы.

— Вельможный пане, — обратился к Мазепе Остап, ступивши нерешительно шага на два вперед и осмотревшись во все стороны.

— А? — вздрогнул Мазепа, очнувшись от набежавшего нежданного раздумья, — кто там? Лицо как будто знакомое... где это мы встречались, с тобою, казаче?

— Да в Волчьих же Байраках, еще как ротмистр посылал меня с гетманскими листами по всем околицам и обещал заехать к нам и взять меня с собой в надворную команду гетмана Дорошенко.

— Из Волчьих Байраков? — произнес живо Мазепа и подошел к Остапу. — Постой, постой... так это ты тот казак Остап, которого в реестры не принимают?

— Я, я самый.

— И это ты говорил о какой-то Орысе?

— Ге, а пан ротмистр и то запомнил! — улыбнулся Остап. — Ну, да, я говорил о ней. Да как же и не говорить, — давно уже мы с ней покохались, а панотец из-за того, что меня в реестры не принимают, не хочет ее ни за что отдать за меня.

— Постой, постой! — Да кто она, эта Орыся, — перебил его Мазепа.

— Орыся-то? Да дочка ж его, гарная девчина и сердце у нее щырое; давно мы уже дали слово друг другу, так батюшка ни за что не хочет за посполитого отдавать. Уже она просила и плакала, и подруга ее, что гостит там, Галина, тоже просила.

— Галина! — вскрикнул Мазепа и схватил его за руку, кровь ему бросилась в лицо. — Галина, говоришь?

— Галина, — отвечал Остап, не спуская с Мазепы глаз, — внучка Сыча, что сидит хутором за Днепром в дальних степях. Все плачет чего-то, побивается; привозил ее Сыч сюда...

— Сыч, говоришь? Тесть Морозенко?

— Так, так... дидом он ей, Галине, приходится...

— Она... она! Господи! — произнес растерянным, взволнованным голосом Мазепа и заходил большими шагами по комнате; в душе его вспыхнуло что-то ярким пламенем и жгучей струей пробежало по всем жилам.

LXII

— Галина плачет, "побывается", говоришь? — проговорил Мазепа отрывисто, останавливаясь перед Остапом.

— И-и, так "побывается", что боялся Сыч, чтобы она ума не лишилась! Вот и привез сюда, чтобы "розважылась" здесь с подругой своей, с моей Орысей, да вот ничего не помогло, и опять назад на хутор везет.

— Назад? На хутор! Когда быть может уже выступили к Дорошенко татаре! — вскрикнул Мазепа. — Стой! Едем немедленно! Я еду с тобой!

— Куда? — раздалось в это время за спиной. Мазепа оглянулся и увидел стоявшую на пороге Марианну.

— Куда это так спешит наш пленник? — повторила она с улыбкой, подходя ближе. При виде ее, Мазепа слегка смешался.

— Я не могу терять ни одной минуты, Марианна, — заговорил он нервным, взволнованным голосом. — Меня зовет мой гетман. Ты знаешь сама, какие ужасные последствия могут возникнуть из-за моей медлительности. Я поеду на Волчий Байрак. Это важный для нас пункт, Приднепровье, там собралась сильная "купа", загон, надо отдать последние распоряжения. Этот казак, — указал он на Остапа, — из Волчьих Байраков, он прибыл сюда с товарищами, он

проведет меня. Взволнованный тон Мазепы не ускользнул от Марианны.

— Ты получил тревожные известия? — произнесла она, устремляя на него пытливый взгляд.

— Да, да, — отвечал поспешно Мазепа. — Орда уже переправилась на тот берег. Гетман в тревоге... Ступай! — произнес он отрывисто, махнув рукой Остапу, — жди моих "ордынаций". Остап поклонился и молча вышел из светлицы.

— Так, — заговорила после минутной паузы Марианна своим низким, грудным голосом, подходя к Мазепе, — ехать надо. Не думай, что я держу тебя, но ехать теперь безумно! Ты должен обождать. Тамара ведь улизнул, и вот я получила известие, что Бруховецкий разослал повсюду команды искать убежавшего "бранца"... Я выслала тоже свои загоны: они должны разведать, свободен ли этот путь...

— Но ведь так пройдет два, три, четыре дня, а гетман ждет, ждет...

— Он ждет Мазепу, а не труп его, — возразила стойко Марианна. — Пока вернутся разведчики, мы к Дорошенко отправим гонца.

— Что значит гонец! Нет, я должен сам ехать, Марианна, — возразил Мазепа. — Поверь мне, ты тревожишься напрасно. Я ведь поеду не один: с этим казаком есть команда... Неужели же Тамара должен остановить меня? Я знаю, что он будет теперь всю жизнь искать случая погубить меня, но кто знает, не расставил ли он и на том берегу своих наемных убийц, не подкупил ли он и мою "власную" стражу... Но происки его не остановят меня. Нам ли теперь бояться смерти?! Смерть теперь смотрит на нас изо всех углов, Марианна. Кто встал на оборону отчизны, для того жизнь — мгновенье, сон!

— Так! — произнесла взволнованным голосом Марианна, опуская свою руку на руку Мазепы, и по щекам ее разлился слабый румянец. — Ты прав, кто встал на оборону отчизны, жизнь для того — мгновенье, сон... Жизнь наша — не наша, от случая никто не уберезется, но сами мы не смеем бросать ее бесцельно под ноги врагам. Ты видел, что и я умею смотреть прямо в глаза смерти, не страх перед местью Тамары теперь говорит во мне. Когда бы отчизна звала тебя в это мгновенье, я сама бы сказала тебе: иди и умри. Но в жертву безумью я не отдам тебя, нет! Мы подождем, пока вернутся наши разведчики, и тогда я сама проведу тебя до Волчьих Байраков. Я трижды жизнь свою полагала за твое спасенье, Мазепа, и жизнь твоя мне теперь дороже моей!

Последний возглас вырвался как-то неожиданно у Марианны. В голосе ее задрожала глубокая, страстная нота.

В комнате водворилось молчанье.

Мазепа молча поклонился, приложив руку к груди.

Прошло несколько дней после Покровской ярмарки. Старик Сыч успел уже упаковать все закупленные им на долгую зиму припасы, лошадей откормить и повозки привести в полный дорожный порядок, но тем не менее отъезд его все откладывался со дня на день. Правда, на этом настаивал больше батюшка, не только по долгу гостеприимства, но и по причине упорных слухов, что татарские загоны появились в Правобережной Украине; последнее обстоятельство убеждало и Сыча подчиниться благоразумному совету своего друга и пообещать, пока эти татарские полчища станут уже под хоругвь гетмана и тронутся по определенному направлению в поход. До того же времени отряды их могли рыскать по всем окрестностям и производить грабежи и насилия безнаказанно. За свой хутор Сыч был покоен, так как он

терялся в степной глуши далеко от дорог; но, чтобы добраться до него, нужно было перерезать несколько "шлюзив" и несколько речек, а тут и могли они наткнуться на какой-либо "загин", или на татарский разъезд. Оттого-то Сыч, волей-неволей, должен был поджидать более благоприятных известий, хотя дорогое, родное гнездо и тянуло его к себе все больше и больше.

Галина, охваченная неотступной тоской, была сначала обрадована вестью, что скоро она возвратится в свой хутор, где отдохнет в уютном родном уголке от людских докучных речей, от любопытных взоров и от пестрой, ей чуждой толпы; там, в тишине и уединении, казалось ей, легче, если не проспать, то хоть убаюкать на время свою безутешную скорбь, свою "тугу". Но в последнее время, когда отъезд уже был совершенно решен, Галине стало жаль расстаться с Орысей, своей единой "широю" подругой, к которой она привязалась в последнее время всей своей нежной и отзывчивой на ласку душой. Она теперь почти не отходила от Орыси, помогала ей во всех ее работах и признавалась со слезами на глазах, что ей будет невыносимо тяжело без "посестры", что если бы она поехала пожить с ними на хутор, то она, Галина, была бы почти счастлива.

Орыся же все эти сердечные излияния подруги принимала странно, шуточно, с какой-то затаенной улыбкой, с загадочными недомолвками, или с напускным равнодушием; иногда она просто побранивала Галину за ее несуразную прихоть, — уйти в глушь, в яму от жизни, когда последняя теперь так полна и бурно течет. Иногда она упрекала ее за холодность, за то, что ей ничем не угодишь, но большей частью она задорно подтрунивала, что Галина, как ни торопится, а в конце концов не поедет, что она знает такое слово, — скажет его, и Галина останется не на неделю, а надолго. Галина вспыхивала при этом заявлении, сердце ей подсказывало, что Орыся владеет какой-то тайной, касающейся Мазепы, и она начинала с глазами, полными слез, выпытывать у своей подруги, чтобы та открыла ей свое магическое слово. Орысе подчас очень хотелось крикнуть своей подруге — "Мазепа", но она удерживалась, желая сохранить эффект до конца, т.е. до возвращения Остапа, — быть может, с самим Мазепой; ей казалось, что не грех помучить дня три, четыре свою "посестру", имея возможность наградить ее за эту коварную интригу безмерной радостью, и Орыся упорно молчала, прерывая чересчур настойчивые требования своей подруги горячими поцелуями и сентенцией, что если скоро будешь все знать, то скоро и состаришься!

Прошел день, другой, третий со времени отправки Остапа к полковнику Гострому, а посол не возвращался. Это обстоятельство начинало тревожить Орысю и за Мазепу, и за самого Остапа; тревога обостряла с каждым часом ее ожидания больше и больше. — Чтобы заглушить чем-либо это назойливо-щемящее чувство, Орыся придумала трепать и чесать лен, связывая расчесанные волокна его в пышные "куколкы"; она пригласила для этого и свою подругу в комнату, где они обе и занялись с увлечением работой. Когда уже было приготовлено достаточно блестящих, золотистых узлов, то Орыся набрала их в "запаску" целую охапку и понесла их в пекарню, чтобы развесить там для просушки. Когда она вошла в темные сени со своею ношей, ей неожиданно заступил дорогу Остап; радостный, бодрый, счастливый, стоял он перед ней, осматриваясь по сторонам, чтобы улучшить минутку и заключить свою невесту в крепкие, горячие объятия.

— О! Уже вернулся! — вскрикнула Орыся от неожиданности, растерявшись, начала ронять на землю свой лен.

— Да еще с какой радостью, моя квиточка! — промолви Остап и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, сразу обняла девушку и ожег ее поцелуями.

— Ну тебя, "божевильный", — оттолкнула его шуточно Орыся и разбросала при этом все

"куклы". — Где это научился таким "звычай", не в шинках ли у Гострого? Собирай мне сейчас лен, коли разбросал.

— Соберу, соберу, не сердись, моя горличка! — бросился он собирать растерявшиеся по сням "куколкы".

— Вот стоит только крикнуть, да панотца позвать, чтоб тебя вычесал добре за дерзость, "зухвальство"... — ворчала счастливая девчина, поглядывая с опасливостью на дверь "кимнаты".

— Теперь уже, не во гнев тебе сказано, и панотца мне не страшно, вот что!

— Ова! Не рано ли ты "закопылив" губу?

— "Не дуже-то и ова", моя любая! Ведь я уже теперь настояще записан у реестры гетмана Дорошенко, — стало быть причислен снова к казачеству.

— Кто ж это тебя там приписал настояще, — подчеркнула она, прищуriv глаза и улыбаясь счастливой улыбкой, — псарь, чи звонарь?

— Ге, как бы не так! Бери повыше! — торжественно воскликнул Остап, подняв правую руку, — приписал меня к реестру сам ротмистр "надворных" команд ясного гетмана, вельможный пан Иван Мазепа! И прежде я тебе говорил, что на словах он обещал, да вот, когда он не возвратился сюда, а обещал непременно заехать, то думка такая ударила меня в голову, что он либо забыл про нас совсем, либо где пропал... Значит, тогда б и вышло, как говорится: "обицянкы — цяцянкы, а дурневи — радисть"!

— Ну, а теперь что случилось? — вся встрепенулась от восторга Орыся. — Нашел ты Мазепу? Видел? Где? Как? Расскажи! — заторопила она казака.

— Отчего бы и не видеть? Видел... у полковника Гострого видел, да не то что видел, а и говорил с ним.

— Ну, что же он?

— Ничего себе, славный да гарный, — лыцарь настоящий! Чуть было только не сгинул... — и Остап начал рассказывать про последние приключения Мазепы и про то, как дочка полковника билась и с ведьмами, и с нечистою силой, а таки вырвала лыцаря из когтей сатаны и спасла от погибели...

— Да стой! Ты не про то, — прервала Орыся своего словоохотливого "коханця" на самом страшном месте его фантастического повествования, — передал ли ты этому Мазепе, что Галина, та самая, что спасла его от смерти, гостит здесь у нас и ждет его с нетерпением?

— Как не передать — передал!

— А он же что, когда услышал про Галину? Обрадовался?

— Чи обрадовался?.. Вот про это я запомятовал...

— Да разве не видно и без спросу... Что он, когда ты сказал?

— Он, кажись, встал и хотел что-то крикнуть слугам, а тут и вошла в покой панна полковникова... Эх, славная панна! Пышная да гордая, а "красуня", — так страшно и взглянуть:

брови, как пъявки, щечки, как мак, а стан..

— Ты смотри, на панянок не заглядывайся! — прервала его вздрогнувшим от досады голосом Орыся.

— Да я ничего, это только к слову, — ухмылялся Остап.

— То-то, — к слову... Что ж она, эта твоя пышная красавица?

— Она-то? Подошла к Мазепе, положила этак на плечо ему руку и сказала, что она его никуда не пустит, что без нее, мол, теперь и "кроку" не сделает.

— Ну, а он что? — вскрикнула с ужасом Орыся.

— А он! Что ж он? — Сел, взял ее за руку — и ничего.

— "Ой, лышенько"! — простонала огорченная и пораженная до глубины души этой новостью подруга Галины. — Несчастливая да горемычная доля моей "квиточки"! Наплачется она на своем веку и стает, как свечечка! "Закохався", видно, Мазепа твой в панну, а бедную девчину из головы выкинул. Того нужно было и ждать! Чтобы пан, да еще пышный шляхтич, и помнил сиротливое сердце, что изнывает в тоске по нем? Да никогда с роду-веку! Все ихние обещания и клятвы вилами на воде писаны! Стоит после этого верить вам, черти клятые! — даже выругалась Орыся.

— Не все ж черти, — обиделся было Остап.

— Все! — топнула ногой девчина и прибавила серьезно: — Слушай, Остапе! Если так, то ты ни слова не говори Галине про Мазепу: это известие убьет ее, бедную... а лучше еще, — и не показывайся пока на глаза. Я постараюсь ее выпроводить поскорей в степь, в их "зымовнык"; там, быть может, в глуши, вдали от людей, она мало-помалу забудет свое горе.

Так и сделали. Остап, обнявши еще несколько раз свою невесту, ушел, а Орыся, возвратясь к Галине, сообщила ей, что она решила погостить у нее на хуторе хоть недельку, так как ей самой без Галины ужасно тоскливо, что она в последнее время потому и держала себя так странно, что хотела нарочито поссориться даже, чтоб заглушить эту тоску, да вот не пересилила.

Галина была растрогана до слез признанием своей подруги и бросилась к ней на шею.

Теперь уже Орыся не только не удерживала у себя подруги, а напротив, даже торопила отъезд; но из Правобережной Украины все еще не получалось благоприятных известий.

В ожидании прошла еще неделя; в продолжение ее Орыся почти ежедневно виделась со своим милым, но его самого свой двор не пускала. На этих свиданиях они, между прочим условились перебраться через Днепр в одно время и встретиться где-либо в степи, будто случайно.

Наконец пришли и давно желанные вести: батюшка их добыл из верного источника и сообщил, что татаре все уже соединились с войском Дорошенко, и что теперь путь в степи совершенно безопасен.

В тот же день был решен и отъезд, только вечером, чтобы в сумерки переехать Днепр; сам батюшка пожелал проводить своих дорогих гостей и свою дочь на тот берег.

После обильного "пидвечирка" все уселись чинно в светлице, чтобы сотворить последнее крестное знамение на дорогу и проститься. Настала минута тишины, вызванная молитвенным настроением и отъезжающих, и провожающих.

Вдруг, нежданно, негаданно раздался у хаты конский топот. Все вздрогнули и в тревоге вскочили, поглядывая в недоумении друг на друга. Но не успел никто из них дать себе какой-либо отчет в значении этого топота, как дверь распахнулась и на пороге ее появился статный шляхтич, в сопровождении вельможной панны...

Все окаменели.

А Галина, взглянув на этого шляхтича, не помня себя, не сознавая, что делает, вскрикнула: "Иван!" — и бросилась к вошедшему с рыданием на грудь.

Вельможная панна побледнела, как полотно, и, отшатнувшись, ухватилась за наличник двери...

LXIII

Марианну до того поразила, и поразила неприятно, эта безумно-восторженная встреча какой-то простенькой девчиной Мазепы, что она, чувствуя бессилие взять себя в руки, сослалась на неотложную необходимость разведать о чем-то в селении и сейчас же ушла из светлицы. И батюшка, и Сыч были тоже смущены всей этой неожиданностью, растерянно просили панну полковникову отдохнуть с дороги, но она, поблагодарив за гостеприимство, отказалась воспользоваться им, пока не покончит своих спешных дел.

Выходя из светлицы, Марианна бросила еще раз пыливый взгляд на Мазепу и заметила, что, при всем смущении, лицо его горело и сияло от счастья; стремительно вышла она в сени, на "ганок", и поспешила вскочить на своего коня, тут же наткнулась на двух девчат, стоявших под коморою: блондинка, убежавшая мгновенно из хаты, после пламенной встречи с Мазепой, плакала теперь на груди у брюнетки, но, очевидно, не от горя, а от избытка радости.

Марианна ударила "острогамаы" своего коня и понеслась вскачь по селу, за ней помчалась вслед и команда. С напряженной энергией стала размещать ее панна по квартирам. Заехала потом в корчму, порасспросила кое-кого из знакомых, бывавших у ее батька-полковника, о настроении местных умов и о готовности их подняться дружно при первом кличе, и, наконец, сама не давая себе отчета, помчалась к берегу Днепра, будто бы за тем, чтобы осмотреть переправы, но в сущности проскакала лишь вдоль берега милою взад и вперед и возвратилась к священнику уже поздним вечером, как раз на вечерю.

Теперь уже она, овладев совершенно собой, была любезна, разговорчива, даже весела, с некоторым оттенком снисхождения и гордости, особенно с Мазепой. Последнего жег этот холод, он чувствовал весь яд его в своем сердце, признавал и вину свою, он вместе с этой болью упреков играли в том же сердце тихая отрада и такое счастье, какого он не мог скрыть от глаз наблюдателей. Девчата, между тем, не сажались вовсе за стол, а только прислуживали да ухаживали за гостями. Вельможной панне полковниковой была после вечера приготовлена в той же светлице постель, а Мазепа был помещен у дьячка; Сыч же, батюшка и обе девушки поместились в пекарне. Несмотря на усталость, на пышные подушки и перину, Марианне не спалось на новом месте, как она ни старалась забыться. Чувство обиды, едкое, зудящее, раздражало ей нервы и, несмотря на все усилия подавить его, упрямо росло и отгоняло сон от очей. Прежде всего в ней подымался вопрос: кто эта девчина, проявившая себя так резко и так неожиданно, по крайней мере, для нее? В последнее время Мазепа рассказывал ей и о своей

семье, и о многих случаях из своей прошлой жизни, но о ней, об этой девчине, он не заикнулся ни словом: сестра ли она его, родственница ли близкая, или кто? Конечно, нет! Самые близкие родичи, положим, могут броситься на шею от радости, но они тем не будут смущаться, а эта не знала, куда деть глаза от стыда, краснела все, а из-под опущенных ресниц так и лучился восторг... При том, родичи Мазепы — известные паны из значной шляхты, а это совершенно простая девчина, пожалуй, даже из "поспильства", а если: так, то кто же она? Неужели его возлюбленная? Но это невероятно: как же сопоставить "эдукованого" лицаря, знатного по происхождению шляхтича и невежественную, глупую девчину. Разве она была ему близкой? Ведь на этот счет молодежь неразборчива, но тогда как бы она осмелилась броситься при всех вельможному пану на шею? Нет! Устыдилась Марианна от такого предположения и почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Но кто же она? Может быть, только кажется; простенькой с виду, а пойдя, поговори с ней... И эта загадка; напрягала до боли мозг Марианны, буравила ее сердце.

— Да, ну ее к "дядьку"! — почти вскрикивала Марианна, закрывая свое взволнованное лицо подушкой, словно прячась от этого неотступного образа, который стоял перед ней в темноте неразгаданным сфинксом. Жарко ли было в низком покое, или от возбуждения работало у панны сердце быстрее, не она почувствовала затрудненное дыхание и необычайную духоту. Марианна сбросила одеяло и села на кровати. Долге сидела она неподвижно, стараясь думать о судьбе своей родины, о наступающих моментах отдаленной борьбы, о своем дорогом отце, рисковавшем на этот раз жизнью... Но непослушные, своевольные мысли все возвращались к Мазепе, а глупое сердце все ныло да ныло.

— Э, что мне, наконец, этот Мазепа? Какое мне дело до его дивчат, — заговорила вслух Марианна, в сильном раздражении и досаде. — Что я ему за опекунша? Свое участие к нему, к его судьбе она объясняла сознанием, что в этой одаренной личности нашла преданного интересам Украины деятеля, и что такими личностями нужно дорожить всякому, кому дорого счастье родины. Если она сама рисковала даже собственной жизнью при поисках и освобождала из когтей Тамары Мазепу, то это опять-таки было из любви к родине... Если, наконец, она умеет ценить его душевные достоинства, его ум, его находчивость, отвагу, — то и тут нет ничего удивительного: истинно хорошему нельзя не сочувствовать, если этим хорошим наделено лицо, могущее сослужить для родины великую службу. — Но какое же дело мне до его дивчат? — повторяла она с горькой усмешкой, запрокинув назад голову, и не могла дать на этот вопрос решительного ответа... Только сердце ее учащенно билось при этом, а из ночной тьмы всплывал перед ней стройный, прекрасный образ и неотразимо устремлял на нее свои темные, полные ласки и неги глаза.

Под утро только уснула Марианна и проспала дольше обыкновенного. Когда она вышла в пекарню, то застала там Галину; хозяев и гостя уже не было.

Галина, растерявшись, хотела тоже убежать известить батюшку о приходе панны полковниковой и позвать Орысю, подать ей "сниданок", но Марианна ее остановила.

— Не беспокойся для меня, милая, — обратилась она к ней со снисходительной улыбкой, — я человек простой и сама достану из печи сниданок, а поболтать с тобой приятнее, чем со стариками.

— Как можно... я и ступить перед вельможной панной не умею.

— Ха! Нашла еще перед кем учиться ступать! Я не польская панночка, что сидит сложа руки, да пальцами перебирает, а я и всякую "хлопьячу" работу делаю: и цепом махать умею, саблей "орудовать", да и из мушкета маху не дам, так передо мной ступай всей пятой, а не на

цыпочках.

— Господи! — всплеснула руками Галина, — из мушкета умеет панна палить. Я бы "перелякалась" на смерть.

— Не гаразд. Не те времена, чтобы "лякаться" — заметила строго Марианна, — теперь всякий должен уметь владеть оружием, теперь и дивчата, и дети должны быть готовы броситься в бой за свою неньку Украину.

— Отчего? — изумилась как-то особенно наивно Галина, раскрыв широко свои задумчивые, полные особенной прелести глаза.

Марианна посмотрела на нее с сожалением, но не могла не сознаться в глубине души, что девчина была необычайно привлекательна своей детской наружностью, что даже простоватая наивность шла к ней.

— Да, — поправилась после небольшой паузы Галина, — дид мне говорил, что ляхи нас мучили, и что против них все бились.

— Ну вот, то были ляхи одни, а теперь и ляхи, и татаре, и свои, что разорвали на две половины Украину.

— Ой, лелечко! — всплеснула руками Галина, — как разорвали, чем разорвали?

Марианна остановила на ней полный изумления взгляд и решила в уме, что она дура.

— Нечистый их знает, — засмеялась она весело, — давай-ка лучше рогач. Что готовили?

— Разные галушечки с салом... только я не поущу панну... — бросилась Галина к печи и вытянув горшок, наполнила из него миску вкусно приготовленным кушаньем.

— Я еще после галушечек вйму и "лемищаных" вареников, томятся вон в рыночке, залитые сметаной и маслом, — все смелей и смелей становилась Галина, видя простое и приветливое обращение с собой важной панны.

— Ну, вот примемся и за вареники, — приходила в более хорошее расположение духа и Марианна, — а ты кто будешь, дочка или родичка батюшки?

— Нет, я внука Сыча.

— Сыча? — переспросила озабоченно Марианна.

— Да, из степи, далеко отсюда.

— С правого берега?

— Не знаю, с какого, а только далеко... три дня ехали...

— И все время сидели в степи? — допрашивала Марианна.

— Все время, одни, и людей не видели, только Немота да баба.

— А как же с Мазепой познакомились? — спросила неожиданно Марианна, бросив на Галину пронизывающий взгляд.

При этом вопросе Галина вспыхнула вся и, несколько смешавшись, ответила:

— На том же хуторе, когда конь привез его мертвым, и мы его лечили с дидом.

— Так его конь понес, сбросил, разбил?

— Нет, он был привязан веревками к коню... Какие-то лиходеи привязали, веревки порезали его тело... Господи, какой это был ужас и какое горе! — У Галины при одном воспоминании об этом печальном событии наполнились слезами глаза.

— Вон оно что! — протянула Марианна и замолчала.

Она поняла, что эта наивная девушка спасла Мазепе жизнь и, спасая, отдала всю свою, без остатка, душу этому спасенному от смерти герою... Все это говорили ясно — и трепетавший от волнения голос, и самоотверженное выражение кроткого личика, и теплившиеся тихим счастьем глаза. У Марианны дрогнуло сердце и от чувства сострадания к этому ребенку, и от какой-то жгучей обиды.

"А он же что? — завихрились в ее голове мысли, — платит ли ей такой же пылкой взаимностью, или, одержимый чувством благодарности, относится лишь со снисхождением к степнячке? Впрочем... пусть их! Стоит носиться с болячкой, да еще в такое время! Раздавить ее, разбить одним махом и баста! Одно только не по-шляхетски, — почему же он, заверяя меня в своей преданности и дружбе, скрыл от меня такой крупный случай в своей жизни? И это дикое зверство над ним кем учинено и за что? И эта степная спасительница?.. Все это чересчур важно, чтоб позволительно было скрыть от друга... Значит, мой лыцарь не искренен, а я, кажется, имела право на эту искренность.

Ей так стало больно и горько, что она не могла продолжать больше "снимать" и, отказавшись от вареников, ушла из пекарни в светлицу: там застала она Орысю, убирающую постель, и попросила приказать оседлать ей коня.

— Так скоро уезжает вельможная панна? — изумилась та. — А мой пан отец рассчитывал, что панна полковникова погостит у нас, и пан гость говорил, что панна проводит его за Днепр.

— За Днепр я не имею намерения и ехать, — ответила свысока, взволнованным голосом Марианна, — а что касается батюшки, то мне было очень приятно остаться у него, но, к сожалению, не то время...

Орыся велела исполнить приказание панны Марианны, а последняя, оставшись в светлице одна, заходила быстро из угла в угол, чтоб разбить хоть телесной усталостью разыгравшуюся душевную бурю; мысли ее, потеряв логическое течение, кружились беспорядочным роем, воскрешая в ее памяти то ту, то другую картину из недавнего прошлого: то мелькнула перед ней картина нападения кабана и появление в этот страшный момент неожиданного спасителя, статного, пышного лыцаря, оставившего сразу своей бесстрашной отвагой неизгладимое впечатление. Да, это впечатление было жгучее и превратилось потом в какую-то истому, нарушившую ее душевный покой. Потом вспомнилось ей чувство бурной радости при второй встрече, чувство, удовлетворенное вполне более близким знакомством с душевными качествами ее спасителя, а дальше — бесконечный ряд сменявшихся сердечных тревог и мучений, новые радости, новые дружеские излияния, новые счастливые минуты, и вдруг такое разочарование!..

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге ее явился парубок, лицо которого показалось Марианне знакомым. Она посмотрела и узнала в нем того самого казака, который приезжал к

ним в замок.

— Вельможная панна, — произнес, низко кланяясь, Остап, — я до пана ротмистра по важному делу.

— Я не знаю, где этот пан ротмистр, — ответила Марианна по возможности спокойно, — ты, казаче, приезжал к нам недавно?

— Приезжал к его милости пану полковнику и вельможную панну с ротмистром Мазепой там видел.

— А, помню, — уронила Марианна, смутившись снова невольно. — А что такое случилось? — спросила она, чтобы замять неловкость.

— А вот что, панно, — ступил шага два вперед Остап и, понизив голос, продолжал таинственно: — Пришел строгий наказ от его мосци гетмана Бруховецкого, чтоб поставили прибрежные села по Днепру "варту", значит; чтоб с того берега никого сюда не пропускали, а если кто с этого берега вздумает на тот бок переправляться, так чтоб каждого забивали в колодки и отправляли к воеводе. Да чтоб "допыльнувалы", не станет ли где на правый берег уходить молодой шляхтич с молодой панной, так чтоб их немедленно препроводить со скрученными руками к нему самому, к гетману.

— Ага, вот на что раскидает он сети, — на крупную рыбу, — всполошилась она, убежденная вполне, что это на нее и на Мазепу устраивается облава. — Ну, а как поселяне, исполнят ли приказания своего гетмана беспрекословно или не выдадут своих друзей?

— За своих поселян я ручаюсь, — промолвил уверенно Остап, встряхнув молодецкато чуприной, — но здесь остаются пока москали для разъездов, так за них поручиться нельзя.

— Значит, нужно быть осторожнее и пересидеть некоторое время, — произнесла медленно, отвечая на свое течение мыслей, Марианна. — Слушай, казаче, — не найдется ли кто в вашем селе, чтобы знал потайные через топи тропы к нашей крепостце?

— Да я сам их знаю и в последний раз пробрался к их милости "навпростець".

— Так ты меня "зараз" можешь провесть?

— С радостью, вельможная панно!

— Вот спасибо! Найди же Мазепу, — он, верно, у дьяка, или где-либо тут, поблизу, предупреди его, чтоб был осторожен, и сам приготовься к отъезду, і

Едва вышел Остап за ворота, как в светлицу вошли батюшка, Сыч и Мазепа; они разминулись с Остапом и не знали еще о налетевшей опасности.

Батюшка, огорченный известием, что вельможная панна уезжает сейчас, стоял убитый, приписывая этот внезапный отъезд своему неумению принять такую дорогую гостью и невозможности дать ей удобства.

Мазепа тоже был смущен и растерян этим неожиданным решением Марианны, сознавая в глубине души, что он виноват перед этой редкой по красоте, по уму и по рыцарским доблестям девушкой, — и виноват страшно: это сознание вонзалось в его сердце укором и угнетало его самого до отчаяния.

На просьбы Мазепы исполнить данное обещание Марианна отвечала сухо, что обстоятельства изменились, и что благоразумие велит им всем быть осторожнее, так как погоня Тамары уже здесь; она советовала Мазепе пообжидать с переправой на правую сторону Днепра, пока не удалится от села расставленная гетманом московская стража; говорила, что она оставит ему для прикрытия большую часть команды, имея в виду, что сама отправится к себе по таким непролазным местам, куда враг не покажет и носа.

На Мазепу все это — и настигшая их погоня, и расставленная ему западня, и предлагаемая помощь, — не произвело, видимо, никакого впечатления: он слушал советы и предостережения совершенно равнодушно, подавленный заслуженной холодностью своего бывшего друга.

Вошедшая в это время в светлицу Галина смутила еще больше Мазепу; но глаза их встретились и озарились счастьем.

Марианна обратилась к батюшке и стала уверять его горячо, что она так ценит его ласковый, сердечный прием, что считала бы за счастье пробыть несколько дней в этом уютном уголке, среди такой душевной семьи, но, к сожалению, ее гонят отсюда новые беды, против которых нужно всем принять неотложные меры.

LXIV

— Мой рыцарский долг, — произнес Мазепа, — велит... и я не думаю, чтоб панна отказала мне в чести и счастья проводить ее обратно.

Галина при этом предложении побледнела, раскрыв широко свои лучистые, блеснувшие влагой глаза.

— Благодарю сердечно пана Мазепу за предложенную мне рыцарскую услугу, — сказала почтительно, но с иронией в тоне, Марианна, — за его готовность быть моим защитником в пути, но я должна лишиться себя этого удовольствия: пан забывает, что у него есть еще высший долг, — привезти поскорей сведения своему гетману и подвинуть его на решительный шаг. Меня же проведет знающий лучше потайные тропы здешний житель Остап.

Мазепа закусил от досады губу и замолчал. Он почувствовал в словах Марианны яд презрения, и сердце у него сжалось от боли.

— Не откажите, не опечальте меня, старика, досточтимая пани, славного защитника нашего дочь, — соизволь хоть оттрапезовать с нами, — кланялся между тем низко, придерживая у груди подрясник рукой, растроганный батюшка.

— Видит Бог, — ответила с чувством Марианна, — как мне дороги ваши ласки и гостеприимство, но, простите меня, — опасность слишком велика и каждая минута дорога.

Батюшка, сознавая правоту ее слов, развел только руками и засуетился с Орысей, стараясь уложить на дорогу дорогой гостье побольше пирогов и кнышей. Сыч со своей внукой Галиной тоже вышел помочь им.

— Панна Марианна, — отозвался тогда изменившимся от внутренней боли голосом Мазепа, сделав по направлению к ней несколько неверных шагов. — Я не знаю чем... пусть и виновен... но кара жестока, не по силам...

— О какой каре говорит пан? — подняла величаво голову и скользнула по Мазепе холодным,

недоумевающим взглядом.

— Разруби это сердце ножом, — захлебнулся словом Мазепа и побледнел, — и увидишь, панно, что оно полно признательности к тебе за спасение, оно полно чувства высокой дружбы...

У Марианны шевельнулся было на миг горячий порыв к своему другу, но она сдержала его и прервала изливания Мазепы иронической фразой:

— Пану не к чему наполнять признательностью до краев свое сердце, пан спас от смерти меня, а я спасла пана, — мы только поквитовались в услугах! А теперь пожелаем друг другу счастливого пути, пожелаем исполнить долг наш! — и она, пожав убитому ротмистру руку, гордо вышла из светлицы на "ганок"...

Во время суеты и последних минут прощанья с Марианной Мазепа не мог себе дать отчета в той буре нахлынувших чувств, которая ошеломила, оглушила его до невменяемости, и стоял он каким-то камнем, и двигался автоматически, и бросался даже поддержать стремя дорогой гостье, лишь по усвоенной светской привычке. Но когда пышная панна с командой своей выехала за ворота, а домашние вышли тоже проводить ее и дворик совсем опустел, тогда Мазепа начал понемногу приходить в себя и ощущать сознательно свои страдания. Все более существенные удары и невзгоды, слетевшие снова на его голову, были пока заглушены одним криком души, почуявшей невыносимую обиду, и обиду, нанесенную дорогим другом, спасшим ему жизнь. В чем состояла эта обида, Мазепа не мог еще уяснить себе, а только чувствовал, что яд ее отравляет ему существование в эту минуту, да так, что ему тяжело даже быть среди людей и скрывать от них свое настроение. Потому-то Мазепа и поспешил уйти через садик в хату дьяка; здесь, в полутьме и уединении, ему показалось легче: всполошенный, беспорядочный рой его мыслей стал мало-помалу улегаться и принимать логическое течение; но внутренние боли не только не уменьшились, но обострились еще сильнее... — Да, обида, оскорбление! Он чувствовал ее лезвие в груди, оно проникало до сердца и заставляло его вздрагивать конвульсивно. — Но что она сказала, чем оскорбила — Мазепа припоминал, искал это слово, но не находил... Действительно, такого обидного слова, кажется, не было; но что же было такое, что так его поразило жестоко — А вот что: равнодушие и холодность! Да, она этой убийственной холодностью, гордой и недоступной, отравила ему и радость, и счастье, и все существование... О, этот удар жесток, страшно жесток! — вскрикнул Мазепа. — "За что же, за что такой удар?" — стучал ему в виски роковой вопрос и вонзался тупой иглой в сердце. Как она была ласкова, обворожительна даже в обращении, каким теплым огнем светились ему эти орлиные очи, сколько дружбы и беззаветной преданности сказывалось в каждом ее слове, в каждом движении?.. Что дружба? — Она спасла ему жизнь, да мало того, что спасла, а своей жизнью рисковала самоотверженно, — и все это разбито, сметено, отнято у него с презрительным смехом, и он сам брошен ограбленным среди дороги... За что же, за что? Какую вину он совершил? Неужели безумная, детская радость Галины так ее поразила? Что же в ней она могла заподозрить? Любовь? А хоть бы и так, то что ей? Неужели детская, чистая привязанность этой прозрачной души могла неприятно поразить Марианну, такую отзывчивую на людские страдания? Но если бы даже и так, то при чем же он, почему на него одного брошена беспощадной рукой эта кара? В чем же суть? Значит, панне не нравится, чтобы кто-либо любил Мазепу? Значит, она ревнует?!

Напавши на такое толкование ее гнева, Мазепа со всей стремительностью своего темперамента отдался разрешению этого вопроса; теперь уже чувство испытываемой им боли стало ослабевать и неметь, заменяясь лишь жгучим раздражением. Да, это ревность — бесспорно и непреложно! Оттого-то отразилось и на нем ее жало. Непризнанная любовь прячет от людей свое горе, изливает его в уединении в слезах, а не бросается вселюдно в объятия... Только одна упроченная взаимность дает на них право: значит, и он, Мазепа, любит

Галину, значит, он дал ей право на эти объятия! Вот что обидело Марианну и заставило ее так жестоко поступить с ним... Но если она ревнует, то, значит, любит?

Это слово заставило затрепетать сердце Мазепы и гордостью, и радостью, но вместе с тем и какой-то скрытой тоской; чувство едкой обиды вдруг совсем разрешилось и преобразило мрачное настроение его духа в жизнерадостное, победное. Любит! Какое счастье! Ведь другой такой панны и по величавой красе, и по бессчетным достоинствам ее могучей души — нет в Украине, всякому лыцарю за честь и за гордость ее внимание, а сердечная привязанность — за великую радость... И вдруг он, Мазепа, оказался ее избранником.

Разгоревшись от охватившего его самодовольного чувства, приятно щекотавшего его самолюбие, Мазепа стал усиленно ходить по крошечной хатке, предаваясь не мыслям, а сладостным ощущениям, волновавшим какой-то отрадой его кровь: теперь ему, напротив, желалось размыкать в широкой степи, в удалой борьбе разыгравшуюся от радости силу, а не сидеть одиноко в этой темной и душной клетке...

— Да, любит! — повторил он, отбрасывая назад свою чуприну — И чем больше любит, тем сильней могла и отомстить своему "зрадныку", но при этом обида уже не в обиду, а в ласку, в отраду!

— А он же как? Любит ли он ее, эту дивную героиню? — задал себе Мазепа вопрос, и остановился... Улегшиеся было в приятном затишье мятежные мысли снова всполошились тревожно... Конечно, он чувствует в своем сердце к ней глубокую признательность за ее самоотвержение, он преклоняется перед доблестями ее души, он ее высоко ценит, как союзницу в деле спасения родины... Но любит ли, "кохае" ли, вот что?.. Но, если бы не любил, то почему же ему было бы больно, невыносимо больно от ее холодности? Конечно, и при дружбе — потеря дружеских отношений тяжела; но тут — так ли? Уж не любит ли и он безумно Марианну? А Галина? А ее беззаветная любовь? — Сердце у него сжалось от боли и что-то сдавило ему горло... — Нет, разбить жизнь этому ангелу — святотатство, кощунство над всем, что есть в мире прекрасного, чистого и святого... Но откуда же он заключил, что Галина его любит сознательной, неугасимой любовью, которой исход — или взаимное счастье, или могила? — Снова прокрадывалось ему в сердце сомнение... Детскую привязанность невинного, не знающего жизни ребенка нельзя еще считать за "коханья". Мазепа, наконец, так запутался в этих вопросах и сомнениях, что почувствовал просто нравственную усталость, и, не пожелав больше копаться в своей наболевшей душе, направился прямо к батюшке.

Там все были встревожены его отсутствием, особенно ввиду сообщенных Остапом грозных известий, а потому и обрадовались Мазепе... А Галина... да как же могло родиться сомнение, что она его не "кохае", не любит? — Ой, любит, беззаветно любит! — зазвенела струна в сердце Мазепы, и вспыхнуло оно таким счастьем, такой радостью, перед которой растаяли все перенесенные им страдания и тревоги, уносясь куда-то мутным туманом... Мазепа только чувствовал, что в каждом ударе его сердца звучит отрада!

Проверивши показания Остапа, все убедились, что переезжать Днепр было теперь не только опасно, а прямо безумно, а потому и Мазепа, и Сыч решились пересидеть у батюшки, пока не дадут им знать поставленные лазутчики, что московская стража удалилась. Галина была в восторге от этого и благодарила Бога в душе за счастье, ниспосланное ей в награду за долгое, мучительное терпение: ведь если бы Днепр был свободен, то Мазепа уехал бы на другой день к Дорошенко, а теперь нагрянувшая беда задержит его в этом уголке и продлит ей блаженство.. Про опасность от этой беды она, опьяненная радостью, и не думала... Да и все, кажется, охвачены были настолько счастливой минутой, что и не думали о завтрашнем дне... и время понеслось в этом счастливом, крохотном уголке какой-то гармонической, тихой волной,

приносившей с каждой струей старикам утешение, а молодежи новые звуки радостной песни любви...

Когда за "сниданком" или "вечерею" Мазепа рассказывал всем о своих приключениях за время разлуки с Сычом, а особенно о несчастьях, случившихся с ним в последнее время, то глаза Галины не отрывались от его очей и, сообразно ходу рассказа, то наполнялись слезами, то загорались радостью; она неподвижно и молчаливо сидела, вся поглощенная его рассказом, благоговей при созерцании боготворимого ею лыцаря... Мазепа тоже не мог оторваться от этого дивного, дышавшего неизъяснимой прелестью личика, которое с каждым днем хорошело и расцветало. Полное чистосердечие этой неиспорченной души, прозрачной в своих движениях и порывах, чистой в своих побуждениях, светившейся огнем святой, беззаветной любви, — возбуждало у Мазепы трогательное чувство, умиляло его, приносило высокое наслаждение гармонией бытия; очаровательный образ этого кроткого ребенка запечатлевался в его сердце неизгладимыми чертами, таким блаженством наделяя его, какое примиряет человека со всеми невзгодами и скорбями жизни.

Когда же старики уходили по хозяйским и другим делам из светлицы, а Орыся также убегала на свидание с возвратившимся Остапом, то Мазепа с Галиной оставались одни, и тогда еще живей и счастливей происходил обмен их мыслей и чувств, теплой становилась беседа и ярче светились глаза; даже застенчивая Галина преображалась и начинала сама своим серебристым голоском передавать своему другу пережитые ею страдания. В этих дружеских беседах, которые с каждым днем становились непринужденнее, Мазепа с восторгом открывал новые и новые богатства ее души и ума: последний, при всем убожестве знаний, обнаруживал большие дарования и память, и наблюдательность, и гибкость в усвоении всякого рода понятий. Мазепа часто в этих беседах касался и современных событий, объясняя Галине их значение и открывая перед ней перспективы будущего, к которому должна бы стремиться душа каждого верного сына Украины. Галина слушала с жадностью эти сообщения и проникалась ими всецело: чего она не могла сразу понять своим разумом, то чужала сердцем и откликалась им на всякий призыв своего друга.

В таком чистом, как жертвенный огонь, упоении бежали счастливые дни; сладкое, нежащее душу забытие отметало от Мазепы и злобу дня, и горечь разрыва с Марианной, и предстоящие новые бури. Но вот жизнь снова дохнула на них своими тревогами и нарушила их дремавший покой.

Раз, под вечер, когда они ворковали вдвоем, и Галина передавала Мазепе о той безысходной тоске, что охватывала ее, особенно в длинные ночи, тоске, изводившей ее невыносимой болью по нем, по ее исчезнувшему другу, вошла к ним на минуту Орыся и объявила радостно, что московская стража снялась со своих бивуаков и начала подвигаться вверх по Днепру и что вскоре, быть может и завтра, можно будет переправиться на ту сторону, так как здесь останутся "на варти свои верные и преданные люди.

Это известие, вместо радости скорого избавления от неприятельской осады, принесло и Мазепе, и Галине неожиданное горе, поразившее их особенно в первую минуту резкой, чувствительной болью. Завтра, быть может, свобода! Но неволя — их безмятежный рай, а свобода — разлука со всеми ее бичами, тревогой, тоской и отчаянием!

Долго они молчали, пришибленные этой новостью, будившей их от волшебного забытия и возвращавшей к неумолимой грозной действительности.

— Ой, лелечки! Ой, Боженьку мой! — застонала наконец тихо Галина, словно причитывая над умирающим счастьем, улетающим снова от них куда-то в безвестную даль, — ты уедешь... Ты

"зныкнеш" с очей моих и снова настанет для меня ночь, долгая, беспросветная, да с такой тоской! Ох! — сжала она свои руки у сердца, словно чувствуя уже ее когти, и устремляла испуганные до ужаса глаза на Мазепу.

— Радость моя, зиронька моя ясная, — взял ее тихо за руки Мазепа и почувствовал, как в его сердце словно оборвалось что-то и наполнило горячей струей ему грудь, — что же опечалилась, "зажурылась"? Ведь разлучимся мы не на веки, — я только побываю у нашего гетмана, передам ему все и наведаюсь к вам сейчас же на хутор.

— Нет, нет, не отпустит он тебя скоро, не отпустит, — заломила она свои руки, и чистые, как утренняя роса, слезы покатались жемчугом по ее побледневшим щекам... — Никто тебя не отпустит, никто, — заголосила она тихо, как поет умирающим звуком надорванная струна, — всякий тебя держит, от себя не пускает: и друг, и недруг... всякий желает отнять у меня... Ой, какая ж это мука!

— Господь с тобой, голубка моя, горличка моя тихая, — утешал он ее дрожащим растроганным голосом, — ты напрасно рвешь свое сердце, ты напрасно роняешь слезу... Никому я не нужен... только враги уцепились бы за меня когтями, а друзья — все они здесь, в тебе одной, моей зироньке ясной, посланной Богом.

Эти ласковые, дышавшие искренним чувством слова не отразились однако счастливой улыбкой на опечаленном личике девчины; ее горе было так велико, что заглушало всякую радость.

— Соколе мой, орле сизый, — продолжала она стонущим от неудержимой боли голосом, — ой, когда б знал ты, как тяжело без тебя, как сиротливо, как больно! Все ты мне на этом свете, все! — И батько, и ненька, и друг, и брат, и весь мир! Пока я тебя не знала, я и не помнила ничего: жила ли и радовалась ли чему, — все забыла! А как увидела тебя, так словно солнце блеснуло на меня и заглянуло лаской мне в сердце. Все осветилось, заблестело кругом... повеяло теплом... Ах, как хорошо мне стало, как хорошо! День настал, счастье заиграло и радость зазвенела вот здесь, словно песня, словно песня...

— Ангел мой, дытынка моя родная! — шептал очарованный этим признанием Мазепа, чувствуя, как неизведанное еще горячее, непорочное счастье подымает его на своих радужных крыльях куда-то в лазурную высь.

— Как же мне быть без тебя, как же быть? — заметалась Галина в тоске, ухватясь руками за голову, словно желая выжать из нее ответ на вопль своего сердца. — Ведь день без тебя это такая нудьга, что сердце разорвется от муки... да нет этих дней без тебя, нет, — все это ночи темные, черные, беспросветные... Конца им нет без тебя... Ох, они хуже могилы, там по крайности тихий покой, а здесь "нудьга" да "грызота".

— Так тебе тяжело без меня? — всматривался восторженно в это дорогое ему личико Мазепа, задыхаясь от волнения.

— Ох, как тяжело! — вздохнула Галина, — не могу я больше пережить эту тугу. Она давит меня, гнет к сырой земле... без тебя смерть мне!

— Так я дорог тебе? — так ты любишь, кохаешь меня? — наклонился к ней так близко Мазепа, что ее обдало жаром его дыхания.

— Господи! — вырвался у нее наболевший вопль, и она с рыданьем припала к его груди.

— Счастье мое! — задохнулся даже от прилива могучего чувства Мазепа. — Единая,

безраздельная... до гробовой доски. Только увидя тебя, я узнал чистую радость, только побывши с тобой, я "спизнався" со щирым, непроданным чувством и научился молиться! Да, — шептал он, осыпая горячими поцелуями ее головку, шею и вздрагивавшие все еще плечики, — молиться, да, потому что душа твоя ясная, как кристалл, вызывала лишь самые чистые молитвы... Нет! Никому не уступлю я тебя, — ты послана мне Богом. В тебе все мои утехи, все радости. Пусть "шарпае" меня жизнь, пусть рвут на "шматки" ее бури — у меня счастье и за это счастье я перенесу всякие муки, всякие "катування".

Галина только жалась к нему и трепетала от охватившего ее блаженства, в котором погасли слезы и зажглись звезды нового счастья.

В сенях раздался стук шагов, с шумом распахнулась дверь, и на пороге появился запыхавшийся от быстрой ходьбы Сыч.

— Собирайтесь, детки! — крикнул он весело, — можно уже ехать.

Мазепа и Галина едва успели отскочить друг от друга, но не умели скрыть волнения, которое зажгло им лица нескрываемым счастьем.

Сыч понял их смущение и, улыбнувшись в седой ус, продолжал более сдержанным голосом, не отрывая от Мазепы пытливого взгляда:

— Московских стрельцов уже слизнуло языком; по-моему, наилучше нам воспользоваться сегодняшней же ночью, а то не ровен час», другие аспиды найдут и помешают, а за нами и хутор уже "тужить", да и вельможному лыцарю нужно уже, вероятно, спешить по войсковым тревам. У каждого ведь свое дело и свое горе.

Мазепа почувствовал в этих словах скрытый страх старика, чтобы шляхетный пан не взбаламутил его внучки, и хотел было сразу успокоить его на этот счет, но здесь помешали вошедшие в это время в хату батюшка и Орыся...

LXV

Сборы Сыча в дорогу были недолги. У него давно уже стояли упакованные вещи, а у Мазепы не было почти никакой поклажи. Орыся не отменила прежнего решения и уезжала, к радости Галины, с нею на хутор. Правда ее гнало туда отчасти эгоистическое чувство: Остап ведь тоже выезжал за Днепр к Дорошенко вместе с Мазепой, а потому для нее было больше вероятия, что он вместе же с Мазепой скорее сможет навестить их на хуторе, чем в Волчьих Байраках, куда ему, как перебежчику, опасно было одному и возвращаться. Батюшка поддался наконец общим убеждениям и решил отправиться на некоторое время с Сычом на хутор — переждать опасную "хуртовину", так как и паства его один за другим покидала опасную приднепровскую деревню и бежала кто в города, кто в непролазные пущи, а все молодые и сильные, соединившись в загон, отправились к Гострому, куда стекались отовсюду вооруженные "купы" и загоны. Переправа через Днепр прошла счастливо, без особых приключений, хотя их "дуб" и встретил какой-то подозрительный челнок, наткнувшийся на них два раза и исчезнувший при оклике во мгле.

На другой день рано утром доехали все вместе до корчмы, от которой дороги расходились уже в противоположные стороны. Здесь путники должны были расстаться.

Мазепа крепко обнял Сыча и сказал с чувством:

— Верь, батьку, что Мазепе твоя внучка стала давно родной и что сердце его не способно на

"потайну зраду".

— Верю, мой сыну! — произнес тронутый до глубины души Сыч, — храни тебя, Боже, везде и храни твою душу.

Галину обнял Мазепа порывисто, горячо и, шепнув ей на ухо: "Моя! Навеки моя!" — вскочил на коня и полетел вперед стрелюю, боясь обернуться назад...

Оставим пока Сыча и Галину, стремящихся в свой тихий хутор, затерянный среди неоглядных степей, далекий от бурь житейских, и перенесемся туда, где вновь зазвенели мечи, запели татарские стрелы...

Дорошенко, вместе с татарской ордой, напал на коронного атамана Яна Собеского в местечке Подгайцах; хотя лагерь поляков был укреплен глубоким рвом и окопами, но не представлял сильной позиции, так как окрестные возвышенности господствовали над ним, а замок Потоцкого, оберегавший это местечко, был слабо вооружен; даже "круча", лежавшая на противоположном конце местечка, на которой возведен был городок с сильными батареями, представляла более сильный оплот, чем замок: она, собственно, была ключом к этому лагерю.

Белесоватый дым широкими полосами висел над местечком и полз по окрестным полям; то там, то сям прорывали его змейками молнии, сопровождавшиеся резким треском, вырезывавшимся среди общего, грозного гула.

Солнце уже скрылось за холмистой далью, и вечерний сумрак стал набегать на поля, орошенные свежей кровью. В этом сумраке орды татар, налетевшие яростно на правое крыло польских войск, казались беспорядочными тучами черных демонов, стремившихся с воем и ревом поглотить горсть храбрецов, но последние, осыпанные стрелами, отступали стойко и принимали на свои длинные копья рассвирепевших врагов. Много уже лежало их на поле, перемешанных с польскими трупами; безжалостно топтали их взбешенные, метавшиеся во все стороны кони... Татары, усилив еще раз нападение, начали отставать, боясь, ввиду наступающего вечера, попасть под перекрестный огонь из окопов или в засаду.

Левое крыло было уже оттиснуто казаками к круче, составлявшей главный бастион укрепленного лагеря; с высоты его, со змеившейся в сердце тоской, смотрел на это побоище, на разгром своих славных сил, молодой вождь польских войск, коронный гетман Ян Собеский; охваченный жаждой геройских подвигов и славы, он с неописанно дерзкой стремительностью бросился вырывать себе у Беллоны лавровый венок и теперь стоял раненый у лафета подбитого орудия, ожидая минуты последнего натиска, готовившего ему здесь могилу...

Он не мог себе простить безумной оплошности, с какой самонадеянно шел в неприятельскую страну, обессилив еще себя разосланными по сторонам летучими отрядами, для разорения и истребления всего по пути... И вот — конец!..

Но татары отставали, давалась отсрочка, и на душе у него начинала шевелиться надежда.

А за узкой долиной, на дне которой бурлила по каменной "рыни" горная речонка, на высокой "кручи" стоял соперник его, гетман Дорошенко, и орлиным взором следил за ходом битвы, которая должна была кончиться взятием в плен всего польского лагеря и самого этого юного героя, Собеского, — такой исход был неизбежен; лагерь дольше держаться не мог, и сегодня испробована была осажденными последняя отчаянная попытка прорваться сквозь ряды неприятелей.

Кровный караковой масти конь бил нетерпеливо копытом, пытаясь ежеминутно помчаться вихрем туда, где клубился багровыми прядями дым, где слышался грохот и рев, и глухой гул, словно на взбудораженном бурей море... Глаза гетмана горят отвагой и восторгом, лицо озарено радостью и надеждой, грудь высоко вздымается от волнения... Еще один натиск, один последний удар, и этот надменный Собеский будет раздавлен, а вместе с ним будут уничтожены и лучшие силы Речи Посполитой... Враг будет уничтожен навеки... Что тогда предпримет это кичливое шляхетство?.. Обрезаны у него крылья, а отрасли им не дадим ни мы, ни соседи! — пронеслись в голове его ураганом отрывки мыслей, но напряженность данной минуты обрывала их и приковывала к этим дымящимся долинам.

— Что же это татаре умили атаку, холоднее ведут ее, — заволновался со страшной тревогой гетман, — направо Богун ждет их последнего натиска, чтобы ударить... а они трусят, косоглазые черти!..

Гетман ударил было "острогама" коня, подняв его на дыбы, но в эту минуту подлетел к нему на взмыленном коне молодой его писарь Кочубей.

— Что же твои родичи, — накинулся с раздражением гетман на оторопевшего писаря, — дружным натиском не опрокидывают врага? Пугаться вздумали, что ли?

— Мурзы остановили атаку, — словно извинялся Кочубей за татар, — говорят, что и без того полегло их много, а ляхов можно будет завтра и голыми руками забрать.

— А что же они, черномазые дьяволы, думают на готовое только сбегаться? Чужими руками жар загребать?

— Да, они на это падки, на беззащитные села нападать так много у них отваги, а брать таборы укрепленные, либо замки, ух, как не любят!

— Лети стрелой и передай Калге, чтобы приказал всем силам ударить, а я ударю справа, и ворвемся по пятам неприятеля в их лагерь... Теперь настала минута сокрушить их одним ударом. Передай от меня моему брату, могучему повелителю орд, что и его приглашаю в замок, — вон тот, на котором еще вьются польские флаги.

Не успел Дорошенко окончить своей фразы, как раздался справа у речки страшный гик, и стройные толпы спешившихся казаков лавами двинулись через речку на тот берег, по направлению к бастиону, на котором стоял Ян Собеский. Перебравшись через бурный поток, колонны бросились с наклоненными пиками в атаку. Сумрак стусшеывал ясность очертаний, и под его пеленой казалось, что какое-то грозное, волнующееся чудовище несется с раскрытой пастью на это небольшое укрепление, готовясь его проглотить беспощадно.

— Смотри, это Богун уже бросился на ту "кручу"... Отступающие поляки могут прийти к своим на помощь... Ураганом лети... Все зависит от этой минуты! — крикнул Дорошенко бросившемуся вскачь с места Кочубею.

Он сам хотел было броситься вслед за ним, но решительный момент битвы приковал его к месту: быть может, потребуется Богуну подмога, а его не будет...

Вот зевнуло пламенем "пекло", вздрогнула от грохота земля, еще раз, другой зигзагами пробежала по всем холмам огненная змея, и все вдруг потухло. Видно только было сквозь белую дымку, что темные массы полезли на холмы неукротимым потоком.

— Эх, теперь бы слева ударить, а они приостановились, трусы, тхоры! — скрежетал Дорошенко

от досады зубами и, не выдержав, помчался к татарскому войску.

Почти у татарского стана перерезал ему дорогу Палий.

— "Коуча взята, — доложил ему подлетевший Палий, пылавший боевым восторгом, — гармата взята, всю "кручу" укрыли трупами ляхи. Собеский с "недобытками" отступил за окопы подзамка, туда и другие вошли. Как, батьку гетмане, велишь, — "добувать" ли подзамчье?

— А жив ли орел мой, старославный Богун?

— Жив, хвала Богу, ждет твоего наказу.

— Спасибо Богу и тебе за известие, мой сокол... Сейчас вот ударим на них с других сторон.

Гетмана встретил статный и красивый Нурредин, гарцевавший на белоснежном коне.

— Во имя Пророка, во имя его светозарной правды, молю тебя, брат мой, блистательный витязь, — обратился гетман к нему по-татарски, — направь снова необходимые силы твои на эту кучку бледных от страха врагов: они побегут от твоего орлиного взора, они полягут от твоего покрика, как ковыль припадает к земле от дыхания бури... Богун уже взял "гармату"... теперь уже нет и ворога, который бы затруднил вход в их лагерь, а там ожидает их несметная и богатая добыча.

— О, велик Аллах и Магомет пророк его! — воскликнул обрадованный Нурредин, приложив руку к челу и к сердцу, — твое известие, брат мой и союзник, гремящий славой от великой реки до Карпат, усладило мое сердце ароматом розы нагорной... Но к чему нам подвергать опасности в ночное, неверное время свое рыцарство, когда мы заберем их всех утром? Теперь ведь им сопротивляться так же безумно, как безумно бросаться человеку в пасть разъяренного моря.

— Разум твой, брате мой, блистает, как месяц, — пробовал убедить его гетман, — если постучишь к нему, то он скажет, что это самая удобная минута разгромить врага, он ошеломлен теперь страхом, и если слепая ночь опасна для вас, то она еще больше навевет ужасов врагу.

— Это так, — заметил Нурредин, — но вон показался двурогий месяц и нам нужно сотворить молитву. У нас много потерь, трупов своих мы не можем оставить на поле. Завтра, при блистательном солнце, мы соединим свои силы, враг никуда не уйдет...

Как ни пробовал гетман подвинуть к атаке Нурредина, тот упорно стоял на своем, сознавая, что и самые мурзы не согласятся на ночное нападение... Дорошенко хотел поехать еще к главному вождю, султану Калге, но рассчитал, что и там встретит такой же отпор.

С досадой он отъехал назад, утешая себя тем, что враги окружены действительно со всех сторон такими силами, от которых им не уйти, а помощи неоткуда было им ждать, хотя Собеский и распускал ложные слухи, будто с часу на час к ним прибудет и король, и молодой Вишневецкий.

Дорошенко поскакал во взятую Богуном крепостцу, чтобы осмотреть позиции и сделать распоряжение к последнему штурму.

По дороге Палий ему рассказывал, как ляхи их хотели застрашать.

— Много смеху было, ясновельможный гетмане, как добрались до тех валов! Смотрим, кругом торчит видимо-невидимо гармат, ну, известно, морозом сыпнуло "поза шкурою"... Как ревнули ж эти все жерла, так мы и присели, только они по дурному выпалили, поверх голов шугнуло, а мы тогда бурей на них, накрыли "гармашив", а их погнажи... Только, ясновельможная мосць, подумай, какие это были гарматы?.. Простые, обсмоленные "вулыкы"... они их поставили на колесах, да через них из мушкетов и палили... Ха, ха! Выдумали, чем пугать! Да мало того, уже когда мы дрались за валы, так они в нас бросали обсмоленными "барылками"...

— Бедные, — улыбнулся и Дорошенко, — видно у них и пороху уже нет совсем, как и харчей.

Гетман обнял Ботуна и долго не выпускал из объятий.

— Друг мой, орел Украины! — говорил он взволнованным голосом. — Ты оплот вашей бедной, раздвоенной отчизны, на тебя вся моя надежда... Эх, если бы еще приручить нам и другого орла, Сирко, если бы победить долею нашей неньки его узкую ненависть, тогда бы втроем "збудувалы" такую свою хату..

— На Бога надейся, — промолвил растроганным голосом Богун, — жаль только, что остановили сегодня "завзятцив".

Взятые пленные были допрошены тут же и все единогласно показали, что уже третий день в их лагере настоящий голод и мор, что замок хотя и каменный, но все прочие постройки деревянные, и если подзамчье сжечь, то сгорит и замок.

— Значит они у нас в шапке, — успокоился совершенно Дорошенко и, сделав распоряжение, чтоб пушки обращены были все на подзамчье и чтобы расставлена везде была "варта", пригласил к себе Богуна, писаря и есаула на вечерю. Длинные осенние вечера, а ночи еще длиннее. В палатке гетмана ярко горят канделябры, восковые свечи топятя и накипают темно-желтыми сосульками; мутное пламя колеблется от врывающегося в палатку холодного ветра и красноватым мигающим светом выхватывает из тьмы оживленные лица собеседников.

Вечеря уже отошла, но кубки еще полны темной ароматной влаги, да и в пузатых сулеях и темных серебряных жбанах она искрится золотистым отливом. Говор собеседников звучит веселыми нотами и прерывается иногда молодым смехом; юные герои опьянены восторгом победы и с воодушевлением передают ее отдельные эпизоды.

Лицо— гетмана озарено улыбкой высокого счастья. Даже угрюмое выражение усеянного морщинами лица Богуна заменилось отблеском радости.

— Да, — говорил вдохновенно гетман, — завтрашний день решит нам долю Украины. Быть может, это утро будет рассветом счастья и блага многострадальному нашему люду. Шляхетская, панская гидра не скоро после этого удара поднимет свои головы, а нам нужно будет воспользоваться этим моментом и отделиться от нее навеки. Когда бы только Бог помог завтра...

— Да уже этих войск и самого Собеского, ясновельможный наш батьку, и не считай — все они в "жмени"! — выкрикнул задорно Палий, подняв сжатый кулак.

— Так-то оно так, — кивнул головою Богун, — а все-таки вернее бы было, если бы теперь вечеряли в замке.

— Д-да, заупрямились мурзы, не захотели возобновить нападения, как я ни упрашивал, — дергал Дорошенко с досадой свою бородку "янычарку", запущенную лишь на подбородке. — О,

этот Нурредин — хитрая собака, глаза у него так и бегают... Даже Калга наклоняет ухо к нему.

— Ох, доверять-то им трудно, — вздохнул Богун, — одно слово "невира". Нашу ведь братию считают они за собак; им и Коран не только позволяет нас обманывать, а даже дает большую награду за всякого обманутого или убитого христианина.

В это время в палатку вошел встревоженный гетманский джура и объявил, что соседнее село все в огне.

Действительно, из-за откинутой полы палатки виднелось яркое зарево, от которого зловеще багровело темное небо.

— Уж не поляки ли зажгли для отводу, а сами прорвались? — вскочил встревоженный гетман и вышел стремительно из палатки.

— Нет, любый батьку, успокойся, — заметил Богун, — село лежит за татарским лагерем, — ляхам туда не прорваться, а уж не жарты ли это наших союзников?

— Не может быть, — возразил гетман, но тем не менее сейчас же послал есаула и писаря осведомиться об этом пожаре.

— Вот тебе, друже мой, новый довод, — продолжал доказывать свою мысль Богун, когда они снова вернулись к своим кубкам в палатку, — надеяться на татар невозможно, а ты еще все думал про Турцию!

— И думал, голубе мой, и думаю, — тихо сказал гетман, проводя рукой по своему высокому, отуманенному налетевшей тоской, челу. — Турция ведь за морем, и на нас оттуда своих лап не наложит, а татарву сдержит: не осмелятся они тогда нападать на подвластную султану державу, а какая нам от нее может быть тягота? — Ну, легкая оплата, да небольшое "послушенство", а в наши домашние дела она мешаться не станет и турчить нас не будет. Живут же, брате, под рукой блистательного султана христианские панства: и волохи, и мультане, и сербы, живут и хлеб жуют.

— Живут-то живут, а все-таки оно как будто не ладно, — почесал затылок Богун, — святой крест, и под опекою у неверных. Вот не мирится с этим сердце — что хочешь!

— Эх, что же тут иначе поделаешь, орле мой, коли "скрут", коли другого выхода нет? Без сильной руки, без поддержки нам не быть. Ведь расшматуют на части. Этот Андрусовский договор и заключен нам на погибель, чтобы легче было разорванные части растоптать под ногами. Ляхи взялись уничтожить и звание казаков. Эх, Иване, Иване! Болит мое сердце по несчастной нашей отчизне... да так болит! И сам ты ее любишь всей могучей своей душой, сам отдал ей всю свою жизнь, так ты и поймешь эту боль.

— Да, боль сердца я знаю, свылся с ней, — ответил угрюмо Богун, наклонив низко свою поседевшую голову, словно под тяжестью накренившейся ее "тугы".

LXVI

— Что же нам делать? С кем нам советоваться? — говорил Дорошенко, — всякий сосед про свои лишь интересы думает, а до нас ему дела нет... Мало того, наши интересы, наше благополучие раздражают их... Мы ведь словно горох при дороге — "кто не йде, той скубне"!

— Горох, горох, — улыбнулся горько Богун, — как только его до сих пор не вытоптали,

удивляться нужно.

— Живучая и плодучая нива, друже мой, оттого-то нам и надо помыслить о данном нам Богом даре, великий будет грех, если мы его выпустим из рук, "занедбаем" навек. Кто говорит, что быть под крылом неверы приятно, но ведь это пока единая опора, а дай нам только высвободиться, да опериться, так мы тогда и опоры эту по боку, без подпорок станем ходить на своих ногах.

— Вот это так думка, — оживился Богун, и глаза его сверкнули прежней молодой удалью, — за такую думку продолжи тебе, Боже, век. Эх, коли б... да что и говорить! Да за одно это твое слово сейчас же готов отдать свою буйную голову, разбить ее на черепки.

— Друже мой! — обнял его горячо гетман. — Золотое у тебя сердце и казачья душа. Эх, когда бы мне таких, как ты, хоть с десятков, свет бы перевернул. А ты мне будешь нужен в Чигирине, там я соберу раду, чтобы обсудить все это, ты поддержи меня, времена ведь последние наступают, на краю гибели мы. Знаешь сам, посылали ведь мы к Бруховецкому, пощупать его, настоящий ли он христородавец, или, может, осталась у него хоть крапочка в сердце, не закупленная сатаной. И что же? Сам видишь, — кажется, и крапочки не осталось. Уступал ведь я ему и свою булаву, лишь бы Украина была в одних руках, так что же? Что он сделал с моими послами? Либо законопатил их туда, где козам рога правят, либо со света согнал!

— Собака, Иуда проклятый! — вскрикнул гневно Богун, ударив кулаком по столу. — Что о нем и толковать! Этот-то именно хуже татарина! Ох, уж не прощу я ему до смерти гибели Мазепы, если только он "наважываясь" погубить его!

— Да, да! Жаль и мне его, Иване, так жаль, как сына родного. Способный казак... голова... и огня много... Много я на него надежд полагал, ну и сгинул там. А я ведь, знаешь, не послушал тогда владыку и тайным образом послал Мазепе на выручку Кулю "з почтом", поехали — да и те как в воду канули, так и по сей день ничего не знаю: нашли ли его, или сами погибли.

— Хочешь, я поеду к нему, к этому псу, и поговорю с ним, порасспрошу его, куда он подевал казаков? Теперь уже все равно, прятаться с татарами нечего: шила, ведь, в мешке не утаишь; думаю, и он уже слышал о наших победах. А уж так поговорю с ним, так поговорю...

— Нет, нет, тебя я не пушу на риск, — прервал его гетман, — ты мне дороже всех их, а, вот, когда управимся здесь совсем с ляхами, так перекинемся все, "гуртом", с татарами, на левобережных врагов.

— Это, пожалуй, еще лучше, — одобрил Богун. — Давно уже следовало раздавить этого "гаспыда".

Между тем, и во всем лагере, несмотря на позднюю пору, никто не ложился спать, всюду кипело горячее, радостное оживление.

Везде горели бивуачные огни и группировавшиеся вокруг них казаки вели оживленную беседу о событиях сегодняшнего дня и о предстоящем блистательном исходе борьбы; лица всех были воодушевлены и горели нетерпением — дожидаться скорее рассвета и броситься стремительно на смятого уже врага. Это желание наполняло теперь горячкой и нетерпением и душу каждого военачальника, и душу каждого рядового казака. При таком подъеме радостного настроения было не до сна; только некоторые, утомленные до такой степени, что, казалось, и само разрушение мира не могло бы пробудить их от сна, спали, беспечно растянувшись на голой земле. Над лагерем стоял громкий гул, перекатывавшийся мерными волнами. Но вдруг среди этого общего гула раздались радостные веселые крики и возгласы и понеслись вихрем к

гетманской палатке.

Дорошенко и Богун замолчали и начали прислушиваться. Вскоре послышался топот копыт, сопровождаемый радостными криками толпы.

Через минуту в палатку вошли Палий и Кочубей, посланные узнать о пожаре в соседней деревне.

— Татары, ясновельможный гетман, жгут тела своих витязей, — доложил первый.

— Жгут-то жгут, батьку, — поправил второй, — только жгут в хатах поселян, понакладывали их своим "собачым падлом", хозяев повыгоняли, да и подожгли село с четырех сторон, так оно и горит себе с коровами, волами, со всем "скарбом", кроме того, что взяли себе наши союзники, да пожалуй еще и со всеми детьми, что спали в своих родных гнездах... Татаре вокруг всего села стоят "лавамы" и джергочут молитву к своему нечистому, а дальше, на горбике, сидят выгнанные поселяне, больше диды да бабы, дрожат от холоду, да любуются, как пламя слизывает их жилища и кровавым трудом нажитое добро.

— Эх! — рванул себя за чуприну Богун и отошел в сторону.

— Нужно однако дать помощь этим несчастным, — затревожился Дорошенко.

— Я им объявил, чтобы все спешили в наш лагерь, — сообщил Палий.

— Чудесно сделал, мой голубе! — обрадовался Дорошенко, — из завтрашней добычи первый пай будет им.

— А уже Собеский прислал посла для переговоров о сдаче замка и о мире, — объявил, в свою очередь, Кочубей.

— О! Прислал уже? — схватился со стула в восторге Дорошенко. — Что же ты сразу не сообщил мне этой радостной вести?

— Ага, вот оно что, — подошел к ним и Богун, заинтересованный важной новостью, — то-то я думаю, чего это загомонили наши?

— Да того же самого, пане полковнику, что Собеский посла прислал.

— А где же он, этот посол? Вели впустить его, — приказал Дорошенко.

— Да его нет, — огорошил всех Палий.'

— Как нет?! — воскликнули Дорошенко и Богун, устремивши изумленные глаза на Кочубея.

— Очень просто, — пояснил с улыбкой Палий, — посол от Собеского приезжал действительно, да только не в наш лагерь, а в татарский.

— Ну, ну и что же? — заторопил его взволнованный гетман.

— Калга его отправил назад, — продолжал спокойно Палий, — сказал, что войну ведет гетман казачий и всего запорожского войска, и что он ему лишь побратым и союзник, так за мирными договорами и отправляйся, мол, к нему... Так этот посол и вышел оттуда, не солоно хлебавши. Говорят, что мурзы все тем были недовольны, ну, а Калга таки выпроводил его к тебе, батьку.

— Калга верный друг и союзник, видишь, мой голубе, — заметил с чувством Дорошенко, обращаясь к Богуну. — Ну, и где же этот посол? Не прибыл еще? — спросил он у своего есаула.

— Скоро будет, — ответил Кочубей.

— К рассвету, не раньше, — добавил Палий. — Ведь он еще вернется к Собескому, доложит ему о происшедшем и передаст также, что нужно волей-неволей обращаться за лаской к самому ясному гетману. Ну, еще после этого Собеский "порадаться" со своими и после уже решат отправить посла... так время до рассвета и протянется.

— Больше ждали, можем подождать! — провозгласил и радостно, и торжественно гетман, охваченный снова восторгом и гордым чувством победы. — Ничего нет дивного в том, что поляки обратились сперва к татарам: всякий ведь о своей шкуре думает и щупает, кого бы легче притянуть на свою сторону, — так бы и мы поступили... но важно тут то, что уже присылали просить милости: значит, у них последний "скрут", значит, уже им нет никаких сил держаться, значит, они здесь в нашей "жмени", — а ведь это, панове, последние силы Речи Посполитой... Вот и выходит, друзья мои, что вы этой последней новостью обрадовали меня несказанно, — обнял он обоих своих юнаков и добавил весело: — Ей-Богу, за такую весть следует выпить. Гей, джура! — ударил он в ладоши, — вина сюда, а то и меду!

Взволнованный этой радостью, Богун обнял гетмана, и пошло опять широкой волной прерванное известием о пожаре пирование.

Дорошенко хотел было уже выкатить и для войскового товариства, и для казаков несколько бочек горилки, но Богун удержал его от этого. Впрочем, и без выпивки бешеное веселье охватывало все больше и больше не спавший лагерь, тем более, что гетман распорядился отпустить на душу по "мыхайлыку" для подкрепления сил.

Понесли через речку и засевшим в городке рыцарям отпущенное угощение. Движение и говор, несмотря на позднее время, не только не улегались, а скорее выростали. Слышались то тут, то там взрывы гомерического хохота; то сям, то там выхватывалась из общего гула веселая песня.

Но вот в конце раздался какой-то особенный шум, послышался взрыв каких-то радостных криков и бурных восклицаний.

— Вот и посланник, — заметил Кочубей, прислушиваясь к приближающемуся шуму.

— Пожалуй, он, — кивнул головой Палий.

— Хе, торопятся, — улыбнулся гетман и почувствовал, как у него под расстегнутым жупаном забило от великой радости сердце.

Джура отдернул полог палатки и на темном фоне осенней ночи появилась, освещенная светом красноватых огней, статная фигура, но не посланника.

— Мазепа!? — вскрикнули все с некоторым оттенком суеверного страха, подымаясь со своих мест. — Откуда ты? С того света?

— Почитай, что так, ясновельможный гетмане, — ответил радостно вошедший, — уже одной ногой был в самом пекле, да милосердный Бог послал мне ангела на спасенье.

— Вот так радость, — заключил в объятья пропавшего было без вести посланника гетман, —

вот так милость к нам Божья!

— Да, Господь-таки "зглянувся", над нами! — раздалась за спиной Мазепы приятная октава.

— Куля, и Куля мой тут? — не мог уже прийти в себя от восторга и изумления Дорошенко, прижимая то одного, то другого к своей груди. — Да этак от избытка радости, пожалуй, и с ума сойдешь!

Богун тоже обнял горячо Кулю, "почоломкався" с Мазепой и с двумя казаками из его "почту".

Усадили дорогих гостей за столы, поднесли им полные кубки, и снова загорелась веселая, дружеская беседа. Мазепа и Куля стали рассказывать о своих приключениях, о подвигах дочери Гострого и о своем чудесном спасении. Все эти эпизоды тайных нападений, вероломных засад и неусыпных поисков самоотверженной Марианны захватили до того внимание гетмана и Богуну, что они о главном, о самом Бруховецком, почти и не расспрашивали; впрочем, из самой передачи приключений можно было заключить совершенно уверенно, что гетман левобережный — вполне безнадёжен.

— Ну, а сам полковник Гострый что? — спросил, наконец, после небольшой паузы рассказчиков Богун. — Много о нем доброго слышно?

— Гострый?! — переспросил Мазепа. — Да дай, Боже, пане, чтоб еще был у нас такой полковник, у нас тогда завелись бы три таких столпа, о которые Украина смогла бы опереться спокойно.

— Да, с Сирко два... коли б только он к нам! — воскликнул совершенно искренне Богун.

— Я не Сирко считаю вторым столпом, — ответил Мазепа, посмотрев значительно на Богуну, так что тот вспыхнул невольно. — А что до полковника Гострого, то он со своей дочкой, невиданной еще героиней, положат с радостью головы за Украину, да что головы?.. Эту штуку многие сделают, но они работают на спасение ее и как ни лютует их "запроданец" гетман, а не уловит своего противника и не прорвет расставленных Гострым сетей... А везде уже, где я ни проезжал, народ готов к восстанию, имеет тайные связи с Гострым и ждет только от него "гасло"... О, когда народ это "гасло" услышит, тогда припомнит Бруховецкому и его приспешникам все его кривды!

— Так левобережный народ подготовлен? — загорелся новой надеждой и радостью гетман. — И готов за нами пойти?

— Еще как. Морем хлынет! Там тоже только и думки, чтоб соединиться воедино, может разве несколько зрадников из подкупленной гетманом шляхты, вроде Тамары, пойдут за ним и баста! Даже на свои надворные войска он положиться не может: стрельцы лишь московские будут с ним — и только!

— Господи! Сил с нами буди! — воскликнул гетман, умиленный до слез наплывом таких радостных известий, и вышел из палатки.

Ночь уже, видимо, проходила. Небо, очищенное от облаков, сверкало звездами, которые в морозном предрассветном воздухе искрились бриллиантами, сапфирами и рубинами. Большая Медведица была уже низко. Небосклон с восточной стороны начинал бледнеть. Зарево от догоревшего села почти угасло, и только бледными розовыми отблесками вспыхивало небо.

"Ах, эта ночь! — не думал, а чувствовал всем существом споим гетман: он был слишком

взволнован, чтобы мог разобраться с кружившими мыслями, да и их было слишком много. — Сколько она принесла радости, сколько надежды, сколько счастья! Когда бы скорее заря... Когда бы скорее она увенчала наш подвиг победой! Не для себя прошу ее у Бога, а для тебя, моя дорогая, моя попранная врагами родина!.. О, как я люблю тебя, как готов отдать всю жизнь свою за твое величие, за твое благо!"

Гетман занемел в экстазе; но вдруг его поразил поднявшийся шум в татарском лагере...

LXVII

"Неужели, — подумал Дорошенко, — татары уже двинулись в атаку? Странно, без моего "гасла"... и, наконец, татары не любят первые бросаться в огонь".

Весь казачий лагерь поднялся на ноги и замер, пораженный необъяснимым, необычайным явлением.

А раздавшийся шум не только не улегся, но грозно рос; видно было, что в татарском лагере произошло какое-то смятение, в предрассветном сумраке было видно, что темные массы приходили в движение, вскакивали на коней... Раздалось даже несколько выстрелов.

— Что это такое? Что там происходит? — замер вопрос в устах побледневшего гетмана.

Словно в ответ на него раздался вблизи топот, и подлетевший вихрем казак крикнул громовым голосом:

— "Зрада"! Татары изменили! На нас идут!

— Что-о? — вскрикнул гетман и пошатнулся, словно от стрелы, вонзившейся глубоко ему в грудь. — Что такое? — но крик замер в его горле.

Все остолбенели и не могли перевести дух. Удар был так разителен и так неожидан.

— Да говори же, черт, как и что? — закричал, наконец, Богун на прискакавшего вестника.

— Да вот, говорят, пришли к ним, к татарам, из этого, как бишь, — торопился и путался в словах от страха гонец, — да, из Крыма... вести, что кошевой запорожского войска Сирко ударил всеми казачьими силами на эту самую татарву в Крыму, на их семьи, так как они остались одни: мурзы ведь с загонами ушли сюда... Ну, так он все "сплюндрував", выжег, даже сам салтан "утик" в море.

— Ах, Сирко! Свой брат и ударил под самое сердце ножом! — застонал гетман, схватившись руками за голову.

— Неслыханное дело! — вскрикнул возмущенный Мазепа.

— Проклятие! — простонала глухо старшина.

— Так вот тут они и взбунтовались все, — продолжал гонец, — говорят, что это будто подстроили им штуку, завели их, мол, сюда со всеми силами, заманули, а Сирко тем часом послал разорить их беспомощные "кубла". Ну, они, разъяренные, как пьяные черти, и кричат, что коли с нами поступили так предательски, так "гайда" на этих "гджаврив", вырезать их, собак, и разорить, разгромить весь край!

— Да чем же мы виноваты? Разве за другого мы можем отвечать? — возмущался Богун. —

Однако, панове, "до зброи"! — возвысил он голос. — Будьте готовы дать отпор, а то ведь нападут врасплох, как на курей!

— "Зрада"... "зрада"! — раздались крики и в молчавшей до сих пор толпе казаков раздались и понеслись по рядам гальваническим током, поражая всех ужасом и приводя в беспорядочное движение...

— Коня! — крикнул, наконец, пришедший в себя гетман; вскочив на него, он полетел прямо в татарский лагерь.

Когда гетман скрылся за ближайшим холмиком, Богун тоже поскакал за ним с пятью татарами из гетманской стражи. Дорошенко не помнил, как и долетел до союзного лагеря; его душа до того была потрясена этим ударом, а весь организм до того разбит, что все чувства, мысли и ощущения его потеряли свою ясность и превратились в какой-то дикий хаос. Гетман летел вдоль лагеря, видел, что вокруг него носятся разъяренные толпы, мечутся, как бешеные волны в бурю на море, слышал рокочущие взрывы угроз и проклятий, ощущал даже свист ятаганов и летел безучастно вперед, не сознавая даже хорошо, к кому и зачем он спешил? Счастье его было, что на всем лежал еще тогда полог ночи, а кругом бушевала суэта: в вихре ее и в темноте он не был замечен, а иначе не донести до султанской палатки на плечах своей буйной головы. Но вот и палатка... Толпившиеся у входа ее мурзы узнали Дорошенко и встретили его гневным, угрожающим криком:

— Вот он, предатель!

— Кто смеет меня называть предателем, тот свой язык заменил жалом змеиным! — вскрикнул гордо гетман и, соскочив с коня, подошел смело к мурзам.

— Молчи, — заскрежетали мурзы зубами, — до наших ушей долетели крики и стоны несчастных детей и жен, которых твой брат перерезал, когда ты нас выманил из родных сел в гяурскую землю!

— Богом моим всемогущим клянусь, что это кривда и ложь! Не брат мой то учинил, а ворог мой лютей... ворог слепой и Украины! Кто не верит, пусть тот скрестит со мною клинок!

— Клятвы гяуров — пена! А дым наших жилищ и кровь наших братьев вопиют о мщении, — заревели вне себя мурзы. — Смерть шайтану! — и над головой гетмана взвились и сверкнули холодной молнией ятаганы. Дорошенко не отступил, а подставил навстречу им свой клинок; но не устоял бы он от града ударов, если бы в эту минуту не вышел из палатки Калги побратим Дорошенко, Ислам-Бей. Он стремительно ринулся вперед между встретившихся клинков и, подняв свою саблю, остановил схватку.

— Именем пророка! — крикнул он зычно. — Вложите сталь в ее убежище! И мне, и блистательному султану известно, что этот собака Сирко с самого начала стал противником гетмана и не захотел своего уха преклонить к его груди... У него, шайтана, выросла в сердце одна только ненависть к нам, правоверным... Но брат не отвечает за брата, а тем более за своего врага!

— Сирко подвластен гетману! — закричали с бешенством мурзы. — А подвластный не может без согласия своего повелителя учинить над его друзьями такой разбой.

— Он мне не подвластен, — заговорил гетман, — он подвластен, по последнему договору, московскому царю да польскому королю...

Мурзы притихли, хотя проклятия еще слышны были в рядах, но и у замолчавших недоброе чувство сверкало еще из-под нахмуренных бровей.

— Я верю тебе, благородный рыцарь, — раздался в это время голос Калги, вышедшего на поднятый шум из палатки. Появление его смутило мурз и наклонило им и гетману головы. — Отправляйтесь же вы, мои славные рыцари, к своим загонам и удержите мятежные сердца моих воинов: пусть они гнев свой не разбрасывают по ветру, а прячут его в тайниках сердца; сейчас мы возвращаемся домой, и Аллах мне поможет выбрать время для мести. О, месяц не свершит еще своего таинственного круга, как польется рекой кровь этих коварных, разбойничьих гадин.

— Да осенит борода пророка тебя, нашего повелителя! — произнесли с чувством мурзы, — и да облекутся слова твои в сталь и огонь!

— Твое заступничество за меня, источник света и доблестей высших хранилище, умиляет мое сердце чувством несказанной благодарности, — заговорил гетман, приложив полу султанской одежды к своему лбу и к груди. — Но умоляю тебя, блистательный луч двурогого месяца, и вас всех, звезды востока, — поклонился он мурзам, — остановите ваше славное воинство, хоть на день, и довершите мою победу над лютым врагом! Ведь он теперь почти беззащитен... Вся добыча попадет в наши руки и большую половину ее я наперед уступаю моим друзьям!

— Да будет так! — поднял руку Калга.

Но мурзы заволновались.

— Повелитель верных и гроза мира, — отозвался один из них, приложив руки к груди и низко наклоняя голову. — Вряд ли удастся нам заставить твоё славное войско проливать свою кровь за неверных и вероломных гяуров... И то уже будет чрезмерным усилием — удержать руки витязей от немедленного отмщения за свои обиды: ведь перед их глазами дымится еще кровь истребленных гяурами родичей, как же они за этих хищных волков станут проливать еще свою кровь? Кроме того, всем известно, что поляки сегодня же ночью предлагали нам выкуп хороший, и ты, неиссякаемое море милосердия, отказался от этого "бакшыша" в пользу своего союзника за "барабар"! Трудно будет, после всего этого, заставить их еще класть свои головы!..

— Ни одной капли крови не прольется, — воскликнул с отчаянием гетман, — только не уходите: мы сами теперь расправимся с нашим врагом, и клянусь моею несчастною отчизной, что "бакшыш" вы получите вдвое больший, чем вам обещали поляки!

— Истинно, как Магомет первый пророк! — поддержал Ислам-Бей.

— Гетман и вождь неверных, брат нам по союзу, говорит дело, — произнес Калга, — а потому преклоните ваши уши к его словам и склоните к тому и свои загоны.

Мурзы, с показным подобострастием, разошлись молча, но видно было по выражению их лиц, что на душе их таилось другое, да и за самого султана трудно было поручиться, искренне ли он исполняет просьбу гетмана, или притворно лишь обещает.

— Пусть брат мой не тревожится и отправляется спокойно в свой лагерь, — сказал ему в заключение Калга, — я дам свою почетную стражу, арнаутов, проводить гетмана.

— Щедротам и милостям твоего величия конца нет, — ответил на это гетман, приложив руки к груди, — но знай, мой высокий союзник, что все благо моей отчизны заключено в сегодняшнем

дне, в победе, уже совершенной нами, но не законченной, лежит ее жизнь, в бессильном отступлении — смерть... И все это в твоих руках, благороднейшее, великое сердце!

Волнение не позволило говорить больше гетману, и он должен был напрячь всю силу воли, чтоб не уронить своего достоинства.

Вырвавшийся из груди гетмана вопль разбитого сердца, видимо, тронул и султана Калгу.

— Не печалься, мой брат, — промолвил он теплым голосом. — Любовь к своему народу мне тоже известна и доблести моего брата заставляют мое сердце склониться к его груди... Но все наши желания — ничто перед тенью пророка, — добавил он загадочно, — все судьбы народов взвешены у Аллаха. Пусть же он успокоит твой взволнованный дух... А мы все рабы его воли!

В тягостном, убитом настроении духа выехал из татарского лагеря Дорошенко. Мятежные толпы группировались теперь огромными массами вокруг своих вождей; бурные крики улеглись везде, но и в наступившей сравнительно тишине чувствовалось что-то грозное, зловещее.

Дорошенко ехал шагом в свой лагерь, понуря голову и чувствуя какой-то внутренний холод, словно он, сорвавшись с вершины, летел в темную бездну, — даже в ушах ему чудился какой-то звенящий шум. На приличном расстоянии за ним следовал почетный кортеж. Занималось уже туманное, осеннее утро, предвещавшее впрочем ясный, слегка морозный день. Мысли гетмана были страшно возбуждены и кружились в его голове бурными вихрями.

"Свой же, свой — и рыцарь, и завзятый орел-запорожец, любимец народа, — и вдруг нанес такой удар в самое сердце своей матери! Что же это? Конец ли приходит ее бытию, если уж и дети на нее, поруганную, поднимают ножи! Или он только любит одни грабежи и набеги да молодецкую удаль, или он слеп и глух ко всему? Ведь он же знал, я писал ему, посылал послы, что Украина разорвана на две части для того, чтоб легче было ее прикончить! Ведь он же знал, что я поднялся против наших исконных врагов, против поляков? Ведь он же знал, что самое Запорожье оставлено под властью двух держав, для того только, чтобы растереть его поскорее и смыть с лица света? Ведь он же знал, что Запорожье будут щадить, пока существуют татары, а со смертью их ударит и Запорожье час смерти? Ведь он же, наконец, знал, что татары мои союзники и что они пошли со мною сломить нашего векового врага? О, знал он, все знал!.. А между тем так вероломно "зрадыв", так изменил мне и родине, так подло, по-зверски поступил — и с союзником, и со мной, и с отчизной! О, Иуда предатель! О, Каин братоубийца! Ты вырвал из моих рук и победу, и спасенье отчизны, и все! Какое ужасное злодейство! Само "пекло" должно прийти от него в ужас!"

"А, может быть, он ничего этого не знал? — снова задал себе вопрос гетман, словно желая подыскать хоть какую-либо фиктивную причину, объяснявшую поступок Сирка. — Но нет, как не знал? Ведь я, наконец, получил даже ответ от него, хотя и не совсем благоприятный, но и не "зрадныцький": ведь он от одного только отказался: выступать вместе с татарами, биться вместе с нехристями, — но он же передавал, что думкам моим сочувствует, что за единую, неделимую Украину готов сам биться. Но мало этого, — начал припоминать гетман все даже мельчайшие события последних дней, — "когда он покончил с татарами и ждал союзников своих к Покрову, то» не получая никаких известий с правого берега, — так как и Мазепа, и Куля застряли там бесследно, — он снова посылал к Сирко гонца с письмом, прося, чтобы тот ему ответил, не имеет ли он на думке учинить что-либо враждебное против самого его, Дорошенко, и против его союзников? Чтобы он, как брату, откровенно сказал, а то что же выйдет? Он, Дорошенко, пойдет на ляхов, а Сирко бросится на него с тылу?.. Дорошенко припомнилось даже, как томительно и с каким замиранием сердца он ждал от Сирко ответа и

как его долго не было... — Да, это было ужасное время, отчаяние овладевало, булава жгла руки: ни с правого берега, ни из Сечи, ни даже от Ислам-Бея не было ни вести, ни слуха! А между тем Дорошенко объявил Польше полный разрыв, и оттуда двигался уже на него с сильной, грозной ратью юный, отважный герой Ян Собеский... Наступала осень, распутица, а он, гетман, не двигался и допускал все ближе и ближе врага. Но вдруг, наконец, радость за радостью: прибыли татары, а вместе с ними пришел и ответ Сирко, что хотя он и враг союзов с неверными, но думки Дорошенко ценит, ему, как гетману, подчиняется и, как бывшему товарищу, остается другом навеки, и никогда против него не пойдет!

Как все это обрадовало тогда Дорошенко, как окрылило, как ободрило и подняло дух! Он разделил сейчас татар: меньшую половину с небольшим отрядом казачьим под предводительством Тимофея Носача он оставил для вторжения в Левобережную Украину, и в то же время для защиты своей Украины от могущего быть нападения Бруховецкого, а с главными силами татарскими, повелеваемыми братьями султана, и со своими лучшими полками двинулся стремительно в Подолию разбить Яна Собеского, который вступил туда с тридцатитысячным войском, обозначая свой путь пожарами, руинами и лужами братской крови.

LXVIII

— И как счастливо начался этот поход! — вырвалось вслух у Дорошенко. Да, такой другой удачи он не припомнит: погода, несмотря на позднюю осень, не испортила дорог; в две недели они успели сделать переход; татары повели себя строго, не увлекаясь прежними разбойничьими привычками. И вот Ян Собеский, знаменитейший полководец, разбит на голову, прижат в угол, а во вчерашней отчаянной битве уничтожен вконец, — только живьем забрать и предписать Польше условия, какие пожелаем... и вдруг... — О, проклятье, проклятье! — простонал гетман. — Свой брат и друг зарезал, загубил! Да разве им, этим братчикам, дорога Украина? Разве им дороги ее власть, могущество, величие. Не хотят они обуздать своей воли! Нет, они враги всякого порядка, не воля им дорога, а Своеволье, своя гордость, свое лишь желание! Даже во имя общего блага не хотят они смирить своей гордыни и подчинить свою волю другому. Все они таковы, и Сирко тоже!

Гетман проехал по своему лагерю, до того придавленный "тугою", что не заметил даже в бледном тумане, что все уже стояло в боевом порядке и что за ним двигалась молча почти вся старшина. Все были придавлены ужасным предчувствием, всякого жгло нетерпение узнать поскорее свою судьбу, но никто не решался потревожить Дорошенко вопросом, видя его совершенно убитым, с поникшей на грудь головой. Почти машинально, не давая себе ясного отчета, гетман направил своего коня к палатке митрополита Тукальского, своего искреннего друга, поддерживающего и его заветную мысль, и его самого в тяжкие минуты жизни, когда, подрезанная сомнениями, начинала колебаться его воля.

У входа в палатку встретил гетмана сам владыка: осенив Дорошенко крестом, он ободрил его теплым словом:

— Да не смущается сердце твое, возлюбленный сыне мой! — произнес он с чувством. — Бог испытует, Бог и дарует... Да и самый испыт Его есть ласка, ибо он посылается нам для указания лучших путей: то, что нам, слепотствующим, кажется с первого раза ударом, — бывает часто нашим спасеньем. Покоримся же Его святой воле и с бодрим духом воскликнем:

"Помощник и Покровитель, буди нам во спасение!" Дорошенко припал к руке владыки и тот почувствовал, как на нее скатилась горячая слеза.

Вслед за митрополитом к Дорошенко подошел и архимандрит Юрий Хмельницкий, он молча обнял горячо своего благодетеля и друга. В это время в палатку вошла и знатная старшина, следовавшая за гетманом, среди которой были Богун, Мазепа, Кочубей и Палий.

Составилась наскоро военная "рада". Гетман сообщил вкратце положение вещей, которое и без того уже было известно всем, и просил своих слушателей, чтобы решили здесь, что предпринять теперь? Сам он в минуту отчаяния терял обычную находчивость и умение пользоваться обстоятельствами; он мог решиться даже на безрассудный, безумный поступок.

Владыка предложил всем весьма разумный план: не ждать окончательного ответа Калги, а упредив его, послать немедленно парламентаря к Собескому и предложить ему либо штурм, либо мирные условия: по всей вероятности он, Собеский, не зная еще ничего о разрыве с татарами, согласится поскорее заключить мир, хотя бы и на самых неблагоприятных условиях, чем ожидать верной гибели.

Мазепа первый поддержал это мнение и предложил свои услуги для переговоров с Собеским; лучшего посла нельзя было и придумать, а потому он и отправился вместе с Кочубеем в неприятельский замок. Богун же с Палием поскакали в занятый ими накануне городок, чтобы быть готовыми по первому "гаслу" ударить на обессиленного врага. Сам Дорошенко согласился тоже с мнением своего старого друга Богуна — на случай полной неудачи мирных переговоров повести атаку всеми силами: теперь ведь в самом худшем случае татары могли лишь отступить, но не броситься на своих союзников, — в том, по крайней мере, был убежден Дорошенко. Получив напутствие и благословение от митрополита и архимандрита, он вышел из палатки несколько ободренный.

Часа через два из замка возвратился Кочубей и объявил гетману, что поляки, услышав шум и крики в татарском лагере, тотчас же послали туда своего посла разузнать, в чем дело, и оттуда вместе с парламентарем польским был отправлен в их лагерь татарский мурза для окончания переговоров о мире и об откупе; татары, на глазах самого Мазепы, покончили решительно с Собеским, заключили с ним мир и вечный союз, за который Польша обязывалась выплачивать татарам ежегодно большие суммы, а кроме того, уплатить всю недоплаченную за прошлые годы дань. Таким образом, теперь сам Собеский будет предписывать условия подданному Речи Посполитой, казачьему гетману, и если последний не согласится на них, то татары вынуждены будут, как союзники польские, выступить, по требованию Собеского, на казаков.

— Вот они, эти верные союзники! — вскрикнул гневно Богун. — И без Сирко они продали бы нас за "бакшыш"; у них ведь кто больше даст, тот и брат!

— Предатели, предатели! — побагровел гетман и ударил себя в грудь кулаком.

— Верно, что Иуды! — повторил и Богун. — разве под Зборовом не устроили они такой же самой штуки? Разбитый на голову король был уже в наших руках. Так что же? Паны подкупили татар, и хан принудил нас заключить мир, когда вся Польша лежала у наших ног! А под Берестечком разве не зрадили они нас, задобренные "бакшышем"? О, Сирко прав, что ненавидит их!

— Проклятье! Бить их всех! Лучше поляжем в удалой битве, чем через этих разбойников наденем на шею ярмо! — завопил, не помня себя от гнева, гетман и, обнажив саблю, ударил было шпорами коня, как в это мгновение его остановил Кочубей.

— Ясновельможный гетмане, — произнес он торопливо, — прости за смелость, я не досказал

тебе еще главного. Мазепа просил передать, что, несмотря на все, он успеет выговорить приличные и непозорные условия для мира; вскоре он явится сюда в лагерь с уполномоченными польского гетмана для подписания мирного договора.

Последнее сообщение несколько успокоило гетмана и остановило его безумный порыв.

Прошло два часа томительного ожидания.

Наконец прибыл и Мазепа с уполномоченными. Доводы и обаяние дорошенковского посла, а главное — весьма опасное положение польского войска сделали свое дело у Собеского, так что он весьма охотно согласился на следующие условия:

Дорошенко обещал оставаться верным подданным Речи Посполитой, а последняя утверждала его в гетманском достоинстве и прощала все грехи казакам. Кроме сего, сделаны еще были с обеих сторон торжественные обещания: со стороны Польши, — не нарушать никаких прав и привилегий казачьих, не позволять шляхте притеснять крестьян и не вмешиваться в дела православной церкви, а со стороны Дорошенко, — не поднимать никогда оружия против Польши.

Со скрежетом зубовным, с затаенной в сердце клятвой отметить своим обидчикам и положить душу за объединение Украины под самостоятельной булавой, Дорошенко подписал мирный трактат и поспешил возвратиться в Чигирин.

А на левом берегу Днепра росла уже и поднималась темная, грозная туча...

Снова Чигирин... Снова придворная жизнь, придворные интриги...

Мазепа прискакал туда по поручению гетмана первым, чтобы разведать, не было ли со стороны левобережного гетмана каких-либо подвохов, и чтобы дать отпор Бруховецкому, если тот предпринял что-либо враждебное против Дорошенко, а главное сообщить обожаемой гетманом гетманше о благополучном окончании похода и о сердечной тоске по ней бесконечно любящего ее супруга.

Мазепа застал пани гетманову не одну: ее одиночество и тревогу разделял прибывший неожиданно с правого берега Самойлович. .

Гетманша встретила Мазепу не то чтобы совсем недружелюбно, но с нескрываемым раздражением. Казалось, она была разочарована тем, что поход оборвался так скоро: она рассчитывала на затяжную войну, и вдруг конец, и такой неудачный. Последним обстоятельством она особенно маскировала свое недовольствие.

— Что делать! — говорил со вздохом Мазепа, — на все воля Божья! Все плоды гетманского подвига, все будущее Украины вырвал из рук своевольный Сирко. такой "зрады", моя пышная крулева, и сам великий ум отклонить не в силах.

— Великий ум мог это предугадать, — возразила раздраженно пани гетманова. — Сирко неохотно отвечал на предложения его, а вступить в союз с татарами высказал через твою же милость окончательное нежелание и явно выражал свою ненависть к татарам.

— Но он при этом давал слово не вмешиваться в дела ясновельможного, он разделял его мысли, его стремления...

— Так и нужно было воспользоваться этим, не оставлять сомнительного помощника у себя за спиной, а услатить куда-либо подальше.

— Ого! Я и не подозревал, — вмешался в разговор вкрадчивым, льстивым голосом Самойлович, — что наша пленительная владычица обладает таким орлиным умом полководца! Значит, и суровый Марс обратил свое око на нашу "чаривницу"... Как же нам, бедным смертным, не терять от одного ее взгляда головы?

— Пан полковник вечно жартует! — вспыхнула от удовольствия гетманша и бросила на собеседника такой выразительный взгляд, что Мазепе он показался подозрительным, — а я говорю дело, и смеяться надо мной нечего, — надула она обворожительно губки, — нельзя было полагаться на этого "розбышаку", а нужно было оградить себя... Ну, вот и вышло, что все затеи разлетелись прахом и весь поход окончился ничем... Опять начнутся рассылки послов да бесконечные переговоры... По-моему, коли затевать серьезное дело, так дома сидеть нечего, — последнюю фразу она заключила уже желчно.

— Затеи, или, лучше сказать, заветные желания и святые "думки" нашего преславного батька и гетмана, — возразил Мазепа, — не только не разлетелись прахом, а оперились даже соколиным крылом, и Господь нам поможет этими думками залечить смертельные раны отчизны, да и поход наш, моя крулева, закончился все-таки завоеванием... Не таким, правда, как желали, а все-таки важным: ясновельможный пан наш утвержден в гетманском достоинстве.

— Только-то? — уронила небрежно пани гетманова.

— Для ее мосци, — улыбнулся Самойлович, — это ничтожество, весь свет должен признать ее не гетманшей, а даже королевой.

— О, в этом я спорить не смею! — воскликнул с напускным пафосом и Мазепа, — в сердце у него зашевелилось недоброе чувство и против этой ветреной гетманши, и против нежеланного гостя, очевидно настроенного не в пользу гетмана, но он затаил это чувство и, желая обратить весь разговор в шутку, стал на одно колено и воскликнул:

— Не королевой признаю я мою повелительницу, а богинею.

— Встань, смертный! — улыбнулась в свою очередь гетманша, протянув свою алебастровую ручку. — Я принимаю твое поклоненье.

Мазепа поцеловал протянутую милостиво ручку. В это время вошла в покой "выхованка" гетманши и доложила, что "сниданок" готов.

Когда все двинулись в трапезную, то Мазепа задержал на минуту Саню.

— Давно тут, моя любая. панно, полковник Самойлович? — спросил он у нее тихо.

— Давно, — ответила она с легким вздохом, — сейчас же вскоре после гетманского отъезда он сюда к прибыл.

— А с каким поручением, не знает панна?

— Кажется, так себе... в гости.

— Гм! Странно!.. Не такие теперь времена... Уж нет ли туг чего со стороны Бруховецкого?

— Не думаю, — протянула панна, — мне кажется, просто нечего ему там делать.

— Не нравится он мне, правду сказать, — заметил, очнувшись от какой-то задумчивости Мазепа, — чересчур сладок и чересчур уж жмурит глаза.

— Да и мне он не по душе, — сдвинула девушка брови и каким-то смущенным голосом спросила Мазепу, — а что... много наших убито или искалечено?

— Не особенно... но без жертв войны не бывает.

— А знакомые наши... убиты? — испуганно подняла она свои большие серые глаза.

— А за кого именно панна тревожится? — взглянул на нее с улыбкой Мазепа.

— За всех, — опустила она глаза, — но знакомых, дворцовых людей — конечно больше жаль.

— Ну так вот, кто же из наших... — тянул с улыбкой Мазепа, наслаждаясь смущением панны, — пал на поле чести... или лучше сказать, кто остался в живых и не был тронут ни мечом, ни татарской стрелой? Дай Бог память...

Саня стояла ни жива, ни мертва, словно ожидая смертного приговора.

— Ну, так остались живы и невредимы, и счастливы, и спешат с нетерпением в Чигирин и Палий, и Кочубей, — закончил он весело.

— Ох! — вырвался неожиданно у Сани радостный взглас, и она вспыхнула вся до корней волос.

— Какое у панны доброе сердце! — усмехнулся лукаво Мазепа. — Она так рада за наших бедных казаков.

— Конечно, свои... дворцовые... прошу пана до сниданка, — попробовала было Саня замять опасный разговор, но здесь голос ее задрожал и, закрывши лицо руками, она поспешно выбежала из светлицы...

LXIX

Мазепа проснулся в своем покое, помещавшемся в дворцовом флигеле, довольно поздно: походные труды и дальняя дорога истомили его, а сытный "сниданок" с возлиянием расположил к отдыху; проснулся он почти в сумерки и, потягиваясь, нежился еще в полузабытьи. Какие-то грезы, словно тени не улетевших еще сновидений, сновали в его голове нестройными образами, — то мелькало перед ним печальное лицо Галины, то всматривались в него пристально плутовские глазки гетманши Фроси, то выплывала надменная фигура Собеского с закрученными вверх усиками. Мазепа открыл совершенно глаза и стал припоминать обстоятельства последних с ним переговоров: о, много нужно было истратить элоквенции, чтобы урезонить польского гетмана на такой мир, — вспомнил самодовольно Мазепа все хитрости и уловки, к которым он должен был прибегнуть, чтобы сломить кичливого врага, имевшего уже на своей стороне татар, — и он достиг того, что покровитель его, Дорошенко, все-таки вышел из этого похода с честью и может теперь вести свою "думку" дальше.

— Да, я чувствовал себя в те минуты счастливым, — произнес вслух Мазепа и смолк на следующей мысли:

— А он, гетман! Он тоже должен бы быть мне благодарен, хотя в ту минуту, ошеломленный изменническим ударом, он, кажись, не мог вполне сознавать всей услуги, но, вероятно, потом оценит... если не забудет всего у ног своей гетманши! — улыбнулся саркастически ротмистр и, оглянувшись, понял только тогда, что уже вечер, что он пропустил обед и не увиделся ни с одним из старшин... Вспомнил все это Мазепа, вскочил на ноги и, приведши костюм свой в порядок, сейчас же отправился к пани гетмановой, извиниться в своем невежестве и выведать у нее, не высказался ли перед ней Самойлович о своих намерениях.

Мазепа не вошел в парадные гетманские светлицы, а пробрался узенькими сенцами к потайной двери, которая вела в рабочий гетманский покой, находившийся в отделении ее ясновельможной милости: ключ от этого покоя был у него, как у личного писаря пана гетмана, и ротмистр часто не в урочное время приходил в этот покой, чтобы покончить спешные работы... Теперь в нем было почти совершенно темно, и нужно было ощупью по шкафам пробираться к другой двери; Мазепа сначала попал в тупой угол и чуть не расшибся, споткнувшись о стоявшее там креселко.

— Ой, чтоб тебя к нечистому! — выругался он, опускаясь поневоле на сиденье.

Но не успел он привстать, как послышался в соседнем покое приближающийся говор. Говорили сдержанно, шепотом два голоса, — мужской и женский, и Мазепа сейчас же узнал в первом — голос Самойловича, а во втором — голос гетманши. Мазепе уйти было невозможно с занятого им случайно поста, да и любопытство приковало его к месту; а собеседники направлялись именно в эту светлицу...

— Ну, если накроют? И отговориться будет нельзя... — раздался голос гетманши.

Мазепа притаил дыхание, но сердце у него усиленно билось и могло выдать шпиона...

— Ты дрожишь, моя голубка? — шептал с шумным дыханием Самойлович. — Боишься?

— Нет, с тобой мне нигде не страшно, на край света пошла бы, мой сокол, мое солнышко, — пела нежным, трепетным голосом Фрося, — и Мазепе послышался звук поцелуя, — но здесь мне чего-то жутко... Это светлица Петра, и одно напоминание о том возмущает всю мою душу.

— Сожалением за наши минуты блаженства?

— Нет, милый мой, — вздохнула она глубоко, — ужасом, что они скоро вернуться, и настанет для меня беспросветная ночь и "нудьга".

Гетманша стояла теперь от Мазепы так близко, что он слышал не только малейший шелест ее шелковой "сукнк", но ощущал даже все движения ее гибкого тела и зной от дыхания...

— Ой, знаешь ли, — заговорила она вдруг торопливо и страстно, — и прежде мне не сладка была жизнь с ним, с моим "малжонком", — ведь не по сердцу был мне этот "шлюб", — принудили, булава прельстила! Правда, сначала Петро мне не был противен, иначе бы я замуж не вышла... думала, привыкну. К тому же я видела, что он меня любит, значит, будет "потурать" всем прихотям. Ну, а потом-то я узнала, что это насильное "коханья" становится мукой, что ласки, когда к ним душа не лежит — хуже мучений... Бррр! А как с тобой я спозналась, изведала рай, после него больно и страшно падать в пекло. Ой, уйдем из этой светлицы скорее. Придешь лучше ко мне... Саня спит в третьем покое...

— Приду, приду, моя зиронька! — и Самойлович сжал гетманшу в своих объятиях.

— Ой, тише! Задушишь! — запротестовала Фрося томным, слабеющим голосом. — Какой "шаленый"! Уйдем отсюда!

— Пстой минутку! Присядь вот здесь на этом стуле, — упрашивал Самойлович свою "коханку", — Мне нужно с тобой переговорить раньше, чем явится сюда пан ротмистр, он слишком умен и проницателен... это золотой "юнак", и его бы следовало перетянуть на нашу сторону... но пока нужно условиться и быть при нем осторожнее, а главное — нужно с тобой сговориться и о нашем будущем... Ты "кохаеш" меня, и это слово звенит райской музыкой в моем сердце, согревает мою кровь, "надыхает" мне светлые думы, укрепляет мощь и надежду достичь власти и широкого счастья... Ведь и я тебя "кохаю" без меры... и мне без тебя на этой земле одна "нудота", одно пекло!

— Серденько, дружно моя! — прервала его гетманша звучным и сочным поцелуем.

Целый вихрь ощущений обливал горячими волнами сердце Мазепы при виде этой сцены. В первый момент, когда из слов "коханцев" он убедился в полной измене Фроси, это так возмутило его благородную душу, что он хотел было броситься, схватить негодяя за горло и придавить ногою, а ее... он бы, кажется, поволок за косы. — Как! За такую беззаветную любовь, какую питает к ней Дорошенко, она платит так низко, и кому же? Единому борцу за свободу Украины! И на кого же меняет? На смазливую куклу! О, низкая тварь! Но этот первый сердечный порыв погасила сразу у него мысль, что криком и "гвалтом" в эту минуту он ничего не достигнет: обличениям его никто не поверит, а его-то, напротив, уличат в намерении похитить что-либо из гетманских бумаг для предательства. После минутного колебания благоразумие заставило Мазепу закаменеть на месте, хладнокровно собрать материал и вывести все их намерения для того, чтобы после уже, с полной уверенностью, накрыть их на месте преступления.

— Слушай же, — продолжал между тем Самойлович, — оставь его, этого случайного гетмана, этого ставленника татарского: булава, за которую ты продала ему свою молодость и красу, не прочна в его руках, она шатается... Он ведь химерами живет и в каких-то "байках кохається"[36] — Я не скажу — он не дурной полководец и в храбрости нельзя ему отказать... но, как вождь и правитель, он плох и никогда не достигнет задуманной цели. Для правителя нужно быть хитрым и мудрым, как змий, держась того правила, чтоб и левица не ведала, что творит правица, а у него что на уме, то и на языке: с татарами якшается и тем возбуждает к себе недоверие в народе, с поляками — то заодно, то против, с Москвой — на ножах... Что же в конце концов выйдет? Он возбудит против себя всех.

— Эге-ге! — подумал Мазепа, — да ты, как вижу, совсем не воробей, как кажешься с первого разу, а кобец, и зорко следишь за всем и знаешь толк в государственных делах! Правда-таки, что дорогой наш гетман чересчур доверчив и откровенен...

— Мне самой не по душе его "замиры", — заметила смущенным голосом Фрося, — все-то он шатается и стремится к чему-то, а не держится одного кого-либо... Если бы он, по-моему, заручился Москвой, то и левобережная булава ему бы досталась.

— Так, так, моя цыцая! — прижал снова ее к груди Самойлович. — Такой головке пристало бы лучше быть гетманом. Москва, действительно, представляет лучшую опору; умеи только действовать не так, как пан Бруховецкий. Выждать время, отдохнуть и укрепиться, а тогда уже можно помечтать... Знаи, мое счастье, что у твоего "коханого" есть большая рука в Москве, а кто ведает?.. Во всяком случае, эта грудь надежнее груди твоего гетмана, а сердце это еще сильнее кипит молодой страстью.

— Ой, знаю, знаю, — шептала порывисто гетманша. — Горю вся и таю в чарах любви... Мне самой без тебя до того будет невыносимо, до того с ним ненавистно, что я... боюсь даже греха... но как же с тобой бежать? Когда и куда?

— Подожди, пока я устроюсь, пока выяснятся дела... скоро это будет, скоро! Притворись пока, принудь себя... Я же с тобой буду видеться... "хвылыны" не упущу... и тогда уже станешь навеки моею... пока полковницей, а потом еще большей владычицей, — и он стал ее целовать торопливо, бешено, не обращая уже внимания на ее протесты...

— Да постой, сумасшедший, дурной, — говорила она, — я еще тебе хотела сообщить серьезную вещь... слушай, сюда могут случайно войти...

Но Самойлович видимо не хотел ее слушать и заглушал ее мольбы бурей ласк. Мазепа сидел, как на угольях; у скрытого свидетеля вырвалось конвульсивное движение, от которого скрипнуло кресло...

— Ай! — завопила в ужасе Фрося и бросилась, опрокидывая стулья, цепляясь за шкафы, из светлицы.

— Стой! Расшибешься! — погнался за ней вслед Самойлович. — Это тебе показалось... это я дернул стул... дай сюда свечу, — из этой светлицы выхода нет, и если там спрятался какой негодяй, то он живым не выйдет...

— Ой, смерть моя! — слышался стон гетманши уже в третьем покое.

— Да клянусь тебе, успокойся... обопрись мне на руку, а то упадешь! — уговаривал ее Самойлович.

Мазепа воспользовался мгновением и, добравшись ползком до потайной двери, проскользнул в нее, запер на ключ и очутился вскоре на гетманском "дворыщи". Он оглянулся: было совершенно темно; суеты и переполоха не замечалось, не виднелось даже ни одной фигуры вблизи; только в гетманских покоях промелькнул в одном и другом окне мигающей полоской свет и погас... "Выйти ли со двора, или уйти в свой покой и притвориться спящим?" — задал себе быстро вопрос совершенно очумевший Мазепа и, решившись на последнее, пробрался воровски, никем не замеченный, в свою светличку, сбросил торопливо жупан и растянулся на пуховой постели.

Он до того был поражен только что происшедшей перед ним сценой, до того взволнован, что долго лежал, тяжело дыша, не могши привести в порядок своих растерянных мыслей. Мазепа лежал и чутко прислушивался к внешнему шуму; но кругом было тихо, безмолвно... "Должно быть, осмотрели "пысарный покой", никого не нашли там и успокоились, что шум произведен был самим Самойловичем", — решил Мазепа и сам стал приходить в уравновешенное состояние духа, анализ и логика пришли наконец к нашему другу на помощь и помогли собрать в правильный строй его всполошенные мысли. — "А это я хорошо сделал, — одобрил уже свое поведение Мазепа, — что сдержал себя и не поддался первому побуждению, первый порыв всегда слеп, "необачный", только разум может указать нам наивыгоднейший путь в наших поступках. Ну, что бы путного было, если б я бросился тогда на Самойловича? Не только я не мог тем доказать его гнусности, но, напротив, погубил бы себя, что важнее всего, погубил бы и самое соглашение с Бруховецким... Ведь Самойлович от него посол, оскорбление его есть оскорбление самого гетмана. Какое бы тогда могло быть соглашение? Разве потом, приватным образом вызвать этого смазливого полковника на поединок? Но к чему и за что подставлять свою голову? Что мне эта Фрося? Хороша только и соблазнительна, да черт с ней. Если б и

гетман мой выкинул ее из думок, то было б и для него, и для дел великое счастье... Любит только он ее страшно, безумно, — а она? Если гетман будет настойчив в своих ласках, то эта гадюка способна его ужалить смертельно. Нужно будет во что бы то ни стало предупредить гетмана! — решил Мазепа и стал снова прислушиваться; ему показалось, что кто-то прошмыгнул мимо его двери и словно бы зашептал вблизи с кем-то другим...

Мазепа приподнял голову, но шум не повторился, и кругом улеглась снова мертвая тишина.

— Показалось ли мне, или удостоверяются, где я? — подумал Мазепа, — пожалуй, ему самому следовало бы удостовериться... А как я, однако, ошибся в нем! Он метит высоко и хорошо понимает положение теперешних дел, даже планы его остроумны... Да, с ним нужно считаться... даже сблизиться не мешает, — при этом у Мазепы мелькнула мысль, что Самойлович отозвался и о нем весьма ласково и похвально, — сблизиться, конечно, затем, чтобы выведать от него все происки Бруховецкого и угадать планы самого Самойловича... А Дорошенко открыть ли все? Как поступить тут? Долг службы и долг привязанности, конечно, кричит за то, что нельзя от него скрыть измену, свившую гнездо в его пепелище... Ведь эта измена не только "шарпае" его сердце, но может грозить даже жизни. Конечно, лучше отрубить, как ни больно, зараженную руку, чем зараза пожрет все тело... Но делать ли это сейчас? Теперь так нужны всем его душевное спокойствие, твердость воли, не встревоженный разум... Теперь наступает решительная минута в судьбе нашей отчизны... отнять в эту минуту у нее вождя — преступление, равносильное матереубийству... О, и здесь голова должна взять верх над сердцем!

В это время раздался слабый стук в дверь; Мазепа вздрогнул и затаил дыхание: неужели Самойлович? Стук повторился и дверь, под чьим-то нажимом, стала отворяться. Мазепа притворился спящим.

LXX

— Пане ротмистр, вы тут? — робко спросил показавшийся в дверях Самойлович, освещенный фонарем из коридора; он казался черным силуэтом на красноватой полосе полуотворенной двери.

Мазепа что-то промычал и свесил до полу руку.

— Спит, — проговорил полковник. — Гей, пане ласкавый! — крикнул он уже смело, шумно войдя в светлицу. — Пора вставать! Мы уже все встревожились даже, не зная, куда делся пан ротмистр!

— Га! — приподнялся с кровати Мазепа и сел, как очумелый, стал протирать себе глаза. — Где я? Кто тут?..

— Дома, дома, — потрепал его ласково по плечу Самойлович, — а перед паном тут полковник, которому так полюбился пан ротмистр...

— Ой! Полковник?.. Прости, вельможный пане, что так принимаю, — схватился на ноги Мазепа и протянул ему обе руки, — заснул, как байбак.

— Не мудрено, пане! — обнял его Самойлович. — Поход и дальняя дорога утомят хоть кого... а пан проспал и обед, и подвечорок...

— Да! — зевнул Мазепа. — Однако, что ж мы стоим впотьмах? Гей, свечей сюда и венгерского! — крикнул он кому-то за дверь и прибавил, обратясь к Самойловичу. — Вельможный пан не

откажет мне в удовольствии распить с ним жбан венгржыны: полковник такой дорогой у меня гость!

— Рад, рад! — пожал еще раз руку Мазепе Самойлович. — Я весьма счастлив, что судьба меня снова свела с паном, хотелось бы поближе сойтись...

— О, — протянул вкрадчивым голосом Мазепа, прижимая руки к груди, — желания наши встретились, а сердце мое давно уже льнет к пану.

Подали свечи и вино. Мазепа взглянул вскользь на своего гостя и не заметил у него ни в глазах, ни в выражении лица никаких подозрений, а напротив, во всей фигуре его было разлито столько спокойствия и самоуверенности, что и у самого Мазепы сбежала тревога с души. Вскоре, за ковшом доброго вина беседа их приняла совершенно дружеский оттенок, хотя все-таки каждый из собеседников был настороже.

Мазепа болтал и рассказывал разные интересные и смешные эпизоды из своей жизни, подливал постоянно своему собеседнику в ковш вино, сам пил и видимо хмелел, а в хмеле становился все откровеннее и вызывал Самойловича на такую же откровенность... Он, между прочим, рассказал, как его чуть не замучил Тамара, как спасло его от рук убийцы лишь чудо... Самойлович искренне возмутился этим рассказом, — он не знал до сих пор ничего о претерпленных ротмистром страданиях.

— Да еще представь себе, дорогой пане, — смеялся добродушно Мазепа, — что ездил я к Бруховецкому с самыми дружелюбными предложениями от моего гетмана: он ведь предлагал ему и свою булаву, лишь бы соединил Бруховецкий Украину под одной властью.

— И неужели искренне уступал свою власть Дорошенко?

— Искренне, — махнул развязно рукой Мазепа. — Он ведь химерник... Что вобьет себе в голову, так и себя не пожалеет.

— Да, химерник, — посмотрел пытливо на Мазепу полковник, но у того уже мутились глаза. — И я не знаю, как пан держится химер; с панским умом и эдукацией можно ведь пробить себе дорогу, всякий бы с радостью принял его услуги... и вернее бы обеспечил будущность.

— Хе! — пошатнулся на стуле Мазепа. — Так вот обеспечит, как Бруховецкий... Я со щырым сердцем... и мой гетман... всем готовы... чтоб возвеличить его — ради отчизны... а он меня в яму.

— Да разве с Бруховецким свет кончается? — Найдутся после него, которые тебя оценят.

— А я что?.. Я душою и телом!.. А смотри, мой друже, мой голубе, чтоб и тебя не одурил этот Бруховецкий... Ведь он тебя сюда послал для чего-то, — подливал все вина Мазепа.

— Послал, теперь уже на все согласен, только не верит.

— Вот тут у меня все, — показал Мазепа на сердце, — и полюбился же ты мне, вот как! Давай побратаемся, пане полковнику!

— Побратаемся! — вскрикнул Самойлович и опрокинул ковш...

— Ух, да и кохают, верно, тебя кобиты!

— Кохают! — засмеялся Самойлович. — Я другу признаюсь! — и Самойлович что-то начал шептать на ухо заплетающимся языком.

— У, славно, славно, — поцеловал его в лоб Мазепа. — А инструкции где твои, пане полковнику?.. Смотри, не растеряй!

— На, спрячь! — машинально вынул Самойлович сверток бумаг и ткнул в пространство.

Мазепа спрятал бумаги за пазуху и уложил в свою постель совершенно охмелевшего уже Самойловича, а сам запер дверь и стал с жадностью пробегать инструкции Бруховецко-го; прочитав, он положил их обратно своему гостю в карман.

Долго ждала гетманша на вечерю своих гостей и не дождалась, к великой своей досаде.

На другой день, проснувшись, Самойлович был крайне смущен неосмотрительным опьянением своим до самозабвения; он силился вспомнить вчерашний разговор, но в голове у него была одна муть да тяжесть... Осмотревшись, он, впрочем, нашел, что все бумаги при нем, а из первых слов Мазепы увидел, что последний с удвоенным уважением, с утонченнейшей вежливостью относится к нему, не допуская и тени фамильярности, или каких-нибудь подозрительных намеков; очевидно, что Мазепа еще больше был пьян, бесчувственно спал и ровно ничего не помнил из вчерашних бесед; это обстоятельство не только успокоило Самойловича, но еще более расположило его к пану ротмистру.

Когда они явились утром к ясновельможной гетманше, то последняя встретила их несколько раздражительно, с надутыми губками.

— Я удивляюсь пану ротмистру, — заметила она ядовито, — что он начинает исполнение гетманских поручений с бражничества.

— Ах, ясновельможная пани, — нагнул повинную голову Мазепа. — Боги всеильны над нами... Вчерашний приход ко мне пана полковника до того польстил мне, до того меня обрадовал, что я поневоле... от полноты сердца... опрокинул лишний "келых", а остальное уже было дело румяного Бахуса... О, я вознагражу сегодня потерянное время...

— Ну, на пана ротмистра, вижу, сердиться нельзя, — смягчилась Фрося и протянула руку Мазепе, которую тот почтительнейше облобызал. — Но, пане полковнику, — погрозила она пальцем, — какая разница между словом и делом! Такое-то вообще у нас лыцарство! Клянется в глаза... горит... и через минуту забывает все "порывания", все "обитныци"... Я говорю о том, — поправила она торопливо, — что пан поклялся вчера привести пана ротмистра и прийти с ним сюда, поклялся — и за "венгерським" сразу забыл свои обещания...

— Грешен... лихой попутал, — развел руками Самойлович. — Не карай, ясновельможная... и без того наказан: разве может быть большая казнь, как утеря, через самого себя, радостной, счастливой "хвылькы"?

— Полковник уже слишком, — уронила гетманша, опустив глаза. — Утеряна приятная минута дружеской беседы — не больше; но ее всегда можно вернуть... Ну, я прощаю вас, панове, идите! — и она красивым жестом указала на дверь в трапезную.

Как ни упрашивала ее мосць Мазепу остаться после "сниданка", но тот просил отпустить его, по неотложным надобностям, для которых он и прислан; с грустью, наконец, согласилась гетманша с доводами пана ротмистра, хотя глаза ее и сверкали благодарностью.

Только поздно вечером возвратился в замок Мазепа и возвратился крайне довольный разговорами своими с старшиной и высказанными ею "думками". В темном проходе за брамой встретила его, словно случайно, панна Саня.

— Я у пана ротмистра кстати хотела спросить, когда можно ожидать приезда пана гетмана? — спросила она, идя с ним рядом.

— Думаю, что через "тыждень", не раньше, — подчеркнул Мазепа умышленно.

— Ах, как долго! — вздохнула Саня.

— Панна скучает так о ясновельможном?

— Да, — вспыхнула Саня, — он мой родич, и я его очень люблю и ценю... но и, мимо меня, ему бы следовало поторопить свой приезд.

— А что? Может быть, тут лиходеи затеяли козни какие? Польстились на его булаву? — схватил в тревоге Мазепа панну за руку.

— Да, лиходеи... только другие... и не о булаве речь, — замялась панна.

— А? Так и панна думает? — спросил ее тихо Мазепа.

Саня подняла пытливо на него глаза и, сконфузясь, замяла разговор.

— Да когда б приезжал гетман поскорее, а пану, пану — "добранич"!

Поздним утром, когда Мазепа еще спал крепким сном, после устали и попойки, вдруг поднялась во дворце необычайная суэта и суматоха: "вартовый" со сторожевой башни дал знать, что к городу приближается гетман... Шум и беготня разбудили Мазепу; узнав, в чем дело, он стремительно вскочил, оделся, и бегом побежал в главную приемную светлицу замка. Там уже были несколько встревоженная и растерянная пани гетманова, ее воспитанница Саня и Самойлович. Последний хотя и стоял в якобы равнодушной позе, но был бледен необычайно и бросал иногда из-под сжатых бровей на гетманшу знаменательные взоры, а та от них менялась в лице и, видимо, не могла взять себя в руки... Одна только Саня, хотя также была встревожена, выглядела обрадованной, и глаза ее искрились таким счастьем, которого скрыть невозможно.

Вдруг раздались "сурмы", слышался в "брами" стук торопливых копыт, и через минуту с юношеским порывом вошел поспешно в светлицу его ясновельможная мосць гетман.

Радостным, полным безмерного счастья взором обвел он светлицу, остановил на мгновение с восторгом глаза на обожаемой им супруге и произнес весело:

— "Витаю" вас, друзья мои! Измена у нас вырвала плоды победы, но судьба все-таки дала честный мир.

— Слава преславному гетману! — ответили дружно собравшиеся в светлице.

Гетманша при первом появлении гетмана так побледнела, что Мазепа подскочил к ней, боясь, чтобы она не упала; но прошло мгновение, и сила воли ее взяла верх.

— Желанный мой "малжонок", Богом данный "коханий"! — вскрикнула пани гетманова и бросилась на шею к несколько оторопевшему, но опьяненному восторгом супругу. — Простите,

панове, — обратилась она потом с обворожительной улыбкой ко всем, — радостное волнения меня заставило забытья...

— О, они простят, — успокоил свою дорогую Фросю пан гетман, — счастье семейного очага так дорого всем, так люблю, что проявление его не должно смущать и постороннего сердца, а, напротив, должно наполнять его такой отрадой.

Все поклонились с умилением, разделяя мнение пана гетмана.

— Однако, я вижу, — промолвила надорванным голосом гетманша, — что и неожиданная радость подкашивает силы, а потому я прошу "выбачення" и отправляюсь успокоиться в свою светлицу.

Гетман поцеловал ее трогательно в лоб и отпустил с миром. Когда ясновельможная пани, облокотившись на руку Сани, повернулась уже к двери, то в это мгновение вошел в нее стремительно Кочубей. Саня взглянула на него, вздрогнула и вспыхнула радостным заревом до макушки волос.

— Ой, что с тобой? — заметила гетманша, — чуть не уронила меня!

Дорошенко, по уходе жены, подошел торопливо к Самойловичу и, протягивая ему обе руки, промолвил:

— Какому погожему ветру обязан я, что славного пана полковника вижу в своем замке?

— Искреннему желанью моего гетмана, пославшего меня к ясновельможному пану, — ответил почтительно Самойлович, — я уже о своем умалчиваю.

— Спасибо за ласку... Так мой приятель прислал пана с добрыми вестями и "зыченнями"?

— С "найщыришымы" желаниями.

— О, этого достаточно... Ну, о делах потолкуем мы завтра... а пока я отпускаю пана полковника, нашего дорогого гостя.

— Ну, а ты, мой любимый, коханий, — обратился гетман по уходе Самойловича к Мазепе, — что ты мне доброго скажешь?

— Все отвечает твоей светлой, великой "думци", наш гетман, наша надежда! — воскликнул тот с искренним воодушевлением, — все только и думают о соединении и о полном освобождении от всяких вражых пут своей отчизны, и на тебе все останавливают свои очи с мольбой.

— Спасибо им... Помог бы только Господь, — вздохнул растроганный гетман, — за них и за нашу "неньку" я голову отдам с радостью... и верь мне, мой друже, что ничего о себе самом я не "дбаю"... не хлопочу...

— Нет, гетмане, — возразил Мазепа, — о себе обязан ты "дбаты", так как в тебе одном спасение отчизны...

— Так ли еще, Иване? — провел Дорошенко по лбу рукой и потом, словно вспомнив что-то, добавил: — Да, забыл, ведь я тебя за твои услуги назначил генеральным писарем.

— Генеральным? — воскликнул Мазепа, — у него захватило дух от восторга. — Такая милость... такая щедрота! Чем смогу отблагодарить? Сердце мое и жизнь давно уже отданы тебе,

ясновельможный, и отчизне...

— Верю, мой друже! — обнял его гетман и поспешно направился в апартаменты своей супруги.

Не чувствуя земли под собой, вышел из светлицы Мазепа, не зная даже, куда бы отправиться со своей радостью? Сердце у него трепетало "утихою", мысли веселым роем кружились, впереди лучилось счастьем грядущее...

— А я еще мог усомниться в нем, моем гетмане? — воскликнул с упреком Мазепа и, направившись к конюшне, велел седлать своего румака.

В сумерки уже возвращался Мазепа и, встретив у Тясмина знакомого гайдука, передал ему коня, а сам отправился через старый гетманский сад к замку Могучие дубы, ветвистые осоки и стройные тополи стояли теперь обнаженные, сквозь сетку переплетшихся ветвей сквозило теперь синее, морозное небо. Воздух был неподвижен, и в саду стояла чуткая тишина.

Мазепа шел тихо, погруженный в сладостное мечтание, как вдруг ему почудился за густым орешником говор, особенного значения он ему не придал, — мало ли кто мог гулять в такой тихий вечер, — да и сворачивать в сторону ему тоже не приходилось. — Своих садов наши предки не перекрещивали прямолинейными аллеями, а прокладывали по ним одну, две дорожки, от которых уже прихотливо змеились во все стороны протоптанные стежечки, — поэтому Мазепа не зная хорошо сада, мог зайти по ним Бог весть куда.

Когда Мазепа подошел ближе к орешнику, то голоса показались ему знакомыми, особенно мужской...

— Да это Кочубей, никто, как он, — решил Мазепа и остановился послушать, с кем это молодой подписок так горячо разговаривает? Было так близко, что каждое, даже тихо произнесенное слово доносилось отчетливо.

— Радость моя, горличка моя! — говорил взволнованно Кочубей. — Стосковался по тебе... люблю... кохаю, как только может кохать это сердце, а оно знает, что без тебя, моей рыбоньси, ему не жить и не биться. Так реши же, что мне с ним делать? Будь мне подружкой верной, дай мне тихое счастье!

Женский голос ответил так тихо, что Мазепа не мог расслышать слов, но смысл ответа он ясно понял, так как вслед за ним донеслись звуки бурных поцелуев.

Мазепа двинулся поскорее вперед, чтобы проскользнуть незаметно и не всполошить влюбленных, но, как на грех, дорожка повернула влево, и он почти наткнулся на занемевшую в пламенных объятиях пару.

— Ой! — вскрикнула женская фигура, заметив постороннего свидетеля.

— Кто тут? — оглянулся тревожно и Кочубей. — А, Иван Мазепа?

— Я... Случайно совсем, возвращаюсь от Тясмина в замок, — словно извинялся Мазепа, чувствуя свое неловкое положение.

— Успокойся, Саня: это мой друг. — оправился от смущения и Кочубей, — да и чего нам от людей крыться, когда наше дело чистое и святое, когда мы перед этим небом поклялись в вечной любви до смерти! Слушай, друже, мы полюбили друг друга и поклялись перед Богом

соединить наши две доли в одну... Так вот я тебя прошу, друже мой, быть моим "старшим боярином".

Мазепа хотел было посмеяться над Кочубеем и напомнить ему его филиппики против всех женщин на свете, но рассудил, что шуткой своей он может нарушить торжественность этой минуты, а потому произнес только с чувством:

— Спасибо, от души рад, поздравляю и "зычу"... Господи, да и не знаю, чего бы я только ни пожелал такой паре!

Неожиданная встреча закончилась объятиями, дружескими пожатиями рук, искренними порывами.

Мазепа прошел тихо в свой покой и бросился на постель, охваченный налетевшей тоской: судьба его все наталкивалась здесь на сцены любви, а его сиротливое сердце оторвано от другого родного, что ноет и тужит по нем... "Что-то с тобой, моя "зиронька" ясная, — думал с тоскою Мазепа, — не встревожил ли кто твой покой? И когда-то моя щербатая доля сведет нас с тобой "на рушныку" перед Божьим престолом? Ох, и как же мне скучно за тобою, как нудно! Полетел бы к тебе, да крылья мои пока приборканы, а без тебя все другие радости меркнут; но я отпрошусь, улучу "хвылыну".

Но мысли о дорогой Галине были прерваны появлением Самойловича.

— Я уже третий раз у пана, — сказал он, входя в темный покой, — прошу к себе на ковш меду.

Мазепа принял предложение с изъявлением живейшей радости, хотя пошел неохотно; его, впрочем, занимал вопрос: приглашает ли его Самойлович просто из долга вежливости, из желанья отплатить за радушие тем же, или в его приглашении скрываются и другие цели. Но узнать это Мазепе не удалось: только что начал было Самойлович, после второго кубка, оболящать Мазепу радужными перспективами, привлекать его к себе своей привязанностью и высоким мнением о его талантах, как к ним вошел гайдук и объявил от имени коменданта, что прибыл московский посол, что его нужно торжественно встретить и отвести ему почетные покои.

Дружеская попойка оборвалась... Мазепе нужно было спешить.

— Слушай, пане ротмистре, — остановил его на минуту Самойлович, — сообщи, друже, гетмаю, что мне не приходится столкнуться здесь с московским послом, так я уже посижу лучше затворником, пока его мосць не отпустит посла, а тогда уже явлюсь и я с предложениями от Бруховецкого.

LXXI

На другой день назначена была аудиенция московскому послу, молодому стольнику царскому Василию Михайловичу Тяпкину; но, прежде чем явиться к гетману, сметливый боярин отправился к митрополиту Тукальскому, возвратившемуся вместе с архимандритом Гедеоном Хмельницким еще раньше гетмана в Чигирин.

Тяпкин, от имени Москвы, крестом святым заклинал владыку употребить все свое влияние, чтобы отклонить гетмана от союза с нечестивыми агарянами, истинными врагами христиан. Он говорил, что сам великий государь московский печется только о том, чтобы воссоединить под своею державою Малую Россию, по обеим сторонам Днепра, даже до древнего своего наследия — Червонной Руси, но явно пока сего, ввиду договора с Польшей, учинить не может,

на гетмана же теперь, на господина Дорошенко великий царь-государь уповает более, чем на Ивана Бруховецкого, в котором изверился. Он рад будет принять гетмана Дорошенко под свою высокую руку, если последний отречется от татар и будет пребывать в повиновении, яко верный раб и слуга его пресветлого царского величества государя московского. В заключение посол заявил, что государь присылает через него, Василия Тяпкина, на монастыри Печерские гарнец жемчугов, а его превелебю двести соболей и парчи на ризы.

Митрополит отблагодарил за щедроты великого государя, за его попечение о святых храмах Господних христианских, и обещал, что все пастыри вознесут молитвы к престолу Предвечного за здравие пресветлого царя-единоверца, за исполнение благих его начинаний и за отклонение от него всякого зла. Что же касается гетмана Дорошенко, то он ведает, что сердце его о едином печется — о благе несчастной, разорванной на две части отчизны, для которой он готов пожертвовать всем и даже жизнью своей. Относительно предполагаемого союза с агарянами митрополит уверял Тяпкина, что ничего подобного не было, что татары только соседски помогают казакам, но о подчинении им гетман и не помышляет. Что же касается того, чтобы гетман отложился от Польши, владыка ответил следующее:

— Могу ли советовать гетману нарушить мир, самим королем, паном нашим милостивым, клятвою утвержденный? Я — христианин, не хочу быть клятвopреступником, страшусь Суда Божия. Да сохранит Господь мир во всей силе и славе, для блага моих братии ближних... Но да походатайствует великий государь у короля польского, чтобы он утвердил за нами все наши природные права и привилегии, ибо в писании сказано: "Врагу своему веры не даждь", а доколе не будут утверждены все права наши, не будет прочного мира во всех трех государствах.

Смущенный такими речами, не обещавшими ничего доброго, согласно инструкциям от Московского приказа явился Василий Тяпкин на аудиенцию к ясновельможному гетману. Последний был в этот день чем-то особенно раздражен; вчерашнего счастливого благодушия не осталось и следа; напротив, по сумрачному лицу его перебегали темные тени, а в глазах горела какая-то неведомая обида...

Прием московского посла был обставлен подобающей пышностью. Гетман, опоясанный по адамашковому темному жупану драгоценной персидской шалью, и облаченный в темно-малиновый бархатный, расшитый золотом кунтуш, с наброшенной на плечи мантией, в полном вооружении и с булавой в руке, восседал на высоком золоченом кресле; над ним держали хорунжий и бунчуковые товарищи два бунчука и два знамени. Вокруг кресла справа и слева стояла чинно генеральная старшина, пышно разодетая, во всех регалиях, присвоенных каждому чину, сообразно занимаемой им должности. Перед гетманом впереди стояли еще два "джуры", одетые в яркие цвета, а у дверей светлицы размещены были гайдуки, вооруженные саблями и алебардами.

Московского посла торжественно ввели в светлицу. Костюм его был также богат и эффектен, хотя тяжеловат по покрою. Сверх шелковой красной ферязи накинута парчовый длинный кафтан, украшенный позументами и золотыми пуговицами с бирюзой; бесценный соболий воротник украшал его. Высокая шапка покрывала его голову и придавала всей наружности посла важный и торжественный вид.

Гордо "вошел в светлицу Тяпкин, отвесил низкий поклон пану гетману и торжественно начал свою речь:

— Его пресветлое царское величество, государь Великия и Малыя России и всех земель обладатель желает тебе, ясновельможный гетман, здравия!

— От щырого сердца, — отвечал гетман, подымаясь с кресла и отвешивая низкий поклон, — благодарю пресветлого московского царя и моего пана за его милость и честь, и со своей стороны желаю найяснейшему государю здравия, долголетия и споспешествования во всех его благих начинаниях.

— Царь всея России и государь мой всемилостивейший, — продолжал Тяпкин, — скорбит душою, что ты прельщаешься агарянской прелестью и держишь союз с врагами креста Господня и христианских держав, которым обязан ты повиноваться, состоя, как верный раб, под их опекою и рукою.

По лицу гетмана пробежала судорога; оно слегка побледнело, а потом медленно стало разгораться вместе с устремленными на посла глазами.

— Вот именно вследствие того, — начал с усилием гетман, — что я поклялся быть покорным моему найяснейшему королю, которому царь московский, государь Великия и Малыя России отдал нас "на поталу", по Андрусовскому договору, — так вот именно вследствие присяги моей, я и не могу "розбрататься" с татарами — союзниками моего короля, — несть раб более господина своего! А буде укажет найяснейший король идти с ними, хотя бы и на христиан, то я, как верный раб, должен буду исполнять его найяснейшей мосци державную волю. Так вот, вельможный пане посол, стольник и боярин, так и передай о том Москве, что, по царской воле, я должен теперь слушать прежде всего найяснейшего своего опекуна, и что я тоже скорблю о том душой.

— И сердце государево, и его царская воля подлежат лишь суду Царя над царями, а нам, подлым рабам, не должно о сем рассуждения даже имети, — возразил Тяпкин, — и что наш господин совершил, должно быть во благо, понеже ему пещися о нас... а тебе, гетман, довлеет воссылать лишь молитвы к Всевышнему о здравии, о долголети и одолении врагов пресветлого государя нашего и твоего всемилостивейшего благодетеля и господина.

— Молюсь, усердно молюсь, — все более и более раздражался Дорошенко, теряя способность владеть собою. — Только вот напомним и тебе, вельможный стольник-боярин, нечто другое. Блаженной памяти гетман Богдан Хмельницкий ударил челом по доброй воле пресветлому государю, одной веры монарху, а значит, и единому природному защитнику нашему, и поклонился всеми русскими землями, как по тот бок, так и по этот бок Днепра, купно с Червонной Русью, аж до Карпат, всем нашим народом, — чтоб принял под свою высокую руку как равных и защитил от ляхов и латын, ополчившихся на наше бытие. И поклялся нам Богдан, купно со старшиной и народом, быть в верном и вечном братском союзе с нашим единовѣрным царем, чинить его пресветлую волю, ходить с его ратью на супостатов и действовать на возвеличение его державы, за сохранение своих прав и удержания под его булавою неделимой украинской Руси от Карпат до Пела и от Случи до Перекопа... Ну и что же?

Гетман перевел дух. Поднимавшееся волнение зажгло его глаза мрачным огнем, на щеках горел густой румянец.

Смущенный Тяпкин стоял молчаливо: он понял, что своими словами вызвал у гетмана не дружелюбие — для какой цели собственно и был командирован, — а напротив, неприязненное раздражение. Но он решительно не мог уяснить себе, что же в его словах могло так раздражить гетмана?

— Так кто же нарушил клятвенное обещание? — продолжал Дорошенко. — Кто показал больше усердного служения, как не гетман Богдан Хмельницкий? Он, разумом своим и подручными ему силами и Белую Русь, и всю Литву со стольным городом Вильною под власть Великого

Государя отдал, и в Львов, и в Люблин ввел царских ратных людей, он и до самого отхода жизни сей верно работал царскому величеству. А какая ему была за то благодать? А вот какая: в комиссии под Вильной московские послы не дали комиссарам его мест; когда Потоцкий с Чарнецким, закупивши татар, ударили на Подолию, то и помощи не дали своим людям, под опекою Москвы уже сущим. А Выговского, который наиболее споспешествовал Богдану в деле единения, чем отблагодарили? Выставили против него других гетманов и возбудили междоусобную брань в православном войске. А в недавнем прошлом какой договор учинили с поляками? Разорвали нашу Украину на две части. А теперь Андрусовским договором шарпаете эту несчастную Русь уже на три части! В Витебске все православные храмы обращены в костелы, в Полоцке — тоже, кроме одной церкви, в других городах — тоже...

Гетман не мог дальше говорить от охватившего его волнения и смолк, тяжело дыша.

Его речь произвела на старшину подавляющее впечатление; все стояли, опустив чубатые головы, словно пришибленные обухом, и вдруг в упавшей тишине раздался обилии тяжелый вздох.

Тяпкин растерялся: он увидел, что неосторожным словом испортил все дело.

— Успокойся, ясновельможный гетман, ты не понял моих слов, или я их не так высказал... Пресветлый царь наш, государь и самодержец денно и нощно печется о благе вашем и о благолепии православных церквей, а равно и об единении всей Руси. Не волен я про тайные наши думы поведати, а могу только сообщить тебе, гетман, великое царское благоволение... На тебя государь уповаает и просит, чтобы ты с басурманами не водился, яко сие православному вождю не гоже, а наипаче, чтобы не поднимал с ними походов на пределы царские... Остальное же все приложится...

Дорошенко уже овладел собою и с глубокой почтительностью ответил ему:

— И сердца наши, и головы за пресветлого нашего господина, за великого государя! О том лишь и скорбит наша душа, что мы невесть за что от его ласки оторваны, а чтобы я имел дерзновение воевать с неверными православного монарха, то пусть падет Каиново проклятье на мою голову. Поведай государю, что и в народе, и в войске казачьем встает ропот и смятение потому только, что он оторван от левобережных братьев и отдан снова в руки злейших врагов своих...

— Я передам пресветлой царской милости твои гожие речи, и он услышит милостиво ваши желания... А вот от боярина Шереметьева еще тебе передам, что в Бруховецком он изверился... Лисой прикидывается, а волчьи зубы растит, да и с людишками не обходчив: сам у нас просил воевод с ратными людьми, а не сумел укрепить их и вызвал смуты, да козни... А на тебя боярин больше уповаает...

— Передай ему, — ответил гетман, — пусть только похлопочет закрепить за нами все права, пактами Богдана Хмельницкого утвержденные, — и я ударю челом государю не только всей Правобережной Украиной, но и всеми городами Галицкой Руси... И тогда пресветлый государь сокрушит все народы, а с татарами я пока не волен ломать мира, — но головой поручусь, что ни один из них не переступит московской границы.

Московский посол был приглашен на обед; пили за здравие московского царя, за объединение под его державной рукой всей Руси, за покорение под ноги его супостата, пили и за гетмана обеих Украин; гремели салюты из орудий при поднятии "келехив" и раздавались веселые, дружественные крики до позднего вечера.

Тяпкин, впрочем, успел еще, после пира, побывать у печерского архимандрита Иннокентия Гизеля, приверженца Москвы, и просил его повлиять на гетмана святым словом, чтобы тот не отдавался под протекцию турецкого султана. Архимандрит обещал молитвами отвести от этого союза сердце гетмана и успокоил Тяпкина заверением, что простой народ и стоял, и стоит везде за соединение с московским государем.

На другой только день принял гетман Самойловича, как посла. Последний заявил, что Бруховецкий теперь, уверившись в искренности Дорошенко и в его благих намерениях, на все согласен, что дарит ему в наследственное владение староство Чигиринское и рад до конца дней своих руководствоваться во всем ему советами. Дорошенко искренне был обрадован таким поворотом мыслей у Бруховецкого, хотя им, конечно, не доверял, и не мог скрыть улыбки при уверениях Самойловича, что Бруховецкий потому согласен взять в свои руки и булаву Левобережной Украины, что лишь ему одному дает соизволение на то царь...

По уходе Самойловича Богун и старшина возмутились решением гетмана отдать булаву Бруховецкому, что он все врет, и ни единому его слову нельзя верить.

— Решится все это на раде, панове, — сказал гетман, — а что рада укажет, тому я должен кориться.

— А что до Бруховецкого, — добавил Мазепа, — то он теперь на все будет согласен — и с Москвы холодным ветром задуло, и у себя обступают со всех сторон... Он теперь и свою булаву отдаст, лишь бы сохранить свой живот!

— Да откуда ты это знаешь? — изумился гетман.

— Из его инструкций! — ответил скромно Мазепа.

Все переглянулись с изумлением.

LXXII

Как ни мечтал Мазепа вырваться на несколько дней и слетать к Галине, но это ему не удалось: в Чигирине приготавливались к великим событиям, а в такую пору ему, при его новой должности, не было никакой возможности отлучиться и на минутку. После отъезда Тяпкина прибыл еще один московский посол, Дубенский, за ним другой... Каждый день приносил с собой новые хлопоты и дела. Так проходил день за днем в Чигирине. Вскоре после отъезда московского посла начали съезжаться в Чигирин старшина и духовенство к предстоящей раде, назначенной на первое января. Близилась Рождественские праздники.

С Мазепой прибыл на правый берег и Остап; по приезде в Чигирин Мазепа сейчас же записал его в надворную гетманскую команду, как обещал еще в Волчьем Байраке, и благодаря покровительству столь важного теперь лица, каким стал Мазепа, он был вскоре замечен гетманом и получил значительное повышение. Счастливый ликующий казак платил за это Мазепе безграничной привязанностью и преданностью, да и Мазепа симпатизировал ему; кроме того, ему было чрезвычайно приятно, что здесь, подле него, находился человек, с которым ему можно было перекинуться словечком о Галине и, — в случае крайней необходимости, — послать к своей "коханой". Хотя Мазепа знал, что татары из-под Подгайцев бросились прямо в Крым, не распуская даже по сторонам загонов, и что таким образом ему решительно нет никакого основания опасаться за Галину, но все-таки в груди его ныло то непрерывное беспокойство, которое мы ощущаем всегда за нежно любимых людей. Ему хотелось неудержимо узнать доподлинно, как она поживает, здорова ли, не случилось ли чего, помнит ли его, любит ли? Ему хотелось услышать снова все ее горячие, чистые и наивные

признания, хотелось снова прижать к себе ее дорогую головку, но, как сказано, ввиду наступающих важных событий отлучиться не было никакой возможности. Оставалось только удовлетвориться посылкой гонца.

Мечтая о Галине, Мазепа не забывал и самой существенной части вопроса, а именно, согласия матери на желанный для него брак. Гетман не позволил ему отлучиться и в Мазепинцы, а потому Мазепа послал к матери Лободу, а вместе с ним отправил и письмо, в котором излагал все пережитые им приключения и сообщал о своем новом повышении, а также объявлял матери о своем намерении жениться, говорил подробно о высоких достоинствах Галины, причем особенно подчеркивал то, что она — дочь полковника Морозенко, и просил у матери благословения и разрешения на этот брак. Ответ пришел довольно благоприятный: мать писала, что если панна, о которой он пишет, действительно дочь славного полковника Морозенко, то она ничего бы не имела против этого брака, конечно, если она окажется достойной ее сына эдукации. Такой ответ обрадовал до бесконечности Мазепу, — главное препятствие к его браку, следовательно, устранялось. Что же касается до эдукации, то он и сам находил, что Галину надо будет еще значительно отшлифовать, для того, чтобы она могла занять с достоинством место жены генерального писаря.

Но вот наступили и "Риздвяни святки".

Ежедневно в замок являлись то колядники со звездой, то бурсаки с "вертепом"[37], то казаки с поздравительными "виршами" и "орациями", — на короткое время все дела и заботы политические были оставлены, — все поглотили Рождественские празднества и пиры. Бурное веселье, охватившее всю чигиринскую молодежь, навяло на Мазепу еще большее сознание своего одиночества и желание перекинуться хоть словом с дорогой девушкой. Однажды, в ясный морозный день, он велел позвать к себе Остапа. Бодрый, веселый и счастливый казак, разодетый теперь в дорогую форму надворной гетманской команды, не замедлил явиться на зов своего патрона.

— З Риздвом светлым, ясный пане! — приветствовал он Мазепу, остановившись на пороге.

— Здоров, здоров, — отвечал приветливо Мазепа, — а иди-ка сюда, садись за стол, разопьем по келеху меду да закусим колбасой.

Слегка смущенный таким лестным приглашением, но и польщенный высокой лаской столь важной особы, какой являлся теперь Мазепа, Остап подошел к столу и занял указанное место.

— Ну, что, наш бунчуковый товарищ, доволен ли ты своей службой? — заговорил ласково Мазепа, наполняя кубок Остапа.

— Гм, еще бы... как не доволен! Доволен, — усмехнулся Остап, — до смерти вашей ласки не забуду... Вот, чтобы не сказали... хоть с кручи в воду... хоть голову в аркан... Так доволен, как сатана своим пеклом!

Мазепа улыбнулся такому оригинальному сравнению и продолжал дальше.

— Ну, а как ты думаешь, друже, отец Григорий отдал бы теперь Орысю за тебя?

— Ге, не отдал бы! Да теперь он и сам просить будет... Сотенный бунчуковый! "Не абыщо!" Да если б он и не отдал, то Орыся мне слово дала, что и убежит со мной! Козырь-дивка! — тряхнул головою Остап и даже покраснел от удовольствия, вспомнив свою девчину.

— Так что же ты таишься, казаче, — продолжал с лукавой улыбкой Мазепа, — мясоед-то в этот

год короткий, — вон, пан Кочубей боится и день пропустить.

— Хе! — вздохнул Остап. — Добро ему, когда у него и поп, и невеста под боком, а тут, как говорят, и рада бы душа в рай, да грехи не пускают...

— Так если бы того... если бы и тебе здесь и поп, и невеста, так и ты, может быть, "одружиться" бы захотел? — гай, гай, казаче, — произнес серьезно Мазепа, придавая своему голосу укоризненный тон. — Есть у тебя бунчук, а тебе еще и жинка понадобилась... Не будет, вижу, из тебя добра.

— Да что же, пане генеральный, живой про живое думает, — потупился Остап, — про то сам я знаю, что теперь нельзя отлучаться, ну, я молчу.

Он вздохнул и действительно замолчал. В комнате водворилось молчание. Мазепа выдержал паузу и затем произнес с лукавой улыбкой:

— А что, если бы я тебе выхлопотал отпуск, а? Поехал бы в степь на хутор к Сычу?

— Да что вы, жартуете, пане, или вправду? — вскрикнул Остап, вскакивая так порывисто с места, что кубки, жбан и миска, все зашаталось на столе.

— Стой, стой, божевильный! Перекинешь мне все! — закричал Мазепа, подхватывая со смехом посуду, но Остап не слышал этого крика.

— Жартуете или вправду? — повторял он в восторге. — Да если только правда, так мы вам с Орысей всю жизнь... Ей-Богу, не знаю что!.. Только все... все, что захотите...

— Постой, постой, успокойся и садись тут, — остановил его Мазепа, — не жартую я, а говорю правду. Я для тебя постараюсь выхлопотать у гетмана отпуск, ты поедешь на хутор к Сычу, заберешь оттуда Орысю и отца Григория; переправишься с ними на правый берег, — теперь уже можешь ехать беспечно. Татары не скоро из Крыма возвратятся — и если захочешь, можешь покрыть своей любой голову вот этим корабликом!

— С этими словами Мазепа достал приготовленный им прекрасный алый бархатный кораблик, расшитый золотом, и передал его Остапу.

— Ох, Господи!.. Так значит правда... не жарт? Всю жизнь... всю жизнь не забуду этой ласки, — повторял растерянный от неожиданности и радости Остап.

— Ты подожди благодарить, — перебил его Мазепа, — за это и ты должен мне отплатить услугой.,

— Хоть на "шыбеныцю"! — вскрикнул восторженно казак.

— Зачем так высоко, — усмехнулся Мазепа, — моя услуга поменьше: ты должен будешь передать Галине "дарунки", которые я ей через тебя пошлю, расскажешь все, что творилось здесь, и передашь ей "лыст" мой... Читать ты умеешь?

Последний вопрос привел казака в некоторое замешательство.

— Гм, — произнес он с расстановкой, почесывая в затылке и опуская глаза, — "часословець" читал когда-то у дьяка, а письма не пробовал как-то, — и, вздохнувши глубоко, Остап выговорил одним духом: — "Мабуть, не разберу"!

— Ну, пане бунчужный, видно, мало на тебя дьяк лозы поломал! Впрочем, не беда, — есть там о. Григорий, он прочтает. Так готовься к отъезду, а я улучу минуту и попрошу гетмана, чтоб дозволил тебе отлучиться для свадьбы.

На том и решили. Мазепа приготовил письмо Галине, приготовил и множество драгоценных подарков и ей, и всем хуторским обывателям. Между других подарков он вложил Галине и хорошенькое "венецйское" зеркало и прелестный золотой перстень с дорогим диамантом, который он обещал переменить вскоре на гладенький.

Оставалось только выждать подходящую минуту, для того чтобы испросить разрешение на отпуск Остапу.

Между тем близился уже день, в который назначена была рада в Чигирине.

Несколько раз совещался тайно гетман с Богуном, с митрополитом Тукальским и с Мазепой и, к своему удовольствию, Мазепа замечал, что увещания его повлияли на гетмана так, что благородный порыв его уступить Бруховецкому даже свою булаву, под влиянием его резонов и слов, начинал понемногу утихать. Наконец, наступил и торжественный день рады. Еще с самого полудня в Чигирин начали стекаться прибывшие отовсюду казаки, духовенство и даже приглашенные для этого случая почтеннейшие горожане. Во дворце Чигиринском все находилось в величайшем волнении. То же волнение испытывал и Мазепа.

Наступили ранние зимние сумерки. На раду еще было рано отправляться, а между тем Мазепа уже не мог ничего делать от какого-то тревожного чувства, охватившего его. Тревожно шагал он по своей комнате, то покручивая усы, то подходя к окну и смотря задумчиво на беспрерывно въезжавших во двор всадников, когда у дверей его комнаты раздался легкий стук, и в светлицу вошел сияющий счастьем молодой Кочубей, который тоже получил за последнее время повышение и переведен был из младшего в старшего подписка генеральной канцелярии.

— А что это, пане генеральный писарю, ты тут сумерничаешь? — обратился он весело к Мазепе. — Небось, и у тебя "мурашки" поза спиной бегают?

— Да, есть малость, — ответил Мазепа, — приветствуя Кочубея, — а что, собираются?

— Скоро негде будет и яблочку упасть... А вот только одного я опасуюсь: что как пан гетман Бруховецкий со своей "згодою" обманывает нас, заманит всех с войсками на левый берег, а потом и отдаст москалям? Не верю я что-то и послу его... лисица... у!.. Стреляная лиса!..

— Не бойся... Бруховецкий на этот раз не обманывает нас; он потому к нам и ластится теперь, что ему некуда податься.

— О? Откуда ты знаешь?

— Сорока на хвосте принесла.

— Да и добрые же у тебя, пане, сороки вести приносят.

— И все добрые вести, — усмехнулся Мазепа, лукаво подмигивая бровью, — а когда же свадьба, пане подписку? Надо бы стараться поскорее, ведь гетману казаки в войске надобны.

— Поспеем, — тряхнул весело головой Кочубей. — А слышал ли новость — и от Сирко послы из Запорожья прибыли.

— Ну? — оживился Мазепа. — Наверное?

— Сам видел.

— Ну, так идем, идем скорее... "Цикаво"! Что-то они привезли с собой.

Товарищи вышли из флигеля, в котором жил Мазепа, и направились по двору к замку, в парадной зале которого назначена была рада.

Беспрерывно по пути их обгоняли группы старшин, спешивших во дворец, все они весьма дружелюбно приветствовали Мазепу и Кочубея. Замок уже горел огнями. Наши путники поднялись по широким ступеням и вошли во дворец.

Ярко освещенные широкие коридоры дворца были уже наполнены народом; всюду сновали прохаживающиеся группы, везде слышался оживленный говор, беспрерывно то там, то сям повторялись имена гетмана Дорошенко и Бруховецкого, и тогда, как имя первого произносилось всегда с восторгом, ко второму прилагались весьма нелестные эпитеты. Издали доносился сдержанный гул множества голосов.

Пробираясь осторожно среди этих снующих пар, Мазепа и Кочубей достигли, наконец, до высоких, окованных медью и бронзой дверей и, отворив их, очутились в большом парадном зале.

Зала была уже полна народа. Приглашенное на раду почетное духовенство занимало приготовленные ему направо и налево от высокого золоченого стула гетмана места; за колоннами, вдоль стен и перед гетманским креслом помещалась казацкая старшина и украинская шляхта, а ближе к выходу стояли отдельной группой почтенные купцы и горожане, выделявшиеся от всех остальных сословий своими темными длиннополыми одеждами и отсутствием оружия. Рядом с гетманским стулом приготовлен был такой же стул для митрополита, а по левую руку меньшее кресло для гетманши. И духовенство, и казачество, и шляхетство — все блистало самыми драгоценными одеждами. Десятки люстр, усеянных восковыми свечами, заливали всю залу целыми потоками яркого света, придавая ей необычайно торжественный вид.

Гетмана еще не было, а потому все присутствующие, стоя в разных местах группами, вели между собою оживленный разговор. Говор сдержанных голосов, словно однообразный шум волн морских, наполнил весь зал. Появление Мазепы и Кочубея было сразу замечено.

— А, пан писарь, наш генеральный писарь, — окликнул его кто-то из близ стоявшей группы казаков.

— Сюда, сюда, к нам пожалуй!

Мазепа подошел к окликнувшей его группе и пожелал всем доброго здоровья.

— Здоров, здоров! — отвечали ему несколько голосов.

— Ты вот скажи нам, пане генеральный писарь, — продолжал подозвавший его казак, — тебе это теперь лучше знать, неужели гетман наш в самом деле думает отдать свою булаву этому антихристу?

— Да мы тому псу такую булаву покажем, что он и на том свете не выдыхает, — закричали гневно казаки.

— Стойте, стойте, панове, — остановил их Мазепа, — вы так очень на него не нападайте, а то ведь он и от "згоды" откажется. Да и что бы с того вышло, если бы гетман наш уступил ему булаву?

— Как что? — перебили его отовсюду голоса. — Отдать нас в руки этому гаспиду, этому Иуде!..

— Хе, хе, хе, панове, вы шумите заранее, — усмехнулся Мазепа, — в том-то и дело, что ни нас, ни нашу булаву никто не смеет помимо нашей воли кому-нибудь отдавать. Так вот, если бы гетман Дорошенко и отдал Бруховецкому свою булаву, а мы бы того не захотели, так разве смог бы Бруховецкий без нашей "згоды" над нами гетмановать? Эй, панове, панове, вы и забыли, что если кого и камнем ударить хочешь, то надо перед ним прежде нагнуться до земли. То-то и выходит, что можно так всякую вещь устроить, что и волки будут сыты, и овцы будут целы!

— Хо, хо! Да ты умеешь рассуждать, голова! Так оно добре выходит! — раздалось отовсюду одобрительные возгласы.

Слова Мазепы полетели в одну группу, в другую, а он, довольный тем, что меткое слово его произвело благоприятное впечатление на казаков, двинулся дальше.

Но в этот раз ему, кажется, не суждено было добраться до своего места. Едва только сделал он несколько шагов, как его окликнули с другой стороны, и снова он должен был принять участие в разговоре и разъяснить слушателям возникшее недоразумение. Словом, каждая группа, мимо которой проходил он, подзывала его к себе для разъяснения какого-нибудь вопроса или встречала дружественным приветствием. Это всеобщее внимание приятно щекотало самолюбие Мазепы.

"Гм, черт побери, — думал он про себя, покручивая молодцевато усы и пробираясь вперед, — что я тут, долго ли, полгода — не больше, а вот уже все знают меня, все за советом идут. Гм, фортуна, кажется, ухватила за мое плечо рукою и хочет, чтобы я ее повел, куда захочу. Шутка! За полгода генеральный писарь! Да если так пойдет и дальше, так и пророчество Сыча, быть может, не окажется химерой".

При этой мысли Мазепа улыбнулся, как улыбаются люди какой-нибудь несбыточной фантазии, неисполнимой мысли, но вместе с этим он почувствовал, что к щекам его прилила горячей волной кровь. Так дошел он до ближайших к гетману мест и остановился с Кочубеем за гетманским креслом. Оглянувшись кругом, он заметил, что невдалеке от него стоит Самойлович, окруженный несколькими шляхтичами и казаками. Очевидно, он рассказывал своим слушателям что-то веселое и забавное» так как лица их были оживлены, и до слуха Мазепы долетели веселый смех и одобрительные восклицания, покрывавшие речь Самойловича. "Вербуе", — решил про себя Мазепа и перевел свой взор в противоположный конец зала.

Сквозь открытые двери вливались в зал с каждой минутой новые толпы людей; шум все возрастал... Но вот, вдруг, словно по мановению чьей-то волшебной руки, шум сразу оборвался, — в двух, трех местах еще вырвались отдельные, не успевшие умолкнуть фразы, и все затихло.

Двери, из которых должен был выйти гетман, распахнулись.

LXXIII

Впереди появились джуры с гетманской булавой и бунчуками, за ними шел Дорошенко, а за

ним митрополит Тукальский, Гедеон Хмельницкий, Богун и другая знатнейшая старшина. Все молча приветствовали гетмана наклоном головы; но вот гетман взошел на ступеньки, ведущие к его креслу, и остановился. В зале стало совершенно тихо, слышно было даже, как кто-то в глубине залы шаркнул ногой, как кто-то перевел громко дыхание.

Кочубей подошел к гетманскому креслу и, отвесив низкий поклон, произнес:

— Ясновельможный гетман, прибыли к твоей милости послы от славного войска Низового запорожского.

Лицо Дорошенко вспыхнуло, в глазах отразилась необычайная радость.

— От Сирко? — переспросил он поспешно.

— Так, ясновельможный гетмане! — отвечал Кочубей.

— Веди!

Кочубей вышел из залы и, отдав распоряжение, снова вернулся на свое место. Большие входные двери распахнулись, и в светлицу вошло человек десять богато разодетых запорожцев.

Все оглянулись в их сторону.

Впереди шел почтенный седой запорожец с широким шрамом, пересекавшим лоб; за ним выступали попарно его товарищи. Запорожцы были одеты с необычайной роскошью: расшитые золотом и серебром жупаны их украшало драгоценное оружие, пышно завитые чубы молодцевато закручивались вокруг уха и спускались еще на плечо. Все молча следили за тем, как запорожцы стройно и чинно проходили среди двух рядов занятых старшинами мест.

— Что за чертовщина! — думал и. Мазепа, не отрывая взгляда от старшего казака с шрамом. — Сдается мне, что я его где-то видел... не вспомню... а видел где-то... верно!.. Да в Сичи Запорожской! — чуть не вскрикнул он вслух. — Фу ты, дьявол, вот засновало все в памяти... Шрам, старый Шрам! Это я у него в хате и ночевал. Только как нарядился! Кто бы теперь узнал его! — улыбнулся Мазепа, вспомнив, в каком откровенном костюме был старый казак, когда они познакомились в Сичи.

Гетман Дорошенко следил горящим взглядом за послами: что привезли они ему от Сирко? Покорность, союз, или, быть может, упреки за дружбу с басурманами?

О, этот Сирко! Какую тяжкую рану нанес он его сердцу; одним своим безумным порывом оттолкнул он от отчизны тот венец, который ей уже несли славные победы!.. О, Сирко!.. Сирко!.. — чуть не простонал он вслух.

Между тем послы подошли к гетманскому креслу и, поклонившись, остановились в некотором отдалении.

Все повернулись в их сторону.

— Ясновельможный пане, гетмане наш ласковый и добродию! — начал Шрам, снова поклонившись. — Шлет тебе пан атаман наш кошевой и все старшее и младшее Войско Запорожское, низовое товариство свой поклон войсковый и желает тебе в Бозе здравствовать.

Дорошенко привстал с места и молча поклонился на слова Шрама, а Шрам продолжал дальше.

— Ведомо стало нам, ясновельможный гетмане, что вельможность твоя зело скорбит на нас за то, что когда ты на польское войско точить войну прибрался, то мы на тот час бросились "трохы" Крым и клятых бусурманов пошарпать! Не думали мы тебе тем зло учинить; кто ж его знал, что об этом деле клятым бусурманам хвостатые их родичи так скоро донесут? А дбали мы о добром, думаячи, что пока твоя вельможность с татарами короля воует, мы в тот "погожий час" весь Крым "внивецъ" повернем и, таким способом, от двух врагов сразу отобьемся. Но Господь Всевидец, Он же судьбами нашими управляющий, не восхотел, видимо, исполнить того, что задумали мы, и хотя нам удалось здорово потрусить Крым и освободить из неволи многие и многие тысячи христиан, одначе неверные псы оставили твою вельможность и тем погубили все твои славные "звытяжства" и "виктории", над ненавистными ляхами учиненные. Когда ведомо нам стало это, то все мы закручинились, ясновельможный гетмане, о том "вчынку", а наипаче кошевой атаман наш зело сокрушался о том, что не пришлось ляхов аж до последнего останку умалить. Одначе, что сталося, то сталося. Несть человек, аще жив будет и не согрешит! Не от зла то, а от несовершенства думок произошло то. Для того просим теперь твою вельможность, прими нас снова в свою ласку, яко сердце наше тяжко сокрушается, смотря на горькое поругание матки, отчизны нашей. Желаем мы разом с тобой, гетмане, за высвобождение матки нашей отчизны "становытыся" и в теперешний "погожий час" под "региментом" твоим, для "пожытку" и вольностей народа нашего, отчизну нашу Украину от врагов отстоять и под твоей единой булавой укрепить, да сбудется реченное в Писании: "Едино стадо и един пастырь!"

Шрам окончил, и по зале пробежал одобрительный шум. Дорошенко на этот раз был настроен необычайно спокойно, появление послов из Запорожья привело его в самое радостное настроение духа.

— Мои ласковые панове и братья, — отвечал он, — радует меня и всю старшину нашу, что вы, яко верные братья и добрые сыны отчизны, опять к нам повернулись; одначе скажу вам так: сами вы ведаете, что врагов у нас много. По слабости человеческой плоти не может человек со всеми сразу бороться, а должен одного из них на свою сторону перетянуть, тогда можно добиться виктории и освобождения отчизны. Как же думаете того дойти, отжахнувши от нас единых приятелей наших, хочь и бусурманов, но защищавших нас, как родных братьев? А что ж, славное низовое товарищество, думаете, если бы вы вправду весь Крым и все ханство сплюндровали, стали бы тогда ляхи на нас смотреть? Да они случились бы с тем татарским войском, что нам помогало, и не то, что нас, а и славное Запорожье "попиллом бы пустылы по витру". А хотя бы и до единого младенца "зныщылы" вы всех татар, все же осталось бы против нас врагов немало, и не у кого было бы нам "шукать" опоры!

— Правда! Правда! — послышались отовсюду восклицания.

— От того все это творится, чада мои, — заговорил митрополит Тукальский — и при первом звуке его голоса все кругом умолкло, — что не хотите вы в делах своих на премудрость Божию оглядаться! Отже ведайте, панове, что Господь наш, Премудрый Создатель, дал единую главу человеку для того, чтобы согласие во всех его делах пановало. И звери бо дикие, и птахи малые всегда себе единого поводыря выбирают, его же и слушают, дабы не разбежалось все стадо... Неужто мы, панове, не смышленее птиц и диких зверей? Когда хотим видеть в крае своем согласие и друголюбие, изберем себе единого главу, его же и слушать будем: "Едино тело бо и един дух"... А Дорошенко продолжал дальше:

— Еднак, не хотим мы вам то дело в вину ставити, яко ведаем, что не от умысла какого оно сталося, а едно от любви вашей к матке, отчизне нашей. Какая же мать не простит сынов

своих за невинно содеянное зло? Какая отчизна не простит детей своих за содеянную ошибку? Радуется сердце мое вельми, что прибыли вы к нам, ласковые панове, найроднейшие братья и завзятейшие лыцари наши, радуется сердце мое, что и брат мой любезнейший, наш славнейший и знатнейший лыцарь, кошевой Сирко, приходит к нам под прапоры наши. Матка отчизна, "знеможена на ранах", смотрячи на тот союз, радостными слезами умывается и благословение нам свое посылает... Скрепим же руки, братья мои милые, — закончил он, обводя все собрание воодушевленным взглядом, — да не дадим отчизну свою на муку и поругание, но соединимся навеки!

Взрыв восторженных восклицаний заглушил слова Дорошенко.

— Слава гетману! Слава братчикам! Слава Сирко! — раздалось кругом.

Запорожцы со Шрамом во главе отошли в сторону и заняли места недалеко от Мазепы.

Пользуясь шумом, поднявшимся в зале, Мазепа подошел к Шраму.

— Здоров будь, пане добродию, — произнес он, останавливаясь перед ним.

Шрам обернулся.

— Свят, свят, свят! — воскликнул он, останавливая на Мазепе глаза, — да это ты ли, Мазепа, тот, что умеет языком зубы заговаривать?

— Он самый, — улыбнулся Мазепа.

— Каким образом попал сюда?

— Служу у гетмана Дорошенко генеральным писарем.

— Генеральным? — протянул изумленно Шрам. — Ай-да и голова ж у тебя, пане генеральный!.. То-то я и не познал тебя сразу!

— Да и я тебя, пане-добродию, — не сразу признал, ишь ты, нарядился как, словно какой магнат польский!

Между приятелями завязался веселый разговор; но в это время шум и крик в зале утихли.

Все замолчали и остановили свои взгляды на Дорошенко. Гетман окинул все собрание проницательным взглядом, помолчал с минуту и потом начал:

— Братья мои и дружи! Отчизна изнемогает! Я собрал вас "на раду" сюда, чтобы вольными голосами вы решили, куда направить путь нашей неньки и где искать ей пристанища? Всем ведомо, что Марс наделил нас в последнюю войну такими "викториямы", каких мы давно не видели: Собеский, раздавленный, разбитый, аки аспид, был уже у меня в руках, как мышь в "пастци"; еще бы одна минута, — и судьба наша совершилась бы раз навсегда! О, дорога в сердце Польши была открыта: некому было защитить ее! Но, — гетман глубоко вздохнул и потом прибавил, — видно, Бог не восхотел этого! Когда союзники наши узнали о набеge нашего славного лыцаря Сирко, то не только отказались пойти и докончить врага, а хотели было обратить на нас же оружие, заподозрив, что с нашего ведома их ханство запорожцы "сплюндрувалы". И это заставило нас подписать с Собеским мирный трактат совсем не такой, какой бы иначе был подписан, — у гетмана вырвался тяжелый стон и среди разлившейся кругом тишины слышно было, как от сильного сжатия рук хрустнули его пальцы.

Хотя это событие было уже хорошо известно всем, но слова гетмана произвели все-таки потрясающее впечатление; по зале пронесся глухой ропот.

Запорожцы стояли, понутив седые головы.

— Да, мы вынуждены были подписать с ляхами не тот договор, — начал снова упавшим голосом гетман. — Правда, не позорный, а честный, обеспечивающий нам наши права, но не тот, который должен был бы развязать наши руки, чтобы мы, как вольные люди, ни от кого "не залежни", могли их расправить совсем и стереть с них позорные следы ланцюгов.

— Ой, стереть бы, стереть бы, жгут эти язвы! — раздался где-то в углу тихий вопль и заставил вздрогнуть всех собравшихся в зале.

— Мы поклялись, — продолжал, между тем, гетман, — держать с ляхами мир, быть у них в "послушенстве" и кориться.

— Опять кориться ляхам? Мало еще уелись! Мало разве "знуцалысь", — вспыхнули то там, то сям возмущенные голоса и взволновали хотя сдержанным, но мятежным ропотом "раду".

— Хотя, шановная рада, вынужденная клятва и не обязует человека перед Богом, — продолжал, между тем, гетман спокойно, словно не замечая начинающегося брожения, — и Собеского "обитныци" до утверждения их сеймом, тоже по воде вилами писаны; но этот мир дает нам время передохнуть, собраться с силами, соединиться с братьями и обдумать хорошо, на что наивыгоднее решиться! Знайте, если Украина останется надолго разорванная на три части, то ее ждет неминуемая смерть.

— А кому же неволя мила? Кто по своей охоте вложит в ярмо шею? Никто, никто! — пробежали от группы к группе вырвавшиеся тихо слова.

— Да и разве, братья мои, погибло для нас все? — произнес взволнованным голосом Дорошенко. — Разве мы потеряли то мужество и отвагу, которые помогли нам вырваться из лядской неволи? Разве от нас отвернулась совсем уже доля? Разве Господь отшатнулся от нас? Нет, нет, панове!

Чем дальше говорил гетман, тем больше воодушевлялся; глаза его разгорались, по щекам разливался яркий румянец; его воодушевление передавалось и слушателям, и мало-помалу охватывало все собрание.

— Так, батьку, правда твоя! — раздался чей-то горячий возглас, — За волю умрем, за тобою пойдем!

А ободренный Дорошенко продолжал дальше:

— И будет нам вечный позор, вечное горе и проклятие от погибшей отчизны, если мы не вырвем ее из неволи. Но, говорю вам, час приспел. Если мы не сделаем этого теперь, то отчизна навсегда останется в рабстве, потому что с каждым днем, с каждым часом все сильнее затягивается на ее шее аркан.

— Не допустим! Не быть тому! — вырвался общий крик, и ряды старшин мятежно заколебались.

— И для этого, друзи мои, первое дело соединиться нам воедино с нашими левобережными братьями и с низовым товариством! — провозгласил, подняв руку, Дорошенко.

— Всем воедино! Под твоей булавой! — раздался в ответ дружный крик.

— Спасибо за честь! — поклонился гетман. — Но не о себе пекусь я; для Украины я готов поступиться и своей булавой, я бьюсь за отчизну и от имени ее благодарю честную раду. Значит, решено, что всем воедино, как за блаженной памяти гетмана Богдана?

— Всем воедино! — пронеслось громко в зале.

— Это наипервей и наиважнее! — свободно вздохнул гетман. — Господь милосердный показал нам свою благостыню. Он преклонил к стопам отчизны сердце гетмана Бруховецко-го, и вот гетман сам идет нам навстречу и протягивает нам братскую руку.

Слова гетмана произвели на все собрание необычайное впечатление; некоторые, более близкие старшины уже знали о намерении Бруховецкого, но для большинства это известие было самой неожиданной новостью.

— Бруховецкий за отчизну идет?! Вот это так штука! — слышались в разных местах изумленные и насмешливые восклицания...

— Слава гетману Бруховецкому! Слава! — раздалось несколько возгласов; но возгласы эти раздались очень несмело и тотчас же умолкли.

— Не судите, чада мои, гетмана за его ошибки, — произнес владыка, — един бо Бог без греха, а лучше возблагодарите Господа за то, что Он посетил его сердце и преклонил снова к братьям. Великая за это "подяка" гетману, ибо без его згоды нельзя было бы нам так легко соединиться воедино, как мы это можем сделать теперь.

— Правда! Правда, превелебный отче! — "загомонила" в ответ старшина.

LXXIV

— Теперь выслушаем же, панове, посла его мосци, которого он прислал к нам на раду, и возблагодарим его вельможность за братскую к нам "горлывисть", — произнес Дорошенко и, обратившись в ту сторону, где стоял Самойлович, прибавил:

— Пане после гетманский, объясни же нам, чего желает ясновельможный брат и добродий наш, гетман Бруховецкий?

Самойлович выступил из толпы и, выйдя на свободный круг перед гетманским креслом, сначала поклонился Дорошенко, а затем отвесил такой же поклон на все четыре стороны.

Его наружность и красивые плавные движения произвели приятное впечатление на все собрание. Кое-где слышались тихо произнесенные одобрения.

— Ясновельможный, вельце ласковый пане Дорошенко, гетмане Украинский и Запорожский и добродию наш наиясней-ший! Пан Бруховецкий, гетман и боярин московский, шлет тебе и всему войску свой братерский поклон.

И Самойлович в прекрасных витиеватых фразах излагал гетману, что Бруховецкнй, болея душой за отчизну и видя отовсюду ее умаление, решился не токмо телом, но и душой пожертвовать для нее и, забывши свое клятвенное обещание, готов отступить от Москвы и принять Дорошенко под свою булаву.

Но странное дело! Чем высокопарнее говорил Самойлович о душевных страданиях Бруховецкого за отчизну, о его готовности пожертвовать для нее даже душой, — тем больше раздражения к Бруховецкому вызывали у слушателей его слова. К концу его речи уже начали раздаваться по адресу Бруховецкого то с той, то с другой стороны весьма едкие замечания.

— Эх, пане генеральный! — заметил. Кочубей с укоризной Мазепе. — А ты еще мне говорил, что он весьма эдукованный и разумный человек, вон посмотри, что он своими словами наделал.

— Теперь-то я в этом убедился больше, чем когда-либо, — ответил Мазепа.

Но вот Самойлович заявил от лица Бруховецкого, что тот согласен отступить от Москвы, но за это рискованное дело правобережное казачество с гетманом Дорошенко во главе должно предложить ему булаву, так как и отчизне не будет покоя, если над нею будет пановать два гетмана, а гетману Дорошенко он уступит за это Чигиринское староство на веки и наделит его всякими почестями. Но Самойловичу не удалось кончить своих слов; как искра, брошенная в бочку пороха, воспламеняет все и порождает страшный взрыв, так фраза эта окончательно возмутила собрание.

— Что? Чтобы наш гетман отдал ему булаву? А не дождется он этого! Ишь, чего захотел! Вот почему он душой за отчизну скорбит, не за малый же "кошт" и грех на свою душу принимает! Пусть доволен будет, что сам на своем месте усидит, — раздались кругом яростные восклицания.

Дорошенко хотел говорить, но шум, уподнявшийся кругом, заглушил его голос.

— Гетман, гетман говорить хочет, — закричали наконец в разных местах, но долго еще пришлось повторять эти возгласы, пока наконец шум кое-как улегся.

— Вельце ласковые панове и братья мои, — заговорил наконец Дорошенко не совсем спокойным голосом, — не сокрушайтесь на гетмана Бруховецкого за то, что он хочет, чтобы одна булава над всем краем была. Печется он, видно, о благе отчизны, однако, скажи, пане после, ясновельможному гетману, ласковому брату и добродию моему, что может Украина счастливо и под двумя булавами проживать. А я за булаву не стою, только не могу я ею "орудовать", как "цяцькою" дытына... Прикажет шановная рада — отдам, велит держать, — буду держать до последних дней... А вот скажи ты нам лучше, зачем это гетман Бруховецкий Украину в такую неволю "запровадыв", какой у нас не слыхал никто?

Тут со всех сторон принялись вспоминать все решительно: и то, в чем был виноват Бруховецкий, и то, в чем он не был виновен, но что народ в своей ослепленной ненависти сворачивал на него.

Самойлович стоял посреди круга с каким-то смущенным и растерянным видом, казалось, он не находил ничего, чтобы можно было сказать в оправдание своему гетману.

— Когда Бруховецкий одну половину Украины не смог защитить, как же требует он, чтобы ему и другая поддалась? — заговорил вновь Дорошенко, — гетман на то и стоит над краем, чтобы ограждать его и защищать! А он, человек худой и не породистый, зачем принял на себя такую власть, которой нести сам не смог?

— Он не самовольно вступил на гетманство, его выбрала вольными голосами казацкая рада, — возразил на этот раз довольно громко Самойлович.

Но эта фраза не сослужила большой службы Бруховецкому; всем еще было памятно избрание Бруховецкого.

— Знаем мы, как его выбрала казацкая рада! Помним! Не забыли! — раздались кругом гневные, угрожающие возгласы.

Каждая неловкая фраза Самойловича раздражала все больше и больше гетмана и собрание.

— Ну, не очень-то он защищает своего гетмана, — заметил тихо Мазепе Кочубей.

— Д-да, как кот "мышеня"... крепко держит в "пазурах", — усмехнулся Мазепа, — однако надо помочь ему, не то он так "роздратує" раду, что о згоде нельзя будет и говорить, а хотя нам Бруховецкий для згоды и не надобен, однако надо его держать при себе, чтобы он, чего доброго, не донес Москве.

С этими словами он нагнулся к двум-трем старшинам и шепнул им по несколько слов на ухо.

Эта же самая мысль пришла в то же самое время в голову и митрополиту Тукальському, и Дорошенку.

— Чада мои любя, — заговорил владыка, приподнимаясь со своего места, — не будем же говорить о том, что уже сталося, но что теперь, благодаря Господу милосердному, не повторится вовек. Радуется Господь дважды больше, если видит возвратившуюся душу грешника, возблагодарим же и мы от всей души Господа за то, что "привернув" он к нам сердце гетмана, не станем его укорять за прошлые вины, а с лаской и подякой примем его предложение о братской згоде.

По зале пробежал какой-то глухой, не совсем согласный ропот. Дорошенко вздохнул несколько раз и, сделавши видимо над собой усилие, заговорил уже спокойнее:

— Святое слово сказал нам превелебный владыка: раскаяние искупляет всякую вину, тем паче что сталося это не от злого умысла гетмана, а от того, что не имел он силы удержать в своей руке владу и оградить от "утыскив" свой край. Так как же волите, панове-товарыство, честная рада, принимаете ли "пропозыцию" гетмана Бруховецкого?

— Принимаем, принимаем! — закричали громко со всех сторон голоса. — Только твою булаву не отдадим ему ни за что!

— О булаве будем потом толковать, — произнес Дорошенко, польщенный этими возгласами, — а теперь передай, пане после, ясновельможному гетману, ласкавому брату и добродию нашему, что мы от всего сердца благодарим его за братское желание соединиться с нами и, как душа с телом, соединяемся с ним во единый неразрывный союз. Что же до булавы, то сам я в ней не властен, а учиню так, как поводит преславная рада: скажут мне: отдать булаву, — отдам без единого слова, велят держать, будем тогда с ясновельможным гетманом вдвоем. братерски над Украиной пановать.

Самойлович поклонился и отступил в сторону, а Дорошенко продолжал дальше с облегченным вздохом.

— Итак, шановное и преславное товарыство, совершилось то, чего мы желали прежде всего. В замке этом в эту минуту "злучылыся" три разорванные части во едино тело. А это было для нас наиважнее. А теперь обсудим, под чью же руку, под чью ж защиту всем нам "злученым" воедино примкнуть?

— Ни под чью! Будем своим разумом жить! — закружились вихрем по зале возбужденные возгласы.

— Хе, — улыбнулся гетман, — рада бы душа в рай, да грехи не пускают... Мы не успеем еще и крыльев расправить, как на нас набросятся со всех сторон наши соседи и задавят... Без опекуна сначала невозможно: нам и соединиться воедино не дадут... Опекуны ведь заключили промеж себя Андрусовский договор.

Старшина, подавленная силой правды, замолчала, и только тяжелый вздох пронесся глухим стоном по зале, а гетман продолжал:

— Теперь мы, панове, подписали мир с ляхами, обещались быть им верными. Хотя клятвы по принуждению и превелебный владыка наш разрешит, но можно и держать их... Вот только сдержат ли свои обещания ляхи? Чтобы прав наших не ломать, земель наших не трогать, веры нашей предковской не "нивечыть". Клялись уже они в этом не раз, да ничего не исполнили ни разу... А еще пуще после клятвы нас теснили, обращали в "быдло", запродавали жидам... Ну, а теперь, может быть, над половиной нашей и "зглянуться"?

— С роду-веку! — крикнули все.

— Не быть с ляхами "згоды"! Лучше в зубы до черта, чем до ляхов! — бряцнули кругом сабли.

— А может быть теперь... — настаивал с улыбкой гетман.

— К черту ляхов! — грянуло в зале с такой силой, что даже окна звякнули.

Все зашумело: брязг сабель, стук каблуков, мятежные возгласы пополнили бурей зал...

— Не хотим протекции польской! Не верим ляхам! Хоть в пекло, а не к ляхам! — не унимались крики.

Эта ярость, всколыхнувшаяся при одном напоминании о польской протекции, утвердила Дорошенко в убеждении, что о ляхах впредь не может быть и речи. Присутствовавшее на раде духовенство поддержало это мнение... С большим усилием "возным" пришлось усмирить поднявшийся шум.

— Превелебные отцы и славная старшина! — заговорил наконец снова гетман. — Я и сам склоняюсь к вашей думке. Да, с ляхами нельзя нам жить под одним "дахом": не отступятся они от желания повернуть нас в рабов, а мы не отступим от своих вольностей и будем биться, пока один не уничтожит другого — как огонь с водой! Значит, нам нужно выбрать другую протекцию... Вам ведомо, что к нам приезжало много московских послов... Москва не прочь, чтобы мы соединились и поступили под ее руку. Конечно, Москва нам ближе, — продолжал нерешительно гетман, — и лучше нам соединиться под державной рукой московского царя: и народ родной, и царь единой веры — это великое дело!

— Правда, правда! — слышались в разных местах одинокие голоса, но масса, сосредоточившись, угрюмо молчала.

Но вот из глубины зала раздался чей-то несмелый голос:

— Что говорить, лучшей бы протекции и не надо, — одно восточное благочестие... Да только согласятся ли утвердить за нами все наши вольности и права?

Вслед за ним заговорило сразу несколько голосов. Мазепа внимательно следил за настроением старшины. Из общего шума выделялись только отдельные восклицания: "Нет, нет! Боимся Москвы!" — "Москва не утвердит наших привилегий!", "Лучше самим!", "Без всякой протекции!" Мазепа уже не мог ничего разобрать среди общего шума.

— А ты же, пане писарю, что думаешь на сей счет? — раздался вдруг подле него голос Кочубея.

— А то, — улыбнулся Мазепа, — что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

В это время поднялся со своего места Богун.

— Богун, Богун! — закричали кругом. — Тише, молчите, Бо-гун скажет!

— Панове и друзи мои, — заговорил Богун. — Вы знаете, что когда в Переяславе старшины наши подписывали договор, — я не подписал его и ушел на Запорожье. Не потому не подписал я, чтобы не любил Москвы и не верил ей, нет, я и теперь готов за нее кровь проливать и оборонять ее от всякого поганина-басурмана, — а потому, что знал я, что удержать наши права она не захочет, потому что у нее свой, иной закон. А как же с разными законами жить в одной хате?

— Правда, правда! — закричали кругом старшины. — Святая речь твоя, пане полковнику.

— Еще то заважьте, высокоповажные и превелебные отцы наши и честное товарищество, — заговорил и Мазепа, выступая вперед, — что Москва и не может сохранять наши вольности, потому что у ней под рукою немало народу...

И Мазепа со свойственной ему ловкостью и умением начал излагать перед собранием государственные законы, которыми управляется Москва, не имеющие ничего общего с их казацкими порядками. Он начал доказывать слушателям, что Москва не может допустить в своем государстве другого государства со своими особенными вольностями и правами, так как все народы, подвластные ей, живут под одними законами.

— Так, так, верно! Правду молвит! Нельзя нам под Москву! — начали уже перебивать его возгласы, когда же он окончил, то всю залу огласил один крик: — Не хотим под Москву!"

— Так кого же вы выбираете, вельможное товариство? — заговорил Дорошенко, когда утихло поднявшееся в зале волнение. — Против нас стоят три державы, нам надо непременно разрушить этот союз и перетянуть одну из них на свою сторону, иначе они раздавят нас. Ляхов вы не хотите...

— Не хотим, не хотим! — загремело в ответ.

— Москвы вы боитесь; остается, панове, только одна Турция, — произнес Дорошенко, окидывая все собрание пытливым взглядом.

Все молчали.

— Так-то так, ясновельможный гетман, да не будет ли нам хуже под турком,, чем под Польшей и Москвой? Все же христиане, а то басурманы, — раздался чей-то голос.

— Туркам и закон велит христиан уничтожать, — поддержал его другой.

Остальные старшины молчали.

LXXV

— Вельце ласковые братове и друзи мои, — заговорил гетман, — для "рады" я вас и созвал сюда, ишу бо едино блага и спасения отчизны: решайте же сами, под протекцию которой из трех держав хотите поступать? Польши и Москвы вы не хотите. Но что же вас пугает в союзе с Турцией? — И Дорошенко начал излагать все выгоды турецкого протектората. Конечно, ему самому тяжело идти под руку басурмана, однако живут же под крылом Турции и молдавы, и валахи, и многие другие народы, и Турция не вмешивается в их религиозные дела. Вообще Турция совсем не обращает внимания на внутреннюю жизнь подвластных ей народов. Молдавия, Валахия, ханство татарское — все живут по своим законам и обычаям, и только платят Турции известную дань. Кроме того, Турция отделена от Украины целым морем и пустынными степями, — значит, ей трудно будет и мешаться в их дела.

Дорошенко говорил с искренним увлечением, самобытность Украины была, действительно, его светлой мечтой и в благо турецкого протектората он всей душой верил.

Чем дальше говорил гетман, тем больше убеждались в выгоде этого союза старшины; тягость польского ига была им уже известна, московский протекторат, вследствие интриг Бруховецкого, не внушал больше к себе доверия, турецкое же господство было еще не изведено. Собрание оживилось. Одобрительные возгласы начали все чаще перебивать речь гетмана.

— А что же, правда, "хоть гирше, абы инше"! — шепнул Мазепе Кочубей, но на этот раз Мазепа не ответил ничего.

Вслед за Дорошенко заговорил митрополит Тукальский. Он говорил, чтобы рада не смущалась союзом с басурманами, что, может быть, сам Бог указывает им этот союз, так как, соединившись с Турцией, они соединятся и с патриархами восточными, с источником их "благочестия"; он объяснил раде, что султан дает клятвенное обещание не вступать ничем в дела церкви; что этим союзом они поддержат и святейшего патриарха, и все христианские народы, находящиеся под властью султана.

— Правда, правда! Под турка! Когда святой владыка благословляет, так нечего уже говорить!
— закричали кругом голоса.

— И не рабами, не данниками принимает нас под свою владу султан, — продолжал Дорошенко, — а отдельным вольным княжеством, с обещанием вместе стоять против всех врагов. Много ли зависит татарский хан от султана? Он обязан только выступать, по требованию султана, в поход, а в правление его ни султан, ни слуги его не вмешиваются ничем. Такие же права обещает и нам великий падишах, и чем больше будут крепнуть наши силы, тем легче будет и эта связь. Как слабый человек берет на время палку, чтобы при помощи ее подвигаться вперед, так и мы, друзи мои, только на время идем под протекцию Турции, пока наши надорванные силы еще не окрепли, но всем сердцем и помышлением нашим не перестанем ни единой минуты думать о том, чтобы стать поскорее на свои ноги и не зависеть ни от кого. И клянусь вам, — настанет день, еще наши очи увидят его, когда Украина, при помощи турецкого союза, станет единой, неделимой и вольной навсегда! Целая буря восторженных возгласов покрыла слова Дорошенко.

— С тобою, с тобою, гетмане! Под турка! — крикнули старшины, обнажая сабли.

— С тобою, гетмане! С тобою Бог! — закричали и все приглашенные духовные особы,

подымаясь с мест.

Все зашумело, все слилось в одном общем восторженном порыве.

Как доскакала Марианна из Волчьих Байраков домой, она решительно не могла дать себе отчета.

Ей казалось, что и небо, и лес, и дорога — все слилось перед нею в какую-то серую беспросветную мглу; куда летел ее конь, она не видела, она не управляла им. Горькая, тяжелая обида жгла невыносимым огнем ее сердце.

— Неужели же Мазепа любит эту Галину? — повторяла она себе в сотый раз, до боли закусывая губы. — Неужели же он может ее любить? Разве в состоянии она разделить его думы, его чувства, разве может она понять его? Ха! Невинная, тихая и боязливая, словно беленькая овечка, она для того только и сотворена Богом, чтобы ворковать с милым в "вышневному садку"! Кажется, всякое малое дитя разумнее ее. Она ничего не знает, она ничем не интересуется, кроме него! Так разве может увлечь такого лыцаря такая простая дивчина? Правда, она хороша собой, но, — Марианна гордо выпрямилась в седле, — разве другие хуже ее? Правда, она любит его, она спасла ему жизнь, — а она, Марианна, разве не вырвала его из когтей смерти? Разве не рисковала сотни раз своей жизнью, своей честью для спасения его! Но что до этого вельможному пану Мазепе! — воскликнула она с горечью, но тут же мысли ее приняли другой оборот.

Нет, он отблагодарил ее, и как отблагодарил! Как был тронут ее подвигом, как обещал до самой смерти не забывать ее. Да... да, благодарил... был тронут... обещал не забывать до смерти, — но разве хоть раз, при виде ее глаза его загорелись тем счастьем, каким они вспыхнули при виде этой Галины, разве хоть раз говорил он с ней так любовно, так нежно, как с этой простой, глупой, неотесанной девушкой? Нет, нет, он любит ее, он любит, любит, — чуть не вскрикнула она и снова понеслась вихрем вперед. Теперь она уже не задавала себе напрасных вопросов, отчего это внимание Мазепы к Галине причиняет ей такую невыносимую боль. Она чувствовала, что любит Мазепу всем сердцем, так любит, как, кроме отчизны, не любила еще никого... И мысль, что она оставила его вдвоем с соперницей, что каждый шаг коня уносит ее все дальше от него, что теперь ей приходится возвратиться одной в свой угрюмый замок, когда та, другая, счастливая, любимая осталась с ним, — наполняла ее сердце невыносимой тоской.

Ее уже начинало брать сожаление о том, что она так скоро уехала и оставила Мазепу. Быть может, это ей только показалось, быть может, он вовсе и не думал любить эту простенькую девушку, быть может, он чувствует к ней только братскую привязанность и благодарность за оказанные заботы. На чем построено все ее подозрение? Только на неуловимых взорах, на недосказанных словах Мазепы... Ведь все это могло создать ее воображение. Сожаление, обида, досада закипели в ее сердце. Зачем она уехала так неожиданно, так скоро, зачем она оставила их вдвоем, зачем уступила без всякой борьбы место своей сопернице?

При этой мысли щеки Марианны покрылись густым румянцем, глаза гневно сверкнули из-под сжатых бровей, тонкий стан гордо выпрямился в седле. Откуда могли прийти ей в голову такие постыдные мысли? Как, она, Марианна, станет добиваться любви Мазепы, она станет спорить о ней с этой Галиной?! О, нет! Пусть ее сердце истлеет в груди, но она не унижится до этого никогда...

Если он любит ее, — он поймет причину ее внезапного отъезда и сумеет дать ей понять свою любовь, а если нет, так она сама вырвет из груди это низкое сердце, но не станет искать его любовь!

Заставив себя успокоиться на этой мысли, Марианна молча доехала домой.

Она решила ждать... Однако, прошел день, другой, третий, а Мазепа не присылал никакого известия. Сердце разрывалось в груди у Марианны, но, судя по ее внешнему виду, никто бы не мог догадаться о причине ее страданий. Она только стала еще замкнутее и молчаливее; лицо ее похудело и пожелтело, а темные глаза вспыхивали по временам каким-то острым, затаенным огнем. Только бедный Андрей и замечал, и понимал перемену, происшедшую в Марианне; всячески старался он показать гордой девушке свое сочувствие, свою любовь, но говорить с нею не решался.

Однако, хотя Мазепа не присылал о себе никаких известий, но известия о нем как-то сами собой долетали до угрюмого замка. Марианна узнала от прибежавших в замок крестьян из Волчьего Байрака, что Мазепа вместе с Сычом и Галиной и другими обитателями священнического дома переправился на тот берег. Это известие впилося в ее сердце, словно отравленная стрела. Марианна стала еще молчаливее, еще больше осунулась, казалось, она изнывала от невыносимой боли, но еще боролась с нею и не хотела поддаться ей. Несколько раз заговаривал Андрей с Марианной, но она каждый раз обрывала круто и резко всякий разговор.

Но через некоторое время гонец, прибывший с правого берега, сообщил Гострому о неожиданном мире Дорошенко с Собеским, заключенном вследствие набега Сирко, привез и более утешительные вести о Мазепе. Он привез Марианне поклон от него и сообщение о том, что Мазепа прибыл вполне благополучно в лагерь Дорошенко. Рассказывая о всех новостях Чигиринской жизни, гонец ни разу не упомянул о том, чтобы с Мазепой прибыл еще кто-нибудь, кроме взятого им с левого берега казака. Из этого Марианна заключила, что Галины не было с Мазепой, и на сердце ее стало легче. Она даже повеселела; снова в голове ее забродили утешительные мысли, в сердце проснулась надежда.

Надвигающиеся важные перевероты начинали опять увлекать ее. Угрюмый замок оживился, чаще и чаще начинали прибывать сюда гонцы с правого берега. Марианна знала решительно все, что делалось в Чигирине, и все эти известия все больше и больше успокаивали ее. Она узнала о том, что Мазепа получил чин генерального писаря, она узнала о приготавливающейся чигиринской раде, о предполагаемом союзе с Бруховецким, о турецком протекторате, и всюду, во всех этих мудрых начинаниях она видела инициативу Мазепы.

Прошло Рождество, прошел и день, на который назначена была рада в Чигирине, прошла еще неделя, другая.

С каждым днем ожидали в замке гонца с правой стороны, который привез бы им известия о том, на чем порешили собравшиеся в Чигирине старшины, — но гонца все не было. Нетерпение обитателей замка возрастало все больше и больше.

Однажды, пасмурным зимним утром, когда полковник и Марианна сидели в своем столовом покое, а Андрей отправился с командой разведать, не проезжал ли где гонец от гетмана Дорошенко, — у замковых ворот раздался протяжный звук трубы. Марианна с полковником переглянулись.

— От гетмана, — произнес Гострый, быстро поднимаясь с места.

Действительно, в комнату вошел казак и объявил, что прибыл гонец от гетмана Дорошенко и хочет видеть пана полковника.

Полковник приказал ввести гонца, и через несколько минут казак ввел в комнату красного от мороза и сияющего от удовольствия Остапа.

В новом костюме гетманского хорунжего трудно было узнать прежнего Остапа, но Марианна сразу заметила, что лицо казака было ей знакомо, что она его видела где-то.

— Славному пану полковнику и панне полковняковой ясновельможный гетман Дорошенко желает доброго здоровья! — произнес он, кланяясь полковнику и Марианне.

— Благодарим ясновельможного гетмана, — ответили разом и полковник, и Марианна, кланяясь гонцу.

— Ясновельможный гетман сообщает тебе, пане полковнику, что на раде в Чигирине соединились отныне на веки все три разорванные части Украины...

— Все три! — вскрикнули разом полковник и Марианна.

— Все три, — продолжал Остап. — Запорожцы с Сирко прислали просить гетмана Дорошенко, чтобы он принял их по-прежнему в свою ласку, что они желают быть под региментом его вельможности и вместе с ним отстоять матку отчизну от нападения врагов. Гетман Бруховецкий также прислал своих гонцов и объявил, что согласен отступить от Москвы и соединиться с гетманом в один неразрывный союз, и на той же раде все поклялись единодушно и свято, как душа с телом, до самой смерти хранить этот союз.

— О, Господи! — вскрикнула просиявшая Марианна. — Так, значит, есть надежда на спасение отчизны!

— Ге! Еще какая! — продолжал Остап и передал подробно, как на раде постановили все принять турецкий протекторат; он передал полковнику и о тех обширных правах, которые дает султан будущему Украинскому княжеству, и о том, что в самом непродолжительном времени Дорошенко со своими войсками и с запорожцами перейдет на правый берег.

Кроме этих известий, он сообщил полковнику, что так как гетман Бруховецкий уже соединился с Дорошенко и поклялся в вечной згоде, то гетман Дорошенко просит пана полковника верить приказаниям Бруховецкого и исполнять их, как бы это были и его слова; об этом гетман и сам пишет пану полковнику в письме, которое он прислал ему. С этими словами Остап передал полковнику запечатанный гетманской печатью пакет.

Остапа засыпали вопросами. На радостях полковник велел подать вина и меду, беседа начинала принимать все более оживленный характер, как вдруг у ворот раздался снова громкий звук трубы. Все изумились.

— Что это, кто бы это такой? — произнес в недоумении полковник.

— Неоткуда и некому, — повторила, также недоумевающая, Марианна.

Все с напряженным любопытством стали поджидать разъяснения этого неожиданного явления... Но вот снова вошел в комнату казак и объявил всем собравшимся, что к полковнику прибыл посол от гетмана Бруховецкого.

— От гетмана Бруховецкого?! — вскрикнул Гострый с таким изумлением, как будто услышал что-то невероятное, несообразное.

— От гетмана Бруховецкого? — повторила и Марианна, не доверяя своим ушам.

Несколько минут оба стояли в недоумении, наконец, полковник переспросил опять казака:

— Да ты не ошибся ли?

— Нет, пане полковнику, отчего бы мне ошибиться, — от гетмана Бруховецкого посол и с ним знатная ассистенция.

Прежде всего Гострый хотел совсем не впускать посла, но, вспомнив о том, что между Дорошенко и Бруховецким заключен мир, передумал и решился принять его. Почти вся команда Гострого находилась теперь в замке, да, кроме того, здесь же были прибывшие с Остапом казаки, так что опасаться какого-нибудь нападения со стороны прибывшего посла не было основания.

— Впусти посла со всею ассистенцией, — приказал он казаку, — и проводи его в мой покой!

— Отец, может, я пойду с тобой? — произнесла с некоторой тревогой Марианна.

Но Гострый остановил ее с улыбкой:

— Нет, доню, не тревожься, если что, так я и сам сумею оборонить себя... Только не думаю, чтобы они и помышляли что-либо подобное... Ведь нас здесь в замке больше.

— Да и не то время, пане полковнику! — вскрикнул Остап. — Теперь опасаться нечего. Бруховецкий побратался с гетманом и стоит со всеми нами за одно.

— Так, так, — улыбнулся старик, — пошел дьявол в монастырь "покутувать" грехи! Одначе ты, дочко, нагодуй тут пана хорунжего, я думаю, он "охляв" в дороге, и мы пойдем да послушаем, с чем это гетман Бруховецкий к нам присылается.

LXXVI

В покое своем Гострый уже застал посла Бруховецкого; это был Тамара, но полковник не знал его в лицо, а потому и не догадался, кто стоит перед ним.

— Преславному пану полковнику ясновельможный гетман Бруховецкий желает доброго здоровья, — поклонился Гострому Тамара.

— Благодарю за честь ясновельможного гетмана, — отвечал Гострый, — только если ты, пане носле, искал полковника, то ошибся, — здесь никакого полковника нет.

Тамара усмехнулся и продолжал со слащавой улыбкой:

— Преславный пане полковнику, тебе верно ведомо уже стало, что гетман наш и добродий Бруховецкий вступил в братский союз с Дорошенко и решил отделиться от Москвы. Теперь, когда настал "прыдатный" час, он решился восстать на оборону отчизны и сорвать с себя маску, которую должен был носить столько лет. Поэтому всех тех верных сынов и защитников отчизны, которые милы сердцу его вельможности, всех снова принимает ясновельможный гетман в свою ласку и просит тебя забыть все, что было, и принять опять эту полковничью булаву и регентство над переяславским полком.

С этими словами Тамара подал гострому великолепную полковническую булаву, осыпанную драгоценными камнями, но Гострый не взял ее.

— От щырого сердца, — отвечал он, кланяясь, — благодарю его вельможность, что снова принимает меня в свою ласку, оно хотя и позднечко, — усмехнулся он, — да говорят же разумные люди: лучше поздно, чем никогда; и за булаву — дякую его вельможности, только не могу принять ее: стар уже теперь стал, да и отвык за столько лет!

— Эх, пане полковнику, пане полковнику! Что там говорить о старости, таких, как ты, орлов нет и среди самых молодых на Украине! — воскликнул Тамара. — Вижу я, что ты гнев в своем сердце на его вельможность содержишь, — а когда бы ты знал, как сердце его болело, когда он должен был взять из твоих рук булаву, да передать ее в другие руки, — то не сокрушался бы теперь. Для спасения отчизны должен был гетман обманывать Москву. А ты так громко вопил против всех новых порядков, что московский отряд не хотел и слышать, чтобы ты полковником был.

— Что ж делать! Простите старого дурня, панове, — поклонился Гострый. — Виноват, каюсь, одну только "шкуру", которую мне Господь Бог дал, ношу, а другой не умею натянуть.

— Да теперь и не нужно! Цур им, надоелої — воскликнул шумно Тамара. — Теперь нам в приязни и любви друг к другу таиться нечего, потому-то и просит тебя гетман принять эту булаву.

Но как ни упрашивал Тамара Гострого принять булаву, старый полковник не соглашался. Это упорство весьма озадачило Тамару; и он, и Бруховецкий знали, какой популярностью пользовалось имя Гострого, и притянуть его на свою сторону было теперь весьма важно для Бруховецкого.

— Одначе, пане полковнику, — произнес он вслух, — неужели в эту счастливую минуту, когда вся Украина соединилась воедино и решила действовать как один человек, — только ты будешь противиться этой згоде? Нам ведомо, пане, что за тобой стоит немало людей, а если ты не захочешь соединиться с нами, то в войске произойдет немалый раскол, а где раскол и несогласие, там нечего ждать добра.

— Сохрани меня Бог от такого греха, — отвечал Гострый. — За "згоду" я сам иду, и если отчизне понадобятся на что мои старые силы, — все их отдам до последней. Этот ответ слегка успокоил Тамару.

— Ну, если ты уже так отказываешься от булавы, то гетман сумеет наградить тебя иначе, — продолжал он повеселевшим тоном, — теперь изволь выслушать то, на чем порешила у гетмана вся старшина, и отвечай, согласен ли и ты на то же решение.

— За награду пусть гетман не "турбуется" и держит ее для своих слуг, — отвечал гордо Гострый, — а то, что порешила вся украинская старшина, говори, — я противиться голосу рады не стану.

Тамара прикусил язык. Гордый и надменный тон полковника приводил его в бешенство, но делать было нечего, надо было терпеть, а потому он сделал над собою усилие и продолжал с любезной улыбкой разговор.

Он передал Гострому, что после Чигиринской рады у Бруховецкого собралась своя старшина для совещания, и на этой раде было постановлено всеми как можно поскорее оторваться от Москвы, но сделать это тайно, так чтобы ни московские воеводы, ни ратные люди не знали об

этом до последней минуты. Поэтому полковники решили разослать войску тайные универсалы, чтобы посполитые не платили больше московским воеводам никаких податей, а все, кто хочет, записывались бы поскорее в казаки.

А так как от Москвы надо оторваться одним взмахом, чтобы она уже узнала об этом тогда, когда войска Дорошенко и запорожцы, и турецкие подмоги — все будут на этом берегу, то гетман решил и старшина вся согласилась принять такой план действий. Тамара оглянулся кругом и, нагнувшись к самому уху Гострого, начал шептать тихо, но явственно:

— В ночь на Сретенье Господне переправится на нашу сторону со всеми войсками своими и запорожскими гетман Дорошенко, и эта ночь будет последней для всех москалей. И войска наши войдут заранее во все города, в которых сидят московские воеводы с ратными людьми, ровно в полночь зазвонит по всей Украине похоронный звон, казаки бросятся на москалей и перебьют всех до единого. Все жители, все бабы и дивчата приглашаются к тому же. Где бы ни был москаль в Украине, он должен погибнуть в ту ночь. Таким образом, никто из них не спасется, и до рассвета Украина будет уже свободна.

Гострый несколько отшатнулся от Тамары, — ему показалось, что это какой-то дьявол нашептывает ему на ухо ужасные слова.

— Как? На безоружных? Ночью? — произнес он с отвращением, останавливая на Тамаре недоверчивый взор.

— Тем лучше, тем лучше, пане полковнику! — захихикал Тамара, потирая руки. — Сонных-то безопаснее резать, да и не уйдет никто.

Гострому стало как-то гадко, хищная, а вместе с тем и трусливая физиономия Тамары производила на него крайне отталкивающее впечатление.

— Но ведь это не война, а бойня! — произнес он с отвращением.

— Пустое, пане полковнику! Так слушай: гетман и вся старшина поручают тебе, чтобы в ночь на Сретенье ты был со всеми своими казаками в Переяславе, там сильный замок и ратных людей будет до ста душ, может и больше; в Переяславе высадится Дорошенко, надо встретить его и перебить без "пощады" всех москалей, не миная ни баб их, ни детей. Согласен ли ты исполнить гетманскую волю?

Гострый бросил на Тамару быстрый, подозрительный взгляд; тайное сомнение зашевелилось в его душе: уж не думает ли Бруховецкий выпытать его и потом заслат в Москву? О, от него можно ожидать этого. Быть может, он нарочито разыграл всю эту комедию, чтобы испытать старшин заманить Дорошенко, а потом предать всех Москве? Но, между тем, посол Дорошенко сообщает, что гетман действительно вступил с Бруховецким в союз и решил оторваться от Москвы. Так что же делать? Согласиться на эту резню и тем, быть может, попасться на удочку Бруховецкого? Отказаться, послушаться гетмана и породить действительный раскол?

Старый полковник, задумался. Но вдруг он вспомнил, что в кармане у него лежит пакет с инструкциями гетмана Дорошенко, которых он еще не успел прочитать. Быть может, там он найдет какие-нибудь более точные указания.

— Прости меня, пане посол, — произнес он вдруг с любезной улыбкой, подымаясь с места, — сидим мы, сидим, а я и забыл тебе хоть кружку вина предложить; с дороги оно хорошо бывает, да за кружкой лучше и дело обсудить.

Тамара начал отказываться, но Гострый настоял на своем и поспешно вышел из покоя в сени, а оттуда и на двор...

Инструкции гетмана Дорошенко гласили, однако, что, ввиду состоявшегося соединения с Бруховецким, он просит Гострого повиноваться во всем Бруховецкому до тех пор, пока он, Дорошенко, не перейдет на левый берег, так что полковнику, волей-неволей, приходилось соглашаться на предложенную Бруховецким резню.

Между тем, Тамара, оставшись один, принялся обдумывать свое положение. Разговор с Гострым произвел на него крайне неблагоприятное впечатление. Тамара уже давно разузнал, что девушка, вырвавшаяся из его рук Мазепу, была дочерью Гострого. Хотя его и ограждало звание посла и то, что Бруховецкий теперь помирился с Дорошенко, однако он решился принять это опасное поручение гетмана только ввиду двух чрезвычайно важных для него обстоятельств. Уже давно Тамара начал сознавать, что положение Бруховецкого и, а следовательно и его, как самого близкого приспешника гетмана, становится весьма шатким. Соединение Бруховецкого с Дорошенко подало ему некоторую надежду на укрепление власти Бруховецкого. Чтобы прозондировать, изменилось ли отношение старшины к гетману после этого примирения, он и принял на себя это опасное поручение, но всюду ему приходилось убеждаться, что и старшины, и казаки едва сдерживали свою ненависть к Бруховецкому; то же самое встретил он и у Гострого. А Гострый пользовался громадной популярностью. Зная при том, что Мазепа добился такой высокой чести у Дорошенко и что он вместе с ним переправится в скором времени на левый берег, а переправившись, всенепременно постарается отыскать его, Тамара начинал уже не на шутку задумываться о своей судьбе.

Ненависть его к Мазепе, вследствие неудавшейся мести, усилилась еще больше. Предполагая, что дочь Гострого была, конечно, или невестой, или возлюбленной Мазепы, он прибыл сюда еще в надежде выведать здесь что-нибудь относительно Мазепы: подкупить кого-нибудь из слуг, устроить какую-нибудь западню или ему, или ей. Но, казалось, и это намерение Тамары должно было окончиться ничем.

В этом угрюмом замке не видно было ни болтливой смазливенькой служанки, ни пьяного слуги, словом, никого такого, у кого можно было бы выудить какую-нибудь важную новость. Лица встречавшихся во дворе казаков были так суровы и неприветливы, что нечего было и думать обращаться к ним с каким-нибудь подобным вопросом.

Покусывая с досады губы, Тамара шагал из угла в угол, как вдруг до его слуха явственно долетел звук двух голосов, разговаривавших где-то в третьей комнате. Тамара весь замер и насторожился. Действительно, говорили два голоса, и один из них был женский. Но что это? Почудилось ли ему, или это нечистый шутит над ним? Нет, ему явственно послышалось произнесенное женским голосом имя Мазепы.

Тамара весь вздрогнул, краска бросилась ему в лицо. Быстро оглянувшись кругом, он в два прыжка очутился подле двери, неслышно приотворил ее, и приложив ухо к образовавшейся скважине, замер на своем посту.

Пока Гострый совещался с Тамарой, Марианна велела подать Остапу кой-чего подкрепиться с дороги, а также приказала накормить и прибывших с ним казаков.

Перед Остапом появились полные всяких яств "полумиски" и фляжки с вином и наливками, — и проголодавшийся казак не заставил хозяйку утруждать себя усиленными приглашениями. Сидя против него, Марианна терпеливо ждала, пока казак утолит свой голод; ей хотелось расспросить его поподробнее о новостях чигиринской жизни и, главное, о самом Мазепе;

какое-то предчувствие говорило ей, что от Остапа она может узнать гораздо больше, чем от других... Его лицо было ей знакомо; ей помнилось, что она его видела где-то вместе с Мазепой.

— Слушай, пане хорунжий, — обратилась она к нему, когда ей уже показалось, что аппетит казака начал ослабевать. — Сдается мне, что я тебя видела когда-то.

— А как же, — отвечал Остап. — Ведь это я приезжал сюда к пану Мазепе из Волчьих Байраков.

— Из Волчьих Байраков, — повторила Марианна, и при одном воспоминании об этой деревне в сердце ее шевельнулось болезненное чувство, — помню, помню... Так это тебя я видела в доме отца Григория?

— Меня, — усмехнулся Остап.

— Зачем же ты приезжал сюда к Мазепе?

— Ге! Там штука одна такая вышла, что надо было приехать. — И Остап передал Марианне сцену в шинке, во время которой он познакомился с Мазепой, и после которой Мазепа пригласил его в надворную команду Дорошенко. Он рассказал ей, как они беспокоились, не зная, куда скрылся Мазепа, и как вследствие этого он решился поехать к полковнику разузнать что-нибудь о Мазепе. Да тут как раз и нашел его и с тех пор не расставался с ним. — А вот теперь, — закончил он свой рассказ, — дай Боже ему век "довгый", наставил он меня хорунжим в надворной гетманской команде, а когда бы не его милость, так пропал бы, ей-Богу, ни за понюх табаку. У Марианны слегка отлегло от сердца.

— Так, значит, и ты там в замке живешь?

— Там же.

— Ну, так расскажи же, как поживает пан Мазепа и что там творится у вас в Чигирине?

Остап начал передавать Марианне с увлечением о том, какое значение приобрел теперь в Чигирине Мазепа, как его любят и почитают все, как с ним советуется вся старшина и даже сам гетман. В своих похвалах Мазепе благодарный Остап не жалел слов, но собеседнице его они не показались преувеличенными.

— Все, что ни делается в Чигирине, — воскликнул, наконец, с увлечением, Остап, — все от него исходит.

— Так это он и тебя сюда прислал? — произнесла живо Марианна.

— И он, и не он, — ответил Остап, — видишь ли, гетман хотел послать другого, а Мазепа предложил, чтобы меня отправили, так как мне все одно надо теперь еще дальше ехать. Сердце Марианны болезненно стукнуло.

— Куда? — спросила она, стараясь придать своему голосу вполне равнодушный тон.

— Да на хутор, к Сычу.

— На хутор?.. К Сычу?..

— Ну да, в дикие поля... К Сычу, к тому самому старому запорожцу, что у отца Григория с внучкой Галиной гостил. Марианна заметно побледнела.

— Так это он, Мазепа, тебя туда посылает? — произнесла она каким-то неверным голосом.

— Опять и он, и не он, — отвечал с улыбкой Остап, — есть у меня и свое дело, а есть поручение и от пана Мазепы.

И Остап передал Марианне, что он едет за Орысей, которая гостит теперь с отцом у Сыча, так как теперь, благодаря ласке пана Мазепы, он может "взяты з нею шлюб".

Но Марианна не слышала рассказа Остапа...

— А он же, Мазепа, зачем посылает тебя туда? — произнесла она с трудом.

— Зачем? А затем, чтобы первым делом отвезти от него поклон Галине, да рассказать, как он живет в Чигирине, чтобы она не скучала, поджидая его, да отвезти ей разные "дарунки"...

— Дарунки?

— Ого, да еще какие! Чего только он ни купил ей! Господи! Я думаю, она за всю свою жизнь таких подарков не видала!

И Остап начал перечислять с восторгом все подарки, которые пересылал через него Галине Мазепа.

— Да еще и перстень посылает ей диамантовый, его и в сто червонцев "не убереш"! — воскликнул с оживлением Остап, — да велел еще мне передать ей на словах, чтобы носила пока этот, а что скоро он переменит его на гладенький обручик. Марианна побледнела.

LXXVII

— Пан Мазепа думает жениться! — продолжал рассказывать Остап, не замечая, какое ужасное впечатление производят его слова на Марианну. — Мы было подумали прежде с Орысей, уж не дурит ли вельможный пан бедную дивчину? Только нет, о пане Мазепе и злейший враг не скажет того! Уж сколько на него там в Чигирине засматривается и пань и вельможных панн, думаю, не одна бы с дорогой душой пошла бы с ним под венец. Так нет! Куда там! И не смотрит ни на кого. Уж так любит ее, так любит ее, как мать малую дытыну! Он и к матке своей за благословением посылал, — и та его благословила. Так вот он обо всем этом и письмо написал, а на случай, если не случится кого, чтобы смог письмо это перечесть, — он велел мне все на словах пересказать, чтобы дожидали его, и как только, мол, покончится вся "военная справа", так он сейчас к ним на хутор приедет, заберет всех с собою в Чигирин, да там и свадьбу справит.

Каждое слово Остапа впивалось в сердце Марианны острой стрелой. Молча, с окаменевшим от муки лицом, с остановившимся взором слушала она его. А Остап, увлекаясь, расписывал Марианне, как любит Галина Мазепу, и как Мазепа любит ее.

Наконец он спохватился, заметив, что время, по-видимому, перевалило уже далеко за полдень, и начал прощаться.

Марианна не удерживала его... Она задыхалась в этой комнате, она чувствовала, что теряет над собою власть. Она ощущала всем своим сердцем только одно желание: уйти, уйти от людей!

Быстро вышла она из светлицы и, не отдавая себе отчета, куда идет, повернула за дом.

Холодный ветер рванулся ей навстречу и распахнул ее "байбарак", но она не заметила этого. Она шла так порывисто, так быстро, словно по пятам ее гналась какая-то смертельная опасность, словно это быстрое движение могло заглушить сжавшую ее сердце невыносимую боль! При виде Марианны два любимых пса ее бросились к ней навстречу с радостным приветственным лаем, но Марианна не заметила их... Только взойдя на высокую башню, с которой она когда-то любовалась вместе с Мазепой расстилавшимся вокруг замка видом, — она остановилась и перевела дыхание.

Грудь ее высоко подымалась... Отчаяние, обида, ненависть душили ее. Сердце ее разрывалось в груди.

Порывистым движением распахнула она свой "байбарак": холодный ветер пахнул ей в открытую грудь ледяным дыханием, и это дыхание привело ее в себя.

— Что делать? Что делать? — повторяла она и сжала себе до боли виски. И вдруг лицо ее исказилось какой-то ужасной улыбкой. — Отомстить? Да, да! — зашептала она с бешенством... — отомстить, отомстить ему и ей... всем, всем отомстить! Но как? Чем?.. Убить?.. Но разве это сможет вырвать ее из его сердца! Ха-ха-ха! Ничто! Ничто! Ничто не вырвет ее! — вскрикнула она и с глухим невыразимым стоном припала головой к холодному дулу пушки. Несколько минут стояла она так с искаженным невыносимым страданием лицом, но вот губы ее опять зашептали порывисто, беззвучно, безумно. — Что же делать?.. Что делать... Ох, нет сил стерпеть этой муки! Вырвать его из памяти! Забыть! Забыть! Задавить это сердце! Растоптать его в груди! — шептала она с искаженным безумным лицом, судорожно впиваясь в грудь руками.

Но сердце не слушало Марианны! Оно стонало, оно извивалось от боли.

Время шло. Спускались сумерки, холодный ветер гнал низко над землей тяжелые серые тучи.

Несколько раз принимался любимый пес Марианны лизать ее руку, но Марианна не замечала ничего. Она не слыхала, как выехал с замкового двора Остап, а вслед за ним и Тамара.

Грудь ее высоко подымалась, вокруг сухих сжатых губ легли складки невыносимого страдания. Как мраморная статуя, с застывшим от муки лицом, стояла она неподвижно, устремив куда-то вдаль свой острый, воспаленный взор. Холодный ветер развеивал ее черные косы, врвался под распахнутый "байбарак", обдавал ее своим ледяным дыханием.

Но Марианна не слыхала и не замечала ничего.

Но вот на лестнице, ведущей на башню, послышались чьи-то поспешные шаги, и на площадке показался Андрей.

— Ты здесь, Марианна? — вскрикнул он с облегченным вздохом. — А я уже в себе души не чувял. Тамара был здесь.

Звук его голоса заставил Марианну выйти из оцепенения, она вздрогнула всем телом.

— А, что, Тамара? — произнесла она с трудом и, обернув к Андрею свое измученное лицо, прибавила, словно не понимая, кто говорит с ней: — Это ты, ты, Андрей?

При звуке этого разбитого голоса, при виде искаженного мукой лица Марианны все стало понятно Андрею: по дороге он встретил Остапа и теперь ему нетрудно было догадаться, какие вести могли привести в такое состояние Марианну.

— Марианна, сестра моя, родная моя! Что с тобою? — вскрикнул он с ужасом и бросился к Марианне.

Марианна отступила; лицо ее приняло опять гордое, замкнутое выражение, темные брови нахмурились.

— Ничего. Зачем пришел ты сюда? — ответила она сурово.

Но Андрей не обратил внимания на ее слова; страдания дорогой, бесконечно любимой им девушки так сильно потрясли его, что даже чувство ревности к тому сопернику, из-за которого страдала она, не пробудилось в его сердце.

— А! Зачем ты говоришь так со мною, Марианна, зачем ты отталкиваешь меня! — заговорил он горячо, сжимая ее холодные, ледяные руки. — Я знаю, что не мне принадлежит теперь твое сердце, но ничего мне от тебя не надо, сестра моя родная! Ничего я не требую, ни за что не упрекаю! Дозволь только мне тосковать вместе с тобою! Ты знаешь, что с самых детских лет одна ты панувала в моем сердце...

Резким, порывистым движением Марианна отпрянула от Андрея.

— Меня, меня любишь! Ха-ха-ха! — разразилась она злобным смехом и заговорила быстро, задыхаясь: — Оставь! Ищи себе другую! Меня нельзя любить!.. Ха-ха! За что любить меня? Язык мой груб! Я не умею ворковать и шептать нежных слов. Я не умею смотреть безмолвно в глаза и таять, и замирать... Я не умею льнуть к "коханцю", как испуганная птичка, и искать под крылом его защиты! Ха-ха! Ищи себе голубку, горлинку, чтобы умела ворковать с тобой в вишневом садку!

— Не нужно мне горлинок, Марианна, счастье, радость моя, ты моя орлица, ты моя королева!

— Ха-ха! Орлица! — вскрикнула со страстной горечью Марианна. — Орлицам гнезд не вить — голубкам счастье!

— Нет, и орлицам счастье, и большее счастье, Марианна, — заговорил с восторгом Андрей, сжимая ее руки в своих руках, — то панское сердце ищет голубок, чтобы ворковать с ними в вишневых садках, а казаку ты милее всех?.. Нет ни одного казака во всей Украине, который не счел бы за наивысшее счастье назвать тебя "дружиною" своей! Орлица моя, королева моя! Нет тебе равной во всей Украине! За одно слово твое жизнь свою положу. Но не мужем твоим хочу быть, Марианна, не мужем, а другом, братом! Дозволь мне только идти всегда "поруч" с тобою, дозволь только думать, что не чужой я тебе!

Горячие слова Андрея, полные глубокой, сильной любви, казалось, пробили ледяную кору в сердце Марианны. Гордость еще не позволяла ей показать своего страданья, но измученное сердце невольно рвалось навстречу любящим, ласковым словам.

Глубокий, тяжелый вздох вырвался из ее груди,

— Если ты меня любишь, друже мой, то не будет тебе счастья, — произнесла она мягким, дрогнувшим голосом. — Чего ты ждешь от этого "розрубаного" сердца?

— Оно успокоится, Марианна, оно успокоится! — вскрикнул горячо Андрей, — есть у нас бесталанная мать, Марианна, а мы ее верные, родные дети, она нас согреет и приласкает, а мы будем жить для нее!

Марианна сжала его руку.

— Ты прав, Андрей! — произнесла она, гордо выпрямившись, — она нас согреет и мы будем жить для нее.

А на занесенном снегом хуторке никто и не знал о тех кровавых событиях, которые приготавливались на Украине.

Там царило тихое счастье. Никто не приезжал туда, и никакая весть из населенного мира не долетала через необозримую снежную степь. Каждый вечер старики, запаливши свои люльки, начинали толковать о том, что-то теперь происходит на Украине, удалось ли гетману Дорошенко разбить ляхов и соединить под своей булавой обе стороны Днепра, но представления их были далеки от действительности.

Баба и работники, утомленные дневными занятиями, укладывались спать, а девушки, притаившись где-нибудь подле "каганця" с прялками или шитьем, принимались вести между собой тихий, таинственный разговор. Но события, происходящие на Украине, не интересовали их, они были так счастливы ожиданием своего приближающегося счастья, что кроме него не интересовались решительно ничем.

Им было даже приятно это одиночество. В эти долгие зимние вечера, когда на дворе трещал мороз, или свирепела "завирюха", так хорошо было, прижавшись друг к другу, вести нескончаемый разговор, переноситься мыслью в вышний Чигирин, вспоминать с тихой улыбкой пережитые муки и мечтать о будущей счастливой жизни. Каждая мелочь, пережитая с дорогими людьми, принимала теперь в их глазах необычайное значение. Сколько раз передавала Галина Орысе свой самый ничтожный разговор с Мазепой... Сколько раз рассказывала она ей о той тоске, которая охватила ее с того момента, когда уехал Мазепа, но теперь уже и эти печальные воспоминания не наводили на нее грусти, — они были ей дороги и милы.

Словно нежное розовое сияние, разливающееся по ясному небу перед восходом солнца, разливалась в душе Галины тихая радость в ожидании наступающего счастья. Она ожидала Мазепу; она знала, что после тех страшных, тревожных событий, которые, как дикий прибой волн, перекажутся по всей Украине, — он приедет за нею.

Прилетели на хутор на пушистых снежных крыльях "риздвяни святки". Тихо прошли они в этом тесном кружке отделенных от шумного мира людей. Орыся и Галина гадали, и все гаданья предвещали им такую светлую, счастливую судьбу. В ночь под Крещение, когда баба подставила им под изголовье миски с перекинутыми через них щепочками, им обоим приснились их "коханци", ведущие их через мост; из воску вылилась церковь и какой-то неопределенный кусочек, который, по уверениям Орыси, должен был изображать непременно "дытынку". И каждое это гаданье сопровождалось таким веселым звонким смехом, что, слушая его, даже старикам становилось веселее... Так пролетели святки, так пронеслось еще немало времени... Дни и недели терялись в этой снежной равнине, но девчата с удовольствием провожали их, так как каждое новое утро приближало их к свиданию с дорогими людьми.

Однажды вечером, когда обитатели хуторка только что собрались сесть за вечерю, у ворот раздался громкий стук и топот лошадей. Все переглянулись и побледнели. Стук раздался снова, еще громче и еще настойчивее.

— Кто бы это был? — произнес с тревогой в голосе Сыч, набрасывая на плечи "свыту" и снимая

со стены "рушницу".

— А вот посмотрим! — отвечал не совсем спокойно и о.Григорий, следуя его примеру, — гей, хлопцы! Засветите-ка фонарь.

Молча исполнили работники его приказание и, захвативши с собой висевшее на стенах оружие, все вышли на двор. Перепуганная насмерть баба зашептала дрожащими губами обрывки каких-то оставшихся в ее памяти молитв.

Только обе девушки не обнаружили никакого проявления испуга; этот стук пробудил в их душе сладкую надежду; с загоревшимися глазами, затаив дыхание, жадно ловили они всякий звук, долетавший со двора.

Вот у ворот слышались какие-то оклики, какой-то разговор... Затем тяжелый грохот отодвигающихся засовов и топот въезжавших во двор лошадей. Сердце девчат забилося мучительно часто. Они сжали друг друга за руки и замерли у дверей "пекарни". Но вот у входа слышались тяжелые шаги и двери сеней с шумом распахнулись... Сердце Орыси екнуло, дрожащею рукой приотворяла она двери.

— Остап! — вырвался у нее восторженный задавленный крик и, захлопнув дверь, она бросилась на шею Галине.

Не слышали ль старики этого задыхающегося от счастья возгласа, или сделали вид, что не слышали его, только они не захотели обратить на него внимания.

Но Остап слышал его; он видел это милое, сияющее от счастья лицо, мелькнувшее из-за открывшихся дверей, и ему неудержимо захотелось броситься тут же, сейчас, при всех, к своей дорогой девчине, сжать ее в объятиях и осыпать горячими поцелуями это дорогое лицо. Но сделать это не было никакой возможности. Сыч и о.Григорий распахнули перед ним двери налево и пригласили его войти за ними.

Едва успел Остап раздеться и стряхнуть с себя снег, как его засыпали вопросами. Он должен был передать все происшедшие за это время политические новости. Изумлению и расспросам стариков не было границ. Наконец, после того как самые первые вопросы были удовлетворены, Сыч крикнул бабу и велел подавать сюда, в чистую хату, вечерю.

С опущенными глазами, держа в руках полную миску горячих галушек, вошла вслед за бабой и Галиной Орыся и, глянув на Остапа, едва не выронила миску из рук и не обварила всех сидевших за столом кипятком.

— Тише, тише, дивчина, что это у тебя: с морозу, что ли, руки так трясутся? — произнес с ласковой улыбкой Сыч, следуя за сияющей от радости девушкой.

Этот вопрос привел в еще большее смущение Орысю, она глянула еще раз из-под черных ресниц, мельком, на одно только мгновение на Остапа и покраснела вся, как пион. Боже! Каким же он показался ей теперь красивым, статным, пышным.

Выскочив в пекарню, Орыся обвила руками шею Галины и принялась снова осыпать ее горячими поцелуями, перемешивая их с какими-то нераздельными счастливыми возгласами.

Галина также радовалась счастью подруги, да и, кроме того, что-то шептало ей в сердце, что этот приезд Остапа привез с собой радость и для нее.

За ужином Остап должен был рассказать всем снова и о политических событиях, и о чигиринской жизни. Во время этого рассказа он не раз бросал в сторону стоявшей поодаль Орыси такие счастливые и горячие взгляды, что видно было, что он сгорает от нетерпения передать кое-что еще и этой девчине, но передать так, чтобы никто не подслушал его важных вестей. Однако ни Сыч, ни о.Григорий, по-видимому, не принимали в расчет желаний Остапа, так как расспросам их, казалось, не предвиделось конца. Между прочим, Остап сообщил им, что, по ходатайству Мазепы, его назначили хорунжим гетманской надворной команды, а от этого заявления он перешел к восхвалению Мазепы. Слушателям было передано все, — и о повышении Мазепы, которым гетман наградил его за необычайные заслуги, и о постепенном возрастании его влияния в Чигирине. Затем Остап передал им, что Мазепа прислал через него всем гостинцы и поклоны, что теперь сам он не может приехать и потому послал за себя его, Остапа, чтобы он рассказал всем о его житье-бытье и сообщил, что, как только окончится великое "еднання отчизны", он, Мазепа, сейчас приедет к ним на хутор.

За каждым словом Остапа растроганный Сыч кивал седой головой и повторял неверным голосом:

— Спасибо! Спасибо! Дай ему Бог здоровья... и всего такого... за добрую память!

А Галина, прижавшись к Орысе, ловила каждое слово, не отрывая от Остапа настороженных глаз, когда же Остап сказал, что Мазепа обещает непременно приехать к ним, — она забыла все и, восторженно всплеснув руками, с громким криком:

— Приедет, приедет? Ты не обманываешь меня? — бросилась к Остапу.

— Приедет, приедет! — отвечал с улыбкой Остап, любясь прелестным личиком девушки. — А тебе, пане добродию, — прибавил он, обращаясь к Сычу, — пересылает пан генеральный писарь еще этот лыст!

С этими словами Остап передал Сычу письмо Мазепы. При слове "лыст" лицо Сыча приняло какое-то важное, сосредоточенное выражение.

— Лыст? Гм! — произнес он озабоченно и, перевернув его в руках, посмотрел вопросительно на о.Григория.

Лицо последнего смотрело также сосредоточенно и необычайно серьезно.

С минуту все молчали.

— Ну, бабо, ты проводи с хлопцами на сеновал казаков, да устройте их там получше, — произнес Сыч, — а вы, дивчата, возьмите хорунжего в пекарню, пусть обогреется возле печи. а мы тем часом прочтем здесь с панотцом письмо.

Баба с работниками и с прибывшими с Остапом казаками вышла на двор, а девчата с Остапом — в пекарню.

LXXVIII

Орыся, остановившись в сенях, припала к груди Остапа, обвила его шею руками и горячо прижалась к нему.

Долго стояли они так в сенях, не замечая ни холода, ни мороза, долго осыпал ее Остап горячими поцелуями, долго шептал ей нежные, несвязные слова, — наконец Орыся

опомнилась первая.

— Стой, годи! — произнесла она, кокетливо отстраняя головку и пробуя высвободиться из объятий Остапа, — идем в хату!

— Поспеем еще, голубка! "Занудывся" ведь за тобой — смерть! — прошептал горячо Остап.

— Так и поверила сразу! Мало ли в Чигирине краль и красунь! Думаю, и очи послепли, смотрячи на них.

— Послепли, правда, да только не через них.

— А через кого ж?

— Сама знаешь!

— Как же! Как же!

— Не веришь! Да ведь тебя только одну люблю, сердце мое, голубка моя! Теперь уж мы с тобою не расстанемся, теперь уже я поеду с моей жиночкой молодою в Чигирин.

— "Не дуже хапайся"! Еще батько не отдаст.

— Отдаст, отдаст! Ему и пан Мазепа о том пишет. Теперь уже ты моя, моя навеки! — И Остап еще крепче прижал к себе Орысю.

От этих слов, от этого горячего, объятия сердце Орыси забилось быстро-быстро, к щекам прилила горячая волна крови.

— Пусти, задушишь, ей-Богу! — произнесла она смущенно, отстраняя Остапа.

— Не пущу, зирочка моя ясная, квиточка моя, счастье мое! — шептал Остап, прижимая ее еще крепче, еще горячее.

— Закричу, ей-Богу!

— Не закричишь! — и, привлеки к себе ее головку, Остап зажал ей рот горячим поцелуем.

Когда Остап с Орысей вошли в пекарню, где их терпеливо поджидала Галина, — щеки Орыси горели ярким румянцем, а глаза сверкали тем молодым счастьем, которое блещет ярче самых дорогих бриллиантов.

— Ну, дивчино, — обратился Остап к Галине, — "переказував" тебе пан Мазепа, чтобы ты не журилась без него, а поджидала бы его к себе в гости. Уж он так скучает по тебе, что и Господи! Когда бы не "справы", так ветром бы прилетел сюда!

— О, Господи! — воскликнула Галина, и по лицу ее разлился нежный розовый румянец. — Правда? Правда, ты не обманываешь меня?

— Ну, да и чудная ж ты, дивчино, — усмехнулся Остап, — и с чего бы это я выдумал обманывать тебя? Еще наказывал он мне пересказать тебе все про него, чтобы ты знала, как он живет в Чигирине, и "дарунки" прислал тебе "розмайти", чтоб ты не скучала, дожидаячи его.

— "Дарунки"! — вскрикнула совсем по-детски Галина.

— Еще и какие, вот увидишь! Да и тебе, Орысю, есть значный "дарунок", — подмигнул лукаво Орысе бровью Остап и вышел из хаты. Через несколько минут он возвратился назад с большими свертками, которые положил на лаву. Девушки обступили его.

— Стойте, стойте! Не так "швыдко", — смеялся Остап, делая вид, что не может никакой образом развязать тюки. Орыся с помощью Галины бросилась отталкивать его, стараясь вырвать из его рук свертки, но Остап не отдавал их. Звонкий молодой смех оглашал хату.

Наконец "пакунки" были развязаны и раскрыты перед восхищенными глазами девушек; как ловкий коробейник, начал Остап вынимать один за другим прелестные подарки, предназначавшиеся для Галины: альтамбасы, оксамиты, ленты, шитые золотом черевички, дорогие монисты, а также и "дарунки", которые он привез для Орыси.

Свои подарки Орыся принимала более спокойно, бросая только на Остапа счастливый благодарный взгляд, но Галина за каждой вещью вскрикивала с таким детским восторгом:

"Ой, лелечки, ой Боженьку!" — что нельзя было не залюбоваться ее сияющим личиком. Когда же Остап достал хорошенькое зеркало, и Галина увидела в нем свое отражение, то восторгу ее не было границ: она рассматривала в него и себя, и потолок, и Орысю, и Остапа, и всю хату и не могла натешиться невиданным ею никогда предметом.

Наконец Остап достал еще маленький ящичек и, вынув из него великолепный золотой перстень, украшенный крупным бриллиантом, подал его Галине.

— И это мне? — воскликнула Галина, даже отступая от Остапа.

— Тебе, тебе, — ответил Остап, надевая ей на палец кольцо.

— Ой, Господи! Да какое ж оно красивое, да как блестит, да как играет! — приговаривала в восторге Галина, любуясь кольцом и поворачивая его перед светом. — Орыся, Орыся, глянь! Даже смотреть страшно: ей-ей, слепит глаза!

Кольцо было действительно красиво: оно представляло из себя толстую золотую змею с бриллиантовой головкой.

— Да еще велел переказать тебе пан Мазепа, — продолжал с улыбкой Остап, — чтобы ты носила пока этот перстень, а что скоро он переменит его на гладенький.

— На гладенький? — повторила, недоумевающая, Галина. — Зачем? .

— Ах ты, дытына моя глупенькая! — воскликнула весело Орыся, обнимая ее, — на такой, какой батюшка в церкви дает, когда навсегда руки с коханым связывает.

Галина не покраснела от этих слов, только личико ее все просияло от счастья.

— И тебе, Орысю, прислал пан Мазепа "даруночок", — продолжал Остап и, вынув из свертка роскошный, расшитый золотом красный "оксамытный кораблык", поднес его Орысе. Орыся вся вспыхнула и от радости, и от смущения.

— Надень, Орысю, дай я посмотрю, какая из тебя будет молодычка! — произнес с улыбкой Остап.

— Вот еще что выдумал, "божевильный", — отстранила его руку Орыся, — будет час, тогда и надену.

— Тогда своим чередом, а ты сейчас, сейчас надень, голубко! — настаивал Остап.

— Да годи! Что выдумал! Войдут — увидят, смеяться начнут!

— Никто не увидит: надень! А если не хочешь, так я и сам на тебя надену.

Орыся попробовала было сопротивляться, но так слабо, что через минуту оксамытный кораблик уже покрывал ее черноволосую головку. Но непривычный женский убор заставил ее невольно смутиться, она вспыхнула вся и потупила глаза.

— Ах, какая ты "гарна", Орыся! — вскрикнула Галина.

И действительно, темно-пунцовый бархатный кораблик удивительно шел к смуглому, раскрасневшемуся лицу Орыси.

— Ну, да и славная же у меня будет жиночка! — вырвалось невольно у Остапа и, забывая о присутствии Галины, он заключил Орысю в объятия и звонко поцеловал ее в самые губы.

Увлеченные своей беседой, молодые люди и не слышали, как двери в сени скрипнули, и в ту минуту, когда восторженный Остап обнял Орысю, двери в пекарню распахнулись и на пороге появились о. Григорий и Сыч, а за ними баба.

Неожиданное зрелище поразило их до такой степени, что они остановились у порога, но и неожиданное появление стариков смутило в свою очередь молодежь: как ужаленный, отскочил Остап от Орыси, а Орыся до того растерялась, что даже не успела снять с себя кораблик, да так и осталась с покрытой головой.

С минуту все молчали.

— Эге! Да ты, казаче, как я вижу, здорово целоваться умеешь! — произнес, наконец, с ласковой угрозой в голосе о.Григорий.

— Даже оскомину другим набиваешь, — добавил Сыч.

— Простите, панотче! — потупился Остап и, взявши Орысю за руку, произнес решительно: — Отдайте уже мне ее, панотец, коли ласка ваша, навеки!

— Да что с тобой поделаешь? — вздохнул о.Григорий, — коли уж и кораблик примеряешь, значит налагодывся" совсем.

При упоминании о "кораблыку" Орыся совершенно смешалась, а о.Григорий продолжал дальше.

— Только я неволить дочки своей не буду: она у меня одна, спроси ее, если она согласна, то бери ее совсем.

— Ну что же, Орысю, скажи при всех, пойдешь ли за меня, или может ты другого кого нашла? — обратился к ней сиявший от счастья Остап.

Но Орыся ничего не ответила Остапу и только бросилась целовать отца.

Все окружили счастливую пару; все спешили поздравить и расцеловать их.

Когда, наконец, первая радость и восторг улеглись, Сыч обратился к Галине.

— Слушай, Галина, пишет ко мне пан Мазепа, что сватает тебя за себя, и если будет на то моя згода, то хочет взять он с тобою "чесный шлюб". Скажи же мне по правде, дытыно моя любая, мил ли он тебе?.. Потому что... если... ты у меня одна, сиротка моя коханая... и я ни за кого... ни за самого гетмана... "сылувать"...

Как ни старался Сыч придать своему голосу подобающий торжественной минуте важный и серьезный тон, но голос его задрожал, а ресницы усиленно захлопали.

— Господи, Боже мой! Царица небесная! — вскрикнула баба, всплеснувши от восторга руками, — вот так счастье посылает Господь! За душеньку ее ангельскую "зглянулась" Матерь небесная! А он еще, старый, спрашивает: мил ли, мил ли?! Где уж там не мил! Да ведь такого жениха и в городе ни одна панна не отыскала бы! Господи, и богатый, и вельможный, и "гарный", а уж любит, так любит!.. Иди ж ко мне, дытыно моя, дай, хоть расцелую я тебя! — И растроганная старуха вдруг разразилась слезами.

Все с радостными лицами смотрели на Галину, но Галина стояла молча, не двигаясь с места: вся эта сцена и всеобщее внимание, устремленное на нее, и слова Сыча совершенно ошеломили ее; она мало еще сознавала, что принесет ей эта новая перемена ее жизни, но чувствовала, что тот старый мир, с которым она свыклась, который был дорог ей, рушится от одного этого слова навсегда. Слезы бабы и смущенный вид деда окончательно расстроили ее... Ей вдруг стало невыносимо грустно и с громким криком: "Никогда, никогда не кину вас, диду!" — она бросилась, рыдая, на шею старику.

Через неделю Остап, Орыся и о.Григорий поехали из хутора в Волчы Байраки.

При прощании всем стало как-то грустно. Прожитое на хуторе в тесном семейном кружке время сблизило всех еще больше, всем чувствовалось, что вряд ли придется еще раз в жизни провести вместе столько тихих счастливых дней.

Решено было венчать Остапа и Орысю сейчас же по приезде в Волчы Байраки, так как молодому хорунжему надо было спешить в Чигирин.

Нежно простились подруги и даже всплакнули при прощании. Орыся уехала, а Галина осталась на хуторе поджидать свое близкое счастье.

LXXIX

Между тем, предательский замысел Бруховецкого готовился к исполнению. Бруховецкий, в сущности, не любил никого, — ни Москвы, ни Украины, он ежеминутно готов был предать их одну другой, и вопрос для него состоял только в том, что будет выгоднее. Он любил только себя. Если он угождал Москве, то делал это только для того, чтобы приобрести ее доверие, укрепиться на всю жизнь на гетманстве и таким образом получить возможность удовлетворять безнаказанно свою ненасытную алчность и злобу. Когда же он увидел, что, благодаря его политике, ненависть к нему, как к причине всех бедствий, все больше и больше распространяется в народе, а симпатии народные обращаются к Дорошенко, обещавшему вернуть народу все его былые привилегии, — он решил переменить политику и, чтобы спасти себя и оправдаться в глазах народных, — прикинуться также противником Москвы и свернуть на нее причину всех происшедших в отечестве перемен.

Он начал возбуждать всюду полковников, старшину и народ против московской власти, к действительности он присоединял еще всевозможную чудовищную ложь, а напуганное народное воображение верило ему.

Не только Украину старался возмутить Бруховецкий, но он отправил послов и к донским казакам, приглашая их к восстанию и уверяя, что Москва приняла латинскую ересь и хочет всех своих подданных обратить в латинство.

План задуманного им освобождения быстро распространился по всей Левобережной Украине. Сбитый с толку народ в своей слепой ярости не мог разбирать — кто был первой причиной всех этих нежелательных перемен и готов был обрушиться своею мстостью на ни в чем не повинных воевод и ратных людей.

Полковники разослали всюду свои универсалы и всюду закипели приготовления к ужасной ночи. Крестьяне перестали платить подати и начали повсеместно записываться в казаки. Бабы и девчата все знали об этом замысле, но всякий хранил страшную тайну.

Воеводы начали замечать какое-то странное брожение в народе; увеличение казацких войск начало также беспокоить их; несколько раз обращались они за разъяснением к Бруховецкому, но гетман давал самые уклончивые ответы. Наконец, когда в город начали вступать казацкие войска, воевода гадячский Евсей Огарев обратился с вопросом к Бруховецкому, что означают все эти волнения в народе, это увеличение казацких войск и стягивание военных сил в города?

Бруховецкий ответил ему, что под Черным лесом собралась громадная татарская орда, против которой и надо выступить с войсками, и что он уже отписал об этом на Москву. Хотя объяснение это и не удовлетворило Огарева, но узнать истину было решительно невозможно. Однако, как ни старались на Украине скрыть от воевод все происходившее кругом, — один из полковников все-таки проговорился.

Огарев узнал о приготовляющемся восстании и поторопился послать в Москву посла. Один из ратных людей переоделся нищим, засунул письмо Огарева в свой посох и отправился в дорогу.

В Москве известие о приготовляющемся восстании на Украине произвело большой переполох.

Были приняты меры, но слишком поздно, когда уже все было готово к восстанию, Бруховецкий успел поддаться Турции.

Наступил, наконец, и день Сретения Господня.

Все были готовы... ждали ночи... Но вот угаснул короткий зимний день. Холодное солнце скрылось за тучу, медленно подымавшуюся из-за горизонта, и залило кровавым заревом весь небосклон.

Черная ночь широко разбросала свои крылья над всей Украиной, прикрыла она темным пологом присыпанные снегом деревни и города, но не принесла с собой сна и покоя.

Давно уже прозвонили на ратуше на тушение огня, давно уже погасли во всех окнах домиков Переяслава красноватые огоньки. Все погрузилось в безмолвие и тьму, а между тем на дворищах и улицах города беззвучно зашевелились какие-то сероватые тени. Не слышно ни звука команды, ни крика... кажется, что это какие-то призраки строятся в ряды... только иногда глухо звякнет сабля, или тихо заржет испуганный конь.

Вокруг Переяслава между тусклой снежной равниной и черным пологом неба движутся также ряды каких-то всадников; они вытягиваются рядами и окружают город тесным черным кольцом.

Впереди всех едет на своем коне старый полковник Гострый, за ним Марианна и Андрей.

В тишине снежной равнины теряется тихий топот коней... Вот Андрей отделился от длинных рядов всадников и подъехал к городским воротам; он пошептался о чем-то с караульными, стоявшими неподвижно у ворот и возвратился к полковнику.

— Все готово, — произнес он тихо, — ворота отперты.

— Стой! — скомандовал так же тихо полковник, осаживая коня. — Вы, — обратился он к одной части казаков, — оцепите весь город кругом, чтобы и мышь не могла прорваться сквозь ваши ряды, а вы — повернулся он к стоявшим за ним рядам, — как только услышите гасло, — за мною!

Все молча поклонились полковнику. Снова стало тихо: ни звука, ни шелеста ветра не слышно было в морозном воздухе. Тихо и беззвучно кружились в сумрачной тьме холодные снежинки и обсыпали белым покровом застывших на своих местах всадников.

Марианна стояла рядом с Андреем. Она ожидала сигнала. От этой тишины, окружавшей ее, от напряженного ожидания, ей казалось, что кровь невыносимо шумела и стучала у нее в ушах. Жестокость предстоящей битвы не пугала ее: горе ожесточило, озлобило ее сердце, ей казалось, что всякое чувство сострадания угасло в нем; и она ждала с нетерпением битвы, как будто эта месть могла насытить ее сердце, могла заглушить невыносимый огонь обиды, жегший ее грудь.

Вот издали донесся слабый крик петуха — все вздрогнули и насторожились, но крик затих и снова кругом разлилась та же тишина.

Но вот на башне городской ратуши глухо раздался один удар, за ним другой, третий.. Все встрепенулись и в ту же минуту в разных местах города вспыхнули огни.

— За мною! — вскрикнул Гострый и в сопровождении Андрея и Марианны и других своих казаков ринулся в распахнувшиеся перед ним городские ворота.

Когда Гострый со своими спутниками влетел в город, все уже было в движении. Из освещенных домов ежеминутно выливались на улицу целые толпы заговорщиков и с угрожающими криками неслись по направлению к самому городу, то есть крепости, в которой помещались дома воеводы и ратных людей. Страшный звон набата придавал всему этому крику еще более ужасающий характер. Издали уже доносились звуки выстрелов.

— За мною! — скомандовал Гострый и ринулся вперед.

В замке в это время происходила ужасная сцена. Ратные люди выбегали из своих жилищ и с ужасом прислушивались к призывным страшным ударам набата и к дикому реву прибывающей к стенам замка толпы. Сначала в голове у них еще мелькнула мысль, что, может быть, татары осадили город и население ищет защиты за стенами замка, но когда до ушей их долетели страшные крики: "Добывай замок!" — страшная истина открылась им. Они поняли, что со звуком этого набата пробил их последний час: они были в руках озверелой толпы. Правда, еще некоторое время стены замка могли защищать их от нападения, но защита эта не могла продолжаться долго. Теперь им стало понятно то, о чем предательски шептались старшины и

казаки, но рассуждать было уже поздно: кругом всего города кипела, как разъяренное море, рассвирепевшая, дикая толпа...

— Гей, огня! Посветите, хлопцы! — раздался крик Гострого.

Казачьи бросились исполнять приказание своего полковника и через несколько минут ближайšie к замку дома вспыхнули ярким огнем. Пламя зашипело, загоготало, клубы черного дыма и целые столбы огня поднялись к небу. Страшное, кровавое зарево осветило все. Черный свод неба распахнулся. Словно огненные платочки, заметались в глубине его испуганные птицы. Вокруг стен замка стало светло, как днем.

Но осажденные уже пришли в себя. Со стен замка грянули пушечные выстрелы, из амбразур окон выпалили мушкеты. Сомкнутая масса толпы расстроилась, раздалась, многие попадали, но этот отпор осажденных еще больше разогрел осаждающих; дикий глухой рев пронесся над всею толпой. С рассвирепевшими лицами ринулись все на стены замка. Освещенные заревом пожара, лица всех были ужасны. Эта толпа людей, потерявших от ненависти и злобы всякое сострадание, была страшнее толпы диких зверей. Не понимая сами, куда они лезут, мещане, бабы и женщины ломались в ворота, цеплялись на стены, бросались под выстрелы и, не замечая своих ран, рвались все дальше. Однако, эта обезумевшая, но плохо вооруженная толпа не была страшна осажденным.

Но вот раздалась команда Гострого: "раздайся, расступись". Толпа шарахнулась от этого возгласа и распахнулась на две половины.

Перед взорами осажденных открылась площадь, окружавшая замок, вся залитая вооруженными казаками.

— С коней долой! — скомандовал Гострый. — Огня сюда и лестниц!

Началась отчаянная битва. Казаки обступили весь замок тесным кольцом, мелкий, засыпанный во многих местах землей, ров не служил никаким препятствием к осаде. К стенам приставили длинные лестницы.

Храбро отбивались немногочисленные осажденные, но одни ряды осаждающих падали, а на место их вырастали другие. Эти толпы казаков грозили залить весь замок.

А между тем огонь перекинулся и за городскую стену. Теперь осажденным пришлось разделить свои силы: одни остались защищать замковую стену, другие бросились тушить огонь, быстро охватывавший все деревянные постройки, заключенные внутри замковых стен. Завязалась ужасная битва.

Осада замка продолжалась. Уже некоторым смельчакам удалось проникнуть за городскую стену, битва завязалась в самой черте крепости. Но вот со стороны казаков, осаждающих под предводительством Марианны и Андрея "браму" замка, донесся протяжный торжествующий крик. Ворота замка со страшным грохотом повалились на землю.

— За мною! — вскрикнула Марианна и с обнаженной саблей ринулась в самую пасть осажденного замка, в котором с диким гиком и свистом уже бушевало целое море огня. За Марианной бросился Андрей, и широкой темной волной хлынули за ним в ворота остальные казаки.

Завязалась упорная борьба. Осажденные защищались с отчаянием, но силы казаков превозмогли их. Через полчаса Переяслав был уже свободен от ратных людей.

Увлеченные битвой, казаки не замечали решительно ничего, что происходило за их спиной, как вдруг звон колоколов, грянувший со всех переяславских церквей, заставил их опомниться. Полетели вверх шапки, платки, замахали руки, и возглас тысячной толпы: "Гетман! Гетман! Дорошенко!" — раздался кругом.

Гострый, Марианна и Андрей выехали навстречу Дорошенко. Они едва сдерживали своих разгоряченных лошадей, чтобы не потоптать несущуюся впереди и вокруг них толпу.

Словно реки в море, вливались на площадь со всех улиц колонны всадников; распущенные бунчуки и знамена развевались в воздухе. Огненные искры играли на блестящих пиках и дорогом оружии казаков. Колонны казаков все прибывали и прибывали и грозили затопить собою всю площадь.

А посреди нее уже стоял впереди своих войск Дорошенко.

Марианна глянула на него, и в ту же минуту взгляд ее скользнул в сторону и заметил еще кого-то, стоявшего тут же за гетманом. Сердце ее замерло в груди... Но и Мазепа заметил Марианну.

С развевающимися черными косами, выбившимися из-под серебряного шлема, покрывавшего ее голову, с горящими глазами, с обнаженной саблей, она неслась навстречу к гетману на вороном запенившемся коне. Казалось, это неслась не женщина, но спустившаяся с неба грозная богиня мщения. Она была удивительно хороша в эту минуту, но красота эта была страшна, — она навеяла какой-то холодный ужас на душу Мазепы и в ту же минуту ему вспомнился тихий и кроткий образ Галины...

LXXX

Замысел Бруховецкого сделал свое дело. Через несколько дней после Сретения все города и замки в Левобережной Украине были уже заняты казаками, в одном только Чернигове держался воевода и с ним несколько десятков ратных людей, остальные все погибли. Однако и это еще не удовлетворило Бруховецкого, — он продолжал всюду рассылать письма, приглашая к восстанию и казаков, и калмыков, но никакие меры уже не могли возратить ему симпатий народа.

Лишь только весть о том, что Дорошенко высадился на левый берег, разнеслась по Украине — все хлынуло к нему навстречу. Отовсюду стекались толпы вооруженного поспольства; казаки, узнав о приближении Дорошенко, вопреки приказанию Бруховецкого спешили соединиться с ним; духовенство, мещане и горожане свозили к Дорошенко и денежные взносы, и хлебные запасы.

Марианна, Андрей и Гострый со своей надворной командой находились также в войсках Дорошенко, но Марианна избегала встречи с Мазепой. Мазепа чувствовал, отчего в ее обращении с ним появилась такая холодность, и это мучило его совесть, словно он был виновен в чем-нибудь перед этой удивительной девушкой, спасшей ему жизнь; несколько раз пробовал он заговорить с Марианной, но она так сухо и резко отвечала ему, что теплое слово застывало у него на языке. Таким образом, между ними мало-помалу установились совершенно холодные отношения; Марианна проводила все время с отцом и Андреем, а Мазепа с сияющими от счастья Кочубеем и Остапом, которые уже успели пожениться и теперь со страстным нетерпением ожидали конца войны, чтобы вернуться поскорее к своим молодым женам.

Медленно подвигалось вперед войско Дорошенко; оно, словно катящаяся с гор лавина, все

росло и увеличивалось с каждым днем.

Успех Дорошенко приводил в бешенство Бруховецкого, но он еще не предполагал того, как был велик этот успех, а между тем вся левобережная старшина прислала Дорошенко письмо, в котором просила его от лица всей гетманщины принять на себя гетманство, объявляя, что Бруховецкого они все, как один человек, не желают иметь гетманом.

Приглашение всей левобережной старшины заставило задуматься Дорошенко. Убедившись, что гнусности и подлости Бруховецкого нет границ и что народ окончательно не желает его иметь гетманом, он уже сам давно потерял желание уступить ему свою булаву. Однако, в эту важную и торжественную минуту Дорошенко не считал возможным спорить с Бруховецким о старшинстве, но письмо левобережной старшины заставило его подумать об этом иначе, к Бруховецкому уже прибыла орда и, если полки казацкие отделились бы от него и присоединились к Дорошенко, он мог бы поднять междуусобную войну, а это было бы крайне нежелательно, особенно в настоящую минуту, так как положение становилось серьезным.

В Москве уже узнали о бунте на Украине, и Ромодановский спешил сюда с сильным войском. Правда, поздняя весна еще задерживала его, но оттепель уже началась, и в скором времени можно было ожидать, что он появится в границах Украины. Ввиду этих соображений, Дорошенко созвал на раду всю свою старшину, а также пригласил на нее и митрополита Тукальского и все высшее духовенство и обратился ко всем с вопросом: что же теперь предпринять и на что решиться?

Решено было послать к Бруховецкому посольство от самого гетмана и от митрополита Тукальского, которое бы показало ему письмо всех левобережных старшин, как очевидное нежелание всего народа иметь его гетманом, и просило бы его уступить свое гетманство Дорошенко добровольно. При этом гетман и Тукальский приложили к Бруховецкому свои письма, в которых умоляли его; во имя отчизны исполнить без всякого кровопролития волю народа, за что Дорошенко обещал ему оставить в пожизненное владение город Гадяч со всеми пригородами.

Но посольство Дорошенко привело Бруховецкого в какое-то иступленное бешенство. Алчный честолюбец, он решил рискнуть всем, чтобы захватить в свои руки власть, и теперь эта власть ускользала от него!

Не имея в руках самого Дорошенко, он излил свою ярость на послах. Послов подвергли ужасной пытке, а затем заковали в кандалы и бросили в темницу.

Письмо старшин ясно говорило Бруховецкому, что вся Украина не желает иметь его гетманом. Бруховецкий чувствовал, что почва уже колеблется у него под ногами, но бешенство до того ослепило его, что он совершенно потерял рассудок.

Захватив с собою орду и находившиеся при нем в Гадяче казацкие полки, он двинулся с войсками из Гадяча, как будто навстречу Ромодановскому; при выезде своем из Гадяча он разослал универсалы всем остальным полковникам, приказывая спешить соединиться с ним.

Но новый удар ожидал гетмана: почти все полковники украинские уже соединились с Дорошенко.

Узнав, что Бруховецкий идет навстречу Ромодановскому, Дорошенко отправился наперерез пути Бруховецкого, желая соединиться с ним, и наконец настиг его.

Остановившись за тридцать верст от лагеря Бруховецкого, Дорошенко послал к нему десять

сотников, требуя через них, чтобы Бруховецкий добровольно отдал ему свою булаву, бунчук, знамя и всю "армату". Взбешенный Бруховецкий приказал этих сотников заковать в кандалы и отправить для пытки в Гадяч, а сам двинулся со всеми войсками на Дорошенко, стоявшего у Опошни.

Между тем, старшины и казаки, догадавшись наконец, зачем ведет их Бруховецкий на Дорошенко, — заволновались, зашумели.

В войске вспыхнул бунт.

— Мы за гетманство Бруховецкого биться не станем! Мы на Дорошенко не пойдем! — закричали в разных местах.

Бунт, сначала глухой и затаенный, начал охватывать все войско, но Бруховецкий еще не знал ничего об этом.

Весеннее солнце уже близилось к закату, когда Бруховецкий остановился со своими войсками против лагеря Дорошенко. Все было тихо и спокойно в лагере Дорошенко, но лагерь Бруховецкого весь кипел и волновался, как взбаламученное диким ураганом море.

Бруховецкий начал уже догадываться, отчего происходит это волнение, но жажда мести заглушала в нем все соображения.

Вскочивши на коня, он выехал на середину лагеря отдать приказание старшине атаковать немедленно лагерь Дорошенко, но тут-то он увидел, что ничто не могло уже помочь ему удержать за собой гетманство.

При виде гетмана еще скрываемая в казачестве злоба прорвалась наружу; крики, проклятья и угрозы огласили воздух. Старшина обступила Бруховецкого.

— Мы тебя на гетманство выбрали, ждали от тебя доброго, а ты ничего хорошего не учинил, только одно кровопролитие от тебя случилось. Сдавай гетманство! — закричали кругом грозные голоса.

— Сдавай гетманство! Сдавай гетманство! Мы за тебя биться не станем! — подхватила кругом страшная, разъяренная толпа.

Бруховецкий побледнел, холодный пот выступил у него на лбу. Теперь он понял, что в небесах пробил уже его последний час. В ужасе бросился он назад в свой шатер, думая при помощи своей стражи укрыться в нем от народной мести, но здесь перед ним появился посол от гетмана Дорошенко.

— Иди, предатель, — произнес он сурово, — зовет тебя гетман! Окружавшая Бруховецкого наемная стража вздумала было защищать его, но в это время шатер гетманский окружила разъяренная толпа казаков. Раздался крик и страшный треск. В одну минуту весь шатер был разорван на клочки. Ворвавшаяся толпа оттиснула стражу и окружила Бруховецкого страшной стеной.

Мертвенно бледный, с застывшими от ужаса глазами, он сидел неподвижно в кресле; казалось, никакие силы в мире не могли заставить его сделать малейшее движение, но два дюжих сотника грубо подхватили его под руки, и толпа не потащила его, а просто понесла к Дорошенко.

А Дорошенко, окруженный своей старшиной, стоял на высоком кургане. Солнце уже зашло; розовое сияние заливало все небо и широкую степь, покрытую темно-зеленой травой. Двумя громадными четырехугольниками чернели на ней два казацкие лагеря. С высоты кургана Дорошенко видно было, как толпа казаков бросилась на шатер гетманский, как выхватила оттуда Бруховецкого и как потащила его к кургану. Дикие крики и проклятия, раздавшиеся в толпе при виде Бруховецкого, донеслись и до кургана, на котором стоял Дорошенко.

Шум и крики приближающейся толпы росли с каждой минутой, и через четверть часа у подножья холма появились сотники, тащившие под руки Бруховецкого. За ними хотела броситься на холмы и вся толпа, но стоявшие внизу казаки Дорошенко не допустили ее.

Наконец, сотники втащили Бруховецкого на гору и остановились перед Дорошенко; они хотели поставить Бруховецкого на ноги, но лишь только отняли они свои руки, как он пошатнулся и грохнулся бы непременно на землю, если бы они вовремя не подхватили его.

Дорошенко невольно отвернулся; лицо Бруховецкого было страшно. От ужаса он совершенно потерял рассудок, его выпяченные, словно у удавленника, стеклянные глаза смотрели бессмысленно вперед, ничего не видя перед собой; все тело его осунулось, словно мешок, руки висели неподвижно, согнутые ноги тянулись по земле, нижняя губа отвисла; казалось, вместе с разумом в нем умерла и сила мускулов, только по дыханию его можно было заключить, что это был еще живой человек.

— Зачем ты отвечал мне грубо и не хотел добровольно отдать булавы, когда тебя не хочет иметь гетманом все казацкое товарищество? — обратился к нему Дорошенко.

Бруховецкий не ответил ни слова; видно было, что до его сознания уже не долетали никакие впечатления мира.

— Возьмите его, отведите к пушкарям и прикажите приковать к пушке, — произнес Дорошенко, отворачиваясь в сторону.

Лицо Бруховецкого не дрогнуло: это слабое наказание не пробудило даже никакой радости в его трусливых стеклянных глазах. Но окружившая холм толпа казаков и черни осталась, видимо, недовольна приказанием Дорошенко. Какой-то неясный, глухой рев пробежал по всем чернеющим рядам, и толпа заволновалась.

Сотники стащили Бруховецкого с кургана и повели сквозь толпу, чтобы пробраться к выстроенным впереди лагеря пушкам. С громкими недоброжелательными криками толпа расступилась перед ними, но лишь только они достигли середины ее, как со всех сторон их окружила чернь и казаки, так что двинуться вперед не было никакой возможности; дикие, исступленные лица толпы не предвещали ничего хорошего. Провожавшие Дорошенко казаки попробовали было протиснуться вперед, но толпа сдавила их со всех сторон. "Смерть Иуде! Смерть изменнику!" — раздался кругом страшный вопль.

Этот ужасный крик, казалось, долетел и до сознания Бруховецкого, проблеск какой-то мысли мелькнул в его остановившихся глазах, — в ужасе отшатнулся он назад и, споткнувшись, упал на землю.

Роковое движение его послужило как бы сигналом для исступленной толпы. При виде лежащего на земле ненавистного гетмана все было забыто: как стая борзых на загнанного зайца, так ринулись все на Бруховецкого. Напрасно казаки, окружавшие его, старались оттиснуть толпу: в одно мгновение толпа отбросила их, смяла и едва не раздавила в своем стремительном движении. Как вода стремится с шумом со всех сторон в воронку, так хлынули

со всех сторон казаки и чернь с поднятыми ружьями, дубинами, дрекольями и камнями к тому месту, где упал Бруховецкий.

Началась ужасная, зверская расправа...

Этот дикий рев, потрясший всю толпу, услышали и на кургане.

— Они разорвут его на "шматки"! Пане Мазепа, бери казаков, скачи, отбей его! — вскрикнул Дорошенко в ужасе, смотря в ту сторону, куда летела с дикими криками вся чернь.

Мазепа пришпорил коня и, окруженный несколькими десятками надворной гетманской команды, понесся прямо в толпу. Но прошло немало времени, пока ему удалось прорваться сквозь эту кипящую, исступленную массу людей, когда же он достиг, наконец, того места, где упал Бруховецкий, — глазам его предстало ужасное зрелище.

На земле, окруженная темной лужей крови, лежала какая-то бесформенная масса, вся синяя и вспухшая от ударов. Тело Бруховецкого было до того изуродовано, что не было никакой возможности узнать его. Мазепа в ужасе отвернулся и, поставивши вокруг трупа стражу, поскакал обратно к Дорошенко.

Уже по бледному, искаженному лицу Мазепы гетман сразу догадался, что произошло что-то ужасное.

— Ну что? Отстоял?! — произнес он глухо.

— Все кончено, — ответил Мазепа, — чернь и казаки насмерть забили его.

Невольный подавленный крик вырвался из груди всех, и вслед за ним кругом наступило молчание... В душе каждый чувствовал, что гнусный предатель и зверь Бруховецкий понес заслуженную и справедливую кару, но смерть его была ужасна и вызывала невольное содрогание в сердцах всех окруживших Мазепу. Наступивший сумрак покрывал сероватым покровом и даль, и раскинувшиеся у подножья кургана лагеря, и бледные лица умолкнувших старшин. Наконец Дорошенко пришел в себя.

— О, Господи! — произнес он, подымая глаза к небу. — Я не виновен в его смерти. Ты знаешь, что я не хотел того.

Когда Мазепа пришел в себя от этой ужасной сцены, он немедленно поскакал в лагерь Бруховецкого, чтобы отыскать Тамару, сразиться с ним и отомстить ему за все, но, несмотря на самые тщательные розыски, Тамары не оказалось нигде.

К вечеру, по приказанию Дорошенко, тело Бруховецкого уложили на покрытый китайкою воз и с подобающими ему почестями повезли в Гадяч. В ту же ночь оба казацкие лагеря соединились, и Дорошенко стал гетманом над всей Украиной.

Теперь под булавой гетмана находились все полки казацкие, одного только Самойловича не было при войске. Дорошенко очень удивился этому, но ему объяснили, что, по всей вероятности, Самойлович занят осадой Черниговского замка, в котором еще до сих пор держался воевода. Но, несмотря на это объяснение, Мазепе показалось весьма странным подобное отсутствие. Впрочем, для войска оно не составляло заметного урона: и без полка Самойловича оно было так сильно и так прекрасно вооружено, что вряд ли какой неприятель мог устоять против него.

На другой день после соединения войск Дорошенко велел всем сниматься с лагеря и направился к Котельне с тем, чтобы ударить на стоящего там Ромодановского. Но в Котельне гетман не нашел уже никого. Ромодановский сам начал отступать к границе. Не теряя времени, Дорошенко бросился по следам его. Казаки охотно исполняли приказание гетмана.

Когда, наконец, войска достигли Путивля, и передовые отряды принесли весть, что арьергарды Ромодановского находятся верст за двадцать от них, Дорошенко решил сделать привал и дать хорошенько отдохнуть казакам.

Наступил вечер. Вокруг всего необозримого пространства, занятого соединенными казацкими войсками, расставлены были караульные, и лагерь погрузился в сладкий отдых в ожидании завтрашней битвы. Мазепа вместе с Кочубеем сидели в палатке гетмана; полы ее были высоко подняты; сквозь широкий проход вливался теплый ароматный воздух тихой летней ночи; усыпанное звездами темное небо было чисто и спокойно, и словно те же маленькие звезды, мерцали по темной степи вплоть до самого горизонта бивуачные огни необозримого казацкого лагеря.

Дорошенко был в самом лучшем настроении духа. Веселая беседа не прерывалась ни на минуту. Как вдруг в палатку вошел "джура" и объявил Дорошенко, что какой-то человек из Чигирина желает непременно видеть гетмана.

При этом известии что-то екнуло в сердце Мазепы, но гетман чрезвычайно обрадовался ему.

— Из Чигирина? — оживился он. — От гетманам! Веди, веди его скорей сюда.

Джура поспешно удалился, и через несколько минут у порога палатки остановился человек средних лет, в темной мещанской одежде.

Мазепа сразу узнал в нем Горголю; но хитрое лицо торговца не было на этот раз спокойно, глаза его как-то боязливо бегали по сторонам.

Гетман тоже узнал Горголю.

— А, Горголя, ты? Что нового принес? Как милует Господь мой Чигирин? — приветливо улыбнулся он на низкие и усердные поклоны Горголи.

— Ясновельможному, ясноосвенцоному великому и славному гетману всей Украины челом до земли! — заговорил Горголя не совсем твердым голосом, — В Чигирине молитвами всех благоверных "заступцев" наших все спокойно; ясновельможная пани гетманова шлет его милости поклон и этот "лыст", — с этими словами Горголя подал Дорошенко запечатанный пакет. Когда Дорошенко брал его, рука Горголи едва заметно дрогнула, однако Дорошенко не обратил на это внимания, быстрым движением сорвал он печать, развернул письмо и с просветлевшим от радости лицом принялся за чтение. Но едва успел гетман прочесть несколько строчек, как лицо его покрылось багровыми пятнами, он перевернул письмо, взглянул на подпись, и вдруг, скомкавши его порывисто в руках, бросился к Горголе. При этом движении гетмана Горголя вздумал было отступить, но Дорошенко схватил его с силой за ворот и втащил в палатку.

Мазепа и Кочубей в ужасе схватились со своих мест; они сразу поняли, что могло быть написано в этом письме; при том безумное, дикое лицо Дорошенко, словно потерявшего от бешенства рассудок, лучше всяких догадок свидетельствовало им об этом.

— Чей это "лыст", чей это "лыст"? — закричал гетман таким диким, хриплым голосом, что у

Мазепы похолодело на сердце.

При виде ужасного лица Дорошенко Горголя побледнел.

— Ясновельможной пани гетмановой, — начал было он дрожащим голосом, но Дорошенко не дал ему закончить.

— Ты лжешь! — вскрикнул он, толкнувши его с такой силой, что Горголя повалился на колени.

— Ты сам написал его!

— Ясновельможный гетмане, на Бога, я ничего не знаю, я не виновен... я не "письменный", — залепетал Горголя.

— Так кто же, кто написал тебе его?

— Не знаю, ей-ей не знаю! Я даже не знаю, что в нем написано. Меня послали... Мне сказано было, что то от пани гетмановой к его мосци.

— А! Сказано было, — захрипел Дорошенко, впиваясь в его плечи костистыми руками и склоняя над ним свое ужасное лицо. — Кто же говорил тебе? Кто давал тебе его?

Горголя невольно опустил глаза перед взглядом гетмана, взгляд этот был ужасен.

— Полковник Самойлович, — произнес он едва слышно.

— Самойлович?! — вскрикнул дико Дорошенко. — Так это он, он?! Так это ему писан лист?

Горголя молчал.

— Молчишь?! — зарычал Дорошенко и, бросившись на Горголю, повалил его на землю и наступил ему коленом на грудь, — ты знаешь все — говори!

— Ясновельможный гетмане, пустите, я не виновен... я ничего... ничего... как Бог свят, я бедный купец, — захрипел Горголя.

Но Дорошенко не слушал его.

— Говори, или я задавлю тебя, как паршивого пса, — и Дорошенко впился еще крепче в шею руками. — Слышишь — на палю" посажу, дикими конями разорву, сдеру с тебя с живого шкуру, на угольях сожгу, — хрипел он, склоняя над ним свое искаженное, исступленное лицо. — Не будет той муки, которой я не придумаю для тебя. Говори! — Ты знаешь, она не в первый раз писала ему?

От страшных тисков Дорошенко лицо Горголи стало багровым, глаза налились кровью.

— Не первый, — вырвалось у него с трудом.

— Не первый! Так давно, давно уже началось у них?

— С весны. Пан полковник пересылал через меня ее мосци ожерелье.

— Ожерелье! Ха-ха! И она взяла?

— Взяла. А в том ожерельи был спрятан "лист".

— И ты, ты, собака, передал его?! — вскрикнул Дорошенко и еще больше сдавил Горголю за горло.

— Я ничего не знал... я думал к пану гетману... по гетманским делам.

— Ха-ха-ха!.. Так, так! По гетманским делам... А дальше, дальше?

— А потом... пани гетманова передала полковнику "лыст".

— Ему? Самойловичу?!

— Ему.

— И много раз ты их носил?

— Не знаю... не помню... на Бога... ясновельможный гетмане... я думал, что то важные "паперы"...

Но Дорошенко не обратил внимания на его прерывающиеся слова.

— Говори, собака, много раз таскал? — захрипел он так страшно, что Горголя едва не потерял сознание.

— Пять раз, — произнес он едва слышно.

— Ха, ха, ха! — разразился Дорошенко диким хохотом. — За службу твою я заплачу тебе по-гетмански, щедро! Где же он теперь? Где Самойлович?! Правду! — Слышишь, правду!

— Там, в Чигирине.

— В Чигирине? С нею? — вскрикнул, как безумный, Дорошенко, выпуская из рук Горголю и, поднявшись на ноги, закричал каким-то диким голосом: — Коня мне, гей, коня!

Воспользовавшись этим движением гетмана, Горголя быстро вскочил и выбежал из палатки, но Дорошенко не заметил этого.

— Коня мне, коня! — продолжал он кричать хриплым прерывистым голосом, быстро надевая на себя латы, шпашак, саблю и все оружие.

От крика гетмана проснулись ближайшие казаки, окружавшие гетманскую палатку. Джуры в ужасе бросились исполнять его приказание.

На гетмана страшно было смотреть: тонкие ноздри его широко раздувались, почерневшие от бешенства глаза светились каким-то страшным блеском, кровь заливала все лицо его, вздувшиеся жилы выпячивались на лбу и на шее синими полосами; дыхание с шумом вырывалось из его груди. Глядя на его исступленное лицо, Мазепе показалось, что гетман лишился рассудка.

— Ясновельможный гетмане, — подошел он к нему, — зачем коня... куда?

— В Чигирин! — произнес отрывисто Дорошенко, не глядя на него.

Мазепа похолодел; по тону, каким произнесено было это слово, он понял, что Дорошенко готов был исполнить это безумное намерение.

— На Бога, гетмане, — заговорил он, останавливаясь перед Дорошенко, — на завтра битва. Если мы потеряем эту минуту, все погибнет... Войско взбунтуется... орда уйдет... Один только день... один... один!

Но напрасно упрашивал и уговаривал Дорошенко Мазепа.

Дорошенко не слушал ничего.

LXXXI

Целую ночь уговаривал Мазепа Дорошенко и умолял его остаться хоть на один еще день при войске, но все было напрасно!

Рано утром Дорошенко созвал в свой шатер всю старшину и объявил ей, что по неотложному делу он должен отлучиться на несколько дней. На место себя он оставляет наказным гетманом старшего на тот раз между старшиной левобережной Демьяна Многогрешного, и поручает ему вместе со всей старшиной немедленно ударить на Ромодановского; сам же Дорошенко обещал вернуться немедленно к войску.

Отдав эти приказания, Дорошенко захватил с собою один полк и бросился в Чигирин.

Молча, с угрюмыми, мрачными лицами выслушали старшины приказ гетмана; в присутствии его никто не осмелился высказать своего порицания, но в душе все порицали его поступок. Недовольная старшина разошлась молчаливо по своим шатрам; но не успел еще Дорошенко выехать из лагеря, как недобрые вести о гетмане разлетелись между всеми казаками: кто-то сообщил об измене гетманши, но большинство не поверило тому, чтобы такой, по-видимому, ничтожный факт мог заставить гетмана покинуть войско в самую роковую минуту. При том еще появился слух, что к Ромодановскому присоединились сильные свежие подмоги и что Дорошенко, увидев такую численность неприятеля, ушел от войска... Последний слух жадно переносился от одной части войска к другой и к вечеру все уже передавали его, как истинный факт.

С невыносимою болью сердца следил Мазепа за тем, как один неверный удар руки Дорошенко разбил вдребезги все то, что было создано таким трудом и такой небывалой удачей. Смятение, недовольство, недоверие с каждой минутой росли и росли в войске. Уверенного, торжественного настроения, которое еще вчера царствовало во всем лагере, сегодня уже не было и следа. Страшный серый призрак паники подбирался к казацкому лагерю.

В тревоге и смятении прошел целый день, так что об атаке лагеря Ромодановского вспомнили только на второй день после отъезда Дорошенко. Но Ромодановского уже не было на том месте, где он еще стоял третьего дня.

Узнав о тревоге в казацком лагере, о том, что Дорошенко уехал в Чигирин, Ромодановский оставил свое прежнее намерение отступить вглубь России, а круто повернув, направился быстрым маршем к Нежину. Известие об этом маневре Ромодановского окончательно убедило казаков в том, что к нему подоспели из Москвы сильные подмоги, и Многогрешный, вместо того, чтобы преследовать его, решил отступить вглубь Украины к Чернигову.

Напрасно восставали Мазепа, Гострый, Андрей и Марианна против такого решения, доказывая всю пагубность его, — никто их не слушал.

Началось поспешное отступление. Почти ежедневно посылал Многогрешный гонцов в Чигирин к Дорошенко, умоляя его поспешить к войску и привести с собой обещанные подмоги; но

гонцы или вовсе не возвращались, или привозили самые неутешительные известия.

Говорили даже, что гетман от горя лишился ума. Подобные известия совершенно подрывали в казаках симпатии к Дорошенко, особенно возмущались всем этим суровые запорожцы.

Уже не раз слышал Мазепа недружелюбные замечания:

"Какой он гетман?" — "Бабий!" — "Того бы и Бруховецкий не сделал, чтобы от войска к жене ускакать". — "Бруховецкого прикончил, а сам испугался московской рати да к жене ушел!" Правда, при Мазепа эти разговоры сейчас же обрывались, но он чувствовал, что если Дорошенко не вернется сейчас же к войску, то погибнет его булава.

Между тем, к казакам пришло известие, что Ромодановский, окончив с Нежином, двинулся по их следам к Чернигову; это известие окончательно привело их в смущение. Начали поговаривать о том, чтобы завести с Ромодановским мирные переговоры. В некоторых частях войска, особенно среди бывших тайных приверженцев Бруховецкого, заговорили исподтишка и о том, что не мешало бы выбрать и гетмана, а то без него неудобно, мол, сноситься с Москвой.

Мазепа понял, что наступила решительная минута. Посоветовавшись с Гострым и Марианной, он решил сам броситься в Чигирин, употребить все свое влияние на гетмана и убедить его вернуться к войску; если бы Дорошенко вернулся, все могло бы измениться в один день. Мазепа сидел в своей палатке с Кочубеем, отдавая ему перед отъездом последние распоряжения, как вдруг торопливо вошел в шатер встревоженный Остап.

— Что случилось? Ромодановский? — произнес быстро Мазепа, заметив расстроенный вид казака.

— Беда, пане писарю, — ответил Остап, — пришло известие, что через степь перекинулась сильная татарская орда, много "ясыру" захватила, и боюсь, как бы... — Остап остановился, но Мазепа не нужно было договаривать. Бледный, как смерть, он быстро поднялся с места.

— Ты говоришь орда... через степь?

— Да, — ответил Остап, — шла на правый берег, не своим путем, а прямо через степь-Мазепа молчал; по лицу его видно было, что в душе его происходила страшная борьба...

— Слушай, друже, — заговорил он наконец каким-то глухим, угасшим голосом, обращаясь к Кочубею, — мне надо скакать к Дорошенко... Я не могу оставить так дел. Но тебя молю, возьми мою команду. Слуга мой знает дорогу, возьми с собой еще казаков и скачи туда на хутор, к Сычу... Там, ты знаешь, там моя невеста, голубка тихая, несчастная. Если жива, вези ее с собой сейчас в Чигирин, а если... если... сделай, что сможешь!

Страшное горе Мазепы и его необычайное присутствие духа тронули до глубины души Кочубея.

— Слушай, друже мой любимый, — заговорил он, подымаясь с места и опуская свою руку на плечо Мазепы, — скачи ты на хутор, а я полечу в Чигирин: если гетман способен слушать человеческое слово, он выслушает и меня, а если нет, то и ты не сделаешь ничего.

Долго не соглашался Мазепа на предложение Кочубея, но друзьям все-таки удалось уговорить его.

— Хорошо, — согласился он наконец, — я полечу на хутор, и что бы там ни случилось, — минуты лишней не потеряю, а ты лети в Чигирин, — моли его, проси вернуться к войску!

Кочубей пообещал Мазепе исполнить все, о чем он просил его.

— Бери же с собою побольше казаков, — заметил он, — кто знает, что ожидает там тебя?

— Возьму, возьму, — согласился Мазепа.

— Пане писарю, — подошел к нему Остап, — я еду тоже с тобою, я не оставляю тебя.

Молча, но горячо сжал Мазепа руку верного казака и, не медля ни единой минуты, друзья отправились в путь: Кочубей полетел в Чигирин, а Мазепа с Остапом, Лободой и еще двумя десятками казаков — в степь.

Казаки не мчались, а летели: можно было подумать, что по следам их неслись какие-то мстительные фурии. Останавливались они только на самое необходимое время; по целым суткам люди не вставали с седел, павших от усталости лошадей заменяли другими, но никто не роптал на Мазепу за такую безумную скачку — все, до последнего слуги, сочувствовали своему господину и разделяли его тревогу.

Дней через десять такой езды казаки въехали, наконец, в открытую степь. Остап хорошо знал, где находился хутор Сыча, и потому отряд нашел сразу верное направление.

Чем больше уменьшалось расстояние, отделявшее Мазепу от хуторка, тем мучительнее замирало его сердце: через день, другой все разъяснится перед ним, и если... если... Но Мазепа с усилием гнал от себя эту страшную мысль, он хотел верить, что все окончится благополучно; что все это известие окажется только ложной тревогой, что сейчас же навстречу ему из беленькой, чистенькой хатки, потонувшей в вишневом саду, выскочит дорогая, нежно любимая Галина, и, обвивши его шею руками, замрет от счастья у него на груди. Но тайный голос шептал ему, что этому уже не бывать никогда!

На третий день утром, когда, по расчету Остапа, они должны были уже находиться недалеко от хутора, один из казаков, сопровождавших Мазепу, закричал громко, указывая рукою вперед:

— А гляньте, панове, не хутор ли это? Вон там что-то чернеет впереди.

— Чернеет? — повторил Мазепа и почувствовал, как от этого слова все похолодело у него в груди.

Лицо Остапа приняло также озабоченное выражение; не говоря ни слова, он пришпорил своего коня и понесся вместе с Мазепой вперед. Они помчались с такой быстротой, что ветер засвистел у них над ушами.

Уже издали Остап и Мазепа заметили какую-то чернеющую массу, когда же они подскакали к ней, то глазам их представилось ужасное зрелище.

Бесспорно, это было то место, где когда-то ютился тихий и мирный уголок Сыча, но теперь от него уже не осталось и следа. На том месте, где стояла прежде маленькая опрятная хатка, окруженная хозяйственными постройками, лежала теперь груда черного страшного пепла, обгоревшие деревья подымали к небу свои черные, обнаженные ветви, словно застыли в немой мольбе о мщеньи; кругом все было мертво, пустынно и ужасно.

Дикий стон вырвался из груди Мазепы. Не давая себе отчета в том, что он делает, он соскочил с коня и бросился на пепелище, как будто мог разыскать там еще какое-нибудь утешение, какой-нибудь проблеск надежды. Остап молча последовал за ним.

Все было мертво в этом страшном сожженном дворе. Не успели Остап и Мазепа сделать еще несколько шагов, как им пришлось наткнуться на еще более ужасную картину: в разных местах двора валялись останки человеческих скелетов. Очевидно, дикие звери довершили здесь то, что было сделано какими-то злодейскими руками.

Словно окаменевший, остановился Мазепа посреди двора, не будучи в состоянии оторвать своего помутившегося взгляда от этого страшного зрелища, ясно говорившего о бесспорной смерти его дорогой, несчастной Галины. Казалось, он потерял всякую способность думать, чувствовать, соображать; какой-то смертельный холод сковал всю его грудь.

Остап не мог бы сказать, сколько времени стояли они так — его также потрясла до глубины души эта картина; еще так недавно был он здесь, так недавно провел он здесь сколько тихих, счастливых часов в тесном и дружном кружке дорогих его сердцу людей, и вот теперь перед ним только груда холодного пепла и разметанные части побелевших скелетов.

Долго стояли они неподвижно, безмолвно, как вдруг до слуха их донесся какой-то слабый звук, не то визг, не то стон, и вслед за ним из-под обгоревших развалин выползло какое-то тощее косматое существо; оно с радостным визгом поползло к ним навстречу и, доползши до ног Мазепы, с усилием подняло голову и лизнуло его руку. Это прикосновение заставило вздрогнуть Мазепу, он взглянул вниз и увидел прижавшуюся к его ногам собаку.

Это был Кудлай, задние ноги его были перебиты, он был так тощ, что казался совсем маленькой собачонкой. Животное смотрело на Мазепу ласковыми, разумными глазами и жалобно выло. При виде этого пса, которого так любила Галина, единственного живого существа, оставшегося здесь, Мазепа потерял всякое самообладание, разрывающий душу стон вырвался из его груди и, не произнеся ни слова, он грохнулся на землю...

Между тем, Кочубея, долетевшего за несколько дней в Чигирин, застали там самые нерадостные вести. Дорошенко от горя действительно был близок к потере рассудка.. Кочубей едва узнал его. Выслушав Кочубея, гетман произнес отрывисто:

— Передай Многогрешному мой приказ немедленно ударить на Ромодановского; я прибуду к войску, прибуду, только не сейчас.

Когда же Кочубей заикнулся о том, что если гетман не прибудет сейчас к войску, то могут выбрать гетманом другого, Дорошенко ответил мрачно:

— Я силой булавы не брал, — когда не хотят, пусть выбирают лучшего.

Кочубей решительно не знал, что ему делать? Одно только утешало его — это радостная встреча Сани. Когда первые порывы радости утихли, и Саня, усадивши его за стол, принялась угощать его всем, что только имелось в ее маленьком хозяйстве, Кочубей обратился к ней с расспросами.

— Ну, расскажи же мне, голубка, что было здесь, когда гетман к вам прилетел в Чигирин?

— О, Господи, страшно и вспомнить! — всплеснула руками Саня. — Самойловича гетман уже не застал, тот уехал незадолго до его приезда, одна гетманша была, она ни в чем и не отпиралась. Ну, как бросился к ней в покои гетман, что уже там было у них, не знаю, только

выскочил он, как безумный, и сейчас трясусь вся, как вспомню его лицо. Сперва повесить ее хотел, вон там на замковых воротах, а потом, — видно жалко ему все-таки ее стало, — передумал и услал ее в монастырь!

— В монастырь?

— Да, в Киев, там ее заперли в келье, вскорости постригут навсегда... А как гетман заслал ее туда, да сам в Чигирине остался, так мы уже все думали, что он решился ума: тут гонец за гонцом от вашего войска летят, а гетман как будто и понимать слова людские перестал.

— Эх! — вздохнул Кочубей, — уж именно нечистый прислал ему этот "лыст"! Когда бы не он, на другой бы день все уже покончено было, а теперь так все "скрутылось", что, если гетман дня за два не приедет к войску — погибнет все!

И Кочубей начал рассказывать Сане о том опасном положении, в котором находилось в эту минуту казацкое войско. Но вот у дверей их светлицы раздались поспешные шаги, вслед за тем двери распахнулись, и на пороге показалась Марианна.

При виде этой незнакомой девушки в латах и в блестящем шлеме, Саня невольно поднялась с места, да так и замерла от изумления. Кочубей также поднялся и с тревогой остановил свой взор на Марианне, лицо ее не предвещало ничего хорошего. Марианна была бледна, вокруг губ ее лежала глубокая складка, глаза мрачно глядели из-под нахмуренных бровей.

— Где Мазепа? — произнесла она отрывистым, глухим тоном.

Кочубей слегка смутился.

— Он, панно полковникова, заехал по дороге в степь, там на хутор его нареченной татаре наскакали, — и Кочубей передал Марианне о той тревоге и страданиях, которые охватили Мазепу при известии о набеге татар; но Марианну рассказ о страданиях Мазепы тронул мало.

— Ха! — перебила она с презрительной улыбкой Кочубея, — пан генеральный писарь поспешил на хутор к нареченной, как гетман в Чигирин к "малжонке", а войску оттого большой "прыбуток"! — Марианна разразилась злобным смехом и вдруг, оборвав круто свой иронический тон, прибавила сурово:

— Где гетман?

— Он, панна, здесь, да душа его витает где-то не с нами.

— Где бы она ни была, мои слова вызовут ее! — произнесла твердо Марианна, и при этом лицо ее приняло такое мрачное выражение, что Кочубей воскликнул невольно:

— Плохие вести?!

— Худших не будет.

— Пойдем, панно, — произнес встревоженно Кочубей, — пойдем, мы заставим его выслушать нас.

Когда Кочубей ввел Марианну к гетману, она едва узнала его. В высоком кресле сидел худой, осунувшийся старик, его запавшие глаза глядели мрачно и сурово, в темных волосах блестели серебряные нити.

— Ясновельможный гетмане, — обратилась к нему громко Марианна, — плохие вести!

Дорошенко как будто очнулся при этих словах.

— Что? — произнес он, подымая голову: — Разбито войско?

— С Москвою заключили мир.

— Мир? Мир? Но кто же смел?

— Многогрешный.

— Без моей згоды?

— Вся старшина избрала его гетманом.

Как безумный, вскочил Дорошенко с места.

— Его гетманом? Не может быть! Ты шутишь? Ты смеешься? Но я за "жарт" такой не поблагодарю. Порыв Дорошенко не испугал Марианну.

— Ясновельможный гетмане, — произнесла она твердо, — мы слали к твоей милости гонца за гонцом — ты не ехал, а старшина вся взбунтовалась, не захотели воевать с Москвою: учинили мир и выбрали гетманом Демьяна Многогрешного; боярин уже утвердил его.

— Изверги! Звери! Предатели! Что сделали вы? — вскрикнул дико Дорошенко и, ухватившись руками за голову, повалился на кресло.

Безумное горе гетмана тронуло Марианну; жесткие, холодные слова застыли у ней на устах. Несколько минут в комнате царило тяжелое, ужасное молчание.

Вдруг двери медленно растворились... Марианна взглянула в их сторону и невольно отступила. В покой гетмана вошел Мазепа. Но кто бы узнал его теперь? Он был так бледен, так ужасен, что походил больше на тень, вышедшую из могилы, чем на живого человека. Увидев Марианну, увидев полную отчаяния позу гетмана и словно окаменевшего Кочубея, Мазепа остановился...

— Что случилось, Марианна? — произнес он глухо, переводя свой взгляд с гетмана на нее.

— Все погибло, — ответила она тихо, — Многогрешного выбрали гетманом, с Москвою заключен мир. Мазепа онемел.

Снова в комнате наступило тяжелое молчание; никто не решался прервать его. Судя по виду Мазепы, и Кочубей, и Марианна поняли сразу, что застал он на хуторе. Наконец Мазепа подошел к Дорошенко:

— Ясновельможный гетмане, — произнес он, — я прискакал сюда просить тебя спешить скорее к войску, но мое известие пришло уж слишком поздно. Теперь я не нужен больше никому, — отпусти меня...

— Как! — вскрикнула Марианна, — ты хочешь теперь, в такую минуту оставить нас?

— Марианна, я помочь теперь ничем не в силах; здесь, — Мазепа показал рукою на сердце, — разбито все.

И Мазепа рассказал всем о том ужасном зрелище, которое он застал на хуторе.

Короткий, отрывистый рассказ Мазепы тронул и потряс всех даже в эту ужасную минуту.

— Несчастный! — прошептал Кочубей и отвернулся в сторону. Марианна подошла к Мазепе:

— Друзе мой! — заговорила она, опуская ему на плечо руку, таким нежным и теплым тоном, которого Мазепа не слышал у нее никогда, — Правда, тяжело твое горе, а разве другие не живут с разбитым сердцем? Ты слышал. Многогрешный опять оторвал нас от правой половины, а здесь поляки собираются на нас ударить, слышно, что на Запорожье Суховеенко выбирают гетманом, кругом тревога, смятенье, — в такую пору мы должны забыть все наши страдания, сплотиться воедино!

Чем дальше говорила Марианна, тем больше увлекалась она, тем пламеннее становилась ее речь. — Да, горе Мазепы тяжело, но и в этом горе Господь послал ему милость. Не хуже ли было б, если бы Галина не погибла, а досталась в руки татарам или какому-нибудь польскому магнату на потеху, на позор! О, в тысячу раз лучше смерть, чем пытки и позор!

Пламенные, горячие слова Марианны глубоко проникали в сердце Мазепы: глухое отчаяние, сковавшее его грудь, как-то смягчилось и вместо него в сердце его проникала тихая, мягкая грусть; чувство бесконечной пустоты и одиночества мало-помалу исчезало, он чувствовал, что у него есть такое верное и любящее сердце, которое готово на все для него, и от этого сознания в душе его становилось как-то легче и светлее; горе не уменьшалось, но отчаяние исчезало, и слабая надежда пробивалась в душе...

Слова Марианны заставили очнуться и Дорошенко.

— Да, ты права, Марианна, — произнес он твердым голосом, вставая с кресла. — Настал час стряхнуть с плеч горе и "нудьгу". Мы должны соединить воедино свои руки, и если теперь несчастья заставили нас утратить то, что было добыто с таким трудом, то в другой раз Господь Всемогущий не оставит нас!

— Так, гетмане, так, гетмане! — вскрикнули разом Кочубей и Марианна. — Еще пропало не все! Когда Господь вернул нам опять твое сердце, тогда и надежда возвратилась к нам!

— О, Марианна, Марианна! — прошептал Мазепа, горячо сжимая ее руку, — ты во второй раз спасаешь мне жизнь, а я... а я... Марианна, сестра моя, чем отплачу я тебе за все?

— Тем, что будешь— жить и отдашь свои силы Украине!

— Да, ты права. — Мазепа еще раз сжал горячо руку Марианны и потухшие глаза его вспыхнули снова горячим огнем. — К новой жизни, к новой борьбе! И чем свирепее будут бури и грозы, тем с большей утехой я ринусь к ним навстречу помериться силой. Пусть будет здесь могила, — прижал он руку к своему взволнованному сердцу, — но с ней я отдам себя всего без остатка Украине!

— О, друже мой, — произнесла с чувством Марианна, не выпуская его руки, — верь, и холодную могилу согревает солнце и вызывает на ней к жизни свежие цветы.

— Благословен приход твой! — воскликнул тронутый до глубины души Дорошенко. — Ты, как светлый посол небесный, принесла нам надежду и веру, и возродила наш дух!

Его голос дрогнул, и он тяжело опустился на колени, а за ним в благоговейном безмолвии

Примітки:

- [1] "Пеклом" называется самое страшное место в Ненасытецком пороге
- [2] "Будыло" — следующий за Ненасытцем порог.
- [3] Третий порог.
- [4] Совет черни.
- [5] Род низких полатей.
- [6] Сказочные люди с песьими одноглазыми головами.
- [7] Самозванные гетманы, желавшие свергнуть Дорошенко.
- [8] Игра слов: "прылуки" — присоединение, а Прилуки — город в нынешней Полтавской области.
- [9] Поляки заключили Юрия Хмельницкого и митрополита Тукальского в Мариенбургскую крепость. Гетману Тетере с трудом удалось выхлопотать их освобождение.
- [10] Блажь найдет.
- [11] Палуба.
- [12] Шпион.
- [13] Совершенно разрушил.
- [14] Т.е. человек, умеющий читать только по печатному, но не по писаному.
- [15] Казаки были избавлены от всяких поборов в пользу владельцев земли, а крестьяне — "поспольство", — должны были исполнять разные повинности, — это и называлось "ходить в послушенстве"
- [16] "Хочет или умеет "межы дощем" ходить, т.е. настолько ловкий и юркий человек, что умеет пробираться между дождевых капель и таким образом выходить сухим из-под дождя.
- [17] Наименования всевозможных податей, которыми обкладывали польские папы своих поселян.
- [18] Названия дорог, которые проторили себе татары через степь для увода пленников из Украины.
- [19] Пошлина за право проезда через мост, которую взимали в пользу города.
- [20] В то время в Украине все ремесленники делились на цехи, которые имели каждый свое отдельное управление и знамя, на знамени изображались продукты производства каждого ремесленника.
- [21] Мазепа называет Самойловича Черниговским потому, что он был наказным полковником черниговским. Поляки любили называть друг друга не по фамилии, а по тем местностям, из которых они занимали места. Казаки переняли у них эту манеру.
- [22] Филипп Македонский, насмехаясь над греками, говорил, что ни одна из их крепостей не может устоять против осла, нагруженного золотом.
- [23] "Гарбуз" — тыква "Поднести гарбуза" — отказать в руке. В старину клали действительно сватам жениха тыкву.
- [24] Белая кисея или тафта, спускающаяся с чалмы сзади.
- [25] Нагрелись, получили шиш
- [26] "Кампанией" назывались полки из вольнонаемных казаков, которые полковники нанимали и содержали за свой счет.
- [27] В Буше и в Трилисах остались во время восстания Хмельницкого одни женщины и, упорно защищаясь, погибли все, но не сдались полякам.
- [28] Цоб и цабэ — возгласы, которыми крестьяне погоняют волов. Цабэ — налево, а цоб —

направо.

[29] В XVI и XVII веке в городских ратушах звонили вечером на "гашенье огня", после чего все горожане должны были тушить у себя огонь.

[30] При избрании Бруховецкого было еще два претендента на гетманство, Сомко и Золотаренко, Бруховецкий подкупил чернь, и она растерзала их.

[31] Выгода, прибыль.

[32] Гоны — мера длины, с полверсты.

[33] Дмитрова суббота последняя перед Филипповкой, после нее уже нельзя венчаться.

[34] Старое выражение, означающее, что данное лицо было приближенным к королевской особе.

[35] В Малороссии есть такой обычай, если невеста не принимает предложения, то она выносит жениху вместо "хустки" — "гарбуз" — тыкву.

[36] Тешит себя несбыточными сказками.

[37] В старину на Рождество ученики бурсы ходили по домам с кукольным театром, на котором они изображали пьесы, написанные на темы из священной истории.

Постійна адреса: http://ukrlit.org/starytskyi_mykhailo_petrovych/molodost_mazepy